

НИКОЛАЙ ЯДРИНЦЕВ



**РУССКАЯ ОБЩИНА
В ТЮРЬМЕ И ССЫЛКЕ**

РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ



РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ

Серия главных книг самых выдающихся русских этнографов и знатоков народного быта, языка и фольклора, заложивших основы отечественного народоведения. Книги отражают главные вехи в развитии русского образа жизни – понятий, обычаев, труда, быта, жилища, одежды – воплощенного в материальных памятниках, искусстве, праве, языке и фольклоре:

Ярослав Мудрый	Глинка Г.	Орлов А. С.
Нестор Летописец	Громыко М. М.	Пассек В. В.
Владимир Мономах	Даль В. И.	Потебня А. А.
Русская Правда	Державин Н. С.	Пропп В. Я.
Нил Сорский	Драгоманов М. П.	Прыжов И. Г.
Иосиф Волоцкий	Ермолов А. С.	Риттих А. Ф.
Иван Грозный	Ефименко А. Я.	Ровинский Д. А.
Стоглав	Ефименко П. С.	Рыбников П. Н.
Домострой	Забелин И. Е.	Садовников Д. Н.
Соборное Уложение	Забылин М.	Сахаров И. П.
Азадовский М. К.	Зеленин Д. К.	Снегирев И. М.
Аничков Е. В.	Кайсаров А. С.	Срезневский И. И.
Антоновский М. И.	Калачов Н. В.	Сумцов Н. Ф.
Анучин Д. Н.	Калинский И. П.	Терещенко А. В.
Афанасьев А. Н.	Киреевский П. В.	Токарев С. А.
Барсов Е. В.	Коринфский А. А.	Толстой Н. И.
Батюшков П. Н.	Костомаров Н. И.	Фаминцын А. С.
Безсонов П. А.	Кулиш П. А.	Флоринский Т. Д.
Богданович А. Е.	Ламанский В. И.	Худяков И. А.
Бодянский О. М.	Максимов С. В.	Чулков М. Д.
Болотов А. Т.	Максимович М. А.	Шангина И. И.
Будилович А. С.	Мельников П. И.	Шейн П. В.
Бурцев А. Е.	Метлинский А. Л.	Шергин Б. В.
Буслаев Ф. И.	Миллер В. Ф.	Ядринцев Н. М.
Веселовский А. Н.	Миллер О. Ф.	Якушкин Е. И.
Гальковский Н. М.	Надеждин Н. И.	Якушкин П. И.
Гильфердинг А. Ф.	Нидерле Л.	

НИКОЛАЙ ЯДРИНЦЕВ

**РУССКАЯ ОБЩИНА
В ТЮРЬМЕ
И ССЫЛКЕ**

МОСКВА
Институт русской цивилизации
2015

УДК 392
ББК 63.5
Я 37

Ядринцев Н. М.

Я 37 Русская община в тюрьме и ссылке / Сост., авт. предисл. и примеч. С. А. Иникова / Отв. ред. О. А. Платонов. — М.: Институт русской цивилизации, 2015. — 752 с.

Впервые после почти столетия перерыва публикуется книга русского этнографа Николая Михайловича Ядринцева (1842–1894) «Русская община в тюрьме и ссылке». В этом труде изложены личные впечатления, вынесенные автором из двухлетнего пребывания в омском остроге и семилетней ссылке, дан сравнительно-исторический очерк систем наказания в России и на Западе, показана культурная роль русского народа в Сибири.

ISBN 978-5-4261-0123-4

© Институт русской цивилизации, 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Когда речь заходит о Николае Михайловиче Ядринцеве, то невозможно однозначно назвать сферу деятельности, в которой он проявил себя и снискал признание среди современников и потомков: родоначальник сибирской журналистики и выдающийся памфлетист, историк Сибири и археолог, путешественник, этнограф, изучавший тюремно-каторжный быт, крестьянскую общину и положение сибирских инородцев, статистик и социолог. Н. М. Ядринцев, наряду со своим другом Г. Н. Потаниным, вошел в историю Сибири и России как основоположник такого общественного движения, как сибирское областничество. Современники называли Николая Михайловича «сибирским патриотом».

Ядринцев очень облегчил задачу своим биографам, оставив воспоминания о своих детских и юношеских годах, об университете и своих друзьях¹. Он как будто поставил перед собой задачу проанализировать свою жизнь, оценить те обстоятельства, которые предопределили его жизненные цели. Много страниц в своих воспоминаниях посвятил Ядринцеву Потанин. Многогранный образ Николая Михайловича остался в воспоминаниях его гимназических товарищей и соратников по журналистской

¹ Ядринцев Н. М. Воспоминания о томской гимназии // Сибирский сборник. Иркутск, 1888. № 1; Он же. Автобиография // Сибирский сборник. Иркутск, 1895. Вып. 3; Он же. К моей автобиографии // Русская мысль. 1904. Июнь.

работе. Масштаб личности predetermined обширную историографию о Ядринцеве и его деятельности¹.

Николай Михайлович родился 18 октября 1842 г. в Омске в семье купца Михаила Яковлевича Ядринцева, который еще в молодости переехал из Перми в Западную Сибирь и стал управляющим делами крупных купцов-золотопромышленников Базилевского и Рюмина. Николай Михайлович в своих воспоминаниях рисует образ человека, тянувшегося к образованию, самостоятельно выучившегося читать и собравшего «порядочную библиотеку»; человека, не лишённого осознания гражданственности и во время четырехлетнего проживания семьи в Тобольске поддерживавшего хорошие отношения с ссыльными декабристами Анненковым, Свистуновым и особенно с бароном Штенгелем. Вместе с тем, служба по коммерческому делу требовала от него умения ладить с местной чиновничьей верхушкой, а при случае поддерживать их доброе расположение взятками, и это создавало у него внутренний нравственный дискомфорт, не ускользнувший от внимания сына. Николай Михайлович, очень критически относившийся к сибирской буржуазии, был уверен в честности отца, несмотря на род его занятий, и писал о нем, что это «был человек строгой честности и делец»². Его отец умер в 1855 г., когда Ядринцеву было 13 лет.

¹ Глинский Б. Б. Николай Михайлович Ядринцев. М., 1895; *Фарафонтова Т. М.* Из бумаг сибирского патриота // Восточное обозрение. 1902. № 131, 139, 148, 160, 172, 188, 237; 1903. № 128, 145; 1904. № 54, 62 и др.; *Лемке М.* Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк к десятилетию со дня кончины (1894–1904). СПб., 1904; *Круссер Г.* Сибирские областники. Новосибирск, 1931; *Коржавин В. К.* Проблема крестьянской общины в трудах Н. М. Ядринцева // Вопросы истории социально-экономического положения крестьянства Сибири XIX – начала XX вв. Новосибирск, 1974. Вып. 99; *Чередниченко И. Г.* Николай Михайлович Ядринцев – публицист, теоретик и организатор провинциальной печати. Иркутск, 1999; *Кандеева А. Г.* Слово о Ядринцеве. Омск, 2001 и другие.

² Ядринцев Н. М. Автобиография. С. 75.

Мать – Феврония Васильевна – из крепостных крестьян Орловской губ. В молодости из неволи ее выкупил купец Кузин и взял в услужение. В доме этого купца и произошла встреча Февронии Васильевны и Михаила Яковлевича. Превратившись со временем в обеспеченную, уважаемую даму, она не стеснялась рассказывать детям о прошлом, о тяжелой жизни своей семьи. «Все это заставляло болезненно сжиматься наше сердце», – позже вспоминал Николай Михайлович. Будучи 14-летним мальчиком он даже попытался написать роман на тему крепостничества.

Ядринцев в раннем детстве жил с родителями в Тобольске, затем в Тюмени, пока в возрасте 9-ти лет его не привезли в Томск. Вспоминая свое детство в Томске, Николай Михайлович рисовал идиллическую семейную картину, запечатлевшуюся в его памяти: отец на балконе дома играет на флейте, мать очищает спелые ягоды клубники, и они, дети, бегают по прекрасному саду¹. В семье были еще две девочки, но одна умерла в детстве.

Поскольку семья была состоятельной, то родители пытались дать своему сыну весь набор знаний и навыков, которые требовались, чтобы войти в приличное общество: его учили французскому языку и танцам, верховой езде и игре на фортепьяно, старались прививать хорошие манеры и изысканно одевать; но серьезно руководить образованием сына они не могли и в силу собственной малообразованности, и потому что в то время даже в крупных городах Западной Сибири не было особого выбора образовательных заведений и учителей. Первым учителем мальчика в Тюмени стал живший у них в доме слепой поэт-самородок, который читал ему стихи русских поэтов, и, возможно, эти детские впечатления способствовали тому, что Николай Михайлович сам начал писать стихи, хотя поэтом себя никогда не считал. С целью изучения французского языка

¹ Там же. С. 70.

его отдали во французский пансион для девиц, видимо, за неимением другого учебного заведения.

После переезда семьи в Томск образование продолжилось в другом пансионе. Никаких приятных воспоминаний от пребывания в его стенах у Николая Михайловича не осталось. Ядринцев называл этот пансион «маленькой инквизицией», поскольку детей там били, ставили на колени, таскали за волосы и запрещали говорить по-русски, но некоторые познания французского он все-таки приобрел.

Из пансиона Ядринцев поступил в 3-й класс гимназии. Его друг по гимназии Н. Наумов вспоминал о том впечатлении, которое произвел на всех новый ученик: «Беленький, тщательно вымытый, причесанный и раздушенный, он своей фигурой составлял крайне резкий контраст с обдерганым населением класса, ходившим в вечно стоптанных и порыжевших от времени сапогах, усеянных заплатами, в дырявых вицмундирах с оторванными или висевшими наподобие маятника пуговицами <...>»¹ По дружному мнению выпускников томской гимназии, в то время это было самое худшее учебное заведение Сибири. Необразованные, опустившиеся и пьющие учителя, неспособные «сеять разумное, доброе, вечное», и гимназисты, переносившие в стены учебного заведения грубые нравы сибирского города с его руганью и драками. Однако были и плюсы: как вспоминал Николай Михайлович, «демократическая среда гимназии воспитывала равенство. <...> Мы научились уважать в этой среде только собственные достоинства и нравственные качества»². Истоки своей любви к «чалдонию» (сибирскому народу) Ядринцев видел в своей детской любви к этой плебейской среде, к своим гимназическим товарищам. Гимназия не дала образования, но, как писал Николай Михайлович, «эти инстинкты равенства, наложенные школой, это

¹ Наумов Н. Н. М. Ядринцев в томской гимназии // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 5. С. 326.

² Ядринцев Н. М. Воспоминания о томской гимназии. С. 7.

уважение честной бедности и поклонение труду и таланту, откуда бы он не выходил, облегчили восприятие впоследствии общечеловеческого идеала»¹. В условиях противостояния учителей и учеников из последних сформировался «союз гонимых и угнетенных»: никто не смел выдать товарища, не смел жаловаться и отдавать дело на суд инспекции². Ядринцева в те годы и потом, всю жизнь отличало особенное умение дружить и дорожить дружбой.

Несравненно больше для его умственного развития дало не гимназическое обучение, а литературный кружок, составившийся из нескольких учеников – любителей чтения, обменивавшихся книгами, впечатлениями о прочитанном и даже пробовавших писать. Спустя много лет Николай Михайлович напоминал своему другу по гимназии Д. А. Поникаровскому: «Помнишь ли ты наши литературные собрания и кружок в гимназии, нашу любовь к чтению, восторги Тургеневым, наши первые упражнения, дневники и т. п.? <...> Моя мать за мои юношеские литературные произведения называла меня не иначе, как “мой Пушкин”»³. Этот гимназический кружок оказал большое влияние на формирование литературных интересов Ядринцева.

Настоящим открытием новых горизонтов стал приезд из Петербурга в Томск студента-сибиряка Н. С. Щукина, который со своими петербургскими новостями, идеями, литературными вечерами буквально ворвался в вялую, серую жизнь Томска. Он снял квартиру у матери Ядринцева и быстро подружился с ее сыном-гимназистом. Щукин по своим взглядам относился к плеяде демократов-шестидесятников. В Петербурге он собрал вокруг себя землячество из учившихся в столице студентов-сибиряков, и в Томске вокруг него быстро возник литературный кружок, участниками

¹ Там же.

² Там же. С. 3.

³ Ядринцев Н. М. Письмо Д. А. Поникаровскому от 29 марта 1879 г. // Литературное наследство Сибири. Новосибирск. 1980. Т. 5. С. 247.

которого стала самая разная публика, жаждавшая услышать свежее слово. От него многие узнали имена Белинского, Грановского, Добролюбова. Это знакомство, по словам Ядринцева, «дало толчок и материал нашему уму». Под впечатлением рассказов Щукина, не закончив гимназию, летом 1860 г. Ядринцев с матерью уехал в Петербург определяться вольнослушателем в университет. Щукин дал ему письмо к Г. Н. Потанину, тоже сибиряку, который уже учился в Петербурге в университете.

Потанин был на семь лет старше Ядринцева, и за его плечами уже были обучение в кадетском корпусе и служба, несколько научных путешествий по Сибири, но сразу же, после первой встречи, они «сошлись как сибиряки, стремящиеся к одной цели», – как писал Ядринцев о новом знакомом Щукину. И далее: «Мы с Потаниным как встретимся, то постоянно строим воздушные замки о Сибири. Я уже предложил снять в Томске типографию и издавать сибирский журнал. Я надеюсь это осуществить, потому что имею средства. Николая Семеновича (Николай Семенович Щукин. – *Прим. сост.*) буду просить редактором, а Потанин хочет быть самым деятельным сотрудником. Заведу вроде Café restaurant с читальными залами журналов, и многое, многое гнездится мыслей на устройство нашего отечества, нашей Сибири»¹. Мечтания 18-летнего юноши из глубокой провинции были связаны не с Петербургом, а с Сибирью, которую он называл отечеством. Ядринцев с восторгом покупал книги, о которых мог только мечтать в Томске: Белинского, Гумбольдта, Милля, описание Сибири Гагемейстера, читал «Современник» с «превосходными» статьями Чернышевского, герценовские издания, «Полярную звезду» и очень хотел «какими-нибудь судьбами выписывать» «Колокол», и опять же: «закупить побольше книг да привезти в Сибирь»². В письмах к Щукину

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Н. С. Щукину. 6 сентября 1860 г. // Там же. С. 228.

² Он же. Письмо Н. С. Щукину. 20 октября 1860 г. // Там же. С. 231.

Ядринцев нарочито пренебрежительно упоминал о царе, который в Варшаве «сочиняет что-то вроде священного союза», и о вдовствующей императрице: «на днях умерла старуха Александра Федоровна». Очевидно, Щукин за то непродолжительное время, проведенное им в Томске, успел просветить своих новых друзей не только в вопросах литературы, но и политики.

Первый год в Петербурге Ядринцев жил вполне обеспеченно. Отец оставил ему 8 тыс. капитала, и этого хватило бы на годы учебы; но вскоре после приезда в столицу от брюшного тифа умерла его мать, а отцовский капитал, переданный для вложения в дело и дававший первый год проценты, оказался утраченным. Последующие два года Ядринцев испытывал очень большие материальные трудности.

Ядринцев и Потанин решили возродить распавшийся после отъезда Щукина из Петербурга кружок сибиряков, тем более что в это же время в столицу переехала из Казани большая группа студентов-сибиряков. Потанин задумался целью собрать в этот кружок всех учащихся в Петербурге земляков¹. Он и Ядринцев активно знакомились, приглашали на свои журфикисы, как они называли студенческие собрания, устраивавшиеся еженедельно по очереди друг у друга. Поскольку Ядринцев был самым состоятельным, то он финансировал закупку провианта. По замыслу Потанина, собрания кружка должны были посвящаться обсуждению сибирских проблем, но, по его словам, не было материала для обсуждения, так как почти не было связи с Сибирью, и кроме того, как оказалось, «члены не отличались патриотизмом». Патриотами, по словам Потанина, оказались только он и Ядринцев². Таких студенческих землячеств в те годы в Петербурге было много. Ничего тайного, запретного на этих журфикисах не было, но революционные песни все же

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1983. Т. 6. С. 114.

² Круссер Г. Указ. соч. С. 69.

пели, «и этим все дело ограничивалось», – вспоминал Потанин¹. Ядринцев в 1888 г. писал о сибирском землячестве в приподнятом тоне: обсуждали нужды Сибири, говорили о будущей деятельности, об открытии университета, даже представляли, как внешне будет выглядеть здание и как будут устроены аудитории, но через четыре года в письме к другу он отметил, что его воспоминания о сибирском землячестве бедны, оно «при всем своем пыле и пробуждении патриотизма, не представляло ничего серьезного»². Ядринцев писал, что собрания продолжались два года. Судя же по воспоминаниям Потанина, сибирские журфиксы продолжались до весны 1861 г., и прекратились, как только Ядринцев лишился денег³. После этого шестеро сибиряков-товарищей (Н. М. Ядринцев, Н. И. Наумов, Г. Н. Потанин, И. Куклин, Ф. Н. Усов, И. А. Худяков) поселились в дешевых комнатах у одной хозяйки и продолжали обсуждать волновавшие их вопросы в узком кругу.

В основу сближения земляков легла «идея сознательного служения краю»⁴, как ее определил сам Ядринцев. Потанин – вспоминал: «Ядринцев и я считали своим долгом вернуться на родину для служения ей, быть может, и пропагандировали эту идею между товарищами, но во всяком случае верили, что большинство из них намерено поступить так же, как и мы»⁵.

Их занимал вопрос: так что же такое Сибирь: колония или провинция, пользуется ли она «равными правами с другими областями империи; пользуется ли одинаковыми заботами правительства о его благосостоянии, о его просвещении и культурном прогрессе <...> или, может быть,

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 115.

² Лемке М. Указ. соч. С. 37.

³ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 116.

⁴ Ядринцев Н. М. Сибирские литературные воспоминания // Ядринцев Н. М. Сборник избранных статей. Красноярск, 1919. С. 45.

⁵ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 117.

оно преследует такую же политику по отношению к своей колонии, как другие европейские метрополии, политику несправедливую, ко благу только метрополии и в ущерб колонии». «Тогда же мы поняли, что интересы Сибири противопоставлены интересам Москвы <...>»¹.

Другой вопрос, занимавший молодые умы, – это вопрос о ссылке в Сибирь преступников из Европейской России. Правительство рассматривало ее не только как возможность избавиться от преступных элементов, но и как форму колонизации огромного незаселенного пространства, на деле штрафная колонизация вела к деморализации сибирского крестьянского и городского населения и тормозила развитие края. Отмена ссылки в Сибирь воспринималась Ядринцевым и его друзьями настолько же необходимой, как отмена крепостного права для Европейской России.

Третий вопрос, без решения которого невозможно было цивилизовать Сибирь, – это отток учащейся молодежи из Сибири, из-за чего невозможно создание местной интеллигенции, местной печати и, в итоге, осознание населением местных интересов и целей. Открытие сибирского университета в свете этого приобретало особенную актуальность и значение для края, потому что это был прямой путь создания провинциальной интеллигенции. И наконец, инородческий вопрос, который тогда поднимался, но еще не воспринимался как первоочередной. Потанин писал, что за те три-четыре года, проведенные им и его друзьями в Петербурге, была намечена программа их будущей деятельности.

Большое влияние на сибирский кружок оказали лекции и статьи федералистов-историков Н. И. Костомарова и особенно сибиряка А. П. Щапова, которые выступали с идеями областничества. Щапов полагал, что колонизация была главным фактором образования русского государства. Природно-климатические зоны и смешение русского населения с аборигенным в результате колонизации способство-

¹ Там же. С. 159, 160.

вали формированию областных социально-экономических и культурных типов. Областная форма исторической жизни была исходной для русского народа. Он видел в общине форму саморазвития народа, а лучшей формой государства считал земский союз (федерацию) общин.

Друзья-сибиряки, обсуждая и изучая именно сибирские вопросы, опираясь на эту теорию, решили перевести ее в практическую плоскость конкретных дел. Сибирский кружок выделил специфические сибирские интересы и задачи и поставил цель: пробудить местное общество для их решения. Сибирское областничество, как позже было названо это движение, не было однородно и не имело четкой идейной платформы. Оно стояло за приобщение народа к европейской цивилизации и в то же время идеализировало земство и русскую общину, сближаясь с славянофилами. По своим гуманистическим началам и общинной теории местного самоуправления областничество сближалось с народничеством.

В качестве инструмента для осуществления планов пробуждения общества и достижения целей Н. М. Ядринцев, Г. Н. Потанин, С. С. Шашков, Н. И. Наумов и др. рассматривали литературно-публицистическую деятельность, к которой приступили еще в Петербурге. Юношеские мечты Ядринцева о сибирской газете или журнале, его увлечение литературой влекли его в журналистику, тем более что ближайшие друзья уже успешно публиковались в столичных изданиях. Вначале пробы пера оказались неудачными: его остроумные рассказы в дружеском кругу после переложения на бумагу получались бледными или малозначительными для серьезного журнала. Первой публикацией стала небольшая статья «Наша любовь к народу», помещенная в сатирическом журнале «Искра» в 1862 г. «С этой поры, – вспоминал Потанин, – Ядринцев завертелся в литературных кругах <...> Тут обнаружилось, что в нашей маленькой компании Ядринцев был самый прирожденный журналист.

Я почувствовал, что он пойдет во главе сибирского движения, которым уже веяло в воздухе <...>¹.

В 1861 г. был принят новый университетский устав, против которого выступило университетское студенчество. Потанин принимал участие в этих выступлениях и даже на три месяца был арестован. В 1862 г. он вернулся в Сибирь. Через полгода (осень 1863 г.) оставил Петербург и Ядринцев. В течение двух лет их друзья-сибиряки тоже переместились в Сибирь. «Мы ехали на родину, окрыленные надеждами, горя нетерпением поскорее засесть за культурную работу, — писал Потанин. — Мы мечтали, что будем устраивать публичные библиотеки, читать публичные лекции, собирать пожертвования для вспомоществования молодым сибирякам, учащимся в столицах, совершать ученые поездки по родине и собирать коллекции, наконец, писать в местных газетах о нуждах Сибири»².

Существует гипотеза, что возвращение Потанина в Сибирь связано с тем, что он получил задание от «Земли и воли» создать там ее организации³, и его друг потянулся за ним. Мы не будем обсуждать эту, не имеющую доказательств гипотезу и политические убеждения Потанина, но Ядринцев по своим убеждениям революционером никогда не был. Его политические взгляды не были четко сформулированы, поэтому в литературе Николая Михайловича относили то к революционерам-демократам, то к буржуазным либералам, а то чуть ли не к реакционерам⁴, при этом несо-

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 118–119.

² Там же. С. 162.

³ История Сибири. Л., 1968. Т. 3. С. 139; Маликов А. В. Философия и идеология областничества. СПб., 2012. С. 40.

⁴ Коваль С. Ф. Революционная деятельность польских политических ссыльных в Сибири в 60-е годы XIX в. // Экономическое и общественно-политическое развитие Сибири в 1861–1917 гг. Новосибирск, 1965. С. 123, 124, 127, 129, 130; Лапин Н. А. Гражданская казнь в Омске 15 мая 1868 г. // Вопросы истории. 1966. № 9. С. 209–210; Сесюнина М. Г. Г. Н. Потанин и Н. М. Ядринцев — идеологи сибирского областничества (к вопросу о классовой сущности сибирского областничества второй половины XIX в.). Томск, 1974. С. 46, 121.

мненную роль играл и конкретный исторический период, определявший позицию каждого исследователя. Безусловно, взгляды Ядринцева на те или иные вопросы в течение жизни менялись, а будучи человеком увлекающимся и поддающимся влияниям, он мог высказывать противоречащие друг другу идеи, но в целом наиболее правильно охарактеризовать его как демократа-просветителя¹.

Ядринцев и его друзья оказались в Петербурге в период начала реформ, когда общественные страсти кипели вокруг начавшихся преобразований России. Активизация общественной жизни, борьба идей, новые веяния чувствовались в журналистике, среди преподавателей и студентов высших учебных заведений столицы. Представители части демократической интеллигенции с самого начала очень скептически относились к предстоящим реформам, а потом выступили с их резкой критикой, но для многих 60-е гг. были счастливейшим временем. И именно так это время оценивал Ядринцев. Он писал о нем с неподдельным восторгом: «Всех охватывал этот трепет ожидания чего-то хорошего, счастливого. Переживалось нечто необыкновенное, что не переживалось ни до, ни после этого. Не было кругом давящего кошмара, не было ощущения робости и рабского трепета, почти панического страха, воспитанного с детства, который проникал до глубины прежде русского человека, сжимал душу и вечно заставлял скрывать собственные помыслы»². Потанин называл 60-е годы «настоящей весной», «пасхальной неделей», когда «общество было уверено, что эти обещания не обман, потому что, действительно, реформы следовали за реформами»³. Судя по тому настроению, с каким друзья возвращались в Сибирь, они

¹ Мы полностью согласны с такой характеристикой Ядринцева, высказанной Чередниченко И. Г. в кн. «Николай Михайлович Ядринцев – публицист, теоретик и организатор провинциальной печати». Иркутск, 1999. С. 34.

² Ядринцев Н. М. Воспоминания о томской гимназии. С. 22.

³ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 163.

вполне приняли реформы и избрали для себя культурническое поле деятельности и не более.

Сам Ядринцев не считал областничество политическим движением. В письме Н. К. Михайловскому от января 1876 г. он писал, что областничество «стоит на почве чисто экономических интересов народа». Он ставил знак равенства между областной идеей и служением народу, считал, что эта идея должна возбуждать жизнь изнутри, из провинции и почву она найдет «в земцах, областных писателях и местных жителях»¹.

Ядринцев по возвращении в Сибирь сначала поселился в Томске, но вскоре переехал в Омск к Потанину. Ему удалось найти частных уроки. Одним из его учеников стал сын жандармского полковника Рыкачева. В частных беседах за обеденным столом Ядринцев выступал защитником реформ Александра II, в то время как хозяин дома был их ярким противником. Общественную деятельность в Омске Ядринцев начал с выступления с публичной речью о необходимости открытия сибирского университета. Она прозвучала на благотворительном музыкально-литературном вечере в поддержку композитора из казачьего оркестра, который собирался ехать учиться в столицу. После этой речи усилился приток пожертвований на университет. Ядринцев агитировал молодежь ехать учиться в столичные университеты, чтобы потом вернуться в Сибирь и работать на ее благо. Он не упускал возможности публично высказывать свою позицию о сибирских проблемах. Перечисляя в письме Потанину, какие вопросы он поднял в своем очередном выступлении «с громовой статьей об общественной жизни Сибири», Николай Михайлович отметил, что высказался против буржуазии, сказал о вреде ссылки, задел чиновничество и указал на необходимость для Сибири открытия университета, школ, библиотек. Из-за нападок на сибирскую

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Н. К. Михайловскому от [нач. января 1876 г.] // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1980. Т. 5. С. 243.

буржуазию Ядринцев лишился частных уроков, которые он давал сыну капиталиста Кузнецова, отказавшему ему¹.

Член их сибирского кружка казачий офицер Ф. Н. Усов, вернувшись в Омск, занялся созданием казачьей публичной библиотеки. С. С. Шашков в Красноярске читал публичные лекции по истории Сибири, а потом с огромным успехом прочитал эти лекции в Томске. Каждый в силу своих возможностей старался служить своему краю.

Потанин, получив место секретаря статистического комитета в Томске, предложил Ядринцеву перебраться туда же и начать сотрудничать с официальной газетой «Томские губернские ведомости». Трудно было представить, что им удастся проводить какие-то свои идеи через казенную газету, но ее редактором стал вполне достойный человек – учитель Д. Л. Кузнецов, и друзья решили попробовать. С публикации статьи «Сибирь в 1-е января 1865 г.» в 1-ом номере началась работа Ядринцева в этой газете. Автор ее писал, что в Сибири до сих пор нет своей промышленности, все привозное, у сибиряков нет общего интереса, не во всех городах есть школы, редко где есть библиотеки и делал вывод, что с самого завоевания Сибири у сибиряков «оспаривалось общечеловеческое право на цивилизацию и убивалась самая святая надежда на разумно-человеческое существование!» Автор писал, что наступает время, когда Сибирь «должна предъявить права свои на цивилизацию». По сути, это была программная статья, из которой сразу становилось ясно, что будет пропагандировать автор в газете, какие мысли проводить.

Кроме журналистской работы, Ядринцев и Потанин в Томске развили деятельность в пользу создания сибирского университета, собирали деньги в помощь студентам-сибирякам, учившимся в Петербурге и Москве, проводили учебные экскурсии по окрестностям города. Ничто не пред-

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 23 ноября [1864 г.] // Там же. С. 234–235.

вещало беды, и никаких туч на горизонте не было замечено, как вдруг во время одной такой экскурсии арестовали Ядринцева, Потанина и еще двоих их спутников. Арестованные даже не догадывались о причине ареста и только когда их привезли из Томска в Омск и они предстали перед следственной комиссией, стало ясно, в чем их обвиняют.

Начало этому процессу было положено обнаружением в Омске у кадета Г. Н. Усова прокламации, которую тот взял в столе брата Ф. Н. Усова и принес в кадетский корпус. После начавшихся арестов и обысков в Иркутске была изъята вторая, аналогичная по смыслу, но более резкая по формулировкам и более пространная прокламация, обращенная к сибирским патриотам. Обе содержали обвинения правительства в недемократичных реформах, репрессиях против поляков, в угнетении Сибири, призыв к сибирякам отделиться от России, звучали угрозы восстания. Дело быстро обрастало подробностями. Главному деятелю следственной комиссии Рыкачеву, в доме которого не так давно Ядринцев защищал реформы Александра II, а сейчас заседала комиссия, мерещился грандиозный антигосударственный заговор об отделении Сибири от России.

Во время следствия Ядринцев показал, что видел прокламацию у Шашкова, хотел ее взять, но забыл; Шашков признался, что получил ее по почте, и Ядринцев, кажется, переписал ее; Потанин вообще отрицал, что когда-либо видел эту прокламацию. В 1880-е гг. Ядринцев вспоминал, что «воззвание» было написано еще в Петербурге лицом, ничем не выдающимся, а отредактировано им и Шашковым; Потанину же он признался, что прокламация была написана иркутским купцом С. Поповым, жившим в то время в Петербурге¹. Очевидно, Ядринцев и тогда не придавал этой прокламации какого-то особенного значения, если не счел нужным показать ее своему самому близкому другу.

¹ *Круссер Г.* Указ. соч. С. 83, 95; *Ядринцев Н. М.* К моей автобиографии. С. 158; *Потанин Г. Н.* Воспоминания. С. 203.

В ходе следствия, которое продолжалось полгода, было арестовано 44 человека, которых привозили в Омск со всей Сибири, причем многие вообще были случайными людьми. На очную ставку с Потаниным из Иркутска доставили Щапова. Большинство арестованных были отпущены, и следствие велось по делу 16-ти человек¹. Составились тома допросов и разного рода материалов, объединенных заглавием: «Дело сибирского сепаратизма, или Дело об отделении Сибири от России и образовании республики подобно Соединенным Штатам». Главные обвинения были выдвинуты против Потанина, который «чистосердечно» признал себя сепаратистом, пропагандировавшим свои идеи среди сибиряков, в том числе об отделении Сибири. Его ближайшими единомышленниками были признаны Ядринцев, Шашков, Щукин. Много позже Потанин сожалел, что своим поступком «набросил сепаратистский плащ на всю компанию» и «дал окраску всему делу»². Ядринцев не отрицал, что они говорили об отделении Сибири и создании республики, но как об очень отдаленном будущем, желали своей родине «нового гласного суда, земства, больше гласности, поощрения промышленности, большей равноправности инородцам»³.

Спустя годы, оглядываясь назад, и Ядринцев, и Потанин единодушно сходились на том, что это дело было раздуто, студенческие вечеринки сибиряков превращены в тайное общество, разговоры о возможном будущем отделении Сибири-колонии от России-метрополии, по аналогии с Северными Соединенными Штатами Америки, были представлены следствием как намерения; пропаганда сепаратизма была усмотрена даже в идее открытия сибирского уни-

¹ Эти цифры дает Чередниченко И. Г. Указ. соч. С. 24, 27. Они немного отличаются от тех, которые приводит М. Г. Сесюнина в ст. «Дело сибирского сепаратизма» // Политическая ссылка в Сибири. XIX – начало XX в. Историография и источники. Новосибирск, 1987. С. 39.

² Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 209.

³ Круссер Г. Указ. соч. С. 84; Ядринцев Н. М. К моей автобиографии. С. 156.

верситета. Тобольский губернатор А. И. Деспот-Зенович в письме от 21 апреля 1876 г. генерал-губернатору Западной Сибири Н. Г. Казнакову объяснял причину придания «минутным утопическим мечтаниям юношей» государственного значения тем тревожным состоянием, в котором находилось правительство «в виду польского восстания, резкого избличительного направления тогдашней прессы и многих ненормальных явлений самого общества, призванного после векового сна к новой жизни»¹.

В омском остроге в начале следствия арестованные сидели в одиночных камерах, но через несколько недель их поселили по несколько человек. После окончания следствия дело пошло в Петербург для вынесения по нему решения, а арестованные из тюрьмы были переведены в крепость на гауптвахту, где порядки были весьма либеральными. Им разрешили иметь книги, заниматься литературной работой и даже разбирать документы омского архива и архива Главного управления Западной Сибирию. За время, проведенное в заключении, Ядринцев написал статью «Женщина в Сибири в XVII и XVIII столетиях», опубликованную в «Женском вестнике» за 1867 г., и собрал материал для своей будущей книги «Русская община в тюрьме и ссылке», поместил небольшие статьи в «Сибирском вестнике», «Искре», «Деле»; Потанин опубликовал архивные документы – «Материалы к истории Сибири»; Шашков набрал исторический материал для своих исследований о Сибири.

Приговор был утвержден в Петербурге только 28 февраля 1868 г. Предполагавшиеся суровые наказания ввиду молодости «преступников» и того, что они три года провели в тюрьме, были смягчены, и Потанин, считавшийся организатором заговора, вместо 5 лет каторжных работ на нерченских заводах был отправлен отбывать 5-летнее наказание в Свеаборг, где при арестантской роте военного ведомства было каторжное отделение. Через три года его

¹ Лемке М. Указ. соч. С. 64 примеч.

отправили на поселение в Вологодскую губернию. Ядринцев, Шашков и Ушаров были этапированы на поселение в Шенкурск Архангельской губернии, и еще двое отправлены в Архангельскую и Олонецкую губернии.

В Архангельск Ядринцев пришел без денег и теплой одежды, и следовать в дальние округа на место поселения ему было просто невозможно. Он подал прошение архангельскому губернатору Гагарину, чтобы ему разрешили задержаться на две-три недели в городе и дожждаться присылки гонорара. Гагарин разрешил, а потом через ссыльного П. П. Чубинского, позже известного украинского этнографа, обратился к Ядринцеву с предложением в связи с готовящейся тюремной реформой приготовить записку о положении русской тюрьмы. Ядринцев в это время уже вплотную занимался темой тюрьмы и ссылки и за две недели написал записку. Она была подана Гагариным в министерство, но без указания имени автора, которого за эту услугу губернатор отправил в Шенкурск в экипаже, а не по этапу.

В Шенкурске из ссыльных подобралось общество образованных людей: кроме Ядринцева, Шашкова и Ушарова, там оказались бывший казанский студент А. Х. Христофоров, писатель, сотрудник «Русского слова» Н. В. Соколов, потом приехали участник студенческих волнений, будущий историк раскола А. С. Пругавин и революционер М. А. Натансон, было несколько поляков. Ядринцев много писал в разные столичные журналы, и это не только наполняло жизнь смыслом, но и давало возможность обеспечивать себя. О жизни Ядринцева в последний год пребывания в ссылке можно получить достаточно полное представление из его обстоятельных писем Потанину, который после Свеаборга поселился в г. Никольске Вологодской губернии. Письма эти свидетельствуют об очень насыщенной литературным трудом и раздумьями о жизни. Ядринцев описывал Шенкурск, писал о своей журнальной работе, своих гигантских планах и общественно-политических,

экономических и культурных проблемах Сибири, которые его волновали. Даже если он писал о каком-то другом регионе или стране, то все это примерялось к Сибири, оценивалось с точки зрения применимости извлеченных им знаний к Сибири. Николай Михайлович в первом же письме сообщал другу, что они, т. е. он и Шашков, «просвещением... снабжены»: «Получаются ныне все лучшие журналы: “Вестник Европы”, “Отечественные записки”, “Дело”, “Знание”, “Азиатский вестник”, “Петербургские ведомости”, “Новое время”, “Беседа”, “Сияние”, “Искра”, “Неделя”, etc.»¹. Это только российские, а еще несколько иностранных. Шашков собирал издания по истории, а Ядринцев, только что закончив книгу «Русская община в тюрьме и ссылке», углубился в изучение колониального вопроса, а для этого учил английский язык. Переход к этой теме был закономерным результатом его работы над проблемой ссылки в Сибирь.

Бытовая неустроенность и периодически возникавшее безденежье, причиной которого были как задержки с присылкой гонораров редакциями журналов, так и покупка книг, дополнялись чувством одиночества. Ядринцев сетовал, что там нет людей одинаковой с ним породы: Шашков был сосредоточен в себе, Ушаров пил и все больше опускался. «Я одинок, как и Вы, – писал он Потанину, – и космополитическая среда, и ее интересы, и разговоры не удовлетворяют меня. Мне нужны птицы одной породы, и за соседство с Вами я променял бы все прочие соседства»².

Находясь в ссылке, Ядринцев и Потанин начали сотрудничать в издававшейся в Казани «Камско-Волжской газете», основатель которой – К. В. Лаврский – оказался в Никольске вместе с Потаниным. «<...> мы оба писали в нее с таким жаром, как будто это была та самая газета, которую

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 20 февраля 1872 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. Красноярск, 1918. Вып. 1. С. 4.

² Он же. Письмо Г. Н. Потанину от 17 января 1873 г. // Там же. С. 41–68.

мы мечтали когда-нибудь основать в одном из сибирских умственных центров», – писал Потанин¹. Представляясь редактору газеты Н. Я. Агафонову, Ядринцев охарактеризовал себя как «писателя, по преимуществу сибирского», и писал, что в случае недостатка у газеты средств, не требует никакого гонорара, но просит высылать газету в три-четыре города Сибири: Тюмень, Томск, Иркутск и Омск² – в надежде, что его голос будет услышан на родине. Ядринцев начал сотрудничать с газетой с 34-го номера за 1873 г. Редакция не препятствовала ему писать о сибирских проблемах, но газета просуществовала недолго: до января 1874 г.

Ядринцев придавал очень большое значение развитию сибирской провинциальной печати, которая не должна тянуться за столичными газетами и журналами в новостном отделе, подборе высокооплачиваемых именитых авторов, что ей и не под силу, а должна поднимать местные вопросы, жить жизнью своих читателей, воспитывать патриотизм, способствовать пробуждению сознания и формировать сибирскую идентичность, служить простому народу. В письме Пругавину от 27 июня 1873 г. из Шенкурска Николай Михайлович писал: «Говорят, что провинциальные вопросы слишком мелки. Да, конечно, так, как они понимаются ныне. Но свяжите их с жизнью народной, крестьянства, и они не будут мелки. А облегчение народа, помощь даже в самой ничтожной степени есть вещь благородная, от которой не следует отказываться. Без тесной связи с народом вообще всякая интеллигенция – нуль». И далее: «Скажу вам о себе. Я, например, люблю свой отдаленный Восток, и всю жизнь он живет в моем сердце. Я питаю любовь и веру, где бы я ни был; это согревает и утешает меня, доставляет мне минуты величайшего наслаждения писать о том, что я люблю»³.

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 279.

² Лемке М. Указ. соч. С. 80.

³ Там же. С. 82–83.

Осенью 1872 г. в Петербурге вышла книга Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке»¹. Большая ее часть была до этого опубликована в виде статей, и автором этих работ заинтересовался глава Комиссии по разработке тюремной реформы граф Соллогуб. Завязавшиеся контакты (см. подробнее ниже) позволили Ядринцеву обратиться к Соллогубу и к члену совета Министерства внутренних дел А. И. Деспот-Зеновичу с просьбой поддержать его ходатайство о помиловании. Указ о помиловании был подписан царем 1 декабря 1873 г., а еще через две недели Николай Михайлович был восстановлен в гражданских правах.

В январе 1874 г. Ядринцев переехал в Петербург и поступил домашним секретарем к Соллогубу. Он занимался составлением докладов и записок по тюремному вопросу, в это же время начал сотрудничать с газетой «Сибирь», выходившей в Иркутске. Ядринцев сразу попытался придать газете «сибирское» направление.

В Петербурге началась счастливая семейная жизнь Николая Михайловича с Аделаидой Федоровной Барковой, которая была корреспонденткой «Камско-Волжской газеты» и с которой он начал переписываться еще в Шенкурске. Она была единственной дочерью разорившегося и к тому времени уже покойного сибирского золотопромышленника. Аделаида Федоровна сыграла большую роль в жизни Ядринцева. Долгие годы она была не только его женой, но и помощницей и верным другом.

В 1874 г. генерал-губернатором Западной Сибири был назначен Н. Г. Казнаков – по отзывам современников человек умный и просвещенный. Ядринцев, узнав о новом назначении, нашел способ лично познакомиться с Казнаковым и попросил разрешения представить ему записки о ссылке и сибирском университете. Казнаков заинтере-

¹ В письме Потанину от 1 октября 1872 г. Ядринцев сообщал, что кн. «Русская община в тюрьме и ссылке» уже отпечатана, а 15 ноября Ядринцев послал ее экземпляр своему другу. (Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 110, 133.)

совался запиской Ядринцева об университете и доложил государю и даже получил высочайшее поручение выработать проект. Казнаков подошел ответственно к своему назначению и решил до отъезда в Сибирь ознакомиться с ее состоянием и проблемами по литературе и публицистике. По просьбе Казнакова Ядринцев начал писать ему докладные записки по сибирским вопросам. Такая востребованность как нельзя более отвечала его желаниям. В 1876 г. в один из своих приездов в Петербург Казнаков пригласил Ядринцева в Омск к нему на службу.

Николай Михайлович не только писал записки для генерал-губернатора, но по его заданию входил в различные комиссии и имел возможность проводить свои идеи, в частности, по защите прав сибирского крестьянства и инородцев. Ему удалось добиться прекращения продажи крестьянских земель чиновникам. Работа в канцелярии генерал-губернатора давала Ядринцеву возможность пользоваться официальными данными, статистикой.

В Омске при Казнакове был открыт Западно-Сибирский отдел Русского географического общества. Ядринцев стал принимать участие в его деятельности и совершил экспедиции на Алтай с целью изучения колонизации края и состояния аборигенного населения, выяснения причин его обнищания и вымирания. Неожиданная болезнь заставила Казнакова в конце 1880 г. сдать дела и уехать в Петербург. Вскоре Ядринцев с семьей тоже перебирается в Петербург.

В Петербурге Николай Михайлович выступал с докладами на сибирские темы в Юридическом обществе, Русском географическом обществе, в Обществе содействия промышленности и торговле, принял деятельное участие в подготовке торжеств по случаю 300-летия завоевания Сибири. К этому событию им была подготовлена книга «Сибирь как колония», изданная в 1882 г., в которой он поднимал вопросы о мерах, необходимых для превращения Сибири в ци-

вильзованную часть России, для улучшения жизни всего сибирского общества, включая инородцев.

Сотрудничество в газете «Сибирь» не удовлетворяло Ядринцева. Ему хотелось воплотить свою давнюю мечту и самому стать редактором периодического издания, чтобы полнее проводить свои взгляды. Вернувшись в Петербург, Ядринцев, занимаясь этим вопросом, нашел сочувствие у богатого иркутянина, который дал ему деньги на издание газеты. Ходатаем о получении разрешения выступил известный ученый и путешественник П. П. Семенов. Он же придумал для газеты нейтральное название – «Восточное обозрение». В конце 1881 г. Ядринцев был утвержден издателем и редактором этой газеты.

Первый номер вышел 1 апреля 1882 г. Петербургский период издания «Восточного обозрения» был самым счастливым в жизни Ядринцева, хотя ему пришлось взять на себя большую часть редакционной работы, чтобы снизить расходы на издание. Его жена вела хронику, новости и еще несколько отделов, была корректором и секретарем. Передовицы в основном писал сам редактор. Газета становилась все более и более популярной. В его квартире еженедельно вечером по четвергам, когда выходил очередной номер газеты, собирались человек 30–40, в основном молодежь. Приходили чиновники, едущие в Сибирь и приехавшие из Сибири. Ядринцев добился основания в Петербурге Общества содействия учащимся-сибирякам и принимал участие в изыскании средств и работы для студентов.

«Восточное обозрение» резко критиковало сибирских чиновников и прежде всего губернатора Восточной Сибири Анучина. В результате жалоб последнего после нескольких предупреждений газета была подчинена предварительной цензуре. Это сразу сказалось на тоне статей, и она стала терять своих читателей. Материальные дела настолько осложнились, что Ядринцев начал думать о закрытии газеты, однако по совету Потанина перенес ее издание в Иркутск,

где Главным управлением по делам печати была закрыта «Сибирь». Издание газеты в Сибири должно было увеличить число подписчиков и улучшить материальную сторону дела, а кроме того, позволить Ядринцеву быть ближе к своей аудитории, получать свежий фактический материал, быстрее откликаться на запросы подписчиков. Он приехал в Иркутск полный надежд на успех.

С 1 января 1888 г. «Восточное обозрение» стало издаваться в Иркутске. Современник, вспоминая Ядринцева в редакции среди многочисленных посетителей и сотрудников, назвал его «бурнопламенным», сыплющим «то красивыми образами, то блестящими заразительного юмора»¹. Ядринцеву приходилось избегать явной оппозиционности, чтобы не подвергать газету опасности, иногда он шел на компромиссы с властью, а среди сотрудников составила группа молодежи, которой хотелось обличать и бичевать администрацию, чиновников, систему, т. е. придать газете не сибирское областническое, а общероссийское политическое направление. Эта группа в основном состояла не из сибиряков и не разделяла идеи, проповедуемые Ядринцевым. Материальные дела газеты шли все хуже и хуже, а ее содержательная часть из-за отсутствия средств и саботажа потенциальных сотрудников становилась бледной и скучной.

На этом фоне открытие сибирского университета в Томске 22 июля 1888 г., о котором Николай Михайлович так долго мечтал и которого так долго добивался, могло бы стать радостным событием в череде неудач, но и оно было омрачено смертью Аделаиды Федоровны. Душевное состояние и дела газеты заставили Ядринцева отказаться от редактирования «Восточного обозрения», оставшись его издателем.

Еще в 1886 г. Ядринцев участвовал в экспедиции по берегам Ангары, Байкала к верховьям р. Орхон в Монго-

¹ Мендельсон Н. М. [Сибирский патриот] // Литературное наследство Сибири. Новосибирск, 1986. Т. 7. С. 309.

лию. В 1889 г. по заданию Восточно-Сибирского отдела РГО Ядринцев с четырьмя спутниками совершил путешествие к верховьям р. Орхон. Целью путешествия было изучение быта инородцев, археологические исследования. Результатом стало открытие развалин столицы Чингисхана Каракорум. Его докладу об этих находках аплодировали в Парижском географическом обществе. Он хотел найти для себя новое поле деятельности, заполнить пустоту, образовавшуюся после ухода из «Восточного обозрения». В 1891 г. Ядринцев принял участие в новой экспедиции в верховья р. Орхон под руководством В. Радлова.

Расставшись с «Восточным обозрением», Николай Михайлович поселился в Петербурге. Его попытки опять взяться за издание газеты в столице не увенчались успехом. В это время он работал над новой книгой «Сибирские инородцы, их быт и современное положение», которая вышла в 1891 г. Вопрос о судьбе инородцев проходил через всю его журналистскую деятельность. Еще за десять лет до выхода книги Николай Михайлович писал, что в цивилизирующемся крае нельзя допускать «унижение, рабство и эксплуатацию человеческой личности», «чем более мы обратим внимание на судьбу инородца, тем лучше воспитаем свое сердце, свой ум и научимся любить и уважать друг друга; в этом успехи нашего гражданского развития, в этом залог будущего»¹. И теперь Ядринцев вновь подчеркивал, что судьба сибирских инородцев заслуживает особого внимания, что невозможно насильно заставить кочевников перейти к оседлости, и делал однозначный вывод, что нельзя отрицать их способность к общечеловеческому развитию.

Проживая в Петербурге, Николай Михайлович не терял связи с Сибирью, занимался переселенческим вопросом, писал записки и делал доклады. Этой теме посвящены его статьи в сибирском отделе газеты «Русская жизнь». Весной 1892 г., когда в Тобольской губернии начался голод

¹ Ядринцев Н. М. Инородческий вопрос // Неделя. 1881. № 13.

и эпидемии, Ядринцев в качестве руководителя санитарного отряда студентов-медиков едет туда.

В 1893 г. Ядринцев побывал в Соединенных Штатах Северной Америки на Всемирной выставке в Чикаго, приехал с новыми впечатлениями и очень хотел поделиться ими с читателями, написать ряд статей. Ему представилась возможность заняться статистическими исследованиями в Алтайском округе, и в 1894 г. с желанием и надеждой еще послужить своей Сибири он отправился на новое место службы, но его планам не суждено было сбыться: 7 июня, вскоре после приезда в Барнаул, в возрасте 52-х лет Н. М. Ядринцев ушел из жизни.

* *
*

Книга «Русская община в тюрьме и ссылке» стала первой крупной работой Ядринцева. О той роли, которую она сыграла в судьбе автора, его самый близкий друг Г. Н. Потанин сказал: «Эта книга, посвященная самому кардинальному из сибирских вопросов, и решила судьбу Ядринцева, она закрепила за ним роль сибирского публициста, которой он остался верен до гроба»¹.

Основу книги составили статьи, ранее опубликованные в журнале «Дело»², главным фактическим редактором которого был Г. Е. Благодетлов. Ядринцев добавил в книгу новые разделы, касавшиеся истории ссылки в России и различных систем наказания в других странах, доработал

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 221.

² В этом журнале были опубликованы статьи: «Бродячее население Сибири» (1868. № 8, 10), «Секретная» (1869. № 5), «Община и ее жизнь в русском остроге. (Записки, веденные в тюрьме)» (1869. № 7, 9; 1870. № 1), «Типы сибирского острога» (1870. № 5), «Исторические очерки русской ссылки в связи с развитием преступлений» (1870. № 10), «Колонизационное значение русской ссылки. (Исторический очерк)» (1870. № 12), «Исправительное значение русской ссылки. (Исторический очерк)» (1871. № 1, 2).

уже опубликованные материалы и в конце 1871 г. отослал рукопись в Петербург. Однако напечатана она была только в сентябре следующего года. В качестве издателя в своих письмах Ядринцев упоминает Шигина. Гонорар автора, отбывавшего в то время ссылку в Шенкурске и нуждавшегося в средствах, составил 300 руб. Этих денег хватило бы на год проживания в Шенкурске «не в особенной нужде»¹.

Ядринцев очень ждал выхода в свет своей первой книги и, как он сам признавался, «положительно страдал» от того, что она долго печаталась². Его статьи в «Деле» были встречены читателями с большим интересом, хотя не все соглашались с автором в отрицательной оценке сибирской ссылки. Ядринцев предвкушал, какое впечатление произведет книга. В адрес одного такого оппонента он восклицал: «Погодите, сэр, то ли будет после книги»³.

Биограф Ядринцева М. Лемке полагал, что книга не случайно была подготовлена к печати в конце 1871 г.: Ядринцев из прессы знал, что в Петербурге в 1871 г. создана Комиссия по разработке тюремной реформы во главе с графом В. А. Соллогубом⁴. Об этом заявлял и сам автор в предисловии к книге, выражая надежду, что его «очерки не будут бесполезными в момент нашей тюремной реформы и могут пригодиться при разрешении хотя некоторых частных вопросов, возникающих при новом исправительном наказании». Ядринцев хотел «содействовать выработке рациональной системы исправления, которая бы, давая полные гарантии общественной безопасности, могла воз-

¹ В письме к Потанину от 12 марта 1872 г. Ядринцев сообщал, что прожил в Шенкурске «не в особенной нужде: «Проживал до 25 и 30 р. в месяц» (Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 12).

² Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 12 марта 1872 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 17.

³ Речь шла о В. И. Вагине, давшем рецензию на статьи Ядринцева в «Деле» и выразившем сомнения в доводах автора против ссылки (Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 29).

⁴ Лемке М. Указ. соч. С. 76.

можно более благоприятствовать перевоспитанию человека и его нравственному совершенствованию». Автор надеялся, что «новая исправительная система наказания более внимательно отнесется к судьбе преступника, внесет новые, гуманные взгляды в систему наказания», и хотел действовать этому. Создание комиссии и разработка проекта реформы актуализировали работу Ядринцева, хотя уже после выхода книги в свет, сетуя на то, что издатель придерживает тираж и на Востоке (т. е. в Сибири) книгу не читают, автор ее в сердцах писал: «<...> не для тюремного комитета я писал ее»¹.

Еще до выхода книги в мае 1872 г., ознакомившись со статьями Ядринцева на тему тюрьмы и ссылки, Соллогуб попросил автора сделать примечания к составленному проекту («запискам») тюремной реформы. Ядринцев сообщал Потанину: «Записки о русских карательных учреждениях составлены, как заявлено, по следующим сочинениям: “Записки из Мертвого дома” Достоевского, “Сибирь и каторга” Максимова и “Община в тюрьме и ссылке” Я[дринцева]. История бродяжества и вред его внесены целиком»². Его просили предложить меры для предотвращения побегов каторжан из тюрем и с заводов и проч. Николай Михайлович откликнулся на обращение Соллогуба письмом, в котором писал: «Что касается ссылки, то нет ничего разумнее и основательнее, как отмена этого бесплодного наказания. Что она в России будет уничтожена инициативой правительства мирно и спокойно, это нельзя не считать великим, смелым и благородным шагом <...> Честь этого великого дела в реформе будет принадлежать тем лицам, рассмотрению которых обязана реформа, а следовательно и вам, ваше сиятельство»³ Обращение к нему как к спе-

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 25 февраля 1873 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 183.

² Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 31 мая 1872 г. // Там же. С. 32.

³ Там же. С. 33.

циалисту не только польстило самолюбию Ядринцева, но и позволило заручиться поддержкой известного государственного человека. Председатель комиссии в свою очередь лестно отозвался о работах Николая Михайловича, отметив, что они «имели значение, кроме литературного, и государственное» и обещал походатайствовать, чтобы их автору позволили продолжить работать над тюремным вопросом «более свободно»¹. В определенной степени статьи и книга ускорили освобождение Ядринцева.

Вопрос о ссылке в Сибирь и ее пагубных последствиях для всего края интересовал Ядринцева, как и других участников студенческого сибирского землячества, еще в Петербурге в начале 1860-х годов. Необходимость ее отмены была для них совершенно очевидна, но трудно сказать, занялся бы Николай Михайлович этой темой вплотную, не окажись он в омской тюрьме, не пройди сам по этапу и не проживи почти шесть лет в ссылке. Первым обратился к этой теме Потанин и даже опубликовал статью в «Томских губернских ведомостях». Деятельность Ядринцева после возвращения из Петербурга в Сибирь и до его ареста в большей степени была посвящена агитации в обществе за открытие сибирского университета, за направление молодежи в столичные университеты и создание сибирской интеллигенции. Непосредственное обращение к ссыльно-тюремной тематике имело элемент некоторой случайности. Потанин вспоминал, как их друг Колосов, сидевший вместе с ними на гауптвахте, договорился с тюремным врачом и лег отдохнуть в тюремную больницу, а затем его опыт повторили Потанин и Ядринцев. В больнице в то время находились бродяга с отмороженными ступнями, позже описанный Ядринцевым как «фельтикультетный человек», и сибирский крестьянин. Эти лица, выступавшие антагонистами, явились олицетворением ссыльного бродячего населения Сибири и сибирского крестьянства. Их споры между собой

¹ Там же.

высветили проблему и перевели общие рассуждения оказавшихся с ними в одной больничной палате молодых людей о вреде ссылки из отвлеченной теоретической плоскости в реальную практическую. Ядринцев и Потанин неожиданно для себя обнаружили, что тюрьма может дать прекрасный материал, которого им очень не хватало для аргументации доводов о необходимости отмены ссылки. После этого открытия друзья попросили о переводе их с гауптвахты назад в тюрьму. «С переходом в тюремный замок мы лишались этих многочисленных льгот, мы меняли гауптвахту с либерально открытыми целый день дверями на камеры замка, большую часть суток запертых тяжелыми железными засовами, но богатство социальных данных, которые нам обещал тюремный замок, было очень соблазнительно»¹, – вспоминал Потанин, который все же предпочел заняться сбором киргизского фольклора среди арестантов-киргизов, а не вопросом ссылки.

В омском остроге в определенные часы тоже можно было ходить из камеры в камеру и даже разрешалось сидеть в чужой камере в то время, когда двери закрывались. «Как только по утрам открывались камеры, Ядринцев уходил на добычу и часто запирался в чужих камерах. Он завел множество знакомств и каждый вечер возвращался в свою камеру с запасом сведений и рассказов», – описывал тюремные занятия друга Потанин². Полученный материал был использован им уже в ссылке в Шенкурске.

О замысле и целях своей работы Ядринцев немного сказал в предисловии к книге, но еще более определенно о том, как он работал над темой, что хотел показать, чего добивался и в чем преуспел, он высказался в письме к Потанину от 12 марта 1872 г. Приведем это место из письма полностью, потому что вряд ли кто-то расскажет о замыслах автора лучше, чем он сам:

¹ Потанин Г. Н. Воспоминания. С. 218.

² Там же. С. 221.

«Работая для “Дела”, я постоянно искал какую-нибудь связующую мысль с теми вопросами, которые меня занимали. Расскажу вам по этому поводу историю моих работ в эти три года. Я начал с тюремных записок и потом перешел к штрафной колонизации. Но как было примирить гуманное воззрение на арестанта, ссыльного и несчастного, с тем злом, которое они приносят в месте ссылки? Что нужно делать с преступниками, ежели уничтожить штрафную колонизацию? Надо указать новый путь наказания и средства обезопасить общество. Какие же они? Т[аким] обр[азом], приходилось поднять весь уголовный вопрос, рассмотреть историю наказания в ее утилитарном и гуманном значении и взглянуть на ссылку с точки зрения общих интересов, а не одних местных, наконец, надо указать и замену ссылки более рациональным наказанием или средствами исправления. Только в таком духе я и мог писать, только тогда мои доводы должны были получить веское общее значение и не поражать односторонностью местных взглядов, за что меня могли упрекнуть. Ведь это вопрос европейских юристов и ученых. Итак, я должен был поднять с корня вопрос о ссылке. Я стал рассматривать ссылку в ее общем значении по отношению к развитию преступлений, в ее общем исправительном значении, в колонизационном и, наконец, с точки зрения общественной безопасности для всего общества. Сделав этот разбор и исторический обзор ее у нас, я обратился к параллельному изучению ее за границей – в Англии. Мало того, чтобы доказать ее роль в деле мировой истории наказания, пришлось познакомиться с историей наказаний. И этого мало, нужно было указать новую систему наказания согласно последним европейским выводам науки, согласно гуманным взглядам, не упуская из виду практических интересов общества. Задача, мой друг, не легкая для моих сил. Я обратился к юридическим вопросам и чуть не потерял голову, насилу я выбрался из этой трущобы при помощи Бэктама, которого долго изучал как

утилитариста. Прибегнув к истории пенитенциарных систем в Европе, я натолкнулся на чудовищные противоречия гуманизма, проводимого [с] помощью утонченных инквизиционных пыток одиночного заключения. Я анализировал все системы тюремного исправления, вроде филаделфийской, аубернской и ирландской, рассмотрел их историю до последнего времени, свел их опыты, перемену к лучшему и убедился, что лучшие системы делают шаги в деле воспитания и нравственного влияния на преступника, наконец, я увидел, что они отступают от прежних принципов разъединения и изолирования личности, а стремятся к проведению социального начала. (Такого исследования не было сделано никем). Многие частные опыты в Европе показали благотворное влияние рациональной социальной жизни в среде преступников и вред их разъединения, к чему стремились старые пенитенциарные системы (это доказательство опытное). Сведя в одно все улучшения, какие делаются в деле наказания: лучшее и даже роскошное содержание падших людей, гуманное обхождение, умственное развитие, воспитание, обучение труду и ремеслам, нравственное теоретическое воспитание, условные отпуска при хорошем поведении и проч., и проч., я обратился к тому, что могло бы быть еще сделано для гуманного наказания в исправительном значении, чего еще не достаёт этим системам. Я увидел, что принципы нравственности в этом деле исправления носят еще доселе чисто теоретический характер в виде лекций и проповедей, но принципы нравственности в деле воспитания должны проводиться также наглядно и практически, чтобы войти в плоть и кровь человека. Нравственные принципы общежития могут быть только вынесены из опытов рационального общежития. Итак, задача состоит в том, чтобы создать педагогически исправительную общину, к которой применить здравые основы социальной жизни, долженствующей воспитать в человеке лучшие чувства благожелания, общего интереса и любви

к ближнему. О таком воспитательном влиянии социальной жизни я нашел подтверждение и в трактатах Спенсера. Какое громадное воспитательное значение на человека может иметь община, каково ее влияние и управление личностью, я сослался на опыты русской тюремной общины, на историю ассоциаций, на историю всего человечества. Обдумав практические формы, в каких должна выразиться подобная система, я пришел к тому, что создал новую исправительную систему. Вот к чему меня привело изучение только одного специального вопроса. Таким образом, мой друг, в своей книге о ссылке с ее дополнениями мне суждено будет выйти и творцом новой теории и новой системы»¹.

Итак, изучив опыт пенитенциарных систем и опираясь на собственный опыт, Ядринцев пришел к выводу, что кроме улучшения содержания и гуманного обращения с заключенными, кроме их умственного развития, воспитания, приучения к труду, необходимо создать «педагогически исправительную общину», которая сама будет перевоспитывать преступников. Описанию острожной «общины», ее структуры, функций и роли в жизни заключенных и бродяг в книге отводится много места (разделы «Община и ее жизнь в русском остроге», «Ссылное бродячее население Сибири»). Это превосходный материал для тех социологов, психологов и этнологов, кто занимается изучением закрытых субкультур. Слово сочетание «русская община» вынесено автором в название книги, что нельзя признать удачным, поскольку под ним обычно подразумевается традиционная крестьянская община, а в книге речь идет о тюремной и бродяжеской корпорациях. Иногда автор называет эти объединения «ассоциацией», «союзом арестантов», возникновение которого обусловлено «одинаковостью положения преступников, потребностью самозащиты и достижения разных льгот», но для него – сторонника общинного социа-

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 12 марта 1872 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 13–14.

лизма – было важно доказать, что дух общинности настолько характерен для русского народа, что может проявиться не только в крестьянстве, но в любом человеческом сообществе. Ядринцев, как и многие представители русской демократической интеллигенции, идеализировал крестьянскую общину и считал ее основой будущего экономического и социального устройства России. И точно так же Ядринцев идеализировал тюремную «общину», хотя довольно часто приводимый им фактический материал вступал в противоречие с его восторженными оценками. Он писал о ней: «Путем долгой и опасной борьбы сложилась арестантская община и сформировала условия, нравы и обычаи своей жизни <...> Таким образом, временный союз, вызванный борьбой с подневольным и горьким житьем, превратился в организованную общину, которая создала себе самоуправление, свое законодательство, свое хозяйство, и развилась в стройные, определенные формы с своеобразным общественным типом. Установление общественных законов на началах справедливости и обоюдных выгод казалось бы невозможным в среде нравственно падших людей, а между тем тут есть и чувство справедливости, и глубокое сострадание к ближнему. Но еще поразительнее самый строй этой общины, основанный на строгой равноправности и взаимности. Творцом ее был русский простолудин; поэтому в складе ее отразился тот же дух *общинной* жизни, каким отличается русский народ во всех сферах своей деятельности, когда он действует самобытно. Состав этой общины и дух социального интереса, поглощение ею личности, остроумные общинные установления, равномерное распределение прав, обязанностей и повинностей – все в ней носит печать народного таланта и мирозерцания»; «она ограждает своих членов от властей, защищает их от разных неприятностей, гарантирует им спокойствие и свободу занятий, наконец, печется как о хозяйственных и денежных делах их, так и о доставлении им возможно больших удобств в остроге,

и взамен этого требует от них покорности ее приговорам, преданности ссыльному братству и арестантскому делу». Острожная община самыми суровыми налогами и строгими условиями боролась, по мнению автора, с монополией и злоупотреблением торгашей-майданщиков, и, «таким образом, то, чего добивались другие общества созданием *потребительных ассоциаций* и общественных лавок, арестантская община создала у себя простым здравым смыслом русского простолюдина»; «начала, выработанные общиной, проливают свет не только на ее прошедшее, но и будущее».

О «тюремной общине» весьма кратко упоминал и С. В. Максимов, который не придавал ей какого-то особенного значения¹. Ядринцев описывал ее исключительно с положительной стороны, увидев в ней прообраз будущего устройства пенитенциарных заведений и, как это вообще характерно для увлеченных натур, несколько оторвался от действительности. Писатель Н. В. Соколов, отбывавший ссылку в Шенкурске, прочитав статьи Николая Михайловича о каторжной «общине», пришел в восторг, и как писал Ядринцев Потанину, «эта открытая, задушевная, но донкихотовская натура вообразила, что там (в тюрьме – *Прим. сост.*) вместе с братством воцарилась идиллия. Насилу разубедил»².

Главная задача – создать «педагогически исправительную общину», даже, скорее, направить уже имеющиеся силы, ее потенциал в правильное русло, считал Ядринцев. Он даже предлагал в ходе реформы при назначении начальников и смотрителей тюрем ввести «известный образовательный ценз или специальный экзамен». Если вспомнить трудовые коммуну по перевоспитанию беспризорников и малолетних преступников, созданные А. С. Макаренко в 1920-е гг., то сам принцип, предложенный

¹ Максимов С. В. Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. I. С. 110–113.

² Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 20 февраля 1872 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 6.

Николаем Михайловичем, уже не кажется совершенно фантастическим, хотя разница между детьми и закоренелыми преступниками огромная. Современники по-разному восприняли «тюремную общину» Ядринцева. Б. Глинский – первый биограф Николая Михайловича – считал мысль о ее существовании «предвзятой» и видел в этом слабую сторону его работы¹. М. Лемке, наоборот, находил главы об общине в тюрьме особенно удачными². Как бы ни относиться к выводам автора, приводимый им материал, бесспорно, очень интересен, особенно для современного читателя.

При создании своего труда Ядринцев испытал влияние «Записок из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Можно предположить, что пребывание Николая Михайловича в омском остроге, где ранее отбывал наказание Достоевский, способствовало более внимательному прочтению «Записок...», но главное – произведение великого писателя по своему гуманизму оказалось очень созвучно со складом ума и зовом сердца Ядринцева. Цитата из «Записок...» Достоевского в авторском предисловии к «Русской общине...» как бы задает общий тон всей книге: «Сколько в этих стенах погребено молодости! Сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, быть может, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего»³. Ядринцев старался в самых закоренелых преступниках отыскать благородные чувства и побуждения. Когда книга находилась в печати, он опубликовал статью «Преступники по изображению романтической и натуральной школы», в которой призывал всех пишущих о преступном мире «любить в людях

¹ Глинский Б. Б. Указ. соч. С. 23.

² Лемке М. Указ. соч. С. 77.

³ Н. М. Ядринцев ссылается на кн. Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». СПб., 1862. Ч. 2. С. 196. Начало приведенной им цитаты несколько искажено.

то, что в них осталось доброго, человеческого, любить человеческую природу за то, что на последних степенях ее развращения в ней есть все-таки проявления добрых чувств, что в ней теплится искра божественного огня, и что эта природа все еще, несмотря на свое падение, может подняться высоко и восстановить в себе благородный человеческий образ»¹. И опять же, как человек увлекающийся, он был склонен отыскивать добродетели там, где их не было, и у него «арестант – человек решительный, способный на подвиги: сомневаться в его слове – значит сомневаться в его силе; он не понимает измены как член общины, – и как член братского союза, презирает всякий обман и иезуитизм <...> самые деликатные мотивы человеческого чувства были всегда доступны ему». Ядринцев видел проблему в том, чтобы в книге «примирить гуманное воззрение на арестанта, ссыльного и несчастного, с тем злом, которое они приносят в месте ссылки», а это зло автор показал всесторонне, с глубоким анализом и статистическими выкладками. Ядринцев достиг поставленной цели: он доказал, что превращение Сибири в колоссальную российскую тюрьму вовсе не означает заселение края, поскольку ссыльно-каторжное население быстро вымирает, оно ненавидит место своего изгнания и по целому ряду причин не может и не хочет работать на его и свое собственное благосостояние, а кроме того, этот преступный элемент развращает местное население, тормозит развитие гражданственности в крае.

Книга Ядринцева в жанровом отношении распадается на две части. Одну часть можно назвать беллетристической. В ней есть страницы личных впечатлений и переживаний самого автора, иногда доходящие до психологического самоанализа («Первые минуты неволи», «История этапного странствия обыкновенного смертного»); там много образов

¹ Литературное наследство Сибири. Николай Михайлович Ядринцев. Новосибирск, 1980. Т. 5. С. 55.

и ситуаций, зарисованных с натуры, и на этих страницах автор выступает как бытописатель тюремной и бродяжеской жизни; и есть главы, в которых представлены вымышленные герои, созданные из типических черт, свойственных определенным типам тюремных обитателей. В одном из писем Потанину Николай Михайлович признавался, что некоторые герои его книги – Петр Решето, Жиган, «тюремный сказочник» – это созданные им собирательные образы¹. Другая часть книги представляет исследование, проведенное главным образом на основе литературы и опубликованных источников, хотя Ядринцев использовал и некоторые документы омского архива, который он разбирал вместе с Потаниным и Шашковым на гауптвахте. Иногда эти разные по жанру и материалу части автор объединяет в одном разделе книги. Например, в разделе «Одиночное заключение (под следствием)» представлены и беллетристическая («Первые минуты неволи»), и исследовательская («Подследственное заключение у нас и за границей») части. Последние два раздела книги полностью посвящены исследованию истории русской ссылки и разных систем наказания.

Большим достоинством книги является то, что ее создатель видел жизнь тюрьмы, арестантские этапы и баржи изнутри, а не как посторонний наблюдатель. Он пропускал все это через себя и потом «эти страшные лица, эти измученные люди, давно уже верно покончившие жизнь в лесах и на каторге» вставляли перед ним, когда он писал книгу о них: «Они вставали так живо, что мои нервы переживали прежние ощущения, да еще в усиленной степени»².

Ядринцев неоднократно, очевидно, чтобы не раздражать чиновников, подчеркивал, что описывает старый русский острог, что многое, о чем он пишет, уже ушло или уходит в прошлое. Он имел возможность сравнивать это

¹ Ядринцев Н. М. Письмо Г. Н. Потанину от 8 декабря 1872 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. С. 147.

² Он же. К моей автобиографии. С. 159.

«старое», виденное им в Сибири, и «новое», уже внедренное в тюрьмах и на этапах Европейской России, когда шел пешком по этапу (с июня до сентября 1868 г.) от Нижнего Новгорода до Архангельска, но эти нововведения мало сказались на улучшении положения арестантов, а в чем-то даже ухудшили его. И автор предупреждал, что проводимые тюремные реформы не меняют сути, меняется внешняя оболочка.

Закончив книгу, Ядринцев не собирался вновь когда-нибудь возвращаться к этой теме. Но она продолжала интересовать общество, а тюремная реформа не отменила ссылку в Сибирь, поэтому Николаю Михайловичу приходилось вновь и вновь поднимать эту проблему. После выхода книги в свет Ядринцев распубликовывал ее по частям в разных изданиях: с 1874 по 1881 г. в газ. «Неделя», с 1874 по 1879 г. – отдельные статьи в «Биржевых ведомостях», в газ. «Сибирь», «Русской речи» и «Вестнике Европы». В 1879 г. Ядринцев сделал сообщение по вопросу сибирской ссылки в С.-Петербургском юридическом обществе, приведя новые сведения. С цифрами в руках он показал продолжавшийся рост числа ссыльных, и что важно, привел высказывания местного населения и окружных исправников, свидетельствовавшие о крайне вредных последствиях ссылки. Причем, в отличие от многих, он выступал против ее перенаправления из Западной в Восточную Сибирь¹.

К теме ссылки, ее вреда для Сибири и бедственного положения ссыльного населения Ядринцев вновь обратился в изданной в 1882 г. книге «Сибирь как колония». В главу «Ссылка в Сибирь и положение ссыльных» было включено много нового материала. Ядринцев знал, что его работы одобрены профессорами Петербургского университета, что они известны высокопоставленным чиновникам, что он заслужил признание как специалист в этих вопросах, и считал себя должным высказываться по ним.

¹ [Ядринцев Н. М.] Новые сведения о сибирской ссылке, сообщенные С.-Петербургскому юридическому обществу Н. М. Ядринцевым. [СПб.], [1879].

В заключение хочется привести строки из книги «Русская община в тюрьме и ссылке», которые могли бы стать эпиграфом к ней, которые как нельзя лучше раскрывают позицию автора и дают нам, ее читателям, основания не так строго судить его за некоторую идеализацию обитателей острогов и бродяг: «Не нам, видевшим несчастье, поднимать руку на несчастных! Но мы желали разъяснить, что жизнь преступников – та же человеческая жизнь, что она совершается по тем же человеческим мотивам. Скажем более: жизнь падших и несчастных нам только дает новые доказательства величия и стремления человеческой природы к добру. Она доказала тот высоконравственный принцип, что братство и любовь – такая глубоко естественная черта человечества, что не изглаживается в сердцах никаких преступников: ни убийц, ни разбойников».

Книга Н. М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» переиздается по первому и единственному изданию 1872 г. с учетом современной орфографии и пунктуации. Постраничные текстовые ссылки, сделанные Ядринцевым, даются без изменений, библиографические ссылки автора уточнены и дополнены.

С. А. Иникова

ОТ АВТОРА

Несколько лет тому назад автор этой книги имел случай близко познакомиться с миром преступников и с жизнью сибирских тюрем. Присматриваясь к внутренней жизни острога, он, естественно, имел возможность сделать много наблюдений в этом «отверженном» мире и наглядно изучить историю преступлений.

Наблюдая закулисную жизнь преступников, автор все более и более приходил к тому убеждению, что это мир таких же людей, как и все другие, так что нелегко ему было выяснить себе, откуда взялись те предрассудки, которые заставляют видеть в преступниках что-то нечеловеческое. День за днем перед ним открывалась картина обыкновенной человеческой жизни с ее радостями и печалью, интригами и желаниями, только замкнутая в узкую рамку острога и неволи, – с очень естественным стремлением – во что бы то ни стало, всевозможными фикциями и усилиями как-нибудь расширить тесную обстановку свою для удовлетворения разных житейских потребностей.

Материал острога представлял такое разнообразное собрание людей, такую массу несчастья, которая невольно заставляла обратить на себя внимание. Это был старый русский острог, да к тому же еще сибирский, где по прежнему способу сваливалась куча людей без всякого разбора – отчаянных каторжников, убийц, ссыльных, мазуриков, всевозможных бедняков, а иногда и людей невинных и глубоко несчастных. В этой массе можно было ближе всего познакомиться с жизнью простого народа и его судьбой. Не одни преступления, разврат и извращение человеческой природы

приходилось открывать здесь; напротив, здесь встречались иногда самые сильные и нередко самые даровитые натуры русского народа. Недаром Ф. М. Достоевский, испытавший знакомство со старым русским острогом, воскликнул в конце своих наблюдений: «Сколько в этих стенах погребено молодости! Сколько великих сил погубило здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, быть может, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего» (1). И действительно, кто опускался хоть раз в глубь народной жизни, кто сталкивался с непочатой массой народа где бы то ни было, тот не может не припомнить слов профессора Бергера¹: «Какая бездна жизненной силы заключается в низших слоях общества и как в этих слоях без всякого возделывания и ухода возникают благороднейшие цветы человеческой души – доброта и любовь, а гений, ум и острота пробиваются к свету, несмотря на все препятствия!» Вот почему автор из своего знакомства с острогом мог вынести не одни только мрачные воспоминания. Здесь, среди людей, во многом, действительно, преступных да еще извращенных жизнью среди развращения и распущенности старого русского острога, – в этом пандемониуме (2) приходилось увериться в общих свойствах человеческой природы – видеть порывы искренних чувств доброты и любви к ближнему. Не говоря уже об отдельных индивидуумах, не вполне испорченных, – в самой коллективной жизни острога нельзя было не найти иногда самых симпатических сторон. Жизнь преступников, как нам казалось, может служить поводом не к порицанию только человеческой природы вообще, но иногда, наоборот, доказательством того, что инстинкты общежития, взаимных привязанностей и симпатии лежат столь глубоко в природе человека, что не пропадают даже в самой отверженной тюремной общине. Подобный вывод, даваемый жизнью, – нам казалось, – не только не расходит-

¹ *Шпильгаген. Загадочные натуры.* СПб, 1870. С. 329.

ся с общечеловеческой философией нравственности, но, напротив, подтверждает всю живучесть нравственного принципа в природе человека.

До сих пор как природа самого преступника, так и общественная жизнь его подвергались только порицанию и исследовались исключительно в одних дурных сторонах своих, как будто в среде преступников и не могло быть некоторых вполне человеческих проявлений жизни, в которых можно встретить иногда много замечательного и поучительного, если, разумеется, жизнь тюремной общины будет подвергнута более всестороннему рассмотрению; между тем русская тюремная и ссыльная община заслуживает тем большего внимания, что в ней полнее, чем в европейских тюрьмах прежнего времени, развились общинные начала. Поэтому автору не хотелось, чтобы исторический опыт нашей тюремной общины пропал даром, и раскрытию внутренней ее жизни он посвятил несколько очерков; он полагает, что община эта может во всяком случае быть любопытна как историко-этнографический памятник нашей народной жизни.

Тюрьма, в которой автору этой книги привелось видеть значительное скопление ссыльных, бродяжеских и каторжных элементов, дала ему повод познакомиться с характеристическими чертами прежней системы наказания; при наблюдении над острожным населением ему пришлось близко изучить нашу ссылку и жизнь бродяжеских общин. Сама жизнь тюрьмы, живые рассказы людей и приобретенные автором записки заключенных давали понятие о том, как наказание отражается в жизни, какие ощущения выносит здесь человек и какие оттенки страданий сопровождают его неволю. Чтобы понять и взвесить всю тяжесть неволи, надо ее пережить и перечувствовать: только тогда узнаешь всю тяжесть лишения свободы, только тогда оценишь все блага этой свободы и человеческой независимости. Кто не знал этого несчастья, тому оно, может быть,

кажется совершенно иным и в другом свете. Точно так же, вероятно, только тот узнает всю жгучую боль ссылки и изгнания, кто сам, по выражению изгнанника Дантэ, «должен был покинуть все, что было дорого его сердцу, испытать, как горек хлеб изгнанника и как тяжело входить и спускаться по ступеням чужой лестницы».

Сведения, добытые личными наблюдениями и расспросами, автор признал необходимым проверить исследованием об историческом значении русской ссылки. Опытное изучение прежнего наказания, как мы полагаем, может служить важным уроком и для будущих исправительно-педагогических систем¹.

Кроме того, автор старался рассмотреть лучшие опыты европейского пенитенциарного наказания, дополнив их теми соображениями, которые он вынес при изучении русской тюремной общины. Он надеется, что его очерки не будут бесполезными в момент нашей тюремной реформы и могут пригодиться при разрешении хотя некоторых частных вопросов, возникающих при новом исправительном наказании.

Искренним желанием автора было содействовать выработке рациональной системы исправления, которая бы, давая полные гарантии общественной безопасности, могла возможно более благоприятствовать перевоспитанию человека и его нравственному совершенствованию. Он надеется, что вводимая у нас новая исправительная система наказания более внимательно отнесется к судьбе преступника, внесет новые, гуманные взгляды в систему наказания и, содействуя исправлению наказуемой личности, снимет с нее хоть часть тех излишних страданий и горя, в существовании которых при прежней системе наказания иногда приходилось убеждаться горьким опытом.

6 декабря 1871 г.

¹ Некоторые статьи автора («Община и ее жизнь в тюрьме», «Одинокое заключение (под следствием)», «Ссылное и бродячее население Сибири» и «Исторические очерки ссылки») печатались нами в одном подцензурном журнале; в настоящем сборнике они помещаются почти без перемены.

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(под следствием)

I.

Первые минуты неволи¹

Помню, началась весна. Широко разлившиеся реки спокойно и ровно легли по равнинам, отразив светлое весеннее небо; деревья зазеленели и покрылись пушистыми серьгами; молодая черемуха, как невеста, убралась белыми гирляндами; кругом переливались нежные и мягкие травы; головки веселых цветов закивали на солнце; свободные птицы реяли в голубом и прозрачном воздухе моей родины; юная верба опустила свои зеленые руки в озеро; зашумели тростники на зеленых островах; молодой соловей начал свою весеннюю песню, и солнце обдало эту расцветающую и ликующую природу своим жгучим и ярким светом. Все звало к жизни, к любви, к счастью!..

В такое-то время меня подвезли к большому каменному зданию острога. Предо мной стоял известный всем, вечно потрясающий фасад «мертвого дома», «дома плача и скорби», со своими темными, как впадины черепа, окнами, с гладко-форменным видом, с холодными и неприветливыми каменными стенами, с декорумом заповров, штыков, решеток и бледно-зеленых лиц. Болезненно завизжала калитка желтых форменных ворот, в которую вошли мы; стукнул засов, быстро задвинутый за нами часовым. Исчез уличный

¹ Записки эти, касающиеся подследственного заключения, принадлежат одному из подсудимых, когда-то при прежнем судопроизводстве долго содержавшемуся в остроге. Записки приобретены нами случайно. Здесь мы помещаем их почти без изменения, присоединив к ним свою особую статью.

шум, и нас окружило мертвое молчание тюрьмы. У меня как будто что-то оторвалось от сердца. Я чувствовал, что за этой калиткой остались вольный мир, моя свобода, жизнь. Я отрывался от них. Надолго ли?..

Мы вошли в мрачную кордегардию (3) острога с какими-то готическими окнами и средневековой мебелью; тяжелые, неуклюжие скамьи, оружие около стен, толпа надзирателей и солдат – все это теснилось среди мрака и грязи. Усатый и форменный народ с тупым любопытством стеснился около меня; толстенький и круглый, как шар, смотритель суетился с бумагами, расписывался, употребляя усилия, чтобы макнуть перо в чернильницу, заплывшую тиной и грязью, таял от жары и отирал крупно льющийся пот с озабоченного и пухлого лица; в то же время один из надзирателей уже лез в мой чемодан, а красный, с рыжими усами и бойким взглядом ключник бесцеремонно начал меня ощупывать с видом такой ловкости, какой не достигнет никакой акушер. Я невольно отшатнулся, но он, даже не взглянув, упорно полез в голенища моих сапог и затем погрузил красные клешни свои в мои карманы – даже с большей развязностью, чем в свои собственные. Какое-то неприятное чувство охватило меня – горькое чувство обиды, унижения. Неприятно было быть в положении какого-то мазурика. Я насилу совладал с своим смущением и даже не обратил особого внимания, как мой перочинный ножичек с каким-то завалывшимся гривенником перешел в карман ревизора. «Извините, это у нас так заведено», – успокаивал меня в то же время насчет обыска вежливый смотритель. Кончились эти пытки. Я отдал деньги, табак, причем, однако, смотритель сделал мне компромисс на десяток папирос, как арестанту из благородных. Скоро смотритель исчез, и затем отдан был закулисный приказ вести меня внутрь острога. Мы пошли по извилистым и темным коридорам, изрытым, как жилы, внутренность этого мрачного жилища. Мы шли по

каменному полу; везде висели каменные своды, придавая суровый и таинственный вид зданию. Сзади гремела сабля и приклады; слышался топот конвоя; впереди бежал толстенный и лысый ключник с ключами. По сторонам виднелись выкрашенные черной краской двери с маленькими окошечками. За одной из них слышался шум. «Наручными его, наручными!» – кричала какая-то хриплая глотка. Затем кто-то завозился и тяжело грянулся на нары. Все это пронеслось быстро, и мы очутились в пустынном закоулке коридора. Ключник вежливо остановился у отворенной двери в маленькую, мрачную комнатку, из которой обдало затхлым, стоячим воздухом. Я взглянул на моего Харона (4): поза его была такая выжидающая и в то же время приглашающая, что я поспешил войти сюда. Прежде всего мне кинулись в глаза в этой комнате закупоренные, двойные, страшно засаленные рамы. Я обратился было, чтобы сделать вопрос насчет их, но уже не нашел никого: ключник знал свое дело, и лишь только я сделал шаг, как дверь захлопнулась, глухо стукнул тяжелый засов, и уже визжал раздражающий ухо старый экономический острожный замок. Конвой удалился, оставив у дверей камеры бравого часового, который стоял все еще вытянувшись. Я осмотрел комнату. Это была обыкновенная секретная камера, шагов $6\frac{1}{2}$ в длину и шага 3 в ширину. Свет тускло пробивался в запыленные и загаженные мухами рамы; решетка делала окно еще темнее. Стены комнаты были покрыты красными пятнами: след чьей-то ожесточенной борьбы с клопами; в стороне стояла занимающая полкомнаты кровать с арестантским тюфяком, толстым, как рогожа, покрытым тоже кровавыми пятнами. Под кроватью, в слое пыли, валялась портянка и деревянный обрубок, залитый салом: след прежнего жильца... «Кто он был: убийца, вор или разбойник? Как он проводил здесь время, как он ожидал наказания, как он мучился по ночам?» – болезненно зашевелилось в голове моей. Но что придавало более всего

мрачный и узничный вид секретной, это – большая, черная дверь с маленьким стеклом, в которую то и дело заглядывал часовой и за которой в антрактах он брякал ружьем. Странно: эта комната, хотя я ее в первый раз видел, показалась мне знакомой. И вдруг моя память стала рисовать мне далекое прошлое. И оно встало, озаренное солнцем моей весны, моего детства. Я вижу праздничный, весенний день. Богатая светская дама, моя мать, едет со мной к обедне в острожную церковь нашего родного города. Тогда я был веселым и балованным ребенком. С удивлением смотрел я любопытными детскими глазами на бледных людей в серых халатах, с унылой, убитой наружностью, стоявших против нас за решеткой. «Это все несчастные, несчастные, мой друг», – говорит мать моя. После обедни мы со зрителем замка пошли посмотреть несчастных. Я не помню, много ли мы обходили камер, но одна из них в особенности врезалась в памяти. В низеньком коридоре нижнего этажа зритель отпер нам черную дверь с надписью наверху: «за грабеж и убийство». Тогда мы увидели одиночного арестанта: он был молод, с худым и бледным тюремным лицом; волосы его висели в беспорядке на лбу; глаза его были красны и как-то безумно блуждали; он встал и поволочил за собой цепь, на которой был прикован к стене. Но главное – он сидел в такой же точь-в-точь комнате, в которой очутился теперь и я. «Боже мой, мать моя, мать моя! Что, если бы ты увидела здесь своего сына!» – мелькнуло в голове моей. У меня что-то стиснуло под сердцем и начало душить меня... Все детство, полное ласки и любви, вся юность, полная живых и чарующих впечатлений жизни, вспыхнули передо мной; старые светлые картины нахлынули на меня сотнями образов... Зашевелилось в сердце и недавнее прошлое, озаренное ярким светом весны и надежды... А закатывающееся солнце, как нарочно, в это время ударило в тусклое окно и мутным пятном отразилось на стене моего темного гроба. Пред-

ставилось мне, как теперь за стенами светло, как ласково там смотрела природа, как ликовала там жизнь, и жажда чего-то, навсегда погибшего, закипела в моем сердце. Я был тогда очень молод, друзья мои, – я еще жить хотел, я любить хотел... А секретная становилась все темнее и темнее; стены ее как будто сжимались, как будто давили меня. «Проклятие! Да какая же это могила!» – шевельнулось в уме моем...

Вот каково было первое впечатление моего нового жилища. Много прошло времени, пока я не стал страшиться его; долго еще пришлось бороться с воспоминаниями и картинками прежней жизни, с влечением к свободе. Много нужно было времени, чтобы отрешиться от прошлого, не смотреть в будущее и стать хладнокровным зрителем и наблюдателем окружающего: до тех пор мне пришлось вынести всю тяжесть одиночного подследственного заключения и самую суровую тюремную обстановку.

Тяжело свежему человеку приучаться к мысли, что находишься в тюрьме. «Воля»... какое это потрясающее слово в остроге; я долго не мог приучиться к его значению здесь. «Наш ключник пришел *с воли*», – говорят арестанты. «Еще, братцы, одного *с воли* привели», – грустно звучит где-то. «Когда-то, ах! когда-то *на волю!*» – слышится постоянно кругом. Тяжело приучиться к тюремным ограничениям: приходится ограничить себя шагами, воздухом, светом, – словом, всем, чем так привык дорожить человек, особенно когда этого лишается. В моей секретной комнате был полусвет, и это составляло тяжелый контраст с светлым летним воздухом и залитым светом двором, видневшимся из моего окна; эта яркая картина для меня была вечно за отвратительным сальным стеклом и всегда возбуждала во мне узническую зависть. Затхлый воздух камеры с непривычки душил меня; кроме того, он отравлялся постоянно соседними ретирадами (5), которые в провинциальных острогах содержатся невообразимо грязно и

небрежно; иногда, задыхаясь, я с жадностью прикивал к вентилятору (с верхковым отверстием, и то наполовину загороженным решеткою), чтобы дохнуть свежим воздухом, взглянуть на чистую краску неба. Через эту форточку я получал довольно – казенную порцию того и другого. Движение – необходимость для человека, но оно невыносимо в клетке в шесть шагов; тем не менее я то ходил по целым часам до кружения головы, то ложился и также по целым часам лежал на койке. Усталые от однообразия глаза лениво бродят по испещренным клопами стенам, по потолку, по черной двери и снова падают на те же предметы. Слух в одиночной тюрьме делается чутким; среди молчания вас тревожит малейший звук или шорох; вы подозрительно в него вслушиваетесь: нервы напряжены до чрезвычайности. Я помню, как во время сна беспокойно и болезненно отзывался каждый стук ружья у часового, а он, как нарочно, играет ружьем. Ночью в особенности вслушивается одиночный арестант. Мерно ходит часовой, и звук шагов его отдается медленно, монотонно и невыносимо томительно. Глаз арестанта не смыкает сон, что понятно при недостатке движения, при спертom воздухе, при постоянно выжидательном настроении. Кто-то щелкнул... где-то раздались шаги... откуда-то донесся невнятный, глухой, задушенный стон... «Что это?!»... Так больные и раздражительные дети вслушиваются ночью.

Утро. Стучит тяжелый засов; скрипит замок; прерван ваш сон, которым вы едва забылись перед утром, а с ним исчезла и вольная греза, испуганная этой железной действительностью. Входит ключник с казенными щами; он смотрит заискивающими, плутовскими глазами и лебезит около вас. Вы думали что-то спросить его, но остановились. Эта фигура тюремщика вам становится противной. Дверь, однако, предупредительно и быстро затворилась; ключник таинственно пошептался с часовым насчет досмотра и удалился. Проснулись вы недовольные, раздраженные, и в

том же расположении духа продолжается ваш день: вас бесит и одиночество, и заглядыванье караульного начальства в форточку двери, и тупое, без выражения, лицо часового, и скрип замков; одиночный арестант делается невольно болезненно раздражительным. Это переживает почти каждый человек в одиночестве секретной. Злоба на все и на всех охватывает душу арестанта; он порывисто ходит по своей клетке; грудь бушует и вздымается; бешенство начинает душить его. Но что тяжелее всего... это то, что одиночный арестант должен нести свое горе и досаду в себе: ему нельзя высказаться; у него нет облегчающего рефлекса для раздражения своего чувства. И чем молчаливее, чем скрытнее должен держать себя арестант, тем сильнее и яростнее развивается его злоба. В этом безмолвном, мучительном гневе арестант проводит дни, месяцы, а то и годы. Он издает безмолвные вопли; он молчаливо клянется в мести, и часто в нем вырабатывается грозный характер, который со временем, конечно, проявится в жизни и в отношениях к людям – проявится самым злым, самым опасным образом. Преступники грубые и неразвитые, сидевшие долго в уединении на цепи, являлись впоследствии еще озлобленнее и беспощаднее: из них выходили самые страшные мстители и убийцы. Это можно видеть из жизни многих наших каторжных, сживавших на цепи. Долгое уединение делало желчными и озлобленными даже людей развитых, у которых довольно силен интеллект, чтобы обладать страстью и хладнокровно обсуждать свое положение. В европейских пенитенциариях известно по наблюдениям, что у келейно заключенных являются вследствие злобы так называемые взрывы или порывы бешенства в виде сильнейших аффектов. В русской тюрьме я видел, как терпеливые и выносливые каторжные, не раз спокойно ходившие под плети, быв посажены надолго в секретные, худели, бились с досады головой об пол, а иногда и плакали; другие арестанты, часто скромные по натуре, били стекла, разбивали двери

и кидались с шайками на ключников. В острогах ключникам и надзирателям приходится иметь баталии и ссоры больше всего с секретными арестантами. Это болезненное, раздраженное состояние секретного арестанта обнаруживается как при самом незначительном поводе в остроге, так часто и на допросах пред судьями и следователями. Иногда «упорство» и «грубость» – столь многозначительные признаки преступности в глазах следователя – есть просто болезненное раздражение организма у уединенно заключенного, факт, объясняющийся не «злою волей», а патологическим расстройством организма, явившимся как результат тюремных ограничений и стеснений свободной, нормальной жизни человека.

Но бывают у уединенного арестанта минуты и другого свойства. Это минуты реакции после сильного, неестественного раздражения организма, минуты бессилия, гнетущей тоски, когда весь организм ослабевает под влиянием отчаяния и безвыходности; человек тогда падает духом и энергией. В такие минуты секретный лежит, как труп, в какой-то тупой безнадежности, с ноющим сердцем, с безмолвными рыданиями в груди. Затем мало-помалу это состояние переходит к постоянной тихой грусти и к какому-то безжизненному и апатическому прозябанию, обозначающему упадок всех сил. Если при кратковременном уединении такое состояние организма является временным припадком, то при долгом одиночном заключении оно переходит в постоянное и хроническое. В долгосрочном уединенном заключении тоска и мысль о безвыходности может довести человека до положительного изнеможения, до потери всякой нравственной силы, до животной покорности и оупения. Это называется на языке экспериментаторов одиночного заключения «усмирением и приведением к раскаянию» личности. В этом состоял апофеоз одиночного исправления, до которого старались довести преступника европейские и американские тюремщики-

теоретики, творцы филадельфийской системы (6). Но легко заметить, что это так называемое исправление есть на самом деле просто результат физического ослабления человека и доведения его до болезненного, изнуренного состояния. Раз доведенный до такой покорности субъект, потерявший всякую силу и энергию, становится на самую жалкую степень существования: он теряет самую лучшую из черт человеческого характера – свою самобытность, склонность к независимости, к инициативе и делается забитым, бессмысленным рабом, неспособным ни к какой энергической деятельности. Таких опустившихся, забитых, вечно унылых и больных личностей можно видеть во всех европейских пенитенциариях; это бледный, худой и изможденный народ, дошедший до животной покорности и идиотизма; он машинально живет и машинально повинуетя взгляду тюремщика с плетью в руке. Таков новоизобретенный способ приведения личности из ненормального состояния в нормальное! Только не наоборот ли: не приведение ли это из нормального состояния в ненормальное? Не убийство ли это духа? Не обезчеловечение ли это, скорее, личности? Над этим бы еще не мешало пенитенциаристам задуматься.

Но если тяжело положение уединенного узника, мучающегося от стеснения его свободы, то оно во сто крат тяжелее для арестанта подследственного, терзаемого наедине мыслью о следствии, подсудности и находящегося в загадочном положении относительно судьбы своей.

Я помню свои подследственные испытания. После допросов для меня наступили самые мучительные часы. Атакуемый подозрениями и обвинениями, особенно в сильном преступлении, человек в это время чувствует себя на краю гибели. Что страшнее всего... это то, что судьба обвиняемого в эту минуту зависит от него же самого. Если он невинен, он должен измышлять аргументы в свое оправдание и опровергать подозрения; виновный измыш-

ляет средства опровергнуть улики, скрыть следы и т. д. В том и другом случае обвиняемый постоянно борется за свою жизнь. Он чувствует, что одно неосторожное слово... и он погиб. В это-то время наступает та психическая борьба, та напряженная головная работа, которая ни на секунду не дает покоя, иссушает мозг, доводит до изнеможения и бессилия организм. В это время утомляешься так, как будто исполнял страшную физическую работу. Мысли в голове толпятся в беспорядке; вереницей встают мучительные предположения; самые изворотливые проекты вьются, как змеи, один за другим; одно решение сменяется другим, и, что ужаснее всего, – ни на одном не останавливаешься. Ряды идей пробегают с невероятной быстротой: то поспевают и необыкновенно широко разворачиваются в одну минуту как сказочные дворцы, то так же быстро и бесследно рушатся. Так проходят часы и дни. А ночи!.. Боже мой, что это за ночи!.. Вечером у человека фантазия обыкновенно усиливается; в спертom и душном воздухе секретной, кроме того, являются приливы крови к голове; поэтому воображение сильнее работает, и фантазия становится чудовищной и болезненной. В это время начинается самая адская пляска мыслей. Тут возникают самые загадочные идеи и предположения, перерастая одни других чудовищностью; напуганная фантазия строит уродливые и страшные картины; создаются самые неосуществимые планы, над которыми приходится смеяться на утро; приходят нелепые, но тем не менее самые решительные мысли, и все жжет мозг и заставляет болезненно пугаться сердце. Наконец, утомившегося, вас охватывает полузабытье, но голова работает в данном направлении, только мысли сменяются бредом. Грозные, фантастические призраки, а то из действительного мира не менее страшные образы, вместе с потрясающими эшафотными сценами толпятся в расстроенной фантазии. Еще сильный прилив крови к голове – и в глазах покатались мертвые, окровавленные

головой – человек погрузился в мир галлюцинаций. Еще шаг... и он будет доведен до сумасшествия. Под влиянием таких фантазмагорий бывали случаи, что люди лишались рассудка навсегда. Я помню, как раз стены нашего острога среди ночи потряслись воплями сходящего с ума подследственного. Целые ночи он бегал в иступлении по своей секретной. Он то звал жену и детей, то неистово рыдал, то молился, то безумно вскрикивал, как будто разбивали ему грудь железными молотами... Ни медицинская помощь, а впоследствии и сама свобода не помогли ему. Он остался в состоянии какого-то духовидения; ему казалось, что его преследовали дьяволы. Так от одного удара терпят навсегда несчастное крушение все способности – уже не говоря об извращении убеждений, привитых образованием. В этом же болезненном состоянии помешательства люди кидаются иногда в самое ужасное отчаяние и безнадежность и лишают себя жизни. Иногда преувеличенный страх грозного следствия или боязнь выдать тайну при ослабевающих физических силах еще более располагают к этому.

В безнадежном отчаянии в это время блуждает экзальтированная мысль; она хватается за все способы самоубийства, и дьявольская изобретательность как нарочно находит самые удобные способы для этого. Все представляется к услугам – и пояс, и обрывок простыни, и оконное стекло... «Как это сделать легко!..»¹

«А жизнь?..» – мелькнет жгучий вопрос – и масса новых впечатлений начинает бороться с предшествовавшими. В душе происходит страшная борьба, какая-то внутренняя

¹ Этот психический факт, отмеченный нашим подследственным, далеко не случайный, как убеждает опыт. В одиночном заключении в Мазасе при самоубийствах заключенные обнаруживали много остроумия: 25 из них задавились на галстуках, прикрепленных к окну, 2 покушались устроить отраву, намачивая копейки в урине, чтобы произвести медную окись (ярь). Все это доказывает, что никакие предосторожности не удерживали от самоубийств.

ломка, так что грудь стонет; слышно, как силы измалываются, и человек, обессиленный, изломанный, в страшном изнурении сваливается снова на койку...

Но если и не кончилось дело катастрофой, то сколько мук вынесет такой подследственный секретный, которые отразятся и на его организации, на его силах, способностях и на годах жизни! Известно, что люди в тюрьме, под влиянием страшных ожиданий, старели в одну ночь. Такова была участь Людовика Сфорца и Марии Антуанетты; такова же, вероятно, была участь Франсуа Бонивара (7), бывшего в заточении в Шильоне у герцога Савойского, судьбу которого воспел Байрон. Начальные слова «Шильонского Узника» поэтому дышат глубокой правдой.

My hair is grey but not with years,
Nor grew it white
In a single night¹.

Но если приговариваемые к смерти седеют в одну ночь, в несколько часов, если другие, под влиянием ожиданий, впадают в чахотку и умирают в несколько дней, предвидя смертный приговор, то у подследственного, под влиянием загадочности судьбы его, при ожидании часто преувеличенного наказания, седеет зато изо дня в день волос за волосом, а драгоценные капли жизни по часам уносятся бесследно навсегда; только впоследствии обнаружится этот горький дефицит в недожитых годах и убитых силах.

Я пережил подследственные тяжкие минуты. Благодаря небу, что прошли для меня эти дни и ночи, прошло следствие. Мое окно было открыто; нежащий воздух пахнул на меня и освежил бледное, как стена, лицо. Я пощупал свою голову, прислушался к сердцу...

¹ Мои волосы седые, но не от годов: их сделала белыми одна только ночь. (The Prisoner of Chillon I, Byron).

Слава Богу, мысль моя пережила тяжкие испытания; сердце мое бьется ровно, успокоилось и не изменилось. А кажется, многое ли, многое ли получил я! Но что до этого! Свет и солнце опять доступны мне. Я слышу, как поцелуй весны коснулся моего сердца и кровь заиграла и покатилась быстро и весело по молодому телу, затрепетавшему жизнью и любовью. Безумные мечты и надежды опять охватили меня; угнетенная мысль вырвалась и вольно понеслась вдаль за эти виднеющиеся зеленые поля, к тебе, моя дорогая, бесценная родина!..

Я упал своей истомленной головой на окно. О, жизнь подкупающая, вечно прекрасная, вечно влекущая, я был опять твой!..

II.

Подследственное заключение у нас и за границей

Представив отрывок из дневника одного подследственного, мы впоследствии имели возможность убедиться, что большинство подследственных при строгом уединенном заключении испытывает подобные же тяжкие ощущения; редко кто не переживает их в первое время заключения; для иных подобные муки кончаются слишком фатально, так как развившаяся в уединении тоска ведет прямо к сумасшествию или самоубийству. Сколько нам известно, в старых русских тюрьмах, как читатель и увидит из дальнейших записок, уединение обыкновенных подследственных преступников далеко не было строго соблюдено и так называемые секретные могли и между собой обмениваться мыслями, и сноситься с остальным острогом; от того сумасшествия в *общих* русских тюрьмах были редки, между тем как в процессах

особенной важности, где уединение строго соблюдается, такие случаи повторялись чаще. Психические повреждения обыкновенно обнаруживаются страшной тоской, потом страхом, появлением галлюцинаций и, наконец, помешательством или какой-либо манией. Эта зависит от той сосредоточенности на одной мысли и от той беспрестанной ажитации (8), в которой находится подсудимый. Одиночное заключение подсудимого не походит на то сравнительно спокойное состояние, когда человек подвергнут заключению на срок после приговора. Точно так же положение в тюрьме человека развитого, образованного, могущего жить умственной жизнью, может значительно разниться от положения человека неразвитого: первый, по художественному выражению Ричарда II у Шекспира, может добиться того, что «мысли населят его темницу толпою жильцов» (9); второй, не привыкши работать мыслью, останется в горьком одиночестве, в состоянии оупления, так как раньше он жил одними впечатлениями, и мысль его самостоятельно возбуждаться не привыкла. Еще более сносно положение человека развитого, если он будет снабжен книгами и если ему дозволены занятия. Два немецких политических преступника, Штеллер и Корвин (10), не испытали тяжелых ощущений уединения в Брухсале и даже в своих сочинениях отзывались в пользу уединенного заключения¹. Понятно, что эти люди жили своим внутренним миром, так как были погружены в ученые и литературные занятия. Люди, сосредоточенные на известной мысли, поглощающей их существование, могли работать во всяком положении: гениальный Кондорсе, скрываясь у своей родственницы Вернет ввиду своей казни, обладал настолько

¹ *Schlatter G. F.* Das System der Einzelhaft in besonderer Beziehung auf die neue Strafanstalt in Bruchsal: Stimme eines Gefangenen über Zuchthäuser. Mannheim, 1856; *Corvin O. von.* Die Einzelhaft und Das Zellengefängniß in Bruchsal – это глава из вышедшей вслед за этим его книги «Erinnerungen aus meinem Leben». Hamburg, 1857.

философским спокойствием духа, что мог написать знаменитые «Очерки исторического развития человеческого духа» (11), составляющие одно из великих творений человеческого ума. Литература обязана некоторым лицам, бывшим в тюремном заключении, лучшими сочинениями, начиная с незабвенного романа Сервантеса «Дон Кихота Ламанчского». Один из известных и пламенных романов Гверацци был также написан в тюрьме (12). В этом случае уединение и досуг, вероятно, еще более способствовали развитию роскошной фантазии художника, так как идеалы свободы еще пламеннее и неотступнее рисовались в душе в минуту неволи; тогда мир мыслей и фантазии заменял человеку мир людей.

Еще более дает силы для перенесения уединения одушевление какой-нибудь идеей – религиозной или политической. Под влиянием фанатической преданности идее человек может очень долго питаться и вознаграждаться в своем одиночестве только этой идеей и сохранять свое спокойствие посредством сознания своей честности и чувства собственного достоинства. Таким образом, например, упорный Барбес проводил многие годы заключения и даже не хотел выходить из него (13).

Но подобные натуры – все-таки исключение: ими нельзя мерить обыкновенных людей. На простых людей уединение, как и молчание, действует положительно оупляющим образом. Это замечено как в иностранных пенитенциариях, так обнаружилось и в одной из русских тюрем, устроенной по системе молчания. Как видно из книги г-на Никитина (14), в петербургской морской тюрьме долгое молчание доводило матросов, по замечанию ротных офицеров, до идиотизма. Самые ярые защитники уединенного заключения, и преимущественно немецкие криминалисты, не могли доказать благотворного его влияния, – напротив, самые факты, представляемые некоторыми из них в подтверждение их мыслей, часто клонились против них самих.

Так, какой-то Бауер¹, служащий 10 лет в Брухсале, вздумал спросить, – конечно, официально, – у подведомственных ему дисциплинированных уединенных узников: что они предпочитают – уединение или общее заключение? На этот вопрос 127 человек из них сказали, что они предпочитают уединение; 25 других сказали, что для них *с другими веселее*, 20 выказали предпочтение уединению по тому соображению, что срок келейного заключения короче общего (конечно, предпочтение основательное, но не доказывающее склонности к уединению), наконец, 20 сказали, что им все равно. Почтенный Бауер выводит из этого такое заключение, будто уединение или общительность – дело индивидуального вкуса. Но так как и вкус имеет общие законы, то мы позволяем себе доверять больше вкусу всего человечества, оказывающему предпочтение общежитию, чем странному вкусу одних брухсальских заключенных, доведенных до этого вкуса насильственно. Отзывы брухсальских узников скорей доказывают то, что эти несчастные люди с помощью уединения и дисциплины доведены до такого идиотизма, что многие (127 чел.) даже потеряли общечеловеческий инстинкт к социальной жизни; иные дошли до индифферентизма и только у 20 остались смутные признаки потребности общежития. Влияя на умственные способности вообще, уединение влияет и на склад характера: продолжительное уединение и молчание часто из живого и общительного человека делают мрачного, молчаливого и злого мизантропа. Точно так же оно часто влияет и на изменение какой-нибудь частной способности. Нам случилось видеть одного поляка, сосланного в Сибирь, но проведенного значительное время в келейном заключении во время следствия. Этот человек после заключения получил спячку; он спал по целым дням, изредка вставая на 5 минут, – спал посреди самой оживленной компании. Спустя год, он, однако, оправился. Нам

¹ *Bauer A. Der Gewerbs-Betrieb in den Strafanstalten mit besonderer Beziehung auf das Zellengefängniss in Bruchsal. Karlsruhe, 1861.*

сказывали про особенности, оказавшиеся у двух молодых людей, выпущенных из крепости: они совершенно потеряли способность складно говорить; их мысли забежали постоянно вперед прежде, чем они успевали передавать их. Декабрист Батенков – человек необыкновенно крепкий, выдержавший 20-ти или 25-летнее заключение в крепости, в первое время по освобождении, как говорят, незаметно разговаривал сам с собой. Подобных наблюдений можно было бы сделать много. И желательно, чтобы психиатры и вообще врачи предприняли, наконец, исследование относительно влияния, производимого уединенным заключением. Мы уверены, что обстоятельное посещение одних полицейских домов психиатрами-медиками привело бы их к несомненному убеждению в том, что подследственные арестанты испытывают психические мучения и подвергаются более или менее значительному нравственному расстройству.

Подобные исследования уже были производимы за границей, и мы не можем в этом случае не указать на замечательное сочинение французского доктора Пьетра-Санта о келейном заключении: «*Mazas, Etudes sur L'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire*»; сочинение это заслужило одобрение парижской медицинской академии. Почтенный доктор неопровержимо доказал фактическими и статистическими данными, что в уединенном заключении мазасской тюрьмы сумасшествий было гораздо более, чем в общей тюрьме Madelonnette. Самое влияние уединенного заключения на умственные способности он характеризует следующим образом:

«Минута, когда заключенный увидит затворившуюся за ним дверь его кельи, производит на человека глубокое впечатление, каков бы он ни был, – получил ли он воспитание или погружен в мрак невежества, виновен ли или невиновен, обвиняемый ли он и подследственный или уже обвиненный. Это уединение, вид этих стен, гробовое молчание – все это смущает и поражает ужасом. Если за-

ключенный энергичен, если он обладает сильной душой и хорошо закален, то он сопротивляется и, спустя немного, просит книг, занятий, работы. Если заключенный – существо слабое, малодушное, то он повинуется, но незаметно делается молчаливым, печальным, угрюмым; скоро он начинает отказываться от пищи и, если он не может ничем заняться, то остается неподвижным долгие часы на своем табурете, сложив руки на стол и устремив на него неподвижный взор. Еще несколько дней – и самая прогулка уже не будет его привлекать; визиты священника или монахов уже не утешают его, и слова доктора не выводят его из мрачной задумчивости. Смотря по степени его умственного развития, смотря по его привычкам, образу его жизни и нравственной конструкции, маномания (15) примет в нем форму эротическую или религиозную, веселую или печальную». «Подобные умственные потрясения, – продолжает ученый доктор, – составляют неизбежное последствие системы заключения: они бываю́т даже у таких людей, которые ранее пользовались превосходным здоровьем, которые не имели никакого болезненного предрасположения – наследственного или приобретенного, и, что важнее всего, подобное состояние проходило у них при устранении коренной причины, причинявшей расстройство. Мы доказали, что такое счастливое врачующее действие оказывали развлечение, общество, прогулки и перевод в общее заключение. Все это заставляет нас принять следующее положение: *келейное содержание содействует более частому развитию сумасшествий*» (des alienations mentales, p. 46–48).

Точно так же чрезвычайно замечательны и статистические данные относительно самоубийств, совершающихся во время уединенного заключения. Пьетра-Санта по этому поводу сравнивает старую и общую тюрьму Vielle-Force, новую общую тюрьму Маделоннет и келейный Мазас. В Vielle-Force с 1840 по 1849 г. на 37 397 заключенных было 3 самоубийства и 4 покушения, т. е. одно самоубийство

на 12 465 и одно покушение на 9 000; в Маделоннете 1 на 12 000, между тем в Мазасе с 1850 по 1852 г. было 12 самоубийств и 13 покушений на 12 542 человека; следовательно

1 самоубийство..... на 1 045
 1 покушение..... « 900

а с 1852 по 1854 г. 14 самоубийств и 30 покушений, т. е.

1 самоубийство..... на 900
 1 покушение « 424

Из этого видно, что самоубийства в Мазасе были в 12 раз многочисленнее, чем при общем заключении в общей тюрьме *Vielle-Force* и другой подобной же – Маделоннете (р. 54).

Все самоубийства Мазаса при дальнейшем рассмотрении распределяются таким образом: из 26 самоубийц 5 были осужденные на сроки, а 21 – обвиняемые подследственные (*prévenus*). О времени лишения жизни в уединении статистика показывает следующее:

Из 26 случаев самоубийства совершались:

14 раз в первые восемь дней (от 1–8 дней),
 3 раза в первый месяц « 9–30 «
 7 раз во второй месяц « 30–60 «
 2 раза в третий месяц « 60–90 «

По годам и возрасту, лица, лишившие себя жизни, распределяются таким образом:

3 имели менее 20 лет
 6 « от 20 до 40 лет.
 7 « « 40 до 50 «
 10 « « 50 и более.

Все это, как и другие наблюдения, привели доктора Пьетра-Санта к следующим категорическим выводам:

1) Вообще заключенные, лишившие себя жизни, не были из категории людей развращенных, потерянных и погрязших в преступлениях, несчастных без веры и закона, не имеющих ни места, ни очага.

2) Большинство из них было по обвинению за проступки (*délits*), которые угрожали им наказаниями исправительной полиции.

3) Первое впечатление уединения и келейного заключения было столь сильно, что мысль о самоубийстве рождалась в их уме мгновенно с необыкновенной силой. Двое из заключенных прекратили жизнь свою на другой же день после своего заключения; 14 из 26 не пережили и недели.

4) Эта склонность к самоубийству наиболее энергически обнаруживались в людях солидных лет, которые уже прожили свой век и склонялись к закату¹.

Все эти неопровержимые доводы, основанные на статистических данных, показывают, что ежели уединение вообще вредно влияет на всех заключенных, то тем разрушительнее действие его на подсудимых. Заметим при этом, что таково действие уединения еще в самых лучших тюрьмах, устроенных с соблюдением всевозможных гигиенических условий. Мазас, как известно, обошелся Франции в 5 000 000 франков. «Никто не отрицает, – говорит Пьетра-Санта, – что тюрьма эта, построенная с большими издержками, создана по хорошо обдуманному плану; система вентиляции и снабжения воздухом заслужили одобрения двух комиссий, составленных из знаменитых физиков и ученых академиков». Физическое здоровье заключенных Мазаса находилось даже в лучших условиях, чем в старой тюрьме *Vielle-Force* и в *Маделоннете*: болезней и смертностей здесь меньше.

¹ *Prosper de Pietra Santa. Mazas: Etudes sur l'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire. Paris, 1858. P. 59–60.*

С 1852 по 1854 г. пропорция больных распределялась таким образом:

В Мазасе..... 11,71 на 100 заключенных.
 « Маделоннете (с 1852 по 1854) .. 18,65 « 100 «
 а в Vielle-Force (за 10 лет) 24 « 100 «

Смертность была:

В Vielle-Force 0,67 на 100 или 2,81 на 100 больных.
 « Маделоннете 1,08 « 100 « 5,71 « « «
 « Мазасе 0,22 « 100 « 1,94 « « «

Все это говорит, что даже в новых тюрьмах и при самом лучшем содержании уединение действует самым убийственным образом, и улучшение в физическом содержании не спасает в этом случае от роковых последствий. Мы не можем не привести по этому поводу доклада, читанного 17 апреля 1855 г. в парижской медицинской академии. Вот как отвечает этот доклад защитникам уединенного заключения:

«Вы соединяете в ваших острогах все, что только абсолютно необходимо для органической и животной жизни, но вы отвергаете все то, что относится к жизни нравственной. Вы предоставляете вашим заключенным несколько книг, которые, впрочем, не всегда соответствуют умственному развитию тех, кто умеет читать, и которые на многих далеко не могут оказывать нравственного влияния и не вдохновляют их надеждой; вы позволяете три четверти часа прогулки и довольно редкие объяснения с директорами, монахами, медиками – людьми, конечно, весьма любезными, но к которым часто заключенный ни по своему характеру, ни по нраву не может чувствовать никакой симпатии. Вы не отнимаете свободы мыслить – нет: вы не можете этого отнять, какими бы способами ни придумали»

мывали это сделать, потому что разум есть самое неприкосновенное и самое свободное, что только есть у человека; но уединенным заключением вы домогаетесь лишить разум всего того, что может упражнять его в нормальных гигиенических условиях, – всего того, что должно укрепить и воодушевить его в *доброжелательности*, то есть лишаете тех нравственных агентов, которые привязывают к жизни, ибо человек живет только для того, что любит. Ваши узники, – говорите вы, – хорошо содержатся; но это составляет не Бог знает какой либерализм. У них нет недостатка ни в воздухе, ни в пространстве. Это так; но они дышат без отрады, без утешения, оплакивая настоящее и страшась будущего. Если бы они сохраняли надежду, они не убивали бы себя. И неужели это значит следовать законам гигиены? И не должны ли столь важные нарушения жизненных условий породить хронические болезни, как сумасшествие, расположение к самоубийству, чахоточные припадки и тому подобное?»¹

Ввиду такого вредного влияния, как и ввиду финансовых соображений, келейная система во Франции была совершенно отменена циркуляром Персиньи от 17 августа 1853 г.

Подобные же результаты одиночного заключения обнаруживались и во всех других пенитенциариях Европы. Так, в английской Пентонвильской тюрьме придумано было все для устранения вредных последствий уединенного заключения. Сюда поступали только сильные и здоровые преступники не старше 45 лет, и при всем том в первые годы существования лиц, лишившихся рассудка, считалось 13,7 на 1000 человек заключенных, между тем в Мильбанке, где заключение общее, помешательств было только 4,4, а в среде свободного населения Лондона 2,46 на 1000. Таково было исследование и донесение прави-

¹ Rapport sur un memoire de M. le Docteur de Pietra-Santa lu à l'Academie de Médecine en séance le 17 avril 1855 par Londe et Collineau.

тельству английского врача Бели (Report for the year 1852). До последнего времени Пентонвильская тюрьма также представляет несравненно более помешательств и покушений на самоубийство¹. Таким образом, строгая одиночная система, несмотря на защиту ее многими теоретиками и даже некоторыми официальными врачами, как Созом (Sane), Лелю, Морель и Филлентроп, доказала на практике, что она вела за собой тяжелое умственное настроение (*dépression*), помешательство (*folie pénitentiaire*), аффекты или взрывы и самоубийства. Но, кроме указанных здесь вредных последствий одиночного заключения, есть много и других, не менее пагубных и тяжелых последствий уединения, которые не подвергнуты еще исчислению. Так, например, берлинский врач Беренд (Behrend) говорит, что до сих пор упускалось важное последствие одиночного заключения – *онанизм*, чрезвычайно развитый в пенитенциариях. Точно так же в списке болезней не помещаются бесчисленные галлюцинации. Несомненно, у одиночного заключения есть множество побочных недостатков. Христиансен и Шюпфер, между прочим, говорят, что уединение ведет напоследок к совершенному уничтожению в человеке «чувства и потребности общезития», т. е. находится в прямом противоречии с общечеловеческой природой, предназначению для социальной жизни². Если таким положением убивается в человеке и чувство симпатии, на котором основываются все нравственные сочувственные инстинкты, то вред уединенной жизни и дурное ее влияние будут еще ощутительнее.

Такие последствия келейной системы были слишком явны и повели в Европе к значительному ограничению уединения во время срочного наказания. Англия и

¹ *Mayhew an Binny*. The criminal Prisons of London 1862 и донесения доктора Брадлея. Reports of the Directors of Convict prisons 1860, 1861 years.

² Адам Смит указывает на изменение характера в уединении и на утрату общественного такта (Смит А. Теория нравственных чувств, или Опыт исследования. СПб., 1868. С. 35).

Ирландия ограничили его девятью месяцами. Шведский король Оскар так хорошо понимал тяжесть этого наказания, что предназначал его только на два года для самых тяжких преступников. Наконец, везде сроки уединенного заключения были уменьшены наполовину и более. По гольштейнскому закону, например, шесть месяцев уединения считается за один год, один год за два, четыре за девять, пять за 12, шесть за 16 и семь за 20 лет. Точно так же произведены смягчения и в самом содержании срочных уединенных преступников, и потому нынешнюю систему уединения в Пруссии или Ирландии уже никоим образом нельзя смешивать, как делают разные теоретики и криминалисты, со старой системой пенсильванской. Моабит, например, при всей своей педантической преданности идее разъединения (например, до того, что здесь заведены даже шапки для преступников, скрывающие их лица), в других отношениях совершенно изменил всю систему уединения. Так, в этой тюрьме существуют уже прекрасная школа и обширная библиотека; келейно заключенным дают книги, бумагу, перья, принадлежности для письма и рисования, чертежи, модели, карты; их водят в школу и церковь; кто не умеет ни читать, ни писать, того этому учат. Кроме того, целый день заключенные заняты работой, которая их развлекает. Работы эти чрезвычайно разнообразны; многие из них требуют искусства и размышления, причем уединенный арестант имеет возможность не отуплять, а развивать свои способности, и, наконец, создает для себя свой внутренний мир. В то же время заключенные могут переписываться и говорить с родными. Их ежедневно посещают директор, священник, учитель, доктор, надзиратели, мастеровые, которые учат их работе; наконец, они видят и посторонних посетителей, которые являются осмотреть заведение. Все это уже далеко не абсолютное уединение, а поэтому опыты таких пенитенциариев, как Моабит, доказывают не столько безвредность собственно

уединенного заключения, сколько обратное положение, а именно: по мере того, как при келейном заключении приговоренный снабжается занятиями, чтением и письмом (что составляет косвенное общение с другими людьми), – по мере того, как он сносится часто с надзирателями, учителями и священниками, – по мере того, как ему дозволяется свидание или переписка с родственниками, – шансы к тоске, аффектам и сумасшествию уменьшаются и наконец исчезают. Все это, без сомнения, говорит скорее против уединения, чем за него.

Но ежели таково положение срочного уединенного узника и такие смягчения признаны необходимыми на практике, то положение подследственного еще более заслуживает внимания европейских юристов.

Между тем строгость их заключения всего менее обращала на себя внимание. Даже в самой Франции, отказавшейся от системы келейного заключения с 1853 г. и уничтожившей одиночные остроги, для подследственных сделаны самые незначительные облегчения. По отчету г-на Галкина, обзоревавшего в 1867 г. французские тюрьмы, в Мазасе, правда, заведены после 1853 г. четыре большие мастерские, но здесь работает около половины заключенных и притом уже присужденные, а подследственные, как приводит г-н Галкин, *допускаются сюда только в виде особого исключения*. Остальные подследственные по-прежнему находятся в кельях, которых в Мазасе до 1200. Тюрьма Консьержери (la maison de justice), назначенная для судимых в парижском ассизном суде (16), ныне тоже перестраивается в келейную, а депо префектуры полиции имеет несколько келий для тех из задержанных, *которые подают повод опасаться за состояние их рассудка* (тогда как, по медицинским воззрениям, необходимо совершенно наоборот). Наконец, в последнее время в шести департаментах также созданы одиночные тюрьмы для подследственных арестантов. Таким образом, подследственные тюрьмы во Франции

остаются в большинстве келейными (17). Это кажется тем более странным, что самые сведения о вреде уединения, опубликованные доктором Пьетра-Санта и признанные медицинским советом вполне достоверными, в сущности не столько касаются вообще срочного уединенного заключения, сколько обнаруживают разрушительное его влияние именно на подсудимых. Подобный же предрассудок насчет необходимости одиночного заключения для подсудимых существует в большей части и других государств.

Мы не можем при этом не заметить, что те облегчения, которыми пользуются срочные арестанты в келейных тюрьмах, решительно не могут быть применены к подсудимым: последние не могут облегчить себя ни чтением, ни трудом, ни обучением, потому что не до того человеку, когда он трепещет за судьбу свою. В этом случае ничто не поможет ему, кроме сообщества с кем-нибудь другим. Самое краткосрочное уединение подсудимых, как мы видим из статистики самоубийств, может быть губительно: иногда, под впечатлением первых минут неволи, достаточно менее суток, чтобы лишить себя жизни; сильнейшие нравственные мучения могут быть перенесены в один день, в одну ночь. Вот почему, ввиду устранения вреда для людей, не обвиненных и только еще судимых, прежде всего необходима совершенная отмена уединенного заключения. Даже достаточно было бы в этом случае соединение по два и по три подсудимых в общей комнате, как это делалось в прежнем Консьержери; достаточно дозволения видаться в общих дортуарах (18) между собой, вроде того, как это делается в Маделоннете в *corridor de faveur*, – и тяжелые последствия уединения, по всей вероятности, значительно были бы уменьшены.

До сих пор, однако, господа юристы все еще очень ревниво отстаивают необходимость уединения ввиду правильного и беспристрастного следствия и ввиду важности для общества открытия зла. Высоко понимая эту пользу, мы

осмелимся, однако, указать господам юристам, смотрящим на вопрос слишком абстрактно и теоретически, другую, практическую, его сторону, а именно: не являлся ли иногда допрос под влиянием подавленного состояния и тяжкого болезненного состояния духа пристрастным и не приводил ли он, напротив, к затемнению истины?¹ Подобные примеры ведь, вероятно, известны в адвокатской практике.

Судьба подследственных и подсудимых, нам кажется, должна бы тем более обратить внимание юристов, что ведь это люди еще не обвиненные – многие из них могут быть оправданными. Сохранение их здоровья, физического и нравственного, есть священная обязанность правосудия.

Вот почему необходимо более беспристрастное рассмотрение этого вопроса и более обстоятельные медицинские и юридические исследования в этом направлении. Эти исследования необходимы во имя справедливости, гуманности и в интересах самого правосудия.

¹ Известно, что под влиянием страха люди не только готовы обвинять себя и подтверждать догадки следователя, чтобы угодить ему, но часто начинают опутывать и других людей, неповинных, отчего страдает и общественный интерес, и общественное спокойствие.

ОБЩИНА И ЕЕ ЖИЗНЬ В РУССКОМ ОСТРОГЕ

(Тюремные записки¹)

I.

Общие камеры

По обыкновенным понятиям, тюрьма должна служить источником страшных мучений, т. е. представлять истинный «дом скорби», «юдоль плача», ад земной, где люди испытывают страдания за свои грехи, и где, по выражению Данте –

... в воздухе без солнца и светил
Грохочут в бездне вздохи, плач и крики (19).

Так думал и я, но не такова тюрьма, созданная жизнью. В ней отразилась человеческая природа с ее кипучим инстинктом к жизни, с ее страстями. Вот почему она потекла совершенно не так, как предписывал ей строгий тюремный устав.

Чтобы убедиться в том, достаточно было войти в наш старый острог в обыкновенный день, когда наш простодушный смотритель покоился сном невинности после сытного обеда, когда надзиратели отлучались в соседние кабачки, солдаты храпели на нарах в кордегардии, а молодой их прапорщик поглощал роман со всем запоем юности.

Когда в один из таких дней я в качестве арестанта в первый раз вышел на обширный двор нашего острога, то

¹ Записки эти исключительно касаются прежней жизни острога.

встретил здесь чрезвычайно разнообразную и пеструю картину, поразившую меня более избытком жизни и веселья, чем однообразием и унынием, какое можно было предположить в этой юдоли скорби и плача.

Большой четырехэтажный дом нашего острога выходил на довольно длинный двор, обнесенный высокими стенами. На этом дворе с утра до вечера копошился народ самого разнообразного свойства. Картина этого двора была бы богатой темой для художника. Русые крестьяне, в окладистых бородах, со смиренным видом; конокрады в красных рубахах; обдерганные мазурики с бойкими глазами и пронырливыми лицами; седовласые старцы-раскольники с античными головами греческих мудрецов, и не выбритые, всклокоченные, пропившиеся чиновники в лохмотьях и с виду совершенно убитые. Были тут и цыгане, и черкесы, и армяне, и евреи, и казанские татары. Вся эта «смесь племен, наречий, состояний» разбрасывалась группами, пестрела разнообразными колоритами и в разнообразных позах. Далее шли массы серых арестантских армяков, движущиеся в разных направлениях, – это главный элемент острога; остальные – пришлые. Серые армяки с тузами и без тузов – большей частью бродяги, занесенные со всех концов России, – поселенцы, постоянно попадающие в острог по привычке к преступлениям, и каторжные, бегающие с рудников и заводов – это коренное население острогов. Ходят они все в казенной форме, ибо ничего своего не имеют, и, надеясь на матушку-казну, собственное платье они или «перегоняют на спирт», или «пускают в фальку». Их привилегированный костюм – серый армяк, толстая, заношенная, как у кочегаров, рубаха, казенные порты до половины ног и хлопающие башмаки на голых и красных ножищах – вот и все; редкие из них носят засаленные, как блин, картузы, вылинявшие теплые шапки, дырявые шляпы или ермолки. Костюм этот коренное население острога носит безобидно и даже с не-

которым шиком, как денди свой фрак. Настоящих бродяг, поселенцев и каторжных можно узнать и по осанке, и по приемам. Ловко забросив арестантский армяк на одно плечо, в неизмеримо широких, бродяжеских штанах, ухарски заломив набекрень шапки, гордо прохаживаются они по острожному двору; лицо у них открытое и энергичное, усы молодецовато закручены (все они бриты; это особенность поселенцев); они едва достаивают взглядом остальных арестантов, а к крестьянам положительно относятся презрительно; брань их ядовита и отличается мастерскими вариациями; голос их самоуверен, глаза горят презрением и насмешкой, губы самонадеянно сжаты. На всем лежит у них печать силы и уверенности. Они – первые авторитеты в острожных делах, первые игроки и первые ловеласы. Гордо и весело рисуются теперь эти рыцари перед окнами женской половины; они выводят звучными тенорами разные забирательные песни.

Это – типы русских гулящих и беззаботных людей, чувствующих себя в остроге как дома и заправляющих своим домом, как хотят. Один из этих типов можно видеть на картине Якоби «Привал арестантов» в лице парня, лежащего беззаботно с трубкой в зубах на сибирской дороге; он имеет вид скорее свободного колониста, чем ссыльного; его лицо лоснится жиром; ни малейшая забота о будущем не беспокоит его; он весь служит выражением арестантской поговорки «дальше солнца не ушлют, а Сибирь-то мы видали». Вот этих-то лиц можно теперь встретить десятками на нашем дворе. Правда, теперь этот парень не так жирен, как во времена подаянных шанег и калачей: сальный лоск спал с лица его от постных арестантских щей; он похудел в странствиях и закоптился около бродяжеского костра, но зато вся фигура его приобрела более подвижности, энергии; глаза смотрят решительнее и хитрее.

Весь этот народ валом валит по двору, который начинал, скорее, представлять рынок или торговую улицу;

впечатление это увеличивали арестанты-торговцы, шнырявшие в толпе прогуливавшихся и продававшие так называемое барахло (т. е. ветошь). Эти торговцы продавали и разрозненный сапог, и старый ремень, рубашку без рукавов, кисет пропившегося острожного любовника, пучок махорки, кишку под водку, спички и т. п.; иные соблазняли покупателей потертой красной рубахой, составляющей признак острожного дендизма; третьи развешивали на себя необъятные бродяжеские штаны с холщовыми заплатами; кто-то продавал даже весь бродяжеский костюм за 15 коп. серебром. Все это было ветхо и никуда не годно, но у бедной острожной голи на все имеется спрос. Около торговцев постоянно сновала толпа, шумела, бранилась, выхватывала товар по-московски и сыпала прибаутками.

Арестанты между тем располагались по двору живописными группами. Некоторые лежали около заборов на спине как лазарони (20), покуривая «цигарки» из махорки и смотря флегматически на клочок летнего неба, рисуящегося заплатой между белыми высокими стенами; другие окружили острожного адвоката, седенького старичка из военных писарей, который излагал слушателям популярный курс острожной юридической практики; местами ходили парами друзья, сговаривавшиеся о новом побеге и странствиях или просто о проносе вина в острог; иные, собравшись в кучку и усевшись на корточки, рассказывали о побегах с заводов, о последних приключениях Яковлева, Васьки Тарбана и о судьбе Кривого Омуля – героях каторги и бродяжества. Там и сям перекликались донжуаны с бабами; здесь разыгралась орлянка, и трешники с вывертом поднимаются чуть не в самое небо; там составился хор песенников, где в кругу арестантов два черных цыгана отплясывают, топая пудовыми сапогами; а в проулке устроился даже целый театр: какой-то искусник из сорванной с петель двери устроил сцену и из-за нее показывает кукольную комедию, где фигурирует извест-

ный русский арлекин – паяц Петрушка с большим носом и пискливым, цыплячьим голосом. Осторожная публика сосредоточила все свое внимание и помирает со смеху; это зрелище даже привлекло часового, который, разинув рот, так же, осклабясь, присоединился к публике, не замечая, что через забор в это время летели пузыри с водкой и быстро скрывались под неизмеримым халатом местного виноторговца Буздевдева.

Что это такое? – спрашивал я себя. Неужели это острог, дом уныния и безысходной тоски? Где же эти мрачные убийцы, воры и грабители?! Нет, это были мирно веселящиеся люди, заливающиеся самым детским смехом, самой искренней радостью. Так, значит, и в узких рамках тюрьмы человек все-таки сохранял же инстинкт жизни и наслаждения? Да, под гнетом горя он создавал себе свой мир, несмотря на тяжелые замки и долгие годы своего заключения!

Целый день на острожном дворе идут всевозможные развлечения. Осторожные кавалеры перекидываются шутками и островами скоромного свойства с осторожными дамами; постоянно в разных углах то поют песни, то пляшут. Орлянка свирепствует бессменно. Иногда является какой-то дудочник с самодельной свирелью; иногда устраивается игра в чехарду или борьба на пари; а то выведут медведя в овчинном вывороченном тулупе на потеху арестантов, и гул смеха перекатывается из стороны в сторону до позднего вечера. И никто не нарушает этого патриархального мира, этой давно заведенной свободы. Пройдет смотритель, пройдет караульный офицер – посмотрят, пошутят с арестантами и пойдут дальше. Производится ли смена постов – проходящие часовые потолкуют с арестантами, покурят с ними махорки, поделятся репой и по секрету пообещают на следующий караул пронести вина. И нет тут никакой вражды, никакого озлобления.

Внутри острога публичная жизнь была не менее развита и также изобиловала свободой действий и разно-

образом занятий и развлечений. Шум, беготня и галденье здесь были также постоянны и глухо раздавались под сводами коридоров. Народ перебегал из каземата в каземат, шнырял по кухням, по чердакам, по лестницам и всевозможным закоулкам, толпился в больнице, около женского отделения и проникал в коридоры секретных. Здесь также бегали торговцы с пучками махорки, с бродяжескими тарбатеями (мешками), с рубахами, подошвами и спичками. По коридорам местами взывал какой-то глашатай, призывая арестантов на сходку, где будет обсуждаться «дело о доносе на майданщика, сделанном арестантом Микишкой», который, по острожному обычаю, должен быть взлуплен; другой глашатай ходил и приглашал начать игру в лото. Толпы народа шлялись, торговались, сплетничали и ругались; какие-то ухарцы неслись по лестнице за препровождаемой бабой; в ретиреде перекликались с любовницами; под лестницей какая-то компания прятала острожную контрабанду; а за дверью в коридоре даже была открыта летучая цирюльня, где местный брадобрей скоблил арестантов каким-то зазубренным орудием, выделанным из куска железного листа. Но главными центрами, где сосредоточивался народ, были острожные клубы и преимущественно «майдан». Майдан – это место торговли и развлечений, где местный откупщик и торговец продает всевозможные припасы: папиросы, калачи, водку и карты; тут же устроен игорный дом, кафе, кабак, клуб – одним словом, что угодно. При моем знакомстве с острогом я часто посещал его. Для этого нужно было спуститься в самую преисподнюю, в тот подвальный этаж, где помещались арестантские кухни и квасные. В стороне от них, под каменными сводами, во мраке закоулка тусклая сальная свеча постоянно освещала прилавок и подернутые плесенью слезающиеся стены. Это и был майдан. За прилавком, кроме кровати майданщика и маленького сундучка с папиросами, по-видимому,

не было ничего; тем не менее здесь можно было найти все, начиная с калачей и водки и до карт; последние два продукта тщательно были скрыты под полом. В этом темном углу постоянно толкались кучи покупателей и пьяный или имеющий быть пьяным народ. Темный, сводчатый подвал напоминал какое-то подземелье. Громкая, площадная брань висела в воздухе.

– Распорю брюхо! Кишки выпущу! – орал пьяный каторжный Васька Самолет, приправляя угрозу ужасающими ругательствами и энергично запуская руку в карман широких штанов, как будто бы за ножом.

Остальная компания хохотала.

– Жду, братец ты мой, девяносто «мандатов» и больше ничего! – заявлял кто-то на осторожном жаргоне о плетях.

– Нет, по-моему, наручни хуже кандалов, – философствовал некто.

– Ты сколько берешь, Серега, за подкандальники-то? – спрашивали в одном углу.

– Нет хуже красноярского палача, друг любезный... – повествовали в другом.

– Убью! – снова адски загремела какая-то пьяная глотка, и пошла возня.

Брань, шум, угрозы и хохот не прерывались. Все это, вместе с каторжными разговорами, конечно, могло поразить пришельца, но мы, осторожные граждане, не видели тут ничего потрясающего. В сущности, это были обыкновенные осторожные разговоры о плетях и подкандальниках, о которых нельзя забыть ни бродягам, ни каторжным; что касается буйства и страшных угроз, то это был просто шик раскутившегося острожника, не имевший ничего опасного и большей частью вызывавший смех.

Рядом с майданом было своего рода кафе: здесь также были сырые, плачущие стены, зеленые кирпичи которых были рыхлы, как сырая глина; маленькие подземные окошки, с оседающим на них паром, тускло пропускали

свет. Пар от артельных щей врывался сюда из соседней кухни. Духота, жар и какой-то кислый воздух были здесь постоянной атмосферой. В клубах пара там и сям выступали группы арестантов. Одни сидели за громадным самоваром, поставленным на скамье, покрытой скатертью, и чаевали с расстановкой, как московские купцы. Они насыщались здесь до отвала за 4 коп. кирпичным чаем и толковали о внутренней политике, т. е. о разных острогах, о необходимости побегов, о бродяжеских трактах, о переменах в острожном начальстве и об уголовной практике. Здесь не только сосредоточивались все местные острожные сплетни и новости, но можно было слышать о событиях самых отдаленных острогов и каторги. Здесь передавались замечательнейшие дела на Коре и в Нерчинске так же, как последние известия из иркутского, петербургского и московского замков, разносимые пересыльным и бродячим арестантством. Здесь припоминались и геройские подвиги каторжных знаменитостей, и старые лесные проделки — мечталось о новой воле и новых побегах.

По соседству располагалась около какой-то квасной бочки группа игроков, окруженная любопытными и «прогоревшими» (проигравшимися дотла) арестантами. Брань, звон меди, споры азартных игроков и термины подкаретной и едны постоянно оглашали это собрание. Какие-то «жиганы» (острожные игроки), *подобрав ключи* к новичку, т. е. плутовски завлекши в игру, обчищали его на все корки. Арестанты с жадностью смотрели на игру счастливых. Водка постоянно подносилась к этой группе. Неподалеку от картежников двое обдерганных арестантов играли в юлку; далее звенели кости и трешники. Здесь также все спокойно предавались своим удовольствиям; никто и не думал о всевидящем и всезнающем начальстве. Игорный дом, кабак и кафе свирепствовали с утра до вечера и процветали во благо майданщика, так же, как во славу и удовольствие арестантства.

Но вот игра на сей день на майдане надоела; самые занимательные роберы и партии кончились; требуется новое развлечение, и тогда изобретательный майданщик, в качестве осторожного Излера (21), предлагает публике отправиться наверх играть в лото. Толпа арестантов бросается по лестницам в назначенную камору. Для этого была выбрана обширная комната, в которой на нарах и на полу могло расположиться человек до 30 и 40 народу. Игроки тут являлись самого разнообразного свойства, как в любом клубе. Можно было заметить здесь, на нарах, сидящим на корточках старого сухого татарина-конокрада, который смотрел сосредоточенно и важно на свои карты, как будто исполнял обряд; рядом с ним валялся на брюхе вертлявый и нетерпеливый цыган; далее 14-летний мальчишка-бродяга, дюжина веселых и голых жиганов и несколько солидных каторжных, игравших педантически, с серьезным видом знатоков своего дела. «66 кону и 15 сбору! Начинается, господа, начинается, о чем и возвещается!» – выкрикивал майданщик, перемешивая в мешке номера. Затем начинал он вынимать фиши, при объявлении которых в осторожном лото, для разнообразия, прибавлялись разные прибаутки острожно-каторжного происхождения.

– Горбач семерка! – зывал майданщик, вынимая седьмой номер. – Тройка удалая! – Туды-сюды – 69! 25 – солдатская служба! 44 – бурятская арба! 22 – ангарские уточки! Бурятское чувырло – 4! Анфискино лакомство с расстрелом – 9! Мишкино яйцо, что на Пасхе носил, – 8! 5... верст, смотри, ребята: петухи поют; собаки лают, деревня близко!

Такие эпитеты, характеризующие разные острожные лица, происшествия или события и образы бродяжеской жизни, доставляют глубокое удовольствие арестантству и часто вызывают взрыв хохота.

Среди таких-то удовольствий и развлечений проводят острожные фланеры целые дни. Они перебегают по своим

клубам, из майдана в игорные дома и кафе, или блуждают, ища веселых сцен и занятий, то по отворенным камерам, то по своей оживленной торговой улице – острожному двору. Так коротается тюремный день, сокращаемый разнообразными забавами. Только перед зарей раздается крик надзирателей: «По избушкам, молодцы! По избушкам!» (иронический намек на бродяжеские приюты в поле), и тогда толпы народа кидаются, тесня и толкая друг друга, по коридорам и лестницам, в каморы. Идет поверка арестантов военным караулом, и камеры запираются на замки.

Наконец, смолкали переключка и галденье, и в окнах этого дома засветились огни, свидетельствующие, что жизнь, однако, не умолкнула и на ночь в этом шумном и веселом фаланстере арестантства. Действительно, из камер доносились в продолжение целой ночи смешанный шум и крики игроков и оглушительные песни с импровизированной музыкой из самодельной балалайки и из шайки, превращенной в бубен, рядом с топаньем и шлепаньем арестантских котов и туфлей. И все это составляло какой-то странный контраст с постоянно сменяющимися часовыми, стуком прикладов и суровыми окликами патруля и дежурных.

Часто в такие ночи я сидел под своим решетчатым окном и смотрел, как длинные узорчатые тени пробежали по этому громадному дому, как темное здание превращалось в стоглазое чудовище, мигающее сотнями беспокойных, мерцающих огней, как оно гудело и гоготало, оглашаясь раскатами самого буйного, отчаянного и забубенного веселья. В это время я задумывался над судьбой этого здания и его жителей. Мне странными и загадочными казались и ряд запрещенных развлечений, и этот тюремный болезненно-дикий разгул. Только впоследствии, после долгого опыта и в связи с другими явлениями, я понял, какая могучая сила создала здесь эти вольности и такую широкую свободу наперекор самым суровым

тюремным уставам и иногда самым строгим и жестоким зрителям.

II. Секретные

Если такова публичная жизнь острога, то нечего говорить, что в казематах она была еще привольнее, еще менее терпела стеснений.

Самая строгая жизнь в тюрьме, подлежащая более тщательному наблюдению, – это жизнь секретных, но и те постарались изменить свою жизнь к лучшему и достигнуть многих удобств и свободы в сношениях.

Только неопытного разве может утратить наше секретное заключение; люди, побывавшие в остроге, знают обычаи келейной жизни и быстро расширяют свою свободу, а вслед за ними учатся и небывалые. Взглянем на жизнь секретных в нашем остроге.

Вот вводят арестанта по важному обвинению и толкают его в уединенную келью, с наглухо заколоченными двойными рамами; его запирают на замок, ключ от которого находится постоянно у сторожа; в коридоре ставится часовая, обязанный наблюдать за секретным арестантом чрез стеклянную форточку в его двери. Замокнутый в такую обстановку, обысканный кругом, без денег, без всяких средств, под постоянным наблюдением, что, казалось, мог бы сделать этот человек? Но хитрый и опытный арестант не робеет. Первым делом он входит понемногу в интимные отношения с прислужником из арестантов, который приносит ему пищу, хотя этот прислужник входит всегда при надзирателе. Несмотря на то, у секретного является табак, спички, иглы, нитки, бумага, карандаш, кусок железа, из которого он вытачивает себе нож, веревки, словом – все необходимое. Скопленные свечи, недоеденная и

сбереженная корка хлеба, пущенные в продажу, дают ему возможность скопить маленький капитал для обзаведения себя упомянутым хозяйством. Разжившись всем нужным, секретный старается завести сношения с внешним миром. Для этого он тихонько ночью выставляет раму и отворяет окно. Если часовой донесет или увидят это надзиратели и раму снова вставят, то на следующую ночь арестант снова выставит ее; опять вставят – он опять то же повторит и иногда добьется того, что его, наконец, бросят. Если же смотритель слишком строг и секретного за выставленную раму куют, то он сносится с остальными арестантами при посредстве вентилятора в окне, в который он, как в рупор, кричит с утра до вечера, переговариваясь как с своими соучастниками в секретных же камерах, так и с общими арестантами, находящимися в других окнах.

Если мы взглянем на наружную стену острога, куда выходят окна секретных, то увидим довольно оживленные сношения этих одиночек: крик и там в форточки и вентиляторы окон – постоянный. Самые энергичные секретные сидят с отворенными окнами, высунувши из-за решеток голые ноги и лицо, и мирно беседуют с соседями. Крик и переговоры идут через целый острог. Нижний этаж переговаривается с верхним, один конец острога с противоположным. Иногда разговор становится общим, в котором принимают участие окна всех этажей. Однажды в нашем остроге в одном из казематов читался попавший случайно номер газеты; арестанты живо были заинтересованы, и известия устным телеграфом передавались в самые отдаленные углы острога и переходили от секретного к секретному. Потехи было много с этой газетой.

- Что же она: горит? – орал кто-то в нижнем окне.
- Кто горит? – слышалось из другого окна.
- Да губерния, в газете читают.
- Какая губерния-то, не наша ли Нижегородская?
- Не Саратовская ли? – раздавалось из другого места.

– Не Черниговская ли?

– Не Харьковская ли?

С живым любопытством слышались вопросы поселенцев, которых много было в остроге.

Из камеры, где читали газету, доносилось только бурчанье.

– Да ответьте же, дьяволы, какая губерния-то горит? – гаркнула какая-то глотка с 4-го этажа из секретных.

Наконец показалась в одном окне курчавая голова репортера и провозгласила: «Архиерей въехал в Москву, и при колокольном звоне...»

– Да губерния-то... – слышалось опять, но репортер уже скрылся.

– Что же это такое, братцы? – рассуждали озадаченные поселенцы. Слышались угрозы репортеру отмять завтра бока. Среди шума показался опять репортер и крикнул:

– Симбирская, черти! – затем снова скрылся.

Услышали только ближайšie.

– Слышь, Самарская! – Вре? – Астраханская! – гудело далее. – Тамбовская! Московская! – и пошли перебирать. – Это твоя губерния, слышь, горит.

– Нет, твоя! – корились и дразнились ссыльные.

– А вот лучше бы Сибирь сгорела! – заметил кто-то и примирил всех поселыщиков.

– Да там все врут! Какая газета-то? – воскликнули скептики, которых в остроге много.

– «Голос»!

– Волос?.. Тонок да нечист... – и тут пошли самые нелестные эпитеты для редакции.

По вечерам в особенности оживлялся внутренний фасад острога с окнами секретных и общих арестантов: в это время общие также запирались, и сношения между ними велись через окно. Тогда скоплялись все новости острога: кто ходил к допросам, кто в суд, кто к наказанию; каждый передает виденное и слышанное; точно так же передаются

и события дня из осторожной жизни, интриги, ссоры, результаты карточной игры и т. п. Иногда здесь ведутся целые рассказы, анекдоты, сказки, и даются вокальные концерты для осторожной публики. Часто целую ночь идут эти переговоры и толки между бессонными секретными и услаждающими их одиночество общими арестантами-товарищами. При этих условиях секретный пользуется всеми выгодами общежития и не чувствует своего одиночества: он также участвует в общей жизни острога. Мало того: секретные, находящиеся без всякого дела и занимающиеся для развлечения лишь разговорами и собиранием новостей и скандалов у своих окон, являются всегда первыми сплетниками острога, как площадные торговки.

Как достигли секретные возможности разговаривать сквозь окна, так они умудрились приспособить те же окна для получения разных вещей от других арестантов. Для этого существует так называемый телеграф. Под этим именем разумеется веревка с привязанной на конце тяжестью; она спускается удобно сверху вниз, в другие этажи, и по ней секретный получает все, что угодно, начиная с записок, кончая папиросами и пузырьком водки. Из горизонтальных по фасаду окон вещи передаются размахом веревки, конец которой ловит сосед; таким путем от соседа к соседу телеграфические сношения ведутся между отдаленнейшими окнами и углами острога во всевозможных направлениях.

Что касается сношений секретных внутри острога, то они очень удобно переговариваются через форточки дверей, так как в одном коридоре сосредоточивается по нескольку уединенных узников; все же нужное получается здесь через искусно расширяемые щели дверей. И тут не замирает человеческая деятельность, которую не могут прекратить никакие замки и решетки; и тут своего рода жизнь пробивается наружу!

Вот в одном из этих коридоров с угрюмыми каменными сводами и полом виднеется ряд темных и печальных

дверей с маленькими прорезанными окошечками. Коридор освещается сальной, оплившей свечкой, воткнутой в деревянный обрубок. Скучно стоит часовой, прислонясь к стене; подчасок (22) спит на голых камнях, с поленом в изголовье, свернувшись калачиком. Грустное, подавляющее молчанье царствует здесь несколько времени; только что смерклось, а арестанты еще у окошек заняты беседой. Вот у форточек дверей понемногу появляются лица секретных. Сначала слышится беглый, отрывочный разговор, но скоро выступает один красноречивый острожный рассказчик, желающий на эту ночь потешить секретных товарищей. Все с любопытством примкнули к форточкам; дремлющий часовой оживился и придвинулся к окну: он сам – охотник до сказок. Солдат разбудил подчаска, поправил свечку, и веселее запыхал огонь в коридоре. Рассказчику сквозь щель двери была снисходительно передана сигарка тем же часовым, получившим дружески таковую же от одного из секретных. Все сблизилось и весело улыбаются от предстоящего удовольствия. И вот острожный оратор, затянувшись сигаркой, увлекает их в фантастическую область подземных царств, приключений разных королевичей, волшебных цариц, злых волшебников, добрых карликов и т. п. Ровно и плавно ведет он рассказ, и не смыкают слушатели очей целую ночь, а давно сменившийся часовой все еще стоит и дожидается конца приключений какого-то несчастного королевича.

В другом коридоре так же моргает свечка; полудремлющие секретные так же стоят, прижавшись у своих форточек; они так же требуют сказки у какого-то ссыльного.

– Что, братцы, сказки! – говорит тот, – а я вам лучше расскажу жисть свою, так это будет поваляжнее всякой сказки!

Секретные с самым живым удовольствием принимают это предложение: они знают, что рассказчик, бывший московский купеческий сын, сосланный на каторгу, много

видал и вот уже сорок лет полосит Россию в бродяжестве, от нерчинской Коры до Петербурга, Бессарабии, Астрахани и обратно. Он красноречив – художник в рассказе; его приятный голос дрожит задушевностью, невольно приковывая к себе слушателей и часто проникая к ним глубоко в сердце. Он начал свою исповедь. Вот он рисует веселые московские притоны купеческой молодежи, где батюшкины сынки среди отчаянных кутежей в несколько вечеров ухлопывают легко наживаемые денежки отцов своих. Ждут у подъезда бойкие лихачи, чтобы разносить их по всей Москве, из притона в притон, для новых приключений и оргий. Картины пиров, роскоши, богатства, мотовства и безумных оргий сменяются одни за другими, и наконец, рассказчик переносит слушателей в притоны мелкого и грязного разврата, в темные подвалы, где разоренные и промотавшиеся молодцы оканчивают свое пиршество за полуштофом сивухи. Затем открываются подzemелья и грязные этажи больших домов, где царит голь и нужда, где ищут ночлега все бездомные, все бесприютные и нищие; здесь же теперь находятся и промотавшиеся купеческие дети, еще молодые, свежие, сильные, но погибающие от голода; посреди их и наш рассказчик. Тут, на ночлеге, посреди разного оборванного, бесприютного и голодного народа сводится первое знакомство с жуликами и артистами, которые промотавшимся молодцам предлагают свой промысел и свою протекцию. Начинается новая жизнь по московским бульварам и гуляньям, где открывается обширное поле изобретательности и всевозможных приключений. Недолго, однако, продолжается она: преследуемые полицией, неопытные жулики скоро бросают промысел и исчезают из Москвы, а с ними и герой рассказа. Вот они в глухой Вологодской губернии, нищие, голые и голодные тащатся какими-то проселками, ища приюта по кабакам и глухим заезжим домам. В одном из них они сходятся с богатыми крестьянами, занимающимися тайком грабежами

и разбоями. Начинается новый ряд походов в темные ночи, по большим дорогам, по широким постоянным дворам, по богатым купцам, по богатым попам.

Но попали молодцы в западню, и потянулись сибирская дорога, ссылка, ряд острогов, арестантская жизнь и каторжное горе. Чутко прислушиваются арестанты к знакомым эпизодам и очеркам арестантской жизни. Выступает на сцену отважный побег героя с каторги, и, охваченная широкой кистью, рисуется затем скитальческая жизнь со всеми ее треволнениями, где приключения следуют за приключениями. Золотые промыслы, города и кутежи в них таежного рабочего, скитанья по бесконечным и пустынным дорогам, глушь сибирских грандиозных лесов, таинственные раскольничьи скиты в захолустьях, жизнь в отдаленных деревнях, где разыгрывается тихая и сладкая любовь бродяги с деревенской красавицей; то новый поход через Урал к заветной родине и матушке Москве, то снова проклятая каторжная жизнь на Коре и новая борьба на жизнь и смерть, чтобы избавиться от нее. Все это грустной живописной декорацией встает в том рассказе, к которому прислушиваются арестанты, как к своему пережитому горю. Личные воспоминания героя окрашивают задушевым колоритом эти картины. Трагические ноты порой звучат в этой исповеди, порой клокочет бурная жизнь и титаническая борьба с судьбой, накопившее горе и муки слышатся в нем, и встает ясно и рельефно эта убитая, задавленная жизнь их собрата-арестанта, обмытая слезами и кровью на лобных местах. Такие-то рассказы раздаются под этими сводами секретных коридоров в темные и длинные зимние ночи!

Затем на время наступает как будто мертвая тишина, но секретные арестанты не унимаются в своей изобретательности. Вдруг где-то в секретной запел петух; арестанты снова оживились; ему начал вторить другой; раздалось кошачье мяуканье; закрикала в третьем месте полевая

утка, и донеслось как будто издалека хрюканье борова; скоро весь острог закукурекал, затрещал, захрюкал и замыкал и, соединившись, составил надрывающий уши кошачий и звериный концерт; наконец, в довершение всего этого, раздалось оглушительное, дикое ржание какого-то бешеного жеребца, потрясшее весь острог.

Острог от этого эффекта разразился рукоплесканиями, завыл и загоготал. Наружные часовые начали беспокойно посматривать на окна, откуда слышались завывания, и стали покрикивать. Но арестанты расшалились, и их не удержать. «Иллюминация!» – пронеслось где-то, и эта мысль, пущенная секретным, мигом облетела острог. Скоро в одном из окон у секретного заблестало до десятка свечей, прикрепленных к решетке. Мигом отворились другие окна, и огни начали пробегать от окна к окну; разрезанные на несколько частей, накопленные свечи покрыли решетки всех окон, и острог запылал в самой пышной иллюминации. Узорчатые огни озарили это мрачное жилище, осветили весь двор, и иллюминированный громадный острог должен был во всем неожиданном блеске предстать дальнему городу. Такого озорства, однако, никак нельзя было потерпеть. «Старшова!» – закричали наружные часовые; дежурные побежали по лестницам; оторванный от какого-то сентиментального романа, свирепый прапорщик летел, звеня саблей, по коридору. «Кандалы! Наручни!» – выкрикивал он. Но арестанты, услышав тревогу, мгновенно потушили огни и мирно уселись на койки. Офицер нигде не замечал беспорядка; везде было темно, лишь в одной форточке секретной, к своему изумлению, он увидел точь-в-точь такого же офицера и собственную физиономию. Ему было подставлено зеркало. Он заворчал и удалился к своему посту.

Таковы обыкновенно были развлечения одиночных секретных арестантов в нашем остроге. Но не повсюду они жили такой беспечной и легкой жизнью. Для полноты кар-

тины мы должны спуститься в нижний, подвальный этаж острога, где также существуют секретные коридоры. Здесь содержатся самые важные преступники, под более неблагоприятными и суровыми условиями.

В глухом, почти подземном коридоре, от которого веет сыростью и затхлостью могилы, помещаются такие же одиночные кельи, находящиеся в нижней части фундамента, и потому совсем вросшие в землю. Пол их постоянно гнил и влажен; кирпичи стен мягки и скользки; какая-то плесень и грибы стелются по серой штукатурке, и влажность, высасываемая из земли, постоянно поднимается по этим стенам. Окошки келий хотя довольно высоки, но едва-едва выходят на поверхность земли снаружи. Такие подвальные секретные существуют у нас почти в каждом остроге; иногда они совершенно темны и служат чем-то вроде карцеров; в них же прежде держали и прикованных к цепи. В таком коридоре сидели у нас важные убийцы, грабители, поджигатели, находящиеся под строгим следствием, оштрафованные в остроге арестанты и тому подобные преступники, которых не считали заслуживающими ни пощады, ни сострадания и для которых употреблялось это заключение как суровая кара или как понуждение к сознанию в преступлении.

Заглянув в такой потаенный коридор нашего острога, мы нашли бы здесь двух обвиняемых в убийстве, над которыми производилось еще следствие, – арестанта, посаженного за покушение к побегу, другого – за буйство и намерение ударить кирпичом офицера (все они были в кандалах) и, наконец, еще какого-то, закупоренного наглухо, неизвестного арестанта по «секретному делу». В этом коридоре жизнь велась скучнее и унылее уже потому, что самая обстановка не располагала к веселью и оживлению. Здесь арестантам не давали ни кроватей, ни постелей: они валялись на сыром полу, покрытом мокрицами, дождевыми червями и мириадами блох, едва прикрываясь худенькими

армячишками; удушливая и влажная камора спирала дыхание; холодный воздух, даже летом, бросал в дрожь; сырость и темень царствовали кругом; могильная тишина прерывалась лишь звоном цепей. Часовой с радостью выходил на свежий воздух из этого погреба.

Несмотря на все это, однако, секретные и здесь подражали своим сотоварищам и добились сношений: они имели и табачок, и спички, посылаемые этим узникам сострадательными товарищами; они также иногда высовывали бледные, изможденные лица из своих нор в наружные окна и прислушивались к говору острога. Но всем этим они пользовались как-то крайне убого, и даже когда они высовывались наружу, то с верхних этажей на них летели иногда плевки и окурки, – конечно, невзначай. Разговаривать из окон им было неудобно, так как ходящий на дворе часовой был у них перед самым носом (в буквальном смысле). Единственным утешением им оставались разговоры в коридоре, через форточки дверей. Здесь они сообщали о делах своих, передавали жалобы на судьбу, изливали злость и досаду на следователей и смотрителя. Разговоры эти были крайне невеселы; расположение духа секретных было более мрачное и озлобленное.

Вот в один из унылых вечеров желчный каторжный, сидящий здесь за побег, ведет разговор с товарищами. Это худая, истощенная фигура, носящая следы синяков и побоев, какие получила она при побеге; на нем кандалы и наручни.

– И что это за *жисть* наша, братцы, за проклятая! – говорит он. – Вот я сколько ни живу теперь на свете, а почесть больше в острогах просидел, чем на воле прожил. Да и в остроге-то приходится самый-то есть пакостный угол. В томском замке я шесть месяцев в темной секретной высидел; в омском солдатском карцере у тобольских ворот за дезертира восемь месяцев держали в грязи да слякоти: там я и жисть проклял! В иркутском замке год с двумя месяца-

ми тоже в секретной был: там в шестом побеге уличали; да и сидел, как черт, один: кругом ни души!

– Ну, это вот уж куды скверно одному, без компании, без соседей сидеть, – отозвался кто-то из секретных.

– Что и говорить! Хоть бы жизни лишиться: такая тоска да одурь возьмет; я даже, братцы мои, в те поры начинал черту молиться.

– Как так, черту молиться? – начали спрашивать заинтересованные слушатели.

– А вот я вам расскажу. Бежал я с Коры. Больно уж мне хотелось тогда на воле погулять, да около Култуки дернуло нас, бродяг, с мужиками из-за кражи драку учинить; произошло убийство: нас и взяли. Вот и посадили меня в иркутском в секретную, не хуже здешней, где покойников прохлаждают. Дело хотя это привычное, но плохо было то, что никого кругом не было: один во всем коридоре. Сижу лето, сижу зиму – нет, не выпускают. Стал я в уныние приходить и раздумывать. Отчего, думаю, это мне на свете счастья нет, – что я за Каин такой? Другие на воле живут; и счастье-то им, и веселье; и денег кучу имеют, и прохладу всякую, – за что же мне ничего не дается? Что я за несчастный такой человек? Разве я не такой же, как они? Отчего мне на солнце ясное вольно посмотреть не удастся, долю свою размыкать, сердце свое утешить? Вот теперь великий пост у людей, светлый праздник приходит, у всякого радость да веселье будет, а я в этой конуре собачьей сидеть должен. И взяло же меня горе; все бы я отдал, чтобы выйти отсюда да пожить своей волей. Слышал я, братцы мои, что люди свою душу черту продают, и тогда им на земле бес дает и свободу, и счастье, и всякое богатство. Дай, думаю, попробую – начну черту молиться. Написал я записку собственной кровью, что душу свою запроедаю; снял я, братцы, крест, не стал ни умываться, ни чесаться, ни ногти обстригать, а начал каждое утро и вечер черта призывать и строгий пост блю-

сти: едва ломтик хлеба съем. Приходит пост к концу, а я к черту все взываю: «Явись ко мне, Сатанаил, спаси ты меня!» Исхудал, испостился я, братцы мои; нечесаный и невытый, сам я стал на черта походить. Вот хорошо. Пришла и Пасха. Сижу я в ночь на Христову заутреню и опять думаю: «Приди ты, Сатанаил!» Только сижу, и так – не заснул, а немного забылся. Вдруг, вижу, выбежала мышь и прямо ко мне на колени. Я так и обомлел. Это, значит, *он* в виде мыши ко мне явился. Господи! – подумал я, задрожал весь да вдруг крестное знамение и сделал. Как эта мышь кинется прочь, и раздался тут гром и треск, как будто двери вылетели прочь, и вся камора серным дымом и смрадом наполнилась. У меня тут голова закружилась; я так в забытьи и упал на нары. И вдруг слышу к заутрене в колокол зазвонили; осмотрелся – вижу в каморе никого, и двери целы; перекрестился я, встал и начал молиться да каяться перед Богом. Так вот какое со мной было происшествие! Не перекрестись я – взял бы Сатанаил мою душу. С тех пор я припоминаю, что не надо духом опускаться. Да и что тут толковать: поживем еще, братцы!¹

– Поживем! – отозвался ободрительно другой голос.

«Ай да в горе жить – не кручинну быть», – послышалась фистула (23) в конце коридора. Скоро эту песню сменил еще более оживленный мотив. И, наконец, какой-то секретный начал что-то вроде польки-мазурки, ожесточенно забрякав под такт своими кандалами.

Неприятное, тяжелое чувство производят эти веселые мотивы с бряцаньем цепей: что-то циническое звучит в этом веселье, в этом фиглярстве над собственным гробом. Такая дисгармония есть насильственная подделка чувства и человеческой природы; но секретный принужден прибегать к этому как к средству обмануть себя в своих страданиях и вызвать хладнокровие в тяжелые минуты из души

¹ Рассказ этот, интересный в отношении русской демонологии, выслушан нами из уст арестанта.

своей. Но горькой ценой покупаются это облегчение и эта демонская забава над своими муками... Отчаянное презрение к своей судьбе, безумная злоба и бесчувственность воспитываются здесь в арестанте. Можно бы запретить этот рефлекс, но лучше ли от этого будет, ежели не изменятся условия? Не хуже ли будет кипеть злоба? Не тяжелее ли будут томящие грудь муки?..

Что касается занятий вообще секретных, то нечего и говорить, что они проводят время совершенно праздно. Трудно требовать притом, чтобы они могли заняться чем-либо без надлежащих орудий, материалов, без получения заказов и возможности сбыта. Поэтому секретные или переговариваются, или предаются забавам, или, большей частью, спят по 18 часов в сутки. Имеющие деньги из секретных арестантов, конечно, пользуются всеми благами: друзья их, находящиеся в общих каморках, доставляют им все необходимое; поэтому одиночки могут даже напиваться, когда вздумают, пьяными. Иные свое уединение приспособляют с особой выгодой. Так монетчики, т. е. делатели фальшивых денег, здесь находят очень удобным делать ассигнации, предпочитая секретную общей камере, потому что они могут более скрытно заниматься своим ремеслом; значительная часть из них остается здесь, даже охотно, после следствия. Таким образом, даже сама секретная приноровлена была нашим арестантством к облегчению осторожного заключения.

Трудно сказать, какое впечатление производит уединение на нашего арестанта. Видно одно, что при строгом заключении он ожесточается и страдает, а в большинстве случаев впадает в глубокую апатию и чисто животную жизнь, томясь от скуки или изобретая развлечения. Пропагандисты пенитенциарной системы уверяют, что уединение ведет к самоуглублению, анализу своего прошлого и к раскаянию. Ничего подобного не замечается на наших секретных арестантах: они скучают, много спят и ведут

совершенно тупую и машинальную жизнь. Да и трудно, кажется, ожидать от человека неразвитого, не привыкшего к субъективному анализу, чтобы он критически поверял свою жизнь, обсуживал, шаг за шагом, свои поступки и отдавал себе отчет. Вспомним, многие ли из людей в жизни могут выполнить это с строгой последовательностью?.. Для этого нужно прежде всего известное развитие, воспитание: тогда, может быть, и без одиночного заключения человек придет к обсуждению и к оценке прошлого, и возродится для лучшего будущего.

Что касается до одиночного заключения, применяемого как у нас над подследственными и опасными арестантами, так и за границей, то постоянным стремлением арестантов было одно – это стремление к общительности. Этот естественный инстинкт не мог быть выжит ничем. По крайней мере, та же борьба происходит и в Мильбанке, как видно из записок одной надзирательницы.

В русской тюрьме, как бы секретного не садили, он, по свидетельству опыта, всегда найдет лазейку. У человека существует страшная изобретательность, в особенности, когда все его умственные силы и все желания сосредоточены на одном. Отыщет секретный щель – и вот у него открыт доступ к остальному миру; мало того: он перетащит сюда целый дом. Это неизбежно. Да тут еще помогут усилия других, стремящихся к тому же сближению: один буравит стену, и другой буравит стену – и цель достигнута общими силами. И сколько я видел этих лазеек – плод этой титанической, неустанной подземной работы арестантов! В общей тюрьме положение секретного возбуждает величайшее сострадание и ревностные попечения других арестантов. Секретному помогут всеми силами; ему, часто даром, доставляют необходимое. Вот, например, факты из собственного моего заключения. В тот же день, как я выглянул в окно из своей секретной, я имел друга, который кивал мне головой и делал знаки; на другой день я уже

имел своего трубадура, который нарочно из другого окна утешал меня песнями, а на третий день я уже получил, неизвестно каким способом, огурец...

Сношения, таким образом, развиваются быстро, а проявления участия и сострадания у арестантов к секретным – замечательные. Мы не рассматриваем это положение в тюремно-исправительном значении, но говорим только о развитии тех благожелательных, тех симпатических мотивов, которые проявляются обыкновенно в тюремной общине по отношению друг к другу.

III.

Тюремное времяпровождение

Когда я блуждал по «общим камерам» нашего «дома скорби» с моим Вергилием (24) – Ильей Ивановичем, опытным в острожной жизни человеком, то всегда находил самые разнообразные занятия и времяпровождение у свободного арестантства. «Общие камеры» у нас представляют не проходные и открытые залы, а глухие камеры по сторонам коридоров, где по нескольку арестантов в камере составляют свой интимный кружок и где они ведут безопасно скрытую от посторонних глаз жизнь. Форточки, устроенные в дверях камер, всегда удобно завешиваются и прикрываются и служат, с одинаковым удобством, для наблюдаемых, как и для наблюдающих: в них арестант удобно может видеть приближающееся начальство.

Камера арестантов обыкновенно представляет грязную и мрачную комнату, освещенную сальными окнами, затемняемыми вдобавок железными решетками. Здесь все пропитано промозглым, кислым воздухом; в разных местах развешаны онучи, тряпки, грязные походные мешки бродяг и т. п.; кругом разбросан разный хлам и истертые полушубки; по углам убогая утварь, состоящая из грязных

казенных шаек, плошек и горшков; на нарах валяются истертые кошмы и армяки вместо постелей. Мириады тараканов блуждают по стенам, и бесчисленное множество других, менее заметных насекомых, пасутся по арестантскому имуществу. Среди жаркого и удушливого воздуха на нарах раскидывались полураздетые арестанты в разнообразных позах. Одни из них храпели богатырским храпом; другие лениво позевывали и апатично водили глазами по стенам и потолку камеры: видимо, их съедала смертельная скука. Это были бродяги, попробовавшие вольного степного воздуха, отдохнувшие на свободе. Они чувствовали тесноту острога сильнее, чем те, кто не испытал степной воли и опасностей бродяжнической жизни. Рядом с ними группировались более активные арестанты посреди разных занятий. Какой-то подслеповатый старик починял худую сермягу; около него бойкий и краснощекий, как деревенская девушка, парень пилил юлку; по соседству собравшаяся кучка арестантов играла в карты; другая группа слушала рассказ авантюриста-бродяги о чудном переходе пустыни из Охотска через Яблоновый хребет. В стороне кто-то на корточках, прижавшись к нарам, из черепка с жидкими чернилами писал прошение или расписывал паспорт, другой – медленно и терпеливо выводил огрызком карандаша на папиросной бумаге снимок с трехрублевой ассигнации; на окне сушили пузыри из-под водки; в темноте, под нарами, копошился труженик, выдалбливая потайной ящик в полу; кто-то выводил у окна, приложив руку к щеке, монотонные «Степи Моздовские», а в углу флегматически сидел герой каторги и, со стоицизмом Муция Сцеволы (25), царапал ножом свою клейменую руку.

– И вот, братцы мои, иду я этой самой пустыней, – рассказывал словоохотливый бродяга своим столпившимся слушателям, – горы стоят высокие, крутые. Леса стоят темные, непроходимые, и по всему туманы ходят непроглядные...

– Врешь, врешь! Мой козырь, подайнная голова! – гремит спор тут же сидящих игроков.

– И скажу я тебе, братец мой, теперь про Серафима этого угодника... – дребезжит какой-то старчески-благочестивый голос.

– И обернул Иван Царевич тую волшебницу самую в кобылу... – вдруг рядом экспромтом оканчивается какая-то сказка.

– И как к нему медведи приходили и разные звери окружали... – дребезжит голос старика, глядящего по голове 14-летнего бродягу, который смотрит огненными глазенками на соседнюю партию в три листа.

– Фалька! Фалька! Чтоб вас язвило! – ревут игроки.

– Была, сударь мой, у этого палача силища страшенная! – вводится новый рассказ. – Раз он подошел к воротам на мостик. Эх, говорит, из острога не пускают! Подбодрился, да как топнет, так полуторавершковая плаха пополам. Во как!

При этом общем смешении звуков и говора, треска и хохота, шум из камер стоит по острогу невообразимый. С одной стороны стучит какой-то молот, выбивая на копейке оттиск двугривенного; кто-то визжит пилкой по кости; здесь точат осколки железа; там закатывает неистовая острожная музыка; где-то брякают распущенные цепи прогуливающегося по коридору пересыльного; какой-то секретный бьет поленом в запертую дверь. Звуки то сливаются, то дробятся и сталкиваются в поразительных контрастах. В одной камере громко читается Библия, и рядом учиняют безобразнейшую пляску; слышится целомудренная молитва раскольника, и тут же циническая брань; благочестивый мусульманин нараспев читает стихи Корана; еврей плачет над своими псалмами; а там неслется разудалая бродяжеская песня; на миг раздается вой бабы, приведенной в острог, грубая брань надзирателей, любовная перекичка – и вдруг вырывается полный то-

ски и торжественности, полный молящей надежды гимн какого-то изгнанника, и все это покрывается стоустым гоготом неистовствующего острога, сливаясь в общий, дикий и хаотический концерт.

Удивительное разнообразие занятий можно было встретить в каждой камере. Здесь можно было найти все, кроме разве производительного и полезного труда, в котором старый тюремный устав и старые смотрители отказывали арестантству¹. Вместо него арестанты принуждены были создавать свои особые занятия и развлечения. Люди проводили здесь время или в играх, приправляемых пьянством, или в разных «свободных художествах», которым в остроге «несть числа» и которые носили свой местный характер. Мы скажем несколько подробнее об этих занятиях, вошедших в привычки нашего тюремного мира.

Для самых праздных и неумелых здесь существует два занятия: игра в карты и пьянство. Для игры создалось здесь целое сословие игроков, под именем «жиганов», организовавших свою артель, с ростовщиком во главе, который носит название «жиганского старосты» и снабжает своих подчиненных деньгами на игру, получая львиную часть от выигрыша. Жиган – это самый жалкий и бедный парий острога, которого азартная игра заставляет проигрывать все, что он имеет и что приобретает. Последняя

¹ А старый тюремный устав гласит следующее: «Осужденные на заключение в тюрьме могут во время оног избирать себе занятия из числа дозволенных в смиренных домах, *если* токмо сие может быть допущено по внутреннему устройству тюремного замка (а все старые остроги по своему устройству не были приспособлены к этому), а равно и все другие, но не иначе, как с особог разрешения тюремного начальства (это было также стеснение для работ, допускаемых как исключение): они могут получать для этого все нужные материалы, *кроме* лишь тех, которые *почему-либо* будут признаны опасными» (а опасными признавались все острые орудия, в том числе и ножи, почему орудия для работы иметь запрещалось). (Свод законов. Т. XIV. Устав о содержании под стражей. Ст. 204). По статье 207, заработок арестантам мог быть выдаваем лишь при выпуске из тюрьмы, что далеко не привлекало арестантов; кроме того, работы их всегда обращались в пользу осторожных смотрителей.

полушка у него ставится ребром. Когда нечего проигрывать, он проигрывает казенную одежду, отдуваясь спиной, порции хлеба и щей, иногда за целые месяцы вперед, а сам питается подобранными на полу корками; потому он всегда голоден, истощен бессонными ночами и вечно в лохмотьях. Игра здесь является не времяпрепровождением от скуки и не развлечением, как думают некоторые, но своего рода средством приобретения, заменяющим труд. Каждый скопленный грош, каждая корка хлеба ставится на ставку как необходимая затрата на предприятие, обещающее выгоду. Потому у бедного арестантства игра есть необходимость, обусловленная бедностью обстановки; она является борьбой за хлеб, за удовлетворение необходимых потребностей; она есть ремесло, профессия и заработок. «Чем вы занимаетесь?» – спросил я одного осторожного певца, разумея его ремесло. «Я играю-с», – ответил он мне категорически. Увы! он был, действительно, бродяга – жиган. В осторожной игре, как во всякой игре, одерживают верх или самые богатые, или самые искусные, т. е. разные шулера. Проигравшиеся раз стараются вновь попробовать счастья, проигрываются окончательно, и тогда каждая копейка и порция идет у них на новые попытки, и они остаются вечно нищими и вечно проигрывающими. Жажда выигрыша у них развивается по мере препятствий; постоянное волнение крови, приливы надежды и страха, вечное ожидание счастливой случайности держат их организм в таком напряженном состоянии, что игра является страшной, пожирающей страстью острога, где люди все обращают в капитал – одежду и пищу – голодают недели и месяцы, чтобы иметь возможность снова пуститься в игру. Записаться в больницу под видом больного, часто искалечив и испортив себя для этого, чтобы играть на лучшие больничные порции, – в остроге дело обыкновенное. Часто больные и умирающие проигрывают свои диетические порции и употребляют вместо того

самую ужасную, в их положении, пищу. Анекдот, рассказанный Фрегье о преступнике, проигравшем пищу и умершем от истощения, в каждой острожной больнице у нас совершается воочию.

Каждая игра, каждое приобретение арестантства сопровождается выпивкой; горе, отсутствие труда и тюремная тоска особенно способствуют этой страсти. Каждый арестант ищет средств выпить во что бы то ни стало, и каждый острог всегда находит средства добыть вина. Наш «дом скорби» представлял для этого также полный простор и удобства. Не только вино продавалось на майдане, но даже местный виноторговец, подсудимый дворянин Б... устроил целый склад и продажу водки в больнице. В одной из больничных палат можно было встретить его с его другом Физером, тоже из дворян, расхаживавшими в красных рубахах и фартуках посреди целой батареи бутылок и полуштофов и рассиропливавшими спирт с искусством старого откупного сидельца. Вид здесь был далеко не тюремный; это была скорее разливная и распивочная: посуда и склянки всякого рода, даже целые бочонки красовались на видных местах; на решетках окон сушились пузыри; посетители выходили то и дело. Какой-то шутник написал здесь мелом перед приездом начальства: *распивочно и навынос*.

Вино благодаря легкому доступу в острог было всегда в значительном количестве. Перед праздниками иногда скоплялось его до пяти и более ведер, и все это уничтожалось в день или два. Проносился в острог обыкновенно спирт. Для проноса измышлялись всевозможные способы и хитрости: проносили вино в кишках, обвитых вокруг тела, в обрубках дерева, в дровах, в метлах, в сбруе водовозной лошади, в легких говядины и т. п. Вино часто получалось самым оригинальным способом: то его заносила ничего не подозревающая водовозная лошадь; то во время службы, в церкви, на хоры к арестантам поднима-

лась бутылъ, принесенная неизвестным прихожанином. Остроумный торговец Буздевдев заставлял жену свою проносить вино под кринолином. Но большей частью не требовалось прибегать даже и к этим уловкам: надзиратели, ключники, служители и караульные за известную плату готовы были во всякое время просунуть арестанту полштоф водки. В старом русском остроге не пренебрегали торговлей вином ни караульные офицеры, ни смотрители, часто конфисковавшие приносимую водку с тем, чтобы снова перепродавать ее арестантам. Это показывает, какой обольстительный доход давал этот запретный плод острога. Чашечка спирта продавалась по 40, 50 коп. и более; бутылка обходилась арестантству в 2 руб., в 2 руб. 50 коп. и более. Продавец и доставщик получали до 150 % прибыли на рубль, и это еще в довольно патриархальных острогах, где доступ вина был легче. Понятно поэтому, как наживались майданщики и разные откупщики острогов: при страшном запросе на вино они окончательно обирали арестантов; заработки целого острога, все имущество приходивших в острог, все выигрыши в карты «перегонялись на вино», как говорят острожники. Единственными капиталистами острогов и хозяевами являются только майданщики и продавцы водки. Арестанты ненавидят их как своих грабителей, часто крадут у них вино, не отдают долгов, но тем не менее находятся у них в зависимости и несут вечную им подать. Я знаю, как в одном остроге весь тяжкий заработок арестантов (до 400 руб.) перешел в руки майданщика. Арестант часто продаст хлеб, но на вино помаленьку все-таки скопит и, конечно, пропьет все разом. Этому способствует и тюремная тоска, и праздность, и прежнее пристрастие к вину, так же, как и жажда запретного плода.

Кроме игр и продажи водки, в остроге процветают всегда разные «свободные художества». Одним из самых распространенных занятий была в нашем остроге, как и

во многих других русских острогах, фабрикация фальшивых кредитных билетов. Фабрикация эта производилась как в общих, так и в секретных камерах, хотя монетчики все-таки ищут мест по возможности менее людных и более скрытных. Один из монетчиков, как говорит предание, поместился для своей профессии в нашем остроге даже в церкви, куда впускал его ключник. Все необходимые материалы монетчик получает тем же путем, как и всякую контрабанду – табак, вино, карты и проч. Материал монетчиков носит условные термины на их жаргоне в виде «стекла», «льду», «песку» и т. п., точно так же, как и самые бумажки называются «блинками», так как наскоро пекутся. Искусство монетчиков, конечно, различно: некоторые не могут иначе приготовить бумажку, как на стекле, другие делают чуть не наизусть. Такие искусники даже чертят на стенах карандашом разные тройки и пятитки. Что касается сбыта, то и в этом отношении изобретательность всегда сосредоточенного арестанта открыла самые разнообразные средства. Прислуга острога служит главным агентом для передачи фальшивых бумажек за стены тюрьмы. В нашем остроге, – рассказывают арестанты, – была приучена собака переносить такой товар из острога в город: все нужное зашивалось в ошейник, и ее выпускали из острожной калитки. Это напоминало хитрости контрабандистов с брабантскими кружевами. Монетчики привязывались к своему призванию тем более, что звание «монетчика» было в остроге не только прибыльным, но и самым почтенным. Это звание делается поневоле идеалом острожного жителя. Самый последний из арестантов, самый бездарный из бродяг метит сделаться монетчиком. И вот эта профессия приобретает толпу прозелитов. Безграмотный выучивается для этого грамоте; грубые и неумелые руки приучаются к тонкой работе рисования, и, конечно, за десятком гениев этого искусства выходят тысячи пачкунов, готовящихся к этому делу на свою по-

гибель. Однажды наш острог был наводнен продуктами этой фабрикации. Рублевые бумажки продавались по 14 и 20 коп. штука; чуть не в каждой камере чертили или рисовали снимки на папиросной бумаге; рисунки и оттиски ассигнаций встречались во всех острожных книгах. Несмотря на постоянные обыски, смотритель никак не мог искоренить этого «свободного художества». Во-первых, некоторым находкам – какому-нибудь клочку папиросной бумаги с этюдом и разными каракулями трудно было придавать серьезное значение, и он уничтожался домашним образом. Во-вторых, дело это было столь обыкновенное и привычное в остроге, что никакие обыски не останавливали арестантов. Сидел, например, у нас в секретных делатель ассигнаций Я... и деятельно производил свою работу. Наконец, пало на него подозрение: приходит смотритель, обыскивает – и ничего не находит. Желая, однако, добиться какого-нибудь результата, он приказывает разломать кровать, и в секретной лазейке ее находит краски и начатый билет 25-рублевого достоинства. Через два дня смотритель узнает, что фабрикация по-прежнему продолжается. Внезапно явившись к Я., смотритель говорит: «Ну, отдавай, что ты сделал вновь!» – «Да трехрублевою только, ваше высокоблагородие: больше ей-Богу нет!» – отвечает, не задумываясь, арестант, вытаскивая из-за пазухи ассигнацию. «А еще?» – «Больше нет!» Но смотритель нашел и еще начатую десятирублевою. Арестант Я... нисколько не унимался, и материалы вновь появлялись после каждого обыска. При таком положении дел начальству оставалось только опустить руки.

После фабрикации фальшивых ассигнаций более видную отрасль «свободных художеств» острога составляет подделка паспортов для беглых и бродяг. Паспорта делаются обыкновенно отставными чиновниками, писарями и тому подобным канцелярским людом; их помощниками являются резчики печатей для этих паспортов. Печати про-

даются часто и отдельно. Паспорта предпочитают в виде крестьянских билетов, в Сибири, например, выдаваемых с приисков горным начальством. Также в ходу и солдатские отпускные билеты. Опытные бродяги предпочитают идти солдатами: военного человека, дескать, меньше обидят. Паспорта обыкновенно продают по 9 и 12 руб. Те же артисты, которые любят подделку паспортов, отличаются в искусстве подделываться под разные руки, писать прошения, безымянные доносы и т. п.

За резчиками печатей являются разные техники, подделывающие фальшивые золотые кольца, серьги и т. п., что сбывается вне острога обыкновенным контрабандным порядком. Замечательно, что всеми этими профессиями занимаются не одни уже готовые артисты, попавшие в острог с знанием этого дела, но множество дилетантов, изучающих подделку во время самого заключения в тюрьме.

После подделки фальшивых бумаг и паспортов наука побегов составляет свою отдельную отрасль преподавания; примеры и рассказы о самых геройских делах этого сорта переходят из поколения в поколение в предании и песне. Тут же узнает новичок об искусстве разбивать кандалы, пилить решетки, а на осторожном часовом изучает натуру будущего своего конвоя в партии и искусство применяться к ней. Затем идет наука бродяжества и охватывает острог самой широкой и горячей пропагандой. Авантюристский характер придает этим рассказам особую прелесть; препятствия, опасности и способ обходить их поражают изобретательностью и хитростью; знакомство с новыми местностями, с вольными лесами и степями веют запахом весны в этом смрадном и тесном мире заключенных, и влекут их желания в бесконечную даль пустынной Руси. Как пламенная прокламация, они зажигают в сердце арестанта жажду свободы и влекут его вон из тюрьмы. Наряду с этими рассказами идут сообщения положительных географических сведений о всех замечательнейших

острогах и пересыльных пунктах, начиная с громадного московского замка до таких бродяжнических центров, как замки тобольский, томский, иркутский, и кончая дальним Акатуем или Карою, где также привольно течет острожная жизнь в увеселениях и «свободных художествах», под звон тяжелых кандалов каторжного люда. Наука острога завершается обширным знакомством с острожной юриспруденцией, необходимой для каждого, кто попадает на путь преступления.

«Эх! Чему только наш монастырь не научит», – говорили арестанты нашего острога. И, действительно, чего только здесь не делалось! «Господи, – думаешь, бывало, – ну как да все это откроет начальство!» Но оказывалось, что опасаться решительно было нечего. В случае надобности обыденная жизнь острога со всеми ее насильственно созданными развлечениями, со всеми ее тайнами и подпольными похождениями вдруг сходила со сцены и принимала самый чинный, официальный характер. В остроге было столько нор, лазеек, тайников, провалов, что все запрещенное исчезало в одно мгновение ока, как в любой волшебной оперетке. Для этого арестант тщательно изучает острог, осматривает все его закоулки, замечает все щели; и, действительно, в искусстве прятать арестантство достигло изумительного совершенства. Арестанты свертывают в нитку деньги и проводят их по карнизам, глотают в случае надобности монету и золотые вещи, прячут их в рот, в волосы, в бороду и в уши. У каторжных бывали целые кожаные несессеры с пилками для решеток, ножами, иглами, деньгами и проч., которые они проносили на своем теле. Своего острожного начальства арестантство совсем не опасалось: оно знало, что все между ними останется делом домашним. Что же касается до посторонних официальных лиц, являвшихся ревизовать острог, то здесь был заинтересован, конечно, и сам смотритель, и потому заранее заботился о порядке в своем ведомстве.

В это время готовилась хорошая пища, выдавались новые кафтаны из цейхауза (которые по отъезде начальства снимались снова); камеры запирались; коридоры выметались; арестанты сидели с понуренным и кротким видом, как невинные дети. Начальство тщательно обходило и осматривало острог, и единственный беспорядок усматривало разве в неубранной куче сора в углу коридора или в нечаянно попавшем таракане в образцовые щи. Уезжало начальство – и высыпали заключенные на острожный двор играть в чехарду и орлянку: что за важность, что новые халаты отобраны и пища пошла опять скверная! Благо, они опять в своей обычной сфере. Опять являлись на сцену засаленные карты, начинался шум и стоустый говор; опять раздавалась арестантская песня, и жизнь острога текла по-прежнему.

Но бывали и другие грозы над острогом. Узнает губернское начальство, что острог уж больно распустился, что в нем идет деятельное производство ассигнаций и паспортов, – еще на днях взятые с такими деньгами торговли признаются, откуда их получили, – и вот проснувшееся начальство вдруг ополчается против «дома скорби» и приказывает внезапно накрыть его и произвести строжайший обыск. Смотритель острога приходит в ужас от одной этой мысли, зная, что творится между арестантами. Задумчивым и озабоченным едет он из полиции в острог. Надо найти какой-нибудь выход. И вот только что смотрительские дрожки подвезли его к квартире, как через пять минут по камерам острога ходит староста и торжественно провозглашает: «Эй вы! Табак, трубки, кости, карты, краски, олово, “блинки” и все такое убирай! Тайная полиция будет!» «Полиция будет!», – разносится по камерам, и все живое приходит в движение. Весь острог встает на ноги; все осматривает себя и прибирает; полуштофы и бутылки прячутся куда-то под забор; кто рвет начатый паспорт; кто пересыпает махру; кто бежит с картами на чердак; таин-

ственная экспедиция пробирается на двор к сорной яме; тут поднята половица, здесь отвален карниз, в печке очутились какие-то норы. Скоро острог, однако, угомонился и ждет. Арестанты улеглись, но чутко слушают. Ночь. Медленно и тихо выдвинут караул и оцепляет острог; во всех закоулках здания расставлены темные и неподвижные фигуры. Тихо по коридорам острога прокрадываются тени; невзначай чуть брякнет неосторожный тесак, и сейчас же он подхвачен поспешной рукой; озабоченные и хмурые лица тщательно прислушиваются в окошечки камер. «Ничего в волнах не видно»: спят арестанты как невинные младенцы! Вкрадчиво и тихо проводится ключ в визгливый замок; с каким-то не то шумом, не то плачем отворился засов. «Вставай!» – загремело на арестантов. Заспанные, робкие и изумленные лица предстают пред внезапно освещенной толпой величественного начальства. Перебираются нары, обшариваются печки, перетряхивается арестантская рухлядь... Нет ничего! Другая, третья, четвертая камера; перерыт и поднят вверх дном весь острог. Утомленное и измученное начальство уезжает уже утром с колодой засаленных карт, найденных где-нибудь в мусоре, с двумя трубками-носогрейками и тремя затаस्कанными кисетами махорки вместо трофеев. Ну, и слава Богу, что ничего не оказалось: значит, все обстоит благополучно! А через час декорации изменяются, и настоящая жизнь острога выступает в своем полном разгуле.

Такая жизнь, конечно, составляла самую дурную сторону общего острога. Но должно помнить, что арестант и не мог ничем заняться: ему все запрещалось. Последний ножик – какое-нибудь кромсало, сделанное из железа, – у него отбирался; шильце, необходимое для штопанья казенной обуви, отбиралось; книга попадет, занесенная в острог, – и ту отберут. Что тут делать?

Были в остроге и люди трудолюбивые. Сидит, например, арестант и целые дни пилит гребешки из кости; дру-

гой целые месяцы делал скрипку. Но куда с этим со всем денешься? Сбыта из острога нет: в остроге ни гребешки, ни скрипки не нужны. От скуки арестант пропадает в старой тюрьме – ну, он и изобретает себе занятия. Знал я зоркого бродягу, который звал себя фельдшером; он то и дело рыскал и суетился по острогу; натура была живая. Прибежит в аптеку, понюхает склянки, поспросит больных и убежит; целый день он рыскает и ищет, не надо ли кому кровь открыть, что и выполняет, когда найдутся желрующие. Встречаешь его иногда. «Что вы?» – «Да что? – отвечает с озабоченным видом, – я теперь другое занятие уж нашел: просто, фельдшерской практики никакой нет!» – «Какое же занятие нашли?» – «По письменной части – прошения сочиняю». И так он постоянно метался по острогу. Иной возьмет бритву и пойдет брить арестантов; третий наберет кучу старых тряпок и пойдет продавать, якобы торгует; четвертый думает, думает – и начнет кукольную комедию устраивать. И понятно, человеку нужен хоть какой-нибудь интерес в жизни, хоть какое-нибудь занятие. Пристройте этих людей, дайте им дело – и этот острог превратится в громаднейшую фабрику, которая закипит, задвигается всеми своими силами. В острогах у нас есть превосходные мастера, отличные писцы, гравировщики, часовщики и т. д. Одни только бродяги наименее способны к труду, но и те, имея перспективу в жизни, начнут трудиться.

Чтение точно так же всегда составляло жажду арестантов. Они – страстные охотники до путешествий и до русской истории; грамотники их постоянно отыскивают всякий клочок бумаги, чтобы прочитать его на досуге, – будь это хоть чайная обертка или смотрительский рапорт. Арестанты знают стихи, песни и учатся друг от друга. Метода взаимного обучения грамоте у них и теперь существует. Ни в одной тюрьме между тем у нас не существовало хоть ничтожной светской библиотеки. Наш арестант,

находясь в праздности, без занятий, оставленный на произвол, без всякого заработка, при дурной пище, естественно, деморализовался; он искал случая или украсть, или выиграть в карты. Та же праздность вела его к изысканию развлечений, иногда самых безнравственных; от нечего делать он болтал всякий вздор, сочинял, навирал на себя, развращал свою фантазию и т. п. В одной из тюрем было придумано для развлечения вести, например, процессы. Так арестанты постоянно жаловались на кражи, на покушения, совершаемые друг другом к убийству, и постоянно ходили судиться. Оказывалось, что все они были ужаснейшие разбойники и злодеи, которые только и думали резать друг друга, а на самом деле они просто выкидывали комедию с начальством.

Итак, порча наших острогов была вовсе не столько в сообществе, сколько в праздности, бездеятельности и нищете арестанта.

IV.

Недуги острога

Как переделало арестантство свою острожную жизнь в камерах, так оно приспособило по-своему и острожную больницу, преобразив ее из печальной обители вздохов и смерти в обитель вечно преследующей арестанта жажды развлечений и спекуляции. Больница острога в продолжение дня представляла самые комические метаморфозы.

Каждое утро, перед приездом доктора, она представляла очень приличный и соответствующий назначению вид. В коридоре, перед аптекой, всегда стояла куча немощного народа, с которым мучился доктор, расспрашивая болезни. Субъекты были разнообразные.

Здесь толпились хилые старики, прося освидетельствовать их и дать удостоверение о неспособности их вынести

телесное наказание. Здесь же толпились здоровенные парни с воспаленными глазами, с зияющими ранами на руках и ногах; были субъекты с какими-то странными, совершенно непонятными болезнями и неопределенными жалобами.

– Ты что, чем болен? – обращался доктор к одному больному.

– Сердцем болен, ваше высокоблагородие, а так весь здоров.

– Гм! – Доктор слушал грудь и обращался к другому.

– У меня сердце здорово, только голова и ноги болят, а сердцем как есть здоров.

Доктор щупал пульс, расспрашивал и сомнительно посматривал на пациента.

– А ты который уже раз, Аксенов, в больницу? – внезапно обратился доктор к молодому парню, стоявшему в стороне.

– Четвертый раз, ваше высокоблагородие! – отвечал парень.

– Опять рана?

– Рана опять-с! – и парень протянул пораженную язвой руку.

– Что за черт! Да ты растравляешь, верно! – воскликнул доктор, взглянув на рану.

– Никак нет-с: все сама приключается.

– А ты что? все глаза? – перешел он к другому.

– Опять глаза, ваше высокоблагородие!

– Что за чудо! Кажи глаза. – Доктор покачал головой. – Ну, а ты?

– Да как будто ломота, ваше высокоблагородие.

– Где ломота?

– Везде, значит, ломота: весь нездоров.

– Каши, должно быть, хочешь! – недоверчиво заметил доктор.

Арестанты ухмыльнулись пронизательности доктора.

– Ну, а тебе что, дедушка?

Перед доктором стоял хилый 70 или 80-летний старик; голова его тряслась; желтая кожа засохла на нем, как на мумии; клочья седых, жиденьких волос были распущены на лбу, как у ребенка; глаза были какие-то неподвижные, детски-наивные и невозмутимо-спокойные; он стоял, скрестивши на халатишке руки, точно покойник.

– К вам, ваше благородие... вот освидетельствовать... – зашамшил старик, – к наказанию вышло идти: так нельзя ли по старости лет уволить... хил я больно... Божескую милость! – глухо выкрикнул он и повалился, как труп, в ноги. Когда старик поднялся, лицо его было по-прежнему невозмутимо и холодно-спокойно.

– За что ты судишься, старик? – спрашивал доктор.

– За побег, за побег, ваше высокоблагородие: родимую сторонку хотел перед смертью повидать; ну, значит, детки тоже там остались... так не привел Бог!.. – тоскливо промолвил старик.

К доктору подошла еще пара больных: один был чахоточный в предпоследнем периоде, другой – такой же худой и высохший арестант с зачахшим видом; это был поселенец, страдавший ностальгией, которому тоже угрожала чахотка. Одному нужна была для излечения свобода, другому – родина. Доктор кивнул головой, как будто говоря: «Да у нас и лекарств таких нет!»

– Запишите их! – сказал он фельдшеру, указывая на прибывших. Больные побрели по камерам. Доктор начал обходить больничные палаты.

Здесь все было готово к его приходу: пол выметен; накурили вереском; склянки лекарств красовались около каждого больного; больные лежали закутанными на койках, охали и громко стонали. Вид был унылый и печальный!

Но вот уехал доктор, и больница начала принимать другой вид. Отворили двери больницы; повалили сюда гости со всего острога, и пошла деятельная продажа больничных порций и пайков белого хлеба. Торг кушаньями

и булками составляет важную привилегию больницы: запрос на порции в скудном пищею остроге очень велик. Все денежные арестанты покупают для себя порции в больнице, но в особенности снабжают ими своих любовниц. С своей стороны, несостоятельные и нуждающиеся арестанты находят выгодным под видом больных записываться сюда и продажей сэкономленных порций, которые в больницах раздаются щедрее, доставать деньги на игру и другие потребности. От этого обыкновенно больница после обеда превращалась в игорный клуб, где пришлые гости-арестанты обчищали больных. Продажа порций, молока, хлеба, пива и вина, отпускаемых больным, так выгодна, что даже труднобольные не прикасаются к ним, а возбуждаются корыстью и продают. В нашей больнице лежал медленно умирающий «в водянке», которому отпускали очень хорошие порции кушанья и значительное количество вина для поддержания сил; все это он немедленно сбывал, а сам питался хлебом или жил впроголодь. После смерти у него было найдено несколько рублей, Бог знает кому и на что накопленных, так как ни родных, ни друзей у него не было.

Менее голодная жизнь и большее приволье на больничной койке, чем в острожной камере, делали больницу для арестанта обетованной землей. Если доктор слишком был разборчив и не принимал сомнительных, то арестанты искусственно создавали себе болезни, чем и вынуждали принимать себя. Они изобрели целую науку калечить себя, как «компрачи́косы» (26) обладали искусством калечить других¹. Наука эта была создана в годину прежних

¹ Из этих болезней самые обыкновенные – возбуждать рвоту табаком, изменять пульс перетягиванием руки, сводить руки и ноги, продевая нитки сквозь жилы, натираться бодягой для опухоли, прокалывать кожу во рту и раздувать флюс, для килы глотать ртуть, воспалять глаза мушкой, открывать раны привязыванием пятак с ярью и пронизыванием волокон из древесины растения «волчьи ягоды» под кожу, капать в рану растопленной серой и т. п.

бед арестантства и употреблялась как средство выйти из каторги, избавиться от телесного наказания, оттянуть приговор, отсрочить отправку в партию, отдохнуть на дороге и т. д. Искусственная болезнь всегда являлась на помощь арестанту, и была защитой часто жизни, и всегда средством спасения от более сильных физических страданий. Скоро ею начали пользоваться при всяком удобном случае не только люди, вынуждаемые серьезными причинами, но и просто тунеядствующие острожные бонвиваны (27), украшавшие себя пластырями для игры «в фальку». Комическое здесь перемешивалось, как и везде в остроге, с трагическим.

В самом деле, в той же больнице, иногда рядом с бонвиваном, натертым бодягой, валялся в муках, бреду и горячке только что наказанный арестант, избитый беглец или искалеченный бродяга. В среде играющих в карты, среди буйной и пьяной вакханалии, под песни и гам больничной палаты, часто в предсмертной агонии умирал безродный и бесприютный арестант – одиноко, холодно. Уныло сидит на койке какой-нибудь Самсон Непомнящий 7-й, глухо покашливая чахоточной грудью, и смотрит каким-то стеклянным, безнадежным взглядом. Кто он такой? О чем он думает? Какие воспоминания тяготят его, – никто этого не узнает, и никому до этого нет дела.

– Однако он уж скоро кончится, – говорят арестанты надзирателю.

– Так что! умирайте: на гроб-то лесу хватит у нас, – грубо орет надзиратель.

– Ребята, мотри, сегодня энтот кончится, дохтур говорил... – говорят, ложась спать, арестанты.

Тоскливо слушает их умирающий. Не на ком ему остановить взора, не в ком прочесть участия. Он знает, что не зарыдает над его гробом мать или жена, а станет над ним тот же бесстрастный часовой, пока не вынесут его на

кладбище. Прозаическая смерть арестанта занесена в одно тюремное стихотворение, написанное ссыльным. Вот как рисуется она:

Я видел, как в стране чужой
Моих собратьев хоронили.
Им гроб досчатый и простой
Для жизни вечной сколотили.

Одежды их: армяк худой,
Штаны сукманные худые;
Один в «опочах», а другой
Обут в «чирки» опушные.

Я ждал, впоследствии зажгут
Свечу над спящими друзьями
И, думал, пастыря дождут
Свершить молитву над телами. –

Но нет: свернули их в халат
И положили в гроб досчатый –
И тем свершился весь обряд,
И помин кончился богатый.

Слезой никто не провожал
Несчастных в вечное жилище,
Один лишь на быков кричал,
Везя их, бычник на кладбище¹.

Арестанты также не любят печалиться о своих мертвецах. Бесстрастно будут орать острожные певчие, а потом вместе с могильщиками воспользуются, чтобы «раздернуть четверку» (водки) на кладбище, и затем уже вернуться совершенно веселые.

¹ Эта песня, как видно, забайкальского происхождения и касается каторжного быта.

Горевать не в моде острога, и тем более выказывать горе. Поэтому самые тяжелые сцены проходят для него мимолетно. Побьет ли арестанта конвой, выслушает ли он приговор на каторгу, перенесет ли телесное наказание, совершится ли смерть пред его глазами, – через час арестантство опять дуется в карты, пляшет и потрясает острог самой разудалой песней. Слушая эту забубенную, залихватскую острожную песню, можно подумать, что у этих людей нет ничего на сердце, – можно, пожалуй, заключить об их циничности, как многие и заключают, но справедливо ли постоянно требовать от человека выражения печали? Прилична ли будет эта слезливость у людей взрослых, мужественных? Острог это хорошо понимает; поэтому он позволяет страдать, но не показывать вида своего несчастья. Здесь и без того каждому «трудно живется и дышится», чтобы еще надсажать друг друга. Поэтому в остроге вы менее чем где-нибудь найдете слез и жалоб: каждый несет гордо свое горе. Много, много – что лица холодны, бесстрастны и сосредоточены. Слышится разве иногда плач вновь приводимой в тюрьму женщины, да и то острог скажет: «Эк разрюмилась!», или: «Небось, матушка, и здесь люди!»

Но следует ли из всего этого, чтобы острог – это скопище всевозможных гонимых жизнью – не имел горя? Не большее ли оно еще скрытое, безмолвное, постоянно прячущееся?

Трудно его найти, и оно редко себя выдает. Острог поет; пронзительный хохот, сумасшедшая удаль и дьявольская пляска несется подчас в громе этих звуков; выше, громче – но вдруг надтреснула нота, оборвалась струна от внезапно резнувшей боли... Днем неистовая пляска и сумасшедшее веселье, а ночью, под нарами, истерический припадок у бесившегося целый день парня...

Вечно носить свое несчастье, никогда не смея показать его, – это, может быть, тягчайший из недугов острога!

V.

Любовь в неволе

Стремясь инстинктивно удовлетворить все человеческие потребности, которыми обладают люди на свободе, острог между всеми другими функциями человеческой жизни не мог упустить самого важного – любви. Одиночество, тоска, совершенная оторванность от мира придают этой потребности значительную степень силы; чтобы удовлетворить ее, арестанты старались воспользоваться женскими отделениями, находящимися в каждом русском остроге: они хитро заводили знакомство с этими заповедными и строго ограждаемыми местами. И вот в их приюте, в этом монашеском доме, в доме уныния *по назначению*, раздались любовные вздохи, страстные речи, слышались пылкие поцелуи, и, под носом охранявшего вход в эдем часового, острог не только соединил некоторые эротические удовольствия, но и дал возможность плодиться новым поколениям.

В нашем остроге женское отделение было в верхнем этаже четырехэтажного здания и так же строго ограждалось перегородкой с запертой дверью и часовым, как бывает везде в острогах. Несмотря на то, с женской половиной арестанты поддерживали самые живые сношения в продолжение целого дня. Около перегородки женского отделения всегда стояла куча томных поклонников женской красоты, которые беседовали с любезными сквозь щели перегородки и передавали подарки. В то же время по всему острогу в окошках этажей и в разных укромных местах и щелях между обоими полами шли непрерывные разговоры, любезности, уверения в любви, обещания увидеться где-нибудь и т. п.

– Милый, дорогой мой Ваня, ведь я, голубчик, только и думаю, что о тебе. Ты, Ваня, в карты-то не играй! –

раздается сверху Бог знает из какого-то угла голос страстной любовницы.

– Я очень верю вам, Амфиса Семеновна, и сам к вам в расположении чувств, потому четыре калача и заварку чаю... – отвечает из такого же укромного места снизу голос страстного любовника, какого-то фешенебельного поселенца.

– Не верь, не верь, Глаша, он Аниску беспятую хочет в любовницы взять! – интригует кто-то в другом углу снизу.

– А плевать ему, мерзавцу! Вот уж с неделю ни чаю, ни куска сахара не видала, а он кутит, жиган проклятой! – разражалась обиженная Дульцинея.

– Как есть прогорел, и рубаху-то, что ты ему шила, тоже проиграл, – продолжает интриган. – Глаша! Давайте лучше со мной любезничать, потому как я всегда к вам с нашим удовольствием...

– Очинь приятно! Только я очинь чай люблю пить.

– Одно слово – убогатворю; сичас два калача наверх предоставлю!

Так идут интимные разговоры, любезности и интриги по углам острога. Около перегородки в коридоре в то же время толкуются как любовники, так и мужья арестанток. Если острожные «любезники», щеголевато одетые в красные рубахи, примасленные и вычесанные, скромно ожидают случая и берут хитростью, чтобы увидеться с любовницами, то мужья уже всегда ломаются, опираясь на свое право. При этом всегда разыгрывались самые разнообразные сцены.

– Могу я над своей законной женой власть иметь? По закону я с ней обвенчан али нет? – задает, бывало, внушительно вопросы пьяный арестант Мишка Иванов часовому, не допускаяшему его на женскую половину к жене.

– Наська! А, Наська! Стерва, выйдешь ли ты сюда? – вопиет муж.

Около перегородки показывалась жена его, бойкая и гулящая баба.

– Наська! Ты нынче, стерва, полюбовников завела, а? Я тебе все ребра, стерва, сокрушу! Ты законная моя жена аль нет?! (Настька исчезала). – Наська, а Наська! Да поди сюда, стерва! Дай мне мою чашку! – начинал вопить снова муж.

Настька снова появлялась.

– На что тебе чашку?

– Чашку мою, чашку чайную, стерва, отдай! Ты законная моя жена аль нет? Отдай чашку!

– Да на что тебе чашка? – спрашивала жена своего буйного мужа.

– Чай хочу пить! Могу я чай пить али нет? Моя чашка, и ты законная моя жена! Подай!

Жена высовывала чашку из-за перегородки:

– Бери, подавись, пьяница... сволочь! Да не шлейся сюды!

Мишка Иванов взял чашку, молча покачнулся, посмотрел на нее и со всего маху хрястнул чашку об пол.

– Вот тебе, стерва! Заводи полюбовников! – промолвил он и пошел совершенно довольный с лестницы.

– Ишь, ведь ты, шальной! – заметил часовой.

Настька разразилась проклятиями.

– Позвольте мне чашку шей пронести к женщинам! – подскакивал в это время к часовому с вежливым и заискивающим тоном парень в красной рубахе.

– Нельзя, – отвечал сухо часовой.

– Позвольте, будьте так добры, – умолял парень.

– Нельзя, значит: не приказано вас на женской пускать. Вызови и передай!

– Позвольте, – приставал парень, незаметно приотворяя дверь плечом, и затем, быстро плеснув шами на сюртук часовому, мгновенно шмыгал в двери женского коридора.

– Ах ты, шельмец! Вот шельмец-то! – растопыря руки, ругался озадаченный часовой, смотря на свой облитый сюртук.

В то же время из женской половины, пользуясь смущением стража, выскакивали две-три арестантки, и в коридоре их облапливали целые полдюжины острожных любезников. Часовой совсем смущался. Наконец он приходил в себя.

– Прочь, прочь! Дьяволы! Я вот прикладом вас! – гнал он любезников. – Сичас ефлетора позову! Вот напась-то: тут не усмотришь!

Женщины между тем скрывались, а любовники скалили зубы. В женскую половину таким образом вечно кто-нибудь протискивался под разными предлогами, и часовой был в вечном осадном положении.

– Что ж ты не пуцаешь? Видишь, что за делом! – ломился какой-нибудь арестант с деловым видом и с громадным, где-то случайно пойманным, поленом в руках.

– Не пуцу! Ступай прочь! – огрызнулся взбешенный часовой.

– Видишь, печки несут топить, – настаивал арестант. – Чаво ж ты боишься? Что тебе, жалко что ли *их*? Эх ты! На острожных баб польстился! У нашего брата стал отбивать! Небошь, я даве видел, как ты Агашку обнимал! Фараон! – начинал доезжать арестант стража.

Часовой выходил из терпения.

– Ты как смеешь часового ругать, а? Ты знаешь ли, что такое часовой, а?!

– Кто ругал? Кто? Анафема! Где свидетели? Туяс, суконная голова, селитра, гарнизонная крыса!

Но если не удавалось иногда нахрапом ворваться в женский коридор, то опытный арестант, не пожалевши пятачка часовому, всегда имел туда вход.

Между тем на дворе, через окошки верхнего этажа, шла совершенно открытая беседа с женщинами. Здесь раздавалась целый день переключка, шутки, остроты и всевозможные «causeries» острожных любовников. Иногда хор женских голосов затягивал какую-нибудь тоскливую песню,

да и арестанты в свою очередь старались развлечь и развеселить своих любезных разными удовольствиями. Перед их окнами представляли медведя; местный селадон (28) – арестант Вагин в яркой пестрой фуфайке, в зеленых чулках, в красных шерстяных перчатках, с тросточкой в руках разгрывал городского франта; какой-то обтрепанный арестант, без шаровар и в хламиде, но с шикарным красным платком на шее кидал пронзительные взгляды кверху и произносил убийственно-страстные монологи.

– Очень желательно познакомиться! Чувствиям моим нет конца... Сударыни! Не брезгайте знакомством: мы очень понимаем всякую учливість. Сослан за женщин; от них страдаю, патаму с ихней стороны большое коварство... но я всей душой! Пропадаю от любви!.. Сгораю!..

Монологи вызывали взрывы хохота: это был своего рода *Théâtre comique*.

В стороне сидели сентиментальные любовники с бледными лицами и томно возводили глаза в горе. Осторожный фат фигурировал в добытых где-то белых нитяных перчатках. Известный осторожный Отелло, старый и исключенный арестант, ходил хмуро вдаль, изредка взглядывал на окно, где сидела его любезная, толстая и рябая баба лет под 50, и то грозил ей внушительно кулаком, то показывал калач. Около стены сидели и лежали, закинув головы, группы арестантов; татары и черкесы горящими глазами жадно пожирали женщин. Счастливые любовники ходили, закинув армяки, посвистывая и напевая удалые куплеты. Из окон дам сыпались скорлупы орехов, обрезки картофеля и разные «*souvenirs d'amour*», в виде отрепанных косоплеток и лоскутков, из-за которых внизу шла страшная возня у обожателей. Это времяпровождение нарушалось лишь явлением буйного Мишки Иванова.

– Наська! Стерва! – начинал он орать перед окнами верхнего этажа. – Я тебе косу!..

Его начинали унимать.

– Нет, она стерва, потаскуха! – и ревнивый муж, схватив кирпич, пускал им в верхние окна. Дамы прыгали от окошек; арестанты обыкновенно сваливали буяна и начинали утюжить; но скоро порядок восстанавливался, и любезничание шло по-прежнему.

Кроме этих мест, в прежних острогах арестанты имели случай изредка встречаться с женщинами в кухнях, в прачечных, на прогулках во дворе и в церкви. При этом всегда можно было видеть выразительные взгляды, мимику и молчаливый обмен вниманием обоих полов острога.

У некоторых арестантов любовь чуть ли не главное занятие. Большую часть дня эти любезники и влюбленные, тоскливо прижавшись к решеткам, пожирают взорами женщин. Надо, впрочем, заметить, что в остроге любовь – большей частью платоническая и ограничивается взглядами, любезностями и подарками. Конечно, арестанты тщательно добиваются свидания со своими любезными, но это бывает не легко, хоть отваги для этого им не занимать стать. Иногда они похищают женщин с прогулок под халатами, проламывают стены и перегородки в женские отделения, спускают для свиданий друг друга на веревках в каких-нибудь пробитых отверстиях между этажами; иногда арестанты затесываются в женские отделения переодетыми в женщин и т. д.

Жажда любви при искусственном celibate, но при постоянном виде женщин страшно разгорается: она обнаруживается иногда то порывами необыкновенной нежности, то самыми грубыми проявлениями чувственности. Достаточно женщине выйти на лестницу в коридоре или на прогулку, как ее облапаят сотни рук, и вlepлены будут сотни поцелуев.

То же самое побуждает мужчин к преувеличенной ревности. «Любитель» (как называют любовников в остроге) доставляет женщине подарки в виде чаю, сахару, папирос, калачей и кушанья, но взамен того требует

верности и внимания к нему одному; женщине он мстит иногда за ласковое слово, за разговор и за оказанное другому внимание; зато и сам любовник иногда проигрывает любезную в карты или продает и уступает право на нее другому. Мужчина и в остроге сохранил преобладание и несправедливое господство над женщиной.

Соперничество в любви между арестантами возбуждается уже тем обстоятельством, что женщин всегда бывает значительно меньше, чем мужчин; они составляют всегда $\frac{1}{10}$ или даже $\frac{1}{20}$ всего населения тюрьмы. При таких условиях претензии на женскую любовь очень значительны и соблазн для женщины велик; поэтому для молодой красивой девушки или женщины острог представляет иногда много шансов к падению. Молодая девушка или женщина, попадающая в острог, с первого раза приковывает уже сотни взоров острожных любезников; как добычу, ее сторожат везде; при вступлении ее в острог уже начинает претендовать на нее десяток мужчин. Кто фигурирует пред ней красотой своей; кто обольщает деньгами; кто высказывает сожаление к ней и старается подкупить ее сочувствием. В то же время опытные арестантки и любовницы разных арестантов подводят к ней свою тактику: ее начинают выспрашивать, утешать, узнают ее характер и вкрадываются к ней в доверенность. Ей легко намекают на возможность жить здесь легко: «Ты молода, – говорят ей, – красива, можешь всем пользоваться, жить привольно, копить деньги. Ты не будешь скучать здесь; тебе все доставят; наконец, ты утопишь грусть в любви. Иначе ты будешь голодать в остроге: пища у нас скверная; да нужно бывает иногда дать и подарок надзирательнице, и откупиться от взваливаемой на тебя работы. Все ведь у нас так живут! Наконец, ты вот уж принимала угощение от такого-то; так ведь надо и отплатить». И тысячи подобных резонов и аргументов подводятся, чтобы представить женщине выгоды острожной интриги. И вот

девушка, поставленная в тяжелые условия осторожной жизни, колеблется и, осаждаемая подругами, без гроша денег, видя кругом примеры, терзаемая скукой, подходит к окну. А здесь красивый и бойкий, с русыми волосами, с ласковыми глазами, с завлекающими любезностями, в красной щегольской рубашке, давно поджидает ее осторожный любезник. И пойдут ласковые слова и утешения, медовые сладкие речи да любовные взгляды. И забьет тревогу сердце девичье, а затем и ласковый взгляд мелькнет на бледном тоскливом лице арестантки. А тут в темном коридоре красавец, проскользнув мимо часового, берет ее за руку, шепчет нежные речи, похищает поцелуй... И любовь начата. А там... и ее последствия. Но если бы ни ласковые речи и взгляды, ни осторожная скука и насмешки арестанток не подействовали, то рано или поздно отчаяние, голод и нужда возьмут свое...

Бывали и возмутительные случаи принуждения. В прежнее время женщины возбуждали, в особенности, претензии осторожных палачей; было это в то время, когда женщины подвергались телесному наказанию¹. Положение было страшное, безвыходное: в случае отказа грозила месть палача; за ласки любви палач обещал своей любовнице покровительство; и вот, под гнетущим влиянием страха и отчаяния, женщина или девушка решалась отдаться на поругание, чтобы только сохранить свою жизнь в минуту непосильных адских истязаний...

Осторожный разврат... это одна из самых мрачных сторон осторожной жизни; но надо заметить, что разврат здесь являлся под очень сильными и даже непреоборимыми мотивами: неестественные условия острога, горькая нужда, запретный плод любви, осторожная скука... все —

¹ Телесное наказание с 1863 г. было уничтожено абсолютно для всех женщин, даже и ссыльных. Недавно, впрочем, в петербургских газетах появилось известие, что оно опять применяется к ссыльным как мужского, так и женского пола.

способствовало ему, и для уничтожения его, для ограничения безнравственности нужны были, конечно, не такие средства, как плетки и розги надзирательниц, почему-то нашедшие широкое применение в русских острогах¹. Без сомнения, для этого нужна бы хоть, по крайней мере, постройка особых женских тюрем.

Надо, впрочем, сказать, что в старых острогах наряду с интригами иногда зарождались и сильные, искренние привязанности. Здесь можно было встретить и тихо воркующую любовь, полную осторожного платонизма, самые нежные сентиментальные отношения, и пылкую привязанность, доходящую до самоотвержения. В нашем остроге раз разыгралась самая трогательная драма в этом роде: эта была странная любовь сосланного в каторгу кавказца к сосланной немке. Они оба были на каторге и оба бежали. Поблуждавши бродягами по Сибири, они подверглись наконец почти общей участи бродяг, и взяты были в острог в Тобольской губернии. Единственным их желанием было после суда соединиться снова вместе. Чтобы выждать время и узнать, куда сошлют его любезную, бывший кавказец объявил себя под чужим именем, слышанным на родине; конечно, он рассчитывал, что показание его не оправдается, и он останется в Сибири. По странной случайности, когда его любезную уже присудили к каторге, его вызывают и объявляют, что показание его подтвердилось и что он будет выслан на Кавказ: впереди представлялась ему родина и свобода, хотя и под чужим именем; но любовник великодушно отказался от счастья вернуться на родину. Чтобы не расставаться со своей любовью, в момент отправки он объявил смотрителю, что он – не тот, за кого показывался, что он – бежавший каторжный 1-го разряда и жела-

¹ Плетки практикуются большинством надзирательниц женских отделений в острогах. Этот способ водворения послушания усвоен надзирательницами вследствие недостатка в них физической силы; но права на это им никто и никогда не давал.

ет следовать в рудники; но смотритель не мог переменить решения и с новым показанием, заковав его в кандалы, отправил его на Кавказ: несчастный был в отчаянии... И это не единственный пример: по сибирским острогам я видал женщин, уходивших из деревенских семей в темные леса за каким-нибудь бродягой, несущим вечно клейма и плети и не имеющим впереди ничего, кроме каторги; приходилось мне также видеть, как любовники весело идут об руку на каторгу; приходилось видеть и отцов семейств из каторжных с самыми добрыми родительскими чувствами. Один из них, – помню, Гуляев, – содержавшийся в омском замке, осужденный на вечную каторгу за побеги, в последний раз бежавши с рудника, прошел всю Сибирь с женой и маленькими детьми, которых во всю дорогу нес поочередно с своей половиной на руках, пробираясь в Россию. Это был человек под 70 лет, исклейменный кругом, всю жизнь прошедший безнадежно на каторге, шесть раз бежавший и желавший еще в последний раз испытать счастья, чтобы пристроиться где-нибудь с семьей под чужим именем. Это – несчастная надежда всех сосланных.

Как бы то ни было, но любовь женщины в неволе и в несчастье, несомненно, представляла иногда много трогательного: здесь женщина любит больше «за страдание», и в этой любви просвечивает чистейшая капля искреннего человеческого чувства к отвергнутому всеми несчастьем.

У тебя клеймо на лбу (говорит эта любовь),
Но везде пойду с тобою.
Кто тебя полюбит там,
Если будешь брошен мною?
Целый мир тебя отверг,
И грешна душа твоя;
Целый мир тебя отверг,
Но не я, не я, не я! (29)

VI.

Преступники острога

Шпионы и палачи

Мы привыкли, читатель, судить о преступниках как о лицах крайне безнравственных, не имеющих ни совести, ни закона, как о людях *sans foi ni loi*, предающихся необузданно своим порочным наклонностям, и потому, может быть, нас удивит, когда мы узнаем, что в острожной среде, в этом собрании всевозможных преступлений и разнообразных личностей, есть свои общественные связи, условия, договоры, своего рода *contrat social*, так же, как свои установленные законы и преследование их нарушителей. Люди гонимые, несчастные, лишённые человеческих прав, стоящие вне закона, преступники – более чем кто-либо вынуждены были соединиться в своем несчастии для обеспечения себе спокойствия и завоевания некоторой свободы в местах заключения. Живя вечно под строгим надзором и опекой среди тюремных ограничений арестанты должны были создавать скрытную, потаенную жизнь, а потому само собой возникло стремление в них к безопасности и ограждению своих тайн с помощью взаимного ручательства. В острожном мире есть много секретов, начиная с имен. Кто не знает, сколько здесь кроется псевдонимов под видом «непомнящих», «безымянных», «незаконнорожденных», этих темных личностей, скрывающих свое грустное прошлое, жизнь которых составляет ряд горьких драм, закрытых для остального мира. От разоблачения подобных лиц зависит вся судьба их и все их будущее. А между тем сколько наивности и откровенности встречается у этих людей, готовых в горькую минуту острожной тоски раскрыть всю свою душу, выплакать все свое горе пред сотоварищами. Понятно, что здесь

должна быть большая уверенность в своей безопасности и крепкая вера в товарищество. Кроме того, и в частной жизни острога есть много общих тайн, от которых зависит спокойствие и вольности всей общины. Каждый острог, каждое место заключения изобилует контрабандой вина и других запретных вещей, имеющих цену для всех арестантов; арестантами часто ведутся подкопы и готовятся побег; в острогах идет фабрикация паспортов и фальшивых денег, устраиваются разные лазейки, составляются общие предприятия, наконец, ведутся стачки и заговоры против тюремного начальства. Все это порождает общие интересы, способствует общественному сближению, вызывает взаимные услуги и, наконец, развивает в осторожной среде дружное товарищество с своими определенными воззрениями, правилами и законами. В такой среде, естественно, должно было развиться глубокое отвращение ко всякой измене своему обществу, и всякое предательство должно было возбуждать преследование. И действительно, в тесном кругу арестантства нет ничего невыносимее, как шпионство, и нет хуже преступника у арестантов, как шпион. Описанию отношений арестантов к подобным личностям я намерен посвятить несколько рассказов.

Сколько подобная личность приносит беспокойства в арестантской жизни, мы имели случай видеть в одном небольшом обществе военных арестантов, которые сожительством с такой личностью были доведены до положительного отчаяния. На одной из военных гауптвахт нашего города содержалось несколько дезертиров и подсудимых солдат. Их жило человек до сорока в одной тесной, грязной и душной комнате, теснясь друг подле друга на нарах, горя, обсуждая свою участь и придумывая разные выходы из своего положения во время следствия. В эту-то среду дезертиров был приведен тоже пойманный в бегах, из нижних военных чинов, некто Катаев. Это была довольно странная и загадочная личность. Он постоянно путался

на допросах, скрывал свое настоящее звание, изменял показания и бесил этим постоянно аудиторов. Он выдавал себя за бежавшего с казенными деньгами во время Крымской войны юнкера Катаева; он же был и беглый казак амурского штрафного войска; некоторые бродяги видели его на каторжных заводах; когда раз военное начальство, за какую-то вину, присудило его высьечь, он объявил себя даже политическим преступником из дворян; в сущности же он был просто смотавшийся и запутавшийся военный писарь. Он то и дело делал фальшивые показания, затягивал дело, приплетал посторонние вещи, подписывался под ответами разными руками и потом отказывался от подписей. Как видно было, казуистика, ябеда и процесс писания доставляли ему истинное наслаждение. Это была личность хитрая, крайне бойкая и зоркая, но в то же время страшно безалаберная. У арестантов он считался авторитетом и законником; он писал разными руками прошения и жалобы, резал печати, стряпал паспорта и был на все руки. Он был до того беспокоен и подвижен, что не мог пробыть дня, чтобы чего-нибудь не изобрести и не предпринять: то он давал советы, то обнаруживал какое-либо преступление в своих сотоварищах, то сам резал фальшивые печати, то доносил на других начальству. Преимущественно он был невыносим для остальных арестантов, живших с ним в тесной камерке. Простые рядовые, люди невежественные, вынужденные тяжелой жизнью к побегам и преступлениями, они всегда нуждались в советах для своих показаний. Главная цель военных дезертиров обыкновенно состояла в том, чтобы перейти в положение обыкновенных бродяг и идти лучше в каторжные заводы, но миновать службы: ссылка на поселение для них была счастливой карьерой. У этих-то простых и наивных людей своими советами Катаев обыкновенно добивался откровенности, выпытывал у разных дезертиров их происхождение, разные проступки и давал лицемерно указания,

как вести показания и как выпутаться. Многим счастливилось в этом случае, и они успевали выйти на поселение или прямо на свободу; другие вместо арестантских рот под чужим именем пристраивались в местные батальоны. Тогда-то Катаев, зная все секреты, предательски обнаруживал их, уличал и таким образом погубил несколько товарищей. Они возвращались в острог; над ними начиналось следствие, и оказывалось, что сам же Катаев их запутал. Этот шпион действовал притом в своих доносах без всякой выгоды и пользы для себя, кроме какого-то подлого злорадства чужому несчастью. Доносы сделались его стихией, и он не ограничивался арестантами и конвоем; он строчил записки для подкидывания начальству, наконец, писал высшим властям безымянные письма, в которых доносил на разных лиц и на злоупотребления их по разным городам и губерниям России. Письма были такого содержания: «Окружному генералу NN. Ваше превосходительство, проезжая чрез город X., я узнал многие дела, имеющие в себе не только явное нарушение порядка и законов, существующих в государстве, но также явное попрание Высочайших указов и постановлений, вместе с тем явные злоупотребления начальства и дела, клонящиеся не только к нарушению казенного интереса, но к измене и государственным преступлениям. Так, я узнал, что батальонный командир такого-то батальона Б. продал столько-то пудов пороху. Тот же батальонный командир заставляет команду засеять свой собственный огород, пользуется даром капусты местного батальона, причем жена оного...» и т. д. «Далее известно мне учинилось, что иерей такой-то церкви, в великий день праздника Рождества, потерял крест, а дьякон сей же церкви на литургии во время ектении (30) пропустил некоторые имена и препоясывается орарем не в то время, как положено по церковному уставу. За сим я неоднократно замечал измену: так, офицер У. виноват в политическом преступлении; как

поляк, хотя и состоящий на службе, он явно недоброжелательствует правительству, и изгнав, якобы за пьянство, русского писаря, определил поляка из Киевской губернии Степана Окунева, и т. д. Подписано: проезжающий статский советник Колесов». Таких доносов всегда по нескольку находилось в портфеле Катаева. Таким образом он надоедал всем. Он подводил под ответственность караул, доносил караульным офицерам на арестантов, на караульных офицеров – военному начальству и постоянно требовал жандармского штаб-офицера для объявления «высочайшего секрета». Прося солдат или прислугу сделать ему снисхождение, он немедленно доносил на них. Казалось, он до того извертелся, что потерял всякое нравственное чувство. Но более всего он становился невыносим для арестантов, которые не смелидохнуть при нем, и уже ничего не говорили между собой. Положение было мучительное в этой тесной, узкой камере, где строгости увеличивались день от дня, а ночью и днем шли обыски по доносам Катаева. Наконец, арестанты решились соединиться и упечь доносчика. Они сами указали, как найти у Катаева его доносы и печати, которые он искусно прятал. Выведенное из терпения начальство, наконец, решилось посадить его в уединенный карцер, и тем только арестанты избавились от этого ужасного сожительства.

Но это было маленькое общество арестантов, бесильное и неорганизованное. В больших острогах, где арестантство сильнее и могущественнее, власть его относительно своих преступников проявляется грандиознее. Союзы арестантов в больших сибирских острогах, как мы наблюдали, получают особенное развитие. Во всех поселенческих, бродяжнических и каторжных общинах мы находим выработанными особые нравы и обычаи, свое самоуправление с властью общины во главе; эти общины внесли артельное начало в свое хозяйство, создали свои кассы, общественные лавочки (майданы) и под влиянием

одинаковых воззрений установили свое общественное мнение и суд. Для ведения заговоров против начальства, для ограждения своих льгот они еще теснее организовались, и демократическая община арестантов во имя общего интереса подчиняет совершенно своих членов своей власти. Общественное мнение здесь требует безусловной преданности арестантству, и человек, идущий против общины, считается самым сильным преступником. Арестантская среда, снисходительная ко всем преступлениям, позволяя иногда воровство, грабежи и буйства, никогда не потерпит одного в своем обществе – это измены. Предательство здесь не прощается. Для обуздания его большая община арестантов всегда находит средства и возможность скрыть следы своей расправы. Примеры подобных приговоров и арестантского суда в сибирских острогах постоянны!

Мы помним, как в нашей тюрьме наказан был *фискал* из арестантов, доносивший смотрителю. Это был посаженный в острог проворовавшийся полицейский сыщик, мещанин Иванов; его-то и выбрал смотритель для наблюдения за арестантами. Поводом к наказанию Иванова был следующий случай. Однажды к празднику острогу было необходимо значительное количество вина. Арестанты, изобретательные в подобных случаях, придумали новое средство для проноса его. Возвращаясь с работ из города, они принесли очень много говядины, в легких которой и было налито вино. В это время фискал пробрался к смотрителю и донес о случившемся. В остроге произведен был тщательный обыск, но смотритель отыскал всего несколько бутылок, тогда как остальные спокойно переносились из камеры в камеру во время осмотра. После переполюха подозрение арестантов пало на Иванова, который не в первый раз подводил их. Острог решил проучить его. И вот несколько молодцов в тот же день, в сумерки, когда Иванов проходил по мрачному коридору, кинулись на него сзади, накрыли голову халатом, запутали его руки и начали бить

изо всех сил; толпа прибывала; когда опомнился Иванов, кругом его уже никого не было. Скоро наказанный лежал в больнице, не имея возможности указать, кто его бил. Это наказание в остроге называется *накрыть темной*.

Но шпиону в остроге угрожают не одни побои, ему угрожает часто и смерть. Я помню другой случай в том же остроге. В здании шла перестройка ретирадов. Ловкое арестантство придумало воспользоваться этим для своих целей и проделало в стене лазейку в женское отделение острога, где у арестантов были всегда любовницы. Когда работы приходили к концу, заведовавший перестройкой молодой и робкий столяр из арестантов побоялся ответственности и передал об этом смотрителю. Конечно, лазейка была открыта и крепко заделана. С тех пор арестанты постановили самым решительным образом поступить со столяром. Они застали его раз на чердаке перед отверстием над ретирадами, которое проходило все четыре этажа острога. Арестанты воспользовались случаем, и один из них сильно толкнул столяра, который полетел в бездну и разбился бы вдребезги при свержении с этой импровизированной Тарпейской скалы (31), если бы внизу на счастье не подхватили его стоявшие работники.

Власть арестантской общины иногда выступает и более открыто: для этого арестанты учреждают свой суд посредством сходки всего острога; сходка составляет свой общественный приговор, и личность здесь более, чем когда-либо, в руках большинства. Тот, кто не знает всей твердости и суровости каторжно-арестантской закаленной среды, тот не в состоянии представить себе всей строгости и беспощадности подобного суда. Для этого нужно видеть острожную сходку. В самой большой камере острога располагается до сотни и более людей. Старые каторжные здесь являются самыми авторитетными судьями: за ними опыт и традиция острога, толпы суровых, закаленных арестантов, всегда готовых дать пример

и потешиться. Это собрание делается тем грознее, чем более затронут арестантский интерес. Сходка волнуется и шумит, как море. Перед этот-то трибунал вызывается виновный и почти без оправданий сваливается сильными руками на пол; затем начинается бойня. Бьют чем попало; если он не убит сразу, то его кладут под нары, и виновный не только не смеет жаловаться, но боится даже идти в больницу; он валяется недели под нарами в глубоком презрении, пока не оправится. Острог изобретателен на казни; иногда преступника ожесточенная толпа «берет на ура», и начинает мять или встряхивать на воздухе до того, что все внутренности несчастного перевертываются, как в мешке, и иногда ломаются кости.

Обыкновенно ничто не спасает предателя арестантства от общего гнева – ни покровительство начальства, ни боязнь ответственности, ни сама давность преступления. Бродящая и пересыльная братия разносит имя изменника по всем острогам. Шпиона арестанты достанут в бродяжестве, на каторге; наконец, даже в другом остроге он не минет наказания от других арестантов. Подобный случай, мне рассказывали, был в тарском остроге. Когда-то здесь, как и вообще в сибирских тюрьмах, была необыкновенно развита фабрикация фальшивых денег и паспортов. Острог тщательно скрывал свой секрет от начальства; однако один арестант решил подслужиться, чтобы выиграть покровительство и смягчение наказания. Доносчик тщательно выведал ход производства в остроге денег, участие в нем разных лиц, их сношения с городом, место, куда они сбывали свои произведения и, наконец, будучи переведен в полицию, начал открывать виновных. Конечно, дело было открыто, и множество арестантов вновь пошло под суд. Так как весь острог был озлоблен на доносчика, то он, вновь явившись в острог, умолял начальство спасти его от мести арестантов и посадить в уединенную камеру под особый караул. Желание его было удовлетворено. Проси-

девши год в секретной, когда гроза миновала, а виновные арестанты и главные враги его были уже сосланы, доносчик вышел в общие камеры, в среду новых арестантов. К удивлению его, однако, новые арестанты, питавшие к нему злобу по традиции, немедленно же решились учинить с ним расправу и на второй же день в темном коридоре исколотили его до полусмерти, отбив все легкие. Избитый фискал ушел в больницу и месяца через три захирел в чахотке. Такие уроки доносчикам вошли в обыкновение ссыльного арестантства, как самого дружного. На каторге доносчикам жить еще опаснее, и бродяги над своими шпионами учреждают суд в лесу, и обыкновенно вешают их, как и убийц своего брата. Обвинение в шпионстве поэтому наводит ужас в остроге, и мы видели, как арестанты отрекались и клялись перед иконой, когда их заподозревали собратья в так называемой на острожном языке «музыке».

Шпионство вследствие этого довольно редко в острогах и еще реже на каторге, как подтверждает и Максимов (32). В больших ссыльных острогах мы, по крайней мере, не видали, чтобы оно выступало явно. Сама мысль о нем редко проявляется в дружной арестантской общине. Шпионов и предателей никогда не вырабатывает острожная среда; обыкновенно они являются в острог уже с готовыми задатками своего падения и нередко упражнялись в той же профессии в гражданском обществе. Это бывают большей частью провинившиеся полицейские сыщики, посаженные в острог, исплutowавшиеся клязники из канцелярского люда, военные писари, приученные в жизни к ябедам и наушничеству по начальству. Замечательно, что склонность к шпионству проявляется всего менее в людях, приученных к общественной и артельной жизни, и всего более – в вышедших из иерархической среды, где были старшие и младшие. Так, в военных арестантских ротах, как видно из записок Ф. Достоевского, шпионство бы-

вает значительно развито и пользуется терпимостью арестантов (33). К тому же мы должны прибавить, что наши арестантские роты выпускали самых деморализованных людей, каких когда-либо мы видали из острожников и каторжных. В гражданских острогах, где преобладает крестьянский и мещанский элемент, шпионство всего менее развито и строго преследуется. Вместе с тем такое явление обуславливается общественной и артельной жизнью гражданских острогов, тесным единением арестантов и господством общины над остальными членами. Там, где существует близкая общительность, взаимный интерес, общее благо и братство между людьми, – там всего менее места предательству, этому антисоциальному, противохристианскому и противочеловеческому пороку. Люди достаточно сознали, что предательство разрушает все социальные связи, на которых построено общество, что жизнь становится невыносимой в среде, где шпионство, как тайное убийство, наводит вечный страх и угрожает каждому члену. Лицемерие шпионства может зародиться лишь при отсутствии в сердце человека самого священного чувства – братской любви, общей всем людям, а потому такая личность осуждена носить вечное проклятие человечества. Мы видим, что люди на самой низшей степени падения достаточно сохранили социального чутья и любви друг к другу, чтобы объявить этот порок преступлением и признать самым черным из всех человеческих пороков; сами преступники отвернулись от него с отвращением. Вечная правда и любовь, значит, слишком живучи в сердце человека!

Вторыми врагами арестантов и преступниками острожной среды должны бы были считаться палачи. «Палач» – самое ужасное слово между людьми. Нет народа, который бы не питал самого глубокого отвращения к исполнителям приговоров, и омерзение к ним равняется разве только омерзению, питаемому к их братьям, шпионам. Обстановленные страшным эффектом на своих кровавых

подмостках, они наводят панический страх на толпу и заставляют питать к ним ненависть и презрение. Всякий считает позором протянуть руку палачу; всякий побоится даже близко быть около него. За границей и, кажется, в Польше был обычай, когда палач закусит или напьется чаю в трактире, то посуду, из которой он пил, разбивать и уничтожать, так как хозяин стыдился угощать из нее других. В России про палачей ходят страшные рассказы; говорят, что, вступая в свою обязанность, они снимают навсегда с себя крест: по народному понятию, палач уже не может быть христианином. Рассказывают иногда, как палачи наказывали свою мать или отца; говорят, что идут на эту обязанность дети, проклятые родителями, и т. д. Знакомясь с русским острогом, мы думали, что палач должен был быть самым заклятым врагом арестантов, подвергаемых или ожидающих подвергнуться телесному наказанию¹. Они бы должны к нему питать и страх, и самую яркую ненависть; но на деле выходило совсем не так. Мы нашли, что в русском остроге арестанты жили с палачом в добром согласии, сохраняли к нему дружественные отношения, величали его всегда по имени и отчеству и окружали его всегда почтением и особенным уважением, несколько не лицемеря. По этому поводу я припоминаю следующий забавный случай из моего знакомства с острогом. Раз я сидел в больнице тюрьмы; вдруг входит арестант.

– «Крестный» здесь? – спрашивает он меня почтительно.

У нас между тем был дворянин, который постоянно занимался проповедями и обращением раскольников. Полагая, что спрашивают его, я отослал арестанта в дружную палату; но арестант скоро возвратился и сказал, что «крестного» там нет.

¹ Очерк наш относится к прежней роли палачей в русском остроге, ныне же касается преимущественно сибирских острогов, где телесное наказание для ссыльных продолжает существовать и роль палачей еще не кончена.

- Да кого ж тебе надо? – переспросил я.
- Да *нашего* крестного, палача! – отвечал он.

К удивлению своему, я узнал, что арестанты действительно зовут своего палача и «крестным», и «батюшкой». Эта, по-видимому, странность объяснялась, однако, легко при знакомстве с жизнью острожной общины и с установившимися издавна отношениями между палачом и арестантами – отношениями, порожденными исторической жизнью арестантства. Русское арестантство придумывало сыздавна всевозможные фикции, чтобы облегчить свою участь и смягчить себе наказания. Оно старалось обойти закон разными хитростями; оно маскировалось «непомнящими»; оно менялось именами, придумывало всевозможные лазейки и выходы и, наконец, даже старалось преобразовать острог по своим нравам и применить его к своему общежитию. Будучи все-таки поставлено под конец в положение безвыходное, стоя на краю гибели и опасности и видя, что судьба его рано или поздно будет в руках палача, оно решилось сделать с ним стачку и покорить его. С палачами завелись сношения, и скоро дела обоюдно уладились. Во всех значительных острогах арестантская артель взяла палача себе на откуп. Арестанты обыкновенно полагают палачу ежемесячное жалованье в 6 и 10 руб.; кроме того, каждый приговариваемый к наказанию несет ему, что может, отдельно; неимущим артель дает перед наказанием в помощь некоторую сумму. Палачу затем часто делаются перед праздниками подарки. Артель заботится вообще тщательно об удовлетворении всех нужд палача; когда необходимо, ему доставляется платье и сапоги. Захочет покутить палач – ему доставляется в острог водки сколько угодно. Взамен всего этого от палача требуется, чтобы он действовал постоянно в пользу арестантства, чтобы никого не наказывал жестоко, чтобы само наказание было по возможности легко. Палачи, действительно, усовершенствовались в этих фокусах;

кроме того, сами арестанты были так не требовательны, что просили лишь смягчения наказания и только некоторые пощады. Палачи, получая ничтожное содержание в 3 руб. в месяц от казны, легко поддались арестантам и заключили с ними договор. Сами они лично не могли питать никакой злобы к арестантам и даже, скорее, должны были сочувствовать им. Палач у нас выбирается обыкновенно из тех же преступников, осужденных на каторгу, срок которой он должен прослужить палачом. Он сам из той же арестантской среды, следовательно, одного поля ягода. Живет он постоянно в остроге, иногда при полиции, но арестанты всегда составляют его сообщество. Все это обуславливало его сближение с арестантством, и он стал скоро из его врага – другом и союзником. Палач стал уже не столь страшен для арестантов, и они более боятся строгого экзекутора при наказании или, как называют его, «секутора». Я видал и слышал про многих палачей, и большинство из них были верные слуги арестантства.

В одном из острогов мне указали раз на такого палача. Это был молодой и скромный парень из латышей. В фигуре его не было ничего ни дерзкого, ни страшного; напротив, он был красив и очень изящен. Если бы надеть на него фрак и белые перчатки, то с его мягкими белорусыми волосами, с его красивым юношеским профилем, с симпатичным лицом и гордыми приемами, можно было бы принять его за самого лучшего денди, и любая барышня не отказала бы ему на кадриль. Это был человек характера скромного, не пил вина, любил хорошо одеваться и немного разорял арестантскую артель на «эту роскошь»; в городе он имел любовницу. Приходя в острог, он держал себя солидно и несколько важно с арестантами; в сущности же он верно держал договор с арестантами: наказывал он всегда легко и для виду. Раз ему присутствовавший экзекутор приказал наказывать арестантов сильнее, но он бросил плети и ушел, сказавши, что сделать этого

не в силах; за это его нередко присылали из полиции в острог под арест. И надо было видеть, как арестанты в это время за ним ухаживали: они заботливо доставляли ему и заказывали у осторожного повара лучший обед, доставляли ему в секретную все, что нужно, – папирос, лакомства и т. д. Они знали, что он сидит здесь за них как искупительная жертва.

Я много видал в остроге наказанных, и никто на него не жаловался. Конечно, и арестанты были не слишком требовательны. Раз, между прочим, зашедши в свою комнату, я застал в ней знакомого арестанта из раскольников, судившегося за побег с каторги и за фальшивые деньги. Это была хитрая личность старовера, и он, было, рассчитывал почему-то избавиться от наказания, но суд приговорил-таки его к наказанию. На сей раз арестант был сильно выпивши.

– Здравствуй! – обратился он ко мне, – поздравь меня!

– С чем? – спрашиваю я.

– Я сейчас *с публики*.

Это меня болезненно передернуло: «*с публики*» значит «только что с наказания».

– Как же ты, бедный, отделался? – спрашиваю я.

– Что, брат: ничего, как видишь. Получил 80, и ничего...

Я покачал головой.

– Да, продолжал арестант, – ты думаешь, нас не берегут, а? ведь 80 не шутка! А вот как видишь! Спасибо Якову (палачу); ей-Богу, спасибо! Как следует; одно слово как следует; просто удружил! И ведь 80...

Этот арестант более напирал на нравственную обиду.

– Обидно одно, – говорил он, – за что меня наказали?

Нет, ты скажи мне, за что меня наказали? Я ведь бродяга; а я по бродяжеству у купцов бывал принят, с архиереями обедал; да-с, по бродяжеству с архиереями... а мне теперь 80!

Палачи, впрочем, не всегда легко отделялись за легкое и снисходительное наказание арестантов. Нередко

они сами платились спиной за манкирование своей обязанностью, и вслед за наказанием сами были сечены при полиции. Но чтобы исполнить договор и не потерять выгод от арестантов, они обязаны были нести это тяжелое возмездие. Мне рассказывали про одного палача, кажется, в Енисейске, который по этому случаю переносил страшные испытания, которые только мог выдержать, благодаря своей богатырской конструкции. Полицейское начальство когда-то было очень строгое и требовало от палача особенного усердия при наказании; но палач хотел во что бы то ни стало угодить арестантам и щадил их. Последствием этого было то, что этому несчастному приходилось после каждого наказания, т. е. еженедельно, отдуваться самому. Но этот добродушный богатырь терпел все. Вздуют его, пошлют в острог – здесь арестанты накачают его пьяным, – и он, совершенно обязанный, в следующий же раз считает обязанностью великодушно отплатить им снисхождением, и снова несет кару. Великодушию такого палача, конечно, приходилось удивляться, – и арестанты сохранили о нем память как о своем герое и благодетеле. Однако менее крепкие исполнители приговоров, взяв на себя обязанность защищать арестантов, совершенно иногда не выносят такого положения. Они так часто начинают платиться спиной сами, что жизнь им становится невтерпеж, и они бегут. Беглых палачей также немало по острогам. В прежнее время, когда старое суровое начальство иногда требовало от палачей бесчеловечного наказания арестантов, бывали, говорят, палачи, которые кидали кнут и говорили: «Извольте сами наказывать!»

Без сомнения, в таком положении, как люди подневольные, палачи всегда недовольны своей обязанностью и клянут ее. Действительно, только желание избавиться от сроков каторги вынуждало их к этому адскому ремеслу. Есть между ними люди смиренные и бесхарактерные, которых только безвыходное несчастье или безалаберная ре-

шимость и страх каторги заставили принять на себя эту обязанность. Я имел случай видеть именно подобную несчастную личность в одном из великорусских острогов. Мне указали как на палача на личность скромную, стыдливую, прилично одетую в немецкое платье; лицо его было, однако, какое-то беспокойное, угрюмое и отчаянное. Это был человек неглупый и даже начитанный, знавший притом хорошо торговое дело. Все говорили, что он человек очень честный; он не брал ни одной копейки с арестантов и, сам имея деньги, делился с другими. В остроге он дичился, уединялся, тосковал и пил горькую. Неся позорную обязанность, он старался в вине заглушить внутренние упрёки и стыд. История его была очень печальная. Я узнал, что это был сын одного из богатых русских мануфактуристов. Богатый купеческий сын после смерти отца ждал с братом и сестрой раздела наследства. В это время он влюбился в жену какого-то мещанина и начал кутить. Раз пьяный, он встретился с мужем своей любовницы; затеялась ссора, и взбешенный любовник разрубил мужу голову топором. Его схватили и посадили в острог, затем осудили на каторгу. Положение его было критическое: брат угрожал захватить часть его наследства; каторга пугала его, как смерть; расставанье с любовницей доводило до отчаяния. В остроге ему посоветовали один выход, чтобы остаться на родине, устроить дела и не расставаться со своей любовью... это – проситься в палачи в местном остроге. В отчаянии и спьяну он решился. Это ему стоило жестоких мучений, и он пил не на живот, а на смерть. К счастью его, телесное наказание в это время было уничтожено в России, и во всю свою карьеру ему удалось наказать человек двух ссыльных, к чему он должен был принудить себя, напившись до одурения вина. Он питал глубокое отвращение к своему званию, проклинал жизнь свою и терял силы изо дня в день. Срок его заключения, к счастью, однако, скоро кончился; наследство попало ему

в руки, и он вышел счастливым человеком, – конечно, без всякого следа от своего несчастного прошлого ремесла. Я видел его через день, как он вышел из тюрьмы. Он был богато одет, напомажен и уезжал с нежно любящей его сестрой на собственную мануфактуру в одной из средних русских губерний.

Таким образом, если мы отнимем то кровожадное чувство, то жестокое сердце, которое обыкновенно при-выкли предполагать в палачах, то мы увидим в этих «исполнителях правосудия» обыкновенные орудия, против которых можно менее, чем против кого-либо, питать злобу. В самом деле, мы видим, что палачи эти идут не добровольно, а ввиду наказания, ввиду страха его и, желая найти себе какой-либо выход; часто люди эти – не только не кровожадные, но скромные и мягкие по натуре. Мало того: многие из них становились заступниками арестантов, и своими стачками с подсудимыми старались по возможности смягчить наказание, насколько это было в их власти. Они не имели ни мести, ни злобы к своим жертвам; их роль была вынужденная, и часто они от нее отказывались. Другое дело, если бы они питали другое чувство – то кровожадное и жесткое чувство, которое не видит в преступнике человека, которое не хочет знать чужих страданий и которым руководит злоба, месть, холодное убеждение в необходимости нанести наиболее вреда, и которому недоступно снисхождение; если бы они в самом деле питали такое бесчеловечное чувство и поддавались ему добровольно, тогда бы только разве можно было назвать их палачами по натуре. Но они не таковы. Я не замечал в номинальных форменных палачах этого чувства.

Но что страннее всего, можно заметить ожестелое чувство в таких лицах, в которых менее, чем в ком-либо, можно предполагать его и которые решительно не должны бы были быть жестки сердцем. Возьмите иного криминалиста – часто еще молодого, либерального, который

с каким-то удовольствием старается завинить *во что бы то ни стало* преступника, не щадя для этого средств, – который сурово проповедует всю строгость и жестокость наказания, забывая, что преступник – человек, что это наказание будет стоить ему столько горя, слез, крови, а иногда и величайшего блага – жизни. Как вы назовете такую бесчувственность? Возьмем другой случай. Вы, может быть, видели, когда бедного и потерянного преступника везут на эшафот, – когда страшное, мучительное чувство блуждает на лице его, – и его, почти бессильного, снимают для страшного приговора. Это бывает момент, когда многие закрывают глаза, другие плачут. Но вот находятся в толпе люди, которые говорят: «Поделом ему, злодею». Как вы назовете чувство таких людей?

В старое время бывали случаи, что с таким бесчеловечным чувством, с такой чудовищной жестокостью относились к преступнику люди, которые самим занятием своим и долгом призваны были помочь ему. Я укажу на старых медиков. Эти медики, будучи врачами в острогах, питали к преступникам часто негодование за то, что те пробовали обманывать их фальшивыми болезнями, чтобы увернуться от наказания. Медик за это старался нарочно подставить арестанта под наказание и оказать ему как можно меньше помощи при самом процессе выполнения, забывая в преступнике человека, которому простительны всякие увертки перед ожидающей его участью, и неуместность всякой мести за это. Такой случай я встретил даже в отчете одного медика об его острожной практике. Медик К. рассказывает *печатно*, как один арестант в остроге сделал себе искусственную болезнь, чтобы избавиться от телесного наказания; это возмутило г. К., и он, разоблачив болезнь его, постарался, чтобы арестанта во что бы то ни стало наказали; при этом он смотрел на самый акт наказания с особенным самодовольствием, чувством превосходства и гордости, а на преступника – с полным торжеством. Когда кончился ужас-

ный акт наказания, как описывает г-н К., преступник встал и с видом нераскаянности сказал господину К.: «Любуйся же! Это праздник тебе! Радуйся!» – он был весь окровавлен. Поведение это и нераскаянность арестанта г-ну К. показали *отвратительными*. И медик, представьте, заноса этот факт, не заметил даже всей его уродливости и не понял той роли, в какой он себя выставил.

Но возьмите, кроме того, в самом обществе, сколько еще встречается самых бессердечных людей, сколько варваров-мужей, истязавших своих жен и семейства, сколько грубых педагогов, не могущих обойтись без розог, линеек и оплеух с беззащитными детьми! Сколько теоретических проповедников всякого насилия и жестокостей! Это все люди одной категории.

Да, господа, есть люди с палаческими чувствами и в так называемой цивилизованной среде; есть бесчувственные и грубые тираны, есть бессердечные резонеры, агитаторы казней и преследований в литературе и обществе, которые, проповедуя разные суровые планы и системы, якобы во имя блага людей, забывают, что за ними стоят те же люди, а за осуществлением этих планов польется человеческая кровь.

Перед такими господами что значат грубые невежественные каторжные мужики, безвыходным положением доведенные до необходимости держать кнут или плеть в руках своих!

VII.

Острожная поэзия, музыка и тюремное творчество

Несчастье имеет свою песню; точно так же и острог создал свою поэзию, в которую вложил свое чувство, свою душу и тоску. На тюремную песню нельзя смотреть только как на развлечение заключенных: она выражает

суету тех дум, тех ощущений, которые выносит человек в тюрьме и в неволе. Тысячи людей проводили у нас целую жизнь в тюрьмах, на каторгах и в бродяжничестве; в тюрьме создавалась своя гражданственность, свой культ; она имеет свою историю, свои предания: как же она могла обойтись без песни?

Я прислушивался часто к этой песне в летние тихие вечера, когда чувство любви к свободе и воле сильнее пробуждается в груди арестанта при виде зеленеющих полей, темно-синего неба и весело порхающих птиц. В это время с окон острога обыкновенно неслись разнообразные мотивы, то цепляясь друг за друга, то перемешиваясь и дробясь, то сливаясь в общую надрывающую сердце мелодию.

В тюремной песне много горького: ее поют с кандалами на ногах удалые добрые молодцы; в ней переливаются свои воспоминания и соображения о своей судьбе, бездолье, о своем прошлом и будущем. Жизнь тюрьмы, бродячества, каторги и ссылки живо отражается в ней. Можно сказать, что это вскормленное и взросшее в неволе дитя острога. Осторожная песня обнимает, собственно, особый цикл и не может быть смешиваема ни с какой другой. Есть множество песен о тюрьме и наказании, созданных народом вне острогов и тюрем; но прямо осторожная песня разнится от них настолько, насколько ощущения людей свободных при виде тюрьмы разнятся от ощущений и взгляда на нее людей, сидящих в ней. И г-н Максимов, включив именно эти древне-народные песни о казни и тюрьме в число арестантских, по нашему мнению, допустил большую ошибку.

Конечно, в тюрьме можно слышать и народные песни, но это потому, что разнообразное ее население приносит в нее с собой знание всевозможных песен, начиная с романсов «Ваньки Таньки», «В одной знакомой улице» и т. д. и кончая древними народными песнями и былинами. Оттого у г-на Максимова вошли в число осторожных песни об Иване Василиче Грозном и о монастырской казне, песни

«Уж ты воля моя волюшка дорогая», которую поет героиня Островского в одной из комедий – «Гулянька», которая поется в Сибири, – и множество других песен (34), распеваемых в Архангельской губернии, и, между прочим, даже встречающихся в сборнике Сахарова (35), и т. п.; но все это песни не тюремные.

Арестантская песня отличается от всех народных песен своим новейшим складом; она то же самое, что песня мещанская, фабричная, которая носит особую тональность, рифму и подходит к новейшему языку. И это естественно: острог представляет всегда более развитое население, население городское, понятия, вкусы, привычки и воззрения которого выше простонародной среды. Известно, что народ, получая некоторое развитие, не довольствуется уже древним содержанием песен и их формами; ему остаются чужды герои и события времен Владимира Красна Солнышка и царя Ивана Васильевича Грозного. Его жизнь течет иначе, и потому, чтобы отражать эту жизнь, ему нужна новая песня и новый язык. Славянофилы у нас были очень недовольны, что новые песни, – большей частью мещанского, писарского и лакейского склада, – вытесняют полные художественной образности древние песни; но что же делать, если простой народ наш при своей малограмотности сталкивается с одной мещанской, фабричной и лакейско-писарской цивилизацией, из среды которой выходят его поэты, и вкладывает в свои дубоватые вирши его современную жизнь? Кто виноват, что для изображения этой жизни он не имеет лучших народных поэтов или они ему не известны?..

Во всяком случае, переход от древней песни к новейшей, так называемой мещанской, проявляется везде. В недра простого народа входят понемногу песни фабричные, бурлацкие, солдатские, мещанские и т. п. То же самое замечает Риль и в Германии (36). Так, он говорит, что с переходом некоторых округов к промышленной и фабричной

деятельности древнегерманская поэзия исчезает и заменяется новой. Вследствие этого же закона прежние народные песни из тюрьмы давно вытеснены. Об этом говорит уже Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого дома» (37).

Г-н Максимов глубоко негодует на замен старой народной песни арестантской песней нового склада (38). Действительно, арестантская песня порой нескладна: она не может сладить ни с размером, ни со стихом; содержание ее бедно, прозаично, слова часто пошлы; поэтому она иногда может оскорблять вкус наш; но нельзя же быть к ней и взыскательным – хоть потому, что эта песня в той или другой форме изображает действительную жизнь народа, жизнь ссыльно-арестантской среды, ее судьбу, ее горе и радости. Притом недостатки формы, слабость или тривиальность словесного выражения и бедность содержания часто выкупаются музыкой песен, тем чувством и душой, с которыми они поются; поэтому многие свободные люди, прислушиваясь к тюремной песне, несущейся из-за стен острога, всегда находили ее глубоко выразительной.

Обратимся теперь к самым замечательным песням острога.

Самой любимой в острогах песней является «Собачка» или «Последний день». Как известно, это переделка прощальной песни (Good Night) Чайльд Гарольда, заимствованная грамотным народом, вероятно, из перевода Козлова¹. В этой песне, приноровленной арестантами

¹ Песня эта, как известно, у нас переводилась Козловым, М. А. Михайловым, г-ном Минаевым, Гольц-Миллером, также переведена Мицкевичем на польский язык, но все-таки та роскошь поэзии и полнота картин, которыми обладает подлинник, не были вполне переданы никем. Лучший перевод Михайлова обладает легкостью стиха и чувством, но сокращает картины. Подстрочный перевод Гольц-Миллера подражает подлиннику, но теряет легкость и размер. Вероятно, трудность перевода состоит в том, что английский язык слишком сжат и выразителен. Так, например, строки:

The night-winds sigh, the breakers roar,
And shrieks the wild sea-mew

к их положению, не звучит того гордого горя, той мужественной тоски, которая проникает последнюю песню байроновского героя, покидающего с гордым хохотом над своей судьбой постылую родину и силящегося подавить сжимающую его тоску, которая невольно прорывается в его песне; арестантство, напротив, взяло самый нежный и простой мотив ее и запечатлело его одной любовью к покидаемому краю (это вполне соответствует настроению ссыльного); кроме того, варианты этой песни носят следы и тюремного, и ссыльного, и бродяжеского элемента. Вот ее полный вариант, как ее поют арестанты.

Российский тюремный

Ах, в той стране, стране родной,
В которой я рожден,
Терпеть мученья без вины,
Навеки осужден.

Последний день красы моей
Украсит Божий свет;
Увижу море, небеса,
А родины уж нет.

Отцовский дом покинул я:
Травкою зарастет;
Собачка верная моя
Завоет у ворот;

т. е. «Ночной ветер стонет, шумит бурун, и дикая морская чайка несется надо мной с пронизательным криком», или

And now I'm in the world alone.
Upon the wide, wide sea.

«И опять я один в мире среди этого широкого, широкого моря» и другие подобные выражения не могли сохраниться со всей силой чувства, полнотой картины и мысли.

На кровле филин прокричит;
Раздастся по лесам;
Занеет сердце, загрузит:
Меня не будет там.

Затем варианты:

Ссылный сибирский

Не видеть мне страны родной,
В которой я рожден,
Идти же мне в тот край чужой,
В который осужден.

Прощайте, все мои родные;
Прощай ты, матушка Москва!
Пройду я все губернии-города
В оковах, в кандалах.

Наутро рано на заре
Малютки спросят про отца,
Расплачется жена...
Потом и вся семья моя.

Судьба несчастная моя
К разлуке повела,
И разлучила молодца
Чужая дальняя сторона!

Бродяжеский вариант

Но исполню я отместку
И назад я ворочусь:
Я, как ворон, прокрадуся
И злодею отомщу.

Песня эта поется с большим чувством арестантами. «Кто-нибудь, – припоминая ее, говорит Ф. М. Достоевский, – в гулевое время выйдет, бывало, на крылечко казармы, сядет, задумается, подопрет щеку рукой и затаяет ее высоким фальцетом. Слушаешь, и как-то душу надрывает¹.

В нашей тюрьме слышал я, как часто пели ее ссыльные арестанты; из них при этом особенно отличался один бродяга, – «Губернатор» (такое прозвание он сам себе дал). Этот «Губернатор» обладал страшным басом, который был слышен по всем углам четырехэтажного острога, когда певцу взбрело на ум произносить многолетия и анафемы разным начальникам. Иногда этот «Губернатор» подбирал человек двух-трех с такими же богатырскими голосами и в коридоре поражающем резонансом запевал классическую «Собачку». Могучие голоса певцов заставляли дрожать стены, разбивали слуховой барабан и разом брали за сердце; эффект был чудовищный! Но эта песня производит еще более впечатления, когда ее поет ссыльная партия, приближаясь к Сибири, среди темного бора, под звук кандалов и скрип телег; тогда она неотразимо растрогивает слушателей, и часто прерывается неудержимым рыданием женщин.

Из других арестантско-поселенских песен также очень известна «Сидит ворон на березе»; она является в двух вариантах – российско-тюремном и бродяжеско-ссылным. В российском говорится, между прочим: «Ты зачем, зачем, мальчишка, с своей родины бежал», т. е. оставил свою родину и пришел в ссылку, а в Сибири поется «Ты зачем, зачем, мальчишка, в свою родину бежал», т. е. бежал из Сибири опять в Россию. Часто к ней примешиваются и другие песни, а потому она составляет агрегат, как и приведена у г-на Максимова (39). Наконец, третью, самую популярную песню в остроге составляет песня «О разбойнике». Песня эта поражает с первого раза пошлым набором слов; оттого, когда она попалась нам в одном списке, мы прониклись тем же

¹ Достоевский Ф. М. Записки из Мертвого дома. СПб., 1862. Ч. 1. С. 228.

чувством негодования, какое овладевало г-ном Максимовым при виде некоторых арестантских песен того же склада; но в один из вечеров мне пришлось услышать ее в неизуродованной форме из уст лучшего тенора нашего острога: в этой форме она по справедливости приковала внимание к себе всего тюремного населения. И напев, и содержание ее трогательны и глубоко потрясают чувство: трудно было не заслушаться ее. У арестантов она производила фурор; ни один звук в многолюдном остроге не прерывал ее, когда она неслась в своей грустной мелодии. Она изображает прощание разбойника перед казнью; он ждет палачей и, не чувствуя никакой к себе жалости, просит жечь, рубить и казнить его, так как он никому не давал пощады.

Я в поле был воин,
Рубил и губил,
В лесах и дубравах
На всех нападал,
Как ворон из тучи,
На всех налетал.

Затем разбойник прощается с лесами и дубравами, с широкими полями и дорогой волей.

Теперь бы я помчался
К родной стороне,
С друзьями б повидался,
Что плачут обо мне.

Но вот застучали приклады у дверей, входят палачи, быстро ведут его на площадь; «позорный пример», заканчивает песня:

Палач размахнулся:
Разбойника нет.

Замечательно, что вся песня проникнута необыкновенным соответствием между музыкальным выражением и идеей. Вы слышите, как в начале ее изливается самое мягкое душевное чувство, какие-то грустные звуки далеких сердечных воспоминаний; но вдруг песня переходит к суровым звукам, холодным, как действительность; затем слышится опять тоскливая замирающая мелодия прощания с родиной и жизнью, и вдруг ее опять обрывает ледяной голос, напоминающий о казни. Там, где говорится: «*Но вот застучали приклады у дверей*», прерывается последняя предсмертная нота, последняя жалоба; вы чувствуете, что все кончено, и затем быстрый речитатив песни звучит как беспощадный рокот барабана, бьющего к наказанию. Этот перебой слышится тихо, как будто вдали, еще и в самом начале песни, но выступает все ближе и ближе к концу ее; затем при пении стихов о растворившихся дверях он выступает уже со всей резкостью. Немудрено, что этот звук, хорошо знакомый арестанту, перенесен им и в песню, переплетенный чувством замирающей тоски, которую он испытывает перед наказанием.

Слова этой песни, как мы узнали после, приписываются разбойнику Латышеву, кончившему жизнь на эшафоте и отличавшемуся музыкальностью и певучестью, как приводит г-н Соколовский в его биографии (40). Кроме этих песен, славится песня о побеге Ланцева из Мосеевского замка, очень известная по своему содержанию и кончающаяся картинным изображением, как беглец благополучно скрывался в темный лес.

Погоня тихо удалялась
И ветер тучи разгонял.

Арестанты со всеми подробностями любят запоминать побеги своих героев; так занесен ими в песню и дру-

гой побег бродяги Травина, выехавшего даже из острога в параше, т. е. в некоей бочке¹.

Затем острог наполняется значительным количеством поселенческих и бродяжеских песен. В этих песнях играет роль большей частью судьба «бедного мальчишки в чужой дальней стороне». Ссылному достаточно услышать хоть несколько слов в песне «о родине и дальней стороне», как он заносит ее в свой репертуар. Так, например, вошла в употребление песня «В одной знакомой улице» только потому, что тут есть намек о какой-то узнице, сидящей под окном (острог это понял по-своему), и затем слова:

Такие речи дерзкие она твердила мне
О мужестве, о родине, о дальней стороне... –

вместо «об обществе, о музыке, о дальней стороне».

Другая песня описывает, как какой-то пошлый франт кутил в маскарade; она также взята из песенника, но к ней арестанты приделали свое дополнение:

Оставайся ты, мой друг, во столице;
Я пойду во Сибирь гулять,
Сквозь железную решетку
Ручку к сердцу прижимать.

Вообще некоторые песни отличаются крайне сентиментальными выражениями старых песенников, куда вно-

¹ Песня даже изображает Травина мифическим героем:

Как выехал наш Травин
На охоту сам один;
Как забрал табун Травин
В сорок тысяч сам один.
Затем он попался в острог и наконец бежал.

И выехал наш Травин
Он в параше сам один.

сились разные вздохи старых романтиков. Так, я помню, один старый 50-летний бродяга, человек, забитый грубой жизнью, мукосей и парий в тюрьме, пел мне необыкновенно заунывным голосом народных песен следующую песню:

Меж гор енисейских
Раздается томный глас;
Тут сидел бедный мальчишка
С превеликою тоской.

Белы ручки свои ломал,
Проклинал свою судьбу,
Ты судьба моя несчастна,
Ты за что разишь меня?

Все люди на воле
Забавляются с друзьями,
А я, бедный мальчишка,
Заливаюсь горькими слезам.

Бродяга при этом плакал. Он же сообщил мне, что это песня знаменитого бродяги Светлова, который долго скитался в енисейских горах. Это, может быть, и не правда; но про этого героя много рассказывают бродяги, и лицо это в их рассказах очень симпатично.

Затем следуют песни, написанные слогом солдатских песен; они наполнены описанием случаев из жизни тюрем, побегов, ссылки и бродяжества, так же, как и их обстановки. Иногда они полны описаний самого процесса наказаний плетью или шпицрутенами. При этом всегда арестантская песня проникнута глубоким сочувствием и даже нежностью к своим собратьям. Как нежно, трогательно и заунывно звучит эта песня, можно судить по следующей:

Вы, бродяги, вы, бродяги,
Вы, бродяженьки мои!

Что и полно ж вам, бродяги,
Полно горе горевать:
Вот придет зима – морозы:
Мы лишились гульбы¹.
Гарнизон стоит порядком,
Барабаны по бокам.
Барабанщики пробили,
За приклад всех повели;
Плечи, спину исчеканят:
В госпиталь нас поведут.
Разувают, раздевают,
Нас на коечки кладут,
Мокрыми тряпицами обкладывают:
Знать, нас вылечить хотят.
Мы со коечек вставали,
Становилися в кружок,
Друг на дружку посмотрели,
Стали службу разбирать:
Вот кому идти в бобруцкий,
Кому в нерчинский завод².

Вся эта песня носит оттенок братской дружбы и симпатии, порождаемых одной участью, одинаковостью судьбы и единством несчастья. Нечего удивляться, что в арестантскую поэзию входят часто и «мокрые тряпицы», и «машина», и «палач Федька», и т. п. – все это было горькой правдой их жизни. Приемы этой песни, склад ее и сюжет кажутся прозаичны, и некоторые любители народных песен все бы еще хотели для эстетического удовольствия, чтобы арестанты пели древнюю разбойничью песню «Не шуми ты, мати, зеленая дубравушка». Но ведь это требование решительно неуместно, когда прежняя жизнь давно уж отлетела от народа: теперь не то время, когда гордый разбойник, как

¹ Осенью бродяги принуждены идти в деревни, и там попадают или просятся в остроги.

² Смотри бродяжескую песню в статье о бродягах.

царь лесов, гордо выражал свою волю и считал себя вправе переговариваться с правительством; нынешнему преступнику, подавленному силой государственной, трепещущему перед судом, приходится только оплакивать свою судьбу да выражать свою жалкую участь в тюрьме и в бродяжестве. В песне теперь и выражается большей частью простое горе: то ссыльный прощается с милой, отправляясь в Сибирь, с папенькой и маменькой, которых больше не увидит, – то описывает, как его секут, лечат в лазарете, наказывают на кобыле, – наконец, наивно рисует свое нищенство в бродяжестве, как он именем Христовым «хлеба-соли наберет, в баньку ночевать пойдет»¹. Такой сюжет песни и выражение ее кажутся пошлыми эстетикам; они находят, что это похоже «на кисло-сладкие романсы». Но «кисло-сладкие романсы» песенников воспевают печаль глупую, беспричинную, вымышленную, арестантская же песня – действительное горе, как бы оно там ни было сентиментально выражено. В народной песне нельзя быть строгим в форме. Есть, например, песня горных рабочих, где говорится:

Как в *фонталы* воду пустят,
Наше сердце приопустят.

Неужели же приходится смеяться над этими «*фонталами*, ведь это бы вышло пошлое глумленье». Точно так же извинительны разные неправильности и в тюремной песне; она все-таки есть выражение истинных чувств и положения тюремного населения. Как бы ни выражались эти чувства народного горя, – они выношены, пережиты, выстраданы; поэтому к ним нельзя относиться с эстетической брезгливостью и взыскательностью.

Перейдем к следующему циклу песен. История преступления редко фигурирует в каторжных и бродяжеских

¹ Вполне приведена эта песня у г-на Максимова (*Максимов С. В.* Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. I. С. 411).

песнях, вероятно, потому что ссыльные не слишком любят вспоминать про это; по крайней мере, мы не часто слышали их в ссыльном остроге. Но зато такие песни чаще попадают в тех местах, где люди судятся впервые за преступления, например, в российских замках. Песни, имеющие предметом эпос преступления, необыкновенно быстро расходятся и в народе, в особенности же в тех местностях, где преступление совершено. Самая популярная разошедшаяся по всей России и Сибири и даже проникшая к обрусевшим киргизам, – песня про убийство на нижегородской ярмарке дочери купца Сафронова: ее поют повсюду. Склад этой песни запечатлен характером древнего народного творчества; первые строфы ее превосходны и веют неподдельной поэзией старорусской песни.

Вот песни, которые нам случилось слышать в России и которые, кажется, не были еще записаны.

Песня саратовского арестанта

То ли, что ли, нутко что ли!
Гулял молодец на воле;
Гулял молодец на воле,
А теперь он во неволе.
Как сказали про мальчишку,
Что отцовский дом поджег, –
Не за то ли посадили
Во саратовский острог.
Скучно было сидеть мне
Во саратовской тюрме,
Что никто того не знает,
Через кого я пропадаю!
Пропадаю я, мальчишка,
Через родного отца,
Через родного отца,
Через тестя-подлеца,

Через мачеху лихую,
Через женёнку молодую.
Долго ль, долго ль, не дождуся
К себе грозных палачей?
Я тогда же разочтуса
Со судьбою со своей.
Как и дню-то второй час,
Поведут к допросу нас.
Не успел промолвить слова, –
Тут колясочка готова,
Черной краской раскрашена,
Черной краской раскрашена,
У ней пара заложена.
Посадили молодчика,
Его задом наперед; –
Тут восплакал весь народ.
Повезли тут молодчика
В неизвестные места,
Ко незнамому селу,
Ко черному столбу.
Тут явились мастера,
Засучили рукава.
Палач скоро подбежал,
Рубашонку разорвал;
Рубашонку разорвал,
Белый саван надевал.
Меньше году просидел,
Ко расстрелу подоспел.

Эта история поджигателя. Вот другая история преступления из другой местности России.

Во сторонущке ночной,
Что наделалось весной
Во приходе – во Кромах
Стали резать во дворах,

В деревнюшке Врусове,
На задворке в улице,
В маршалевой горнице:
Гриша, Гриша Маршалев
Во постелю вечну лег.
Он не сам собой ложился, –
От своей подлой жены:
Его подлая жена
С Гриши голову сняла;
Сын еще смерти прибавил,
Больше молотом набавил.
Со той ли со беды садились на лавочку,
Садились на лавочку под красное окошечко,
Стали думать да гадать,
Нам куда тятьку девать.
«Не шути-ко моя мать,
Не горюй-ко моя мать:
Уж я эту ли беду,
Беду в *Ланды* отведу,
Я по мычкой по дорожке
И под Ландинский мосток,
Под мосток, мосток, мосток
Тятю с камнем положу;
Ты лежи-ко, лежи, тятя,
Лежи, тятенька родной:
Придет полая вода,
Унесет тебя с собой».
У Параша¹ сердце чует;
В целике² Гришка ночует.
Парашенька рыскала,
Своего Гришеньку искала.
«Ах, нам пятница приходит,
Нам солому набивать;
Надо в Ландах побывать».

¹ Параша, как говорят, была любовница Маршалева.

² В целике, в сумете.

Не солому продавать,
Надо тятю повидать.
Он приехал на гору
Ко Цареву кабаку.
Ребятеночки гуляли
И ледянки вырубали, —
Тут Платошу¹ увидали,
Все домой понабежали
И отцам порассказали,
Где Платошу увидали.
На нем шапочка с кистями,
А за ним домой с вестями.
На широкий его двор
Наезжает становой.
Ему рученьки связали,
Резвы ноженьки сковали,
Во Владимир повезли,
Во владимирский острог
Посадили на годок.
«Я не стану год сидеть;
В палачи я поступлю,
Свою мать я засеку».

Местами в этих песнях мы замечаем какое-то необыкновенно легкое отношение к преступлению, а иногда песня сопровождается каким-то плясовым напевом, например:

Ты лежи-ко, лежи, тятя,
Лежи, тятенька родной!

Подобное же веселое и даже юмористическое отношение при описании преступления мы находим и в другой песне, которая сложена про преступление в Нижегородской

¹ Платоша – сын, убивший отца. Он едет справляться о трупе на замерзшей реке; но его тут застают ребята, рубившие лед, и слух об убийстве распространяется.

губернии в Городце, преступление, даже, как видно, поразившее народное воображение.

Уж как было в Городце
В самой улицы конце,
Как ни думать, ни гадать,
Убил сын родную мать;
Не святым убил он духом,
А простым ее обухом.

Далее описывается, как убийца стащил труп в полыню, привязал камень и «бранным словом прикрепил».

Здесь, моя родная мать,
Будешь вечно ты лежать;
Ты лежи, родная мать:
За тебя буду страдать.

Затем описывается с фотографической точностью, как убийца затирает кровавые пятна чернилами, ломает сундуки, покупает ведро вина и приглашает приятелей кутить. Замечательно, что, несмотря на внешние подробности, в этих песнях ни слова не поминается о мотивах преступления; во всех песнях преступник обыкновенно винит, как причину своего несчастья, разные косвенные обстоятельства и посторонних лиц, но никогда себя. Так, в одной песне он жалуется, что «загубила молодца чужа дальня сторона, Макарьевска ярмарка», в другой винит «тестя подлеца», «мачеху лихую и женёнку молодую» (в песне саратовского арестанта). Наконец, в песне владимирский сын винит мать, которая подбила его убить отца, и т. д. Особенной драматичности и грусти в песне о преступлении мы решительно не замечаем. Напротив, все эти песни поются в народе хором; мотив их – живой и веселый. В мотивах этих песен мы можем отгадать их характер только разве при хо-

рошем выполнении их, и когда они поются с особенным чувством. Мы сошлемся на известную музыку песни про убийство на Нижегородской ярмарке.

Как под липой, под липой
Стоял парень молодой.

Она поется хором, с присоединением бубна, скрипок и гармоний необыкновенно весело; но нельзя не заметить, что во всей песне слышится тяжелое раздумье, местами какая-то ноющая и расслабляющая тоска, которая то на минуту овладевает песней под влиянием описываемого положения, то быстро переходит к самому неудержимому веселью и разгулу, силящемуся подавить внутреннее чувство. Тем же отличается песня, как мы слышали, саратовская:

То ли, что ли, нутко что ли!
Гулял молодец на воле,
Гулял молодец на воле.
А теперь он во неволе.

Она начинается самым разудалым и беззаветным мотивом, как будто с энергией внезапно оживившегося и тряхнувшего кудрями молодца, но вслед за этим этот разудалый мотив получает какой-то унылый оттенок и постепенно падает по мере того, как «бедный мальчишка» описывает судьбу свою и приближается к описанию наказания. Поэтому едва ли в подобных песнях, распеваемых с громом и аккомпанементом торбанов (41) и тарелок, можно видеть одну шумиху и пошлое извращение вкуса¹. В них пробивается своя музыкальная идея. Такое сочетание самого забубенного веселья, сливающегося местами с ноющей грустью, в русских песнях нередко можно встречать; оно придает музыке какую-то своеобразную

¹ См., между прочим, замечания г-на Максимова. Указ. соч. Ч. I. С. 380.

прелесть и колорит: такие контрасты, вероятно, всего более соответствуют вкусу народа и его темпераменту. В подобных песнях выражается как будто стремление «закрутить горе веревочкой», «размыкать», «разгулять» его; потому-то, вероятно, слышатся в них иногда порывы к самому бешеному и страстному разгулу, хотя в то же время истинное внутреннее чувство, невольно прорываясь в песне, выдает надрывающее и щемящее сердце горе. Таково, может быть, и есть свойство нашего национального горя¹. Музыка острога поэтому заключает свой смысл, а к ее словам мы должны иногда снисходить, как к обыкновенным недостаткам либретто.

Но тюремная песня не всегда страдает нескладницей и носит печать писарской и лакейской подделки. Это была только ее историческая переходная форма; поэзия тюрьмы быстро совершенствовалась. Это зависело от уровня образования тех лиц, которые сюда входили; в числе терпящих наказание были ведь и образованные люди. Даже в старинное время некоторые бродяжеские и тюремные песни отличались безукоризненной отделкой по внешней форме и верностью стиха, как известная песня, или скорее стихотворение.

Славное море – привольный Байкал²,
Славный корабль и мулевая бочка

и т. д.

Во всех этих песнях и стихотворениях, написанных с тщательной отделкой, г-н Максимов видит только искусственную подделку под арестантский тон какого-нибудь «барина, который снизошел подарком арестантам, подобно столичным стихотворцам, пишущим стихи

¹ Мы уверены, что чуткие к народной песне музыканты, как например, г-н Балакирев, нашли бы в такой песне глубокий музыкальный смысл.

² Помещена в первый раз у г-на Грицко в «Современнике», также у г-на Максимова (*Максимов С. В. Указ. соч. Ч. I. С. 410*).

клубным швейцарам и банщикам» (42); но, по-нашему, только славянофильские тенденции этнографа и его воззрения на народ не позволили ему видеть того важного явления, что в тюрьму проникали с течением времени лучшие элементы, лучший вкус, – в тюрьму попадали и более развитые люди, и лучшие книги современной литературы. Хоть случайно, но заносились сюда и были известны арестантам произведения Пушкина, особенно «Братья Разбойники» (их декламируют поселенцы), стихотворения Кольцова, романсы Варламова и т. п. Известно, по свидетельству очевидца, что, когда вышел «Мертвый дом» Достоевского, в одной тюрьме он был выучен наизусть; в другом замке мы встретили пожертвованную каким-то старым чиновником за ненадобностью ему библиотеку лучших современных журналов, которую арестанты читали и перечитывали, и многое даже выучили наизусть; наконец, у арестантов в последнее время распевались даже стихотворения Михайлова из тюремной жизни (43), который не писал стихов для банщиков. Все это доказывает, что лучшие вкусы проникали к арестантам непосредственно путем литературы. Они постепенно освоились с пушкинской, лермонтовской и кольцовской поэзией; она им нравилась и проникала в их среду; таким образом, под влиянием литературы могла улучшаться и острожная песня, – могли вырабатываться произведения более совершенные, чем мещанско-писарские.

На каторге в прежнее время писались стихотворения, складывались легенды, сатиры и т. п. языком чисто книжным; порывшись в преданиях каторги, можно было бы отыскать их немало. Вот, например, образчик, который нам случилось найти: это описание одного из старых событий прежней каторги, неизвестно кем написанное стихами в сатирическом роде. В этом стихотворении видно настолько же влияние современного сатирического стиха и склада, как и след самородного арестантского элемента

и его образа выражения. В то же время эта арестантская поэма может служить доказательством для наших этнографов, как в самых насмешливых и забавных народных стихах может заключаться самая трагическая сторона жизни. Вот это описание события на каторге, может быть, несколько и преувеличенное в стихах. Мы осмеливаемся его представить потому, что оно ныне уже составляет историческую древность, так как это случилось лет 20 с лишком тому назад, следовательно, не имеет ничего общего с нынешним положением каторжных¹.

Историческая быль 18... года

Как в недавних-то годах,
На каринских промыслах
Царствовал Иван,
Не Васильевич царь Грозный,
Инженер был это горный
Р–в сын.
В наказание сего края
Его бросило с Алтая,
Видно, за грехи.
Он с начального вступленья
Генералу донесенье
Сделал от себя:
«Кора речка так богата, –
В один год пудов сто злата
Я берусь намыть».
Им представлена и смета.
И с весны того же лета
Начался покос.
Со всех рудников, заводов,
На турецких как походах,

¹ Об этом событии на каринских промыслах, где в одно время было согнано множество каторжных и где они умирали от голода и тифа, говорится и у г-на Максимова. См. «Сибирь и каторга». Ч. III. Гл. III. История каторги. С. 359.

Партиями шли.
Лишь вода в Каре открылась,
Тысяч пять зашевелилось
Рабочих людей.
Р–в всех ласкает,
Всем награду обещает,
Кто будет служить.
За тюрьмою и за пищей
Он следил как гривны нищий:
Спасибо ему!
В службе строгий ввел порядок:
Каждый делал без оглядок,
Что б ни приказал.
Но заглянем мы в разрезы,
Где текли ручьями слезы
В мутную Кару.
На разрезе соберутся,
Слезой горькою зальются,
Лишь примут урки.
Попадет сажень другая,
Одна голька лишь сливная,
А урок отдай!
Не берет ни клин, ни молот,
А к тому ж всеобщий голод
Сделал всех без сил.
Сильно машины гремели,
А толпы людей редели,
Мерли наповал.
С кого рубль, полтину взяли
И работу задавали
В половину тем.
Но хоть дух сейчас из тела,
Им как будто нет и дела,
Если кто не даст.
Как работы работали,
Зарывать не успевали

Мертвые тела.
Всяку ночь к белу рассвету,
И с работы, с лазарету
Убыль велика.
Трупы те в амбар таскали
И в поленницы там клали
На обед мышам.
Да и мертвых уже клали
Не в гроба, а зарывали
Просто без гробов.
Оказалось, что власти (*горные*)
При такой большой напасти
Спутались совсем.
Мертвых в табель отмечали,
Содержанье назначали,
А живых долой.
Тюрьмы смотритель К-в
На умерших удальцов
Получал провьянт.
А кан... и комиссары
Мертвых, как живых, писали «выдана даба»,¹
За работою следили,
А в ключевке положили
Тысячи больши.
Кто с печали, кто с заботы,
Больше с тягостной работы...
Вечный им покой!
Положенья не намыли,
До 3000 схоронили...
Вот были года!

Такие стихотворения были не редкость в каторге. Тем же размером мы нашли описанными и другие события каринского промысла, так же, как и восхваления доброго начальника, прибывшего вслед за известным Раз-вым. Но

¹ Бумажная материя.

литература каторги даже и на этом не остановилась; у ней явились еще лучшие образчики. Что тюремная поэзия в последнее время вкладывалась уже в новые формы языка, доказательством тому могут служить произведения другого каторжного поэта, – не какого-нибудь барина, а человека, недалеко ушедшего от народа. Людей, обладавших некоторыми поэтическими талантами, бывало, конечно, и прежде немало в каторге, но они выражали свою жизнь в старой поэтической форме, в форме отсталой от просвещенных классов; в последнее же время начали появляться поэты, обладающие совершенно безукоризненными формами стиха и подходящие под уровень современной литературы. Образчики этого просвещенно-народного творчества очень любопытны. Мы в этом случае осмелимся привести стихотворения каторжного поэта Мокеева, которого тетрадка нам попала в России (44). Об этом поэте упоминает и г-н Максимов в описании каторги¹. Вот биография этого поэта. Бедный Мокеев пришел в Сибирь по делу об ограблении и умерщвлении, в котором он, однако, не участвовал. Он был купеческим сыном и буйно проводил свою молодость. При недостатке денег, закутившись, он натолкнулся на каких-то негодяев, которые решились совершить грабеж на большой дороге; во время предприятия они в борьбе убили свою жертву; Мокеев был свидетелем и не донес, это и послужило поводом к его ссылке. Такая судьба не редкость в среде ссыльных: множество замотавшихся купеческих сынков делают соучастниками преступлений, – и примеров этому приведено много даже и в наших очерках. Но Мокеев, как видно, был из них самый невиннейший и наименее испорченный. В своих стихотворениях он глубоко кается в своей веселой жизни во время молодости; самый кутеж признает он преступлением; «я вор; я вор родного», – говорит он, намекая на

¹ Максимов С. В. Указ. соч. Ч. I. С. 98, 99.

свое мотовство. Родные и их интересы остаются для него всегда священными. Пришедши в каторгу, он работал на Петровском заводе и в рудниках на Коре. Здесь-то он и проявил свой поэтический талант, посвятивши его описанию арестантской жизни, ее горю и страданиям, которые он сам разделял с другими. Участь его была обыкновенная, тяжелая каторжная участь, как видно из стихов.

Вставал с слезами на заре,
Ложился спать в заботах...

Окончивши срок, как видно из той же его стихотворной биографии, он пошел искать работы по Забайкалью, но, – как бедный ссыльнокаторжный везде в пренебрежении, везде в загоне, – не мог ничего добиться. Наконец его схватила общая болезнь всех поселенцев – «тоска по родине». Эта тоска, постоянная жалоба, и отчаянно-безнадежное положение ссыльного выражается во всех его стихотворениях.

Нет, прошла, зная, жизнь моя;
Я свое отжил;
Хоть и на свободе я,
Но без всяких сил.

.....

И далее:

Я изгнанник родины;
Мне не быть на ней.

Это ядовитое сознание невозможности увидеть когда-нибудь родину, вместе с чувством глубокой скорби и раскаяния за свою молодость, все более и более растравляло жизнь этого человека. Мокеев ударился под влиянием этой

тоски в запой; он блуждал по городам, по базарам, прося милостыни, – как рассказывает сам, – валялся в больнице, должно быть, в белой горячке, и жизнь смололась. Стихотворения его начали мельчать; в них он начал себя выставлять забитым, униженным и смотавшимся безнадежно. Г-н Максимов застал этого, по виду скромного и тихого человека, в безнадежных запоях. Несмотря на то, что он иногда получал деньги от родных, что не раз пристраивался к месту у сибирских купцов, которых он местами воспеваает, он не мог, однако, до последнего времени ужиться в Сибири. Он постоянно терзался мыслью, что «отца, брата, мать родную должен схоронить в живых», т. е. не видать, «забыть подругу детства» и т. д.; он решил, что нет ему места в чужой стороне, нет крова, и эта мысль постоянно его преследовала. Таким образом, Мокеев был чисто ссыльным поэтом; он не только изображал каторгу в прежней ее форме с каторжным житьем простого человека, но он испытывал всю участь поселенца в Сибири, смотрел на жизнь глазами ссыльного, испытывал все его чувства, все муки и всю раздирающую боль изгнания. Поэтому все произведения его проникнуты глубокой жизненной правдой. В то же время этот арестантский поэт, вышедший из народной среды и писавший для простого народа, как видно, уже находился под обаянием новой литературы; у него видно близкое подражание Пушкину, Лермонтову, Жуковскому, Полежаеву и Кольцову. Стих его до того близок к этим поэтам, что иногда решительно невозможно отличить его подражаний от оригиналов, но рядом с этим перемешиваются и стихи, напоминающие склад прежней арестантской песни и ее арестантский язык. Точно так же наряду с прекрасными и выдержанными стихотворениями у него попадают лакейские и писарские вирши, имеющие сюжетом – лесть благодетелям, выпрашивание двугривенного, воззвание к водке и т. п.

Вот, например, замечательное по безукоризненности стихотворение:

Узник

Что не вольная пташка в клеточке,
И не робкая рыбка в неводе,
Грустит молодец в тюрьме каменной
За железною за решеточкою.

После горьких слез, после мрачных дум
Добрый молодец вспомнил родину,
Вспомнил юные дни невозвратные,
Когда жил еще с отцом с матерью.

Ах, ты молодость, жизнь прошедшая.
Жизнь прошедшая – подневольная!
Ты успела лишь обольстить меня
И сокрылася за сини моря.

Для кого же я по ночам не спал?
Кому сыпал я серебро-золото?
Не тебе ли я буйной ветреной
Платил дань не раз почти жизнью?

Такие стихи острожного поэта напоминают вполне стихи Кольцова и Полежаева, например, стихотворение «у меня ли молодца ровно в двадцать лет, со бела лица спал румяный цвет» и т. д.

Подобными же стихами поэт описывает самую жизнь арестантской среды. Таково, например, описание предчувствия арестанта пред наказанием. В этом же стихотворении необыкновенно верно изображено прежнее наказание, известное под именем «зеленой улицы», столь часто встречающееся в арестантских стихотворениях и взятое

тюремным поэтом, вероятно, из живых рассказов, если не самим испытанное.

Ночь пред наказанием

Месяц в небе возвестил
Час полуночи глубокой
И случайно свет пролил
В свод тюрьмы моей жестокой.
Грусть чугуною плитой
Налегла ко мне на грудь,
И без страха я не мог
Сердцем трепетным вздохнуть.
Бьет полночь; никто ни слова;
Всюду спали крепким сном;
Только оклик часового
Раздавался под окном.
Ветер вольный, ветер сильный
По коридору шумит.
А сердце вешее дрожит
И будто ждет чего-то злого,
И на слова мои ни слова
Мой часовой не говорит.
Проходит ночь; душа скорбит...
Рассвет мне страшен, как могила.
Чего же сердце так заныло?
Скажи, чего тебя страшит;
Скажи, чего тебя пугает!

А вот и описание казни.

На место казни я пришел;
Со всех сторон толпы бежали.
Определение мне читали:
Четыре тысячи пройти
И вечно чтоб в Сибири хладной

В работе каторжной пробывать.
Я слышал приговор ужасный;
Потом «Повзводно» – закричал
На офицеров батальонный.
Склоня я голову стоял,
Угрозы слушал я невнятно
.....
Раздали палки по рядам,
К прикладам руки привязали,
«Дробь» – барабанщикам сказали;
В моих глазах померкнул свет.
Иду в рядах; пощады нет:
Удары сыплют в спину градом,
А я без чувств верчу прикладом.
Прошел 500, – ходить не мог.
Не раз меня сбивали с ног,
Не раз водой меня полили.
Начальник закричал: «Отбой»!
Тряслися ноги подо мной;
Дыханье я переводил;
Не то был мертв, не то был жив;
Не знал, что делалось со мной.
И долго в забытьи я был...
Тогда лишь принял мало силы,
Когда мне фельдшер кровь пустил
.....
Через час в больнице я лежал:
За мной товарищи ходили.
Ни дня – ни ночи я не знал,
Не мог сидеть, не мог ходить,
С трудом лишь мог проговорить,
Чтоб мне рубашку намочили.

Это стихотворение, по-видимому, совершенно выдержанное, внезапно оканчивалось словами на манер арестантской песни:

Так десять дней ее мочил (рубашку)
И облегченье получил.

Много глубины чувства встречаем мы в стихотворениях Мокеева, посвященных его личным воспоминаниям. Таково, например, описание чувств ссыльного при оставлении родины. Стихотворение это начинается подражанием пушкинскому «Прости, Москва», мы его не вносим, но вот оригинальные его строфы:

Последний раз «прости» родному
Приюту должен я сказать,
Последний раз кресту златому
Приходской церкви долг отдать.

Сказав «прости», не тройкой мчаться
Мне суждено по столбовой, –
Идти в цепях, душой терзаться
С полуобритой головой.

И на этапах в казематах,
В сырой забившись уголок,
Мечтать о доле невозвратной
И слезы лить на злобный рок.

Прости, отчизна, край отрадный!
В изгнание вечно я решен.
Туда, где россыпи ужасны,
Как башни, где хребты стоят,

Где нет невинных развлечений,
Равнин, украшенных полей,
И где упреки и презренья
Должно нести душе моей.

Там буду жить с подругой-скукой,
Вдали от милых, сиротой,
С воспоминаньем и разлукой.
Страдать в работе вековой!

Вот как автор изображает судьбу свою в ссылке.

Из жизни ссыльного

За преступление я лишен
Отечества святого,
И нить влачится бытия
Среди чужого крова.

Чужие нравы и народ...
Обычай встретил новый;
Не тот лазурный небосклон
И климат уж суровый...

В Петровском был и на Коре
В тяжелых я работах,
Вставал с слезами на заре,
Ложился спать в заботах.

В тюрьме сидел и вольно жил.
Тянулся год за годом.
Надежды я похоронил
Под чуждым неба сводом.

.....
Тянулись так пятнадцать лет...
Надежда появилась,
Мелькнул погасшей жизни свет,
Свобода мне открылась.

Я взял билет и с ним пошел;
Летел я вольной птицей,

С ним проходил хребты и дол –
Станица за станицей.

Куда ж, зачем? и сам не знал;
Тащился я усталый.
Нигде привет меня не ждал
В одежде обветшалою.

Войдешь в станицу и с трудом
Ночлег найдешь с приветом.
В другой всю ночь из дома в дом
Проходишь до рассвета.

Глядят с презреньем на меня:
Не видно сожаленья, –
И час от часа, день от дня
Я чуждый стал терпенья.

Не мил и божий свет мне стал
И в тягость увольнение.
Я шел вперед и рассуждал:
«Ах, где стряхну мученье!»

В деревне жить, пахать, косить
От роду я не знаю,
Снопы вязать и молотить
Совсем не понимаю.

Далее мы извлекаем следующие лучшие строки, где поэт жалуется на бедность.

О бедность, бедность, недруг злой!
Твоя волшебна сила,
Ты сколько гениев, с тобой
Сроднившихся, стемнила!

Орел парит до облаков.
Чей взор с его сравнится?
Подрежь крыло, – он не таков,
Не та уж будет птица:

Он вместе с курами живет
И с робостью шагает;
Сердитый гусь его клюет;
Петух его пугает.

Такая ж доля бедняка:
Он вянет в самом лете,
Когда могучая рука
Сжимает его в свете.

В этом, хотя и не совершенном, стихотворении вполне верно рисуется судьба поселенца в Сибири, который не знает, куда деваться, которому Сибирь противна, люди и местность чужды, и где ему, по получении свободы, становится «не мил божий свет» и «в тягость увольнение».

Поэзия Мокеева в этом случае превосходно изображает поселенческое или ссыльное мирозерцание. Антипатия его к Сибири, как к стране ссылки, проявляется у него везде; поэт изображает ее «холодной» и «ужасной»; он видит здесь

Не тот лазурный небосклон
И климат уж суровый.

Хотя Забайкалье в южной Сибири и отличается мягким и прекрасным климатом. Поэт говорит, что он осужден

Туда, где россыпи ужасны, –
Как башни, где хребты стоят,
Где люди, как звери, опасны
И правых без вины винят.

Несмотря на то, что в своих стихах он воспевает гостеприимство и покровительство многих благодетелей из сибирских жителей, – взгляд на Сибирь и сибиряков у него остается озлобленным. Нравы ему крайне чужды и противны; «чужие нравы и народ, обычай встретил новый», – пишет он. Его поражает, например, карымский чай или *ватуран* (чай с маслом, молоком и солью), который употребляют жители Забайкалья. «Я все привык переносить», – говорит ссыльный:

Но не могу сносить я муки:
Карымский чай с кумиром пить.

Ссылному все кажется дико и глупо; все его мучит, даже «карымский чай»; вся Сибирь для него как будто только один коринский рудник, окруженный хребтами. В своей ненависти к стране ссыльный поэт доходит даже до того, что влагает свое чувство ветру, который говорит:

Определен был небесами
Я парус в море навевать:
Мне душно здесь между горами
В Сибири хладной завывать.

А потому ветер также хочет в край родной, как и ссыльный. Такая черта в высшей степени характерна. Подобные чувства наполняют всех поселенцев в Сибири. Место изгнания всем им одинаково противно. У поэта присоединяется к этому бедственное положение, бедность и склонность к крепким напиткам. Он так же не умел, как все поселенцы, «в деревне жить, пахать, косить, снопы вязать и молотить»; зато тем неудержимее влечет чувство поэта к воспоминаниям и к родной местности. С необыкновенно теплым чувством он обращается к ним.

Я описал бы все полней,
И в рифме больше бы явилось,
Когда б спокойствие ко мне
Хотя на миг бы возвратилось.

Хотя на миг бы мог забыть
Родимый край и кров священный,
Или *надеждою* мог жить
В глуши Сибири отдаленной.

Да, мне надежд счастливых нет.
Прости, прелестное былое!
Знать, прежних дней и прежних лет
Не возвратит ничто земное.

Эта безнадежность ссылки именно и составляет самые жгучие страдания ссыльного в Сибири. Вот прекрасные поэтические строфы, навеянные этими же чувствами:

Как же мне не грустить
О прошедшей весне?
Мое сердце болит
О родной стороне.

Оглянусь я в ту даль,
Даль глубокую,
Где девицу любил
Черноокою.

Ее локон кудрей
Целовал-миловал
И слезинку с очей
Пил, как нектар святой.

Я могу не грустить
Лишь в забвеньи одном:

Научите ж забыть
О былом, о родном!

Это стихотворение даже безукоризненно прекрасно. Наконец, вот еще стихотворение, замечательное по выработанной форме стиха, написанное в виде эпитафии арестантам и, как видно, относящееся к тому старому времени, когда для преступников еще не было отменено телесное наказание:

Спите, трупы под землею;
Сон ваш мирен и глубок;
Ни с несчастьем, ни с бедою
Незнаком ваш уголок.
Мать-сыра земля – защита
Вам от гибели прямой:
Ею ваша грудь закрыта;
Вы не встретитесь с бедой.
Недоступны вам раздоры;
Стон не встретит вас ничей;
Там не встретят ваши взоры
Кнут и грозных палачей.

Подобные стихотворения ясно показывают, до какого совершенства уже достигла поэтическая форма в арестантско-народном творчестве.

Таковыми стихами пушкинско-лермонтовского склада описывалась судьба простого арестанта, его горе и несчастья, и эти стихи составляли исключительное достояние каторги. Арестантская среда показала этим, что она может не только давать даровитых поэтов, занесенных сюда несчастьем, но и понимать прелести нового литературного стиха, и быстро осваиваться с ним.

На переход старой русской народной песни к новому, хотя и неудовлетворительному стилю, нельзя поэтому

смотреть как на регресс и на утрату поэтического чутья в народе, как уверяли славянофилы, а за ними утверждает и г-н Максимов. Неудовлетворительная стихотворная форма мещанских, фабричных, солдатских, писарских, лакейских, а затем и арестантских песен есть только первая подражательная форма новой литературной поэзии. Это, так сказать, только пена, пробиваемая к народной жизни из просвещенных слоев общества, за которой должны следовать более чистые волны, приносящие ей вполне выработанный литературный стих – наследство лучших поэтов. Центр просвещения, моды, инициативы находится теперь в просвещенных классах общества; отсюда постепенно распространяется цивилизация, охватывая разные слои народа и ассимилируя в себя его лучшие силы. Народ перестает ныне жить своей самобытной, замкнутой жизнью, как прежде. Пропасть, отделяющая его от непросвещенных классов, все более уменьшается; поэтому склад просвещенной жизни, привычки, нравы, литературный язык и литературная форма поэзии должны все более проникать в него. Что теперешняя подражательная поэзия есть только переходная форма и что народ готов перейти к формам языка и поэзии, выработанным нашей литературой, при первой возможности, – это доказывается историей острожной песни и тюремного творчества. Затем не столько нужно печалиться о том, что наш народ оставляет древнерусские формы поэзии, сколько содействовать его переходу к новейшим образцам, для чего необходимо дать ему поскорее возможность познакомиться с сокровищами наших лучших поэтов. Дай только Бог, чтобы в новых формах народ мог выражать лучшие и более отрадные явления своей жизни, чем те, которые отмечены в оканчивающей свое существование арестантской песне.

VIII.

**История тюремной общины
и ее общинные учреждения**

Из истории как российских, так и сибирских острогов видно, что жизнь здесь давным-давно течет помимо официального, основанного на букве устава. Общинная жизнь острога проложила новое себе русло и крепко утвердилась в нем. Уставы остаются сами по себе, а жизнь течет сама по себе, так что между ними часто нет ничего общего. Как сложилось это самостоятельное арестантское житье и какую роль в этой перемене играло острожное начальство? Такие вопросы я задавал себе долго, до тех пор, пока не понял, что в остроге никаких уставов и никакого начальства нет, кроме *«острожной общины»*, вполне подчинившей себе жизнь отдельной личности. Союз арестантов возник в каждом месте заключения, обусловленный одинаковостью положения преступников, потребностью самозащиты и достижения разных льгот. Каждый входивший в острог преступник примыкал к корпорации таких же несчастных, как и он сам. Постепенно ориентируясь в новой среде, связывая себя с интересами и жизнью острога, он невольно делался из обыкновенного гражданина, крестьянина, мещанина или солдата *арестантом*, т. е. членом острожной семьи. В остроге он находил себе новую среду, где встречал сочувствие своему горю, приобретал друзей, помощников и учителей; скоро он отрекался от всякого другого общества, кроме острожного, и беззаветно отдавался своим новым братьям и союзникам. Еще теснее связь и союз арестантский скреплялись в сибирских острогах, наполненных ссыльнокаторжными и бродягами: такие люди чувствовали еще больше солидарности; их взаимные интересы были еще прочнее: они были уже ка-

стой или сословием в среде других людей. Для них острог становился центром жизни, местом сбора, исходным и конечным пунктом жизни; для одних – он был гаванью, где они отдыхали от побегов, для других – тяжких преступников – вечным жилищем, для третьих – местом, где они перебивают за преступления десятки раз.

Как ни печально положение людей, осужденных на безвыходное заключение в тюрьме, но такой жизнью у нас жили тысячи бродячего и ссыльного люда, все-таки предпочитавшего острог голодной смерти. Понятно поэтому, что эти люди, проводя здесь целые года, переживая из поколения в поколение, должны были теснее сплотиться, создать себе свою собственную, более свободную жизнь, выступившую из тесных рамок казенного устава. Таким образом, устроился арестантский союз.

Путем долгой и опасной борьбы сложилась арестантская община и сформировала условия, нравы и обычаи своей жизни. Она подчинила все своей воле и стала полновластным хозяином острога. Затем она установила известные отношения между членами своего общества, гарантирующие как права отдельной личности, так и управление общественными делами. Таким образом, временный союз, вызванный борьбой с подневольным и горьким житьем, превратился в организованную общину, которая создала себе самоуправление, свое законодательство, свое хозяйство и развилась в стройные, определенные формы с своеобразным общественным типом. Установление общественных законов на началах справедливости и обоюдных выгод казалось бы невозможным в среде нравственно падших людей, а между тем тут есть и чувство справедливости, и глубокое сострадание к ближнему. Но еще поразительнее самый строй этой общины, основанный на строгой равноправности и взаимности. Творцом ее был русский простолудин; поэтому в складе ее отразился тот же дух *общинной* жизни, каким отличается русский народ во всех

сферах своей деятельности, когда он действует самобытно. Состав этой общины и дух социального интереса, поглощение ею личности, остроумные общинные установления, равномерное распределение прав, обязанностей и повинностей – все в ней носит печать народного таланта и мирозозерцания. В этом случае она есть такое же порождение русской жизни, как артель, крестьянская община, мир, вече, казацкие круги и другие подобные явления.

Острожная община создалась не разом; она вырабатывалась вековой жизнью арестантства и имела свою историю. Каждая община отдельных острогов сначала самостоятельно завоевывала права свои, вела борьбу, запасалась опытом, организовалась, создавала свои правила и самоуправление. Понемногу эти приемы борьбы, как арестантский опыт и арестантские установления, созданные обычаями, переходили от общины к общине, ассимилировались острогами, обобщались и усваивались ими. Бродячие ссыльные арестанты, бегло-каторжные и другие вечные обитатели острогов, то идя в Сибирь, то снова возвращаясь в Россию, были всегда живыми резервуарами острожного опыта, распространителями острожной науки, деятельными проводниками идей арестантской общины; пионерами и учителями арестантской независимости. В продолжение своей жизни они деятельно поддерживали знакомства и сношения с сотоварищами по разным острогам; поклоны, поручения, послания, известия постоянно переносились ими от общины к общине, от острога к острогу. В самых отдаленных углах рудников арестанты не упускали из виду своих знакомых; ссылка и скитания не разделяли их, а скорее связывали; по сибирским этапам, по острогам они узнавали, где кто находится, и не раз встречались в жизнь свою со многими как в бродяжестве, так на поселении и в каторжном заводе. В каждом остроге можно видеть, с каким любопытством расспрашивается каждый пересыльный или бродяга о том, где он был и

что видел. Бывалые арестанты и старые странники всегда встречают знакомых или, по крайней мере, толкуют об общих приятелях. На этапах у арестантов существует своего рода почта; каждый идущий в каком-либо направлении арестант оставляет свой адрес. Эти автографы, нацарапанные карандашом, углем, гвоздем или кирпичом, можно встретить на стенах всех пересыльных замков и этапов, на верстовых столбах сибирской дороги и на памятнике, отделяющем Пермскую губернию от Тобольской. «Прошел из Вологды мещанин Сергей Палтусов на вольное поселение», «Максим Карташев из Тамбова в каторгу на 6 лет *за любовь*», «Кланяюсь Михею Семенычу Бирюкову – бродяга Игнатий Непомнящий», «Степан, не забудь бедного Микиту Безухова», «Авдотья Горюнова ночевала здесь, но без милова». Такими надписями украшены стены виденных нами этапов, и по этим надписям последующие арестанты узнают своих знакомых и путь их. В Сибири после посещения экспедиции о ссыльных, определяющей места поселения, ссыльные по этапам записывают для указания позднее идущим товарищам места своего назначения. Арестантские сношения таким образом шли по всем захолустьям России до самых дальних пределов сибирской ссылки; таким путем арестантство браталось, дружилась, обменивалось знанием и сливалось в одну общую, солидарную массу по мыслям и чувствам, вырабатывая сознание полного единства арестантской среды на всем пространстве широкой и раздольной русской земли.

Находясь под одними условиями и чувствуя одинаковость интересов, задач и целей, арестантство организовалось повсюду одинаково, создавая общий тип тюрьмы и единообразие арестантской общины. Поэтому совершенно одинакова жизнь всех русских тюрем, начиная от многолюдных пересыльных замков Перми и Тобольска до мелких гауптвахт, полицейских чижовок и кутузок, от громадных столичных тюрем до отдаленнейших Коры

и Акатуя. Быт заключенных, их занятия, нравы, обычаи, воззрения, игры, поговорки и песни везде одни и те же. Взглянем ли мы на описание «Мертвого дома» Достоевского, «Очерки русского острога» Соколовского, «Заметки о Енисейском остроге» Кривошапкина, «Записки о Коре и каторжных» Максимова или даже искаженные юнкерской фантазией очерки Литовского замка в Петербурге Крестовского (45), – мы везде находим более или менее общий тип и общую физиономию русской тюремной жизни. Где бы ни слагалась арестантская община, она слагается по одним и тем же законам и в тех же самых формах; куда бы ни пришел арестант, – он встречает одну и ту же среду, одни и те же обычаи и нравы, находит ту же общину со всеми ее уставами¹.

Тип и общая форма общин в разных острогах могли только различаться в степени своего развития, что зависело от большей или меньшей энергии членов общины, от большей или меньшей опытности арестантов и их коллективной силы. Так, в российских острогах, где большинство преступников еще неопытно, мы находим союз арестантов довольно слабым; он находится еще в зачаточном состоянии, и проявления общины незначительны. Но зато в острогах, наполненных ссыльными², где арестант опытен, где народ, прошедши вдоль и поперек все тюрьмы, смел, энергичен и закален несчастьями, где он живет традицией и выработанным убеждением, – там мы находим связь арестантства крепче, борьбу энергичнее, авторитет общины сильнее, формы ее богаче, цветистее и изобильнее общественными установлениями и органами. Ссыльно-поселенческие, бродяжеские и каторжные общины в этом

¹ Говоря о формах и складе тюремной общины, мы не имеем в виду военно-арестантских рот, так же, как крепостных, где при особенно строгой военной дисциплине общинность или совсем не существовала, или была весьма слабо развита.

² Такими острогами являются, начиная с пермского, казанского и оренбургского, все сибирские остроги до Нерчинска.

отношении достигли самого большого развития и независимости¹. Рассмотрением их мы и займемся теперь, так как наш острог в этом случае представлял значительные удобства для наблюдений.

Власть и управление в таких острогах, как наш, принадлежали исключительно самим арестантам. Выражением арестантского самоуправления являлась в остроге сходка. Это было арестантское вече, которое собиралось всегда, как сибирские, судить какое-либо общественное дело. Каждый из заключенных имел на ней право голоса. Выражая интересы и потребности всех заключенных, приговоры и решения сходок являлись законодательством острога, которому обязан был повиноваться каждый член общины. Здесь налагались подати и сборы на общественные нужды, утверждался бюджет общины, поверялась касса и месячные расходы, происходил дележ подаяния, производился выбор острожных чиновников – старосты и писаря, вершился суд над провинившимися против общества арестантами, обсуждались хозяйственные дела, производились торги на майдан, проектировались субсидии палачу и обсуждался образ поведения в отношении начальства. Община, таким образом, является не только управляющей, но и опекающей арестантство. Она ограждает своих членов от властей, защищает их от разных неприятностей, гарантирует им спокойствие и свободу занятий, наконец, печется как о хозяйственных и денежных делах их, так и о доставлении им возможно больших удобств в остроге, и взамен этого требует от них покорности ее приговорам, преданности ссыльному братству и арестантскому делу. Она поставила законом, чтобы арестантский интерес стоял выше всего в остроге, чтобы, находясь под одними условиями, все арестанты стояли

¹ Развитие каторжных общин, в основах близкое к нашим наблюдениям, можно видеть в книге г-на Максимова «Сибирь и каторга». Ч. I. Гл. 2. С. 110 и послед.

крепко друг за друга, чтобы острожная тайна хранилась свято, и с врагом арестантства не было никаких связей. Поэтому всякая измена арестантству и всякий донос начальству подлежат самому беспощадному суду общины и грозной каре. Всякого нарушающего общественный интерес, всякого изменника и шпиона арестантство призывает пред лицо общины и судит его на своей сходке. И страшны, и грозны бывают эти сходки взволнованной и неукротимой общины. Арестантство кипит гневом и бушует как море: наморщены грозные лица, раздаются крики негодования, взрывы угроз и мести; иногда даже выхватываются ножи... Пред таким ареопагом (46) предстает преступник. Грозные обвинения и улики сыплются на него обвинителями; часто без оправданий он сваливается на пол сильными ударами, и затем начинается бойня: его бьют все разом страшно, бесчеловечно. Если такого преступника не кончают сразу, то он захворает и умрет после. Наказанный не только не смеет жаловаться, но он даже не смеет идти в больницу, чтобы не обнаружить своих судей; избитый, он беспрекословно ползет под нары. Таков террор этой общины. Арестантство не затрудняется наказать шпиона и изменника даже и в том случае, если он находится под защитой и охраной начальства: его незаметно столкнут с лестницы, избьют в темноте, пустят в него из-за угла кирпичом, накроют *темной*, наконец, умудрятся измять и перевернуть все внутренности без всяких следов на теле. Смерть шпионов – вещь обыденная в наших острогах. Доносчики на арестантов обыкновенно просят, чтобы их отсаживали отдельно, но приговор острожного трибунала не минет их нигде; бывали случаи, что шпиону мстили уже последующие поколения арестантов, так же как иногда ушедшего в партии шпиона преследовали в другом остроге. Ввиду таких строгих преследований, нет хуже обвинений в арестантской среде, как донос, нет более гнусного греха, как шпионство за своими товарищами.

Подозрение в «музыке», как называют арестанты это преступление, наводит ужас на обвиняемого. По острожному и ссыльно-бродяжескому кодексу оно равносильно убийству. На самой низкой степени падения люди сохранили достаточно нравственного чувства, чтобы такое явление считать насколько же противочеловечным, как и отвратительным. Создавши свой суд, арестантство таким образом гарантировало себе безопасность всевозможных занятий и ненарушимость тайны острога. Вместе с тем та же община выполняет и полицейские функции; она заботится сама о ненарушении порядка и в крайних случаях употребляет свою власть и вмешательство. Всякие кражи, грабежи и обиды разыскиваются самой общиной или камерой обиженного; все буйства и драки прекращаются самими арестантами; таким образом, в хорошо организованных острожных и каторжных общинах начальство избавлено от всяких жалоб и претензий, которые иначе ему пришлось бы разбирать тысячами; суд общины вполне заменяет его.

Обеспечив себе невмешательство начальства и свободную, безопасную жизнь своим членам, община занялась устройством повинностей, обязанностей и налогов. Известно, что в каждом остроге существуют, кроме обыкновенных работ, работы и службы общественные, состоящие в чистке двора, содержании в чистоте острога, коридоров, камер, ретирадных, в исполнении обязанностей хлебопеков, квасников, поваров, водовозов, служителей при больнице, при секретных и т. д. Такие повинности, конечно, должны падать равномерно на всех и исполняться по очереди; но в общине всегда находится много людей неспособных, неумелых, ленивых, строптивых, общественная служба которых может принести больше вреда, чем пользы. Для повара, хлебопека, квасника требуется меньше, для многих физических работ — сила; потому, налагая насильно на кого-либо такие обязанности, чтобы соблюсти очередь, можно было бы остаться без пищи, без воды, без дров и услуг.

Понимая это, община предпочла натуральную повинность заменить денежной. Каждый, входящий в острог, обязан денежной податью. Этот налог распределяется равномерно, смотря по сословию, к которому на воле принадлежал арестант. Бродяги платят в артель 30 коп., поселенцы 75 коп., крестьяне и мещане 1 руб. 50 коп., с купцов и дворян берут 2 и 3 руб.¹ Из таких взносов накапливается сумма для содержания общественных должностных лиц и для найма из арестантов поваров, водовозов, квасников, хлебопеков и другой прислуги, необходимой общине. Натуральная повинность явилась обязательной только в некоторых исключительных случаях, например, в общих работах, где нужны усилия всего острога, или в таких службах, за которые денежного награждения давать не стоило, — дневальных, дежурных по камерам, службы которых выполняются по очереди. Наем и денежная повинность, допущенные в демократической и равноправной острожной общине, были полезны тем, что внесли разделение труда в остроге, вознаграждение за труд и не обременяли остальных арестантов обязанностями в противность их силам и способностям. Верный инстинкт общины здесь превосходно разрешил один из практических вопросов жизни. Взявши на себя распределение повинностей, острожная община взяла на себя и управление всеми хозяйственными и финансовыми делами острога; для этого она выбрала своих агентов и свои органы. Для наблюдения за кухней и пищей, за порядком раздачи хлеба, порций и подаваний, для распределения работ и повинностей, для ведения расчетов по взносам и расходам общины, так же, как и для представительства пред начальством, каждая арестантская община выбирает старосту и писаря. Староста является столь удобным и необходимым членом

¹ Цены взноса изменяются в разных острогах, смотря по населению; на свободные сословия налагается всегда больше, чем на поселенцев и бродяг; бродяги пользуются особой привилегией и платят иногда до 9 копеек.

в организации острожной общины, что его существование признано даже самим начальством. Поэтому в каждой арестантской общине, где бы она ни была, – в остроге, в дороге, на этапе, в обширной каторге и миниатюрной чижовке, всегда выбирается староста. Он – представитель исполнительной власти во всех арестантских делах; он же – доверенный и адвокат арестантских интересов пред лицом начальства. Должность эта выборная, и избранное лицо несет ее до тех пор, пока ему доверяет община. За все свои действия он отдает отчет общине, которая во всякое время может сместить его и заменить другим; за действия же общины он не ответствен и служит только исполнителем ее приговоров. Он не управляет, но сам подчиняется ей, и где является сходка и община, там авторитет его стушевывается. Во внутренней жизни острога он скорее экономай, казначей и рассыльный общины, чем правительственная власть. Он бегае в фартуке (единственном атрибуте его власти) за смотрителем при выдаче провизии, смотрит за поварами, делит подаяние, собирае подати, указывает очередь на работы, но не вмешиваетс во внутреннюю жизнь арестантов, даже в виде полицейской власти. На руках старосты хранитс касса и прихода-расходная книга острога, для ведения которой он имеет помощника – писаря. За общественную службу этим лицам община полагает жалованье; так, в нашем остроге платили старосте 3 руб. в месяц или сапоги, а писарю давалс 1 руб. ежемесячно. При исполнении должности старосты требуется, конечно, большая опытность, проворство, преданность арестантскому делу и умение ладить с начальством; поэтому в старосты обыкновенно выбираются люди умные, сметливые и опытные. В ссыльно-бродяжеской общине всегда выбор падает на старых каторжных, этих знатоков арестантских обычаев и людей, преданных по гроб арестантству; большей частью – это люди самые даровитые и авторитетные из всей среды. Но редкий из них, по арестантской привыч-

ке, сохранял в целости артельные арестантские деньги: истратит их на себя – и делу конец; они – превосходные хозяева, организаторы, но плохие казначеи.

Но нигде в такой степени не проявлялась инициатива общины, как в деле устройства майданов, снабжающих арестантов табаком, чаем, сахаром, съестными припасами, вином и картами. Необходимость этих припасов для арестантов очевидна, и потому всякая острожная община покровительствует возникновению майданов. Но так как майданы открываются почти всегда ростовщиками и капиталистами из арестантов, которые, во-первых, стараются всеми средствами монополизировать все наиболее выгодные отрасли торговли, как-то: вино, карты и табак; а во-вторых, прикрываясь трудностью получения в остроге запретных продуктов, страшно повышают на них цены и лихоимствуют, то острожная община, во избежание торгашеской эксплуатации своих членов, объявила майдан общественной собственностью, взяла на себя право дозволить и не дозволить открытие майдана, смотря по его пользе. Она воспользовалась конкуренцией майданщиков и установила отдачу его с торгов; наконец, что важнее всего, плату за пользование майданом, установленную общиной, обратила в артельную собственность. Майдан сдается с торгов в каждом большом и правильно организованном остроге; у нас он сдавался, например, от 30 до 40 руб. в месяц со взносом, конечно, в артель. Кроме того, в случае нужды община могла отнять майдан и передать другому майданщику точно так же, как могла назначить за него высший взнос, смотря по доходам майдана и сообразно интересам общества. При отдаче майдана община объявляла, какие товары обязан иметь майданщик, на что он получал монополию, на что нет. Так, он должен был иметь во всякое время карты, вино, калачи, чай, сахар, табак и папиросы. Монополия большей частью предоставляется лишь на карты и вино, иногда и на табак, но

иногда вино изымается от монополии так же, как какой-нибудь из товаров сдается на откуп другому лицу. Кроме того, ссыльно-бродяжеская община налагает на майдан и другие условия – так, например, обязывает открыть бродягам и неимущим арестантам кредит на полтора рубля. При передаче и прекращении пользования майданом заведен обычай в каторжных общинах квитать долги с подрядчиком, более покровительствуя несостоятельным членам, чем ему. Таким путем острожная община старалась обложить своих кабачников и торгашей самым суровым налогом и самыми строгими условиями и тем убить в корне торгашескую монополию и злоупотребления. Всякий лишний процент, взятый майданщиком с бедного арестанта, она признавала самым бессовестным налогом на него и считала долгом, в виде налога на майдан, возвращать его в общую кассу арестантства.

Таким образом, то, чего добивались другие общества созданием *потребительных ассоциаций* и общественных лавок, арестантская община создала у себя простым здравым смыслом русского простолюдина.

Но, кроме суда, администрации, податей и майдана, острожная община создала самое солидное учреждение – общественную кассу, приспособленную к особому употреблению. Эта касса составлялась из сборов, вносимых арестантами из подаяний, из сумм, платимых за майдан, и из всевозможных источников дохода. По важности своего значения касса составлялась из последних грошей арестантов. В ссыльной общине эта касса, кроме содержания старосты, писаря и служителей острога, имела особый расход, который шел, главный образом, на палача и на смягчение приговоров. Расход этот вызван был тяжелыми условиями ссыльно-арестантской жизни в прежнее время и выработан долгим арестантским опытом, как и изучением тех обстоятельств, от которых зависела судьба всякого подсудимого, ссыльного и каторжного арестанта. Много-

численный опыт судившихся и судящихся арестантов давал им надлежащие сведения о чиновниках и писарях низших судов; знакомства с писарями и с чиновниками полиции, вроде письмоводителей, квартальных и других, заводились весьма легко и доходили до интимности; поэтому наблюдение за своим процессом и получение надлежащих сведений чрез писарей судейских канцелярий и полиций было весьма обыкновенным делом в ссыльных острогах старого времени. Пятачки, гривеннички, двугривеннички отправлялись из арестантских карманов в карманы писцов в земских судах и полициях; но не всегда можно было ограничиться такой мизерной благодарностью; в таком случае являлась на помощь артельная касса. Писцы не оставались в долгу, и в арестантских делах являлись, конечно, незначительные подчистки, поправки, дополнения задним числом, иногда утеривались листы показаний и т. п.; также получались инструкции, как давать показания, как лучше вывернуться и т. д. Но процесс окончен, наказание назначено и весьма тяжелое; надо обратиться к исполнителю – к палачу. Самый последний арестант отдавал последние скопленные гроши на умилоствление грозного исполнителя кары; бывали случаи, что для этого необходимого расхода, который носил простое, но многозначительное название «на рогожку», бедный арестант продавал свой крест. Но далеко не всякий мог приобрести или скопить необходимую на подкуп сумму; тогда братская артель острога считала обязанностью помогать каждому бедняку, идущему под кнут, выдавая ему необходимую сумму из общественной кассы перед выполнением приговора (в нашем остроге каждому идущему к наказанию артель выдавала рубль). Кроме этих единовременных взносов, община платила палачу определенное содержание. Палач, получающий от казны всего 3 руб. в месяц на прокормление, был, конечно, таким же бедняком, как и все арестанты; поэтому склонить его на сделку было не-

трудно, и в каждом значительном остроге палач состоял на откупе у арестантов. Община давала ему от 6 до 10 руб. в месяц, кроме разных подарков и экипировки. В расходах на палача община не жалела денег, ценя всякие расходы ни во что перед человеческим страданием; палачи же, в свою очередь, знали свою силу и свое значение в остроге и потому не стеснялись обирать арестантов. Кроме жалованья, они не только поглощали бездну денег, но требовали постоянно подарков и разоряли арестантов на свои прихоти. Требуя себе одежды, палачи часто получали не только сапоги, шапки, полушубки щегольского вида, но даже пары дорогого немецкого платья; на арестантский счет они содержали любовниц, пили вино и кутили напропалую. Палач, приходя из полиции в острог, являлся самым почетным гостем: он спаивался вином и угощался всевозможными лакомствами на счет артели; майданщик открывал для него весь свой майдан. Понятно, что это был самый значительный, самый тяжелый и самый разорительный налог на всю арестантскую артель; но, неся эту фатальную подать и примиряясь с ней, арестантство требовало от палача обратной услуги. Исполняя приговор над арестантом, он обязан был жалеть его, не бить жестоко, в противном случае лишался всякой арестантской субсидии, и община прерывала с ним сношения. Всю ответственность пред начальством за легкое наказание он должен был нести на себе и не выдавать арестантов ни при каких обстоятельствах. А ответственность была немалая и для палача, так как за легкое и притворное наказание его взбучивали палками и розгами. Самопожертвование, на которое в этом случае обрекали себя палачи, конечно, в свою очередь, не вознаграждалось никакими деньгами. Подвергая себя сплошь и рядом наказаниям, старые палачи сослужили верную службу арестантской общине. Они скоро усовершенствовались до того, что создали искусство бить только для вида, и с помощью фокусов производили опти-

ческий обман для глаз наблюдателей. Известны рассказы о палачах, которые, подобно индийским фокусникам, разбивали на спине лист бумаги, не рассекая кожи. Бывали, однако ж, и такие случаи, что палач вымогал у общины непомерные субсидии или не исполнял ее условий и начинал крепко наказывать арестантов. Происходила ссора и разрыв с ним. Тогда начиналась жестокая борьба; палач озлоблялся, мстил и высекал у арестантов требуемый налог, а арестантство, не поддаваясь хищническим претензиям, крепко стояло на своем и, терпя истязания, силилось сломить и покорить палача своим терпением. Решившись дружно нести истязания, не поддаваться на условия палача и не платить ему ничего, арестантство заставляло палачей идти на сделку с собой и соглашаться на условия общины. Палач, таким образом, пасовал перед силой и мужеством арестантского тела: руки его немели пред силой общины и, подкупленный артелью, этот враг и мучитель арестантов становился другом, защитником своей жертвы и союзником арестантства.

Но влияние общины этим еще не ограничивалось: не было случая, где бы она не являлась предупредительным опекуном, попечителем и помощником самому бедному и задавленному своему члену; она оказывала ему массу разных услуг при помощи своего знания, доставляла ему советников, учителей-юристов и соучастников. Известно, как важны для подсудимого арестанта знания уголовных законов и всевозможных лазеек во время судебного процесса. Это знание иногда давало возможность избавиться от каторги, плетей – могло вывести из вечной могилы-тюрьмы снова на свет божий и иногда даже перенести с рудника на родные поля своей «Расеи». Поэтому понятно, как каждый арестант нуждался в таких сведениях и советах. Осторожная община в лице своих каторжных старейшин, в лице самых опытных и бывалых арестантов давала мудрые советы молодым и неопытным. Эти знания были возведены

у арестантства в науку, и эта наука была плодом долгого изучения, результатом сотен следствий и уголовных процессов, испытанных разными бродягами и каторжными, – результатом горьких, тяжелых опытов боровшегося и рисковавшего судьбой своей арестантства. Но не одни советы опытных простолюдинов-арестантов могла давать подсудимому эта община: на помощь ему являлись самые знающие теоретики и практики-юристы, умудренные опытом приказные и поседевшие юсы канцелярий, изучившие все лазейки Свода, – разные писари, подсудимые и ссыльные чиновники, которые в новую среду свою внесли весь свой жизненный опыт, все знание и всю подноготную судейского и канцелярского дела. Все эти учителя научали арестанта, как вести себя во время процесса, как делать показания и как его выиграть. В то же время собратья-арестанты давали подсудимому новое имя и звание, а также и необходимые сведения, чтобы показаться на другое лицо, под именем которого арестант и бродяга изменял свою участь к лучшему¹. Но при случае крайности та же община действовала еще радикальнее в спасении своих членов. В случае совершенной безнадежности она давала средства своим собратьям совершенно избавиться от наказания побегом. Побег, разве в самых редких случаях, совершался без ведома арестантства, и можно сказать положительно, что он не может быть совершен, если этого не пожелает община и если, в данную минуту, он повредит общему арестантскому интересу. Но другое дело, когда он вызывается необходимостью и опасностью собрата и возбуждает естественное арестантское сочувствие. Тогда община, считая его, по своим убеждениям, *законным*, не только не препятствует ему, но, верная арестантскому интересу и принципу взаимной помощи, дает и свои услуги, и средства для его осуществления. Собратья-арестанты посадят бегущего

¹ Такой обмен именами между собой или изыскание личностей, под именем которых можно явиться, были постоянно целью бродяжеских процессов.

через стену, спустят через отверстие ретирада, вывезут в бочке с нечистотами в поле (побеги в *параши* особенно часто употребляются арестантами), отвлекут внимание часовых в другую сторону, собьют поверку во время тревоги, так что караул станет вне возможности узнать, все ли налицо и кого нет (это делается перебеганием из камеры в камеру, подделкой чучел, подменой людей и т. д.), оттянут время розысков или направят их в другую сторону. Наконец, при общем содействии побеги устраиваются таким образом, что начальство не может открыть даже путей, какими ушел арестант, так же как не может хватиться бегжавшего очень долгое время¹. Такая загадочность и тайна побегов создала у нас в народе целые мифы о чародейских и волшебных побегах многих знаменитых разбойников и преступников с помощью чашки воды, нарисованной лодки и тому подобного, которые между тем объяснились просто таинственной помощью арестантской общины. Общий уговор и взаимная помощь, конечно, имели еще более значения при общих побегах. Таким образом, вследствие заговора разбежались с заводов десятки каторжных по одному крику в разные стороны, так что конвою не было возможности пуститься в погоню и приходилось ограничиваться спешной и неудачной стрельбой. Точно так же разбежались целые сибирские партии. Как продукт общего заговора и содействия, мы можем отнести сюда же побеги с помощью подкопов, веденных всеми сообща, причем воздвигались гигантские земляные работы, преодолевались непреодолимые препятствия, и убегали целые остроги.

¹ Как образчик таких побегов, мы не можем не представить здесь характеристический случай, бывший у нас в остроге. Этот побег был произведен во время общих арестантских работ в городе. Беглец имел под арестантской одеждой обыкновенный мещанский костюм. В то время, когда начались работы, арестанты отвлекли часовых притворной ссорой; пользуясь этим, беглец снял арестантский халат, вышел на дорогу и пошел спокойно мимо часовых. Арестанты кинулись к нему, как к вольному прохожему, просить подаяния, но часовые отогнали этого благотворителя. Таким образом, арестант ушел по воле часовых, и конвой никак не мог догадаться, как он исчез.

Подобные заговоры, взаимная поддержка и общие усилия обуславливали всегда успех всех арестантских предприятий и давали такую силу и мощь арестантству, что оно выставляло самые изумительные примеры храбрости, отваги и изобретательности. В минуту самых горьких бедствий арестантство крепко держалось друг за друга, и не было случая, где бы общая помощь ни приходила для спасения, для доставления лучшей участи и, наконец, желанной свободы арестанту. Осторожная община не только заботилась о своем члене в среде своей, но она даже не переставала покровительствовать ему и тогда, когда он оставлял эту общину и отдалялся от нее; она помогала собрату, шел ли он в ссылку или выпускался на свободу.

Арестантская община знает по горькому опыту, что арестанту не от кого ожидать помощи в жизни. Она знает ту скудную казенную дозу попечений, на которую может рассчитывать лишенный всех гражданских прав преступник, знает формальное достоинство общественной благотворительности, повинующейся более капризу и случайности, чем нуждам арестантства, которые незримы и неслышны; она знает и всю тяжесть высокомерного милосердия, а поэтому мало рассчитывает на них. Но вместе с тем арестантство знает и про тяжелую арестантскую нужду, которую приходится переносить на дальнем пути сибирской дороги; оно знает и про ту пресловутую *свободу*, которой должен воспользоваться выпущенный острожник, а в особенности ссыльный, которому готовится на чуждой стороне нищенская жизнь, общественное презрение, клеймо «варнака» и, может быть, новое преступление и новое «несчастье». Поэтому община не оставляет без своей помощи ни выпускаемого из острога, ни идущего в ссылку. По некоторым сибирским острогам община установила обычай давать выпускаемому из общей кассы единовременную помощь на первое время. Как ни незначительная подобная помощь, иногда в несколько гривенников, но для нищего и такое вспоможение

важно¹. Бывали случаи, что за отобранием казенного платья выпускаемый из острога должен был выходить на волю совершенно оборванный. Некоторые обнищавшие и бесприютные поселенцы в Сибири, изнывая от голода и холода, просили как милости, чтобы их приняли обратно в острог.

Положение отправляющегося в партии на завод или каторгу нищего арестанта – самое незавидное: в рубище и впроголодь он должен идти *поневоле*, безотлагательно, иногда в жестокую зиму, тысячи верст назначенного пути. Оно всегда вызывает сочувствие общины. Сколько участия, предупредительности и братских забот выпадает на долю несчастного бродяги со стороны его собратий и друзей по общине, таких же нищих, как он, так же не имеющих ничего, кроме лохмотьев да горького будущего. Всякий несет ему, что может: кто тащит старые сапоги и рукавицы, кто лишнюю изодранную рубаху, кто старый бродяжеский мешок, тот подкандальники; этот делится табаком; другие суют ему за пазуху ломти хлеба, и даже большой товарищ навязывает ему свой больничный паек булки.

– Братцы, други!.. – говорит растроганный и потрясенный этим участием арестант, этот старый каторжный, из железной груди которого давно никакие муки не вырывали стона, в сердце которого убито всякое чувство жалости, а несчастья заставили проклясть всякую любовь к людям, и он размягчился. Старое, забытое чувство охватило его; что-то сокровенное, святое встало из озлобленной души, согрело и осветило этот миг прощанья. И он почувствовал и всю силу любви, связывавшей его с общиной этих несчастных, как он сам, и всю силу грусти, расставаясь с ними.

– Прощайте, братцы! Приведет ли Бог еще видеться... – говорит в раздумье ссыльный арестант, прощаясь с друзьями.

¹ Замечательно, что и в этом случае старая арестантская община предупредила мысль о необходимости денежного запаса выпускаемому – мысль, осуществляемую новыми тюрьмами при помощи накопленного заработка и патронажа труду арестанта, выпущенного на волю.

– Увидимся, увидимся, дружище; Бог приведет еще и в Расею идти и *саватеек пострелять* (47) вместе, – говорят ему собратья-бродяги, закрепляя прощанье лозунгом их бродяжеско-поселенческой жизни. И в самом деле, благодаря фатальной судьбе русского ссыльного и бродяги многим и многим из них еще придется встретиться. Бесчисленное количество ссыльного люда с заводов и каторг, с мест водворения и поселения, погоревавши на чужой стороне, под влиянием отвращения к месту ссылки, под влиянием влечения к родине снова уйдут в бега или, под тяжестью нужды и преступления, придут к стенам того же острога, который станет их неизбежным уделом в заколдованном кругу их несчастной жизни. Часто в глухую осеннюю ночь, посреди вьюги и снега, около сибирских острогов слышатся крики: «Караул! Караул! Спасите!» Кто же это? Это бродяги, кончившие летнее странствие, полузамерзшие, оконечелые, голодные, просят убежища в единственном приюте своем – остроге. И куда же, в самом деле, идти этому несчастному и гонимому, которого преступление лишило навсегда родины и не дало ни сил, ни всеобъемлемости сердца, чтобы привязаться к чуждому отечеству? Где найти ему место, к чему прилепиться, как не к семье таких же несчастных? И вот эта община снова явилась его приютом, куда он принес свое горе, свою исповедь и раны наболевшего сердца. Эта община собратий становится ему матерью, у которой на груди он хоть на время успокоит и залечит свою буйную искалеченную голову.

IX.

Борьба общины и бунты старого острога

Раз возведя крепкое и замкнутое здание своей общины со всеми ее учреждениями, арестантство естественно должно было оградить его от всяких внешних вторжений,

от нарушений его порядков и установлений, как и от всякого постороннего вмешательства, чтобы сделать его наиболее прочным и продолжительным, а не временным и мимолетным. Не столько трудно было установить известный порядок, сколько удержать его и защитить от всяких невыгодных для арестантства изменений.

Для этого всякой осторожной общине приходилось стоять каждую минуту на страже, ревниво охраняя свои льготы в продолжение целых десятков лет из поколения в поколение, и бороться против всевозможных покушений на целостность ее учреждений. Совершая это дело, осторожная община выказала все свое коллективное могущество, весь свой ум, всю энергию и настойчивость. Менялась ее обстановка, изменялись десятки начальников, применялись самые суровые и разнообразные меры, но арестантство стояло крепко и сумело сохранить права своей общины и установить прочные и твердые отношения к тюремным формальностям и начальству. На эту-то борьбу общин мы и должны обратить теперь свое внимание.

Но прежде, чем станем описывать эту борьбу, посмотрим на тех допотопных смотрителей тюрем старого порядка, с которыми арестантству приходилось иметь дело; рассмотрим все недостатки их управления.

Смотрителями в остроги, по большей части, назначали мелких полицейских чиновников и квартальных надзирателей, из отставных военных офицеров и так называемых *благонадежных* унтер-офицеров. Каждый из этих смотрителей имел свой тип, свою систему обхождения с арестантами; все слабости его характера до тонкости изучались арестантами, которые умели всегда воспользоваться ими в свою пользу. Полицейских чиновников назначали в смотрители, имея в виду их знакомство с преступниками, военных – за их распорядительность и энергию; но компетентность полицейских чиновников далеко не оправдывалась, так же, как энергия и распорядительность смотрите-

лей из военных не приводила к цели. Это был народ почти без всякого образования, и отличался от прочего мелкого канцелярского люда только полицейским талантом – энергически требовать выполнения своих приказаний. Часто грубые по натуре, любившие осуществлять приказания силой, эти смотрители внушали арестантам затаенную ненависть к себе и вызывали явную оппозицию. Вышедши из писарей – военных или гражданских, – а нередко из солдат, они не вынесли ничего, кроме грубого эмпиризма, к какому способен неразвитый ум; невежественные, жестокие сердцем, как они могли влиять на арестантов! О нравственном влиянии, о воспитании арестанта, о смягчении и восстановлении преступника тут не могло быть и речи. Воззрение на арестанта как на злодея, свойственное невежеству, одно руководило ими и заставляло их прибегать к розгам и кандалам при самых незначительных проступках арестанта. Под влиянием таких мер арестант делался зверем; каждым своим шагом он старался протестовать против приказаний и запрещений начальства и искал случая чем-нибудь досадить ему, не щадя себя. Рядом с этим употреблялись все средства, чтобы перехитрить смотрителя, обмануть его надзор и достичь того времяпрепровождения и той независимости, какую хотели приобрести арестанты. Всякий поступок, выводивший из себя смотрителя, доставлял арестантам удовольствие. Скоро нарушения порядка входили в привычку острога. Строгий смотритель, видя, что при всех усилиях он не в состоянии искоренить зла, первый опускал руки и начинал смотреть на все сквозь пальцы. Перепробовав все *«энергические мотивы»*, он приходил только к такому заключению, что с *«злодеями ничего нельзя поделать!»*

Более мягкий характер смотрителей и их компромиссы с арестантами также мало вели к цели. За одним компромиссом следовал другой, третий, четвертый, и, приученные к уступкам арестанты, наконец, добивались

всего, что им требовалось. Они быстро овладевали всем механизмом острога, всеми льготами, и смотрителю только оставалось примириться с обширностью зла, с которым он не был в силах справиться. Но самое главное, в чем состоял недостаток и слабая струнка смотрителей и чем, обыкновенно, ловко пользовались арестанты, – это склонность прежних чиновников острога пользоваться разными источниками дохода, экономиями и поборами с арестантов. Смотритель, человек с маленьким жалованьем, иногда обремененный семьей, мелкий канцелярист без всяких убеждений и стойких понятий о честности, так как в среде квартальных и писарей трудно было воспитать в себе эти чувства, соблазнялся большими доходами острогов и легко подкупался арестантами.

Источники доходов приискивались более или менее энергично и остроумно, а дело управления острогом и дисциплинирование арестанта отодвигалось на задний план. Смотрители всегда экономили на арестантском кушанье, свечах, дровах, одежде и прочем. За все это арестантству обеспечивалось право водворять свои вольности. Этим одним не ограничивались доходы смотрителя: всякий майдан, торговец вином, картами и табаком были обложены особым сбором в его пользу; так, с майданщика, даже в небольших острогах, смотрители брали по 30 и 40 руб. в месяц. В громадных пересыльных тюрьмах сбор этот повышался, сообразно доходу, до сотен рублей. Смотрители брали деньги с заключенных за дозволение свидания с родственниками и знакомыми; иные брались за определенную плату адвокатствовать за арестантов в судах и пересыльных экспедициях. Где же при таких условиях заботиться об искоренении беспорядков! Если же чиновничество пасовало перед силой и хитростью арестантов и, привлеченное выгодами, сдавалось на подкуп, то что же и говорить о смотрителях, вышедших из «благонадежных унтер-офицеров!» Они составляли всегда низший тип смо-

трителей острогов; если смотрители с чинами внушали еще некоторый авторитет своим званием и держали себя на некоторой высоте, и даже, вступая с арестантами в стачку, не допускали отнюдь побратимства с ними, то «благонадежные унтер-офицеры», в качестве смотрителей, не могли действовать и таким авторитетом. У них были два приема в отношении арестантов: или они старались внушить к себе уважение палкой и площадной бранью, или напоминали о своем авторитете сбором в свою пользу разных пятаков в виде штрафов, причем арестанты могли откупаться от всякой вины. Доходы их были, впрочем, не велики и не замысловаты; так они иногда конфисковали табак и возвращали его, когда им давали пятак; то же делали и с водкой. При установлении мирных отношений «благонадежный унтер-офицер» уже не мог удержаться на высоте своего палочного авторитета; он пускался в закадычную дружбу с арестантом, в побратимство и окончательно утрачивал свой авторитет и свое влияние. «Благонадежный унтер-офицер» по уму, развитию и привычкам был на уровне того же простого человека-арестанта и выше солдатской кордегардии он подняться не мог.

Если такие унтер-офицеры назначались в обширные губернские остроги с сотнями причудливого, артистического и продувного арестантства, уровень развития которого превышал все способности унтер-офицера, то можно представить себе, какую жалкую роль играл он здесь; арестанты надували его на каждом шагу, добивались своего и брали острог в свои руки.

В своей борьбе арестантство опиралось не столько на естественный инстинкт свободы, сколько на традицию ранее сложившегося порядка, так как у арестантства было уже давно санкционированное временем и обычаем право на жизнь своей общины. Раз допущенные начальством, волей или неволей, вольности острога арестантство стало считать своим законным правом, которым стало дорожить

и на отнятие которого смотрело как на явную несправедливость. В убеждение арестантов вошло, что это должно быть *так*: иначе почему же все это допускалось прежде, и почему вдруг стало непозволительным? Почему прежде можно было так жить, а теперь нельзя? Наконец, арестант, руководясь обширными примерами, опытом и стариной, видел, что везде, по всем тюрьмам допускались эти вольности; почему же в его тюрьме должны быть исключения, почему он один должен подвергаться лишениям и строгостям? К таким вопросам обыкновенно приходило арестантство, когда новое тюремное начальство или строгий смотритель, вознегодовавший на распушенность, пробовали обуздать острог и поставить его в строгие рамки устава, предписанного сводом постановлений. Под влиянием таких соображений все запрещения в глазах арестантов считались несправедливостью, прихотью и вынуждением поборов. Если к этому присоединить неумелость, бестолковые меры, пущенные в ход против арестантства, то мы поймем ту вражду и то ожесточенное сопротивление, какими охватывались арестанты против старых регламентаторов в деле тюремных порядков. Иногда самый малейший предлог, ничтожное ограничение производили самые неожиданные и необъяснимые взрывы всего населения острога. Часто самые скромные и добрые, но приверженные к формализму чиновники возбуждали больше ярости против себя, чем самые суровые, бессердечные смотрители, беспощадно тузившие арестантов, но позволявшие им известную свободу во внутренней жизни. Арестантство готово было перенести все, но не потерять своей *арестантской свободы*. Снося, с одной стороны, все несправедливости и лишения, арестанты мгновенно восставали против малейших ограничений прерогатив своей общины. В мелких уездных городах Сибири были остроги, где не давали арестантам ни одежды, ни пищи, где они ходили чуть не голые, нося скудное бродяжеское платье, где

жили впроголодь, без свечей и без дров; но они и не думали протестовать и мириться с своим положением, лишь бы не стесняли их в свободе жизни, в прогулках, майда-нах, в игре, контрабанде, а главное, в водке. Не то бывает, если при всей честности и аккуратности педантов-смотрителей в деле управления они вздумают вводить строгий устав, тогда немедленно следует протест, даже сопротивление всего острога. При прежних порядках арестанты приучены были к тому, чтобы во всем и всегда видеть один произвол смотрителей; смотрители для удобнейшего вымогательства взяток или из-за начальнического самолюбия словом и делом старались поселить в арестантах убеждение, что они все могут сделать и изменить радикально все порядки тюрьмы; о правилах и законе арестант обыкновенно не слышал; вследствие того и законные требования устава он начинал также считать за смотрительскую прихоть; считая свои требования законными, арестант обыкновенно протестовал и вызывал высшее начальство для жалобы; а когда ему говорили, что начальства не будет, он настойчиво требовал его. Явись начальство, укажи арестанту, чего *закон* от него требует, — и он бы охотно покорился; но у нас выходило наоборот: смотрители сами требования закона старались выдавать за свою личную власть, чтобы выказать свою силу. Вот разгадка тех протестов и бунтов, которые совершались в наших острогах по поводу самых законных поступков смотрителей. И в таких случаях арестанты действовали крепко и дружно, не выдавали никого, несмотря на самые суровые меры и страшные наказания. Прежде всего, арестантство старалось сбить ненавистного смотрителя. Всякие, до того сохранявшиеся сделки с ним прерывались; все, что сохранялось в тайне, что терпеливо сносилось, выходило наружу; вся деятельность смотрителя подлежала строгой оценке и учету. Опытное арестантство знало до мелочной подробности, что отпущалось на острог, на что

обязан был расходовать смотритель и что он удерживал в свои доходы, на чем экономил и где наживался; все это высчитывалось до последней копейки. А так как подобные грехи водились и за самыми строгими, распорядительными и исправными смотрителями старого острога, то арестанты всегда находили повод жаловаться. Острог мгновенно наполнялся кучей претензий по поводу дров, свечей, гнилой пищи, скверной муки, по поводу задержания платья, белья и т. п. То и дело арестанты подавали всевозможные жалобы стряпчим, прокурорам, директорам тюремного комитета и всяким властям, посещавшим острог¹. Вызывались для тайных аудиенций жандармские власти; самые ехидные прошения и доносы сыпались градом на голову смотрителя. В свою очередь, рассерженный смотритель еще настойчивее начинал искоренять малейшие нарушения правил: отнимался табак; строго преследовалась картежная игра; замки навешивались на камеры; арестантам давали меньше прогулок или совсем не выпускали их; за все проступки употреблялись самые суровые наказания; доносчики и коноводы тщательно разыскивались и проч. Часто смотрители доходили до неуместной придирчивости, до средств мести чисто противозаконных; так держали арестантов за замками целые дни, не выпускали их вовремя за нуждой, задерживали обед, пользовались пристрастно правом расправы за проступки и проч. Но как ни допекали арестантов, как ни допытывали их о зачинщиках и заговорщиках – ничего не узнавали. Арестанты спокойно лежали под розгами и не говорили ни слова; они несли наказания, но продолжали жалобы, подвохи и делали все наперекор смотрителям. Розги обсека-

¹ До какой степени единообразно и по одним законам происходила борьба арестантства, это свидетельствует даже борьба петербургского замка до 1868 г. Здесь арестанты долго сопротивлялись, употребляли покушение на смотрителей и тактику жалоб. (См. *Никитин В. Н. Жизнь заключенных. Обзор петербургских тюрем и относящихся до них узаконений и административных распоряжений.* СПб., 1871. С. 84–86).

лись об их тело; кандалы обнашивались; тайные карцеры обсиживались, а арестанты все стояли на своем. Но, вынося всевозможные наказания, арестанты не останавливались подводить мины под начальство. Если нельзя было допечь смотрителя претензиями, арестанты пускались на хитрости; они старались подвести смотрителя под дело, которое вызовет следствие над ним и подсудность. Если не находилось такого предлога под рукой, то надо было создать его, а изобретательность арестантства в этом случае была неистощима. Они обвиняли смотрителей преимущественно в участии в таких преступлениях, в которых играли роль и сами арестанты; таким образом, это дело было в руках обвинителей; например, обвиняли смотрителей и доносили, что они содействовали и поощряли в остроге производство фальшивых бумажек или способствовали скрытию краденых вещей. Так как и такие вещи бывали в старых острогах, то следствию трудно было отличить клевету от правды. Дело обделывалось ловко: нарочно попадался в деланьи фальшивой монеты какой-нибудь арестант; сначала он долго запирался, наконец, под угрозами, которые с простыми людьми в былое время нередко у нас употреблялись, сознавался и открывал в остроге целую организацию монетчиков и воров, а вся эта организация искусными показаниями выводила на свет самого смотрителя как руководителя всем этим делом. Для доказательства и для улик арестанты советовали сделать обыск в таких местах, как, например, цейхауз, ключи от которого в руках у смотрителя и куда арестанты не проникали. Следователи производили обыск и находили здесь и фальшивые деньги, и краски, и краденые вещи. Как арестанты умудрялись просунуть их сюда – это секрет их ловкости, но смотритель оказывался под судом. Но если ни жалобы, ни протесты, ни хитрости не помогали арестантам, если смотрителя не удавалось доехать никакими средствами, а он был слишком жесток и донимал арестантов наказания-

ми и утеснениями, то арестантство прибегало к самым решительным мерам: в него летел пущенный из-за угла кирпич или употреблялся в дело даже нож. Каторжные и осужденные без срока или на громадные сроки, которым уже хуже не могло быть, или люди, питающие личную ненависть к смотрителю, – такие явно выходили с ножом против смотрителей. Покушения на жизнь последних были нередки в старой истории острога, и не одна арестантская голова поплатилась за это жизнью. В самых крайних случаях прибегали даже к бунту целым острогом. Бунтов всего более боялись старые смотрители и тотчас же прибегали к посторонней помощи, иногда с намерением преувеличивая значение факта и представляя его желанием арестантов вырваться на волю, хотя сами хорошо знали, что весь этот бунт есть не что иное, как только желание арестантов или принудить смотрителя к отмене разных мер, или средство вызвать высшее начальство для принесения жалобы. Из этого выходили иногда самые плачевные последствия. История прежнего острога представляет много бунтов, которые, начинаясь с мелочей, разыгрывались потом весьма серьезно.

Мы приведем один пример такого бунта, бывшего в одном из больших острогов наших северо-восточных губерний. Этот бунт произошел вследствие запираания камер на замки. По взгляду начальства, протест против запираания был не более, как простой каприз испорченного и разнузданного арестантства, но арестанты на этот случай смотрели иначе. Нужно было принять во внимание ранее бывшие причины недовольства и убеждение арестантства, что такие меры произвольны, так как в большинстве острогов они жили без всяких замков, что в этом же самом остроге прежде никогда не было этого обыкновения, что, наконец, запор камер произошел в день первого дня Пасхи, т. е. в такой день, когда в самых строгих острогах вошло в обыкновение на три дня торжественного празд-

ника отворять камеры. Арестант ведь тоже желает иметь светлые дни в ряду черных дней его несчастья; он ждет этого светлого дня, ища в нем воспоминаний о потерянной свободе, ищет в нем отдыха от тоски; его наполняет в это время всепримиряющее религиозное чувство, и в самих людях в этот день он привык встречать братское участие к своему несчастью... И вдруг этот день у него отняли. Горькое чувство закипает в груди арестанта, и глубокой обидой ему кажется подобное недоверие к нему; в таком поступке он видит оскорбление его человечности и горькое несправедливое гонение на него, беззащитного. Немудрено, что должна была нахлынуть буря ненависти в этой давно терзаемой и давно озлобленной душе; трудно было не закипеть гневу, накопленному десятками лет. А проявление арестантского гнева бывает страшно и грандиозно. Когда загудят двери острогов, затрещат решетки, начнут рушиться нары и сотнями яростных глоток потребуют зрителя, то это одно может испугать хоть кого. Обыкновенно запертые арестанты требуют зрителей для объяснений, но в это-то время они и имеют бестактность не показываться и прятаться; это ведет к дальнейшим недоразумениям. Арестантам угрожают, бранят их, но это еще более разжигает страсти; арестанты в этих случаях начинают биться, как львы за своими решетками; народ приходит в ярость; рев и гром потрясает коридоры, и с железными болтами несокрушимые острожные двери вылетают, как щепки. Наконец, на арестантский шум выдвигается караул наружу, призывается военная команда. Тогда наступает окончательный разрыв. Торжественная и страшная минута наступила для острога. Молчаливо и грозно проходят ряды солдат по коридорам; тяжелые поднятые приклады, энергическая команда начальников – все указывает на безнадежность, на миг воцарилась тишина, какое-то тяжкое раздумье – и вдруг острог разразился криком: «Не выдавай, братцы! За нары!» – и пошла потеха.

Раздернуты крепкие нары; болты, бревна, плахи очутились в руках арестантов; воплем огласился острог, и началась кровавая свалка... Арестант бьется насмерть: ему нечего ожидать от победы, нечего ждать пощады в неудаче; отважные падают трупами; побежденных ждут плети и каторга, вожаков – расстрелянье.

Такими-то безутешными, кровавыми сценами иногда потрясался старый острог.

Х.

Лучшие стороны русской тюремной общины

Бунты были, однако, чрезвычайно редким явлением в тюремной жизни, и их можно было всегда устранить переговорами с общиной: всякая община, когда с ней мирно вели переговоры, была чрезвычайно довольна. В большинстве случаев общины острогов, раз достигнув известных льгот, начинали довольно спокойную жизнь, без всяких треволнений и катастроф, и даже устанавливали самые дружественные и патриархальные отношения к начальству. Там, где такие отношения утверждались, община являлась не только безопасной, но и представляла необыкновенные удобства для ее управления и приручения. Община, когда ее не затрагивают, тиха, как агнец. И это мы видим в особенности в тех острогах, где смотрители не вмешиваются во внутренние дела арестантов, а, следовательно, и не имеют поводов для неприятных столкновений с ними. Добрые отношения скоро утверждают за смотрителями привычку смотреть на арестантов человеколюбиво и снисходительно; многие из них свыкаются с арестантством, сближаются с ним, начинают сочувствовать его несчастью и принимают на себя защиту его интересов. При этих патримониальных отношениях бывали примеры, что

смотрители так соединяли себя с делом арестантства, что считали обязанностью ходатайствовать за него и облегчать как жизнь в остроге, так и судьбу арестантов вообще. Смотрители иногда адвокатствовали за арестантов в судах и полициях, влияли на смягчение телесных наказаний или следили, по крайней мере, чтобы тут не было излишних притеснений арестантству. Такая деятельность была самой благородной чертой и самой светлой стороной в управлении старых смотрителей.

С своей стороны, община сама берегла смотрителя, не допуская беспорядков и явных скандалов. Понявши, чего требовал формализм устава, она всегда старалась выполнять его для вида, тщательно скрывая внутреннюю жизнь свою. Перед приездом начальства, в случае обысков, сами арестанты приводили все в исправность и готовы были отвечать за все, выгораживая смотрителя. Довольно было к такой общине обратиться с предложением и убеждением, и она готова была слушать смотрителя, повиноваться и даже жертвовать иногда своими интересами. Вместо вмешательства в мелочи, вместо постоянной опеки, вместо приказаний, которых не слушали, или принуждений, которым сопротивлялись, достаточно было предложить что-либо общим добром, во имя ее же интересов, и совершенно положиться на ее здравый смысл. Такое дело было и проще, и выгоднее для обеих сторон.

Обыкновенно при таких порядках смотритель все управление предоставлял на ответственность общины, а сам брал на себя лишь распоряжение хозяйственной частью острога. Такие отношения между смотрителем и арестантством существовали в нашем остроге, где правил мирный, толстенький и добродушный смотритель, окруженный целым сонмом ребят и родственников.

Это был настоящий конституционный смотритель. Он не вмешивался в жизнь общины, никогда не употреблял жестоких взысканий и штрафов и, в случае беспорядков,

разве только добродушно бранил арестантов своей патриархальной поговоркой: «чтоб их подшибло», – да грозился кулаком. За все это острог добродушно звал его «карасем», любил его, позволял ему *экономить* и искренно приносил ему поздравление в те дни, когда бывал именинником он или кто-либо из его родных.

Таким образом, опытные и сжившиеся с арестантом смотрители всегда понимали, как надо вести себя, чтобы ужиться мирно и тихо с сильной и настойчивой арестантской общиной. С своей стороны, эта община, когда с ней обращались гуманно, всегда умела гарантировать наибольшее спокойствие острога и сама самым тщательным образом следила за внутренним порядком в остроге.

В самом деле, взглянув на русские, и особенно сибирские остроги, наполненные тысячами каторжных, ссыльных и преступников, нельзя не изумляться, как управляют ими и сдерживают их эти инвалиды и отставные патриархальные чиновники. Точно так же нас должны поразить удивлением и те тысячные партии, которые тянутся из года в год в ссылку и на рудники без всякого сопротивления, ограждаемые ничтожными отрядами, не разбивая ни острогов, ни своих рудников и заводов, хотя бы они могли исполнить это очень легко, если бы только захотели. Взгляните на партию, идущую за Байкалом к Нерчинску; взгляните, как растянулась она от станции до станции в совершенном разброде, с кандалами, спрятанными в мешки и влачимыми на плечах, с десятком убогих казаков, скорее тянущихся за партией, чем конвоирующих ее. Взгляните на заводы и каторжные остроги, где смиренно гуляет каторжное арестантство по своим дворам и, обогащенное в изобилии ножами, режет ими только черствые корки казенного хлеба. Думал ли кто, что удерживает этих людей? Какая сила покоряла их, какими пружинами владело начальство, удерживая и направляя арестантов по своему желанию! А между тем сила эта была

в складе и устройстве арестантской общины и, так сказать, в ее свойствах.

– Ребята, – говорил наш патриархальный смотритель бродягам и каторжным своего острога, – я не буду затворять на замки ваши камеры на эти дни Пасхи; условие одно: чтобы буйства, драки, дебошу, шуму и жалоб не было; чтобы все было смирно!

– Все будет тихо, отец, верьте нам! – гремит острожная община.

И действительно, лишь только разбухнет какой пьяный, лишь только кто съездит друг другу в зубы, лишь только где начнется потасовка, как арестанты мигом усмиряют сильными кулаками буйства, вяжут непокорных пьяных и соблюдают свято три дня обещанного спокойствия. И это выполняла не одна наша община: такой прием был употребляем в каждой тюрьме, в каждой каталажке. Да это и понятно: всякое общество дорабатывается до ограничения воли личности, если она переходит чрез меру; полиция само собой учреждается. Но договоры с арестантами бывали и гораздо шире.

– Братцы, – говорит сметливый офицер, конвоирующий под незначительным конвоем старых инвалидов партию каторжных к какому-либо пункту, – я сниму с вас оковы, чтобы дойти поскорее; даете ли слово, что никто не уйдет из вас?

– Все будет благополучно, верьте нам, ваше высокоблагородие! – гремит масса народа, поставившая целью жизни побег.

– Ладно, – говорит офицер, снимает с арестантов кандалы, и арестанты достигают благополучно все в целости назначенного пункта.

Никто и мысли не имел пуститься бежать; община решила – всем дойти исправно, – и никто не посмел подумать противиться такому решению. Чем больше уступок и льготы давали препровождаемым арестантам кон-

воирующие их начальники, тем больше они заботились о сохранении их интересов. Так, составилась договор у всего арестантства не бегать на этапах, где были снисходительные офицеры; под влиянием таких обязательств тянулись прежние каторжные партии с кандалами за плечами, рассыпаясь по всей дороге без всякого надзора; точно так же распускались люди для сбора подаяний, отлучались в соседние деревни, отпускались с заводов и из острогов под обязательством одного честного слова, – и все это выполнялось честно и свято.

Сама община в этих случаях была чрезвычайно ревнива к своим интересам и следила за своими членами, чтобы они верно выполняли обязательства. Некоторые из многих случаев и даже подвигов арестантской артели получили достаточную известность. Г-н Максимов, говоря об этапном препровождении в Сибири, заметил, что значительная часть смышленных этапных командиров давно усвоила эту систему взаимной поруки арестантов. Он приводит до четырех или до пяти случаев, когда артель бралась, за известные льготы, следить, чтобы никто не убежал во время препровождения, и всегда ревностно выполняла эту обязанность¹. Мало того: когда какой-нибудь отщепенец решался тайно от артели ускользнуть, то арестанты просились отпустить их на поиски, честным словом ручаясь воротиться. Смелые и попавшие в проруху офицеры иногда решались на этот риск – и что же? арестанты всегда приводили беглеца; бывало, что, за неимением настоящего, отыскивали какого-нибудь по пути бродягу и зачисляли за настоящего беглого. Такой, по-видимому, странный факт объяснялся, однако, очень просто. В большой артели арестантов далеко не всем выгодно бежать; напротив, большинство из них не имеет никакого интереса в побеге; одни имеют в виду отработать срок наказания, другие ссылаются на поселение, третьи по иным причи-

¹ Максимов С. Указ. соч. Ч. I. С. 64, 65, 73.

нам. Заинтересованных в побеге, таким образом, является очень мало; но и из этих известная часть во имя общей выгоды, артельной дружбы или вследствие мотива чести при обязательстве общины решается удержаться от этого; поэтому остается в артели может быть две, много – три личности, которые выказывают несогласие с артельным желанием, но за этими двумя-тремя людьми целой артели всегда легко уследить: она имеет их постоянно на примете, так как знает хорошо своих членов. Подобное ручательство артели, наконец, перешло понемногу совершенно в нравы арестантских партий. Они ручались за целостность партии, за предупреждение беспорядков и делали это при малейших облегчениях, за дозволение, например, купить водки, за лишний роздых во время пути, за дозволение купаться и т. п. Ссылные партии, очень опытные в этом деле, сами вызывались на круговую поруку при всех случаях, где они могут хоть что-нибудь выторговать; но доверием дорожат арестанты не всегда только ввиду какого-нибудь личного их интереса: им нравилось уже то, что им верят, признают их людьми, признают в них чувство чести, принимают их ручательство; это льстило их самолюбию, и они стремились посоперничать исправностью, блеснуть ею, показать начальству, что они достойны доверия и хоть преступники и арестанты, но способны на честные дела и на хорошие подвиги. Только бы затронут был у них этот мотив, – обеспечение являлось верное. Известны случаи, когда во время пожаров на этапах и в острогах начальник взывал к арестантам, требовал от них помощи, предоставляя им полную свободу в это время, и арестанты, обрадовавшись и возгордившись, что и им предоставляется сослужить полезную службу, совершить хорошее дело, кидались вперебой помогать в минуту опасности, вылезали из кожи, показывали чудеса храбрости и самопожертвования; ни один из них не думал даже воспользоваться суматохой для побега. Подобные случаи, как известно,

публиковались как неожиданные подвиги, а арестантам давались награды и сокращались сроки наказания; но мы тут не видим ничего необыкновенного и сверхъестественного: у арестантов как у людей, можно всегда затронуть эти мотивы. Большинство из них обладало естественными человеческими чувствами, благодарностью и чувством чести. Мало того: мы видим, что сами арестанты как будто напрашивались, чтобы в них признали эти чувства, и постоянно силились доказать, подтвердить их; и это было естественно, потому что от этого зависело признание их человеческого достоинства.

Идея договора, взаимного доверия и ручательства так свойственна натуре человека, что проникала даже и не в столь товарищески организованные общества, как ссыльные артели: опыты договоров и доверия удавались и в арестантских ротах. Нам рассказывали много подобных случаев; так, например, в одном из северных губернских городов, где находились арестантские роты, требовалась какая-то частная работа на заводе около города; прислали за арестантами, но начальник роты не мог отпустить арестантов, так как для людей недоставало конвоя; арестанты, близко заинтересованные заработком, начали уговаривать начальника, чтобы он, взяв немного солдат с собой, отправился сам с ними, и клялись, что не только никто не убежит, но даже и беспорядков не будет. Начальник согласился. Как только арестанты вышли за город в совершенном порядке, то они предложили даже некоторых солдат отпустить домой, так как солдатам этим решительно нечего делать. Начальник изумился:

– Но как же так? – спросил он.

– А так, ваше высокоблагородие: будьте уверены, все будет спокойно; дозвольте только артели после работ вина купить!

Начальник изумился, но решился попробовать, дозволив купить ведро после работы, конечно, на громадную

партию. Арестанты, таким образом, проработали совершенно спокойно до вечера и в полной наличности. В течение всего дня вышел только один казус: какой-то арестант стянул на кухне или в другом месте ковшик. Начальник предъявил это артели.

– Что же вы это, братцы, делаете? – обратился он к артели с упреком. – Я вора, так и быть, прошу, но пусть он отдаст ковшик.

Артель немедленно засуетилась, и через 5 минут ковшик был возвращен начальнику. Вечером, выпив по чарке водки, арестанты благополучно возвратились в город. С тех пор начальник готов был ручаться головой за свою роту. И таких примеров можно насчитать множество. Давно ли еще «Северная почта» публиковала, что на курско-харьковской железной дороге пять арестантских рот выполнили тяжкие работы под взаимной поручкой почти без побега (на пять рот было лишь два побега); но на каторге подобные примеры были делом обыденным. Если прежде существовало убеждение, что у нас и тюрьмы, и стражи находятся везде в порядке и в достаточном количестве, то ныне, как раскрыли обстоятельства, пришлось в этом разубедиться. Чем же сдерживались наши каторжные и заводские общины? Большинство каторжных работ только и держалось такими договорами. Можно положительно сказать, что общины наших каторг если не разбежались все сплошь, а производили работы иногда при самых трудных условиях, то только благодаря добровольному согласию артели и обоюдному ручательству. Начальство не могло не заметить могучего стимула в общественном духе и единстве общины и старалось направить весь общественный механизм по своему желанию. Снисходя арестантству, не возмущая его строгостями, облегчая по возможности его несчастья, действуя силой убеждения и выгоды, подкупая его доверием и обещаниями, оно добилось не только мирных сношений с ним, но даже могло заключать дого-

воры и получать гарантии их выполнения полным ручательством общины за каждого своего члена: арестанты выполняли эти договоры даже тогда, когда они шли наперекор личным их интересам. Связанный одним честным словом, арестант никогда не нарушал договора ни делом, ни словом. При выполнении своего слова каждый каторжный делается педантом, и это заметил еще Достоевский. «Честное варнацкое слово», как говорит г-н Максимов, в ходу у арестантов и много значит (48). Арестант – человек решительный, способный на подвиги: сомневаться в его слове значит сомневаться в его силе; он не понимает измены, как член общины, – и как член братского союза, презирает всякий обман и иезуитизм. Этот каторжный и отверженный человек глубоко дорожил всяким человеческим обхождением с ним и доверием к нему; это доверие было ему дорого, как признание его человеческого достоинства, и потому самые деликатные мотивы человеческого чувства были всегда доступны ему. За оказанную ему крупицу доверия он платил вдвое, и свою львиную силу клал к ногам хозяина, как мул.

Таким образом, мы приходим к заключению, что льготы и вольности старого острога и каторги были не столько плодом случайности и небрежности, как привыкли об этом думать, но скорее плодом необходимости, вызванной долгим опытом и делом благоразумия. Пусть не думают, будто уступки арестантству приносили вред; они выкупались безопасностью всего общества, а это что-нибудь да значит. Тюремный опыт доказал, что неуместные стеснения и ограничения человеческой свободы, употребление излишних строгостей могли вызывать лишь раздражение и восстание, и что, напротив, арестантская свобода была громоотводом опасности, спасением общества от худших бед, и что допущение льгот и облегчение жизни арестанта всегда более обеспечивало его смирение, его примирение с несчастьем и давало возможность направлять его дея-

тельность к лучшей цели. Что бы не проповедовали криминалисты, кто бы они не были, хоть даже пресловутые юристы Миттермайер и Блюнчли, с каких бы кафедр не раздавался их голос об усмирении и подавлении арестанта разными ограничениями, вроде содержания в клетках solitary Confinement, сколько бы не придумывалось новых утонченных наказаний, вроде английского «treadmill», или немецких «Krummschlissen»¹, едва ли кто поверит, будто это может служить действительным средством исправления преступника. В деле усмирения и исправления, как доказывает опыт, подобные средства были всего менее успешны. И если черствые теоретики еще продолжают утверждать это, то жизнь, опыт, человеческая природа докажут им, что только одно доверие, оказываемое арестанту, как человеку, гуманное обхождение и удовлетворение человеческих потребностей могут успокоить и усмирить арестанта, и что только они одни могут дать доступ к сердцу человека! К подобным выводам день ото дня уже приходит европейская наука.

К таким же выводам и результатам приводит нас жизнь русской тюремной общины. Значительные выгоды ее общественной организации, ее артельных учреждений, взаимности, братского вспомоществования друг другу – вот лучший плод наших тюремных опытов и результат нашей самобытной жизни. Начала, выработанные общиной, проливают свет не только на ее прошедшее, но и будущее.

С этой точки зрения можно сказать, что сами пороки и бурная жизнь общины, все ее ожесточение и борьба против уставов и тюремной регламентации могут дать нам самый поучительный урок. Борьба арестантов за ослабление тюремных стеснений является естественным законом в жизни всего арестантства, где бы оно ни

¹ Treadmill есть бесцельное вращение колеса, изобретенное в пенитенциариях в виде наказания, а «Krummschlissen» это – связыванье нижних конечностей тела с верхними на несколько часов, употребляемое в некоторых немецких тюрьмах.

было. Настойчивость, упорство и энергия, с которой вело ее арестантство, доказали, что никакие ограничения, никакие крутые меры и наказания не заставят человека отказать от удовлетворения естественным его потребностям; всякие стеснения вели лишь к изобретению средств обойти их и противодействовать им, в чем арестантство было неутомимо. Не было случая в деле тюремных порядков, чтобы арестантство, раз решившись на что-либо, не достигло своей цели. Вековой опыт наших тюрем с их суровыми дисциплинарными наказаниями, как и применение всевозможных строгих систем в Европе, приводили всегда к самым плачевным результатам. В таких тюрьмах при больших ограничениях развивалось лишь больше пороков и больше ожесточения у арестантства. Отсутствие труда в русских тюрьмах не остановило стремления к деятельности: явилась подпольная работа – делание фальшивой монеты, подделка паспортов и т. п. Природа человека при стеснениях могла проявиться только уродливым образом. И что же выходило в конце концов? Выходило то, что никакие тюремные замки и крепости, никакие запоры не сохраняли общество от вторжения в него преступников и никакие строгости не умирляли арестанта; напротив, сжимающая жизнь тюрьмы вызывала только больше побегов; ограничение нормальной человеческой жизни развивало пороки и ожесточение и дарило общество новыми рецидивистами. При старой системе наказания процесс патологического развития общественных болезней не прекращался, а только имел свой круговорот. Болезненные явления общественного организма, развивая преступления по большим городам, центрам промышленности, в скопищах бедности и пролетариата, концентрировались в острогах и каторгах, и из зараженных центров влияли снова на общество, разлагая здоровые части организма. Болезнь шла от периферии к центру тюрьмы и от центра обратно к периферии, отражаясь иногда в самых отдален-

ных частях государства и обнаруживаясь в таких местах, где ее не подозревали. Разбои разбегавшихся каторжников, фальшивые монетчики острогов отдавались по всей России, и ссыльные, под фальшивыми паспортами, проникали даже в чиновные сферы. Вся старая тюремная система с ее строгостями, как и ее криминалистика, были в этом случае лишь грубой медициной, вгонявшей болезнь внутрь неловкими лекарствами с тем, чтобы она снова возвратилась еще с большей силой; выпускаемые преступники платили за свои утеснения с процентами.

Таким образом, тюремный опыт доказывает, что только нормальная человеческая жизнь и отсутствие излишних стеснений сделают арестанта безвредным и дадут возможность влиять на него нравственно¹. Отсутствие вызывающих на преступление причин в остроге и гарантии, созданные взаимной порукой самой общины, прямо указывают на ненужность искусственных ограждений. В осуществимость всего этого заставляют нас верить факты из жизни существующей общины.

Но самый поучительный урок арестантская община дает в деле обуздания и перевоспитания личности. Обладая силой общественного авторитета, она побуждала личность сообразоваться в поступках с интересом общественного блага, дисциплинировала своих членов и заставляла их повиноваться правилам, созданным общественным мнением. Всего этого достигала она чисто нравственным влиянием на своих членов, воспитав их в принципе взаимности. Очевидно, что та же община, обладая теми же силами, при других условиях могла бы быть обращена к самой благотворной деятельности взаимного перевоспитания, так как при лучших условиях жизни ею могла бы быть усвоена более высокая нравственность, созданы вза-

¹ К излишним стеснениям мы относим все то, что мешает нормальным отправлениям жизни человека, т. е. всякое ограничение его в органических потребностях и препятствие проявлению его здоровых наклонностей и способностей – стеснение в движении, труде, пытка уединением и т. п.

имные обязательства и долг поддерживать общий интерес труда, спокойствия и взаимного счастья. Никто лучше не может покорить личность, как общество; никто лучше не повлияет на направление его деятельности; никто лучше не перевоспитает его, как общественное мнение. Точно так же ничто лучше не приведет его к сознанию правды и выгоды нравственных отношений, как личный опыт во время жизни в среде такой общины. Если до сих пор люди, сроднившись с общим каторжным интересом, страдали за него, если они до сих пор создавали свое общественное мнение, свою нравственность и свои средства самозащиты в острогах при самых враждебных условиях, то при других, лучших условиях представится более возможности развить такую нравственность и стремления, которые будут направлены к самым человеческим и благим целям; все дело, стало быть, в направлении имеющейся уже силы.

До сих пор все тюремные системы, проектируя тюремную дисциплину для арестанта, как-то: страх наказания, разные ограничения, чтобы удержать, дисциплинировать и перевоспитать арестанта, — не подумали о самом могущественном человеческом стимуле — об общем интересе, взаимных выгодах, взаимных обязательствах, которым всего естественнее подчиняться человеку, не подумали о неотразимом влиянии самой общины на отдельную личность силой своего общественного мнения. А между тем создание такого порядка могло бы разрешить весь тюремный вопрос. Общественная власть и мнение большинства есть самая лучшая сила обуздания личности, как общественная среда с общественными ее учреждениями — лучшая школа для нее. Мотивы сочувствия, основанные на взаимном интересе и благе, создающие естественный долг поступать честно и справедливо относительно других, настолько присущи нравственной природе человека, что возбуждение их в преступниках и арестантах так же

возможно, как и во всяком человеке. А усвоение их есть уже полное ручательство человеческого исправления и способности человека к общественной жизни.

На такие мотивы как на средства исправления пороков при помощи общественной жизни не раз указывали лучшие европейские мыслители и даже успешно применяли эту силу общественного мнения для перевоспитания человека; например, искореняя в фабричном населении пороки и преступления, возбуждая общественное мнение против них, достигали того, что живущая в среде общины личность невольно подчинялась общему правилу.

Наша острожная община впервые применила эту силу самым успешным образом к своим членам. Направление этой общественной силы к нравственным целям должно обусловить дальнейшее ее существование, и в этом случае русская острожная община имеет свое будущее. Мы можем сказать, что прошедшая жизнь арестантства не прошла для нас бесследно и подарила нас не одним отрицательным опытом. Раскрыв до некоторой степени картины арестантской жизни, мы желали бы, чтобы взглянули на эту жизнь несчастных гораздо глубже и серьезнее, чем это делали до сих пор; мы желали бы, чтобы криминалисты и строгие судьи арестантства увидели в жизни общины не одни только отступления от тюремного закона, не одно преступное упорство, возмутительный беспорядок или безнравственный союз «*злодеев*», который надо уничтожить. Нет, не желание замены прежней арестантской льготы более строгой тюремной дисциплиной, не стремление еще большего угнетения, несчастья заставило нас взяться за анализ арестантской жизни: на это у нас не поднялось бы перо. Не нам, видевшим несчастье, поднимать руку на несчастных! Но мы желали разъяснить, что жизнь преступников – та же человеческая жизнь, что она совершается по тем же человеческим мотивам. Скажем более: жизнь падших и несчастных нам только дает новые доказательства

величия и стремления человеческой природы к добру. Она доказала тот высоконравственный принцип, что братство и любовь – такая глубоко естественная черта человечества, что не изглаживается в сердцах никаких преступников: ни убийц, ни разбойников. Их община не поела себя среди междоусобий, а создала себе свои законы; на место вражды и преступлений она внесла братский союз всех угнетенных, отверженных и страдающих, высокочеловечную любовь друг к другу, защиту бедного брата, геройское самопожертвование за жизнь и счастье других людей; несчастье только сплотило людей и еще более возбудило в них это чувство. Оно одно наполнило их жизнь, облегчило их в минуты горя и дало им силы для защиты себя.

Таким образом, самая отверженная и признанная негодной община увенчала себя делом, достойным человека. Она была новым свидетельством, что сила общества, связанного любовью, способна разрушить все препятствия, мешающие жить человеку, а любовь способна обновить и воскресить человечество!

ТЮРЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

ТИПЫ И ХАРАКТЕРЫ ССЫЛЬНЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ Из рассказов одного ссыльного

I.

Из падших чиновников

Жить можно везде приучиться. Так и я начинал обживаться в своем новом отечестве. Мы с несколькими дворянами занимали особенную комнату, которая в острогах обыкновенно зовется «дворянской», и были совершенно довольны своим помещением. Утром – занятия, чтение; после обеда прогулка по острогу и созерцание острожной жизни; вечером чай, беседа о минувшем, разные воспоминания, рассказы о пережитых впечатлениях, иногда серьезный спор, иногда веселый анекдот; все это пережилось в длинные осенние вечера. И так протекали не один и не два года. Чуем мы, что там, где-то далеко, жизнь кипит, люди волнуются, устраивают и перестраивают свою жизнь, а мы все сидим в своей скорлупе, живем какой-то робкой созерцательной жизнью. В это время можно даже дойти до совершенного равнодушия к своему положению и жить тихо своей внутренней жизнью.

В один из зимних вечеров, часов в 11, у нас, по обыкновению, весело пылала печка, на столе приветливо журчал самовар и лилась оживленная беседа по поводу какой-то прочитанной новой книги. Вдруг раздался гром отпиравше-

гося замка в нашей камере. «Что бы это такое?» В остроге это впечатление совершенно особое. Здесь нужно быть готовым ко всяким неожиданностям; мы замолкли.

Через несколько секунд в дверях показался ключник, и за ним в темноте выдвинулась фигура арестанта.

– Я вот к вам привел, господа, переночевать одного человека; они только что прибыли с дороги... тоже из благородных-с.

Мы переглянулись недоверчиво и не успели даже спросить ключника, почему непременно пересыльного ввели к нам, как замок снова заскрипел, и нас заперли.

Арестант между тем спустил с плеча свой мешок и все еще стоял у дверей.

Это был высокий черноватый мужчина лет за 40 в полном арестантском костюме, т. е. в казенном полушубке с какими-то намалеванными назади клеймами, в сермяжных штанах, в котях и с сермяжным уродливейшим треухом вместо шапки. Лицо пришедшего было правильное и обладало крупными чертами, волосы короткие, борода давно не брита в дороге, а черные, как уголь, глаза беспрестанно метались в ту и другую сторону.

– Извините, господа, – начал он несколько мягким и изысканным голосом, – я сам из *блаародных чиновников*; конечно, теперь в несчастьи и, будучи всего лишен, нахожусь другим...

Он подошел к столу и робко сел.

– Вы издалека? – кто-то из нас спросил его.

– Из Пензенской губернии, города Краснослободска. Был блаародный человек, но расстройства и несчастья... так как я имел отношения и столкновения на счет разных аттенций и патаму пострадал...

Незнакомый обвел нас медленно своими черными глазами.

– Да-с, – начал он, несколько помолчав, – я сослан был сначала на жительство из города Краснослободска

в город Мокшаны Т... губернии, и тут я имел семейное расстройство, так как я стар. Жена моя говорит: «Не хочу старика: нужно молодого»; я же впал в отчаянность и выкинул эти сами афиши...

Понять незнакомца было несколько мудрено. Мы предложили ему чаю; он так же почтительно принял стакан и посмотрел как-то особенно ласково.

– Как приятно, господа, видеть блаародных чиновников! Я давно не видал-с! а как приятно!

Он медленно пил чай, деликатно откусывая кусочек сахара. Казалось, он был очень доволен; несмотря на то, лицо его было наполнено какой-то странной игрой: то у него появлялась какая-то блуждающая улыбка, то вдруг выказывалась серьезность, и тогда глаза его искрились, а взгляд становился злобным, впивающимся. Под влиянием нашего особого расположения это неприятно действовало, по крайней мере, на меня. Мы молчали.

Через несколько минут незнакомец вытащил кошелек и высыпал на стол медные колечки, несколько грошиков и несколько оловянных крестиков.

– Вот все мое имущество, – сказал он, посматривая на нас, и, выдвинув крестик, прибавил: вот за что мы страдаем-с!

– То есть «крест несем» вы хотите сказать? – кто-то добавил из нас.

– Да, господа! И ходит жених по граду, и ищет себе невесты, и будет она из дома Манютиных... Незнакомец последние слова проговорил тихо и кинул своим черным загадочным взглядом. «Сектант», – мелькнуло в уме моем.

– Я, господа, много Священным Писанием изощрялся, – начал он, сидя потупившись, – когда я содержался в части, то все божественные книги читал. Спросят меня, бывало, что я читаю, а я плакал. Так и начальство обо мне знало. Опять же когда я был исключен из службы, то я начал ходить по святым обителям на поклонение мощам.

Купечество меня также приглашало: «Здравствуйте, – бывало, скажут, – Иван Фомич! Пожалуйста поговорить о божественном!» И живешь у них дня два. Да, господа, я был блюстителем храмов господних, подвижником... конечно, много терпел по странничеству: иногда меня и били... – он замолчал.

– Вы все здесь, господа, из блаародных? – спросил он через несколько минут своим вежливо-заискивающим голоском.

– Все.

– Позвольте папиросочку, блаародные чиновники!

Он закурил ее, тщательно держа между двух пальцев.

– Давно не видал-с обхождения! Приятно! – бормотал он. – А там арестанты, мужики, грубость-с! они на меня, и я с ними ругаюсь, последними скверными словами ругаюсь. Нельзя-с, господа! Я сам был блаародный... – он тихо вздохнул.

Было уже поздно: беседа становилась вялой. Скоро прекратился разговор, и товарищи мои улеглись спать; но меня разбирало любопытство. Я налил чиновнику еще чаю, закурил и начал разговор.

– Вы служили? – спросил я.

– Гм, да-с!.. Извольте видеть: когда я был в городе Краснослободске, то я служил в земском суде канцелярским служителем, также писал прошения и жалобы. Тут у нас начальство было дурное. Я начал выводить покражу в 2000 руб., которую разделили исправник с становым... опять об убийстве девки. Тут я два года отписывался-с... – (Эге! Да это Перегоренский! (49) – подумал я). – Конечно, не понравилось-с; был исключен из службы, и тогда впал в отчаянность и придерживался крепких напитков. Так и в отзывах начальство обо мне писало: «...отличается буйственным поведением и придерживается крепких напитков». Это было, действительно-с. Иду-с я, бывало, из кабака, и идет исправник, а тут народ. Я в его сторону: «так,

мол тебя» – и резну-с скверными-то словами. Да-с. Он ко мне: «Ты что сказал?» – «Ничего». – «Как ничего?» – «Так, потому как я пьян и не знаю, что говорю: а вы что к пьяному человеку придираетесь? Ваше дело взять меня в часть». Возьмут. Отсиджу и опять за то же. Много я делов тут по-заводил. Спрашивают, бывало, меня: «Кто ты такой? Где твое место жительства?» А я отвечаю: дома-жительства не имею, а служу у его Сивушества господина Откупа, занимаюсь посещением благородных питейных заведений, где и пребываю от «яко взыдет зорница» до «такко отыду ко сну». Давши такой ответ, потом, как кончится дело, я и пишу бумагу: «Почему земский суд допустил меня отвечать таким образом, так как таковые ответы могут означать лишь насмешку над законом? И почему оный суд должное постановление о сем не составил?» Ну что ж-с? Надоел я им. Выслали меня в город Мокшаны под надзор полиции. Жил я здесь; сначала выдавали по 7 рублей содержания в месяц, а потом перестали и выдавать... Занятий нет-с. Тут я в отчаянности и написал афишу: «Что же, господа, вы смеетесь, что ли, надо мной; а если так, то знайте же...» – да тут и выразился. Затем подписал чин и звание.

– Что же вышло?

– Посадили-с. Спрашивают: как ты осмелился и где писал? Я говорю, что так как мне перестали выдавать вспоможение, то вынужден был в отчаянности выкинуть афишу, чтобы посадили меня снова; карандаш же и бумагу взял у полицейского служителя Матвея Федорова Рылова...

– Да я еще и не то писал-с, – продолжал он, воодушевляясь, – во время моего содержания я пишу: «Могущественный Губернатор и обладатель земного шара! Будучи ввержен, яко Даниил, в ров львиный, я опасуюсь, чтобы сии коварные звери, как краснослободский исправник, не истерзали меня. Я прошу правосудия и защиты! Ежели же ты, Губернатор и обладатель земного шара, откажешь мне, то я, аки Солиман, пойду по земле твоей и сокрушу лживых и

нечестивых рабов твоих!» Вот как я писал-с! – Он захохотал грудным смехом, хоть лицо его не изменилось.

– Потом, – прибавил он тихо, – я еще просил отправить меня в Санкт-Петербург для открытия высочайшего секрета... Потому как я ничего не боюсь. Что мне жисть? Я готов-с хоть сейчас на смерть. Да, я такой человек-с! Натя мою душу! – и он откинул судорожно свой полушубок и впился в меня темными глазами, в которых глубоко сверкали огоньки.

– Ну-с, и отправили? – спросил я, оправившись от смущения.

– Нет! Я был послан на освидетельствование в Пензу, так как признали во мне помрачение рассудка. Ну, опять же, я много виноват перед святейшей особой, а потому приговорен на жительство в Тобольскую губернию...

Я взглянул теперь на эту фигуру, но уже в ней не было ничего страшного; он сидел согнувшись и казался изломанным, опустившимся, утомленным.

Я простился с ним и лег спать.

Скоро улегся на полу, положив под голову мешок, и мой новый знакомец. Я слышал, как он долго бормотал засыпая: «...я сам, я сам был блаародный чиновник... как приятно... а они, мужики, меня бьют, меня ругают...», – вырывалось у него, и вдруг он судорожно зарыдал во сне.

Мне стало жутко: я не спал, и предо мной понемногу проносилась жизнь этого человек, жизнь бедных приказных, атмосфера мелких канцелярий и темных подвалов, жизнь семейного горя и кляуз, жизнь, размыканная, истрепанная по кабакам и по большим дорогам... А ведь были же и тут силы! велась и тут какая-то борьба! Ведь в искрах этих глаз все еще видна какая-то душевная сила... А рыдания?.. Надломило.

Много я с тех пор видел подобных мелких канцеляристов, занесенных судьбой в острог; но они еще были жалче этого. Все они были потеряны, забиты, угнетены

своим положением. Небритые, с одутловатыми лицами после перепоев, с тусклыми глазами, они виднелись посреди арестантов и никуда в остроге не могли пристроиться. Странная судьба подобных личностей: если они не совершенно опустятся, т. е. не сделаются униженными париями острога, то попадут иногда в другую крайность, еще худшую: они сбросят с себя всякую нравственную ответственность и сделаются безнравственнейшими негодьями даже в среде арестантов. Такой пример мы видим с «Записках из Мертвого дома» в дворянине Д. Подобные люди делаются преимущественно шпионами смотрителей в остроге. Я помню у нас в тюрьме двух таких людей – виноторговца Б... и его приятеля Ф... Оба они не стеснялись плутовать и считались на самом дурном счету у арестантов. Бывший поручик Б..., никогда не терпевший нужды в тюрьме, так как имел деньги и торговал вином, – крал у арестантов тряпки, пятаки, трешники, соленую рыбу и т. д. Причиной окончательной распущенности этих людей в остроге бывает то, что они, составляя исключение из общей массы, не принадлежат к общине как простые арестанты, которых эта община связывает своим общественным договором и известными нравственными обязательствами.

Об острожной нравственности трудно судить, не зная дела. Я помню спор одного умного бегло-каторжного с волостным писарем, человеком богатым и попавшим в острог по случайности, но который был бессовестнейшим малым и накануне выпуска своего из тюрьмы надул бедных каторжных какой-то лотерей.

– У нас честь есть, – говорил с убеждением каторжный Вагин, – мы своего брата никогда не обманем. Я 30 лет в бродяжничестве хожу; я делился куском с своим братом; у меня на него рука не подымется, потому что мы все несчастные. Значит, у меня совесть есть! а у тебя нет ее... Остолоп!

Вот тут и посудите о человеческой нравственности.

II.

Фармазонский купец

При воспоминании о старых знакомых по сибирскому острогу, с которыми когда-то столкнула нас одна участь, на первом плане представляется мне осторожная жизнь русского крестьянства – сословия, которое платится наиболее значительным процентом тюремному заключению.

Я живо помню, как привели и посадили в соседнюю со мной секретную камеру одну типическую личность – крестьянина. По одну сторону от меня тогда сидел еврей, взятый за воровство, по другую – проштрафившийся палач; тот и другой пользовались не особенно, а все-таки довольно снисходительным обхождением ключников, но с мужиком повели дело иначе. Раз кого-то с насмешкой втолкнули в маленькую захолустную секретную нашего коридора. Замок тяжело брякнул. «Сиди-ко, теперь, *чалдон!*» – прибавил наш ключник Самойло Иваныч и поспешно удалился по коридору. Приведенный был мужчина громадного роста, коренастый и здоровый, с рыжей бородой, с атлетическими формами и в то же время с тоненьким детским голосом, составлявшим положительный контраст с его фигурой. В острог он попал за найденные у него фальшивые деньги, страсть к которым сильно распространена между сибирским крестьянством.

В то время как наши секретные арестанты, уже привыкшие к осторожной жизни, постоянно кричали, вели оживленные сношения чрез форточки дверей, пели песни и ругались с ключниками, наш сосед сидел безмолвно; он казался самым забитым, а потому остальные секретные относились к нему свысока и с презрением. Изредка отопрут его по настоящей просьбе – громадная фигура прокрадется по коридору и снова возвратится; ключник даст ему по дорожке тумака и снова запрет. Самойло Иваныч, низенький

и плюгавенький человек из выкрещенных жидков, приставленный к секретным, питал необыкновенное озлобление к гиганту и даже нарочно не пускал его за настоящей нуждой; но мужик все терпел. Помню, он захворал тифом; пришел доктор и прописал ему слабительное. Мужик отнесся к нему крайне скептически. Утром мы узнали, что он выпил зараз всю склянку и... не подействовало. Долго глумился над этим Самойло Иваныч, а мужик окончательно почувствовал презрение ко всякой медицине. Он был по-прежнему угрюм и по целым месяцам не говорил ни слова.

– Как ты это терпишь? – говорили своему соседу секретные, – в остроге у нас сам с бою ничего не будешь брать, так тебя так ли еще загонят! Что ты смотришь на ключника? Шаркни его *парашей*, так и будет вперед знать!

– Ну их! – говорил своим тоненьким голоском гигант, – еще, пожалуй, зашибешь насмерть. Я, братцы мои, годков десять назад по подозрению в поджоге сидел, так то ли еще терпел! В ручных и ножных кандалах близ году держали, однако ж штук 300 розог ввалили, комлем дули... Да ведь что ж делать-то? Притерпелся!

– За что ты теперь-то попал сюда? – спрашивали его арестанты.

– Да деньги фальшивые в сапоге нашли, как мы с товарищем в «паскудном доме» были.

– Ну и что же?

– Что?.. я говорю: сапог был не на мне, подкинули, деньги не мои!

– Врешь, брат: не отделаешься: улика! – говорили юристы-арестанты.

– Пустяки! Ничего не будет: только стой на своем! – говорил спокойно наш герой.

– Пойдешь на каторгу! – подстрекали арестанты.

– Пустяки: ничего не будет...

– Ведь полиция нашла деньги-то у тебя, пойми ты, голова! Подкинуть-то некому!

– Ничего не будет!.. – по-прежнему утверждал стоик и снова закупоривался в своей секретной, где спал и ел без всякой заботушки, так же, как хладнокровно выносил гонения и тумак маленького Самойлы Иваныча, который с своим миниатюрным кулачишком перед ним являлся самым беспокойным лилипутом.

Самойло Иваныч между тем все силы употреблял, чтобы досадить этой флегматической натуре, этому неотесу, которого, кажись, ничто не пробирало. И вот он продержал его раз, не выпуская целые сутки из каземата. У гиганта терпение лопнуло. Он постучался раз-два под оглушительные насмешки секретных и затем мгновенно, не говоря ни слова, вышиб кулаком дверь с замком, пробоем и притолоками и очутился пред смутившимся часовым в коридоре. Только тогда секретные увидали, что эта личность побойчее их, более хваставших, чем выполнявших свои угрозы. После этого случая даже Самойло Иваныч присмирел и стушевался.

Скоро мы еще ближе ознакомились с нашим соседом. Как оказалось, это был старообрядец, по-своему начитанный и неглупый, но начитанный именно той раскольничьей литературы, которая составляет достояние нашего простого народа: это смесь Библии и Псалтыря с разными символическими и мистическими книгами. Так, однажды разговорившись с соседями, старообрядец рассказывал о фармазонах и, между прочим, о фармазонских купцах, будто бы разъезжающих с товарами по России и обращающих людей в свою веру. Обращение это, по его словам, знаменуется снятием портрета, который, в случае измены *посвященного*, достаточно прострелить, чтобы настоящее лицо немедленно умерло¹. Для наших секретных, больших насмешников и скептиков, миф этот показался столь

¹ Этот старый миф старообрядец извлек из одной книги о франкмасонах, изданной при Александре I. Известие о ней есть в статье г-на Пыпина о масонстве в «Вестнике Европы» 1868 г. Книга эта до сих пор ходит в народе.

забавным, что рассказчика самого называли фармазонским купцом. Он долго носил эту кличку – до тех пор, пока не был выпущен из секретной и не сделался крестьянским старостой в нашем остроге. Тогда ему дали новое название «*Минина-Пожарского*» за его колоссальную фигуру, напоминавшую московский монумент.

С фармазонским купцом я сблизился впоследствии, когда мы оба были выпущены из секретных. Он очень занимал меня. Это был тип северного русского крестьянина, угрюмого, флегматичного, преданного расколу, и в то же время довольно фривольного и не особенно строгого в нравах. Тот, кто знавал близко раскольников, вероятно, замечал, что эти противоположные черты сплошь и рядом в них уживаются. В то же время, как мы убедились, это был представитель несокрушимого стоицизма и полное выражение непочатой и страшной мускульной силы русского народа.

Однажды зашел разговор о предках фармазонского купца; он рассказал, как они приобретали новые земли в Вятской губернии и душили вотяков. «Как так?», – кто-то спросил его. «Как?! – возразил фармазонский купец, – земля нужна, ну, и придушат его и в болото... Что его не душишь? Ведь он все равно, что *мышь*». Это воззрение на инородца как на мышь, это несокрушимое завоевательное хладнокровие вполне отразило в себе русского первобытного земледельца-завоевателя. Сам фармазонский купец вполне принадлежал к этому первобытному типу.

Нельзя сказать, чтобы это был тупой и грубый ум: начитанный, он любил делать свои характеристики, проводил меткие сравнения, любил цитаты из Библии и не лишен был народного юмора.

Часто он, как философ, обзирал острог. Я помню его величественную фигуру в сером кафтане без шапки и руки за поясом, стоящую как статуя на дворе и любующуюся на огромное четырехэтажное здание острога.

– Ведь эдакой *чертовик* вымогли! – говорил он, саркастически искривляя губы. – Вавилон! – продолжал он, покачивая головой на шум и беготню острожного люда.

– Ты знаешь ли, как этот самый замок строился? – обратился он ко мне. – Постой, вот я те скажу. Как строился этот острожище, ехал мимо него мужичок на базар и загляделся на эту махину. Встречается в те поры барин с ним. «Что, – говорит, – мужичок, смотришь? Вот бы тебе в эдаких хоромах пожить?» – «Куда нам, воронам, – говорит мужичок, – в такие хоромы! Вот хоть бы вашему-то почтению так больше бы это пристало!» – и фармазонский купец заливался своим звонким тонким смехом.

Как крестьянин он не любил острога и совершенно чуждую ему среду его; он презирал бродяжескую праздную и бесцельную жизнь. Антагонизм между бывшими в остроге крестьянами и бродягами был порожден еще на воле. Бродяги не терпели крестьян за то унижение, которое выносили во время бродяжества, а крестьяне смотрели на бродяг, как на людей, которые предпочитали нищенствовать, жить воровством и ничего не делать. Фармазонский купец к этой жизни относился с самой горькой иронией. Раз, когда мы были во дворе, в острог ввели целую кучу этого народа, только что взятого с дорог. Оборванные, запыленные, закоптелые около полевых костров, с своими нищенскими мешками, они представляли самый жалкий вид, даже в среде острожных обитателей! «Вон они, негры-то при собрании сахарного тростника!», – метко сравнивал фармазонский купец этих чумазых и закоптелых людей. Сравнение он извлек из только что прочитанного им путешествия Лакиера (50).

Начальства он не любил как подсудимый и как раскольник: с ним он был груб и дерзок до невероятия. На допросах он всегда грубил и любил обличать следователей и чиновников, против которых был страшно озлоблен; канцелярская процедура бесила его.

– Что ты пишешь там? Ну, что ты пишешь! – говорил он на допросах. – Разве, что напишешь, так тому и быть? Пиши, сколько хочешь! Чернильный человек и больше ничего!..

О нем составляли постановления и отправляли его в острог.

– Гоги и магоги и железные носа! – говорил он, выражаясь своим книжно-мистическим языком.

За имение фальшивых денег, за грубость и упорство на допросах он был приговорен к шестилетней каторжной работе. С невозмутимым хладнокровием пришел он ко мне после решения, т. е. по объявлении приговора.

– Как же ты теперь? – спросил я его.

– Что? – улыбаясь, отвечал он, – отработаю, давали бы пишшу: ничего!

Он так же невозмутимо надел кандалы и пошел на каторгу. «Пишша была бы, отработаю!» – по-прежнему утверждал он на прощанье. Но мне припомнилось невольное, что есть каторжная «марцовка» (жиденькие арестантские щи), которая едва ли удовлетворит аппетит такого организма; такие натуры на Руси съедают по 8 фунтов хлеба зараз. Я промолчал и только взглянул на его страшную и решительную фигуру.

Что будет далее с ним, можно предполагать по субъектам его натуры: или он впроголодь решится отработать шесть лет на каторге, так как и это при его гигантском стоицизме возможно, и тогда он, покончив с рудниками, по-прежнему станет оседлым работником; или его взорвет, как взорвало вышибить дверь в остроге, и он убежит с каторги. Тогда он станет бродягой, но не из тех нищиворов, которые наполняют сибирские деревни; озлобленный каторгой и несчастьями, он пойдет на все, и тогда кто знает, чем отразится страшная сила и хладнокровие этой натуры.

III.

Фельтикультетный человек

Как-то я лежал в тюремной больнице; подле меня лечился низенький и плотный арестант (таких по фигуре почему-то в остроге называли *тарбачанами*; он лечил отмороженную ногу).

При первом знакомстве Никифор Губков объявил мне, что он – поселенец, а на воле занимался *качествами*¹. «Впрочем, – прибавил он, – все будет в сохранности: мы ведь только на воле занимаемся художествами: надо чем-нибудь жить. Нас ведь здесь много *фельтикультетных* людей», – заметил он, улыбаясь. Фельтикультетными людьми он называл особенно плутоватых из своего брата поселенцев, проживающих в Сибири разными хитростями. Скоро с фельтикультетным человеком я побольше познакомился.

Он жил в больнице довольно комфортабельно и неизвестно откуда доставал водку, которую и продавал в остроге. Каждое утро по этому случаю я слышал в камере спиртную атмосферу, происходившую от переливания спирта в кишки, которые в обильном количестве сушились в нашей печке. Никифор Губков в остроге считался капиталистом. Действительно, он имел рублей тридцать, зашитых в подвязке; ими-то он и спекулировал по части водки и закладов. Сам он для себя не скупился и жил настоящим бонвиваном: как-то он умел всегда перехватить в больничной кухне самый лакомый кусок, счерпнуть себе самых жирных щей, достать лучку, перчику, иногда устроить уху, яичницу и затем наслаждался блаженством сна после обеда. «Надо уметь жить-с; тут надо смекалку иметь», – говорил он мне, подмигивая и волоча что-нибудь особенно лакомое из больничной кухни. Иногда его прорывало: он запивал; тогда шлялся пьяный по острогу, бахвалился, играл в карты и бу-

¹ *Качествами* в остроге называют всякое плутовство и мелкое преступление.

янил, но скоро оправлялся, считал деньги и опять начинал спекулировать. Больше всего был интересен Никифор, или Никишка, как его звали в остроге, Культяный тоже, когда он пускался в спор, ругал Сибирь и показывал свое знание и превосходство перед всем прочим миром.

– И что это за Сибирь, за глушь, за необразованность проклятая! Что в ней за *чалдоны* такие живут! Самая это пропащая сторона Сибирь, – злился он на койке.

– Хлеба зато много! – возражает Никифору мой приятель, лежащий в больнице и желающий позлить Никифора.

– Хлеба! – ожесточенно хватается Никифор, как собака на брошенную кость. – Хлеба! А у нас фрухты! А города-то какие?!

– Ну что же, и здесь тоже есть города!

– Деревни, деревни-с у вас. Теперь вы возьмите нашу Кострому. Значит, дома какие... в пять этажей! Церквей сколько! Кумпол золоченый... а Волга? Судов сколько! Куда же тут до нас!

– Но ведь и здесь... – старается, улыбаясь, что-то возразить мой приятель.

– Что-с? Где фрухтовые сады-то-с? а?! Вы это мне скажите! Эх, сударь! Я вас в туяс, в туяс, сударь, загнал!

И он, не слушая никаких больше возражений, окончательно торжествует и закатывается смехом на своей кровати, болтая культяной ногой.

– Теперь возьмите наш замок: где ж здешнему против него! – через несколько минут он обращался уже ко мне. – Теперь у нас в Костроме палаты выстроены; везде лампы горят. Патреты теперь с нас стали снимать.

– Как портреты?

– А так-с... Как возьмут бродягу неизвестного, счас патрет стеклами снимают. Снимали и с меня-с. Как же... Вымыли это, знаете, меня сначала, расчесали. «Рожи, говорят, не корчи», и счас патрет, – с нас-то, с неотесов. Каково-с! Ха!

- Да когда же это было?
- Да вот когда я из Сибири на родине был.
- Как же вы туда попали?
- Очень просто-с: захотел и попал.
- Однако...
- Очень просто-с. Вышел из деревни, пошел в город: паспорт в куски, к черту!.. Прихожу – «Кто такой?» – «Бродяга». – «Откуда?» – «Такой-то костромской парень... был в Сибири на заработках». А уж раньше я наметил, на кого показаться... Сверились. Действительно, несколько лет как в деревне такой-то парень пропал. Ну, и выслали меня туды.
- Но ведь вы, Никифор, на другого показались: как же вас там приняли?
- Очень просто-с! Сейчас обществу два ведра вина. Приходит, значит, отец этого парня и брат. Я стою, улыбаюсь.
- Что, – говорит мир мужику, – узнаешь сына?
- Как будто, – говорит, – не признаю.
- Ну, что, старина, – говорит мир, – с чего свою не признал? Бери: нечего толковать; да поцалуйтесь. Давно не видались; от того и не признал! – а сами смеются.
- Аль взять? – говорит старик. Я в ноги...
- Ну тебя к лещему! – говорит старик, – пойдём в кабак.
- Так я и стал сыном. Потому мужику тоже бывает выгодно работника взять: сына не нашел, ну так приемыш будет. И забавно мне это было, как это я к ним в избу пришел. Сижу я в переднем углу тихохонько; кругом новые братья и сестры ходят. Одна старшая вытащила рубаху пестрядинную и штаны. «На, – говорит, – Митрофан, передень чистенькое». А я кой черт Митрофан; поди, сами знаете. А в избу то и дело деревенские заходят. «Ну-ко, где у вас сынок-то?» Я молчу. Наконец старший брат закричал: «Чего, говорит, лезете? Чего не видали! Пойдем, говорит мне, в кабак!» Пошли. Не больше, как через неделю старик на ярмарку недалеко поехал, взял меня и старшую сестру. В первый день и я ходил с ними, сестре орехов еще купил. Одначе, думаю,

не удрать ли мне от них. На другой день, как ушли они на базар, я, благословясь, цапнул тятенькин полушубок, два рубля денег медных, да сестрино полотенце, и поминай как звали! Так и накрыл их, тятеньку-то. Ха-ха-ха!

– А потом все-таки попались?

– Попался уж в самой Костроме; ну, и сюда опять по Владимирке.

Никифор нередко пускался в рассказы о своих приключениях.

– А я ведь не то, что эти чалдоны; я знатного происхождения, – как-то говорил он мне.

– То есть какого же знатного?

– Хотите, я вам свое происхождение объясню?

– Пожалуй.

И в этот вечер Никифор долго меня посвящал в свою биографию.

– Происхожу я из торгового сословия в Санкт-Петербурге, – рассказывал он, – и приехали мы сюда, в столицу то есть, с тятенькой из Костромы, и завел он в Питере лабаз; в малолетстве моем он отдал меня на обучение к торговцу фруктами и пряниками. Много нас жило ребят у хозяина. Мы разносили фрукты и лакомства по городу и дачам, а то сидели в Александровском парке, знаете? Ну-с, начал я подрастать; было уж мне лет четырнадцать, и стал я с своими товарищами, тоже разносчиками, заводить компанства; начали баловать. Раз я промотал от хозяина весь товар да и бежал; однако меня нашли; отец выдрал и взял к себе. Тут уж я был неудержим-с: сижу в лавке у отца, а сам думаю, как бы стащить что-нибудь да в трактир. Сошелся я в это время с купеческим сыном, у которого отец недалеко от нас у Андреевского рынка трактир держал; богатейший человек – одно слово. Этот самый купеческий сын хватил раз у отца рублей триста, и пошли мы с ним кружить... Шатались дня три, все деньги уходили и растеряли, а уж нас разыскивают. Приехали, накрыли нас, добрых молодцов. Купеческого сына в те

поры отец отстранил от распоряжения выручкой в трактире, а меня родитель вздул, как сидорову козу. Начал я тут подумывать, как бы вырваться на волю, – и вот взял я раз из-за прилавка выручку, да и был таков – пошел по Петербургу. Долго я шатался по городу, – где ночь, где день. Покуда были деньжонки, все было ладно, а там и под открытым небом в Летнем саду пришлось ночевать. Где я тут ни шатался... ну, и наткнулся я на моих наставников, да и стал карманником. Дело тут самое простое, значит. Знаете, как мы на Невском или около балаганов отличаемся. Много у меня тоже происшествиев и приключений бывало. К работе я был непривычен. Бежал без вида и кушать хотелось, и покутить тоже: вот и стал я воровать. Нарвался – меня послали в Сибирь на поселенье. Что же? в Сибирь так в Сибирь! Наш брат идет важно: духу не теряем, – продолжал Никифор. – Идем мы в партии; сначала щеголяли: деньги были... Москва награждает подаванием... шаровары плисовые, поддевка новая, рубашечка красная французского ситцу, шапочка набекрень... знатно мы идем в походе. Подходим к деревне: стук в окно. «Хозяин! Мед, икра есть?» – «Что надо?» – «Подайте милостыньку, Христа ради». – «Бог подаст: рожа толста». Ничего, идем дальше: с деньжонками-то все ладно. Другие сударушкой в партии обзаведутся. Она и начнет нагревать нашего брата: купи, говорит, душка, мне этого гуся или этого поросенка, а сама башмачком, носочком-то и толкает гуся с поросенком. Ну, наш брат не рядится. Сейчас на, что запросил: значит, народ идет с форсом; однако покупает, покупает да и профершипится; опять *фалька*¹ подкузьмит. Глядь, из Казани выходит гол как сокол; так и песня сложена:

От Москвы и до Казани
Идем с полными возами;
От Казани до Тобола
Идем с горькими слезами.

¹ Острожный термин картежной игры.

Глядь, к Сибири-то подходим; сударушка и говорит: «Дай, душка, черного хлебца». Тут уж носочком-то шевелить покупки не удастся: прогорим. Другой сударушку и на карту ставит. Придем в Сибирь, – голь одна. Запрут это нас в сибирскую волость, в деревню. Здесь глухо; народ необразованный; только и знают, что соху; вот я и попал в такую деревню. К работе тяжелой непривычен, а пришлось заниматься. Нанялся я в работники к мужику, и проклял я в те поры и жизнь свою. Ничего не знаю, потому как приучен не был, и деликатное воспитание получил. «Эй ты, – кричит хозяин, – поди запряги лошадей! На покос надо ехать». Как тут, думаю, быть: я отродясь не запрягал, однако надо как-нибудь! Пошел; вижу ряд саней друг подле друга; стал соображать, запрег. Только выходит хозяин; как взглянул, так животики и подпер... и почал же он ругать меня: «Ах ты, дурак, говорит, да где же ты видел, чтобы так лошадей запрягали? Да где ты, сокровище такое, уродился?» Я стою, не понимаю: досадно мне. А я, знаете, оглобли-то совсем перепутал; как стоял ряд саней, я взял оглоблю от одних, да оглоблю от других, да в них и впряг лошадей. Долго надо мной хозяин дивовался. Так вот я какой в Сибирь-то пришел! В другой раз собиравались мы на сенокос: я приготовил все, что было нужно. «Взял ли ты бастрык-то?» – говорит мне хозяин. Какой, думаю, бастрык? «Взял», – говорю. Вышел хозяин на двор. «Где же он?» – говорит. «Здесь!» – указывают я на телегу. «Ах ты глупая башка! Да ведь вон он, бастрык-от, в углу еще стоит!». Указал он мне на жердь в углу, что на сено привязывают поверх воза для упора. А кто его знал, какой он, бастрык такой! Ну и много же горя и ругани с первого разу я принял. Бывало, хозяин ругает, а меня досада берет. К тому же и работа трудная. Злому татарину я не желаю жить в работниках у сибирского мужика: он из тебя все кишки выжмет! Кормить – кормят хорошо: всего вдоволь – щей, мяса, каши, квасу и водки; ну, зато и работай

с ним, как вол. Они здоровы работать, потому им это дело привычное; ну а мне уж за ними бывало не угнаться. Еще куда до зари проснется хозяин, позавтракаем. «Собирайся, – говорит, – на пашню». Поедем... давай боронить!.. работаем до обеда. После обеда отдохнуть бы надо – ан нет: «Пойдем, – говорит хозяин, – паря, порубим дровец»; чего делать-то! А, чтоб тебя!.. Рубим до вечера... приедешь – походи за конями. К вечеру так умаешься, что не емши свалишься. На другой день, чуть свет, опять будит: «Ну, паря, надо в поле – вставай!» Опять до вечера работа. Другой раз в воскресенье только пообедаем, – «...что? – скажет, – не съездить ли нам на пашню?». Посмотрел я это... «...нет! – говорю, – *нпру!*» На другое воскресенье, чуть свет, шасть в кабак, да до другого утра, и поминай, как звали. Ничего. «Что, – говорит, – погулял? Да, да, оно и надо в праздник». Так я и отбилса от воскресенья. Зимой опять работа настала – возки с товарами возить; ямщиной, значит, хозяин занимался. Возки так и повалили – такая гоньба пошла, что беда. Только приедешь, закусишь – опять надо ехать! Раз я три дня почти с козел не слезал. Отвезешь возок, едешь назад, дремлешь. Приехал – опять под новый запрягаем. Хозяин спрашивает: «Не све-зешь ли?» Ну – нельзя, опять еду: только вином и жил. Помотался я эдак дня с три; черт с вами, думаю. Зашел в кабак – напился, да и пошел кружить дня на четыре. Прихожу после к хозяину. «Что же ты, – говорит, – в такое пущее время запил: другого-то времени не нашел – жить не хочешь, что ли?» – «А что, мол, я вам за батрак дался; разве я другого места не найду», – разругался с хозяином и отошел. Поступил к другому мужику. Вижу: такая же маетная работа. Нашему брату поселенцу совсем тут непривычно, и житья нет – плохо. Потому-то мы их не терпим. Сибиряк норовит все нас батраком сделать, а мы не хотим. Теперь в год он работнику платит 20, 25, много 30 руб.: ну, за что я ему тут буду выбиваться из сил? Денег

у него просить начнешь – скупится, жилит, а коли даст, пропить норовит с тобой же. И жилы же эти богатые мужики – сущие живодеры, да и остальные-то чалдоны – такие же. Есть теперь деньги у поселенца – все к его услугам; лучше его на свете нет; все предоставит, жену отдаст; будь бедный, только и норовит нашего брата утеснить. Придешь на сходку – «Давай подати». – «Нет». Где хочешь, возьми да подай, а то драть; ну, и пойдешь воровать; у них же украдешь, да им же и принесешь. Али теперь суд случится – нет, ведь чалдоны своего оправдают, а нашего брата драть примутся. Кто что ни нагрязил – в ответе у них все поселенец: все валят на поселенца. Идешь по деревне – так только обляять тебя норовят: «Вишь, – скажут, – варнак идет: мотри, ребята, как бы не стянул что». Ладно, думаешь, уж покажу же я вам варнака, желторотые. Ну и подъедает же ихнего брата чалдона наш брат, коли насолят ему. Ночью у него ворота вымажешь дегтем, кур, баранов перережешь, лошадям гривы и хвосты острижешь. На вот тебе! Ему на лошадях-то показаться никуда нельзя будет: все смеяться станут, как на бесхвостых лошадях поедет. А то стога сожжем. Но пуще всего им, как мы, поселенцы, с женами их валандаемся, потому их бабы нас, поселенцев, лучше любят: наш брат развернуться умеет, и красивее их мужланов. Опять им этим досаждают. За все это мужик норовит тебя побить или прямо из винтовки *лахман* даст: «А вот я ему, варнаку, пулю в бок», – скажет; у него расправа коротка. Вот с ним и держишься опаски. Придешь в гости к жене его, а у самого две шапки: одну всегда в кармане на случай держишь; застанет хозяин нас – пойдешь будто до ветру, наденешь другую шапку, да ффю: поминай, как звали, потому иначе с ними нельзя. Этих чалдонов часто наш брат облапошивает, потому куда им до российских: неотесы неотесами; только мы их и образовываем: они должны за нашего брата Бога молить. Наш брат и ассигнации им делает; наш

брат ворожит и колдует их бабам: ведь они во все это верят. Одно слово – «дураки», как их не учи. Теперь насчет воровства, куда же им за нами гнаться или поймать – я вам скажу... Продам я купцу место чаю, а там будет глыба песку; или продам тюк ситцу, а вместо него рогожка... дам я ассигнацию в обложке, он посмотрит, возьмет, а у него обложка только и останется, ассигнация-то у меня; где же им это сделать? Насмотрелся я на этих мужиков, когда жил в горничных у заседателя. Ну и крутили же мы их с заседателем... После этого как же нашему брату, поселенцу, не управиться с ними, как их не *панкрутить!*.. Ну, и панкрутим. Одначе в деревне все же нажива плохая; оттого наш брат больше норовит на прииски: крестьянская работа 30 руб. в год, а на прииски дают одних задатков по 40, 50 и 70 руб.; погулять можно. Ну вот я и сам польстился на них, хоть и покаялся. Приезжает к нам приказчик нанимать на прииски; пошли мы, поселенцы, наниматься. Пришли, – дали нам задатков по 40 руб.; раскутились мы в те поры, задали пыли сибирским мужикам; другие нанимали их возить себя – знай наших. Наконец, стали нас собирать вести на прииски, – и приказчик тут. Дорогой такой же кутеж у нас идет. Кто пропил деньги: шапка, рукавицы, бродки, полушубок – все в заклад идет; выйдет другой гол, как мать родила; сейчас его опять одевают: так вот с одежей за нами и ехал. Само собой, что все это в счет ставят; на квартирах наши буйствуют, хозяев бьют, стекла, посуду ломают – ничего: приказчик за все платит. Другой раз в деревне или городе так рассыплемся, что едва соберут, – полиции деньги дают, чтоб нас пораньше выгнали; и гулянка же идет... Так мы до прииску и кружим. За нами, как за наемщиками в рекруты, ухаживают. Пришли на прииск еще пьяные. «Ну, – говорят нам, – ложитесь: отдохнете – завтра на работу». Легли, только что разоспались, как вдруг чуть свет слышим: «Ну-ка вы, шкаличники, бутылочники – вылазь... ну-ну,

так вас суды-туды, пьяницы, пропойцы, кабачники!» Лежим: что, мол, такое. «Что вы не встаете! Я вот вас палкой, голь кабацкая. Сволочь пропившаяся!» Это будилка пришел, как его называют. Ну, думаем, попались. Погнали нас на работу; башка трещит – не доспали. Работа трудная – землю копать, кайлой бить. В разрез поставили; иные в воде да в грязи как черти перепакостились. За работой понукают, ругаются, страшат, а управляющим на том прииске был Л-ский: во всей тайге только двое варваров таких было – он да В-ков. Сейчас чуть не сработал, что требуется, или провинился – драть; 200, 500, 700 розог всыпят; для того тут у них и казаки на приисках приставлены начальством. На другой день у нас руки отнялись, как кайлой помахали; нет, не привычна нам, думаем, эта работа; а нас уж стали примечать. «Ну, – говорят, – лентяи, погодите, приучим вас работать, как следует, – вот только управляющий приедет» (его в то время на прииске не было). Подумали, подумали мы: нет, мол, надоть убраться от этой каторги. Леший их возьми и с прииском; сговорилось наших человек шесть, взяли хлеба да ночью вышли и айда! Ну и натерпелись же дорогой горя, как бежали. Все травы да леса, утесы да горные речушки. Сошел в падь – опять наверх подымайся; опять и хлеба мало. Чуть не утонули на Енисее, чуть с голоду не умерли, однако кое-как до деревни доплелись. С писарем сделались, чтоб это дело замазать. С тех пор баста, думаем, ходить на прииски; как приедут приказчики нанимать рабочих – стой, нас не проведешь! Мы начали штуки делать: и много же денег у них побрали в задатки. Я один раза четыре бирал и ни разу не ходил в тайгу. Это можно делать: придем наниматься по фальшивым паспортам; паспорт дадим, деньги возьмем, а после отыскивай. А то тут был у нас калека без пальцев на руках. Придет в рукавицах; сначала не приметят; возьмет задаток, пропьет, а после что с него взять... сами откажутся. По-

следний раз мы снова нанялись и взяли задатки; только приказчик и узнал, что мы столько раз нанимались, да бегали или совсем не ходили; а задатки мы уж получили с него. Призывает он нас эдак через час. «Ребята, где у вас деньги? – говорит, – я бы вам помельче дал, а то не такие выдал». А мы, конечно, смекнули, в чем дело: кто пять, кто трешницу выложил. А остальные, говорим, уж разменяли, нету; так ничего и не мог взять.

– Давно уж я бьюсь в Сибири; раз и бродяжить ходил, к Рассеи пробирался, однако не удалось. В последнее время я вот в городе *** пристроился; ну, здесь опять пришлось заниматься *качествами*, потому больше нечем заниматься. К работе мы непривычны, а больше все своим умом да смекалкой живем. Думаешь, думаешь, да и выдумаешь штуку; что же делать: надобно чем-нибудь питаться. Вдругорядь крайность заставляет. Попадешься с хапаным, – надо откупиться; опять воровать идешь.

Никифор, действительно, смотрел на свой промысел как на произведение своего гения и свой труд, иногда крепко защищая украденное как законную добычу.

– Я вот вам расскажу, – говорил он мне раз, – какое в нашем деле соображение нужно и сметку. Прошлым летом тут телегу с лошадьёю мы стянули; на нас пало подозрение. Приводят меня в полицию. Нельзя ли, говорю, отпустить? Нет! требуют за это 10 руб. Где же, говорю, мне взять такую сумму? «А нет, так будешь в остроге». Дайте, говорю, хоть сроку достать эти деньги. Отпустили на три дня: надо было как-нибудь промышлять. Иду я и вижу на реке бадьи меду на плотам приплавилы... смекнул; вечером подхожу к плотам, – вижу: по берегу два караульных ходят. Я с палкой тоже начал похаживать около соседних плотов; начинаю с караульными разговор: «Что, мол, покараулиivate?» – «Точно так!» – говорят. «И мы тут вчера плотик прикупили...» Разговорились, покурили. Только я и говорю: «Что, мол, братцы, мы будем все трое караулить? Давайте

по очереди; я вот теперь сосну, а вы поприглядите; а потом я за вас». Согласились. Полежал часа два в караулке, вышел, зеваю. «Что, выпался?» – спрашивают. «Все маненько легче», – говорю. «Ну ладно, мы теперь соснем; посма-тривай». Ладно!.. Пошли они спать; я хожу, постукиваю. Через полчаса захожу в караулку, будто сигарку закурить. «Что, спите?» – спрашиваю. Молчат. «Не хотите ли поку-рить?» Только всхрапывают. Дело, думаю, ладно! Вышел; взял я эти три бадьи, скатил на берег, да в навоз и зарыл, а сам махни... драло. На другой день я взял знакомого извоз-чика, и ночью мы перевезли эти бадьи в один дом. Однако оставалось еще их сбыть. Выхожу я наутро на рынок, а со мной и встречается приятель из таких же торговцев, как и я: «даровыми товарами», значит, торгует. «Ну что? – гово-рит, – нет ли у тебя чего продажного?» – «Что же, мол, тебе надо? Мед есть». – «Аль пчел, – говорит, – завел?» – «Да, мол: свои ульи. Надо и в Сибири своим хозяйством обжа-водиться!» – «Что же! – говорит, – я найду человека ку-пить». – «Да верного ли?» – «Будьте спокойны!» Тут же он мне на рынке татарина и укажи. Сговорились мы назавтра утром представить мед. Взяли на утро телегу, поехали; с нами едет приятель и татарин; я иду около воза. «Ну, – спрашиваю, – далеко ли?» – «А вот, – говорят, – за город выедем». Проезжаем мимо полиции; ничего. Выезжаем и за город. Только как с последним домом поравнялись, татарин и свистни. Ну, тут я в подозрительность вошел; однако духу не теряю. Выезжаем за кладбище. Глядь, на нас квартальный мчится. «Стой!» – кричит. Приятель мой с татаринном бежать... «Беги и ты!» – кричат мне. Нет, тю! Я смекнул дело-то мигом, что они в заговоре. Наскочил на меня квартальный: «Беги, – говорит, – такой-сякой», а сам для примеру нагайкой машет. «Нет, мол, ваше благородие! Зачем же баловаться! Это моя собственность». Да и как же теперь, скажите, я должен все бросить, коли я сколько тут трудов убил! А квартальный и погонись за татаринном, –

думает, что я в это время убегу. Одначе хоть дело плохо, я все-таки успел одну бадью с возу стянуть да через лес, через лес... Прихожу после в полицию. Квартальный мне грозит. «Что же? – говорю, – ваше благородие: ведь вам больше досталось, а труды-то мои». Так-то-с, иногда приходится своим добром платиться.

Никифор в последний раз попался в острог за то, что с фальшивым паспортом ходил и занимался воровством по деревням. Из-под ареста в волости он пробовал бежать. Была зима; он ознобил пальцы ног, которые пришлось отрезать. С тех пор фельтикультетный человек начал еще пуще клясть Сибирь немшоную. Скоро он, однако, как-то выпутался из дела и вышел чист из острога.

Через несколько дней арестанты, ходившие на работу, видели на базаре, что он верхом продает доморощенных лошадей.

– Ребята! Культяный ноне в конницу поступил; в пехоте больше не может служить! – острили в остроге.

– Ах, куцый плут! – хохотал острог.

Через полгода, однако, мне суждено было увидеть еще раз Никифора Губкова: он внезапно встретился мне во дворе острога.

– Ты как опять здесь? – спросил я его.

– *С качеством-с*, – говорит он, улыбаясь и низко кланяясь.

IV.

Первый человек в Сибири

«Петр Решето – первеющий человек в Сибири, потому как я был придворный повар, а второе я свое воспитание в Санкт-Петербурге получил», – так говорит обыкновенно перед острожными сотоварищами ссыльнопоселенец Петр Решето; при этом он высоко поднимал брови и делал вну-

шителный жест своими большими засученными руками с скрюченным пальцем. Это был высокий рыжеватый мужчина с щетинистыми волосами, с открытой, самоуверенной физиономией, в рябинах, с выступающим жиром на лице, как будто он отошел сейчас от плиты. Он носил притом импровизированный поварской костюм из широких шаровар, нанковой куртки и фуражки без козырька и по старой привычке постоянно засучивал рукава.

Это был тип истинного петербуржца и дворового человека. Он не иначе говорил, как «у нас в С.-Петербурге». На всякого, когда-либо бывавшего в столице, он кидался с жадностью. Так он наткнулся и на меня.

– Ну что, как у нас теперь в Санкт-Петербурге? – обратился самодовольно он.

– Я давно оттуда, – отвечал я; но повар продолжал:

– Знали вы, сударь, князя Воронцова?

– Нет.

– А графа Алексея Петровича?

Я сказал, что вообще таких лиц не знал. Петр Решето посмотрел с некоторым сожалением, но расспрашивать продолжал, все больше вращаясь в аристократических сферах.

С такими же вопросами он нападал, как я впоследствии узнал, на всякого, и часто совершенно невпопад; так, он какого-то бедняка-чиновника спрашивал, судя по фамилии, не родственник ли он такого-то генерала; а одного бродягу принял за камердинера барона Александра Модестыча, и проч. и проч.

Познакомившись со мной, он сообщил, что он не рассчитывал пробыть в Сибири долго, потому что за него хлопчут: «а попал я в несчастье из-за генеральской дочки... любовь была!» – прибавил он.

– Будто за это ссылают?

– Нельзя... Генерал! – Петр Решето пожал плечами и посмотрел на меня многозначительно.

– Он вас и сослал? – спросил я.

– Никак нет! Да, пожалуй, я вам расскажу эту историю: здесь все ее знают. Извольте ли видеть, сударь мой: когда у меня вышли неприятности, – начал важно повар, – на придворной кухне с старшим поваром, я поступил к одному генералу. Генерал этот был престарелый генерал; только их кашкой и кормил – манной, знаете. И так они были стары, что их под руки два капельдинера водили: Иван и Селифан тогда жили у нас. Селифан-то был славный малый; мы часто с ним ходили покучивать. На Вознесенском (направо трактирчик тут есть, извольте знать?) пиво все больше пили. Да, так вот скажу вам, генерал был к тому же слеп и глух; так все в креслах и сидели. Сынок приезжал из гвардии. «Что, говорит, тятенька?..», а тятенька ничего не понимает, так как есть малый ребенок. Махнет сын рукой, поищет в карманах в халате; в стол к ним слазают и марш опять. И все они еще при своей старости в какой-то должности состояли. Сначала возили их, а потом уже и возить не могли. Все бумаги на дом присылали, а так как при них была единственная дочь, то все больше барышня эти бумаги подписывали... Только в последнее время барышня стала чаще из дому выезжать к тетушке, так как за них стал жених, полковник, свататься. Генерал у нас на руках оставались. Принесут это, бывало, без барышни, бумаги подписывать, что тут делать?! Бежит ко мне, бывало, Селифан, так как я один был, кроме барышни во всем доме грамотный. «Что, – говорит, – тут делать? дожидаются». – «Что же? – я говорю, – бумагу, может, и действительно надо подписать: дело спешное. Прокричи ему хорошенько!» – «Кричал, – говорит, – не слышит; только чмокает». Я вам сказывал, что он был, как есть, дитя малое. Нечего делать: вижу, что тут без Петра Решето дело не обойдется. Известно: я человек образованный, а они что! Иду, бывало, в кабинет. «Что, – говорю, – ваше превосходительство?» А его превосходительство только мурлыкают.

«Давай, – говорю, – Селифан перо». Селифан дает; сажусь я подле этого самого генерала; возьму его за правую ручку; чирк пером и готово! И так я, братец, наострился, что никакая бумага от меня замедления не потерпела. Ведь это надо взять в ум тоже!..

И долго же я за этого генерала правил... Приедет, бывало, наша барышня из гостей. «Что, все благополучно?» – «Все благополучно, ваше превосходительство». – «А бумаги приносили?» – «Приносили». – «Кто же, – говорит, – подписался? Неушто батюшка?» – «Никак нет». – «Разве братец приезжал!» – «Нет, – говорят, – теперь всем этим Петр Решето орудует». Раз это ей сказали, два, три. «Да что это у вас за Петр Решето такой? – говорит генеральская дочь, – покажите вы мне его». Призывают меня. Одеваюсь я, значит, как следует: сичас белый фартук, куртку, крахмальний колпачок; на жилетку цепочку выпустил и иду в аккурате. «Ты – Петр Решето?» – спрашивает барышня. «Я, – говорю, – ваше превосходительство!» – «Почему ты, – говорит, – такую способность и образованность имеешь, что за папашу дела можешь справлять?» – «Я, – говорю, – потому я такое образование получил, так как мой дяденька бухенистом на Апраксином (51) находились, и в их лавке я всякую науку мог превзойти».

– Что же ты, Петр Решето, – говорит барышня, – любишь книжки читать?

– Страсть моя, ваше превосходительство, – говорю, – ежели теперь занятный роман, я ночи читаю. Вот я недавно читал молодой Альфонс и прекрасная Амалия и графиня Лаварьер.

– Проси у меня, когда нужны книги, – говорит.

Стала она мне давать разные романы. И стал я чаще ходить получать приказы насчет кушаньев. Барышня тут перестала к тетке выезжать; свадьба не состоялась, так как за эвтого полковника нельзя было, сохраняя свою фамилию, выйти. Поэтому барышня оставалась больше

дома. Приду это, бывало, в сумерки, стою у притолока, а она со мной насчет романов беседует. Прошло много ли, мало ли. Стою это я так же раз в сумерки; вдруг она подходит ко мне и говорит: «Что же, Петр Решето, могу я тебе свою любовь открыть?» Меня, знаете, так и взяла дрожь: ведь генеральская дочь!.. однако я говорю: «Сударыня, чувствам моим нет конца, так как сам любовью пылаю и готов во всякое время вручить вам сердце!» Тут же я, знаете, в уста! И стали мы с тех пор любиться. Что тут было, говорить нечего. Гости не ездили; вечером сидишь с ней. Она, бывало, за клавесином, а я, примерно, по-кавалерски в сюртучке стою за стулом, руки за жилет и насчет своих чувств говорю. Опять поедет она вечером кататься, а я сзади на запятках у ней. Вечером чай... так время-то и коротали. Все это поджидали, когда умрет генерал, который очень плох был; тогда я ей и свою руку мог вручить. Только случилось тут происшествие. Хотя мы и вели дело в аккурате и Селифан был мой первеющий приятель, однако другой камердинер, Иван, такая была гадина, что, разнюхавши все это наше времяпровождение, прямо, значит, к брату барышнину, гвардейскому капитану, и донес. Сижу это я раз в ее комнате... руки в карманы, сигара в зубах (из генеральского кабинета пользовался: 50 руб. сотня). Вдруг шасть с заднего крыльца брат-гвардеец. Генеральская дочь только «Ах!» – «Ты что здесь?!» – говорит он мне. Однако я сейчас с аккуратом к стенке... Говорю: я насчет приказаниев пришел. «Пошел, – говорит, – на кухню!» Я ушел. Сижу в кухне. Смотрю: спустя немного погода ко мне в кухню идет капитан с полицейским. Так и так, говорит, когда я осмотрел тятенькино хозяйство, то у нас оказалась пропажа. Капельдинер Иван, говорит, на тебя показывает. А у меня, действительно, было кое-что, но только мне все это барышня «в знак любви» дарила, – серебряный ларчик, полдюжины ложек, бритвенница, шандал... и еще кое-что. Нашли это у меня. Сколько я

ни объяснялся, а меня к господину обер-полицмейстеру. Обер-то-полицмейстер в ухо. «Где ты, – говорит, – шельмец, вещи взял?» Я говорю: я не шельмец, а Петр Решето. Обер-полицмейстер покричал на меня, назвал грубияном, и стали меня судить. Как я ни объяснял, что я вещи от барышни и от покойного генерала (он к тому времени умер) получил за свои заслуги, однако не поверили, так как брат барышни, капитан, за эту мораль над сестрой непременно меня хотел в Сибирь сослать. Ну, и порешили меня через колокольный звон да в Сибирь. Что же делать-то! Через свою глупость!.. Одначе я духу не теряю, потому я князю отсюда писал, чтобы меня возвратили. К тому же, полагаю: ежели теперь барышня за генерала Ранцева замуж вышли, то и оне похлопочут. Да и Петра Решето, эх! в Петербурге многие знатные господа знают!..

Затем Петр Решето, ловко подмигнув, удалился на острожную кухню и, важно покуривая сигарку, снова с кем-то беседовал о князе Воронцове.

Я же подумал насчет рассказа, что хотя Петр Решето и подкрашивал его и особенно замазывал насчет серебряных вещей, но о связи его... чего же мудреного? Я еще недавно читал несколько французских процессов, где раскрывалось сожитительство с прислугой. При «Сентиментальном воспитании» по Флоберу¹ это бывало возможно. Конечно, такая любовь не походила далеко на идиллическую картину некрасовского «Огородника» (52). На этом предположении я и остановился.

С тех пор я чаще видел Петра Решето, когда на острожном дворе он с важностью сообщал случайным слушателям:

– Когда я служил поваром при придворной кухне, все за советом к Петру Решето обращались (он говорил о себе не иначе, как в третьем лице). Бывало, думает, думает старший повар с другими поварами, что бы такое новое изобрести. Ничего не могут выдумать. «Позвать, – гово-

¹ «Сентиментальное воспитание» – известный французский роман Флобера.

рят, – Петра Решето». Прихожу. «Скажи нам, – говорят, – Петр, что нам сделать?» А Петр Решето уж давно придумал. «А вот, – говорю, – не хотите ли фрикасы с розмарином?» Ну и согласятся. Будем говорить опять насчет приготовления. Моя часть была пирожные делать. У меня под рукой было шесть поваренков и два младших повара. Начнут они без меня делать; стряпают, стряпают, – нет: все не выходит. Прихожу. «Что вы, курицыны дети! – Сейчас засучаю рукава, подхожу к столу. – Смотри! Раз!.. два!» – у меня фигура, а у них ничего!

При этом Петр Решето, ковырнув пальцем, быстро подставлял слушателям с улыбкой ладонь, как будто на ней в самом деле находилась удивительная фигура печенья.

– Петр Решето редкую книгу не читал! – сообщает он в другом месте. – Да вот скажу я вам, например, в тобольском замке, как пришел я в Сибирь, приезжает губернатор. «Что, – говорит, – Петр Решето, каково тебе?» (Он меня в Петербурге знал).

– Скучно, говорю, ваше превосходительство.

«Ты, – говорит, – книжку бы почитал!» – «Я, – говорю, – просил у господина смотрителя, но таких книжек у них не находится». – «Что же ты, Петр, желал бы почитать?» – спрашивает губернатор. «Я бы желал теперь, – говорю, – ваше превосходительство, одно только сочинение генерала Жоминини». – «Отыщите», – говорит губернатор. Что же! искали-искали: нет у них в городе этой книги. «А я, – говорю, – других книг, кроме Жоминини, читать не желаю!..

– Так вот здесь какое место! Могу ли я по своей образованности здесь жить! Ведь нас по званию-то нашему во всей Сибири только двое, – я да еще кучер Илья в Тюмени! Только ведь и есть!

При этом Петр Решето решительно жал плечами и уходил, оставляя слушателей в самом загадочном изумлении. Кучер Илья, как оказалось впоследствии, был петер-

бургским приятелем Петра, служил у князей и так же был сослан, как и он. Петр Решето так был уверен в себе, что не позволял ни капли сомневаться в своих рассказах. Когда же кто из слушателей пробовал заикнуться, он грозно обращался и спрашивал:

– А ты знал графа Александра Степаныча Панина?

Противник пред таким вопросом останавливался в недоумении и нерешительности. Это была минута торжества для Решето; он уходил, важно подмигивая и ухмыляясь на противника. Из всех арестантов у него, однако, был один сильный антагонист, это – поселенец, который называл себя то дровендором из Царского села, то капитаном. Дровендор был хромой, ходил на костыле и в ознаменование воспоминаний носил военную фуражку с красным околышем, и также любил хвастаться Петербургом. Дровендор и повар друг друга ненавидели, так как видели друг в друге соперников. В первое время они часто вступали в спор и уличали друг друга.

Часто, когда дровендор распространялся перед публикой в углу двора или в камере, вдруг подкрадывался незаметно Петр Решето и внезапно выступал на арену.

– Хорошо ты так говоришь! – начинал он, – Ну, а скажи: ежели ты бывал в С.-Петербурге, знаешь ли ты Садовую?

– Ну, знаю! – говорит дровендор.

– Ну как она идет, скажи! – неотступно спрашивал Петр Решето.

– Что же как?

– Ну, вот тебе, положим, Невский... – чертил прутиком по полу повар, – покажи, как она теперь от Невского...

Дровендор начинал чертить своим костылем:

– Ну вот!

– Врешь: не сюда! – с злобной улыбкой перебивал повар, – куда ты пошел? Ну, куда?!

– Ну, вот тебе линия... – начинал опять дровендор.

– Линия, хорошо! а потом?

– Потом сюда, – вел дровендор.

– Врешь, не туда! – спорящие тыкали палками в разные стороны на предполагаемом чертеже и перебивали друг друга.

– Так сюда? – внезапно восклицал повар.

– Сюда! – уверенно говорил дровендор.

– А, сюда! Так ведь ты куда? К триухмальной арке, за город выйдешь! Эх ты! Ха, ха, ха! – начинал хохотать повар и, считая себя победителем, уходил из камеры.

Дровендор его ругал вслед.

Сначала арестанты слушали повара и, видя его уверенность, проникались к нему уважением, но скоро увидели в нем замечательного хвастуна. Хвастать – это обыкновенная страсть поселенцев в Сибири, но Петр Решето был образцовым и самым остроумным типом из них. Он до того наострился, что в похождениях романтических героев прямо вставлял свое имя и говорил: «А я вам вот расскажу, как Петр Решето к испанской принцессе ездил» и т. д. Когда он говорил, то он положительно сам был уверен в справедливости всего, что говорил, – как Хлестаков, – и готов был убить, кто не поверит.

Раз я вошел в камеру, где слышен был страшный шум и хохот.

Петр Решето стоял, раскрасневшись, посредине.

– Дураки! Вы вот не верите про это! – продолжал повар. – Я вам скажу, вот какие даже коровники у генералов бывают. Вот, например, в Царском Селе. Дом-палаты для коров-то выстроены; пол паркет; зеркала по обе стороны станка, а посредине ковры. Нечистоты – ни-ни: пылинки нет. Тут особые служители в ливреях ходят, и как только корова хвост подымает, сейчас бежит к ней служитель с особым черпаком...

Оглушительный хохот потряс камеру; арестанты схватились за животы; какой-то арестант стремглав выскочил из камеры и начал кашлять от смеху.

– Что, он постоянно у вас так? – спросил я, вышедши за ним.

– Все врет! – промолвил, харкая и надрываясь, арестант.

– И у генерала тоже не служил? – невольно спросил я.

– Все врет!.. – Арестант замахал руками и окончательно захлебнулся от смеха и кашля.

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

V.

Дедушко Абрамов

Среди острожной скуки я стал знакомиться с *общими* арестантскими камерами; здесь я просиживал целые часы, заслушиваясь разных бывалых людей. Общие камеры были обыкновенно обширные комнаты, напичканные, однако, донельзя людьми и провонявшие насквозь прокислой капустой, онучами, полушубками и тютюном. По нарам был раскидан всегда полуодетый народ в кургузых рубахах и штанах, из-под которых обнаружались атлетические мускулы ног и рук, широкие груди, нередко поросшие густой шерстью, и могучие тела, могшие вызвать восторг у любого жанриста. Часть этого народа спит, подложивши под себя худые армячишки и отчаянно закинув головы с открытыми ртами; другие режутся в карты, сидя на полу; третьи слушают какого-нибудь балагура и красная, острожного рассказчика. Прислушиваясь порой, как у последних неисчерпаемым потоком лились приключения за приключениями, как они поражали своих слушателей эффектами и невероятными происшествиями, я скоро понял, что это было импровизированное создание сказок, служащих лишь за-

бавой скучающим арестантам, а потому я мало стал интересоваться подобными рассказчиками, тем более, что все они повторялись. Я решился познакомиться с более скромными повествователями, но и более искренними. К числу этих знакомств относились мои сношения с дедушкой Абрамовым. Дедушко Абрамов чуть ли не был самым скромным во всем остроге. Это был худенький, беззубый старичок с тощими, седыми волосенками, жиденькой бородкой и какими-то птичьими, неподвижными глазами, которые он не поворачивал, а обращал вместе с шеей, что еще более напоминало его сходство с царством пернатых. Арестанты часто подсмеивались над дедушкой Абрамовым и заставляли его рассказывать, как он во время бродяжества, чтобы поесть, убил в поле крестьянского «ягняшку». Это считалось важным подвигом от такого скромного человека. Раз я наткнулся на него, когда дедушко вел какой-то странный рассказ о *белой арапке*. Когда он мне его повторил, то я узнал и его биографию.

– Был я-с дворовым человеком у князя Д*, – говорил дедушко, – и взяли они меня из деревни истопником в Петербург. Считал я это в те поры за большое счастье. Приехал я к ним: дом у них был свой, налево от Аничкова моста, большущий такой. Тут и жил князь с женой. Жена у него была белая арапка, привезена из белой Арапии. Красавица была эта белая арапка, и такая-то злющая, страсть! Сам князь просто ее ублажал и позлащал. Комнаты у ней были убраны все статуями, зеркалами, цветами да райскими птицами. Мраморная ванна была, и каждое утро в ней белая арапка в молоке купалась с разными духами и снадобьями, что ей доктор составлял. Сами мы эту ванну и наливали. Теперь к этой белой арапке много генералов ездило, ездили и князья; муж уж и не входил, так как он души в ней не чаял и боялся ее. Теперь были у этой арапки горничные, и они часто меня то за кофеем, то за щиколодом в лавочку посылали: все, бывало, гривенничек али

двугривенничек перепадет. Ну, а был я молодой, тоже и гульнуть любил. Только раз тут у нас с этим прогулом ссора вышла. Жил у белой арапки арап черный, и дан он был за ней в приданое. С этим арапом раз на праздник мы и отпросились гулять. Посидели в трактире и погуляли изрядно. К вечеру приходим: глядь! Весь дом в переполохе: говорят, белая арапка, княгиня, угорела. Ключница налетела на меня; как ударит ключами, так голову и проломила: ты, говорит, паскуда, всему причинен! На конюшню тебя отправить! – Воля, мол, ваша, а только я никак тому делу непричинен, потому как трубы в покоях княгини закрывал не я, а их капельдинер, черный арап. Тут меня позвали к князю; тот тоже хотел на конюшню отправить; я и ему то же сказал, что виноват не я. Тогда он напустился на черного арапа и отправил его на конюшню – дать 50 розог. С тех пор у нас дело с арапом разошлось. Стал арап своей барыне, белой арапке, все на меня насказывать да наушничать. Встали раз утром, а в большой зале статуя разбит – такой большой: голый стоял. Кто такой это сделал? Допрос... А арап и говорит княгине: «Это, – говорит, – больше некому, как истопнику!» Я говорю: «Мне на што статуя бить; пусть его стоит; нешто!» Однако белая арапка отправила меня на конюшню и велела мне дать 25 розог. Пришел я; жисть мне не в жисть: стыд, срамота! Потом, немного погодя, у арапки кто-то ночью умывальник разбил, а умывальник-то у ней был любимый: в приданое ей был дан отцом, хрустальный, с кольцом золотым. Опять на меня арап-капельдинер наскочил, а я ни сном, ни духом не виноват был. Арапка разозлилась, велела дать мне 50 розог. Я арапу погрозился: погоди, мол; все твои штуки выведу! Глядь, – в ту же ночь кто-то зеркало, что во всю стену было в гостиной, расколотил. Арап говорит про меня: «Это он за дранье отомщает». Велели мне 100 розог дать. Невтерпеж мне было житье. Вижу – арап мне, капельдинер, пакостит; князь сулит в солдаты от-

дать. Тут мы с Кирюшкой, молодым фореитором, восплакались (он тоже в тот день дран был) и порешили бежать. Вечером-то у господ бал был; белая арапка расфуфыренная ходит посреди генералов и князей: наехало – страсть! Мы с Кирюшкой в это время взяли лучших двух господских серых жеребцов из конюшни и... айда! Примчались прямо в Москву, там жеребцов продали и пошли пешком в свою деревню. Приходим. Сначала староста – ничего, а потом получил от барина письмо и говорит нам: «Вас, ежели вы придете, князь приказал взять и в солдаты отдать». – «Что же, – мол, – уж нам лучше в солдаты идти!» Сдали нас в Киеве и лоб забрили. Пробыли мы не больше полугода в военной службе. Трудна показалась солдатская служба: в то время крепко наказывали. Пошли мы с Кирюшкой опять в бега. Шатались мы, шатались, и посоветовали нам добрые люди идти к помещику Петру Александровичу Волкову. Он беглых принимал и зачислял за место своих беглых крестьян. Принял он и нас. Жили мы с полгода, да случись тут дело! Присланы к нему были на улику его беглые дворовые люди; они как-то и разужнай, что нас двое недавно принято помещиком, и покажи они при деле, что нас в бегах видели, да к своему воровству и причислили, так как остальные их товарищи скрылись. Нас осудили и отправили в Сибирь *конвертными*¹ для исполнения наказания. Жили мы с год в Сибири, в Тоболе, как вышло наказать нас 20 ударами плетей. Перепугались мы и пошли опять бродить по Сибири. В те поры тут было свободно; бродяги ватагами ходили; много они и разбоев, и грабежей учиняли, да нас Бог помиловал: мы в стороне держались. Однако при розысках нас взяли в 1854 г. в Ишимском округе. Обсудили нас тогда плетьюми наказать и в завод сослать, да под манифест подошли и посланы

¹ Конвертными тогда назывались, как передавал дедушко, пересыльные, отправляемые по этапам в Сибирь при особых конвертах; некоторые только там уже получали наказание.

были на поселенье в Иркутск. Тут я где работишкой промылял – вот я сапоги умею шить-с, – да стар стал-с, так больше подаянием питался-с. Начал я опять по деревням ходить, отлучался далеко да 12 лет и проходил вчуже. Теперь снова за *бесписьменность* судился-с.

– Чего же ждешь, дедушка?

– Я уж получил 20 плетей и на четыре года в заводы иду. За *непомнящего* судился.

– Да ведь уж тебе много лет?

– А 65-й годок-с. Плох уж я, стар-с. Уж там, видно, и помру-с.

Дедушко повернул шею и невозмутимо хладнокровно посмотрел своими птичьими глазами.

VI. Жиган

Как-то вечером я сидел у решетки моего окна, смотря на унылый, поросший мелкой травкой острожный двор. Легкие тучки неслись по темнеющему небу. Ветки зелени качались за белой высокой стеной и напоминали о лете. Вечер был свежий и пахучий; издали навевало травой и полевыми цветами; откуда-то доносились отрывистые звуки колокольчика. С верхних этажей острога видно было, как расстилалось далеко зеленое поле, и мелькали дальние огни цыганских костров. В окнах внутреннего фасада высывались арестантские лица, обвеваемые ветром; многие сидели, примкнув к решеткам и высунув наружу голые ноги. Местами слышалось мурлыканье разных заунывных песен, то вдруг обрывавшихся, то вновь настраивавшихся. Но вдруг где-то посреди смешения звуков вырвалась сильная нота; громче всех разлилась эта песня в воздухе, и могуче и стройно воцарилась над всеми остальными звуками.

Пелась популярная в остроге песня разбойника Латышева – прощанье с жизнью и родиной:

Теперь бы я помчался к родной стороне,
С друзьями б повидался... –

залился голос и вдруг разразился такими плачущими, тоскующими нотами, что глубоко потряс весь острог, и без того грустно настроенный.

Арестанты чутко прислушивались к этой песне, и, когда звук последней ноты ослабел и замер в воздухе, острог разразился громкими восторгами.

– Молодец, Ваня! Душа человек! Валяй еще! Ванька, повтори! Серебряков, спой еще ее! – галдели с разных окон острога.

В одном из этажей высунулась голова молодецатого парня, тряхнула кудрями и залилась снова. Эффект был чрезвычайный! Повторивши, певец перешел к более веселым и удалым мотивам фривольных острожных песен.

На другой день я встретил нашего певца на дворе острога. Это был красивый парень, с широкой грудью, с румянцем на лице, с закрученными молодецки усами, с примазанной маслом головой. Он имел претензию на франтовство и лоск, в противоположность плохому донельзя серому кафтану, который он форсисто закидывал на одно плечо, донельзя коротким холщовым штанам и огромным, стоптанным, надетым на босу ногу «котам», с которыми невообразимо как он справлялся. По медному кольцу на пальце видно было, что он принадлежит к острожным дон-жуанам.

Зашла речь насчет его песен.

– Что же-с, надо как-нибудь скуку препровождать в нашем монастыре, – говорил, шаркая туфлями, певец.

– Давно вы здесь, в остроге? – спросил я.

– Третий год нахожусь в заключении.

– Что же вы делаете здесь: ремесло какое, занятие у вас есть?

– Играю-с, – почтительно, но развязно ответил певец.

– То есть как играете? – спросил я, несколько озадаченный такой профессией.

– Да в карты-с.

– Это и занятие?

– Это одно и занятие-с.

С тех пор, заметив хорошо певца, я постоянно встречал его в остроге. Он был всегда боек, весел, щеголеват, мазал волосы, крутил усы и шаркал немилосердно туфлями на босу ногу. Целый день он был в занятиях – то ропливо бегал на кухню или в «майдан», хлопотал около казенного пайка хлеба, так же быстро продавал ее и немедленно проигрывал, толкался по коридорам, затем летел повидаться с какой-нибудь любезной на женской половине, где всегда толпились кучи арестантов-щеголей и «любезников». Здесь он отпуская комплименты и разные остроуты. Никто не выдумывал острожным дамам лучших «бо-мо», никто лучше не волочился, как он. Вечерами он услаждал острожную публику своим звонким тенором, а ночь напролет играл в карты, проигрывая все, что мог. Звали его за его бойкость «*крученым*», а настоящую свою фамилию он объявлял Серебряковым.

– И что это вы играете, от скуки, что ли? – спросил я, встретивши раз его проигравшимся до нитки.

– Нет-с; больше бедность заставляет, так как здесь копейку негде получить... – говорил он. – Теперь возьмите, сударь, сами знаете, какие у бродяги деньги; вот ведь все на мне-с... – он показал на свой живописный костюм.

– Что же вас, поселенцев, больше бродяжить заставляет?

– Гм! Как что-с? Зачем же меня сослали в эту «Сибирь немшонуую?» И чем я здесь теперь заняться должен-с? Положим, в Расее я находил кусок хлеба. Я «кубовщиком» на Марьяевской ярмарке служил, половым был-с, разносчиком

товаров: деньги наживаешь и живешь в свое удовольствие. А здесь что-с? К сохе я не привыкши-с; что же я должен делать? Побился я туды-сюды... везде мозоли натер-с. На приисках жисть проклял; у мужиков сибирских в работниках жить – хуже каторги. Ну, и плюнул, пошел бродяжить-с... потому, как я хочу жить в свое удовольствие!

– Да в бродяжничестве-то чем лучше? – заметил я.

– Что же-с: я там все-таки сам себе хозяин; хоть и под кустом, да вольный человек. Хочу – лежу, хочу – сплю, а то в деревнях и покую на славу!

– Ну, а где деньги-то на это достанете?

– Эх! умному бродяге не достать денег! – заметил он, вскинув гордо волосами. – На выдумки пускаемся, сударь, лекарством, волшебством, колдовством промышляем, мужиков обделываем, да еще нам же кланяются...

– Ну, а вы-то что делали?

– Я монетчик, и за это сужусь-с.

– И хороший монетчик? – хотел я ознакомиться с этим производством.

– Нет-с: не умею! – ответил Серебряков, улыбаясь.

– Как так?

– Да зачем же уметь-с? Ведь это только мужики верят. Они здесь ужасные охотники до фальшивых денег, – разъяснял мне Серебряков. – Вот найдешь такого мужика-охотника и заберешь у него на матерьял рублей 30–50, как удасться, начнешь ему мазать что-нибудь на бумаге, а потом и *латата* задашь (т. е. убежишь), а то поедешь с ним в город, будто матерьял закупать. Деньги в кармане; выйдешь на базар; затерся в народе, да и поминай, как звали! Бывает, что гонятся за нами; так я раз что сделал. Вижу, мужик не отпускает меня. Я, бац, подхожу прямо к полиции, вижу, мужик стоит издали. Я и давай ему махать рукой, чтобы подъезжал, а сам стою с солдатом у ворот, разговариваю. Увидел это мужик, повернул лошадей, давай удирать, а мне того и нужно!.. На все это надо иметь сноровку и опять

вольный дух. В деревнях так и живешь в свое удовольствие: знай, из одной деревни в другую щелкай!¹

– А ведь вот попадаетесь же в острог... – снова возразил я.

– Что же тут? Только осудишься, – с видом опытного человека продолжал Серебряков, – ну, посидишь год, два, а как пошел в завод, так и уходишь. Все же я, коли бегу, – год, два на воле буду, ежели *с качеством* не попадусь².

– И неужели этак целую жизнь вы будете по острогам ходить?..

– Да нельзя-с; иначе ничего не поделаешь! Так уж, видно, нам на роду написано! – фатально прибавил он. – Хе, хе, хе!.. позвольте папиросочки-с...

Казалось, Серебряков нимало не унывал: он как будто свыкся с своей обстановкой, лучшего ничего не ожидал и был вполне доволен своей сферой. Несмотря на нищету, голод и проигрыши, он не падал духом и жил от игры до игры. Таких игроков в остроге называют *жиганами*. *Прогорелые*, т. е. проигравшиеся, они играют на пайки хлеба, на порцию казенных щей. Терять им более нечего, дорожить нечем; поэтому они все были беспечальны, и лучшим типом веселости и ухарства был у них Серебряков. Я не знаю, бывало ли ему когда-нибудь скучно и грустно, и выходил ли он когда из шутовской своей шкуры. Если и находило на него что-нибудь подобное, то как будто невзначай. Взберется он в верхний этаж, присунется к окошку, взглянет вдаль на город, на церкви высокие, на голубое небо и вольно несущееся облако, – и вдруг зальется песней, и сердечные ноты запоют и заплачут в его голосе; но прошла минута, и где-нибудь он уже пляшет, бьет в шайку, как в бубен, поет развеселую песню и шле-

¹ Серебряков принадлежал к так называемым *нечестным* монетчикам, в противоположность *честным*, исполняющим договор с крестьянами по делам денег.

² Под именем *качества* разумеется преступление.

пает туфлями, или фигурирует перед окнами женской половины, взывая:

– Фф-ю! Павлинька!

VII. Француз

Однажды зимой перед вечером я посетил камеру, с которой давно собирался познакомиться. Состав ее был большей частью из бродяг. Тут были дезертиры, беглые поселенцы и каторжные, тщательно скрывавшие свои клейма; был какой *русский татарин*, выдававший себя то за татарина, то за татарского мещанина русского происхождения и одинаково подходивший к тому и другому типу; тут были люди, приписанные к разным обществам одновременно, – лица, перебивавшие солдатами, поселенцами, каторжными, опять солдатами, мещанами и т. д. Словом – это было скопище лиц самое пестрое и самое разнообразное. Все они, однако, были теперь с одним званием, терпели одну участь, и все одинаково ненавидели и бранили место ссылки – «Сибирь немшоную».

Застал я их, впрочем, за задорным спором, свойственным всем ссыльным и поселенцам. Каждый из них хвалил свое место: одни восхваляли Астраханскую губернию с ее арбузами, другие хвалили красивую Кострому, третьи Москву-матушку и также московский замок; какой-то малоросс клялся «маткой» и «баткой», что «лучше Черныговской губернии во всим свити нет!»

– Что говорить! – решил один философ-бродяга, лежавший с задранными ногами на нарах, – Российская земля, положим, хороша, но в иностранных землях, рассказывают, еще лучше.

– Ты почему знаешь, что в иностранных землях лучше? – обратился я к нему для первого знакомства.

– Да вот спроси у *француза*, каково там, в немецких да во французских землях, – сказал он флегматически, повернувшись на нарах.

Я взглянул на указанного арестанта. Это был черноволосый мужик, с большой русской бородой, в крестьянской шапке, волосы в скобку, – словом, имел вид как нельзя более русский. «Что это за француз?» – подумал я.

– Французская земля – одно слово! – начал чисто московским выговором *француз*, приближаясь к нам. – У нас вовек не найти того, что там есть. Так хорошо, что, я говорю, здесь бы умереть, там бы воскреснуть!

– А вы были во Франции? – спросил я его уже с любопытством.

– Как же, сударь! Я там порядочно был и насмотрелся-таки довольно.

– Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали?

Мы уселись в уголок, закурили, и так называемый француз сообщил мне свою биографию.

– Скажу вам, сударь, что я служил в солдатах, и стояли мы во время Крымской войны на Аландских островах. В те поры подходил к нам француз Непир с англичанами. Войска у нас было очень мало, а тут еще комендантову жену взяли в плен, как она из крепости отлучилась. Она, значит, и пишет с корабля мужу записку: «Отдай да отдай крепость, потому как француз ничего нам не делает». Записку эту у нас в крепости перехватили, сдать коменданту не позволили, а стал распоряжаться крепостью священник¹. Держались мы, держались – видим, они палят, всю крепость у нас испортили. Решили тогда сдать крепость и вывесили белый флаг. Досадно, а нечего делать! Как мы сдались, посадили нас на корабли и повезли сначала в Англию, а затем в Тулон, французский го-

¹ Таким образом, как видно, солдаты объяснили слабость коменданта Бодиско. Этот анекдотический рассказ мы не нашли нужным выкидывать из повествования дезертира.

род. В Тулоне нас, однако, не стали держать, так как тут раньше русские пленные пришли, да в городе, подвыпивши, давай трактиры да дома разносить. Потому французы стали осторожность иметь, а перевезли нас на о. Эльбу, куда император Наполеон был заключен, и отвели нам здесь особые казармы. Тут был особый французский гарнизон, и тут-то мы насмотрелись на французскую военную службу. Хорошая служба! Теперь ученье – выйдут с барабаном, поучатся с час. Потом барабан забьет, и пошли по трактирам да по кофейням. Придут и кофий пьют и едят вместе с офицерами. Удивительно, как это у них!.. И все так дружно, великотно толкуют. Видели и суд мы над одним солдатиком. Судили его тут за покражу рубах. Судят у них опять особо. Большущая такая зала; в одном месте за столом, значит, судьи сидят, а по другую сторону, значит, публика; кто хошь входи. Теперь преступник на скамейке сидит, и выходит у них зашитник, по-ихнему, *аввокат*. Он и говорит: «...так и так, господа судьи: это невинный человек; вы помилуйте его!» Тут судьи кладут шары зеленые и красные; коли вынется больше красных – казнить, а зеленых больше – помиловать. Когда мы жили в казармах, нам выдавали французский паек, такой же, как и ихним солдатам. Только это стало нам мало, потому мы к их пище не привыкли. Дадут нам, бывало, булку дня на три – отличная белая булка, сверху сахарным маслом помазана. Не утерпишь, всю до обеда и съешь; а суп легонький: ни капусты, ни гороху нет. Дадут плодов, яблоков, фрукту разного; а это нам что? Съешь, и опять голоден. Стали мы жаловаться. Священник к нам русский из Парижа приезжал; так мы все ему обсказали. Дело доходило до Наполеона императора. Прислал он своего генерала. А у нас был юнкер, хорошо по-французски разумел: он и объяснил этому генералу, что русский солдат не может ихней пиши употреблять: он любит редьку, капусту, квас да хлеб, чтобы в брюхе туго было, а французской пиши он

есть не может, голоден. Тогда приказали перевести нас во Францию на вольные работы. Проезжали мы многие города, и все на чугунках: были и в Лионе, и в Бурде, и в других городах; приехали наконец в Париж. Посадили нас в особый дом с оградой. Господи, сколько народу сбежалось смотреть на нас! И какой отличный народ! Все несет нам: платья, сертучки, жилетки шелковые – французского шелку, сульеты, рубашки – все через решетку кидают. Один кричит: *русь, русь*, на *шемиз!* Другой: на *сулье!* Кто бутылку рому сует. Хороший народ! Тут нас до вечера в город отпустили с тем, чтобы мы к 7 часам на железную дорогу собирались. Пошел я; встречает меня француз. «Русь!» – показывает мне на ноги и зовет с собой. А на мне были сульеты немного стоптанные, так чуть-чуть. Что же? Зазвал меня в магазин, купил новые и дарит мне; я хотел было ему старые отдать. «Нет! возьми, – говорит, – с собой; не надо!» – головой замотал. Вот какой народ! К вечеру мы на машину пришли, и отправили нас в разные города на фабрики. Вот и я попал в один маленький городок, тоже поступил на фабрику. Чудесное было житье! Климат теперя у них теплый: виноград растет; сады такие-то веселые; окон никогда не запирают, а кругом плющ да цветы... Господи! истинно рай земной! А в саду это девочки, в белых платьицах, такие хорошенькие, землю плугами под виноград обрабатывают. Ну, и работницы же!

– Что же, и вы, верно, удивляли своей русской силой?

– Куда нам, сударь, против этих девочек! Мы пробовали это пахать; в поту из сил выбьешься, а они ничего, ножкой поналяжет и так работает, что чудо! Потому, тут сноровка нужна. Удивительный народ! А что касается до обхождения, так великательство ужась какое! Теперь, несмотря на то, что я солдат, а ходил я в гости к жандармскому ихнему бригадиру, и была у него дочка; милая была это французенка, и какая добрая! Придешь в прихожую, а она выйдет, возьмет за руку и поведет в сад; там между цветами

мы и ходим. «Русь, Русь, – говорит, – учи меня по-русски твое имя писать; я тебя по-французски стану учить свое». И возьмет это меня рученькой-то да руку мою по бумаге и водит. Истинный ангел! И какая простая: сядет, бывало, рядом и болтает, и за руку берет, и волосы чешет; только уж насчет баловства... ни-ни! Это уж тоже не позволит!

– Что же, вы не женились там?

– Нет-с, а предлагали. Одна графиня французская еще в Тулону: «Русь, иди в нашу веру, – говорит, – и *кюре* (поихнему поп) тебя окрестит. Мы тебя женим, говорит, *мамзель донне и марие...*» Ну, да я не захотел. Пять франков дала мне и крест. Добрая графиня! «Когда вздумаешь, скажи!» – говорит.

– Русских они любили, – ничего; вот и девочка бригадирская тоже. «Русь, – говорит, – *бонь*, только *буа боку дю вэнь*. Русь, – говорит, – *буа гран вер*», – это значит, большими стаканами пьет. Там все вина легкие: «*вэн блян*» называется и «*вэн руж*», а наши все до коньяку дорываются. И действительно, покутить любили! Идешь, бывало, по городу; народ толпится и хохочет. «Что это? – думаешь, – медведя показывают?» А это, глядишь, наш пьяный русский какой-нибудь шарашится. Вот только за это наших и не любили.

– Как же вы в Россию-то из Франции воротились? – спросил я моего французомана.

– А вот я вам скажу. Когда мы были еще в плену, аглицкая королева вызывать стала из русских пленных, кто желает служить и обучать артикулу панов. Тогда польский легион формировался, а начальницей, значит, его была аглицкая королева. 15 талеров в месяц давали, хорошую амуницию и хорошую пищу. Несколько из наших и согласились, и я пошел; другие же отказались. «Измена», – говорят; мы же подумали: «Мы против своих драться не будем, а будем только караулы занимать». Действительно, мы все в Скутари, около Константинополя, простояли да караулы занимали. Приедет это лорд посланник – сходим

к нему на смотр, пройдем мимо него маршем; подадут нам по чарке, и пойдем себе в лагерь. Кончилась война; нам дали демиссии, т. е. паспорта, на два года: куда хочешь поезжай – во Францию и в немецкие земли, а после двух лет, куда знаешь, приписывайся. Оставили нам тонкую амуницию и дали по 40 франков на дорогу. Стали мы думать: «Куда теперь?» Люди мы вольные... Хорошо бы и тут, да опять к родине тянуло, в Расеюшке побывать: сердце стало тосковать. Отдали мы деньги на греческий корабль, демиссии эти сами порвали и явились в Одессу. «Из плена, мол, воротились». А между тем товарищи, которые раньше нас воротились, уже объявили об нас, что мы измену учинили. Из Одессы, нам ничего не говоря, нас в Екатеринослав препроводили вольно, а там, как мы пришли, так представили в военную комиссию и заарестовали. Осудили нас сквозь строй и в киевскую крепость... Я бежал оттуда, да вот с тех пор и странствую; в Сибири на заводах побывал, оттуда пробирался в Рассею, да вот опять поймали...

– Куда же вы теперь думаете бежать?

– Куда Бог приведет! Думал раньше туда, к турецкой границе, да уж, видно, не удастся... А земля Франция!.. еще бы там побывать хотелось. Одно слово – здесь умереть, там воскреснуть!..

– Берегись, ожгу! – раздалось в темном коридоре, и дверь камеры мгновенно распахнулась. Затем влетел босой арестант с громадным ушатом казенный шей; запах кислой капусты и теплый пар обдали комнату.

Арестанты столпились, вынули ложки, перекрестились и начали хлебать. Француз также снял шапку и приблизился к ним.

– Эх! мы ведь не во Франции! Ну-ко расейских... – подмигивая, сказал он. – Ох! ты, марцовка, марцовка каторжная!

В комнате совсем стемнело. По мрачным коридорам носились арестанты с ушатами и громкими криками. «Ожгу!

берегись, ожгу, ожгу!» Слышались проклятия, брань, смех, хлопанье дверей, – и острог гудел во мраке, как ад. Пар клубами валил из кухни; кислый воздух разносился по всему острогу. Было как-то душно, тяжело в этой атмосфере. Или это, может быть, от того, что я наслушался о теплом небе Лотарингии и Шампаньи?..

VIII.

Тюремный сказочник

В подвальном этаже нашего острога был глухой коридор с одиночными секретными камерами. Сюда запирали обыкновенно или очень важных преступников, или проштрафившихся арестантов – вместо карцера. Одиночные кельи, находясь в нижнем этаже фундамента, вросли в землю; окошки едва-едва выходили на поверхность земли снаружи. В этом-то убогом помещении раз арестанты коротали длинный осенний вечер. Сальная свеча, вставленная в деревянный обрубок, тускло горела на полу; часовой лениво дремал, опершись на ружье; подчасок спал на сыром полу коридора, свернувшись в клубок. Дождь дробил на улице; ветер порывисто взвизгивал, и железные листы острожной крыши глухо трещали. Время тянулось тоскливо и уныло.

Належавшись и выспавшись после обеда, секретные арестанты начали показываться около форточек дверей.

– Спице, что ль, ребята? – окликнул кто-то хриплым голосом из форточки.

– Это ты, Кузьма, покаянная голова! Ты еще не умер? – раздалось из другой.

– Хе, хе, хе! Жив еще! а что это у нас Петр Алексеич закручинился? Что он нам, какую сегодня историю подведет? Петр Алексеич, ау!

Где-то громко, с вариациями, зевнули. Голова Петра Алексеича показалась около окошечка. Это был

тощенький и низенький арестант, про которого можно было сказать: «в чем душа держится?» Лицо его было зеленое, отощавшее, глаза впалые, хотя живые и бегающие, бороденка реденькая, волосы торчали вихрами, и вся фигура какая-то худосочная и скомканная. На его тощем теле торчал продранный арестантский армячишко без воротника; коротенькие и узкие штанишки болтались на тонких, как спички, ногах, обутых в истасканные башмаки. Видно, что жизнь не улыбалась Петру Алексеичу. Кроме настоящего названия, его звали «Иваном Мотыгой». Он был отчаянный из игроков острога и любил поставить ребром последнюю копейку и последний паек хлеба. В последнее время он, раскутившись, проиграл казенный халат, за что и был посажен в карцер на покаяние. Несмотря, однако, на непредставительность и тщедушность этой природы, лицо Петра Алексеича было самое интересное и любимое в среде арестантов. Это был красноречивый острожный рассказчик, которого арестанты любили слушать. Находясь теперь в секретной, он каждый вечер забавлял арестантов сказками и бесчисленными приключениями из своей жизни, что развлекало острожную публику в долгие вечера; рассказы эти то переносили ее в область фантазии, то передавали ей горькую и трогательную арестантскую исповедь, полную жизненного горя.

– Петр Алексеич, потешь! – приставали арестанты. – Расскажи нам еще про свою жисть... али про свои занятия, как, значит, по карманной части благодумствовали.

– Эх, братцы, вспоминать-то тошно! – заговорил, несколько очнувшись от сна, Петр Алексеич, – много бы я вам мог объяснить, да что слова-то терять!.. Вы думаете, что наша карманная часть и в самом деле прибыль да богатство дает! Думаете, и в самом деле житье нам всласть, аль спокон нам есть? Хе! Скажу я вам: это самое пропащее дело!

Петр Алексеич начал задумчиво вертеть сигарку – видно, что он был несколько в мрачном расположении

духа. Однако арестанты наострили уши: они знали, что это только введение. Часовой, несколько оживившись, поправил свечку: огонь веселее запылал в коридоре.

– Потише только, братцы, разговаривайте! – заметил наставительно солдат.

– Молчи, служба, слушай: уму-разуму научу! – промолвил в свою очередь Петр Алексеич.

– Скажу я вам, братцы, как я сделался жуликом и как я эту самую жизнь проклял и бежал от нее, – начал он свой рассказ сказочным тоном. – Был я когда-то не Иваном Мотыгой, а, примерно сказать, купеческим сыном Петром Алексеичем и с тятенькой моим в Москве лавку держал. При жизни меня тятенька держали в строгости и баловства не позволяли, однако, приходя в возраст, я начал пошалить: пойдешь за делом – и в кондитерскую; тяпнешь денег в лавке с приказчиками, да и в трахтир. Дал мне родитель раза два порку, иначе я не унялся. Вскоре я, значит, тятеньки лишился и совсем свою волю взял. Капиталу осталось 25 тысяч, а было мне всего годовиков 20, и, Господи, как я закрутился тут! Захватчу это я приятелей и прихлебателей, и пустимся мы на лихачах вдоль матушки Москвы, а трактирщики уж нас поджидают... Огни горят, орган играет, цыганочки пляшут да плечами лебяжьими поводят; пробки хлопают, шипучка рекой льется; красавицы нас любят и милуют, за наши денежки целуют. А в голове, братец ты мой, туман и безумство... Жить! Надоест в трактире, сядем на лихачей и покатаем мы к привилегированным девицам танцевать танцы и пить вина лучших сортов. Таким-то манером в годик с небольшим мы денежки-то все и профинтили. Остались мы: я да двое купеческих детей со мной – что называется на фу-фу! Стали мы в трахтиры меньше заглядывать, а больше во царевы кабачки. Прекрасные девицы на нас смотреть не стали; сюртучки пообносились; картузики поистерлись; кармашки попротерлись – ну, значит,

наступил Великий пост. Сидим мы раз в одной портерной и с горя полуштоф распиваем да насчет своей фортуны размысливаем. И подходит к нам человек, невидный такой, шлафрок худой, и сам кривой; рожа опухла – видно, с похмелья. «Что, – говорит, – молодцы, задумались, аль жевать нечего?» Мы начали ему свою фортуны объяснять. «Эх! – говорит, – ребята, я вижу, вы молодые, а ума в вас ни на грош; есть у вас грабли?»

«Да что же, мол, нам с граблями-то делать?» – «Ставь, – говорит, – полуштоф: разуму выучу!» Мы думали, что он насчет какой работы. Поставили ему вина, и стал он нам механику своего ремесла рассказывать. Тут мы с ним знакомство свели, и начал он нас в свою шайку звать, своей науке обучать. Поступили мы. Стали мы прогуливаться по бульварам да по гуляньям, стали в Марьиной роще и под Новинским отличаться. Однако нам это мазурничанье хуже горькой редьки досталось. И скажу я вам теперь, что эта карманная часть – самая анафемская! Выйдешь это оборванный да оципанный; с голоду да с похмелья зуб на зуб не попадет; идешь – оглядываешься: ровно, каждый бутарь тебя ловит. Съудишь ли что по воровскому делу – тебе грош дадут, да и тот в кабаке снесешь; опять же за всякое дело спиной отвечай. Бывало, таскаешь, – ан, смотришь, тебя за шиворот да в часть! А там в зубы, в рыло, да дерут, дерут, как сидорову козу! Выпустят; с голодухи опять таскаешь, таскаешь, таскаешь, пока опять цап! – и опять дерут. Вышел – хоть тресни с голоду, – и опять за то же надо приниматься. Такая уж наша воровская участь! Господи, думаю, да какое это житье проклятое! Горько мне стало от этих розог, и вздумал я все бросить и из Москвы удрать. Оставил я товарищей и пошел я именем христовым по дорогам побираться, будто на богомолье следую. Забрел я в Вятскую губернию, и тут мне вышло прелюбопытное знакомство. Вот слушайте! Зашел я в один заезжий дом на до-

роге, пропил шесть копеек подаянных, весь хлеб и сижу себе смиреннько в углу. Сиделец посматривает на меня. «Что? – говорит, – ты прохожий?» – «Точно так, – мол, – работы на зиму ищущ». Потолковали мы; сиделец, значит, смекнул, из каких я. Приехал в те поры богатый мужик, выпил с полуштоф и давай шептаться с хозяином. Вижу: благоприятели. «Вот, – говорит сиделец, – человек в рабочие просится», – и указал на меня. Заговорил это мужик со мной, порасспросил да, вижу, сидельцу и подмигивает. «Так ты, – говорит, – московский? Можешь ли ты мне верно служить? Мне надо аккуратно за конями ухаживать». Выпили мы тут, и согласился я идти к нему в работники. Поступил: вижу, дом богатеющей, и живут тут три брата. И молодцы же к молодцу, рослые да видные, силища у всех трех – страсть! Подковы гнут, а старший брат тройку на бегу останавливает. Живу я у них неделю-другую, месяц; ознакомился, и стали они мою верность пытаться... Видят – ничего... Пришла зима; поговаривают они, что скоро работа будет. Раз ночью запрягли они тройку самых лихих коней, взяли меня кучером, сами приоделись, приосанились, как на свадьбу, взяли вина с собой, подвязали бубенчики и поехали. Проехали мы ночь, и на другой день в сумерки заехали в заезжий дом к знакомому сидельцу. Отдохнули маненько и, как стемнело, поехали дальше в село и прямо к попу на двор; богатеющий тут поп жил. Меня оставили с лошаадьми и велели ждать. Сами с попом чай стали пить и начали у него овес и муку торговать: сторговали, деньги выложили, магарычи распили. Вынес и мне один брат стаканчика два. «Смотри, – говорит, – только не дремли!» Между тем у попа все пир идет. Уж стало за полночь. Тут-то братья ровно отрезвели; заперли двери, попа связали, жену и свояченицу тоже, вынули ножи и давай постращивать: «Выкладывай деньги!» Поп давай молить и жизни просить с малыми ребятами. Мигом братья пош-

ли в тот сундук, куда хозяин спрятал деньги, взяли свои да поповских несколько тысяч, забрали серебро, золото да что поценнее из имущества, потушили огни, приперли двери снаружи, да как кинутся в сани: «айда!» говорят. Я крикнул на тройку – да стрелой по деревне и помчались, а колокольцы-то с бубенчиками вдарили и залились. Я, значит, забыл их подвязать! Братья так и схватились за голову. Выехали за деревню, однако колокольцы отрезали. Тут один брат из хозяев сам стал править лошадьми и начал их приудерживать; прошли мы версты три ни шатко, ни валко, значит, коней жалеючи. «Господи! – думаю я, – сгубят эти ребята и мою, и свою голову! Что же? – говорю, – хозяева, хоть бы пошибче: не равно, погоня будет!» – «Молчи, – говорят, – не твое дело!» А между тем в деревне, как мы промчались с колокольчиками, кто-то к попу завернул, и пошла тревога. Верст через пять слышим, погоня: раздается топот за нами. Братья как ни в чем не бывало, остановили лошадей и стали прислушиваться. Скачут все ближе. Тут старший брат как встал да гаркнет на лошадей, – и взвились же они, как вихри, только ветер нас пронизывает. Верст пять мы мигом отхватили и погоню оставили за собой. Смотрю, – братья опять лошадей приудержали и пошли рысцой: меня ажно сердце стало брать. Погоня опять, слышим, идет – все ближе, ближе – стали уже в виду. Тут встал второй брат, гаркнул – и опять мы понеслись, как вихорь. Верст пять проскакали, стали приудерживать и пошли было шагом, а две тройки опять уже за нами так и дуют: значит, решились догнать, во что бы то ни стало. Вижу, уж около нас летят; только кони храпят у них, из сил выбиваются. Я тут так струхнул. «Ну, – думаю, – влопались; пропало дело!» Хотел из саней выскочить да в лес, а меня старший брат хватить за ногу, как крикнет: «Куда ты, сволочь дохлая!» – да как мотнет меня с размаху в маковку: я так и растянулся на дно саней, – только в глазах завертелось. Очнулся – мы

снова, как птица, летим, а погони и совсем не слышно; значит, их лошадям совсем не вмоготу стало, а наши кони свежие, только что расходились. Пустились мы проселками и гнали же мы в эту ночь! – почесть верст 200 сделали и к утру домой в ворота влетели. Ну, тут я только ахнул!

Мигом мы добычу в подвалы да секретные места попрятали; братья пошли по деревне ходить, а я на сенник спать завалился, потому от этого ушибу у меня сильно голова болела. К вечеру, слышим, по деревне начальство с колокольцами летит. Я опять струхнул. «Ну, – думаю, – доберутся до нас!» – и прямо, значит, как подкатило начальство – у нас перед воротами и остановилось. Вижу, вышел к нему старший брат без шапки, смеется и разговаривает. Немного погодя, воротился старший брат в комнату, пошел в сундук, вынул пачку, отсчитал, вышел и поклонился... Приехавший снова посмеялся с ним, крикнул на ямщика и умчался на тройке. Братья только перемигнулись.

Так вот как люди дела обделывали! После я узнал, что они все свое богатство таким способом накопили. Выждут, выждут хорошее дело, обделают тонко, и сидят смирно год, два – потому народ тонкий, *образованный* народ!

Вот каковы молодцы-то бывают, вот воры-то с аккуратом, а не то, что наш брат карманник, человек пропащий!

Много я опосля по странствию таких купцов видал. Кто фальшивые деньги распушал, кто краденными вещами промышлял, кто при пожаре шкатулку с деньгами тилиснул, кто с чужой женой мужа обокрал, а кто и убийством промыслил, да осталось все шито и крыто. Так вот как другие прочие богатство-то наживают и целы бывают. А мы – какие мы воры: украли луковицу да и погибай!.. Эх! – И Петр Алексеич зарядил себе такую понюшку, из тавлинки, что нос его зашипел на все лады, и во всем коридоре было слышно, как сказочник сорвал на нем свою злобу.

IX. Острожный Брут

Раз около полудня наш острог сильно волновался: до него долетел слух, что высланных на работу арестантов побили солдаты. Дело было так.

В городе ждали какого-то ревизора; городское начальство распорядилось высылать арестантов на работы для насаживания какого-то искусственного садика, долженствовавшего быть декорацией затхлых и грязных канав, которые надо было прикрыть от почтенного гостя.

Арестантам обещали сначала плату и в первый день дали по три копейки; во второй полицеймейстер купил на артель несколько десятков калачей и молока; на третий, однако, всякая плата прекратилась. Работая без копейки денег целые дни, арестанты начали роптать. Раз они, проработав с 4 часов утра до 3 пополудни, начали проситься в острог обедать; конвой и квартальный их не отпускали. Началась перебранка и принуждение. На случай ехал мимо дежурный по караулам; унтер-офицер подошел к нему и начал жаловаться на арестантов. «Прикладами их, шельмов!» – прикрикнул для страха арестантов старый капитан и, успокоившись, поехал дальше. Арестанты продолжали требовать, чтобы их отвели в острог. Через полчаса проехал мимо батальонный командир, возвращаясь из гостей домой. «Что такое?» – крикнул он. Ему сообщили. «А пуля?!» – взвизгнул он, взглянув грозно на арестантов, и уехал. Арестанты принялись опять за дело, но вяло, нехотя: они негодовали. Скоро снова начался спор, и несколько рабочих бросили лопаты; конвой решил бить ослушников прикладами и тесаками. Скоро их подвели к острогу. Караульный офицер, выскочивши из кордегардии, испугался бунта и приказал зарядить ружья и окружить приведенных, причем разгоряченные унтера

опять нанесли несколько побоев. Когда избитые вошли в острог и огласили его жалобами, это произвело страшное впечатление на возбужденную острожную общину. «А, так нас бить?!» – заревел острог и затем рассыпался по двору группами. Все загудело негодованием; лица пылали злобой; руки дрожали; слышались брань, угрозы; самые радикальные и решительные советы подавались со всех сторон. Бродя около толпы, я то и дело слышал:

– Да что: взяться за нары! – кричали одни.

– Смотрителя кирпичом! Офицера в коридоре придушить! – слышалось кругом.

Острог волновался, как море; я его никогда таким не видывал. Знакомых арестантов я не узнавал. Я встретил каторжного Вагина; он дрожал. «Что же из этого шума выйдет? – сказал я, – ведь скажут, что в остроге бунт. Вы бы это разъяснили». Вагин был опытный и благоразумный каторжный и держался крайне умеренной партии. «Не в том-с, – отвечал он мне, – дело, а в том, что в последнее время дурную привычку с нами взяли всякую несправедливость чинить: видят, что острог смирен, вот и крутят. Ведь в других местах... я вот, знаю случай... И смотрителя, и офицера за это... у!!! Они этого не понимают. Ведь мы *каторга*! Что с нее возьмут? Мы за свои права стоим-с. Старые каторжные жизни не пожалеют».

– Да ведь будут военным судом судить!

– Во-первых, никого не отыщут-с, а суди всех. При том, когда высшее начальство приедет, дело лучше разберут. Я и теперь говорю, надо требовать жандармского. Требуй да и конец!

– Но ведь вас усмирят?

– За что же-с? мы ведь не вырываемся из острога; мы просим только нас выслушать по закону, потому как мы обиду терпим.

Замечательно, что в большинстве бунтов требования арестантов всегда опираются на легальную почву: они же-

лают видеть только высшее начальство, но так шумят или галдят, что это принимается большей частью за бунт или за его предвестие.

В этих случаях арестанты считают себя совершенно правыми, и все относят к произволу смотрителей, который они привыкли видеть везде. Сознавши раз, что они правы, арестанты готовы постоять за эту, по их мнению, правду. В то же время они понимают, что в этих случаях все-таки затронут их общий интерес. Вот почему каторжная община в минуты опасности ближе чувствовала солидарность: дело считалось общим, и при случае за него находились смелые борцы.

Я слышал, как громко хлопали двери и как собирались сходки. Ни одного сторожа не было в остроге. Встретясь с прежним острожным старостой, довольно неглупым ссыльным, я вышел на двор. Около ворот стояла группа арестантов. Калитка отворилась, и смотритель издали кричал, чтобы арестанты расходились по камерам. Из группы выделился загорелый, сухощавый арестант и, низко кланяясь, просил офицера войти. Офицер, однако, не вошел во двор.

– Это Николашка! – сказал мне мой спутник, – он тут недаром... – и опять пошел к толпе арестантов.

Скоро он воротился назад задумчивый и сказал:

– Я так и думал: у Николашки в рукаве был нож...

Когда мимо нас проходили арестанты, я взглянул на Николашку. Это был сухощавый черкес; белки его были кровавые; он шел как-то подергиваясь. Мы пошли молча в острог.

– Вы знаете Николашку? – спросил меня через несколько минут староста.

– Нет.

– Это сорвиголова! Я его знаю с Кавказа, так как я сам оттуда. Он был замиренным черкесом. Приглашенный раз казаком в гости и выпивши немного вина, он чем-то обиделся, выдернул шашку, хотел хватить по казаку, но отрубил ему только ухо. Его сослали в киевские, кажет-

ся, арестантские роты. Он был чрезвычайно озлоблен, а в арестантских ротах и еще больше ожесточился. Через неделю по прибытии он уже убил притеснявшего его унтер-офицера. Его прогнали сквозь строй, увеличили вдвое срок работ и приковали к тачке. Это окончательно ожесточило его. С тех пор он так остервенился, что достаточно было арестантам сказать: «Николашка, убей такого-то из начальства», – и он бил. Так он убил до восьми человек, в том числе и офицеров. Когда ему нечем было бить, – прикованный за обе руки, он действовал тачкой. Николашку каждый раз наказывали сквозь строй и переводили в другие роты. Я слышал, что когда в одном месте осматривало арестантские роты какое-то важное лицо, Николашку, прикованного к цепи, взорвало. «Что твой закон! – крикнул он, – твой закон...» – и он пустил страшную брань. Его приказали наказать, но мера истощилась: он был бессрочный. Какой-то начальник арестантских рот, чтобы отвязаться от такого опасного, бешеного арестанта, который постоянно покушался убить кого-нибудь, стал вместе с доктором просить и убеждать Николашку вести себя смирно хоть полгода, и под этим условием обещался выпустить его за болезнь в ссылку; Николашка укрепился, продержался полгода, не убивши никого, и его выпустили по болезни на поселение в Сибирь. В Сибири он жил мирно и попал теперь в острог за кражу лошади... Однако им шутить нельзя!

Таков был этот острожный Брут, вступившийся за арестантскую общину, хотя лично он тут ничем не был затронут и на работу не ходил. Когда в камере у него товарищи отняли нож, убеждая его не горячиться понапрасну, он бросил его на нары и крикнул: «Я знаю их! Бери башка!»

В этом слове выразилась вся мысль Николашки: он этим хотел выразить, что готов отдать свою голову; пусть ее возьмут, а он поставит на своем.

Такие характеры между каторжными – не редкость. Необыкновенная страстность придает им страшную жи-

вучесть, несмотря на все испытания. Эту натуру, сухую, жилистую, кажись, не могли сокрушить никакими палками; но зато Николашка совершенно покорялся при мирных занятиях и когда его не тревожили – это доказала его жизнь на поселении.

Острог к вечеру совершенно замолк и успокоился: благо его не беспокоили; арестанты беззаботно улеглись спать, а наутро уже бросили эту историю.

Вечером вошел к нам, в «дворянскую», караульный офицер побеседовать.

Я припомнил, что этот добродушный человек мог быть сегодня жертвой вследствие своей бестактности.

– Отчего вы не вошли во двор, когда вас звали? – спросил я его.

– Я хотел, да меня окликнул зачем-то смотритель.

Я понял, что этого человека спасла только случайность.

Х.

Ищущие спасения и света

В числе громадной семьи арестантов, где смешивались люди всевозможных национальностей и разных званий, жившие общей жизнью, в нашем остроге была колония, которая держалась совершенно отдельно, – колония скопцов (53). В конце острога, где-то под лестницей, им была отведена особая маленькая и темная комнатка. Воздух здесь был сырой и душливый. Полкомнаты занимала большая русская печка и нары. В углу стоял старый потертый образ; к стене была приделана полочка, где лежали две-три книги, в том числе Евангелие и Библия в кожаном переплете; далее висели большие, старинные часы, поваренка, полотенце и другие принадлежности; по стенам стояла в порядке посуда – ярко вычищенный самовар, сун-

дучок, а на нарах валялась целая груда подушек. Чистота и опрятность царствовали повсюду: видно, что сумели здесь обстроиться. Сами они (четверо молодых и один пожилой) скромно сидели и жались на нарах, и лишь иногда некоторые располагали лежанкой.

Когда я, во время первого знакомства, посетил их, то они меня приняли очень ласково и сейчас же засуетились за самоваром.

– Братик, позвольте я наставлю самовар, – говорил один.

– Нет уж, позвольте наставить мне, братик: сегодня моя очередь.

– Братик, позвольте мне, – вызывался третий. Таким образом они препирались до тех пор, покуда не принялись хлопотать все вместе.

Скоро большой светлый самовар стоял на чистой крестьянской скатерти; на стол выложили всевозможные булочки, пироги и тщательно вымыли посуду. Затем они вежливенько и скромно уселись всей семьей вокруг стола. Они то и дело тщательно угощали не только меня, но и друг друга, но особенное их попечение заслуживал маленький скопец, лет 11-ти, приходившийся одному из них братом. Это был одутловатый и пухлый ребенок, рябоватый лицом, с ленивыми и вялыми манерами. Его напичкивали беспрестанно булками и сухарями, пока болезненный ребенок не наелся до пресыщения и не улегся снова в груду подушек на нары.

Скопцы мне сообщили за чаем, что у них был священник и спросил у них Библию, думая, что она у них какая-нибудь особая, что спросил он у них также стихи, *которые ему и обещали*, – заметили скопцы с лукавой улыбкой. Держать себя вообще они старались сдержанно и загадочно.

– Про вас теперь уж много печатают, – сказал я им.

– Что же такое? – с живым любопытством обратился самый молодой из них, но сейчас же сконфузился. Я обещал им дать книжек.

– Пусть печатают! – заметил педантически старый скопец, – им врут, а они это вранье-то и печатают...

– Почему же вы думаете, что все это вранье?

– Оттого, что им правды никто говорить не будет. Эти сочинители пишут из разных судейских бумаг да показаний, а тут уж какая правда! На допросах, известно, врут, чтобы как-нибудь отделаться... А то другие пишут с ветру, по слуху... Пожалуй, пиши, что хочешь, только наша вера тоже сокрыта... не всякому дается знать! – важно заметил он.

– Вот и мы сидим полтора года, – продолжал он, – тянут да тянут дело...

– Что же делать, братик, – заметил молодой, – надо терпеть.

Скопцы погрузились в задумчивость.

Из собеседников моих один был широкоплечий мужик лет 45, с широким, калмыковатым лицом, узенькими, лукавыми глазами и с бритой бородой; он поражал широкой структурой и особенно развитым абдомином (54). Он держал себя очень важно и солидно, ходил переваливаясь, при чтении надевал синие консервы (55) и пускал отрывочные и самодовольные замечания. По виду можно было принять его за доктора скопческой учености. Трое других были очень молодые крестьянские парни, один смотрел крайне забитым и недовольным, другой был пухлый и постоянно улыбающийся, и только третий поражал какую-то деликатностью сложения, прекрасным лицом, умными глазами, высоким лбом и меланхолическим видом. Это было самое симпатичное лицо из всех их. Самый младший, как я уже говорил, был ребенок; скопцы его звали «ангелом», и, кроме неумеренного употребления пищи, он не играл никакой роли в их семье.

Что меня поразило при первом знакомстве – так это крайняя вежливость и нежность, с которыми они обращались друг с другом. Не было минуты, чтобы они не старались один другому угодить. Я подумал сначала, что они все родственники: так отношения были близки; но оказалось,

что, кроме двух братьев, все они чужие друг другу. Видно, что в их жизни не было никогда ни ссор, ни брани. Скопцы притом избегали всяких соблазнительных разговоров и даже, по скопческому правилу, не произносили слово «дьявол» и заменяли его в случае крайности или «лукавым», или просто местоимением.

После моего первого визита я послал им только что вышедшую тогда статью «О святорусских двоеверах в Тульче» Кельсиева (56); они прочитали ее, как видно, с большим любопытством.

– Вот вы говорили, что учение ваше сокрыто, – сказал я старшему скопцу, – а вот тайна ваша открывается, *«государственная-то тайна, высочайший-то секрет!»*

– Да, конечно, будет время, – она откроется всему свету... и теперь уже открывается; однако многое еще неизвестно... и не откроется! – упорно настаивал педант-скопец.

– Кому же она откроется?

– Кто пожелает воспринять... – важно и загадочно намекнул скопец.

Из других книг, посылаемых мной, они прочитали статью «О скопцах» г-на Щапова (57), которой очень остались недовольны, и рассказы об американских шекерах Диксона (58), которыми восторгались. «Вот это – наши!» – говорили они. От повестей и романов они настойчиво отказывались, говоря, что это им читать даже *вредно*.

Вначале разговоры мои шли только со старшим скопцом Андреичем, который, однако, любил сначала уклоняться и иронизировать. Так, спросишь его о молитве их, а он ответит: «Какая у нас молитва: ведь мы пляшем!», – намекая на то, что о них пишут. «Вы верите образам?» – «Нешто, пусть его стоит!» – скажет он, смотря на образ, и т. д.

Но раз с Андреичем я поговорил несколько подробнее.

– Положим, вы убеждены и уверены в своем учении, – сказал я ему, – но, скажите, правда ли, будто вы соблазняйте, подкупаете и даже насильно обращаете в свою веру?

– Никого мы насильно не обращаем и никого не подкупаем, – сказал скопец сухо. – Насильство употребить – так будет жаловаться, да и что толку в таком человеке! А подкупить – так кто же за какие деньги согласится оскопиться? Ну, вот хоть тебе, хоть сколько тысяч давай, согласишься ли ты!.. У нас, брат, кто только уверовал да убедился, так только тех принимают, да и то надо крепкую веру иметь. Нужно силу иметь – крест этот взять, а нет силы – не бери!..

– Ну, а как же вон у вас маленький, 11-летний скопец очутился? Неужели и он уверовал да убедился?

– И он уверовал, – настаивал упорно скопец, – и он понимает; грамоте учился по *Писанию*. Скопителя не выдал! – прибавил он в виде аргумента.

– Ну, хорошо, если вы хотите вести девственную жизнь, так неужели нельзя удержаться без оскопления? – возражал я Андреичу.

– Это вольному воля! У нас есть скопцы и нескопленные, и много таких, что и в мире живут, и семьи имеют; одно только – с женами уж после того не живут; таких еще больше... А мы – монахи: таких немного, – заметил он про себя.

– Вот я читал в ваших стихах, – снова спросил я, – вы часто женщин срамите и позорите *блудницами нечистыми* и другими названиями, а между тем по Св. Писанию женщина такой же человек!

– Это мы не женщину... в нашей вере есть тоже женщины, и мы зовем их сестрами, а в стихах другое разумеется...

– Что же такое?

– Власть нынче несправедлива, – проговорил скопец, – везде предательство и подкуп, и несть правды на земле!

Андреич вообще любил впадать в обличительный тон. Он восставал на всякие удовольствия, песни, пляски и особенно ненавидел театры. Разгорячившись, он даже забывал

свою солидность и начинал представлять, как актрисы ломаются и румянятся, и не называл их иначе, как – «срамота!» Ко всему плотскому он относился с пренебрежением:

Плоть крепка, –
Задай ей трепка!

говорил он скопческими стихами. Андреич притом считал свои изречения и мнения верхом мудрости и остроумия. По натуре это был туповатый, но упорный малый.

Раз он попросил у меня французское руководство. «Зачем вам?» – спросил я. «Учиться буду». – «Да на что вам французский язык?» – «А вот записку когда написать». – «Да ведь ее разберут всегда!» – «Может, во Франции буду, – так говорить!» Я пожал плечами и дал, чтобы развязаться. К удивлению моему, недели через две Андреич как-то добрался разбирать слова и начал зазубривать перевод. Он целые дни лежал на своей печке и твердил разные названия; я его иногда встречал в синих очках и с французским руководством где-нибудь в углу двора, прохаживающимся чрезвычайно важно. Скоро он начал даже хвастать своим знанием. «*Мурир!*» – говорил он, затаптывая таракана. «Сеня, выгребите *шарбо*», – говорил он пред наставлением самовара, или: «куда это у меня *кордон* задевалась!» – сообщал он, отыскивая веревку. Раз он особенно важно пришел ко мне в комнату и серьезно произнес: «*донер муа...*» Но затем как-то улыбнулся, сконфузился и исчез. Только через четверть часа возвратился он и объявил «*креион*», что по его означало карандаш. Оказалось, что он, идя, позабыл это слово.

Комическая сторона Андреича и его напыщенная важность были заметны и для других скопцов, и они часто над ним трунили, что, однако, не мешало им жить крайне дружно. Братство и полный коммунизм вполне осуществлялись в этой семье. Они друг друга утешали

и друг другу помогали; все это производило впечатление очень оригинальное. Присутствие некоторого довольства, опрятные платья братцев, их женские манеры, утонченное обхождение *на вы*, сентиментальная нежность друг к другу, названия «братец, братчик, братишка», их сосредоточенные ласки на маленьком скопце «ангеле» – все это веяло миром-согласием, показывало, что скопцы всей душой сосредоточились в своей семье и здесь искали утешения и радости. Их участие особенно выказывалось, если кто из них хворал. Помню, я раз застал скопцов в одно утро, когда они окружали красивого и молодого Ивана, их сотоварища. Он лежал на печке под шубой и сообщал, что его ночью преследовали бесы. Как видно, это была галлюцинация после *радения*. Тихо и задумчиво стояли около него братцы с грустными лицами и слушали благоговейно, как больной повествовал им пророчески, что он гнал «его» далеко, далеко.

Скопцы жили очень уединенно и не сближались с остальными арестантами, но обходились со всеми крайне вежливо и старались всем угодить. У них был, например, самовар, и они давали его всякому, кто ни попросит, немедленно. Бывало, только поставят себе, но кто-нибудь обратится к ним, и они вытряхают угли и отдают. Были у них также часы, и наружные часовые постоянно справлялись, скоро ли смена, причем всегда стучали к ним в окошко, и скопцы постоянно предупредительно отвечали им. Но и этого мало: скоро часовые привыкли стучать и справляться о часах по ночам; иногда скопцы не спали целые ночи, потому что промерзшие солдаты стучали через пять минут, но и тогда не выражали они никакой досады. «Ведь солдатик-то тоже замерзнет; надоест стоять-то!» – объясняли они гуманно причиняемое им беспокойство.

Несмотря на гонения и самые нахальные насмешки арестантов над их *скопчеством*, они держались с достоинством и всегда отвечали молчанием, как будто ничего

не слышали. Бродяги в особенности преследовали их, напирая на то, что будто скопцы на следствии показывают всегда, что их оскотил неизвестный бродяга. Более всего доставалось скопцам, когда они ходили с общими арестантами в баню; но скопцы все выносили стоически. Они показывали вид, что стояли выше насмешек. Стрдание и терпение они считали долгом. Ожидая приговора, они сообщили мне, что «скопцу подобает страдать безропотно», что ему не позволено уйти ни с каторги, ни с места ссылки, хотя бы и был к тому случай. Действительно, когда один бродяга сообщил, что он видел в бегах скопца, они крайне изумились и заметили, что теперь его никто из своих не примет, так как он опозорил себя.

Преследуемые, гонимые, подвергаемые насмешкам, скопцы должны были тем крепче и нежнее привязаться к своему братству. Искренно и страстно любили они друг друга, не имея других привязанностей в жизни. И эта «евангельская любовь» была, быть может, самой симпатичной и чарующей стороной, которая своей прелестью привлекала к ним прозелитов, искавших мира и утешения в вере от несправедливого, мятежного и враждующего света. По крайней мере, это можно было видеть на наших молодых скопцах. История одного из них, молодого Ивана, с умным и задумчивым лицом, была очень трогательна.

Мать Ивана была крестьянка-раскольница. С малолетства она уже внушала своему сыну Священное Писание, наполняла его голову божественными рассказами, толкованием о будущей жизни и рано расположила его впечатлительную натуру к мечтательности и мистицизму. Она его рано выучила грамоте, и он, приходя в возраст, уже задумывался над суетой мира сего и со своими мистическими думами часто сидел на полях и в лесах около своей деревни, погруженный в торжественное самосозерцание. Он чувствовал уже отвращение от мирской жизни; добрая душа его возмущалась притеснениями; грубая и

страдальческая жизнь мужика вызывала в нем жалость; веселье и песни его не привлекали; как девственник он презирал окружающий разврат; мир ему казался мрачным, несправедливым и развращенным, и он целые часы горько плакал и молился. Ему не у кого было учиться: все думали о мирском; мужики были темны; в сельском духовенстве он разочаровался, и сам мечтал создать себе новую жизнь, мечтал спасти себя и других... Жажда религиозного идеала охватывала его душу, – но где и кто укажет ему этот идеал?

И вот он отправился на 16-м году искать веры. Он прошел почти всю Сибирь; где мог – он жил приказчиком, где – работником; но скоро опять, в своих мучениях, уходил из городов и шел все дальше и дальше. Он наталкивался на раскольников и подолгу проживал в их скитах. Среди темных, глухих и величественных сибирских лесов он присматривался к жизни подвижников, слушал их поучения и горячо молился; но, верно, и здесь мирской и житейский характер смутил и разочаровал его, а он искал подвигов, самопожертвований. Тогда-то он столкнулся со скопцами. Он увидел их суровыми монахами, отвергавшими мирскую жизнь и наслаждения на самом деле; его поразил и этот пуризм, и эта чистота, и дух братства, в котором сплотились они и который так веял первобытной христианской искренностью. Вероятно, они произвели на Ивана очень сильное впечатление, потому что когда я пробовал разочаровывать его в скопцах, он вспоминал их, говоря: «Ах, какие это добрые! Ах, какие это хорошие и добрые люди, если б вы знали!»

Он сделался самым верным последователем их учения. Нервный, впечатлительный, способный к экстазу, к горьким слезам, к вдохновению, к любви, к самопожертвованию, он не остановился на полдороге и, сохранив свою девственность до последнего дня, пожертвовал радостями мира сего и отдался скопчеству.

Теперь он стал фанатиком; жажда пропаганды, обучения и спасения других стала его задачей, и таким-то он явился в свою деревню. Молодой, девственный, с прекрасным и симпатичным лицом, с пылающим взором, со страстью мученичествовать, он был пророком среди других скопцов и казался святым как для прозелитов, так и для остальных крестьян, которые узнавали его. Кто бы мог подумать в нашем остроге, не исключая и меня самого, что этот скромный мальчик, тихий и застенчивый, в толстой сермяге и с пестрым платочком на шее, был предметом поклонения и обожания десятков прозелитов и множества крестьян!

Я сам видел, как приехавшие из его деревни мужики, увидя его только в приотворенную калитку острога, стояли без шапок, чуть не в землю кланялись и смотрели на него как-то грустно-благоговейно.

Такова была эта натура, искавшая света и спасения и попавшая в омут скопчества. В остроге он был предметом безграничной любви остальных скопцов; сам Андреич питал к нему уважение и слушался его. Но по всему было видно, что Иван потухал день за днем. Ему было 20 лет, но легкий, ранее выступавший румянец уже не показывался на его щеках; пушок не рос более на грациозной бородке, и он грустно смотрел своими прекрасными, добрыми глазами, в которых, казалось, горели муки.

Два остальные, молодые крестьяне-скопцы, подверглись не лучшей участи. Один из них был деревенский работник, бобыль и сирота, молодость которого протекла без утешения, без дружбы, в горькой нужде и на чужом куске хлеба, и вот он тихонько от хозяина, по задворкам, пробирался в ночные собрания скопцов, где шла горячая проповедь, где называли его братом, другом, и вместе с товарищами по деревне он решился искать спасения и утешения в скопчестве. Другой, полный и добродушный парень, бежал просто от отца, который хотел его женить насильно. Оба

они были даже неграмотны, и видно, что их привлекала только дружба и покровительство скопцов. Такова участь нашего народа, впадающего в раскол.

Но я помню еще одного. Подле бледного и задумчивого Ивана я часто встречал на острожном дворе высокого и мужественного пожилого раскольника. Это был человек другого сорта: он не был скопец. Человек необыкновенной начитанности, с громадной памятью, знавший половину Библии наизусть, человек, избородивший всю Россию и Сибирь в бродяжестве, побывавший на каторге и бежавший с нее, в свою жизнь испытавший и изучивший все раскольничьи толки и учения, имевший понятие о современном состоянии раскола, – это был Лаврентий Федоров, философ-самородок, пропагандист и учитель раскола, даровитейший представитель русского народа и русского плебса преимущественно, – личность, о которой я сохранил самое светлое воспоминание.

Трудно было узнать, как протекала жизнь этого человека. Он был когда-то сослан на каторгу за раскол. Слышал я от него, что когда-то он жил в Охотске, куда был сослан очень давно, что он оттуда бежал и прошел пустыню, перевалив через Яблоневый хребет с ружьем, географической картой и путешествием Сарычева (59). Раз я слышал, как он описывал арестантам эти страшные скалистые горы и утесы, где перебрасываются горные потоки и водопады, где хищные птицы реют по вершинам гор, подножия которых заволакиваются бесконечными туманами, сбивающими с пути путешественника. Он сказывал, что здесь он чуть не умер с голоду. После того он скитался под разными именами по Сибири и России. Целая жизнь, чуть не с 1824 г., у этого человека составляла ряд странствий. Где он не скитался в это время! Мельком я слышал от него, что он жил на вершинах Енисея, куда не проникала до сих пор ни одна географическая экспедиция; видно было в то же время, что он был не особенно

давно в центре России в среде раскольников. Взят он был в Сибири с ручной типографией, которой печатал раскольничьи книги и стихи. Я не считал себя вправе расспрашивать этого человека и требовать у него отчета в его пятидесятилетней деятельной жизни.

Я познакомился с ним по поводу книг: он ужасно любил читать и поэтому обращался иногда ко мне за книгами. Он был знаком и со светской литературой: сказывал он мне, что у него была даже скоплена библиотечка из Карамзина, сочинений Крылова и других каких-то книг. Крылова он особенно любил и часто цитировал меткие басни. Он был настолько развит, чуток и проницателен, что, читая некоторые литературные произведения, удивлял глубоким пониманием их; он никогда не оставлял книжки не продумавши. «Вчера я читал-с и размышлял вечером...» – говорил он. Иногда за хорошей книжкой он приходил второй раз: «Мне еще надо тут размыслить», или: «справиться», – добавлял он. Раз у меня не было никаких книг, и я дал ему один журнал. Когда он возвратил мне его, я спросил, что ему больше тут понравилось. «Прометей-с... ах! какая это прекрасная статья». – «Да это языческая сказка...», – заметил я. «Так-с, но ведь это иносказание», – ответил он, хитро улыбаясь и смотря на меня.

Замечательно было и то, что он при своем старообрядчестве не был отнюдь фанатичным: он сознавал и силу просвещения, и его благодетания. Я высказал сожаление, что разные раскольничьи толки отвлекают народ от образования и школ, так как старообрядцы думают, что светская наука – «порождение сатаны», а между тем темнота народа порождает его предрассудки и несчастья...

– Да-с, – сказал он со своей обыкновенной сосредоточенностью, – действительно, сие многие могут думать, но в Священном Писании ничего подобного нет; напротив, как я изучал Библию, там есть многое о пользе *познания*... Так, в книге «Бытия» говорится... – И он цитировал

мне несколько текстов с ссылками на главы из разных частей Библии и обещал прислать книгу. – Надо только это объяснить народу-с и выставить эти главы, – продолжал он, – не мешало бы издать об этом книгу для простого народа какому-нибудь *верующему*.

Такие светлые и практические мысли являлись у этого самородка.

Прошедши все толки, он обладал самобытностью взгляда и относился ко всем им критически, но в то же время как будто чувствовал внутреннюю связь всего раскола и старообрядчества: «Все это *верующие*», – говорил он, – т. е. глубоко *убежденные* и размышляющие о религии.

– Так неужели, Лаврентий Федорыч, вы ни в одном учении еще не нашли *истины*? – говорил я ему иногда после разговора о русских раскольнических сектах.

– Нет-с, не нашел...

– Где же, по-вашему, *истина-то*?

– Есть одна *великая* истина... это – евангельская любовь к ближнему, а относительно других вопросов – о спасении и вере – указано в Библии, только я еще не уразумел, хотя по сие время тщательно изучаю слово Библии.

– Но, помилуйте, когда же вы доищетесь и уразумеете эту *истину*, когда, как вы говорите, никто не нашел ее и вы сами: вот уже вам 50 лет, а все еще не отыскали!..

– Что же делать! А она там есть!.. Я верую-с!..

И я часто видел его фигуру глубоко размышляющею идвигающеюся медленно по двору острога в своем халатике, подпоясанном молитвенным поясом... (60) Что он думал?.. Может быть, после ночных чтений Библии он все еще отыскивал это *истинное учение* для народа. Он носил в душе религиозные муки и сомнения...

Такова была эта личность, все еще сильная и могучая, несмотря на свои 50 лет, сохранившая самую обширную память, какую когда-либо мне случалось видеть, светлый ум, веру в народ, какую-то высокую терпимость и такое

любящее христианское сердце, несмотря на самую суровую каторжную и бродяжескую жизнь!

Кто знает, может быть, это была самая богатая сила, самая даровитая личность из всего русского простонародья, целую жизнь искавшая *света и спасения!* Здесь ли место подобным натурам? Невольно задумывался я. И мне рисовалось, каким бы преданным, любящим свое дело мог быть молодой скопец Иван в какой-нибудь сельской школе, а Лаврентий Федоров с этим пытливым умом, с этим вселенским горем за народ, с этим самородным гением!..

Такие-то люди встречались иногда в старом русском остроге. Из всех этих тюремных жителей, говоря чисто-сердечно, мы не могли бы указать на окончательно бессердечных и неисправимых злодеев. Все эти люди в старой тюрьме жили довольно мирной жизнью, руководствовались обыкновенными отношениями и были в своей общине обыкновенными людьми. Встречая бродяг, каторжных и разбойников, нам не удавалось слышать хвастовства и оправдания всякому злодеянию. Старые каторжные и бродяги постоянно оговариваются, что хотя им и случалось воровать и грабить, но от «загубления души Бог избавил». В то же самое время нельзя безусловно утверждать, чтобы в самых озлобленных из преступников не проявлялось человеческое чувство.

Мы старались себе припомнить таких преступников и все-таки не можем указать, в каком бы из них выказывались окончательная бесчувственность и вполне злодейская натура. Были у нас каторжные, подобные Я**, который отличался множеством преступлений. Самый взгляд этого человека был холодный, оловянный, как будто бесчувственный; если бы этот человек зашел среди ночи к кому-нибудь в комнату, то последний, казалось, в одном бы

этом ледяном взгляде прочел: «нет пощады!»; между тем мы видели, как этот человек мирно и весело толковал со своими приятелями, смеялся искренним смехом; ему доступна была дружба и даже любовь, за которую он постоянно платился, так как, убегая из тюрем, являлся к своей любовнице, где его постоянно и ловили.

Был у нас Калина, известный каторжный, также замечательный убийствами; но и это был смелый, отважный парень, презиравший опасности, но любимый в среде товарищей. Припоминаю я и Василия Тарбагана, тупого и ограниченного мужичонку, который был, как говорили, убийцей даже своих бродяг: в его бабьей фигуре не было ничего устрашающего, но он сохранял тупую упругость, был бесчувствен по тупости и едва ли даже понимал всю тяжесть своих злодеяний. Казалось, это был самый антипатичный тип; он даже бывал где-то палачом; но мы укажем ниже, что и в нем могли пробуждаться, хоть на минуту, человеческие чувства¹.

Рассказывают много про разбойника Коренева, как про настоящий тип *злодея*. Г-н Достоевский получил при виде его самое дурное впечатление (61); г-н Максимов описывает этого разбойника хвастливым и бессердечным убийцей²; но посмотрите его биографию, и вы увидите, что этот человек плакал, когда приятель, каторжный, оказал ему помощь в дороге³; в остроге собратья-арестанты видели в нем иногда великодушного товарища и рыцаря⁴. Было же, значит, и у этого человека чувство!

И что же тут удивительного: не может же человек быть постоянным зверем, даже среди своих товарищей. Преступления этих людей совершались, вероятно, все-таки в критических обстоятельствах, в критическую минуту жизни;

¹ *Ссылное бродячее население*, в гл. Бродяги-разбойники, Вас. Тарбаган.

² Максимов С. В. Указ. соч. Ч. II. С. 3–28

³ Там же. С. 28.

⁴ Там же. С. 21.

в остальное время жизни они были людьми; человеческие чувства, остатки сердца видны были и у них.

Ведь иногда подумаешь, подумаешь, да и скажешь: да полно, есть ли совершенно-то бессердечные злодеи в человеческой породе?.. Мы, по крайней мере, не беремся отвечать на этот вопрос положительно...

ИСТОРИЯ ЭТАПНОГО СТРАНСТВИЯ ОБЫКНОВЕННОГО СМЕРТНОГО (Из записок беспаспортного)¹

Этапное странствие простого смертного начинается очень просто. Сначала я был приведен в тот прекрасный дом, который называют замком, но который жильцы его величают «чертовиком» и «адам кромешным». Здесь я должен был провести день до высылки по назначению, а на ночь заперли меня в маленькой комнатке.

Это была бессонная ночь. Какая-то глупая, сентиментальная тоска охватывает человека, в первый раз попавшего из вольного мира под замок. Рисуется в воображении какие-то контрасты, копошится зависть, кипит злоба. «За что же, за что же?» – стучит сердце, а потом снова бессильная, жгучая тоска...

Сборы мои были не велики. Наутро снабдили меня двумя рубахами, зипуном с ярким клеймом, котами, т. е. обувью, и каким-то обширным, как лохань, треухом. Признаюсь, когда я облекся в этот неуклюжий халат и треух, во мне что-то съезжилось: я смутился. Я почувствовал себя разобщенным с остальным миром и ощутил себя как будто виновным: это платье наводит чувство стыда и позора.

¹ Записки эти принадлежат лицу, прошедшему значительный путь за просрочку паспорта. Таких лиц вообще пересылается огромное количество. В 5 лет через один петербургский замок прошло их 36 527 человек. Лицо, делавшее подобный путь, на сей раз обладало способностью занести свои впечатления.

Я понял, что в таком костюме одно что-нибудь: или человек чувствует себя убитым и раздавленным, или из оскорбленного самолюбия в нем разовьется бесконечное презрение к толпе, которой он выставлен напоказ.

С десяток человек нас отдали под конвой трех инвалидов; это была обыкновенная инвалидная команда, имеющая самый жалкий вид. Обдерганные шинели, оборванные лацканы, худенькие, бракованные, сползающие с бедра портупей, старые, дребезжащие ружья... все это крайне убого. Но и эта команда нам казалась грозной: ружья ее были заряжены; солдаты бодрились перед начальством, а их испитые и изношенные лица старались хмуриться. Послышалось: «Задние, заряди ружья! Марш!» – и мы потащились по пыльному городу.

Слава Богу! Вот зазеленели и кусты. Только тогда мы оправились и заметили, что лица нашей стражи вполне добродушны, а скоро увидели, что они «*homo sum*», их человеческие сердца не лишены человеческих слабостей. Давно уже около партии бежала какая-то бабенка с узелком, провожая пересыльного мужа-мещанина. Выйдя за город, она то и дело справлялась о чем-то у солдат. «Погоди еще: вот отойдем к леску!» – сообщал ей унтер. Наконец, подошли и к леску; мы остановились, и баба закопошилась в узелке с пирогом; тут же она вынула посудинку, налила солдатам, потом мужу, отерла слезы, поцеловалась и поклонилась мужу в ноги. Инвалиды выпили. Это и было «*nihil humanum*».

Сердца инвалидов открылись. Я вовсе не имею намерения смеяться над этими людьми: это добрый старый тип, в котором сформировалось много комичного, но и много добродушного. В этих кривых, кособоких, удрученных старостью и крепкими напитками воинах мы часто встречали неподдельное участие и искреннее человеческое чувство. Это были отживающие «могикане», и на других трактах мы встретили уже новых.

Маршрут, предстоявший мне, был не совсем обыкновенный. Целью была Архангельская губерния.

Благодаря патриархальности, которая сохраняется в отдаленных захолустьях, мы шли довольно свободно. Исчез город со своим официальным видом, с громадным каменным замком в пыльной дали, и теснящее чувство оставило нас. Раскинулись широкие пашни, ярко-зеленые, облитые горячим светом солнца; каждый кустик, каждая травка трепетала жизнью в воздухе; весело бился жаворонок; свежий воздух обвевал лицо, грудь... Этот свет, этот воздух, эти яркие колориты обдавали так щедро, после темноты и духоты, что голова кружилась. Зелень казалась ярче, небо синее, воздух прозрачнее; слаще звучала песня лесной птички, и сердце трепетало от полноты впечатлений. Мы вступили в темный лес; дохнуло прохладой, тенью, и нервы отдохнули после ослепительной картины и первых впечатлений. Кругом глухо шумели высокие ели и сосны; старые мхи под ногами: торжественностью и покоем веяло здесь. С узенькой дороги мы разбрелись в стороны и незаметно разошлись по лесу. Лес становился гуще. Вековые темные деревья уходили ввысь и старчески покачивали головами; громадные колоды громоздились около жилистых корней. Я очутился в трущобе невидимым; «Я один, я свободен!» – шевельнулось во мне на миг, и эта иллюзия была обольстительна. Вероятно, это же чувство охватило и других, и вдруг перешло в шумную радость: молодые наши спутники запрыгали, как молодые олени. Между деревьями, все далее и далее, началось ауканье, крик; изредка мы показывались друг другу и снова исчезали в глубине леса, а между кустами порой высовывались добродушные старческие лица инвалидов, беззаботно беседовавших, поддегивавших несчастные портупей и несших дребезжащие старые ружья. «И неужели эти люди кого-нибудь могут удержать? Ведь теперь мы можем бежать: мы почти свободны», – думалось мне. Но

тут снова мелькнули на дороге доверчивые, смеющиеся и нюхающие табак старцы-конвоиры, и я подумал: да справедливо ли платить за снисхождение изменой? Да и кому, куда бежать? И я припомнил тысячи случаев и десятки рассказов о препровождении партий по Сибири. Тысячи народа проходят ежегодно на каторгу с этими убогими командами, и бегства все-таки составляют исключение; за Байкалом можно видеть, как десяток казаков с заржавленными пиками едет за толпой, растянувшейся от станции до станции; эти люди часто сами несут кандалы в мешках за плечами; они за две версты до этапа кидаются в перегонку, чтобы поскорее разобрать места в тюрьме. Старые этапные офицеры всегда доверяли преступникам и полагались на их честь, и что же? Арестанты платили за маленькие льготы полным ручательством артели, они сохраняли договор и сдерживали его свято. Конечно, желающих бежать ничто не удерживало, но побегии делались только у командиров, которыми арестанты были особенно недовольны. Доброта и снисхождение подкупают человеческое чувство, а за порядок ручается общественная сила, гораздо больше действительная, чем самый строгий конвой. Тайной этих человеческих мотивов обладали иногда старики; как практики они, конечно, натолкнулись на них случайно. «Да и куда бежать русскому человеку? – думалось мне, – да и далеко ли он убежит?.. Даль-то какая! Ширь-то какая! И прежде, чем доберешься куда-нибудь, сколько раз тебя поймают!» И вспомнил я слова бродяг, которых много видал; все они говорили: «Шляемся мы только временно; поболтаешься немного на воле, а дальше княжеской поскотины не уйдешь!» Это их поговорка и убеждение. Некуда уйти русскому человеку, да и незачем, потому что в другом месте ему делать нечего. В Киргизской степи он делается киргизом-парией, каких видели на Черном Иртыше; в Коканде и Бухаре – он становится жалким кокандцем, какими делались пленные солдаты;

на Западе он умрет с голоду, потому что ему не под силу кипучая, деловая жизнь Европы. Вспомнил я и наших юношей-эмигрантов, бегущих с Запада назад в Россию...

На ночь мы отдыхали в крестьянских избах на проселочных трактах. Мы встречали там мирные, патриархальные семьи, живущие своей хозяйственной, общинной жизнью. Те же деревенские хижины, примкнутые задом и передом друг к другу; навозные кучи; запах сена и ржи... Я заметил одну перемену в этих деревнях: меня поразила улица, где между десятью домами я нашел пять маленьких кабачков. Это было только что после дозволения вольной продажи вина и в сезон дешевых патентов. Домохозяйства не сидели в этих кабачках, но держали их как побочную отрасль хозяйства. Торговля дробилась чрезвычайно, до индивидуальности.

Наряду с бедными деревнюшками рисовалась, как всегда, широкая природа. Роскошные виды открывались по берегам рек; то высились цветные горы с пашнями на отклонах, то темные леса, уходящие вдаль, долины, затягиваемые бледным туманом, откуда слышится смешанный крик птиц. Проходим, и резко вырисовывается какой-нибудь рельефный пейзаж – черная пашня, залитая розовым огнем заходящей зари, и резкие, темные силуэты боронящих верхом крестьянина и крестьянки; она сделала полуоборот, и красное яркое пятно легло на ее щеке. Вечереет. Мошки и комары вьются круглым облаком перед глазами; выступает темная, меркнущая зелень; широкая, мохнатая тень ели поматывает длинными руками; кругом мрак и немая тишина ночи, и вдруг громадный костер около поскотины, освещающий белую голову лошади, обмахивающейся хвостом, и за ней фигуру седого старика и кудрявого мальчика. А там сонная деревня с пиликающим

огоньком около кабачка, неясный крик, отдаленный говор и тень, пробежавшая по огороду. Все это так знакомо! А днем опять пылающая пашня под жгучими лучами солнца, вьющаяся дорога, небритые лица инвалидов, обливающихся потом, крестьянская скрипучая телега, везущая арестантские мешки. Убогий, отрепанный ямщик идет подле несчастной клячки с веревочной упряжью. Мы идем подле и тоже не смеем сесть, хоть облились потом. Больно худа лошадь, больно отрепан мужик, так что смотреть жалко. Ему тяжела и эта повинность: у него теперь работа стоит. Ну, вот и колесо на грех расклеилось... Не знаю, кто был жальче в этой картине – мы, или он, или конвой?.. Ничего тут не разберешь!

Прошли заштатный городок, где сменили команду. Здесь мы остановились у маленькой инвалидной казармы, где провели день. Команда куда-то временно выбралась. Подле казармы в прихожей я заметил маленькую отгородку с хилой дверцей, в половину человеческого роста, с тусклой надписью: «*Карцер*». Она была меньше двух шагов ширины и шага три длины; сор, сметаемый отовсюду, покрывал пол. Сюда сажали проштрафившихся и пьяных инвалидов. Стало быть, есть еще худшее помещение, чем то, которое мы испытали. Пришел полупьяный одноглазый писарь, вызвал какого-то Ергунова, посмотрел на нас свирепо и таинственно пописал Бог знает что в бумагах. Когда мы ушли, я попросил инвалида показать списки. Это было короткое обозначение об отправке такого-то до такого-то города для путеследования туда-то; затем подробный список вещей казенных и своих. Сколько граф, сколько подробностей! А между тем из рук того же писаря вышли списки уже измененными. К моему удивлению, я увидел, что мы отправляемся из города Мышина

в город же Мышин. Вот те и раз! Сами фамилии были искажены. Черемухин стал Четвертухиным, потом Шерепихиным, далее по тракту он стал Шипишкиным, а потом Шишкиным. Это одна из самых скверных сторон нашей патриархальной распущенности. Ей всегда присуща небрежность, а между тем при нашей бумажной системе от одной описки часто зависит будущность людей. Сколько может быть недоразумений и несчастий из-за этого вранья! Впоследствии я узнал, что арестанты нередко пересылаются совсем не туда, куда следует, а один солдат по ошибке прогулялся до Астрахани, а потом оказалось, что его надобно переслать в Архангельск.

– Помилуйте, – говорит иногда арестант на дороге, когда перестает уже узнавать свою фамилию даже по созвучию, – я не Шишки, а Черемухин.

– Толкуй! – отвечает скептически смотритель, зная, что нередко арестанты пускаются на всякие штуки.

– Я не туда следую, а туда-то! – говорит арестант.

– Нечего говорить! Мы сами знаем: у нас документ налицо.

Но если бы и началось на дороге разъяснение недоразумения, то нужно посылать справки в отдаленнейшие губернии, к месту отправки, а человек безвинно просидит полгода и более в тюрьме. То же самое случается и за потерей отдельных списков при разборке их писарями. Поэтому я понял, что вся судьба наша была в руках полупьяного писаря и что его безграмотность или лишняя чарка могут заставить нас сделать лишних тысячу или две верст. Такие малые причины у нас на Руси ведут к большим последствиям!..

На границе одной сибирской губернии нас встретила большая река. Она выбежала из-за зелени, широкая, раздольная, с нежной голубой далью, с белыми облаками,

проносящимися в глубине. На обрывистом берегу собирается переpravляться цыганское семейство, с телегой, запряженной громадными волами, на которых облокотился старик цыган в белой войлочной шляпе, с прядями черных и седых волос, нависших на смуглое лицо; подле него стройная девушка с пылающим румянцем, с черными широко открытыми глазами, смотрящими вдаль; кругом маленькие, курчавые дети. Эта группа под ослепительным солнцем была как будто выхвачена с итальянской картины. Широко и свежо чувствовалось на этой реке; простором и свободой веяла природа. Перевозчики, однако, торопились перевезти партию. Конвой брякал своими старенькими ружьями и тоже торопился отделаться от нас; ему, конечно, было выгоднее поскорее сдать партию и сложить с себя ответственность. Всем мы были в тягость!

Наконец, паром отделился от берега под тихий плеск воды. Нас унесло в эту синюю, загадочную даль. Какая-то грусть охватила меня в виду будущего. Чего-то придется еще изведать в этом дальнем пути? А течение все беспощаднее отделяло от прошлого и куда-то несло...

Я взглянул на берег; там все еще стояла молодая цыганка и смотрела на нас грустно своими большими глазами.

Кончилось наше патриархальное странствие с старыми инвалидами. В последний раз накануне мы ночевали в деревне, где добрая бабушка кормила нас масляными лепешками. Наутро мы вошли в городскую тюрьму. В этом городе мы попали на главный этапный тракт в Сибирь, в который, как в широкое русло, текли все побочные этапные дороги. Перед нами открылся громадный пересыльный замок одной из восточных губерний. Когда мы вошли во двор, то были поражены шумом и массой охватившего нас народа. Это было то же впечатление, какое

испытываешь в первый раз, попадая на дебаркадер (62) петербургско-московской железной дороги: сколько тут разнообразных сцен, людей, и все это мелькает так быстро, что не успеваешь запечатлеть их. Остается в голове только какое-то смешение цветов, образов и бесконечного движения. Такое же впечатление производит и пересыльный замок. В этом остроге соединялись партии, шедшие в Сибирь и идущие из Сибири; кроме того, тут были люди, сошедшиеся с разных побочных трактов. Все эти люди были самого разнообразного происхождения. В этой суетившейся толпе видны были и черкесы в больших папахах, смуглые, загорелые, с вращающимися зрачками, черкешенки в чадрах, грузины в высоких шапках; флегматические эстонцы в зеленых куртках, клетчатых панталонах и с фарфоровыми трубками, казанский татарин с грязной татаркой, ярославский мужик в поддевке, черемисы, цыгане в ярком отрепье, евреи, чухны и лица в немецких сюртуках; затем двигались целые толпы безразличного серого народа в арестантских кафтанах; вдали, на другом дворе, видны были еще более серые и уродливые люди в треухах и разношерстных куртках из черного и серого сукна, и там, как в аду, гремели цепи: это было отделение каторжных. На дворе, когда я прохаживался, мне бросилось в глаза несколько фигур. Встретился молодой армейский офицер в военной шинели, ссылаемый за растрату сумм: он взял с собой любимый скарб, заковал ружье и был теперь совершенно спокоен, разгуливая по двору. Подле него была молодая жена – одно из тех простых добрых созданий, которые следуют покорно за любимым человеком и переносят всякие лишения; она совершенно примирилась со всеми неудобствами острога. Далее прогуливался какой-то граф или называвший себя венгерским графом, но в сущности француз из Петербурга, принадлежавший к обществу аферистов, распространивших фальшивые ассигнации; сухой, во французской

визитке, в плеле и в черкесской папахе, он сосредоточенно гулял по двору и что-то бормотал: говорили, что он помещан. Он шел на каторгу, но не верил и все силился подать куда-то прошение об освобождении его. Тут же, между разными дворянами, терся бойкий и разбитной детина высокого роста с красивым и выразительным профилем, бойко сыпавший словами, поминутно поминавший о Москве и вставлявший французские бон-мо: это был истый бель-ом, личность из тех бойких франтов, какие живут на содержании старых барынь, чрезвычайно развязно ведут себя на общественных гуляньях, распоряжаются в буфетах как дома и постоянно лезут всюду, где есть толпа и шум. Но в каком печальном виде был теперь этот франт! На нем был долгополый кафтан, коты; платье, как видно, было в дороге проедено, но он объявлял, что «все украли» – остался только клеенчатый картуз. Однако бель-ом не терял ни присутствия духа, ни манер, ни развязности. Скоро я его увидел толкущимся около кухни с каким-то горшком, когда он громко кричал: «Это – черт знает что! в семнадцати острогах бывал, и только здесь нахожу, что ужина не достало!» Он протестовал, как и везде. В Сибири он далеко пойдет при своей юркости. Местами встречались другие фигуры: сухая старая немка с кисетом, небритый чиновник, помещик, какой-то камердинер, выдававший себя хоть не вполне дворянином, но все-таки обер-офицерским сыном. «Вы не знали на Большой Морской дом князя NN?..» – к кому-то приставал он с вопросом. Далее теснились уже мазурики, воры, бродяги, солдаты и всякий простой люд. Около служб был крик, давка, брань; тут таскали дрова, ведра, ушаты, щи и обливали ими друг друга; в остроге была теснота страшная; народу скоплялось с прибывающими партиями из Перми до 2 000 человек. Камеры были завалены народом; дворяне теснились в подвале; спали вповалку – и сухая немка-гувернантка, и бель-ом, и молодой офицер с же-

ной: разбирать было некогда. Для простого народа, не умещающегося в камерах, поделаны были какие-то лари на дворе. После шума и трескотни я залег в тесной подвальной камере с тяжелой головой, но шум не унимался и ночью. Я взглянул в окно и увидел бездну арестантов – вероятно, разных служителей и хлебопеков, которые висели на белых стенах острога, прилепившись к решеткам женского отделения. О, любовь, всегдашняя романтическая спутница людей, ты и здесь?!

Предстояло путешествие по новому, только что реформированному, главному тракту; мы уже прислушивались к рассказам тех, которые проехали по нему. «Везут на тройках, скоро, хорошо, да вот имущества не позволяют больше 20 фунтов везти по арестантскому положению», – жаловались дворяне. «А у меня, сударь, ящик с иконами!» – горячился помещик. «Нам на железной дорожке, – говорили другие, – запретили ящики брать и самовары, а так как мы не были предупреждены, то пришлось их бросить, потому что поезд не ждал, а отдать некому»... «И как эти самовары пошли кидать – ужас! Вдребезги-с!» – подхватывал энергический бель-ом в длинном кафтане: «Это не совсем удобно: для простых колонистов, отправляющихся в Сибирь, идти без всякого имущества, разоренным: плохие задатки для оседлости!»

Нас разбудил в 5 часов утра громкий голос: «Вставайте, молодцы!» Пред нами стоял новый, реформированный конвойный, красивый молодой солдат в белой щеголеватой рубашке из парусины, с револьвером за поясом, шашкой и свистком на перевязи, в высоких с красными отворотами сапогах. «А-а, вон они каковы щеголи!» – сказал я себе. Посадили нас в большую телегу по четыре человека, ноги в середину телеги; остальных арестантов скрепили сталь-

ными, легкими браслетами (наручнями) и связали цепочками с замком; мне удалось сесть со спутниками из дворян, и это спасло меня впоследствии от многого, что я мог испытать. Раздался свисток, и поезд двинулся. Конвойный сидел на каждой телеге лицом к арестантам. Несколько телег мчалось быстро в клубах пыли; приходилось делать по две и по три станции в день; на ночь останавливались на этапах. По дороге нам встречались поезда, идущие в Сибирь, – длинный ряд телег с запыленными пассажирами самого разнообразного свойства. Поезды обменивались свистками. Из телег высовывались разные лица и фигуры: серые кафтаны мешались с полушубками, с рубахами, треухи – с ермолками и картузами; были телеги с матерями и грудными детьми; высовывалась и голая нищета, и разрушенное довольство. На лицах отражалась забота, утомление, – местами тоскливый взгляд назад, в других местах какая-то оживленная беседа и смех тех, кому нечего жалеть, нечего терять; в одном поезде мы встретили телегу дворян с семействами, ссылаемых по участию в громком деле о фальшивых сериях.

Встреча была рано утром. В шубках с бобровыми воротниками, забрызганных грязью, в помятых модных шляпах поднялись одутлые и утомленные лица из-за подушек. Вид их был измятый, растрепанный, точно у проснувшихся игроков, потерявших накануне все, что они ставили на карту. Таково было впечатление, оставленное ими. Когда на обширные этапы прибывала партия, простой народ начинал выбивать пыль из рубах и потом стекался к огромному чану обмываться. Скоро двор наводняли торговки и усаживались в ряд с провизией – с дешевыми яичницами, щами, молоком и прочим, которые разбирались арестантами. А затем препровождаемых забирали до утра. В 5 часов опять езда. Поезды мчались в порядке: везде, как видно, строго соблюдались правила; на стенах этапов вывешены были объявления, что для

арестантов дозволяется продавать припасы по самым дешевым ценам местными жителями, которые допускаются к торгам. Все приноровлено; не было распушенности, и конвой был строгий. Однако на одном этапе, где съехалась встречная партия, подошел ко мне арестант.

– А что, здесь водку через кого достают? Вы ведь ехали с здешними конвойными, – спросил он.

– Да будто бы здесь можно? Помилуйте! Тут такие строгости!

– Ну, вот еще! мы на той станции доставали сколько угодно.

Иллюзии мои начали рассеиваться. Скоро на каком-то этапе оказалась продающей припасы унтер-офицерша, с полной монополией, а на место дешевых съестных припасов продавали корольки, конфекты, орехи, бронзовые запонки, кольца и все неподходящее, но необходимого не было. Открывались и другие стороны, и замелькала старая подкладка. В одном месте мы встретили громадный поезд ссыльных в Сибирь, отправкой которого распоряжался юркий и распорядительный офицер. Он постоянно горячился.

Перед нами стояли телеги, покрытые головами, как арбузами.

– Вон там не хотят внутрь ноги складывать, ваше благородие, – докладывал молодой унтер-офицер.

– Ах они, каналы! – офицер кидается к телеге.

– Вы кто такие? – слышится визгливый голос, – вы знаете ли, кто вы такие? Вы все – выброшенная дрянь, все, все!

Энергичная рука, подпрыгивая, начала шлепать арбузы подряд. Офицер был живчик и исполнен сознания своих обязанностей. Он сел на облучок и возвращался с возвратной партией на свой этап. Одет он был по форме, с револьвером и свистком, и поминутно распоряжался за унтер-офицера. На большой торговой дороге постоянно встречаются обозы. По правилам, по знаку свистка, они должны сворачивать с дороги, но ямщики не всегда могут это исполнять: обычно-

венно обоз останавливается, но лошадей отвести в сторону не имеется возможности. Энергичный офицер свистит вместе с унтер-офицером. Обоз останавливается; мужик отводит передовую лошадь; остальные суетятся.

– О, каналы! Долго ли вас учить? – вспыхивает живчик-офицер и, схвативши бич у ямщика, мчится к обозу. – Зачем нам даны свистки! – вопиет он, поражая направо и налево.

Унтер следует за начальником и разгоняет лошадей, которые кидаются в разные стороны. Неприятель рассеян; обоз представляет необозримый хаос. Ямщики спасаются большей частью бегством или закрываются рукавицами и редко вступают в борьбу, стараясь иногда только отнять бич. Сонных особенно чувствительно задевают на телегах; на одной станции высокий, с седой бородой ямщик схватился в борьбу с унтер-офицером, вооруженным бичом.

– Я сам кавалер... отставной... я буду жаловаться! – кричал он.

Это была единственная оппозиция, какую я помню.

Битвы повторялись нередко. Эти выходы показывали, что нравы старых деятелей и старые привычки еще отзывались и в новых деятелях.

У нас так заведено: если строжиться, так строжиться; середины не существует. Поэтому от самой голой распушенности легко переходят к произвольным строгостям. На такие мысли наведен я был встреченным на дороге замком П., в котором существовали самые строгие порядки. Недавно только в этом остроге был бунт, а потому его особенно подтянули. Самый бунт, как говорят, произошел оттого, что после некоторой свободы, усвоенной арестантами, вдруг прибегли к строгостям, к запиранью на замки. Подобное распоряжение принято было за каприз смотрителя и за утеснение; произошел протест, следовательно, –

бунт... Это отсутствие постоянных правил, эти постоянные колебания тюремного начальства и заключают в себе корень всех недоразумений и бунтов.

Мы пришли в замок, когда его уже усмирили и введено было множество строгостей. Громадный острог с тысячью или более людей был отдан в распоряжение оставшему унтер-офицеру, отличавшемуся только выправкой и чистыми пуговицами. Обыски происходили ежедневно; арестанты не выходили из-под замка по суткам; мелочность была страшная: чтобы купить калач, надо было брать записку в конторе острога на пропуск. Распушенность или чрезмерная строгость по произволу – это черта чисто русская, оставшаяся от старых наших воззрений. В немецкой тюрьме, даже в самом строгом пенитенциарии, вы не найдете отступления: все по правилам; нет там патриархальной простоты, нет доброты, пожалованной случайно, из милости, но нет и излишнего утеснения сверх правил, нет произвола. Вы знаете, чего можете требовать и чего не можете; вас ограничат, но не утеснят сверх закона. Встречая же распушенность, вы начинаете сначала благодушествовать и благословлять патриархальный порядок. Часто, входя в какой-нибудь острог и видя, что все мирно гуляют, все покуривают, вы считаете это дело обыкновенным и дозволенным; вынете и вы папироску, но вдруг подвертывается смотритель, какой-то истрепанный, старый чиновник.

– Ты что стоишь с сигаркой? Ты кто такой! Арестант!!! Я тебя скручу! Пошел в камору!..

Вы упали с облаков; вы унижены, оскорблены вследствие вашего недоразумения. Вы поняли, что вас не только ограничат при случае, но и скрутят, да и скрутят-то чересчур. У нас везде вкоренилось убеждение, что когда отдают кого-нибудь в подчиненные, то начальник может с ним все сделать, что угодно, – «и дуги гнуть, и лучину щепать». Оттого горячий этапный треплет арестантов по щекам с пол-

ным сознанием своего права. Заведующий на пароходе отправкой арестантов начальник недавно еще при нас отправлял партию. Отправлявшиеся на арестантской барже дворяне хотели обратиться к нему с просьбой об отведении им особой каюты. Просьба их, может быть, была тут неуместна, но совершенно законна. Один из препровождаемых дворян начал так: «Извините, господин полковник, на основании статей...» – «Без статей! – загремел начальник, – говори без статей: что нужно?» – и затем пошла гроза.

«Без статей!» Это – общий вопль рутинеров по всей России. Без статей!.. как будто это не величайшее оскорбление закона! И ежели часто подобный произвол практикуется на простом вольном человеке, то что же остается ожидать арестанту? По взгляду старых служак, с ним все позволительно – все, даже самое несправедливое. Сколько раз я слышал в тюрьмах жалобы арестантов начальству на дурную пищу, на излишние стеснения:

– Ваше высокоблагородие, от этой прижимки нам жизнь не в жизнь! – говорят они.

– А кто же вам, милые други, велел попасть сюда! – отвечает он. – На то и тюрьма, чтобы худо было!

Пренаивное смешение понятий образовалось в этих головах. Они охотно по собственному произволу усугубляют меру законного наказания, не допуская ропота на том основании, что они начальники, и в то же время забывают, что мера наказания назначена законом, что они сами только подчиненные и что, следовательно, не их дело рассуждать, за что попал и кто велел. Этого самородным философам не рассудить вовек.

Старые воззрения на бесправность арестанта глубоко впитались в наши нравы... «Ты кто такой? Арестант!» – слышат постоянно заключенные. С грустью приходится задуматься, что эти нравы могут проникнуть и в новые тюрьмы, и тогда ни чистота помещения, ни новые здания, ни новая обстановка не помогут делу. Когда на арестанта –

все равно, при пенсильванской или осборнской системе, – будут кричать: «я тебя выпорю!» да «в дугу согну!», – дело останется в прежнем положении.

Нам пришлось предпринять водяное путешествие по Волге, и ежели капитан Гулливер путешествовал в клетке, то мы странствовали в курятнике. В самом деле, ежели вы видели с высокого берега Волги сзади пассажирского парохода баржу, покрытую сверху проволочной сеткой, то она должна была наверное напомнить вам «курятник», как ее и называют арестанты. Новая арестантская баржа имела крытую палубу, обнесенную легкой, но крепкой сеткой; внутри ее были три каюты для препровождаемых людей, наверху каюта офицера и службы для команды. Как ни уютно было все устроено, но каюты ломались при перевозке больших сибирских партий. В них было два яруса коек или деревянных выкрашенных нар, между которыми тянулся маленький проход. Шум, звон кандалов постоянно гудели кругом. При постоянном наплыве грязного народа, при сырости, развелись мириады блох, которые не позволяли ночами ни на минуту уснуть. Еще хорошо, что днем люди выпускались на палубу. Здесь мы посматривали на вольный мир сквозь вуаль проволоки; вольный мир и за этой вуалью был хорош. Рисовались плывущие красивые берега, то утесистые, то утопавшие в зелени; мелькали сады, качающиеся на волнах рыбацьи лодки, лепящиеся по берегам деревни, голубая даль воды и летняя синева неба с тающим белым облаком – все было обольстительно. Впереди бойко бежал красивый зелененький пароход, выкидывая белые клубы дыма. Я вспоминаю и свои прежние странствия на этом пароходе, вижу издали как будто знакомую публику. И изящный помещик в 1-м классе с серебряным несессером, занятый постоянно бритьем и переменной

рубях, и купец около буфета с дешевой сигарой во рту, и немка-гувернантка, и черный грузин около смазливой горничной, и мечущийся отец-дьякон в широкой шляпе, которую беспрестанно прожигают падающие уголья. Видно, как там кипит жизнь: смех и веселье долетают оттуда. Сотни сцен и лиц возникают в памяти... Но вот пароход подбегает к пристани, и арестантам надо идти, по правилам, в трюм, который запирают железной дверью.

Теперь приходится смотреть только в маленькое окошечко. Волжские пристани, как известно, красивы, но теперь они еще более привлекательны. Вот широким амфитеатром раскинулся городок, путающийся в ярких зеленых садах над голубой, светлой рекой, и все это залито ослепительным светом. На берегу стоит какая-то группа молодежи и разряженных женщин в цветах и летних шляпах; рядом молодой медико-хирург в белом кителе детски смеется, показывая свои перламутровые зубы. Сколько здесь света и жизни! Как хорошо живется в это лето! На берегу между тем высыпали пассажиры. Я просовываю свою голову в окошечко и нахожу, что она пролезает с плечом: это психическая страсть заключенного пытаться выходы, хотя и без всякой цели...

Застучал пароход, и мы, вдали от взоров публики, опять выползли из трюма. Новые картины берегов мелькают сквозь темную сетку. На барже стоит этапный офицер, молодой, солидный человек из новых, и разговаривает с каким-то дворянином.

— Теперь у нас все новое: баржа превосходная — тридцать тысяч стоила; люди у меня все с револьверами, трезвые, на подбор; служба у нас легкая. Да теперь все изменяется: с- вот земство введено в нашей губернии...

Офицер, как видно, был прогрессист, и я приготовился выслушать парламентский спич, но, как нарочно, подсунуло унтер-офицера сообщить, что какие-то арестанты не идут в каюту.

– Ах, каналы! Вот я им покажу.

Молодой человек быстрой походкой побежал к корме. На другом конце баржи послышался энергичный крик и треск, похожий на разбивание пистонов.

– Ну что с таким народом поделаешь! – говорил, возвратясь, раскрасневшийся молодой человек, – впрочем, я их мигом усмиряю; у меня народ надежный, да я и сам опытный человек, – вживал целые партии от Казани: подтянешь их, знаете, к цепи...

Я не стал даже слушать офицера.

– Я знаю, как с этим народом делаться! – говорил мне раз очень молодой и добросердечнейший юноша из кадетского корпуса, – у меня кто забунтует во время дежурства, – я и прикажу его связать *калачиком*: небойсь, присмирееет!

И юноша веровал в действительность своего «калачика». Когда ограничили употребление телесного наказания и рукопашной расправы, у нас появились взамен «калачики», крепкое сковывание, «колодки», «карцеры» и т. п., в которых люди, привыкшие к розге, искали замены.

Когда наступил вечер и по тихой реке разлилась широкая заря, а на пароходе высыпала публика, военная команда на носу баржи составила хор с бубном и разлилась веселыми песнями. Это составляло немножко резкий контраст с грустными пассажирами баржи, но зато была истинная любезность для парохода.

– Вот у меня, – говорил прогрессист дворянину, – посмотрите, какие молодцы: они у меня и рыбу ловят по пути, и хор я из них составил, и на пароходе они выгружать помогают, – словом, что хотите.

Был блестящий и светлый день, когда мы подплывали к Нижнему. Летнее солнце особенно роскошно блестело; на берегу красовались деревни с чистыми постройками,

издали напоминая то швейцарские домики, то голландские живописные мызы; река была загромождена сотнями барок и барж, подошедших к ярмарке. Мы долго лавировали между ними, пока пароход наш не подбежал к пристани, уставленной другими веселыми пароходами. Вид пристани и города был праздничный. На палубе парохода суежилась разряженная, аристократическая публика. Все это было оживлено, весело гудело.

Длинным рядом, окруженная конвоем, с глухим звуком кандалов и с мешками за плечами, двинулась наша партия. Это были люди в грязных рубахах, в пыли, в грязи, покрытые заклеяменными кафтанами. Я взглянул на них и вспомнил выражение: «Они имеют что-то злодейское». Еще бы: после стольких бессонных ночей и расписанные такой грязью! Я шел таким же оборванным в середине толпы, и во мне что-то неприятно щекотало. Тяжело ведь идти среди улиц большого города, среди массы свободного народа с клеймом! С этим даже преступник не может примириться: он злобствует. Я все еще не мог отвыкнуть от мысли, что на нас смотрят, ругаются над нами. Но на самом деле на нас никто не смотрел. Лица так же смеялись и улыбались: все были так полны самодовольства. Мы проходили мимо элегантных пассажиров парохода, и нас не замечали. У великосветской публики не открылся даже ни разу кошелек, чтобы бросить монету проходившим нищим женщинам с голыми детьми... За партией заковыляла какая-то уличная торговка и подала копейку ребенку... У этих людей есть еще сердце!

Солнце приятно светило только для более счастливых, но оно беспощадно жгло ссыльных. Когда поднималась партия на набережную с мешками, с людей лил пот градом, жажда томила страшно. После всего этого нам пришлось

под жгучим зноем еще просидеть часа два около пересыльного этапа. Молодой офицерик, очень элегантный на вид, ни за что не хотел принимать партию, так как по счету у арестантов не хватало казенных вещей. Дело это было очень обыкновенное. Некоторые арестанты говорили, и не без основания, что они не получили всей одежды, записанной в арматуру (63); иные, может быть, проели ее при бедности, иные оборвали, а обувь часто кидали за негодностью: именно так поступил и я со своей. Молодой формалист долго сердился, обещал обо всем донести начальству и наконец решился вытребовать препровождавшего нас ранее этапного офицера. Этапный приехал, и нас, наконец, впустили в пересыльную, где после жары, утомленные и бессильные, мы разлеглись на грязные нары. Дипломатические переговоры кончились между этапными благопривно, а для полного удовлетворения вызвали несколько арестантов, у которых не досчитывали одежды.

– Ну, что? драл? – спрашивали арестанты воротившегося из экспедиции в нашу казарму товарища.

– Ничего! – отвечал беспечно краснощекий и улыбающийся парень, – помирились! Мне наш-то шесть штук дал, однако здоровых! – прибавил он иронически, коснувшись до подбородка.

– Ну, и слава Богу! – отвечали арестанты.

Хотя отведенная казарма на этом отдельном этапе была темна и грязна, зато выкупал все обширный двор, по которому можно было целый день прогуливаться. Посредине этого двора была устроена лавочка, куда допускался частный торговец. Это было уже нововведение. Лавочка была то же, что «*santines*» при французских тюрьмах, то есть мелочная продажа для арестантов. В ней мы нашли французские булки, колбасы, сыр, сардинки, конфеты, орехи, мармелад, но, к удивлению, не было ни мяса, ни яиц, ни хлеба, то есть того, что необходимее и доступнее всего для арестантов, так как им выдается всего 10 коп. на прокорм.

– Почему же этого всего нет? – спрашивали мы.

– Да оттого, что не дозволено: иначе арестанты будут на руки деньги просить и казенной пищи брать не будут.

– Так что же? ну, и пусть кто хочет покупает.

– Гм!.. Это, говорят, нельзя: невыгодно смотрителю!

Разговор тут как-то прервался. Мы увидели, кроме того, что цены в этой лавочке были высокие и что держал ее монополист-подрядчик. Несмотря на то, что лавочки эти необходимы и полезны, но при таком положении они не заменяли даже прежних арестантских майданов, которые сдавались обществом острога на торгах майданщику, и деньги шли на общину. Майданщик обязан был иметь все необходимое и продавать по дешевой таксе: новые «cantines» не отличались этими удобствами; лабазник эксплуатировал арестантов, как хотел. Тем не менее и это было нововведение. В иных замках делались и другие либеральные уступки: так, например, позволяли покупать и курить табак. Впрочем, при этом встречались постоянные колебания.

– Вот в Казани, – сообщал нам один арестант, – было дозволено покупать табак, да один из арестантов бросил табаком в часового; так опять запретили.

Это нам напомнило другой виденный нами уездный замок в Пермской губернии, где смотритель из-за того, что кто-то плеснул кипятком на солдата во время ссоры, отобрал у арестантов все самовары и запретил пить чай. Вот это называется уничтожением зла в корне!..

После обеда в наш этап прибыла громадная партия с московской железной дороги. Партия шла в Сибирь, была утомлена и жаловалась на тесноту и духоту в вагонах. Если мы припомним вообще тесноту в третьем классе вагонов, то поймем, что в арестантских бывает еще потеснее. Сверх того, там выход не позволен. (А *propos*, отчего бы не прогуляться кому-нибудь из газетных репортеров в этих вагонах? В Англии этим не брезгают и посещают всевозможные притоны.)

Прибывшие шумели на дворе и толпились около «cantines»; мелькали, как всегда, пальто, кафтаны; встречались серые куртки в цепях. Это были люди только что из московского и петербургского замков, из залы суда; лица были для меня новые. Я присмотрелся к дворянам. Тут был интересный помещик из Полтавской губернии, толстый paterfamilias с большими усами и величественной фигурой. Он объявил, что страдает за «хама». Далее было семь человек дворян: какие-то молодые юнкера с Кавказа, офицер и проч. – все они объявили, что сосланы за дерзость против начальства.

Это обыкновенная дворянская рекомендация; настоящие причины ссылки всегда скрываются. В Сибири вы всегда встретите в маленьких городах подобных людей, в солдатских пальто, в старой военной фуражке, с фиолетовой физиономией, в лице бойкого с рыжими усами детины, который вламывается к проезжему и бойко начинает:

– Сам благородный человек... несчастье... бури жизни... влекомый судьбой... на Кавказе на балу батальонному командиру, вступая за даму, нанес дерзость, и т. д.

Он довольствуется двугривенным и вежливо расшаркивается. Между теми же дворянами был молодой человек из Москвы, кудрявый, в усах, в щеголеватом пиджаке и с лаковым саквояжем через плечо. Несмотря на его изысканный вид, товарищи отзывались, что это жалкий человек и голый бедняк, у которого, кроме изысканного туалета и непреодолимой страсти к комфорту, ничего не было.

– Что будет он делать в Сибири: погибнет! – говорили некоторые, жалея его.

А молодой человек в шитом халатике с кистями и в легоньких туфлях, с душистым мылом под мышкой между тем торопливо бежал в баню. Это был тип *gentlemen convict's*, как их называют в Австралии. Между смурым народом видны были разные камердинеры, маркеры, смазливая горничная с чем-то завязанным в носовой платок,

единственным ее имуществом. Она краснела и начинала кокетничать, чтобы кто-нибудь угостил ее чаем; это был первый шаг; далее в партии судьба ее известна: сначала грошовый комфорт, а потом продажа любовником или проигрыш ее в карты другому; таков уж обычай. Женщины в партиях подвергаются всевозможным соблазнам, и почти все под конец имеют любовников.

Впрочем, я случайно познакомился с одним из простых русских людей, шедших в Сибирь. Когда я проходил в женское отделение, где пожилая полька-шинкарка образовала род кафе, то есть продавала чай около громадного, шумящего самовара, я услышал, как кто-то дернул меня за плечо. Я оглянулся и увидел пред собой скромную, почтительную, даже умоляющую фигуру человека в холщовой рубахе, с выбритым широким подбородком, с усами и с лицом, поражающим необыкновенной бледностью. Это был кто-то из новоприбывших.

– Извините, ради Бога, – начал он, – я вас хотел только на минуту спросить: вы из восточных губерний идете?

– Да.

– И о Сибири слышали?

– Слыхал.

– Простите, я вас задержу только на одну минутку.

Позвольте вас угостить чайком. Сделайте одолжение!

Он засуетился, начал подстилать какой-то платок под меня; потом развязал узелок, в котором было завязано два рубля, взятые на дорогу; горячился, требовал чаю, навязывал мне непременно стакан, совал кучу сахара и все спрашивал, чего я хочу. Пересыльный был рассеян; голова его кружилась, как будто он только что вырвался из острога на свет и был в тумане; мысли его путались, и в то же время он был как будто обрадован, искал что-то высказать. Видно, что это был новичок на этапе, что он был готов и раскутиться на два рубля, и отдать их кому угодно, и что кинутый на широкую дорогу, озадаченный, потерянный,

он искал утешения. Насилу я его успокоил и обещал сообщить все, что знаю о Сибири.

– Я из военных писарей, – быстро сообщал он, – попал под суд за погрешность: меня уговорили подскоблить, *чутьочку* только подскоблить, – прибавлял он, – я не знал, что из этого выйдет худо. Я долго сидел в Москве и осужден на поселение в Сибирь. Мне тридцать лет; я умею писать, пишу хорошо-с. Но что такое Сибирь? Куда я там денусь? Есть ли там хоть какая-нибудь работа? Может, я пропаду там?

И тень мучительной, загадочной тоски пробежала по его лицу. Я поспешил сказать ему, что опасаться нечего, что Сибирь та же Россия, что там несколько губерний, что, как писарь, он там не пропадет, а может пристроиться и в волости, и в городе; сообщил несколько подробностей.

– А, а! – с жадностью хватался он за слова, – так вы говорите, я не пропаду? Там можно будет и писарем пристроиться? А ведь я ничего этого не знал; говорят: «Сибирь», а что такое Сибирь?.. там, думаю, гибель!

И детская какая-то радость и надежда закопошилась в нем: он начал путаться, лепетать и благодарить. Это, впрочем, и понятно: у нас большинство людей идет в ссылку – и не знает, что такое Сибирь. С местом ссылки не знакомят предварительно, как это стали делать в ирландских тюрьмах пред отправкой в Австралию. Русский простой человек представляет себе Сибирь иногда рудником, иногда городом, а чаще всего он видит неизвестность, черное пятно впереди, какую-то темную пропасть и зловещее будущее, полное неведомых мук.

– Там гибель! – говорят все они.

Я проходил между смурыми кафтанами, и на всех лицах одинаково видны были те же блуждающие, загадочные взоры, тот же след безнадежности и неизвестности. Этот народ был с бледными лицами, по которым перебегала какая-то тень истомы, как будто след недавнего кризиса болезни. У них было вчера еще горькое проща-

ные, и пережита была сильная внутренняя борьба; казалось, последняя слеза еще дрожала на глазах, последний звук прощания еще не замер в сердце. А какое это тяжелое прощание! Я помню, как при мне отправлялся в ссылку с родины старый отставной солдат. Он жил в Костромской губернии, выслуживши тридцать лет беспорочно, бывал в походах и был закален жизнью; под конец он жил на какое-то в деревне, имел старуху-жену, с которой прожил сорок лет; жизнь его была завершена. Какой-то несчастный случай его подкузьмил: к нему, как он говорил, на дворе подбросили воровские вещи из-за вражды. Седой, как лунь, добродушный, прямой, рассудительный, он был честен в высшей степени, в чем я убедился, живя с ним. После приговора он все на что-то надеялся. Изредка он отрывочно размышлял: «Под старость где придется умереть-то! Будь я один – все равно, да старуха... с нею сорок лет жили... я ее не возьму! Кто знает, что там будет... А обидно, тридцать лет!..» и т. д.

Наконец, в одно утро его вызвали и приказали сейчас собираться в партию. Я сидел подле него: вызов был неожидан. Старик сложил покорно старый армячок, рукавицы, рубаху – молча, только руки затряслись да лицо поникло; а потом встал, скрепился и пошел между арестантами твердой поступью. Седые волосы откинута; лицо как будто спокойное, торжественное; он произносил: «Прощайте, братцы! Прощайте, братцы!» Хоть на него никто не обращал внимания, но голос был глухой и глубокий, как вздох, а в глазах туман. Так прощаются только умирающие... Другие ссыльные также хоронят всю жизнь, все прошлое, а сколько тут дорогого оставлено! Только вдолге, после подавленной боли, разразится это чувство страшной истерикой на ночной койке... А куда его надо выносить, перемочь, задушить... Один из романистов захотел изобразить выезд каторжных из Петербурга, которые поют *цинические*, удалые песни. Что мудреного! И я

слыхал эти песни в острогах, иногда под звон кандалный. Они громко поются, потому что надо очень громко петь, чтобы заглушить то отчаяние, которое клокочет внутри; надо, чтобы слова, мотивы были противоположны по смыслу действительности, чтобы отвлечься от того, что чувствуется в сердце и щемит надрывающей болью. Пронзительный хохот, дикая удаль и сумасшедшая пляска несутся в громе звуков – выше, громче, а там надтреснула нота, оборвалась струна от резанувшей боли... В какой-то опере придворный шут поет веселый мотив и пляшет, а в звуках дрожат слезы: он потерял дочь, – а ведь эти люди теряли еще больше!..

Наступила и наша отправка. Мы долго сидели около военной канцелярии во дворе старого дома, с ободраным балконом, с покинутым помещичьим садом, полным рдеющими яблоками и запущенной зеленыю, среди которой валялись зацветшие бутылки от клико – остаток бывших пиршеств. Инвалидные солдаты сидели в ожидании офицера и от нечего делать философствовали.

– И отчего это один человек родится хилым и слабосильным, а другой здоровым? – задавал рассеянно вопрос один из них.

– А это недаром, – говорил другой, – коли он хилый, бессильный, нездоровый, зазорный – значит, что и Бог от него отступился, значит он грех в себе имеет, али родители его имеют...

Откуда только берется такая философия у русского человека?.. Пришел наконец офицер, молодой, элегантный, рассеянно взглянул на партию и отправил ее часов в двенадцать. Мы пошли по Нижнему: день был ярмарочный; улицы были оживлены и полны народом; блестящие экипажи неслись то и дело; залитые золотом мундиры,

разряженный люд, цветы, шляпы, ленты, зонтики так и мелькали. Мы двинулись на главный базар, где простой народ и торговцы хлынули к партии. Масса народа совала подаяния со всех сторон: несли булками, калачами, которыми завалили целую телегу с ехавшими больными; мелкие торговцы и торговки несли, что могли, – сушеные плоды, пучки луку, горсти изюму, грецкие орехи; все это сыпалось в полы. Торговки бежали за партией и догоняли ее, как будто спешили исполнить долг; сибирки и купцы совали арестантам копейки; попадались гривенники и пятиалтынные, случались и двугривенные, но не более. Больше всех дал пьяный рекрут около солдатской казармы: он вынул арестантам рублевую бумажку. Когда староста разделил, вышедши из города, подаяния, то оказалось человек на двенадцать рубля по три серебром на каждого. Приходится иногда, говорят, и больше. Арестантским партиям прежде давали больше всего в Москве, и ссылаемые в Сибирь говорят, что они отсюда выносили прежде по 30 и 40 руб. на человека. Помощь эта – немаловажна на дороге, но, не будучи организована и отдаваемая в распоряжение каждому, она быстро расходуется. Простой народ еще до сих пор свято сохраняет привычку подавать арестанту. По мелким деревням за Нижним постоянно отворялись окна с краюшками хлеба и булками. Скоро у крестьян-старообрядцев под Нижним мы имели случай испытать неоцененную их заботливость об арестантах, когда мы задыхались от жажды. На самых глухих трактах я имел случай видеть участие даже беднейших и несчастнейших жителей. В одной северной полуголодной губернии, проходя деревню, мне страшно захотелось есть; я пошел разыскать лепешку, чтобы купить ее; хлеб был с мякиной, очень плох, но лепешки были житные, хотя тоже с шелухой. Они составляли, однако, лакомство у крестьян в праздники и пеклись в небольшом количестве для семьи.

Подойдя к одной избе, я спросил, не продадут ли лепешки (шанешки); старая, полунищая женщина посмотрела на меня, потом отрезала четвертушку и подала в окно. «Простите, батюшко! – сказала она, – это для ребяенок оставлю». Я хотел отказаться, но, чтобы не обидеть, дал три копейки. «Что вы! С вас нельзя брать: грех!» – заговорила старуха и стала отбиваться. Так я и ушел, оставив деньги на подоконнике. Простой народ старается прокормить «несчастливого», но при его бедности, конечно, собираются только гроши. Вообще о благотворительности мы, конечно, должны сказать, что гораздо плодотворнее выражение ее в «покровительственных обществах» (*Sociétés de patronages*) и в снабжении тюрем большими средствами; тем не менее при известных условиях жизни частная помощь в критические минуты сохраняет свое значение. Арестанту выдают в остроге семь копеек: на это не пороскошничашь! Ближе к народу стоят купцы: они свозят иногда к празднику съестные припасы для арестантов – кадки капусты, соленые огурцы и т. п. К сожалению, случается, что свозится именно то, что негодно и залежало во время зимы из собственного хозяйства: «Дескать, арестантики и этим будут довольны: где им!..» Смотрители такой провизией пользуются при выдаче порций вместо свежей. Бывают случаи и такой русской благотворительности: какой-то купец в одной восточной губернии пожертвовал не очень давно 200 или 300 пар кандалов для арестантов. Пожертвование это, конечно, было в пользу казны, но купец нарочно адресовал его на имя острога. Какой смысл имела эта бесчувственная выходка, я не знаю; но среди арестантов она произвела эффект. Одни, молодые, разразились проклятиями; но опытные, любящие смотреть на свои дела с объективной точки зрения, очень забавлялись. «Вот одолжил! Чтоб ему ни дна, ни покрывки, ха, ха, ха!» – заливались они.

Теперь мы опять повернули на побочный тракт и под надзором инвалидных солдат пошли пешком. Первая станция была особенно мучительна. Мы вышли довольно поздно и прошли около 36 верст до ночлега. Солнце пекло невыносимо; дорога была песчаная; ноги тяжело брели по песку, а некоторые из нас тащили еще кандалы. Сапоги начали сбрасывать. После тяжелого перехода на пути давали отдыху не более пяти минут, потому что вышли поздно, а солнце все более и более припекало; голова кружилась; ноги подкашивались; пыль лезла в горло, и жажда томила невыносимо. Чаше и чаще тянуло пить, что, впрочем, благодаря частым, почти сплошным, деревням под Нижним, было делать довольно сподручно. В это-то время высказывали из домов староверов женщины с холодным квасом и давали возможность хоть немного освежиться партии. Но только немного проходили, как жажда еще сильнее мучила, и мы опять искали колодца. «Погодите, погодите, немного, – говорили солдаты, – вот сейчас будет деревенька: староверы живут. Тут будет один дом; они уж всегда встречают арестантов, никогда не пропустят. У них и лавочка около дому выстроена; квас отличнейший, холодный!» И только что начинали подходить к дому, как действительно краснощекая, сильная молодуха вытаскивала громадное ведро с холодным, ледяным квасом и с деревянным ковшом. Посуда эта была нарочно приготовлена для проходящих; свою они держат для себя. «На здоровье, на здоровье, батюшки!» – кланялась молодуха и уходила. И как предусмотрительно и скромно все это выполнялось! К вечеру жара начала немного спадать, и мы очувствовались; ощущалось только утомление и разбитость. Когда стемнело, мы вошли в Балахну. В каком-то особенно приятном свете представился мне этот тихий городок,

или я устал и был отуманен. Веяло кругом тишиной и прохладой; веселые дома, необыкновенно красивые лица детей и женщин кинулись в глаза. На тенистом бульваре еще прохаживалась публика. В остроге мы заснули, как убитые. На другой день мы отдыхали: здесь была дневка. Городок и самый замок был скромный и патриархальный; около острога виднелся бульвар и зелень; в остроге, довольно чистом, текла скромная жизнь; к нам доносилось пение священника из маленькой острожной церкви, легкий дым ладана, а кругом тихо качалась и лепетала зелень. Покой, забвение и тихая грусть веяли кругом, как на мирном сельском кладбище...

Отдохнувшие и свежие, мы двинулись далее. Только теперь я заметил, что мы находились среди густого населения, около самого центра России. Деревни были особенно часты, местами выдвигались красивые рощи дубов и кленов. Еще вчера мы проходили мимо очаровательного фруктового сада, из которого пахло таким букетом цветущих лип, яблони и сиреней. Этот сад, как мы узнали, благоприятно расцвел на *соленой* почве, а владелец его испытывал уже горькую участь заключения в Нижнем. Около деревень были засеяны колосистые поля. В одном месте под горой открылся ослепительно зеленый покос; близ дороги стояли в ярких рубахах мужики, и в мускулистых, засученных руках их блестели поднятые косы. «Вот бы кого заставить поработать! – замечал кто-нибудь из них, – это карманников!» Это относилось к нам. Но это было несправедливо: в партии было несколько людей в оборванных пальто, но мазуриков не было: состав партии был более скромный. На телеге больных ползал сумасшедший нищий, которого препровождали из Нижнего до ближайшего уезда; подле сидела вологодская зырянка,

ходившая в Пермскую губернию на заработок, но заболевшая там сухоткой и отправлявшаяся умирать на родину. От этой молодой, 19-летней женщины остался только скелет; глаза слезились; она едва ползала. Скоро ее по болезни оставили в маленьком городке на пути; там она, вероятно, и умрет. Шла в партии другая зырянка, здоровая и выносливая баба, тоже из Пермской губернии, бывшая на заработке и просрочившая паспорт. Еще шел костромской парень, ушедший в бурлачество и живший в Перми в маркерах. Пропустивши срок паспорту, он работал на пристанях и после облавы полиции взят был с целой ватагой другого беспаспортного народа. Он был в старом суконном пальто, в портах, босиком и почему-то в оковах. Далее шел мальчик 14-ти лет из Петербурга, живший в учении у красильщика, заболевший и очутившийся без вида, – бойкий парнюга, с большой рыжей головой, в одной старенькой рубаше с манишкой и в коленкоровом картузе. Он постоянно баловал и рвал наручни к досаде конвойных, которые все его пристрачивали, но пристращать не могли. Еще шла какая-то авантюристка, солдатка Аришка, бегавшая постоянно от мужа и часто гулявшая по этапу. Наконец, несколько мужиков: это были лица, пересылаемые к обществам. И таких людей пересылается у нас громада...

Под вечер мы приблизились к маленькой деревне с черными избами.

– Где же этап? – спрашивали мы.

– А вот в конце деревни.

Мы остановились около маленькой, гнилой избушки, полувросшей в землю; подле находился хлевок шагах в шести; это был как будто дворик. В скосившейся, развалившейся избушке была темнота: ее едва освещали два узенькие слуховые окошка, перегороженные крест накрест железными прутиками. Это была низенькая и узенькая клетка, шагов в восемь длины; кроме того, она была отгорожена, и за перегородкой жил старик-нищий, карауливший

этап. Печь стояла черная; стены закопчены сажей; на полу грязная солома; тут приходилось разместиться 12-ти чело-векам да еще конвою.

– Как же мы тут влезем? – спросил кто-то.

– А как-нибудь влезем! – ответил солдат.

И, действительно, влезли. И вспомнил я анекдот, рас-сказанный на дороге. Солдат рассказывал про необыкно-венных пчел, водившихся в его губернии.

– Вот какие пчелы! – говорил он, сжимая два кулака.

– Ну, а улы? – спрашивали его.

– Что улы? Улы – обыкновенные!

– Как же такие пчелы-то вылезают?

– Да у нас хоть тресни, а полезай! – с энергией про-молвил рассказчик.

Ночь в этом маленьком катухе была, действительно, неприятная! Люди разлеглись подряд, тесно сжавшись друг подле друга, на грязной соломе; дверь заперли на замо-к, как следует по уставу; часть солдат ушла в хлевок, а человека три остались с арестантами; один из инвали-дов сидел, примкнувшись к дверям, на кукорках, и зажег лучину. После летней жары воздух сперся; тучи комаров и мошек нахлынули и вились около голых тел; лучина чадила около дремавшего солдата; насекомые кусали и жалили: заснуть было невозможно; в каком-то бреду рас-кидывались тела; в ушах звенело; дыхание сперло; каза-лось, это была агония асфиксии. Такой этап находился в центральной губернии, в 60-ти верстах от богатейшего го-рода! Таким он оставался и в руках земства, которое уже существовало в этой губернии.

Мне в первый раз доводилось видеть внутреннюю Россию с ее густым населением, с ее садами, усадьбами и деревнями. Я знал ее только по книгам. Теперь мне вдо-

бавок еще пришлось видеть «обновляющуюся Россию». Здесь на меня повеяло воспоминаниями давно прочитанного, чего-то идеального, мечтательного. Вот эти помещицы дома, сады, усадьбы, которые столько раз рисовались и Пушкиным, и Гоголем, и Тургеневым. На красивых дрожках прокатила по дороге седая, сухопарая помещица, с желтым сморщенным лицом, держа в руках роскошный букет оранжерейных цветов. Открылся в тени помещичий дом, и за решетчатой оградой на крыльце стоял старичок в халате с трубкой и длинным чубуком, какие теперь, вероятно, нигде не встречаются; перед ним без шапки, по старой памяти, стоял крестьянин. Старичок был помещик, но как он осунулся и поседел после 19 февраля! (64) Вот и пруд и сад с душистыми яблонями, с темными арками и аллеями. Не здесь ли бродила мечтательная Татьяна? Не здесь ли разыгрывались похождения героев Тургенева? Там, на обрыве, под этим старым дубом слышались трепетные речи любви; здесь, на берегу, мечтали о Гете и Шиллере; в той беседке звучал поцелуй, по темному саду в полумраке таинственно пробегали тени, а из окна сладко замирала соната Бетховена, и страстно дрожал женский голос итальянской мелодией. Пустынен теперь стоит этот сад: зацвел пруд, покрытый когда-то лебедями, и старая липовая беседка покачнулась, и романический балкон на доме, ободранный, полуразрушенный, смотрит старым чепцом, надвинутым на плешивой старушечьей голове. Старые Лаврецкие (65) стоят с горькой думой над этими развалинами. Может быть, новые сцены разыгрываются здесь из романа «Молодая и старая Россия», и идет современная драма; а может быть, иная жизнь уже копошится и проникла сюда; может быть, рассуждают и тут о современных вопросах, и в эту минуту в прохладных библиотеках посреди кучи газет слышится спор юнцов и лихорадочно бьющийся пульс новой жизни... «А хорошо бы теперь взглянуть, что тут делается!» – мелькнуло у меня в

голове. А партия бренчит и проходит мимо нового, блестящего летнего домика с отворенной стеклянной дверью на балкон, выходящей в цветники.

– Вот хорошо бы теперь в таком доме побывать! – коварно обращаюсь я к длинному, шагающему подле меня приказчику из Юрьевца, идущему за какую-то продерзость начальству в Кострому.

– Да, очень бы теперь приятно в привилегированном доме с прекрасными девицами привилегированные танцы танцевать, вести привилегированные разговоры и пить вина лучших сортов! – говорит он, вздыхая.

Этот милый коробейник и приказчик своим живым юмором постоянно развлекал мои думы. Откуда он приобрел столько мудреных слов? «Ну, вот мы и отдохнем теперь с прокламацией» (т. е. с прохладой), – говорит он, располагаясь на травку на растахе... Идти легче. Вечерняя прохлада охватила свежестью. Дорога стала песчанее; бор становился гуще; выше поднимались вершины синего леса; места дичают, и скоро охватило нас величественной тишиной и покоем: повеяла «темная дубравушка». Люди шли бодрее. «А что, не гаркнуть ли нам, господа часовые?» – говорит удалый арестант Соловьев из костромских крестьян, русский гулящий человек, побывавший везде, от Сибири до волжских пристаней, веселый и неунывающий.

И – ах, ты чернобровая моя да с крапинами
И за что ты меня высушила?..

вдруг звонко подхватил Соловьев, и голос его заметался, зазвенел с самой беззаботной удалью и полился по роще. Понемногу это настроение перешло к партии: затянули хор, а два молодых, живых солдата сбросили шинели, обнялись и начали выкидывать ногами. На минуту живые чувства охватили и конвойных, и конвоируемых, и никто бы

не узнал теперь, что это партия. А между тем на каждом шагу мелькает «обновляющаяся Россия». В городках попадает земская управа с новой золоченой вывеской. По тракту видно, как проскачут бойкие земские деятели и сеятели на красивой, уютной тележке с бубенчиками, в гарибальдийке, в пенсне, с деловым видом, и скроются в облаке пыли. Это уж не то, что старый становой в колымаге! Попадают мужики и старосты с большими медными бляхами. Проехали какие-то сельские власти в приличных сюртуках; один из них с важной бородой.

– Кто это такие? – спросили мы попавшегося мужика.

– Писарь с приказчиком палку с набалдашником отыскивают: вчера проездом потеряли.

Побывал я раз случайно за билетом на подводу около земского собрания. Проходили какие-то молодые чиновники, осанистые, гордые, в вицмундирных фраках, которые сидели на них так же ловко, как и на чиновниках особых поручений; физиономии в независимых бородках и усах. Сбросив пальто, чиновник небрежно взбивал назад волосы и входил развязно. Писари были молодые мальчики, одетые прилично, с хорошо завязанными галстучками. Я стоял в прихожей с благоговением и припоминал слова либерального старичка, когда-то мне сказанные: «Ведь это, батюшка, сельфговернементом пахнет!» Даже на нас отразилась новизна: и плакаты на подводу под больных были новенькие, чистенькие, желтенькие. В одной деревне при покупке яиц я пристал к мужику.

– Что ваши земские порядки? – спросил я.

– Какие? – отвечал худенький, отрепанный мужичишка.

– Ну, известно какие: ведь у вас теперь земство... выборы есть в собрании...

– Не можем знать.

– Да как же, братец!.. – начинаю я объяснять, – теперь у вас и раскладки другие, и повинности иначе исполняются.

- Не можем знать; нам это неизвестно.
- Ну, вот мировые судьи, чиновники новые.
- Это действительно, что чиновники есть новые!

Мужик ничего и не слышал о земстве; а может быть, это и исключение. В другой раз на красивом обрыве около помещицкой деревни, когда пришлось покупать молоко, я спрашиваю:

- Ну, как ваша барыня? Вы ходите к ней в усадьбу?
- Добрая барыня: сахару детям дает! – говорит баба.
- Что же, это очень хорошо!
- Да, вот только покос при заделе...
- Ну, это дело другое!

Деревни попадались хилые. Те же черные, закопченные избы; в лавочках, однако, продают корольки, колбасы и папиросы. На дороге посреди лесу встречаются щегольские экипажи – легкая коляска с целым цветным букетом дам в шиньонах, одетых по последней моде и болтающих по-французски. Я иду и на дороге нахожу недавно кинутый французский билетик, клочок газеты, коробочку от английских спичек с надписью «London, Piccadilly», и т. п. Да, мы все-таки в центре цивилизации; кругом дает себя знать другая жизнь: шутка ли... с улицы Пикадилли спички! А вот на этой же дороге иная сцена: встречаются какие-то бессрочно отпускные солдаты. Около них целая ватага баб, вопиющих о чем-то. Оказывается, какое-то дело о краже сарафана этими проходящими. Бабы угрожают, обещают приехать с обыском. Бессрочные идут по нашим стопам и, когда крестьяне удалились, начинают друг друга обыскивать. Сарафан находится в мешке одного подгулявшего отставного. Начинается хлоп, хлоп! А потом идут и учреждают суд: товарищи очень возмутились поступком негодяя.

– Что нам теперь делать с ним? – говорили они, – надо его заковать да сдать в партию. Этого мы не потерпим: он позорит...

– А не лучше ли, братцы, своим судом? – вступаются некоторые.

– И то, братцы, своим судом, потому как пойдет он под суд, должен лишиться всего, всей своей службы, а лучше...

– Это лучше! – подтвердили многие.

– Так согласись своим судом? – обратились они к виновному.

Полупьяный солдат, угрюмый и тупой, покачал головой.

– Ну, как хочешь... худо будет тебе!

– Ведь тебе же лучше будет! – кто-то уже начинал убеждать, – сейчас нарежем прутьев! – как будто в виде утешения говорил оратор.

– Эх бы я как принял: с удовольствием! – восклицал какой-то молодой.

– Согласись! Потом ведь все забудем: ничего тебе не будет; и поминать не будем! – умоляли другие.

– Это как есть... потом молчок, братцы!

Шли дальше; желание судить разгоралось.

– Пятьдесят только... согласен?

– Двадцать! – глухо проговорил виновный.

И вот на большой проезжей дороге, в то время, когда партия стояла в стороне, растянули тело на самом том месте, где валялся лондонский пакет от спичек, – и свершился русский самосуд. О, ежели бы в это время проехала аристократическая коляска с шиньонами – какой пассаж! Я лежал в эту ночь на этапе и долго не мог заснуть, ибо, хотя этап уже был новый, но летний, удушливый воздух как-то теснил меня; а в голове теснились земство и несчастный этап в хлеве, мировые судьи и расправа на большой дороге, коляски, шиньоны, улица Пикадилли и ужасный свист розог... черт знает какой сумбур! Все это мешалось в голове; а голова была тяжелая; глаза не поднимались.

Днем мы двигались между красивыми аллеями. Это была дорога в центральной губернии, но она была пустынная, потому что проезжие ехали на пароходах. Между зеленой листвой тянулась телеграфная проволока. Нам не удавалось, однако, идти под тенью аллей: порядки были строже; инвалиды, хотя патриархальные, но с большей требовательностью.

– Не расходитесь, не расходитесь! – говорили они, – идите посреди дороги.

– Зачем же посреди? – говорили мы, – тут солнце печет.

– Нельзя: такой устав; партии приказано посредине идти.

– Никого ведь нету; и вам самим жарко! – возражаешь им.

– А вдруг генерал проедет!

На стенах казарм висели предписания и циркуляры, примеры случаев при препровождении арестантов с 1845 г. Когда мы на одном этапе улеглись спать, старый brave унтер-офицер показал значительное понимание дела.

– Ну, – говорил он молодому солдатику, – знаешь ли ты теперь науку? Что такое солдат?

– Солдат есть имя общее... – залепетал рекрут.

– Ну, ну, – снисходительно бормотал старик, – так скажи же, какие наши враги внешние?

– Француз, немец, турка, – говорил молодой солдат.

– Ну, вот! Ну, а какие же враги внутренние? – спросил опять старший.

Я приподнялся с койки. Молодой солдат молчал и был в затруднении. В самом деле, ведь этот вопрос немалый: он разрешается газетами, – думал я.

– А внутренние враги: вот мы их ведем! – вдруг сказал важно и тихо унтер-офицер.

Внутренние враги в это время мирно храпели на нарах. И в самом деле, подумал я, ведь этот сложный вопрос

проще, чем о нем думают. Сколько у нас публицистов, романистов старалось определить и зарисовать, что такое и кто такие внутренние враги. И все они более ничего не сказали и пришли к одному заключению.

По дороге из-за лесу выдвигались теперь уютные, маленькие желтые этапные домики, едва вмещающие человек десять. Наружный вид их был опрятный; внутри находились небольшие крашенные нары; кругом домика ров и перекидной мостик. Издали для проезжающих казалось: просто, это беседки. Тут мы и остановились ночевать. На стене иногда были надписи и каракули о личных впечатлениях, например: «пей воду, как гусь, лежи, как свинья, живи здесь черт, а не я». Но всего было невыносимее после путешествия под светлым небом, после чистого воздуха, после некоторой свободы попадать дня через два в темные остроги, торчащие в каждом уездном городе. Спускаешься как будто в какой-то подвал, в колодезь среди ясного летнего дня. Снова обшаривание карманов и тела, грубые солдаты и смотрители.

– Все, все оставляй здесь, – говорит усатый фельдфебель, покуда мы стоим под мрачными воротами замка пред кордегардией, – и табак, и спички, и ножичек; все будет сохранно.

Сохранно, однако, не бывает, особенно табак. В мелких острогах смотрителями служат или отставные унтер-офицеры, или мелкие канцелярские писцы. Строгие из них проявляют власть неумолкаемой бранью с перекатами по всему острогу, более же снисходительные ограничивают свою власть тем, что собирают по три копейки и по пять с рыла на табак, и сами доставляют водку и т. п.; тогда они совершенно уже живут с арестантами за панибрата. Эти мелкие смотрители в зените своей власти обыкновенно лежали на нарах в солдатских кордегардиях, покуривали махорку и толковали «о нонешней службе» с солдатами; при падении же авторитета они служили на посылках у

арестантов, маклачили у них «на сигарку», играли с ними в пинки, бегали за водкой и нередко сами таскали «параши». Такими «благонадежными унтер-офицерами», как они называются на официальном языке, до сих пор снабжены все мелкие уездные остроги. Такие люди, бойко распоряжающиеся простым людом и крупной бранью, быстро разрешают все уголовные вопросы, над которыми задумываются лучшие мыслители и юристы.

У нас, что ни острог, то устав; правила, применяемые в них, до бесконечности разнообразны: то курят табак, то не курят; в одном месте поют песни, в другом строго запрещают. Это особенно бесило нашего спутника, певуна Соловьева: только что он расположится под вечер около окошка затянуть песню, как вдруг часовой крикнет:

– Эй ты! У нас это не положено: чичас в карцер; нельзя петь!

– Нельзя, ваше благородие? – иронически-робко произносит Соловьев. – Ну, так позвольте хоть высморкаться!

В иных местах запрещают иметь даже самовары. Строгости до того доведены, что людей не отпускают на колодец за водой, не заковавши в кандалы; а это – люди вольные, иногда не осужденные еще.

– Нельзя ли воды? – как-то я обратился на кухню одного острога.

– Подождите, батюшка, немного, – говорит смиренный крестьянин, – вот третий раз сегодня иду *на заковку*: без этого не отпускают; все ноги стер!

Народ, сидящий в этих провинциальных замках, смиренный, неопытный; это большей частью крестьяне, посаженные на сроки, или люди, высылаемые по приговорам обществ. Они сидят, томятся и скучают без всякого дела. В то время, когда стараются привить труд в тюрьмах и делают усилия в больших и видных замках, в мелких уездных тюрьмах держится неотмененный, старый устав, по которому все орудия труда, как-то: шило, ножик – от-

бираются и строго запрещаются: по уставу запрещено держать острые орудия. Мысль эта, по-нашему, произошла из того же источника, как и догадка запрещать самовары, чтобы люди не могли обваривать друг друга кипятком. Между другими неудобствами во время пути арестанта опутывает тысяча формальностей. Для одной проверки казенного белья, т. е. пары рубах и кафтана, в каждом городе приходится сходить в полицию, в губернское правление; та же проверка производится в остроге смотрителями при входе и при выходе; кроме того, проверка производится конвоем и каждым этапным начальником – и при всем том белье все-таки не уберегается. Иногда даже тоска возьмет от этого пересчитывания.

– Степан Петров, рубаха есть? Порты есть? Коты есть? – читает офицер, путаясь в списках.

– Ну, ты, Анна Меньшикова, штаны есть? Шапка есть?

– Она – баба, – отвечают арестанты.

– А, ну, хорошо. Ермил Филимонов, юбка есть?

Каптур есть?

– О, Господи помилуй! – шепчут арестанты.

Но не все же «грязь и овчинные тулупы», как говорит граф Гаранский (66). Вот и я увижу реформирующийся замок в губернском городе К. Снова предо мной «обновляющаяся Россия». Замок был с обширным помещением: здесь был особый корпус для женского отделения с чистым двором, детское отделение с особой надзирательницей и учительницей, особый корпус для одиночного заключения «с секретными». Камеры освещались лампами; арестанты ходили в парусинных пальто. Порядок тоже начинал водворяться. В особой столовой во время обеда читалось Евангелие и молитвы. Жизнь, однако, при многолюдности была шумная и оживленная. В особенности на меня приятное

впечатление произвела столовая, где утрами располагалось несколько вычищенных самоваров, столы, накрытые салфетками, хорошие булки, сливки и принадлежности к чаю. Арестанты сидели группами и вели оживленную беседу. Дело это очень обыкновенное. Во всех острогах есть продажа чаю и майданы; здесь это проявилось весьма опрятно. Такие майданы лучше держать открытыми даже и для надзора. Но однажды в острог внезапно заехало какое-то старое начальствующее лицо. Оно ожидало встретить всех за замками, в унылом и удрученном состоянии, но на сей раз застало за чаем. «Что это – трактир?» – возопило оно. Продажа чаю с тех пор была ограничена. Из новых порядков, как я узнал, вводилось многое. Пробовали основать школу для арестантов, и сюда ходили с особой охотой секретные. Общие арестанты, впрочем, также любят учиться и читать; во многих острогах они выучивают друг друга грамоте, читают с жадностью романы, путешествия. К несчастью, о библиотеках в тюрьмах у нас нет и помину. Школа, после горячего порыва, была оставлена, и начальство охладело, а может быть, и сам учитель. Кроме того, в замке хотели вводить ремесла, но и это было только в плане. Дворянам предлагали заняться переплетным мастерством, но дворяне были на сей раз оригинальные: временно они занимались клеением цветных корбочек и безделушек, а в остальное время ржали, в буквальном смысле; для них было развлечением – под вечер на крыльце изображать жеребцов. Состав их был следующий: штабс-капитан, служивший в гусарах, промотавшийся, переживший у разных помещиков приживалкой и наконец укравший воротник у собственного портного, человек, впрочем, почтительный и услужливый; тут же находился дворянин без чинов, поступивший по воле в солдаты и потом удравший из полка; два юноши-семинариста, попавшиеся на церковной краже, и молодой чиновник – за растрату казенных денег, рублей 400, которые он прокутил по молодости.

В реформирующейся тюрьме повеяло и при мне «новым духом». При мне была прислана смотрителю книга Галкина о тюремном вопросе (67). К ней был приложен рисунок пентонвильской тюрьмы; смотрители, конечно, полюбовались. При мне же приехал из С.-Петербурга на видный пост молодой и либеральный чиновник, вежливый, предупредительный, получивший высшее воспитание и в теории исповедующий реформу; он посетил острог. Новый чиновник вежливо и мягко обошелся с арестантами, где каждый предъявлял просьбу о своем деле. Весь этот народ сидел до решения дела по году, по два, по три и более. Чиновник все записал в книжечку и обещался справиться. Он посетил камеру с малолетними, и ему понравился крестьянский ребенок лет 9-ти, диковатый, угрюмый, но необыкновенно серьезный. Тот, кто не видал крестьянских детей, сосредоточенных, усвоивших рано серьезность среди горьких лишений, деловой вид и взгляды взрослого, для того крестьянские дети очень любопытны. Молодого чиновника заинтересовал ребенок: он стал к нему ездить чаще. В наших общих острогах дети получают ужасное воспитание. Я видел в Юрьевце мальчика лет 14, взятого за поджог. Это по характеру был, что называется, *enfant terrible* – забитый и озлобленный сирота; он начал мстить крестьянам, и когда его взяли в острог, то обхождение с ним сделалось еще хуже. Характер ожесточился. Мальчик показывал необыкновенный, буйный и упорный характер. Когда его садили в карцер, он бил стекла, не стеснялся оковами, и его ничем не могли усмирить. В остроге он с какими-то плутами предпринял отважнейшее предприятие – проломать стену, пролез под печкой и обокрал острожный цейхгауз. Удадь, бесстрашие и хладнокровие его удивляли окружающих, и даже грубые люди смотрели на него как на феномен. Его приговорили в каторгу, и этот ребенок, может быть 15–16-ти лет, надел гордо кандалы, подвязал с искусством подкан-

дальники и с чувством достоинства вышел из острога и пошел в Сибирь...

Молодой чиновник справился и о делах заключенных.

– Ну, что? – после спросил я арестантов.

– Да что!.. – ответил то же, что и стряпчий, – где дело находится.

– Ну, а вам что же еще нужно?

– Известно, мы просили, чтобы скорее решили.

– Да ничего он не поделает с нашим губернским правлением! – прибавили некоторые решительно.

В воскресные дни видно было из окна, как женское отделение посещал комитет разряженных дам; шелковые платья их шелестели; они приезжали опекать своих «malheureuses». У нас между женщинами острога, среди грубого обхождения, есть усвоившие совершенно мужской, упругий характер и всю циничность обращения, на которой может оборваться всякая тюлевая филантропия. Была в этой тюрьме, как рассказывали, оригинальная женщина – крепостная горничная, взятая за бродяжество. При входе в острог она объявила, что она генеральша и графиня такая-то и уверенно предложила справиться об этом. Говорят, что она мастерски выдерживала свою роль и не позволяла ни малейшей фамильярности. В том же замке сидел, несколько лет тому назад, князь, обревизовавший две центральных губернии; теперь он, говорят, служит писцом у стряпчего и – странное дело! – человек ничего не имеет, кроме внушительной физиономии...

Снова дорога. Показалась лесная северная губерния. Села стояли дальше друг от друга, дорога длиннее, поля пустынее, а усадьбы попадались уж очень редко. Около одного городка мы ночевали в избе крестьянина, отданной под этап. Чтобы выполнить повинность, крестьяне

здесь нанимают избу у какого-нибудь бедняка, который с торгов принимает ее за самую дешевую цену. Между прочим, мы останавливались у сирот – мальчика с несколькими девочками, которым отдали выполнение этой повинности ради хлеба и милостыни. В избе, в которой мы на сей раз ночевали, помещалось крестьянское семейство из бывших крепостных. Изба была черная, закопченная, грязная; кругом вповалку валялись дети; хозяйка жаловалась на болезнь мужа. Отец был сухощавый, с больным и удрученным видом, мужичок лет под 40; он постоянно кашлял и хилел от чахотки в последнем развитии. Как мы узнали, это был «обломок крепостного права», вынесший всю тяготу его. Жизнь оканчивалась уже на воле. «Вот жалко! Работать не могу, силы нет... а тут семейство»... Но это старая повесть. В этой же избе ночевал, по случайному стечению обстоятельств, другой «обломок крепостного права» с противоположного полюса. Это был барчонок из богатой помещичьей семьи, заматавшийся недоросль, ссылаемый теперь в отдаленную губернию за буйство, под надзор полиции. Напившись водки, барчонок пел фривольные французские куплеты и выделял самые цинические выходки. Целую ночь он не давал никому спать. Шедшие с ним арестанты сообщили о нем несколько подробностей. Из очень богатого дома в О... губернии, он получил домашнее светское воспитание с французским языком и манерами, но без всякого человеческого развития. Избалованный дворней и барством, мальчишка поступил недорослем в юнкера и, получая груды денег от родных, повел разнузданную жизнь. Милые увлечения начались разбитием трактиров и закончились дуэлью, за что молодой человек и был выгнан из службы. Очутившись без дела, барчонок начал таскаться по столицам, ездил осматривать погребки за границу, отплясывал канкан на шпигбалах и наделал кучу долгов с балетной танцовщицей. Это стоило рыхлой и нервной ма-

тушке нескольких истерик. Долги были уплачены, а сынку положили проживать в год *тысячи две*, что ли, чтобы жить *скромно*. Дитя проводило все время со страшными скандалами в отместку родителям, так что родительница падала в обморок при одном известии о нем; его называли в семье «enfant terrible». Деньги, однако, все-таки высылались. Мальчишка стал себя считать героем. Посреди постоянных безобразий накопилась целая куча уголовных дел, от которых надо было отплачиваться. И вот это дитя 19-ти лет, благодаря своеволию и деньгам, истаскалось, изразвратничалось и имело на своей шее 18 уголовных дел. Барчонок уже этим хвастался и говорил, что он посвятил свое время на то, чтоб пытать терпение правосудия. Он рассчитывал постоянно на деньги. Запутавшись, он попал, наконец, в тюрьму, избил там смотрителя и теперь был выслан под надзор в глухую губернию. Это был настоящий сын крепостнической среды, плод бессодержательного воспитания, барского баловства, беспутного мотовства и праздности.

Сосланный барчук не унимался и в дороге; скандал всякого рода доставлял ему истинное удовольствие; причинение беспокойства и неприятностей другим было его наслаждением. Поэтому на дороге, посреди этапов и солдат, в бедных крестьянских семьях, в тюрьмах между арестантами, как рассказывали его спутники, он совершал те же скандалы и был истинной язвой всех, с кем сталкивала его судьба. Капризный и тщеславный, он то кидал деньгами, развращал и соблазнял бедных людей, то хвастался дворянством и лез в морду. Напившись водки и побитый в драке солдатом, он в этот же вечер валялся в избе и горько плакал, что «сволочь не понимает его положения, что это может чувствовать только дворянская кровь». Наутро он вымаливал шкалик водки опохмелиться, а к вечеру опять напивался. Наконец, он опротивел и арестантам, и самим конвойным, которых он соблазнял деньгами, а по-

том подводил под ответственность и выдавал начальству с каким-то злорадством. В этом случае у него не было даже той честности, которая водится у простых арестантов. Получая постоянно деньги из наследства, он будет долго продолжать свои безобразия и наделает много еще бед. Подумаешь, сколько тут было изведено тысяч на это балованное дитя, сколько крепостного труда и пота унесено, сколько денег и теперь достается в руки его!.. И этот субъект ничего не мог нанести людям, как только бездну горя, несчастий и оскорблений!..

Мы оканчивали путь. Теперь тянутся беднейшие северные губернии. Купить хлеба у крестьян почти было невозможно, и приходилось спрашивать у сельских попов. Близко, близко, кажется, до цели, но здесь несколько сот верст приходится идти дни, недели. До города, обыкновенно, доехать на почтовых трое суток; по этапу приходится пройти месяц с неделей. Через каждые два дня сиди в деревне целые сутки. Утомительно, тоскливо, однообразно! И люди идут так месяцы, а в Сибирь достигали прежде даже через год. Каково было терпение солдата, прошедшего таким путем недавно в Астрахань по ошибке, а потом пересланного в Архангельск!

В это время арестант в полном распоряжении конвоя.

И сколько на побочных трактах натерпится арестант! Сколько тут патриархальной распушенности, небрежности и пренебрежений к закону! Каким образом, например, проходит с нами пересылаемый за беспаспортность к обществу гражданин в кандалах? Идти три-четыре месяца в оковах... это что-нибудь да значит, и где это написано?.. а молодой парень бежит да побрякивает. На глухих трактах у нас случается, что заковывают в одни кандалы двоих за недостатком кандалов. Бывали еще не-

давно этапы, где-то в западном крае, в захолустье, – этапы, где, чтобы не убежали арестанты, на ночь клали на ноги бревно с прорезанными отверстиями, из которых нельзя выдернуть ноги. Мало ли, что, однако, бывало!.. бывали при полициях «кляпы» и мало ли чего! Сколько, кроме того, произвола и мелких оскорблений вытерпевал незащитный арестант на глухой дороге! За что этого хватили в шею? За что этого треснули в морду?.. за этим русский человек уже не гонится. А этот произвол как возвращает самих людей, которые им пользуются! Я не забуду одного из последних эпизодов моего странствия, когда я чуть было не прогулялся в железзах. Отправлял партию в одном городе красивый и элегантный молодой человек с большими усами и с прекрасными приемами, – как видно, светский лев губернских гостиных. Он осмотрел партию и приказал вытряхнуть из мешков имущество. Белье было положено перед ним на пол. Он стал на него небрежно каблуками, мерно покачиваясь, и начал что-то расспрашивать, потапывая с пренебрежением арестантскую нищету. «А вас надо заковать!» – обратился он ко мне и к другим молодым людям, которых он никак не мог заковывать. Ему робко объяснили, что мы мирные люди, идем к своему обществу и шли без оков вот уже несколько сот верст по распоряжению начальства. О статьях закона, вследствие ранее виденных уроков, мы боялись говорить (сказано: «без статей»). «Ну а я закую: так следует!» – сказал джентльмен, видимо, наслаждаясь нашим смущением. Конечно, легкие наручни только неудобны и нестрашны, но это было незаконно, и мы знали, что за этим пойдут уже толчки, оплеухи и сотни унижений. Сердце невольно сжималось, лица бледнели, а маленький властитель нашей судьбы тихо нежился и услаждался на подножии из арестантского отрепья. Однако он только немного понежился властью и все-таки заковать не решился. Это услаждение властью, из которого вытекает часто

произвол, это чувство маленьких Фиеско (68), мечтающих о своем могуществе, много мешают нашей жизни. Кичиться властью, баловаться ею и превышать ее – ведь это черта наших старых нравов. Этот произвол, концентрируемый на арестанте, широко, однако, разливался и в других сферах жизни. Вспомним, сколько в газетах мы встречали случаев о расторопных полицеймейстерах со старыми привычками держать кулак наготове, сколько еще есть Сквозняков-Дмухановских (69), которые дерут не одних унтер-офицерских жен, но задают баню и купцам, чтобы только доказать свою власть, сколько встречается становых, квартальных и будочников, оболещенных властью, желающих быть всевластными царьками и проявляющих свой произвол над бедным, безграмотным и не знающим закона народом. «У нас гордость властью начинается уже с того, – говорил мне старый учитель, – когда рассыльный мужичок, приглашенный в ратушу, берет в правую руку рукавичку (это было тонко стариком подмечено) и с рассыльной сумочкой чрез плечо уже не сторонится прохожих». Это понятие о власти идет далее и широко разливается во всех слоях: оно отражалось и в матери-командирше, держащей на послугах роту супруга, и в уездной почтмейстерше, читающей своим знакомым письма, проходящие через руки ее мужа по службе.

В моих заметках я не жалею ни на что, не обличаю ничего. Дело тут не в обличении, не в частностях, не в исключениях. Это – нравы сложившейся веками жизни, плод исторического порядка вещей, вышедшего из целого склада прежних учреждений и понятий, от которых мы не можем еще оторваться. Изменяясь сверху и снаружи, они остаются в глубине, в корне нашей жизни нетронутыми. Я видел эти грубые нравы, как они обрушиваются в самых низших сферах жизни над бесправными людьми. Они, продолжая существовать под всей внутренней подкладкой нашей жизни, губят иногда многие лучшие за-

чатки наших реформ, делая из них одну внешность. Об этом стоит задуматься.

ОБ ИЗУЧЕНИИ ХАРАКТЕРОВ ПРЕСТУПНИКОВ В НОВОЙ ИСПРАВИТЕЛЬНОЙ ТЮРЬМЕ

С преобразованием тюрем и введением новых начал исправительного наказания судьба преступников, их жизнь и характеры, без сомнения, будут обращать на себя уже гораздо более внимания – исследования жизни преступников, анализ их нравственной природы будут принадлежать не одним частным исследователям и писателям. Если литература до сих пор доказала, как необходимо такое изучение преступников и какие заботы должны быть употреблены при этом, то одна из благородных миссий ее окончена и остальное предоставляется разрешить исправительной практике.

Европейская исправительная система давно уже обратилась к более тщательному изучению преступника, и ее заботы охватывают широкую область всех преступлений.

Исправительный элемент входит в Европе не только в наказания второстепенные, не только по преступлениям, где личность показывает неокончательное падение и подает еще надежды явиться снова годной и безвредной для общества, но распространяется на все уголовные наказания и охватывает массу преступников самых безнадежных, по прежним понятиям, – самых серьезных. Наблюдения и опыты уже доказали, что самые жестокие, самые испорченные преступники могут преобразовываться и улучшаться по мере доставления им более нормальных условий жизни, по мере воспитания в них лучших привычек, по мере умственного и нравственного их развития. Главной целью пенитенциарной науки и всех систем ис-

правления является изыскание тех средств, которые могли бы лучше влиять на перевоспитание преступника и исправить в нем те недостатки, пороки и наклонности, которые были привиты к нему дурной обстановкой.

При этом в основу всякой системы исправления само собой должно лечь основательное изучение личности, чтобы лучше узнать те недостатки характера, которыми она страдает, и те хорошие свойства ее природы, которые при развитии и воспитании человека должны составить противовес его порочным наклонностям и дурным инстинктам. Исследование характеров заключенных поэтому должно играть главную роль во всякой исправительной системе: без этого невозможно никакое исправление, никакое нравственное влияние. Тюрьма в этом случае представляет то преимущество перед частными исследованиями, что в ней может быть сосредоточено гораздо более сведений, при содействии правительства и общества, о личности преступника и свойствах его преступления.

Пенитенциарная наука пока еще не обладает определенными, твердо установившимися правилами относительно перевоспитания преступников, и тюремная практика еще не выработала никаких приемов для ознакомления с личностью и распознавания ее нравственного характера. До сих пор не выработано ни определенных оснований для размещения преступников в тюрьме по уровню их нравственности, ни правильной теоретической систематизации преступлений по их родам.

Вопрос о классификации преступников в тюрьмах по уровню нравственности до сего времени остается спорным в теории и на практике; те же недоразумения, как и везде, возникли и у нас по поводу 3-го параграфа объяснительной записки к официальному проекту тюремной реформы, указывающему отделять людей испорченных и закоснелых в преступлениях от менее испорченных сотоварищей. Какая мерка, какой критерий должен быть в этом случае

применен к человеческой испорченности? – вот вопрос, который возник в этом отношении... И пришлось обратиться к тем комбинациям, которые давно уже обсуждались и применялись в западной тюремной практике и теории.

Распределять преступников по категориям преступлений: воров к ворам, убийц к убийцам и проч. – было давно принято эмпириками и грубой практикой, но это оказалось неудобным и даже вредным. Род преступления, положим, и один, но причины преступления и нравственное настроение преступников могут быть до бесконечности различны. Убийца, защищавший честь своей жены или свою, бесконечно разнится от убийцы из-за денег, для грабежа, для удовлетворения дурных наклонностей, различие тут видно уже с первого взгляда. «Оно, конечно, убийство, да ведь надо его сообразить, убийство-то!» – говорит один из подсудимых мужичков при посещении острога в рассказе Щедрина (70). Второй недостаток этой системы: при таком размещении люди одной профессии, легче сближаясь, составляли воровскую ассоциацию и укреплялись в своем призвании.

Другая комбинация, которой можно бы держаться в тюрьмах, именно разделение арестантов по срокам заключения, точно так же неосновательна; самый испорченный человек может попасть за ничтожный проступок, а человек более нравственный, вынужденный обстоятельствами, совершит серьезное преступление; но уровень их нравственности будет разный.

Как ни смешивай преступников, все-таки окажутся люди испорченные среди менее испорченных и в состоянии будут неблагоприятно действовать на последних. Каких соображений в этом отношении ни строили теоретики, они не пришли к точным, исключаящим ограничения, оговорки и сомнения, заключениям.

Некоторые западные пенитенциаристы (как, например, Кроуферт) порешили, наконец, что классификация по

нравственности невозможна, и склонились или к келейному разъединению арестантов, или к системе абсолютного *мюэтизма*, т. е. к запрещению преступникам говорить и сноситься между собой. Но так как в общих мастерских все-таки нужно, и при системе молчания, устроить какое-либо распределение по нравственности, так как дурной пример и здесь может обнаружиться, то вопрос так и остался открытым.

По вопросу о классификации мы не можем не заметить, что он оставался неопределенным не потому, что не могло быть никакой мерки для различения нравственного уровня в преступниках, а потому, что признаки для определения нравственности были недостаточны и слишком поверхностны, – что насчет преступников не находилось в прежних тюрьмах никаких сведений и не предпринималось никакого ознакомления с ними. В тюрьмы обыкновенно не присылалось никаких документов насчет преступника, кроме указаний его преступления и срока заключения, а во многих местах так и совсем ничего не означалось¹: при старом судопроизводстве в России сообщение подробных сведений было и невыполнимо. Между тем с введением исправительной системы непременно должны быть доставляемы возможно подробные сведения о преступнике. В этом случае основным и важным подспорьем могли бы служить уже уголовные процессы каждого преступника: при помощи этих процессов могут быть лучше всего изучены обстоятельства, сопровождавшие преступление, его побуждения и, наконец, поведение преступника во время суда. В этом случае речи адвокатов, выясняющие жизнь и мотив преступления, могут оказать важную услугу в от-

¹ Никитин сообщает, например, что в с.-петербургской срочной тюрьме размещать заключенных по категориям преступления не представляется никакой возможности вследствие того, что многие судьи совсем не означают в посылаемых в тюрьму бумагах виновности арестанта, а один из них, заключив до 500 человек, ни в одной бумаге не объяснил, за что их содержать (*Никитин В. Н. Указ. соч. С. 225*).

ношении всей последующей судьбы преступника, тогда как теперь они приносят иногда лишь ничтожную пользу, потому что усилия адвоката защитить личность часто далеко не выкупаются приговором, имеющим в виду не одну нравственную оценку личности, но и много других побочных соображений (например, буквальный смысл закона, примерность наказания для других и т. п.). В настоящее время все речи защиты после процесса совершенно теряются, тогда как они могли бы еще долго быть полезными: как бы ни была пристрастна обрисовка преступника адвокатом, она может быть поверена всегда фактами самого процесса; кроме того, слова защиты останутся все-таки указанием на лучшие стороны в характере преступника, а такие сведения могут послужить наилучшим руководством для лиц, заведующих исправлением. Самый важный в этом случае пункт – мотив преступления; он всегда ясно указывает ту долю соблазна, ту страсть, которая овладела личностью и повела к свершению преступления; он может определить и то направление, в котором должно действовать исправление.

Определение характера может быть также сделано отчасти и по внешним признакам самого преступления; для определения опасности характера преступника могут быть приняты более или менее отягчающие или облегчающие вину обстоятельства в юридическом смысле. Такие признаки указывает, например, Бентам: «...характер человека кажется более или менее опасным, – говорит он, – смотря по тому, больше или меньше имеют на него влияния предохраняющие мотивы в сравнении с силой мотивов соблазняющих» (71). Поэтому к признакам опасных характеров, которые могут служить отягчением (aggravation) вины, то есть выражать степень испорченности, он относит – «*пристеснение слабого*», так как это показывает, что человек лишен был чувства сострадания, и доказывает отсутствие в нем мотива чести; «*отягчение бедственного положе-*

ния» другого лица, т. е. увеличение несчастья личности больной, несчастной и бедной; «*пренебрежение к авторитету*, к которому естественно человек должен был питать уважение», «*жестокость без всякой надобности*», «*обдуманность*, то есть совершение преступления под влиянием моментально вспыхнувшей страсти или после долгого обсуждения»; *подговор* нескольких лиц и, наконец, *обман и нарушение* доверия. Последний признак Бентам относит к глубокой испорченности натуры¹. Нельзя не заметить, что, кроме того, должна быть принята во внимание сила обстоятельств, вызывающих на преступление, а также и степень умственного развития личности. К числу обстоятельств, смягчающих и дающих более благоприятные указания на характер, Бентам относит: 1) отсутствие злого намерения; 2) самоохранение; 3) предварительный вызов; 4) сохранение дорогих связей; 5) переход через границы необходимой защиты; 6) подчинение угрозам; 7) подчинение авторитету; 8) опьянение; 9) детский возраст. Все эти внешние признаки могут служить до известной степени характеристикой личности.

Подобные же общие указания мы можем найти при разборе самого рода преступления. Разграничивая, например, преступления против собственности от преступлений против личности, мы увидим, что разница их обуславливается разностью и в чертах личного характера; так, личность, способная на кражу, совершенно отличается по складу своего характера и наклонностям от человека, готового на явное насилие. Каждое из подразделений этих преступлений также указывает на особенность личности; эти частные роды преступлений, носящие имена кражи, плутовства, убийства и проч., могут разделяться на особые категории, указывающие еще новые особен-

¹ Бентам И. Введение в основания нравственности и законодательства // Бентам И. Избранные сочинения. СПб., 1867. Гл. XIII. Разд. IV. Характер преступников. С. 153–161.

ности в направлении характера: кража, например, может быть простая, кража, сопряженная с хитро задуманным планом, кража, сопряженная с известной смелостью и разрушением преград, кража случайная и кража по профессии, мошенничество, мазурничество, подделка документов – все эти разветвления характеризуют такие страсти и такие частные наклонности, которые ясно указывают уже на степень и род нравственной испорченности. Подобные частные характеристики различных родов преступления могут быть, кроме того, дополнены сведениями об экономическом благосостоянии, общественном положении различных лиц, совершающих преступления, и степени их образованности и т. п.

Вообще схемы и характеристики известных преступлений, собранные на основании уголовной статистики, этнографических исследований о жизни «преступных и опасных классов», наконец, наблюдения, накопленные в самых тюрьмах, должны быть приняты тюремным начальством во внимание при характеристике преступников. На основании всего этого может быть создана положительная систематизация родов преступлений, характеризующая нравственность и могущая служить подспорьем при исследовании преступника¹.

Совокупность всех признаков, извлеченных из уголовных процессов, как и из характеристики каждого рода преступлений, применяемая к данным личностям по сходству признаков, может служить уже первоначальным диагностическим определением степени преступности. Это ознакомление укажет нам довольно точно, где мы должны искать испорченности личности и на что направить преимущественно исправление; те же признаки будут указа-

¹ Многие этнографические исследования о жизни преступных классов уже и теперь предпринимаются за границей; так, известны труды: *Фрежье*. *Les classes dangereuses*. Paris, 1840; *Моро-Кристоф*. *Le monde des Coquins*. Некоторые писатели Англии говорят уже о естественной истории преступных классов (*Plint*. *Crime in England*. P. 144).

нием и при классификации преступников в тюрьме. Что касается этой классификации, т. е. размещения людей в тюрьме, то она должна иметь одну цель – предупреждение порчи преступников и устранение дурного примера, который могут подать наиболее испорченные, ожесточенные и буйные при применении тюремных правил. В этом случае первое различие должно быть сделано по характеру личностей: люди буйные, страстные, раздражительные, оказывающие сопротивление, должны быть, конечно, строго отделяемы от остальных во избежание соблазна. Относительно нравственности и психического состояния могут быть также сделаны особые подразделения.

В этом случае французский академик Феррю предлагает следующую классификацию:

1) люди вполне разумные и развитые, но крайне развращенные (*des pervers intelligents*), у которых дурные действия были обдуманы и предусмотрены;

2) люди и порочные, но ограниченные (*des vicieux bornes*), которые делали зло по неразборчивости и по индифферентизму к добру;

3) люди глупые и неразвитые (*des neptes*), которые сами не знали, чему они подвергаются.

Психическое состояние этих родов преступников, без сомнения, должно быть принято к сведению при классификации по палатам, но только в таком случае, если эти лица заявили свою испорченность уже в тюрьме и чем-нибудь нарушали дисциплину: по роду преступления и нравственному состоянию преступников едва ли необходимо применение излишних строгостей, если преступники подчиняются общему правилу тюрьмы¹. Феррю предлагает к каждому роду прилагать особую дисциплину.

¹ Об общепринятом в европейских тюрьмах отделении известных категорий преступников мы уже не говорим. Известно, что необходимо отделение подсудимых от подсудимых, политических от уголовных, особое отделение для женщин, как и для детей.

Относительно проведения дисциплины лучше всего поступает ирландская система (72): она пропускает преступника сквозь все ряды дисциплины и, приурочиваясь к его поведению, оставляет в тех условиях, какие необходимы для выработки характера и предупреждения беспорядков. Ирландская система, как известно, первые восемь-девять месяцев оставляет вошедшего в тюрьму в отдельном помещении. Это время употребляется на ознакомление с личностью, на ее обучение и на предварительное дисциплинирование. При тех разумных средствах и способах сношений, какие здесь применяются, это удивление, конечно, ничего не имеет вредного.

Нельзя не заметить, однако, что классификациям по уровню нравственности до сих пор в деле исправления придавалось слишком преувеличенное значение, которого они в сущности не имеют. В первое время тюремной реформы считали единственной причиной деморализации общее содержание и заразу (*contagion*) преступников друг от друга; теория из этого по противоположению вывела, что для предупреждения этой деморализации необходимо если не совершенное разъединение, то строгое распределение по категориям; но сваливать всю вину, все бесчисленные недостатки прежних тюрем только на одно общее заключение было крайне односторонне; причины деморализации преступников в прежних тюрьмах были очень сложные: здесь играли роль праздность, нищета арестантов, их лишения так же, как и крайне дурное обращение с ними и отсутствие надзора.

В новых исправительных тюрьмах эти недостатки, служившие прежде только к развращению заключенных, сами собой предупреждаются уже введением труда и ежедневной работой, не дающей времени для частых разговоров, наконец, постоянным надзором и разобщением преступников на ночь. Занятые целый день работой, школьными занятиями и т. п., они имеют меньше шансов к дружественным

беседам, и, таким образом, опасность близких сношений во многом предупреждается; по крайней мере, в ирландской системе, где применены все исправительные эксперименты, все добрые влияния и тщательный надзор, преступники содержатся по классам без строгих классификаций, а между тем не приходится слышать жалоб на то, чтобы преступники заражали друг друга.

Во всяком случае, как мы сказали, разделение по уровню нравственности достижимо даже по внешним признакам преступлений, когда о них существуют в тюрьме подробные данные. Собрание подобных данных о нравственности преступника, сверх указанных выше источников, может быть дополнено и другими сведениями, почерпаемыми начальниками тюрем от их родственников, знакомых, начальников и т. п. Но ознакомление по уголовным процессам с преступниками, даже помимо целей классификации их в тюрьме, должно составить важную задачу: оно должно послужить основанием всех сношений и влияний на преступника в тюрьме, пока не будет исследован его характер и его наклонности во время близкого личного знакомства.

Ознакомление с характером преступника в тюрьме совершается, конечно, нелегко: сразу нельзя узнать личности, входящей в тюрьму; точно так же трудно получить о ней понятие и из официальных ее расспросов: личность в этом случае под влиянием наказания является улиткой; поэтому это ознакомление должно быть совершаемо долгим опытом и наблюдением во все время заключения. Необходимы расспросы о наклонностях человека к известным занятиям, его призвании, степени образования и т. п.; все это может быть принято к сведению для приноровления преступника к работам в тюрьме, к обучению его и для определения ему здесь места и рода занятий.

Точно так же чрезвычайно полезно исследование личности преступника и в санитарном и физическом отноше-

ниях, на что обыкновенно мало обращается внимания в тюрьмах. Такое медицинское исследование каждого входящего в тюрьму необходимо для определения его физического строения ввиду принорования к тем или другим работам, ввиду исследования его телесных или нравственных болезней, которыми может обуславливаться характер личности, ее душевные расположения и страсти, наконец, исследование физиологическое, которым определяется темперамент человека.

Введение подобных ведомостей и регистров необходимо и для того, чтобы постепенно следить, какое влияние имеет на здоровье субъекта тюремное заключение. Дальнейшее ознакомление с личностью преступника и с его характером во время заключения должно идти уже наряду с самым исправлением. В этом случае мы устраняем слишком отвлеченный и теоретический вопрос, который служил предметом спора европейских пенитенциаристов: какое заключение способствует более изучению характера – одиночное или общее. В этом отношении можно сказать, что как в том, так и в другом из них преступник может обнаружить и известную скрытность характера, и откровенность, смотря по приемам обхождения с ним и уменью его исследовать.

Признаками для суждения о нравственном характере заключенных при исправительной системе служит общее поведение их в тюрьме. Для этого во французских тюрьмах ведутся так называемые бюллетени нравственной статистики (*bulletin de statistique morale*); в других европейских тюрьмах и пенитенциариях мнения о поведении преступника составляются по тому терпению, с каким он выносит наказание, по его повинновению и послушанию или на основании штрафов, которым он подвергается. Впрочем, такая мерка, в особенности, при одиночной системе, слишком пристрастна, так как при неестественных муках одиночного заключения всякий характер, всякий человек,

независимо от его нравственности, может быть доведен до раздражения, озлобления и т. п. Один из лучших способов суждения о поведении представляет ирландская система, где оно измеряется числом баллов, которыми определяется: 1) общее поведение в тюрьме, 2) прилежание в школе и 3) прилежание в работе. Такие баллы дают преступнику право на некоторые отличия, как и на постоянные облегчения, сопряженные с переходом из класса в класс, чем обуславливается сам срок наказания. Кроме того, в ирландских тюрьмах ведутся особые списки выговорам и общий список о характере – «General Character book». В эту книгу записывается преступление, на основании которого последовало осуждение, – наказание, все сведения о прежней жизни преступника, сообщенные из других тюрем о его характере, исправительные наказания, которым он подвергался, число выданных ему марок (определяющих поведение и прилежание к занятиям) и другие особые замечания¹. Такие сведения дают средства в ирландских тюрьмах к довольно полному ознакомлению с характером исправляемой личности и суждению об ее исправимости. Затем изучение характера преступника продолжается постоянно во все время пребывания его в тюрьме.

Выходя из опытных исследований и научных обобщений, что большинство преступлений совершается по неумению или невозможности заработать честно кусок хлеба, вследствие праздности, невежества, дурных привычек и деморализации, система исправления поставила своей целью введение обязательного труда в тюрьмах, обучение ремеслам, обучение грамоте, умственное развитие арестанта, предоставление ему некоторого образования и привитие лучших привычек. Труд, обучение и известный порядок жизни в тюрьме признаны обязательными для всех арестантов уже потому, что этим обуславливается

¹ Гольцендорф Ф. Ирландская тюремная система, в особенности переходные заведения, до отпущения арестантов на свободу. СПб., 1864. С. 57.

нравственность и спокойствие тюрьмы; они в этом случае являются не столько наказанием, сколько естественной потребностью нормальной человеческой жизни и естественных ее отправлений. Эти общие исправительные и педагогические меры полезны каждому преступнику: каждый из них может приобрести здесь способность к какому-нибудь ремеслу, выучиться грамоте, приобрести сведения, необходимые для жизни, воспитать лучше привычки и пополнить недостаток развития.

Это воспитание, носящее общий характер для всех, тем не менее может быть приурочено и к потребностям каждого в отдельности. Для применения труда в тюрьме в этом случае необходимо руководствоваться индивидуальными отличиями, особенностями характера, как и потребностями личности в жизни. Здесь должно приниматься в соображение, к какому труду личность более способна, где она может выказать более таланта, какой труд соответствует ее призванию; наконец, всегда должен быть предпочтен тот труд, который всего более соответствует общественному положению лица по выходе его на свободу, т. е. который даст ему всего более обеспечения. В лучших тюрьмах с этой целью введено возможно большее разнообразие работ и обучение им. Даже в одиночных тюрьмах предлагается в этом случае замечательное разнообразие выбора. Деметц считает до 78 ремесел, доступных в уединении, Беранже – 90. В таких тюрьмах, как Моабит, существует обучение множеству ремесел: здесь есть ткачи, столяры, сапожники, портные, токари, резчики на дереве, часовщики и т. п.; для надзора за работами существуют особые инспектора и мастера, обучающие ремеслам. В Англии для обучения арестантов несколько лет тому назад в Портленде и Дартмуре были основаны особые рабочие классы (*special service-classes*). В ирландской системе приучение к труду также составляет основу воспитания. В одной из лучших тюрем в Валенсии, как со-

общает Ганкинкс, при входе арестанта предлагают ему вопрос, какому ремеслу он желает выучиться, и предоставляется на выбор до 40 ремесел; в этой тюрьме существует даже печатная машина («Sprain as is»).

Вообще все европейские тюрьмы положили главным образом труд в основу исправления. Кроме приготовления к честной жизни, к приобретению средств на свободе, кроме предоставления возможности изучить наиболее выгодные производства для получения лучшего обеспечения в жизни и, следовательно, ввиду больших гарантий от преступления приучение к труду в тюрьмах должно содействовать всего более к образованию самого характера и к созданию привычки трудиться, а не сидеть без дела. Морализующая сторона труда состоит в том, что преступник получает при этом понятие, что «в жизни ничего без труда не дается», что труд есть естественное призвание жизни и ее потребность.

Во время занятий преступника, всего, конечно, легче в то же время уследить, насколько охотно он трудится, насколько увлекается работой, и по этому составить понятие об его призвании и степени исправимости.

Вторым могучим средством исправления личности является воспитание, а потому школа есть непременно условие современной исправительной тюрьмы. Она же служит источником образования характера и его смягчения. Известно, что большинство преступников – жертвы невежества, неразвития, грубости и отсутствия твердых нравственных принципов; поэтому все исправительные системы одинаково сознали необходимость обучения и нравственного влияния. Обучение и умственное развитие в этом случае должно идти наравне с ремесленным. Чем больше будет развит преступник, чем больше обогатится он сведениями насчет окружающей природы, человеческого общества и человеческих отношений, тем тверже водрузятся в нем основы нравственности. Никакая мораль

не сравнится в этом отношении с развитием сознания. Вот почему в лучших тюрьмах Европы не ограничиваются одной грамотностью: в Германии, например, в Брухсале, кроме чтения и письма, преподаются арифметика, черчение, рисование, география, начала естественных наук и сельское хозяйство. В Моабите существует для заключенных пятиклассная школа; кроме того, заключенным предоставляется разнообразное чтение; при тюрьме устроена библиотека из 1 500 томов, содержащая книги по географии, истории и по многим техническим знаниям, которые более всего интересуют заключенных.

Но нигде более не обращено было внимания на образование, как в Ирландии; зато там получены и блистательные результаты в деле исправления. Обучение здесь начинается с входа в тюрьму, еще во время предварительного уединенного заключения. Это время особенно благоприятствует умственным занятиям и сосредоточенности заключенных: поэтому нигде лучше не воспользовались уединением, как здесь. Во время этого отделения арестанта от остальных и, так сказать, во время первого ознакомления с ним для него отперты широко двери школы, причем обучение производится сообща; предметы преподавания не ограничиваются обучением чтению, письму и счету. Священная история, грамматика и география преподаются одновременно; география особенно занимает внимание арестантов. На умственное развитие заключенных обращается серьезное внимание.

Это развитие тем важнее, что им обуславливаются нравственное влияние и нравственные убеждения. Множество безнравственных наклонностей существует в человеке по глупости, по легкомыслию, по непривычке сознательно отдавать себе отчет в своих поступках. Преподавание поэтому должно сосредоточиваться преимущественно на искоренении заблуждений ума и ложных понятий о жизни. Это было как нельзя лучше понято

ирландскими преподавателями; поэтому ими сообщаются по возможности наиболее здравые научные понятия о социально-экономических вопросах. Этим путем устраняются или, по крайней мере, преодолеваются многие предрассудки, вредные для блага рабочих классов... «Ложные понятия о рабочей плате, – говорит один из ирландских преподавателей, – о повышении и понижении цен на жизненные потребности, о конкуренции в торговле, о железных дорогах и машинных работах составляют несомненный источник пауперизма и преступлений. Искоренение подобных мнений в возрастающем поколении есть задача первой важности для общественного благосостояния» (отчет Гарана). Нет сомнения, что получение таких сведений и выяснение понимания общественных отношений всего лучше убеждает в нравственных истинах. Необходимость и плодотворность такого реального обучения была признана даже ирландским духовенством, которое сознает невыгоду одного церковного влияния и его односторонность. Один из тюремных капелланов, Кауней, говорит по этому поводу, что одиночное заключение в Мунтджое в связи с религиозным обучением в продолжение двух-трех месяцев влияло еще на поведение уединенного преступника, но невероятно, чтобы религия могла надолго сохранить такое решительное влияние. «Бедные арестанты, – добавляет он, – не призваны Творцом для жизни созерцательной; поэтому душевное их состояние и требует замены ее другими занятиями»¹. Такое влияние светского образования на нравственность показывает всю высоту его значения и всю его необходимость. Поэтому влияние школы и образование преступников должны составить не побочное, но основное исправительное средство.

Превосходный пример того, каким образом путем научного и практического приема могут быть проведены нравственные доктрины, представляет преподавание

¹ Гольцендорф Ф. Указ. соч. С. 45.

в смитфильдском учреждении для готовящихся к выпуску арестантов (Smithfield Reform. Institute). Преподавание здесь преимущественно состоит в лекциях, читаемых по вечерам для взрослых арестантов. В этих лекциях не только касаются научных истин, но анализируются и обыкновенные житейские положения, междулические отношения и нравственные обязанности. Лекции состоят из примеров гражданской жизни, из различных биографий и обсуждения поступков людей с их последствиями. Перед слушателями ясно рисуются различные положения личностей, объясняются их действия; им указывается на согласие между внутренними законами воли и внешним положением действующего лица. При этом широкая картина ложится на душу арестанта, а затем, с участием собственного мышления, он анализирует те или другие практические правила, которые логически вытекают из всего им продуманного. В этом случае нравственный вывод является пред ним неизбежным, как математическое положение, и нравственность таким путем глубоко входит в сами убеждения личности. При обсуждении всех этих практических и нравственных вопросов в то же время до того затрагивается любознательность и интерес слушателей, что арестанты сами принимают участие в обсуждении их; они припоминают примеры из собственной жизни и в этом случае исполняются лестного сознания, что самостоятельно могут дорабатываться до известных нравственных истин и подтверждать даже их собственными примерами. При этом между преподавателем и слушателем образуется то сближение, та непринужденность отношений, которая способна оказать самое благотворное нравственное влияние. «Постоянные личные сношения обучающего с арестантами, – говорит Гольцендорф, – особенно способствуют к исследованию, объяснению и обсуждению испытаний в жизни каждого отдельного арестанта, прошедшего его времени, побуж-

дений к преступлению, наконец, надежд на будущность и его душевных влечений».

Мы видим, что в этом случае школа является превосходным средством для сближения с преступником, для изучения его характера и для плодотворного влияния на его ум и нравственное чувство. Никто лучше не может выполнить это, как способный педагог, богатый педагогическими средствами и психологическими знаниями; никто не может заслужить такого доверия и уважения, как учитель, обладающий умственным преимуществом, стоящий высоко по своему беспристрастному взгляду, полный высокой любви и веры в человеческую природу. Отношения такого педагога будут всегда гуманны, взгляд его на преступника – вполне человеческий. Вот слова одного знаменитого педагога Ирландии, приобретшего завидную славу и опытность в управлении смитфильдским заведением. «Арестантский преподаватель должен удовлетворять двум условиям, – говорит он, – во-первых, он должен постоянно помнить, что с арестантами нельзя обращаться небрежно, так как они взрослые, а не дети; во-вторых, не давать им никакого повода замечать, что подозреваем их во лжи или нечестности. Я бы желал напомнить каждому, как учителю, так и преподавателю, что его обязанность заключается не в одном лишь обучении чтению, письму и счислению: высшая его обязанность состоит в том, чтобы ознакомиться во время обучения с постепенным развитием характера его учеников и со всеми оттенками их наклонностей. Он должен исследовать прежнюю их жизнь, познать надежды их на будущность, причины их веселья и печали, желания и стремления их; он должен поддерживать в них разумные ожидания успеха в новой, предстоящей арестанту жизни, который, преисполненный надежд и хороших намерений, с нетерпением ожидает освобождения своего»¹.

¹ *Organ*. Lectures on educational, social and moral subjects delivered to the inmates at the Smithfield Reform. Institute, Dublin, 1858.

Из этого понятно, какая высокая и благородная миссия лежит на преподавателе в тюрьме. Добрыми отношениями и советами этот педагог может достигнуть такого уважения, каким пользуется знаменитый преподаватель в Смитфильде – Орган – между арестантами. Он повлиял глубоко на нравственность своих воспитанников; он устроил между ними кассу для взаимного вспомоществования; при выходе склонял многих дать обет не пить вина; он отыскивал им места при выходе из заведения. Многие из арестантов по выходе из тюрьмы долго поддерживали письменные сношения с ним и просили советов своего друга и наставника в жизни. «Этот человек, – как отзываются о нем в Ирландии, – сделал более, чем целые общества» (73), – и такая оценка не выше его.

Ввиду такого важного значения обучения и воспитания преступников, школе в ирландских тюрьмах, как и во многих европейских, посвящается ежедневно несколько часов. Даже при постоянных работах в Смитфильде, сверх 9-часового утомительного труда, вечерние лекции занимают 2 часа, а упражнения в чтении и письме 1 час 45 минут до отхода ко сну.

Вот почему, ввиду того важного и почти первостепенного влияния, оказываемого на исправление обучением в школе и преподаванием, желательно, чтобы в нашем новом тюремном уставе школе было отведено больше простора и времени, чтобы в ней происходили ежедневные занятия, а не урывчатое обучение по праздникам и воскресеньям. У нас такое обучение и умственное развитие тем важнее, что масса нашего народа еще безграмотнее, еще неразвитее и предрассудочнее, чем масса народа где-либо на Западе.

Нет сомнения, что, кроме преподавателя, изучение жизни преступника, его характера и близкое знакомство с ним должны составить обязанность в тюрьме также и всего остального тюремного начальства, следящего за дисциплиной исправительного заведения. Начальство тюрьмы долж-

но приобрести глубокое доверие и уважение арестанта; а этого достигнуть можно только человеколюбивым обхождением с ним и старанием возбудить в нем прежде всего добрые инстинкты, находящиеся всегда в душе каждого человека. Нужно стараться, чтобы ваше доверие к нему и доброе расположение послужило импульсом к его исправлению.

К сожалению, до последнего времени у нас никак не могут согласить мысль о человеколюбивом общении с арестантом с мыслью о дисциплине. Прежние тюремные начальники понимали, что человеколюбие и доброе обращение несовместимо с дисциплиной, и всю свою заботу прилагали только к тому, чтобы ввести и поддержать дисциплину, а тюремную дисциплину полагали только в беспрекословном повиновении арестанта, в распоряжении по произволу его жизнью и смертью. Старые смотрители думали, что арестант им отдается в крепостную зависимость: «как дурно ни обращайся с ним, он все того заслуживает»; самое дурное обращение они считали справедливым, а свою волю – законом. Потому-то не существовало такого унижения, такого позора, такой несправедливости, какой не выносил бы арестант в старой тюрьме. Смотрители острогов при назначении своем обыкновенно думали, что от них ничего не потребуется, кроме строгости, что они могут управляться так, как знают; затем всю тактику свою они сводили к строгости и жестокости наказания. Самые возмутительные грубости, сами невежественные выражения были делом обыкновенным. «А что с ними иначе поделаешь?.. Где мне всех их знать?! Вы думаете, это люди? Это скоты!» или: «Ты кто такой?! Арестант!.. я тебя выпорю! Я тебя в дугу согну! Я что хочу, с тобой то и сделаю!» Вот почему при этом роде постоянных репрессалий в старом остроге арестанты сами вооружались против начальства, пускались в самую ожесточенную борьбу за свое существование, и часто заставляли смотрителей сдаваться. Эта борьба иногда представляла ужасную анархию острога, а победа арестантов вела

к совершенной распущенности в тюрьме, подобно тому, как власть смотрителя служила к произволу и неестественным стеснениям. Старая тюрьма не представляла никаких гарантий для арестанта. Жалобы его не выслушивались; когда он жаловался на дурное содержание, ему обыкновенно отвечали: «На то и тюрьма, чтобы было худо» или: «А кто велел вам попасть сюда, милые други», как будто этим оправдывались все злоупотребления тюрьмы и как будто дело тюремного начальства разбирать, «кто велел попасть!» Обхождение с арестантами было самое грубое: параграф тюремного устава «о добром и человеческом обращении» как будто бы был вычеркнут; арестанту постоянно кололи глаза, что он преступник, что он человек погибший. Такое обращение более всего способствовало развращению личности. Постоянно дурное мнение о человеке служило к тому, что он сам наконец уверялся, что он – величайший негодяй, и уже не думал более подняться. Он старался все свои недостатки оправдать тем, что он – погибший, а потому начинал бравировать этим. Крайняя деморализация наших тюрем поэтому скорее всего объяснима этим дурным обращением с арестантом; а такое обращение было естественно при невежестве и неразвитии прежних смотрителей¹.

Не так должно смотреть на соблюдение дисциплины в тюрьме исправительной: под дисциплиной здесь разумеется соблюдение тех правил, какие указаны уставом тюрьмы и законом. Представляя правила и закон тюрьмы, смотритель должен объяснить каждому из преступников, что выполне-

¹ Известно, что в этом случае выбор их был у нас крайне невзыскательный. Смотрители назначались из мелких приказных, полицейских канцеляристов, из отставных военных. Такие назначения были сплошь и рядом. Так, известно, что еще в 1868 г. пермский замок, вмещающий до 1000 и 2000 арестантов самого разнообразного свойства, людей всевозможного развития, был отдан под команду отставного унтера, отличавшегося одной чистой пуговиц и фельдфебельской выправкой. В уездных замках постоянно встречаются смотрители из выгнанных писцов, которые целые дни оглашают остроги раскатами самой цинической брани и считают это неперменной принадлежностью обращения с арестантом.

ние этих правил неизбежно обязательно для преступника так же, как обязательно и неизменно и для самого начальника. Отличив закон от произвола, заключенный будет понимать сам – это хорошо. Все споры, недоразумения и непослушание, происходившие в старых тюрьмах, проистекали именно от того, что вследствие постоянного произвола смотрителей сами законные требования впоследствии принимались за произвол. Для ознакомления с правилами тюрьмы в заграничных тюрьмах обыкновенно вывешиваются в комнатах арестантов регламенты, определяющие поведение арестанта. Такие расписания существуют в Моабите, в Мазасе, в лозаннской тюрьме и других. По ним арестант видит условия дисциплины, санкционированные законом.

Точно так же произвол смотрителей может быть легко устранен введением регистров, куда заключенные, по примеру английских преступников, могут вписывать свои жалобы и претензии. Само собой разумеется, что эти жалобы время от времени должны просматриваться высшей тюремной администрацией. Устранение произвола может быть гарантировано только одним этим. Нужда и жалобы арестантов должны быть всегда принимаемы к сведению: во французских тюрьмах, например, в Мазасе, арестантам предоставлено передавать, в запечатанных пакетах, письма к судьям и административным лицам. Жалобы арестантов ничего не имеют деморализующего: они всегда поддерживают в них веру в справедливость; поэтому они и должны быть внимательно обсуждаемы.

Самая дисциплина исправительной тюрьмы должна отличаться от всякой другой дисциплины: это – дисциплина не военная, как у нас привыкли понимать; это – дисциплина педагогическая. Смотрители тюрем должны отличаться необыкновенной предупредительностью, вниманием и мягкостью обращения с преступником; утонченно-внимательное и вежливое обращение с заключенным – отличительный признак европейских пенитенциарных тюрем: оно соблю-

дается даже при самых строгих уставах уединения. Во всех европейских пенитенциариях начальники тюрем ежедневно обходят заключенных и вежливо и предупредительно опрашивают их; во французских тюрьмах, которым первым принадлежит честь изгнания телесного наказания, не только всякое грубое обращение, но даже слово «ты» не допускается начальствующими лицами в отношении к арестанту; на такое обращение указывает Видаль (Vidale) даже в военных тюрьмах Франции, как, например, в Метце.

Вся исправительная европейская система сводится к следующим правилам: 1) она признает в преступнике вполне человека со всеми его натуральными способностями, а поэтому предписывает вполне и человеческое с ним обращение, требующее тем более гуманной осторожности, что это – человек больной и раздраженный; 2) измеряя преступника обыкновенной человеческой меркой, она силится создать нормальную жизнь в тюрьме на более рациональных началах, устраняя все вредное, все неестественное для человеческой природы и доставляя более средств для развития лучших человеческих способностей; 3) она стремится к развитию его нормальных способностей и возбуждению лучших инстинктов обыкновенными педагогическими средствами, причем не теряет надежды на исправление каждой личности. «Опыт и свидетельство тюремных чиновников доказали в Европе, что ни в одном преступнике не следует предполагать неспособности к исправлению». Даже приговоренные к казни и обреченные на вечное заключение исправляются¹.

Ввиду всего этого исправительная система должна возможно лучше разузнать личность, воспользоваться всеми оттенками ее характера для приобретения ее доверия. Такое доверие, такое сближение с человеком, конечно, не

¹ *Mutterмайер*. Смертная казнь. С. 88, 98–100. *Holzendorf*. Strafrecht zeitung 1861. S. 8, 265. *Diez C. A.* Ueber Verwaltung und Einrichtung der Strafanstalten mit Einzelhaft und die Verbesserungen // *Jahrbücher der Gefängnissskunde und Besserungsanstalten*. Band 11. 1848. S. 69.

может быть достигнуто ни приказанием, ни грубостью: они могут быть достигнуты только крайне деликатным обхождением, знанием человеческого сердца и, главное, верой в лучшие наклонности человека. Не отчаивайтесь в людях, не показывайте им вида, что считаете их совершенно испорченными, иначе они уже не будут стыдиться дурных страстей своих и недостатков; дескать, все равно, коли нас считают такими!.. Нет! Покажите, что вы их лучше считаете, чем они есть; покажите веру в их исправление, затроньте в человеке благородные мотивы: они есть в душе самых испорченных; и, поверьте, что вы лучше добьетесь цели! Таковы правила, на которых должно держаться исправление. Уважение человеческого достоинства должно соблюдаться в тюрьме, как и везде. «Всякий, кто бы он ни был и как бы он ни был унижен, – говорит Ф. М. Достоевский в “Записках из Мертвого Дома”, – хотя и инстинктивно, хотя и бессознательно, а все-таки требует уважения к своему человеческому достоинству. Арестант сам знает, что он арестант, отверженец, и знает свое место пред начальником, но никакими клеймами, никакими кандалами вы не заставите забыть его, что он человек. А так как он действительно человек, то, следовательно, надо с ним и обращаться по-человечески. Боже мой! Да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на котором давно уже потускнел образ Божий» (74). Эти слова не мешало бы крупными буквами вырезать для назидания зрителей на стенах наших тюрем. Слова эти, выведенные из опыта, тем важнее, что они относятся к русскому арестанту. «Я видел, – добавляет г-н Достоевский, – какое действие производило человеколюбивое обращение на этих униженных: несколько ласковых слов – и арестанты воскресали нравственно»¹.

Действительно, ничто не может оживить, сделать благодарной природу человека, как самое малейшее сочувствие во время его несчастья. В это время человек выскажет все,

¹ Достоевский Ф. М. Указ. соч. Ч. 1. С. 185.

что накопело в его душе; он выяснит причину своих несчастий и историю своего падения. И для этого не нужно много: достаточно было гуманному начальнику морской тюрьмы спустить непокорного, озлобленного арестанта с цепи, усадить рядом и заговорить с ним в первый раз по-человечески, – и он изложил ему свою исповедь, выложил свою душу с едва сдержанными рыданиями, как рассказывает один из исследователей петербургских тюрем, г-н Никитин¹. В рассказе Щедрина «Добрая душа» старый озлобленный каторжник рыдает перед простой старухой, принесшей ему рубашку после наказания. Таким образом, мы видим, что искренность и умение вызвать человеческое чувство в душе падшего человека доступно было даже простым людям; чего же не сделает человек, обладающий воспитанием, человек высоко гуманный, с теплой душой и проникнутый глубокой верой в человека и его обновление!

Вот почему необходимо, чтобы назначались для управления тюрьмами люди вполне образованные, обладающие столь же развитым умом, как и развитым сердцем, – люди, полные преданности делу и сознания своего честного и высокого призвания.

С реформой тюрем в России в особенности желательно введение гуманного обращения с преступником и изгнание старых привычек, которые все еще могут отрываться и в новых тюрьмах.

Об этом прежде всего, по нашему мнению, нужно позаботиться реформе, так как это – внутреннее ее содержание. Для всего этого мы полагаем необходимым, чтобы при назначении начальников и смотрителей тюрем был положен известный *образовательный* ценз или специальный экзамен.

Вместе с тем желательно, чтобы у нас были применены те же заботы к специальному образованию смотрителей и наблюдающих за преступниками, как это делается

¹ Никитин В. Н. Указ. соч. С. 249–250.

в Германии и Англии. В Германии и Пруссии, как известно, хлопочут теперь об устройстве семинарий, в которых будут подготавливаться люди, готовящиеся для службы при тюрьмах; их намерены снабдить общим образованием, внушить необходимость терпения, снисхождения к павшим питомцам, наконец, доставить им известные психологические познания. Бывший директор моабитской тюрьмы по этому поводу приготавливал целую программу воспитания. Наконец, уже в настоящее время уровень образования зрителей и тюремных чиновников в Европе столь значителен, что они основали в 1864 г. в Германии общество для того, чтобы делиться своими наблюдениями, и имеют свой литературный орган («Blätter für Gefängniswissenschaft»). С преобразованием тюрем в Ирландии весь тюремный штат был заменен новым, причем лица, назначаемые в тюремную службу, определяются не иначе, как выдержав шесть месяцев испытания. В течение этого времени губернаторы каждой тюрьмы ежемесячно доносят об их способностях и поведении. Для того чтобы образованию в тюрьмах дать надлежащее назначение, ирландское правительство выбрало двух старших учителей (Headschoolmasters) и дало им средства на объезд всей Англии с той целью, чтобы они исследовали метод и способ преподавания взрослым в различных учебных заведениях. Все эти меры дали уже превосходные результаты для дела исправления и перевоспитания преступников в европейских тюрьмах.

В России точно так же желательно, чтобы с введением тюремной реформы открыты были особые лекции для зрителей при тюрьмах (хотя первоначально в Петербурге), знакомящие их с пенитенциарной и педагогической наукой, чтоб создано было образование кандидатов на тюремную службу при центральных тюрьмах, предпринято было издание специальных руководств для зрителей и чтобы, наконец, были привлечены наиболее способные педагоги для преподавания арестантам.

ССЫЛЬНОЕ БРОДЯЧЕЕ НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ

(Исследование о жизни бродяжеских общин)

I.

История бродяжества

Русский народ издавна имел склонность к бродяжеству, порожденную особенными условиями его исторической жизни. Сначала пустота и обширность территории, которую он занимал, естественно влекла его от центра к местам незанятым. Государственный склад старой Руси, полный неустойчивости и притеснений всякого рода, споры независимых княжеств с Москвой вызвали обширные эмиграции на окраины, и затем во все продолжение истории народ искал предчувствуемой им свободы в бегстве. Побег составлял единственное средство избавиться от дурной обстановки и тягостной жизни в обществе. Как в древней, так и в новой Руси побег и бродяжество были единственным протестом личности против стеснявших ее всякого рода обстоятельств. Тяжело ли было русскому человеку от крепостного права, давил ли его воевода, брали ли его в войско, начинали ли записывать в податный подушный оклад, запрещали ли исповедовать старую веру, накладывали ли тяжелую подать, голод ли приходил, бедность ли душила, семья ли одолевала, — он делал одно: бежал и бежал. Обилие как исторических терминов, так и ходячих ныне для характеристики бегств показывает близкое знакомство народа с этим делом. Как прежде, так

и нынче тысячи людей любят бродить по пространству необъемлемого русского царства. Можно сказать, что русский народ воспитался в бегах; на его почве выработалась даже религия бегства (бегуны). В историческом значении эти побегы, может быть, составляли более пассивную, чем активную сторону народной жизни; во всяком случае, приступая к разбору подобного явления в современной жизни, мы должны коснуться исторической стороны вопроса о бродяжестве в России.

Древняя Русь почти вся состояла из бродячих людей; конец бродяжеству, по крайней мере, в сословии земледельцев и работников думали положить прикреплением крестьян к помещичьей земле, но эта мера несколько не искоренила бродяжества. Ее непосредственным результатом было обращение массы народа в рабство, что, в свою очередь, и способствовало усилению вековой страсти народа к бродяжеству, с той только разницей, что теперь оно стало перед законом – преступлением. Бродяжеству также помог новый государственный строй России: на развалинах старого порядка строилось сильно централизованное государство, обращавшее народ под власть воевод и круто дисциплинировавшее распущенную массу; это порождало новые эмиграции и усиливало старые. Бродячие люди всякого сорта создавали казачество на окраинах: на Днепре, Дону, Волге, Тереке и Яике; чуть не вся Русь разбрелась врозь, и повалила в Польшу, Турцию, на юг и в северо-восточные леса. Неудовлетворительное состояние крестьянства, посады и села, обремененные повинностями, пошлины, таможи, злоупотребления воевод и служилых людей, дурное правосудие, правед и пытки делали жизнь для населения невыносимой и гнали его. Причины шатания и побегов лежали во внутреннем организме гражданского порядка, – говорит Костомаров, – побегы были до того обыкновенны, что в челобитных жители угрожали правительству, что разбредутся

врознь. Соловьев в своей истории точно так же довольно картинно рисует печальное положение тогдашней бегущей во все стороны Руси¹. Время междоусобицы, расколы, наборы Петра, бироновщина, самоуправство временщиков, безурядица по смерти Петра I до Елизаветы Петровны и ее слабое управление – все способствовало побегам. Крестьяне крепостные, дворовые, архиерейские и монастырские бегали непрерывно. Широким потоком стремилось бегущее население; целые деревни становились безлюдными, и таких насчитывали десятками. Напротив, северо-восток и юго-восток населялись: на Урале, в Оренбурге и Астрахани оказалось так много беглых и пришлых, что если бы их вывести, то в Урале все заводы остановились бы, в Оренбургской губернии надобно было опустошить целые слободы, а Астраханская почти вся состояла из «сходцев»². Правительству только оставалось признать существующий факт и оставить беглецов на новых местах их поселений: так оно и распорядилось со всеми, кто бежал до ревизии 1719 г. Однако ж подобные распоряжения были исключением; напротив, думали удерживать бродяжество изданием строгих мер; за беглыми отправляли сыщиков, – говорит Костомаров, – ловили, били кнутом и водворяли на прежних местах, но усиленная ловля беглецов не прекращала бродяжничества, а произвела только разбойничество. Пойманные и водворенные облагались большей повинностью и потому снова бежали, соединялись для защиты и составляли разбойничьи шайки. Во второй половине XVII столетия разбои особенно усилились. Люди, оставившие труд, праздные, гонимые и ожесточенные естественно кидались на воров-

¹ Костомаров Н. Исторические монографии и исследования Николая Костомарова. СПб., 1863. Т. 2. С. 233–234. Соловьев С. История России с древнейших времен. Т. XIII. С. 132–138 (не удалось установить, каким изданием трудов Соловьева пользовался Ядринцев. – Прим. сост.).

² Ешевский С. В. Русская колонизация Северо-восточного края // Вестник Европы. 1866. № 1.

ство и грабеж в своей бесконтрольной бродячей жизни. Бродяжеские шайки казаков, таким образом, бушевали на окраинах государства, разбивая караваны, а внутри шайки воров грабили крестьянство. Общество разъедала какая-то анархическая борьба одних элементов против других и делала жизнь небезопасной и бедственной. Бродяжество самым неблагоприятным образом отзывалось на всем гражданском строе остального оседлого общества¹. Из многочисленных шаек беглых составлялись даже целые армии: так, в 1603 г. Хлопка Косолапый во главе такой бродяжеской армии является самозванцем и идет на Москву; в 1724 г. шайка в тысячу человек под начальством беглого солдата Клопова в Пензенской губернии строит крепостцу; бродячие же элементы дали готовую силу для Стеньки Разина и пугачевщины. Но в то время, когда бродячеству, по-видимому, становилось уже тесно в России, одна из бродячих шаек героически ринулась за Урал и открыла новый мир и новый простор для беглых.

Стесняемое бродяжество получило тогда право гражданства в Сибири, и на первых порах развивалось в ней совершенно свободно, как и в Древней Руси. Новая страна, представлявшая свободную жизнь без властей и контроля, с готовыми землями и промыслами, была так обольстительна, что в нее народ кинулся массами, а северо-восточные губернии России стали, наоборот, пустеть. Сначала правительство смотрело на эти переселения благосклонно, поощряя колонизацию новоприобретенных земель, но скоро оно заметило, что переселения угрожают увлечь чуть не все крестьянство, что деревни пустеют, целые тысячи тяглых людей исчезают бесследно, перевалив за Урал, в лесах и пустынях Сибири. Скоро оно ограничило колонизацию только одними вольными, гуляющими людьми, бобылями и захребетниками, запре-

¹ *Костомаров Н.* Указ. соч. С. 233–235; о том же *Соловьев С.* Указ. соч. Т. XI. С. 80–83; Т. XIII. С. 132; *Ешевский.* Указ. соч.

тив перемещаться тяглым людям. Для удержания переселения крестьянства в Сибирь поставлены были даже «заставы крепкие»¹; но это, разумеется, не прекратило движения: Сибирь представляла, как по своим физическим условиям, так и по малочисленности населения, превосходный приют для бродячества; темные тайги и урманы, скалистые и труднопроходимые горы Алтая и Саянов, неизведанные и неоткрытые места – все благоприятствовало побегу. Сибирь сделалась притоном раскольников, которые создавали здесь скиты, деревни, и так разрастались и утверждались, что правительство, наконец, перестало их ссылать сюда². Крепостные крестьяне здесь искали убежища во все время крепостного права. Сюда уходили беглые солдаты и преступники: они делались промышленниками-зверовщиками, а иногда и работниками у жителей. Такие бродячие люди разного сорта назывались «гулящими людьми». Они были типом тогдашнего колонизаторства – пионерами колонизации, и всегда образовывали линию, по которой должно было идти дальнейшее оседлое заселение. Они занимали леса, строили избышки и приступали к звериному промыслу. Люди одинокие, бобыли, вызванные сюда или нуждой, или стеснениями, не боялись опасностей и шли, не останавливаясь перед трудностями. Люди, закаленные в нужде, они не заботились о завтрашнем дне и продолжали питать антипатию к прочной оседлой жизни. Этот дух непостоянства увлекал их вперед, в завоеванные пустыни, а нужда и голод не позволяли сидеть сложа руки. Но бродячее население не ограничивалось только одними пришельцами. Селимые и водворяемые в Сибири на правах гражданства, после непродолжительного отдыха на-

¹ Соловьев С. Указ. соч. Т. XIII. С. 137–138. Дополнение к актам историческим. Т. VI. № 19.

² Полное собрание законов Российской Империи (ПСЗ). Указ 15 декабря 1723 года.

чинали испытывать те же неудобства, которые гнали их из России. Им часто приходилось едва ли еще не хуже. Воеводы вдали от контроля высшего правительства были необузданнее и своевольнее; поборов и гнета было еще более, и жизнь становилась еще тяжелее, а повинности в не устроившемся обществе еще тягостнее. Крестьяне и здесь стали прикрепляться: они приписывались к заводам и монастырям. Все это вызвало и здесь уходы и скитальчество. Жители рассыпались по лесам и промыслам, так что трудно было отличить гражданина от беглого. По мере заселения и введения оседлости в крае, все беглое и промышленное население двигалось вглубь еще неизведанных местностей и гнездились по окраинам, скрываясь от надзора. Только в половине прошлого столетия, когда крестьянство стало переходить от звероловной к земледельческой промышленности, когда в крае утвердилось прочное управление вместе с кое-какой гражданственностью, правительство контролирует скитание и стремится ловить беглых, но темные леса и пустыни в тысячи верст все еще дают широкий приют и не позволяют властям уследить за бродяжеством: оно скрывается все глубже и глубже. В вершинах Бухтармы между скал создаются деревни беглых; в лесах гнездятся скиты, привлекая крестьян-раскольников. Так создались деревни *каменищиков* в 1760 г., скит чернеца Некрасова на Убе в 1760 же году или подобный же, основанный чарыжскими крестьянами на той же р. Убе¹. Кроме того, все прошлое столетие на Бараберабе, по всей южной Сибири, на Карасуне, Ульбе, Убе и Бухтарме рассыпались промышленные избушки, открытые для беглых. Ямщицьи зимовья были такими же притонами. Правительство начинает борьбу с беглыми и бродящими, принимая против них жесткие и карательные меры: крестьяне, бродившие ранее свободно, наказы-

¹ Акты Омского областного архива; *Потанин Г. Н.* Материалы к истории Сибири. М., 1867. С. 226–230.

ваются за переход границы, указом 1743 г., свыше 40 лет от роду кнутом, а моложе – плетью; отлучившиеся от места приписки отыскиваются. Так, промеморией 1762 г. начальство колывано-воскресенских горных заводов объявляет об отлучившихся 114 подзаводских крестьянах, не взявших паспортов и скитающихся неизвестно где, и так как люди закабаляют себя часто купцам в работы, то просит их не держать, а выслать. Зимовщикам по дорогам дается инструкция беглых не держать, ночлега не давать и представлять начальству. Сверх того, посылаются военные команды, чтоб по дорогам и лесам ловить беглых¹. Начались поиски – и в прошлом столетии возникает целая масса дел о разных личностях, находившихся в бегах. Забираются крестьяне, ходящие на рыбные ловли в степи, на хмелеванье и за звероловством на линию; берутся крестьяне, жившие по лесам по десяти и двадцати лет, так, Устюжанин из Тары или подзаводский крестьянин Березовский, шедший по казенной надобности, но увлекшийся соболиным промыслом и оставшийся в лесах как бродяга. Попадают беглые ямщики, преступники из ссыльных, солдаты из полков и всякие другие². Под влиянием преследования образовался уже не такой мирный тип беглых. В 1747 г. берут с оружием в руках шайку полупромышленников, полуразбойников, предводимую Селезневым; она отчаянно сопротивлялась, и ее можно было захватить только после решительного боя. Затем беспрестанно являются донесения о шайках бродяг, делающих нападения на деревни для грабежа, отстреливающих от команд и упорно защищающихся. На Карасуне устроилась целая колония беглых; ее разыскивали по показаниям казака Нагибина в 1759 г. и взяли после сильного, упорного сопротивления³. Разбои долго еще свирепствовали по Сиби-

¹ Омский областной архив. Т. 48. 1759 г. С. 80; Т. 67. С. 727; Т. 47. С. 78.

² Там же. Т. 67, 73 и др.; *Потанин Г. Н.* Указ. соч.

³ Омский областной архив. Т. 47. С. 164; *Потанин Г. Н.* Указ. соч. С. 225–226;.

ри в конце прошлого и начале нынешнего столетий. Это было явное последствие преследований, но вместе с тем с заселением Сибири бродяжество уже имело менее простора и свободы. Бродяги и беглецы не могли свободно скрываться, и большая часть из них должна была низойти до участи воров и нищих. Уже в 1762 г. взятые беглый ямщик с Барабинской степи и беглый оренбургский солдат Пономарев пробираются по деревьям ночами, воруют по погребам на пропитание и отгоняют лошадей. В 1762 г. пойманный тобольский солдат Батенев с товарищами показывает, что скрывались они по избушкам, – проходя по деревьям, нищенствовали или нанимались работать: так шили они на Барабе у мужика шубу три дня. Словом, складывался уже другой тип беглецов – тип паразитствующий, приниженный, занимающийся воровством и скрывающийся между оседлым населением.

Из этого мы видим, что как в России, так и в Сибири существовали одинаковые переходы бродяжества. Сначала оно имеет полную свободу, потом под влиянием запрета превращается в беглых и, преследуемое, проявляет свою деятельность бесчинствами и разбоем; с введением же гражданственности бродяжество принимает характер воровства и паразитизма. При дальнейшем развитии государственного порядка и улучшении общественной организации оно должно было уменьшиться и, наконец, совершенно исчезнуть. К этому бродяжество приходит ныне в России, к тому же оно приближалось в Сибири в прошлом столетии; но затем здесь явились особенные обстоятельства, отчасти изменившие характер бродяжества, усилившие его новым элементом и потому увеличившие число его членов. В самом деле, ныне, когда мы видим в России бродяжество довольно слабым, стесненным и тщательно скрывающимся от правосудия, в Сибири оно живет довольно свободно, получивши своего рода право на существование, рядом с оседлой гражданственностью. Причина, увеличившая сно-

ва бродяжество и поддерживающая его доныне в Сибири... это – ссылка. По мере того как уничтожалось вольное бродяжество народа, в Сибири создавалась новая форма его – ссыльная, принявшая свой оригинальный характер.

Ссылка в Сибирь завелась давно, но прежде она была в небольших размерах: она началась в 1653 г. посылкой воров и разбойников, приговоренных к отсечению руки; с 1686 г. стали ссылать бунтовщиков, мятежных псковичей, жителей Углича, крамольных стрельцов. Число ссылаемых увеличилось особенно с 1754 г., с отменой смертной казни, но постоянно установилось только в нынешнем столетии. В 1807 г. было учреждено общее по колодницкой части присутствие в Тюмени. В 1823 г. учрежден приказ о ссыльных в Тобольске. С учреждением его являются положительные сведения о числе ссыльных. По статистическим отчетам видно, что с 1822 по 1852 г. сослано было 200 000 человек обоого пола разных званий. С 1852 по 1868 г. число это, по расчету, должно было увеличиться еще на 150 000 человек¹, т. е. в 46 лет прибыло в Сибирь всего около 350 000 ссыльных. Ссылка по самому своему характеру не могла быть слишком благоприятной для оседлости: она наводняла Сибирь людьми, шедшими поневоле, большей частью, без семейств², крайне предубежденными

¹ По вычислению Гагемейстера, с 1822 по 1852 год прибыло в Сибирь 200 000 всякого рода ссыльных (*Гагемейстер Ю. А.* Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1854. Т. 2. С. 66). В 1854 г. было ссыльных 7 350 чел. обоого пола, с 1854 по 1859 г. прибыло в пять лет 47 842 ссыльных (Тобольские губернские ведомости. 1859. № 28–31), в 1860 г. прибыло 7 728, в 1861 г. 9 003, в 1862 г. 7 377, в 1863 г. 8 079 (Статистический временник Российской империи. СПб., 1866. Отдел III. С. 14–17). Ежели мы сюда прибавим по 8 000 ссыльных, ежегодно прибывающих до 1868 г., то найдем, что ссылка дала Сибири с 1822 по 1868 г. до 350 000 ссыльных.

² Из 200 000 ссыльных, явившихся с 1822 по 1852 г., женщин было только 40 000; притом большая часть из ссыльных прибывает холостыми, незамужними и не в молодых летах; так с 1851–1852 г. $\frac{1}{5}$ всех женщин и $\frac{1}{2}$ мужчин были старше 40 лет. В 1851 г. в губерниях Тобольской, Томской и Енисейской было 34 123 ссыльных женщин, и у них только 28 146 детей. (*Гагемейстер.* Указ. соч. С. 67).

против здешней жизни, безнравственными и мало способными к труду, которые притом ставились здесь нарочно в дурные экономические условия, как люди наказанные. Поэтому-то ссылка необходимо увеличила в поразительных размерах бродяжество. Ссылные не могли обещать прочной оседлости и по неудовлетворительности их обстановки на поселении и в особенности на каторге. Большая часть их потому и ссылалась, что неспособна была к гражданственности и труду на своей родине; а страна такая, как Сибирь, требующая и по климату, и по нетронутости почвы упорных и неутомимых физических усилий, не могла им нравиться. Они были лишены наиболее благородных мотивов труда, и к нему могли побудить их лишь крайняя нужда и голод. Труда они избегали до последней возможности, и прежде чем обратиться к нему, разумеется, изыскивали все средства для пропитания, к которым прибегают люди, не чувствующие пользы и разумности труда и получившие к нему отвращение. Гораздо легче пуститься в легкое наживание денег разными предосудительными способами – обманами, кражей, попрошайничеством, нищенством и бродяжеством, нежели решиться заняться тяжелым трудом. Ссылные одинаково прибегали ко всем этим средствам. Сибирское бродяжество, таким образом, концентрировало и довольно рельефно выражало все дурные стороны ссылки, и было продуктом ее. Мы постараемся в этом этнографическом очерке показать настоящий характер сибирского бродячества.

По официальным отчетам мудрено составить общую цифру ловимых беглых. Их могла бы свести к общему итогу одна администрация, но, к сожалению, даже попыток к этому не делается или, по крайней мере, о них не публикуется. Сами по себе места, могущие доставить цифры, как тюремные комитеты, остроги, экспедиции о ссыльных, приказы и т. п. учреждения к собранию сведений ничем не побуждаются, а губернские статистические комитеты

ограничиваются только той программой, которую им дает центральный статистический комитет. Старыми официальными данными, разбросанными в разных местах, мы не решаемся руководствоваться как мало заслуживающими доверия, а приведем цифры из наших собственных наблюдений, вынесенных из изучения острожной жизни. Надобно заметить, что все сибирские остроги (сюда же следует причислить и пермский, как пограничный) запружены бродягами; тобольский, омский, томский и иркутский остроги, а в особенности мариинский, каинский, лежащие на бродяжеском тракте, наполнены почти исключительно бродягами. Острог, который был доступен нашим наблюдениям, также содержал большую часть этого ссыльного бродячего населения. В 1865–1866 гг. число бродяг доходило здесь до 500 на 100 крестьян и мещан. В 1867 г. перебивало в год 1367 арестантов – большинство из них бродяги. Состав бродяжеского населения показывает, что они большей частью из сосланных на поселение, с заводов, рудников и дезертиры. Но число бродяг по острогам должно считаться *minimum*ом их настоящего, бродящего по Сибири, числа; это только бродяги, попавшие за обнаруженные преступления во время скитальчеств или взятые по поводу разных розысков преступлений, совершенных бродягами же; большая часть этих скитальцев ходит свободно и беспрепятственно: стоит только пошарить в любой волости, чтобы найти сотни такого проходящего неизвестно куда и неизвестно откуда народа. В 1867 г. в Юдинской волости Тобольской губернии, по случаю убийства трех проезжих монахинь, набрали облавами до 400 человек бродяг. В той же губернии в Кулачинской волости (первая станция от Омска), по случаю убийства еврейского семейства, взято было до 200 бродяг. К острогу разом подвозили по десяти и более подвод с этим людом. Забирание по деревням прекращается иногда только вследствие предписания земского начальства; садить не-

куда: остроги переполняются наловленными арестантами. Как велико число кочующих по волостям и округам, мы предоставляем судить по следующим рассказам бродяг. Они говорят, что в 1864 г. около Иркутска по разным волостям зимовало до 4000 бродяг; около Верхнеудинска их было одно время 500; близ одной деревни Иркутской губернии, в 400 человек жителей, зимовало по избушкам до 200 бродяг. Там, где лежит бродяжеский тракт по большой дороге, проходит чрез деревню летом по 30, 40 и даже 60 бродяг, да и зимой случается человек по 20. Иркутская губерния наиболее обильна числом бродяг, как имеющая несколько казенных заводов и благодаря проходящему через нее пути из Забайкалья, где еще больше заводов и рудников. В селениях Енисейской губернии число бродяг также значительно, хотя часть их и отвлекается на прииски. В 1866 г. в Каинском округе зимовало их 400 человек. На большом тракте, на одной мельнице, по случаю какой-то задержки в проходе, их скопилось до 200 человек. Через деревни летом здесь также проходит от 40 до 60. В Томской губернии бродяжество также распространено, хотя и более рассыпано по губернии, так как те, которые хотят остаться в Сибири, далее не идут. В укромных местах, по лесам, даже создаются целые деревеньки из бродяг: так мне рассказывали о деревне в 30 дворов на одной речке в Томской губернии.

Цифру всех бродящих по Сибири, однако, определить трудно, но во всяком случае многие весьма вероятные факты показывают, что число это громадно. Едва ли мы ошибемся, если положим такого народа в Сибири от 20 000 до 30 000 человек. Эта цифра заслуживает внимания, тем более, что бродяжество не только не уменьшается, но новыми ссылками постоянно пополняется и увеличивается. Ссылные, ловимые снова, отправляются на заводы и снова бегут оттуда. Таким образом, от востока Сибири до Урала идет постоянный бродяжеский *perpetuum mobile*.

Явление бродяжества, по нашему мнению, заслуживает исследования по многим причинам; во-первых, оно обращает на себя внимание, как участь нескольких тысяч людей, ведущих жалкую, случайную жизнь. Вынужденные обстоятельствами идти в бега, они обрекают себя к этому на целую жизнь. Ловимый и ссылаемый постоянно, он так и сяк спасается от наказаний и, проводя часть своей жизни в бегах, проводит остальную в остроге и каторге. Так тянется целая жизнь его. Он убьет всю ее на отыскание призрачной свободы, выбьется из сил, но, как в заколдованном кругу, не может найти ее. Стараясь выбиться из Сибири, он неминуемо схватывается полицией или населением, когда готов уже выйти за ее границы. Это отравляет ему дальнейшую жизнь, делает его ожесточенным, озлобленным. Постоянная оппозиция в душе против общества и властей не потухает в нем, а по мере препятствий только разгорается и превращается иногда почти в бешенство. Самые энергичные члены бродяжества борются со своей судьбой целую жизнь на смерть и вымещают свою злобу на всем, что им попадется на пути. Как отдельно страдающая личность, бродяга достоин сострадания, как лицо деморализованное – психического анализа. Биографии подобных личностей достойны внимания, и они не раз встречались в нашей литературе; жалко только, что в них увлекались одной романической стороной дела. Еще замечательнее тот быт, который сложился у этих людей, связав их в отдельное сословие, живущее независимо и следующее своим правилам и принципам. В целом оно представляет довольно грандиозное явление, захватив тысячи людей, создав им особую жизнь, следующую своим законам причинности. Массы этого бродячего населения создали интересы своей корпорации, свои нравы, обычаи, поэзию, предания, мифы и свое законодательство. Они завоевали себе известные права у общества, которые удерживают доныне и за которые бо-

руются с крестьянством. Потому тем большего внимания заслуживают они по влиянию на страну, где блуждают, перед которой не принимают никаких обязательств, и на общество, на счет которого живут. Охарактеризовать это влияние составит главную нашу задачу.

II.

Причины побегов ссыльных

Как ни разнообразны причины бродяжества, вследствие индивидуальных побуждений каждой личности и разнохарактерности обстановки субъекта, но их можно все-таки формулировать. Понятно, что общая основная причина скрытой бродячей жизни есть неудовлетворительность окружающей обстановки, в которую поставлен человек, — бедность, нужда, голод, желание избежать наказания за преступления и т. п. Так как в Сибири по преимуществу бродяжничают ссыльные каторжные, ссыльные поселенцы и дезертиры, то мы и будем говорить только о них. Большая часть ссыльных является в Сибирь уже со всеми задатками к бродяжеству, с решимостью на это и с готовыми планами бегства.

Более всего побуждений к бегам существует, конечно, у каторжных. Первый побег каторжных объясняется страхом наказания и желанием избавиться от долголетней каторги, наложенной за преступление, подвергшее его ссылке. Часто бегут с дороги, из острогов и едва добравшись до завода. Бегство имеет целью не постоянное бродяжество, а желание после поимки показаться поселенцем, солдатом или просто непомнящим, а не каторжным. Такое стремление улучшить судьбу очень естественно в ссыльном человеке, и редкий его не желает. Во время бродяжества и в острогах подыскивается случай сослаться на какое-нибудь лицо, и затем совершается

побег, имея в виду, что во время следующей поимки бежавший даст новые показания и переменит свою участь. Это удастся и нет. Выходят ложные справки, т. е. показания не подтверждаются, клейма обнаруживаются, знаки прежнего наказания также уличают, и вот приходится отвечать за побег как каторжному, хотя иногда и не открывшему завода или рудников, куда он был прежде послан. Снова ищется случай бежать и вновь показаться на кого-нибудь, снова не удастся, и так идет у некоторых целая жизнь по необходимости в бегах и бродяжестве. Все здесь зависит от первого побега, неудача которого затягивает в дальнейшие побеги по необходимости. Стремление к исправлению личности посредством наказания не всегда-то достигается; наказание, определяемое на 30, 40 лет и без срока, разумеется, не может исправить человека, которому решительно все одно, наказывают его или нет. Не видя конца своему наказанию, он ищет спасения только в побеге. Так образуются *вечные бродяги*. Мы сказали, что долговременные сроки вынуждают побег; поэтому наложение наказания за первое преступление, обрекающее преступника на ссылку, всегда решает его дальнейшую судьбу. В этом случае, чем строже наказание и долготнее срок работ, тем более представляется шансов к побегу личности, и тем менее возможности к ее исправлению. Это не теория, а закон, выработанный жизнью бродяжества. Из сотен примеров того, как делались бродягами *вечными* люди, еще способные к исправлению, или как делаются такими отчасти скромные и не приносящие зла, мы приведем хоть следующие. Был в Москве купеческий сын, человек молодой, честный и скромный, но он имел необыкновенно пылкий характер. Раз сидел он на вечере со своими товарищами в холостой компании; велась беседа о женщинах. Один из купеческих детей сделал неприличные намеки на сестру С*. С* просит перестать говорить об этом. Товарищ продолжает, забавляясь

над скромным С*. Наконец С* требует, чтобы наглец замолчал; тот не унимается. Тогда оскорбленный и возмущенный С* кидается на оскорбителя и так его хватил в голову, что тот покатился на пол. С* хотел просто побить его, но случайно убил человека. Он в отчаянии и просит послать за полицией. Входит квартальный и начинает ругать С*, клеймя его названием убийцы, душегубца и проч. Тот стоит бледный, с понуренной головой. Квартальный на него наступает. «Оставьте меня, я и без того несчастный!» – говорит С*. Но квартальный продолжает свое, наконец, толкает С*. Тогда преступник вскрикивает: «А! если ты не понимаешь моего несчастья, так вот тебе!» Затем ударил квартального, сшиб его с ног и начал топтать ногами. Начался процесс «старого суда». За нечаянное, ненамеренное убийство С* вышло покаяние, а за покушение убить полицейского чиновника во время исполнения им обязанностей службы, он был осужден на 12 лет в каторжную работу. И вот этот купеческий сын идет на каторгу недовольный, протестующий в глубине души. Скоро тяжелая жизнь и пылкий характер вызывают его на ожесточение. Он связывает свою судьбу с такими же, как и он, ожесточенными и отчаянными людьми и бежит. Затем уже возврата нет. Он ловится, ссылается, снова бродяжит. Он принял бродяжескую профессию монетчика и обманщика. Ему было еще только 40 лет, когда он сделал уже четыре побега с каторги, говорил, что выходил пешком, бродяжа и идя по этапам, до 40 000 верст (в Сибири это немудрено), и последний раз ссылался на 44 ½ года в работу. Ему предстояло еще несколько раз бежать в свою жизнь. Этот человек был не грубый каторжник; у него на душе не лежало тяжких преступлений; обманывать его вынуждала скитальческая жизнь. До сих пор он сохранил сильную логику, душу, способную чувствовать все хорошее, и обладал завидным даром красноречия. В острогах его считали юристом и умницей. Другого я знал скром-

ного и тихонького старичка, вся жизнь которого прошла в бродяжестве при всей его скромности и беззлобии. Он бежал от утеснений помещицы в 1824 г. из Петербурга с одним товарищем. Пристроились они к одному помещику, принимавшему беглых и записывавшему их на место своих умерших, чтобы не даром отдавать за них подати. В то время много было таких помещиков. Здесь их сдали в солдаты, но и из солдат они бежали: трудно показалось служить. Взятые как беглые, они были сосланы в Сибирь в 1847 г., и здесь начали снова бродяжескую жизнь. На поселении было жить трудно, и вот этот старик бежал. Его посылают каждый раз на завод, и он бегаёт. Я его застал в остроге в то время, когда ему было 63 года от роду; он судился как не помнящий родства, наказан был 20 ударами плетей и сослан на четыре года в завод. Это была скромная и самая безобидная личность. Над ним смеялись арестанты, изъявляя сомнение в том, что едва ли мог он убить крестьянского ягненка во время бродяжества, как он рассказывал, чтобы чем-нибудь пропитаться.

Кроме страха долголетнего страдания на каторге и нежелания выживать такой срок, есть еще большой импульс к побегам... это – тяжелая жизнь на заводах, тоска и естественное стремление к воле, хоть на миг. Для всего этого люди готовы жертвовать даже жизнью, когда совершаются бегства.

Представьте себе обстановку каторги: в дальней тайге дикая и угрюмая местность, с голым степным характером; угрюмые горы и холмы тянутся на значительное пространство; мелкий и тощий кустарник пробирается между холмами, а вдали только темно и угрюмо синее мрачная тайга с неприветными елями, соснами и пихтами. Как скучна и подавляющая местность, так скучна и тяжела жизнь. Работы в цепях, с тачками, на трудно поддающейся лому и кайлу почве, на холоде, под дождем и непогодой, иногда в разрезах по колено в воде, коченея от стужи. Как

трудны работы, можно судить по тому, что рабочие часто нарочно переламывают себе ломом ногу, уродуют руку, чтобы избавиться от них. Утомленный арестант питается самой грубой пищей в четыре фунта хлеба и жидкой похлебкой. Изнуренного и полуголодного, его мучит злость, а если прибавить к этому дурное обращение с ним конвоя как с каторжным, то можно себе представить его положение. От каторжных я слышал постоянные жалобы на дурное содержание. Хлебом трудно кормиться, и усиленная работа заставляет человека съесть его не 4, а 8 фунтов (чему нередки примеры), так как мясо ему не дается, а жидкие щи почти равносильны воде. Одежда самого грубого свойства и холодная, легко промокающая в непогоду. Плохая обувь, как черки (75), при земляной работе изнашивается прежде казенного срока. Кроме того, арестанты, как люди полные страстей и угнетаемые невыносимо душасцей их тоской, бросаются, чтобы сколько-нибудь забыться, в тайную игру и в пьянство, проматывают платье и обувь, проигрывают пайки хлеба. В подобных случаях они, конечно, подвергаются телесному наказанию, и вот каторжная жизнь представляется им рядом изнуряющего труда, голода, перспективой страданий и пыток уже чисто физических¹. Такая жизнь предвидится годы и годы сосланным на 10, 12, 15 и более лет, а иногда и навечно.

– И пойдешь к приятелю, – говорит *коринец*², – и скажешь: что, брат, нам себя мучить, – пойдем. Соберется нас так пять-шесть человек, запасем хлеба, выйдем на работу и ударимся *на уру* (76).

Выходят наутро каторжные на работу, окруженные цепью конвойных с ружьями; некоторые, подготовив кандалы, легко снимают их; другие освобождают одну ногу, и

¹ Прежде для дисциплинарного наказания каторжных употреблялись даже не розги, а плети, назначаемые для уголовного наказания. Говорят, что это уничтожено с приездом и ревизией генерала Сколкова.

² Коринцы с приисков *коринских*, в Нерчинской области, где работы огромные и содержание строго.

цепь берут пока в руки; раздается ура; человек пять отчаянных голов вылетают из-за цепи конвоя и, как бешеные, кидаются к лесу. Раздаются выстрелы. Двое-трое ранены или убиты; остальные уходят. Идущие знают наверное, что кому-либо из них суждено пасть под пулями, но здесь свобода или смерть ставятся на карту. Выбравшись из-под пули, они, как одурелые, мчатся несколько верст в тайгу и, как сами говорят, блуждают несколько дней в каком-то помешательстве от ужаса и боязни; часто они не могут найти себе дороги и возвращаются на тот же прииск. Но иступление проходит: они сидят по нескольку дней в трущобах, пока пройдет погоня, с фунтом-двумя хлеба и, только истощенные, ночью прокрадываются, чтобы выпросить его на дорогу у приятелей и братьев на своем или чужом прииске; затем тихо-тихо, по укромным тайгам, ночами, под страхом встретить бурята или мужика с винтовкой, боясь каждого куста, почти голодом пробираются они к Байкалу. Ну вот обошли и его, питаюсь в рыбачьих балаганах, вошли в Иркутскую губернию; раскинулись гостеприимные сибирские деревни: слава Богу! Но кончен ли рискованный подвиг? Получена ли свобода? И надолго ли она? Подвиг только начинается, и свобода печальная, бродяжеская свобода! Надолго ли? Что за нужда!

Хоть час бы один подышать
Дыханьем лугов полевых!
О, хоть бы час лишь один! (77)

Недолго ему погулять на свободе: первая встреча – и он узнал, как «таврeный конь», как называют себя бродяги за старые клейма. Некоторые из них еще успевают пристроиться куда-нибудь, показавшись на других лиц, но тот, кто был с клеймами, тому одна дорога – на завод, откуда он снова стремится уйти. За побег каторжному дают от 40 до 80 и до 100 плетей и набавляют срок работ; второй

и третий побег ставит арестанта в безнадежность выйти когда-нибудь с завода легально. Коринец Калина сослан на 20 лет в работы; за преступление получил он 90 плетей; за первый побег с каторги дали ему 20 плетей и набавили 10 лет работ; бежавши во второй раз, он получил 40 плетей, и сверх 30-ти лет ему надбавлены еще 15 лет; за третий побег он получил уже 60 плетей и приговорен к работам без срока; в четвертый побег он показывается на другого каторжного, и выигрывает несколько десятков плетей и 20 лет работ вместо бессрочной каторги. Он опять пошел в каторгу, но ему всего 28 лет; он высок ростом, хорошо сложен, в полной силе и необыкновенно здоров; наверное, он еще несколько раз убежит. «Я не хотел жить 20 лет в руднике раньше, неужели я теперь останусь!» – говорил он самонадеянно. Другие, пройдя два раза в бродяжестве, теряют всякую надежду выжить срок, и им один выход – бегство. Беглый с заводов Данила Н., 50-ти лет от роду, приговорен за второй побег к 50 плетям и 18 годам каторги; хилый и забитый, он не надеется прожить до 68 лет и обещает уйти, желая попользоваться хоть годом какой-нибудь свободы. Есть такие, которые, будучи сосланы на долгую каторгу, удачно показываются на непомнящих и идут на четыре года в завод, но иные и этих лет не хотят отработать. Остальные, сосланные за одно бродяжество, говорят: «За что нас на заводы – разве мы преступление сделали? Неужели мы за простокишу работать станем?» Все бродяги прошение милостыни, или, иначе, простокиши, во время бродяжества считают слишком невинным занятием, чтобы идти за это на каторгу. Таким образом, попавшие на заводы прямо выходят на дорогу вечных бегов и вечного бродяжества. Есть такие, у которых руки, лопатки и лицо покрыты клеймами, означающими число побегов, доходящих до значительного числа. Один молодой бродяга рассказывал мне, что он шел с 75-летним стариком, который бежал с каторги 18-й раз, и каждый раз неудачно.

В бегах есть переменяющие свои имена бесчисленное число раз, но есть и ходящие постоянно под своим именем, не желая переменить крещеного имени, неся самоотверженно ответственность за всю свою жизнь. Есть нередко бродящие по 40 лет и более, которые хотели бы в конце открыть свое происхождение и всю свою жизнь, но справок никаких не оказывается, и они судятся непомнящими. Таким, например, судился 63-летний старец, бежавший в 1864 г. из Петербурга от помещицы, о котором я упомянул. Вечный бродяга перенесет много бед; он бывает избит розгами, шпицрутенами, плетями, кнутом и обезображен клеймами. Нередко приходят из бегов совершенно искалеченные. Так, в больнице при мне лежал арестант бродяга Деревягин; в его медицинском свидетельстве значилось: на спине следы кнута и шпицрутенов, на ягодицах знаки розог и плетей, на спине клейма, на руках клейма, на лице клейма. Он был худ, как щепка, ходил с костылем, желт и со впавшими щеками. Скоро я узнал, что он был выписан из больницы, и, как бродяга каторжный, наказан 60 плетями, и сослан в каторгу.

Все сказанное о каторжных на рудниках и казенных приисках можно отнести и к заводам и к арестантским ротам с той разницей, что с заводов уйти удобнее. На заводе жизнь хотя легче, чем на руднике, но все-таки тяжела и вызывает бегство. Тяжесть работ и скудное содержание почти одинаковы. На большей части заводов, рассказывают бродяги, отпускается два с половиной фунта хлеба на день да 1 руб. 10 коп. в месяц на приварок; из этого же приходится заводить и одежду. Надобно заметить, что на работах, например, в солеваренном заводе, все необыкновенно скоро носится и трухнет: приходится одежду брать вперед и потом отрабатывать за нее. Живут здесь и терпеливо сносят работы разве только женатые; остальные немедленно уходят. Один из беглых сообщал мне, что в один год с января по июнь ушли раз 1800 человек с завода. По собранным све-

днем г-ном Шелгуновым, оказывается, что Нерчинский завод считал за 10 лет бежавшими 4299 арестантов, которые все скитаются по Сибири. В 1851 г. было на нем сосланных 3992 человека; из них находилось налицо 1127 человек; бежавших на этом заводе приходилось 109 % (78).

Строгость содержания не влияла да едва ли повлияет на искоренение побегов: трудно удержать решительного человека опасностью, а таких людей много между важными преступниками. Есть особенные искусники и люди изобретательные, которых ничто не удержит от побегов; так, известен теперь в Сибири сосланный солдат, прославившийся в Ярославле убийством часового и уходом из секретной. Он еще не доходил до каторги. К характеристике этой неглупой, между прочим, личности нужно прибавить, что он судился семнадцать раз и ни разу не был наказан в Сибири, а все скрывался до приведения в исполнение конфирмации и сидел каждый раз под новым именем. Он ушел из томского острога, переодевшись служителем больницы; сидя в Каинске, он сделал подкоп; из Омска он ушел, выехав из острога в бочке с нечистотами из ретиратов. Ушел в июле 1867 г., в феврале нынче опять взят. В семь месяцев его четыре раза ловили, и четыре раза он уходил из тюрем. На днях его уличили в делании фальшивых ассигнаций в секретной.

Самое строгое содержание, конечно, в арестантских ротах и острогах: здесь все под замками; кругом штыки и тесаки; здания окружены каменными стенами и высокими палями; в работы ходят с конвоем, но... и здесь побег — постоянные. Легко найти случай подпоить конвойного, обмануть его, изредка подкупить, а то и убить. В острогах для побегов употребляется много способов, да едва ли их можно и предвидеть: за открытием старых являются новые. Недаром тысячи арестантских голов работают целую жизнь днем и ночью, помышляя о побеге и воле: не только сделать подкоп, перекинуть веревку, перепилить решетку, но даже умудряются пролезть в решетку, оставляя часто

на бесчувственном и неподатливом железе свою кровь. Бегут на риск, с опасностью жизни.

Я никогда не забуду эпизода, виденного мной в этом роде. Из острога задумали бежать два арестанта. Это были два сильные и отважные парня 23 и 25 лет. Они должны были идти на каторгу и хотели избавиться от нее бегством. Утром, когда арестантам были отворены двери для получения пищи, они вышли на двор. Один из них взял кисть и ведро белильщика, а другой подставил лестницу к стене; забравшись на нее, они маневрировали на ней как белильщики; лишь только часовой отвернулся, они успели спрыгнуть за стену; однако их увидели с верхнего этажа; поднялась тревога. Из острога кинулись в погоню, поскакали верхами надзиратели; острог загудел: по коридорам шла поверка и беготня. Арестанты прикинули к решеткам окон и, переговариваясь, стали смотреть на результаты поисков. Из окон, как на ладони, было видно поле и лесок, куда скрылись бегущие. Внимание арестантов было жадно приковано к полю. Многие изъявляли сочувствие; только знатоки дела качали с горькой досадой головой, говоря: «Эх, не так! кто же утром!.. эх!» и т. п. После тревожного ожидания скоро показалась из-за кустов группа солдат; видно было, как поднимались и опускались приклады. Увидя это, острог завыл; вопли и брань огласили его, и арестанты в бессильной ярости потрясали решетками. Беглецы шли, окруженные, то падая, то снова поднимаясь на ноги, но, не пройдя нескольких шагов, снова падали. Бежавшие не могли уйти: один, увидя погоню, сам вышел навстречу; другой мчался, как ветер, до леса, но его настигли на лошадях. Началась расправа; солдаты действовали по старой традиции, как их ни удерживали: их обуяла злоба¹. Говорили, что два приклада и ружейный

¹ Прежде солдат сам жестоко платился за побег арестанта: его прогоняли сквозь строй. Ныне это отменено, и это было благодеянием для арестанта: солдаты прежде вымещали свои шпичрутены на нем.

замок были сломаны об этих людей. Скоро беглецов ввели в нашу больницу. Один из них, парень атлетического сложения, был наполовину трупом. Пробрала дрожь от этого зрелища: тогда я еще не привык видеть кровь. Живейшим участием окружили их арестанты: к ним прилагались заботы, как к родным страдающим; всякий подходил и качал головой: может, каждый думал, что и ему придется испытать то же. Так платятся люди за призрак свободы!..

Вслед за каторжными к бродячему люду нужно отнести поселенцев. Причинами побегов ссыльных с поселения служит неестественное положение в месте ссылки – гнетущая тоска, вторичное преступление и желание избежать наказания, наконец, бедственное экономическое положение. На поселения ссылаются или прямо из России, или выходят туда с заводов и рудников по пробитии сроков. Как те, так и другие, и по своему характеру, и местным условиям труда, мало были склонны к нему, как и к оседлости. Нечего говорить, что значительная часть из ссыльных – люди испорченные; многие и здесь не оставляют своих прежних преступных профессий, делают новые преступления и бегут от наказаний. Какие элементы содержит ссылка, видно из того, что большинство судится за воровство; опубликованные сведения тобольского приказа о ссыльных с 1854 по 1859 г. это ясно указывают (Тобольские губернские ведомости. 1859 г. № 28–31). Второе место за воровством принадлежит бродячеству.

Ссылное население в Сибири ставится вообще в дурные условия. Явившись в другую местность и в другую среду, ссыльные не могут найти тех занятий, которые имели на родине и которые часто становятся им ненужными или не требующимися в новой стране: это зависит от разницы в экономической и социальной жизни между Сибирью и Россией, наконец, от разности их развития. Сибирь по преимуществу страна земледельческая, а потом скотоводческая и горнопромышленная. Она – производитель-

ница самого грубого сырья; для добывания этого сырья из недр природы требуется труд по большей части физический, – нужно пахать, боронить, ходить за скотом, копать землю на приисках и т. п. В городах ремесла и заводская промышленность стоят на низкой степени развития, и цивилизованные потребности жителей крайне ограничены. Россия же в значительной части своих губерний страна мануфактурная в сравнении с Сибирью; в ней более заводов и фабрик; ремесла наиболее развиты; разделение труда сильнее; функции его многосложны, а потому население переходит от труда грубого и валового к более легкому и изысканному. Таким образом, какому-нибудь мастеру или работнику с бархатной, суконной, хлопчатобумажной или сахарной фабрики нет возможности в Сибири найти обычное занятие, и он принужден заняться каким-нибудь непривычным трудом, например, идти в работники к мужику или наняться на прииски. Ремесленник, сосланный в деревню, становится в самое неестественное, стесненное положение. Многие из поселенцев не привыкли ни к какому физическому труду, бывши на родине приказчиками, торговцами, половыми, лакеями, актерами и т. п. Таких значительная часть; наконец, в Сибирь является много народу, который снискивал средства к жизни разными предосудительными способами, – игроки, шулера, контрабандисты, фальшивые монетчики, артисты-воры и проч. Все эти люди, переселенные в страну, где необходим физический труд, усиленное прилежание, настойчивость в преодолении препятствий, представляемых девственной природой, в жизни делаются совершенно несостоятельными. Люди, явившиеся без имущества, пролетарии, большей частью бобыльные и одинокие, притом поставленные в своих правах ниже крестьянства, они совершенно теряются, кидаются в плутовство, мошенничество, обирание местного населения разными уловками и обманом и, наконец, идут скитаться по острогам. Должно сказать, что к числу невыгодных обстоя-

тельств для поселенцев явился промышленный и буржуазный характер сибирского общества, охватывающий даже крестьянство, которое стремится закабалить работника. Поселенец, как человек продувной и нелюбящий труда, старается, в свою очередь, надуть крестьянина и поживиться на его счет. Оттого возникает между крестьянами и поселенцами антагонизм, переходящий в ненависть. Крестьянин считает поселенца *варнаком*, человеком, способным на всякое преступление и надувательство, тунеядцем, сидящим на мужичьей шее. Сибирские крестьяне создали пословицу: «поселенец, что младенец, на что взглянет, то и стянет». Поселенец, в свою очередь, презирует мужика, переносит на него ему же данное название *чалдона*, видит стремление крестьянина эксплуатировать поселенца, а потому считает дозволительным, в свою очередь, обирать и обкрадывать его, добродушно называя это *ученьем сибиряков*. Ненавидя место ссылки, поселенец всегда старается вымещать свою злобу на жителях. «Панкрутить» сибиряков, как выразился нам один поселенец, их любимое занятие. Из всех виденных нами поселенцев мы видели только одного, много – двух, которые еще находили Сибирь хорошей и удобной для жизни страной, да и то один из этих хваливших был уже бродяга: он бежал в Россию, чтобы повидать родных; остальные поселенцы не могут иначе смотреть на все сибирское, как с ненавистью.

По этому можно судить, как относятся большей частью поселенцы к местному населению. Само собой разумеется, что вечная борьба с опасностями, страх кнута и плети, голодная и холодная жизнь не особенно благоприятствуют добродетельной жизни поселенцев. Жестокость наказания, имеющая в виду утратить и исправить преступника, приводит к противоположному результату: она ожесточает его еще более... В Сибири большая часть преступлений делается ссыльными и под их влиянием; по крайней мере, так отзываются многие из следователей.

Остроги содержат всего более за преступления бродяг и поселенцев. Наконец, та безнравственность, разврат, плутоватость и даже наклонность к разбоям, которые вошли в нравы и характер сибирского крестьянства, совершенно объясняются влиянием штрафной колонизации. Значительная часть холостых переселенцев, являющаяся в деревнях, не может не понизить уровня нравственности и не отразиться на семейном быту крестьян. По городам, куда являются разные артисты плутовства, не могут не возникать преступления и безнравственность. Из полицейских отчетов видно, что в сибирских городах за пьянство, буйство и проч. попадаетея в полицию больше всего поселенцев (Томские губернские ведомости. 1865 г.). Часто в городах вдруг появляется новая профессия воровства, как например, срезывание часов, прежде невиданная: ясно, что появилось какое-нибудь новое лицо. Докапываются, открывают: оказывается, что это только что прибывший из Москвы карманник, явившийся на поселение и только что выпущенный из острога. Полицейская практика в Сибири может много представить этому примеров. Этим дурным влиянием поселенцев объясняется и та вражда и ненависть в сибирском населении, которую питают к ним. Слово «поселенец» здесь имеет самое дурное значение. Вражда против нештрафного населения выразилась еще более у крестьян в преследовании бродяжества. Только самая малая часть начинает жить в стране ссылки оседло, обзаводится хозяйством и питается трудом. К таким относятся преимущественно женатые и только те люди, преступление которых не предполагает в них крайней испорченности и было следствием порыва и чрезвычайных обстоятельств. Только ремесленники, работники и трудолюбивое крестьянство из сосланных делаютя на месте ссылки производителями. Для этих людей Сибирь, по обилию земель, по девственности, нетронутости природы, по малонаселенности и потребности в ремесленниках, со-

ставляет клад: многие акклиматизируются, богатеют и не нахвалятся страной. Даже каторжные, выходя с заводов и вздумавши заняться трудом, преобразуются в капиталистов. В Восточной Сибири есть несколько купеческих домов происхождением из бывших каторжных. Подобные ссыльные говорят: «Сибирь что хаять!.. Сибирь земля хорошая, богатая: она всех накормит». Крепостные крестьяне считали поселение сюда благодеянием, но таких людей из поселенцев, конечно, весьма немного, и, при всестороннем взгляде на влияние ссылки, должно принимать их как часть к целому. При исправительном влиянии ссылки на некоторых нельзя упускать из виду порчу, вносимую неисправимыми в среду здорового общества. Люди испорченные, тюремные пташки (*les oiseaux de prison*) совершенно другого взгляда на место ссылки и на труд. Такие люди предпочитают тунеядствовать и мошенничать. Они страшатся тяжелого труда, и особенно не любят сохи, т. е. того, чем живет теперь сибирское население. Они предпочитают ей прииски, потому что здесь, получивши задатки, они могут погулять; тут они ведут наполовину каторжную, наполовину разгульную жизнь. Все, что летом скопляется усиленным трудом, осенью проматывается. Выходя с приисков, эти люди, грубые и безнравственные, вносят в жизнь страшный разврат, и за деньги они покупают все, соблазняют, безобразничают, буйствуют. Чтобы видеть, какой производят они содом, надо взглянуть на города Сибири, сосредоточивающие золотопромышленность. Быстро прокутившись, они часто до весны и новых задатков пускаются в преступления. Такая жизнь, то тяжкая и каторжная, то разгульная и безнравственная, конечно, еще более способствует растлению поселенца. Ходя в тайгу на прииски и часто бегая оттуда, они привыкают бродяжить по Сибири и окончательно делаются бродягами на всю жизнь. Они идут часто из-за тунеядства, из-за голода, от подати, от наказаний за совершенные преступления. Впе-

реди поселенец не боится острога: он прошел его горнило, а это много значит; в нем он провел значительный срок во время следствия и суда на родине; он шел в Сибирь по этапам, перебивал в нескольких острогах, втянулся в острожную жизнь и сделался гражданином ее. Проводя здесь время в праздности, в игре, свыкшись со средой удалых и буйных добрых молодцов, напившись их рассказами, наконец, изучивши их профессию мошенничества, он привязывается даже к этой жизни. У поселенцев есть пословицы: «Кому острог, а нам дом»; «Кто острожного хлеба поел, того к нему и тянет»; «Что нам Сибирь! Дальше солнца не ушлют, а Сибирь мы видали». Во всем они показывают довольно легкое отношение к острогу, даже в названиях; потому для поселенца он потерял устрашающий характер, и ему нечего бояться попасть сюда. Кроме того, к бродячеству вызывает поселенцев их стесненное гражданское положение, неполноправность, бедность, являющаяся вследствие перемещения и нового положения в стране, непривычки и неустройства. Ко всему этому поселенцу, приписанному к волости и живущему в деревне, выпадают на долю часто притеснения: как лицо сосланное и обязанное приобретать еще права крестьянина, он принужден быть меньшим членом крестьянской семьи; он не имеет голоса и часто принужден повиноваться безусловно местному обществу, которое его иногда обделяет. Нередко встречаются жалобы, что крестьяне отводят ему неполные и дурные участки. В деле суда и расправы сибирские крестьяне пристрастны и более протезируют своим, чем поселенцу. В отношении предложения труда поселенец терпит большое затруднение, так как у крестьян репутация поселенцев подорвана: крестьяне вновь пришедшего не возьмут, «потому что кто его знает, кто он такой»; есть места, где не берут поселенцев в работники даже из-за хлеба. Наконец, на поселенца обрушивается всегда более подозрения в случае совершившегося преступления. Все это

стеснительные стороны поселенческого быта. К причинам, затрудняющим оседлость поселенца, должно отнести и другие препятствия: так, поселенцам 3-го разряда прежде воспрещено было вступать в брак ранее пяти лет ссылки, а ныне ранее трех лет; бобыльная, одинокая жизнь, таким образом, тоже способствовала бродяжеству и не привязывала человека к местности. Сплошь и рядом мелкое начальство не выдает поселенцам паспортов с прихода их, что затрудняет их в выборе местностей для труда. Затем на обзаведение поселенца всегда имеет влияние дороговизна хлеба и вообще съестных припасов. Поселенцы всегда справляются, идя на поселенье, почем хлеб в такой-то и такой-то губернии. Самая страшная в этом случае губерния – Иркутская, где хлеб доходит до 2 руб. и даже был 2 руб. 80 коп. Ссылные говорили, что раз, во время прохода партии по Забайкалью, они принуждены были платить по 7 коп. серебром за фунт черного хлеба. Понятно, как тяготятся этим переселяющиеся. При дороговизне хлеба крестьяне мало их принимают и в работники – и вот голод является естественным побуждением питаться милостыней, которая легко приобретается в бродяжестве. Иркутская губерния, как самая неблагоприятная в этом отношении, вызывает и более бегств. Если бы можно было уследить и измерить поток бродяжества, и особенно поселенческого, то можно было бы увидеть колебание цифр бродяжества в прямой зависимости от поднимающихся цен на хлеб. Что ссылные на поселение мало утверждались оседло в Сибири, это можно видеть до сих пор на населенных ими волостях, точно так же, как и то, какую они здесь испытывают бедность. Известно также, что пробовали селить их с особенной заботливостью по тракту в Восточной Сибири, строили им дома, давали скот и предоставляли им готовое хозяйство, и известны также те непривлекательные результаты, каким подверглись эти колонии: поселенцы разбежались. В значительной степени

тут, конечно, участвовал личный характер ссыльных. До сих пор еще в некоторых волостях Восточной Сибири существует обыкновение строить дома для поселенцев, куда они являются гуртами; но и это не помогает им при нежелании производительного труда с их стороны. Как мало способны они к гражданственности, можно судить по тому, сколько их находится на местах приписки. Волостные писари и крестьяне говорят, что их не более одной пятой, много четверти налицо из того, что присылается; остальные в разброде, а больше в бродяжестве. То же подтверждают и сами поселенцы: они показывают, например, что в Черемховской волости Иркутской губернии и уезде на 3000 крестьян приписано 5000 поселенцев, но едва ли на самом деле их найдется 300: остальные бродят или живут в Иркутске и на приисках. Поселенец Тобольской губернии из деревни Красноярской, как старожил, заметил, что на 100 крестьян несколько лет тому назад было у них 180 человек поселенцев, ныне же только 16, – остальные повымерли, а другие в бегах и отлучках. В городе Ишиме из 600 приписанных поселенцев, как говорят, едва 100 найдется налицо. Жизнь поселенца совершенно особенная в деревнях. Они нанимают иногда человек 10 одну избу: у них одно ведро, один зипун, и они по очереди ходят по улице; сидят они в деревнях больше по кабакам, оборванные, пьяные, подбитые, а работать не идут; жизнь неприглядная и ничего не дающая для места их нового поселения!.. Есть и еще один стимул, вызывающий поселенца бежать с места поселения, который обойти мы не можем: это – любовь к родине. Как ни трудно, но большая часть ссыльных желает повидать ее. Это вечно теплящаяся любовь даже в самом грубом сердце постоянно влечет его к тем местам, где протекли его лучшие дни, где он оставил все родное, любимое и, наконец, свое счастье. Ему грезится всегда его земля с родными дубами, с широкой Волгой или Окой, с красивыми городами и золотыми куполами;

он мечтает о ней, как изгнанник, и вот он добивается дойти до нее всеми средствами, несмотря ни на какие трудности. Все они попадаются – самое дальнее – на границе Тобольской губернии с Пермской, но они все-таки идут, и трепетная надежда авось дойти не покидает, несмотря на несбыточность мечты. Я видел много таких пробиравшихся, и редко кто из них обращает внимание на практическую сторону своей задачи: все они руководствуются только инстинктом бродяги. Иногда без всяких особенных вынуждающих обстоятельств идет поселенец из одного того, что он в ссылке. Такие часто встречаются, как говорят сами бродяги. «Да из-за чего ты бежал?» – спрашивают его. «Да как же! – отвечает он, – меня *навечно* на поселенье сослали». Все их песни наполнены жалобами на одиночество: «...мальчишки в чужой, дальней стороне».

Непривлекательна таким людям Сибирь; не свыкнутся они с ней; она всегда для них останется страной изгнания, страдания и наказаний; им не приглянутся ее пространства, ее крепкие леса, девственная природа, требующая титанического труда для успешной борьбы с ней, – не приглянутся, потому что они не пришли свободно создать себе здесь благосостояние, а пришли поневоле, нехотя, на муку и испытание. Не таким людям суждено заселить и обработать Сибирь!

После поселенцев в бродячем люде является более всего дезертиров и рекрутов; они здесь скрываются под именем «не помнящих родства». Все они стремятся обойти службу и выйти, по крайней мере, «на вольное поселение», но поступают в общий ссыльный водоворот и проводят жизнь только бродягами и каторжниками. О побегах из войск известны следующие официальные цифры. В 1856 г. бежало в России 4294 человека, в 1857 г. – 5791, в 1858 г. – 5168, но цифры прежде были несравненно крупнее. Обыкновенно перемещение бродяжеств с российской почвы в Сибирь как дезертиров, так и свободных сосло-

вий делается путем юридическим. Беглые из полков или чем-нибудь побуждаемые крестьяне переходят в России из одной губернии в другую, и взятые здесь за беглецов, за необъяснение звания, отправляются в Сибирь на поселение; с поселения они немедленно уходят и продолжают бродить по Сибири уже более безопасно.

III. Путь бродяг

Если мы окинем взглядом большую сибирскую дорогу от большого Нерчинского завода до границы Пермской губернии, á vol d'oiseau, то увидим целые массы народа, снующие по ней группами в 10, 20, а иногда и 40 человек. Растянувшись по дороге, они то обгоняют друг друга, то отстают, то группируются на мельницах, на заимках, на пашенных избушках, то разбиваются и парами расходятся по деревням, лежащим близ тракта. Это – сибирские бродяги. Они идут большим трактом как кратчайшим путем, идут и проселками по правую и левую сторону дороги, заворачивают в сторону, кружат по деревням и снова выходят на большую дорогу. Некоторые пробираются тайгами, где прямее, некоторые плывут реками; но у всех у них, несмотря на запутанность пути, одно направление; они все стремятся достичь Иркутской губернии, по преимуществу Забайкалья. Поток их направляется на запад, к России; по пути он увеличивается притоками новых беглецов с разных заводов и поселения. Войдя в Иркутскую губернию, они стараются выбраться на большой тракт: здесь идти вольготнее, только местами приходится проходить тайги. Сухим путем они проходят Енисейскую губернию, обходя город Красноярск, а в Томской губернии разделяются: одни идут от Ачинска прямо к озеру Чаны и, минуя большой тракт, проходят южными округами подзаводских кре-

стьян; другие идут на Томск; затем направляются к северу на Тюкалу, на Ишим, на Ялуторовск, Камышлов или Шадринск, к границам России. Здесь дорога для бродяг становится небезопасной: в Тобольской губернии их уже чаще ловят; здесь им особенно опасны два округа – Омский и Тарский; а в Пермской губернии они должны совершенно скрываться и идти ночами. Перевал через границу Тобольской губернии составляет самое важное затруднение, а потому некоторые идут на Ирбит, на Пелым и затем через Урал тайгой и бесследными местами к Чердыни; другие заходят еще севернее, к самому Березову, переходя пустыни на лыжах; иные проходят изумительные пространства – тысяч по сорока верст! Необозримые сибирские пустыни не останавливают страстного желания бродяг побывать на родине; вечные скитания знакомят их до того подробно и отчетливо с местностью, что некоторые из них пересчитывают наизусть все станции от Забайкалья до российской границы, знают все деревни и деревушки, через которые следует проходить. Они точно знают, где приходится, для безопасности или удобства, идти непроложенной дорогой и тайгами, где – через деревни и даже города: везде у них есть свои приметы, зарубки и надписи.

Громадный путь бродяг по местам, часто пустынным, конечно, полон трудностей, бедствий и неудобств всякого рода. Уже выходя с завода, они начинают терпеть лишения; что же приходится им испытывать, когда они проходят громадное пространство по Забайкалью? Здесь само народонаселение старается всеми средствами затруднить путь бродяг; буряты с особенной охотой занимаются этим. Поэтому беглецы здесь пробираются тайгами; редкому из них не придется поголодать суток трое, четверо, а иногда даже и больше; в деревни заходить нельзя; приходится пробираться стороной, чуть не ползком. Но самый трудный переход – кругом Байкала, длиной в 350 верст. Ныне, после проведения дороги, он стал несколько легче для обык-

новенных путешествий, но не для бродяг: им осталось тут еще немало обходов по местам пустынным и таежным; особенно досаждают им речки Снежная, Бумажная и другие горные потоки, быстрые и капризные, прыгающие по камням и представляющие весьма серьезные затруднения при переправе. «Как перебраться на другой берег?» – думает бедняга... и вот сооружается самодельный плотик и кое-как, палкой или доской, переводят его на другой берег; бывают и такие смельчаки, что кидаются вброд; а то употребляются и другие способы: рубят, например, слегу и перебрасывают на выдавшийся камень; переберутся по этой слеге, утвердятся на камне, – затем слега перебрасывается на следующий камень и т. д., но при этом малейшее неосторожное движение – палка повертывается, и смельчак летит в воду; он погибает наверное: стремительность потока не допускает сопротивления; упавший быстро несется к устью, а затем и в громадное озеро. Много жертв унесли эти речки: недаром бродяги с тоской и страхом вспоминают о трудностях кругоморской дороги:

Обойдем мы кругом моря,
Половину бросим горя. –

поют бродяги. Зимой переход делается через замерзший Байкал. Этот переход не раз уже был описываем: мы не будем много распространяться о нем. Идут 60 верст и более по голому льду, под ветром и часто буранами. Представьте себе этого путника среди ледяной пустыни, нищего, в оборванном армяке, шагающего посреди ветра, подавляемого и шириной пространства, и стихийными силами озера! В дальнейшем пути бродягам нередко приходится идти дикими урманами (79), а часто и плавиться водой. Последний путь многие избирают, несмотря на его опасность. Пускаются по Ангаре, вниз до Енисея, по Бирюсе и по Кану. Для плавания иногда крадут и угоняют кре-

стьянские лодки, а за неимением их делают плоты, кое-как скрепленные; плавают на них группами в 10, 15 и 25 человек. Встречающиеся пороги на Кану и Ангаре обходят пешком, тайгой; но более смелые пускаются на плотях и через пороги, надеясь провести их. Такой плот, кинувшись в водоворот, кружится и уносится с невероятной быстротой, погружаясь иногда совершенно в пенящиеся волны, и выкидывается на поверхность далеко за порогом. Такое плавание редко обходится счастливо: удар о камень полагает конец земному странствованию бродяг.

– Бежали мы, видишь, шестеро из тайги с прииска, – говорил мне один бродяга. – Вышли мы на маленькую таежную речку, что в Енисей впадает, срубили плот и отправились; был у нас хлеб с собой запасен и огонь горел на плоту. Плыли мы с баграми дня два; наконец, начали к устью подплывать, только не можем с плотом справиться: так его и относит. Раз поднесло к самому берегу: «Ну, – думаем, – конец»; выкинули мешки на берег, хотели было за тальник схватиться, а плот-то как двинет о берег, мы попадали; глядь... а нас опять отнесло. Что тут делать? В мешках у нас и хлеб лежал, а тут в реку прет. Один товарищ пробовал веревку с петлей накинуть на тальник, как поравнялись с берегом; накинул, схватился за веревку, а плот как повернется, свернулся бедняга и бух в воду... Смотрим, нас отнесло, а его и следа нет; так и ушел ко дну; царство ему небесное! Вынесло нас в Енисей на средину реки. Несет день, два; голод нас стал пробирать, холод, мокрота. «Господи! что это, – думаем, – будет». На плоту мы огонь кое-как все поддерживаем. На третий день голод нас стал еще хуже мучить: пьем воду – тошнит; кору едим – тошнит... а тут плот прогорел, вода заливается; думали – потонем. Ходим мокрые, иззябли, околоченели все; пятый день плывем; пусто; кругом вода, и к берегу не подносит. Как мухи, слабы стали; ползаем по плоту; а иной омертвел и язык отнялся. Наутро в шестой день увидели

мы людей на берегу; заревели мы лихим матом: «Спасите, православные христиане!» Видим, на берегу человек стоит в белой фуражке и в пальто, подле тарантас. «Кто вы такие?» – кричит нам. «Беглые, – говорим, – бродяги: спасите!» – «А, так откуда плывете, туда и ступайте», – говорит. Плот пронесло; беспомощные мы остались; отчаянность на нас напала; упали мы, начали каяться, к смерти собираться. Только в седьмой день к полудню нас поднесло к берегу; так плот в песок и врезался. Вышли мы на берег, казаков услышали, пошли к деревне, а нас тут в белой шапке барин-то и встречает. Это был сам исправник. Упали мы в ноги. «Возьмите нас, – говорим, – ваше благородие: с голоду пропадаем». Разобрали нас в те поры мужики, обогрели, накормили. Так ведь что: с первого-то раза, облопавшись, мы чуть не умерли!

Переходы пустынь и лесов также не без трудностей, например, путь из Охотска в Якутск по местам гористым, диким и совершенно безлюдным, вдали от дорог и жилья. Путешествие по этой дороге продолжается по сорок суток, в одиночестве и совершенной пустыне, покрытой туманами, посреди утесов или извилистых, переплетающихся речек. Плутать приходится сплошь и рядом. Впрочем, проходы по тайгам в 260, 400 верст нередки: к ним совсем привыкли бродяги.

– Тайгой мы часто ходим, – рассказывает бродяга, – кто знает сноровку, ничего... я сколько раз хаживал. Запасешь хлеба пуд и валяй... Мошка только одолевает. Где тропинки расходятся, смотришь, приметы: наши же делают... зарубки на дереве, хворост сложен, али углем на лесике написано, куда идти. Знающему человеку из лесу можно выйти; смотри, где *полдень* – раз по ветвям; также где кора на лесиках трескается и по муравьиным кучам у корней: все это на полдень; мхом деревья обросли – к полуночи; ночью по звездам смотри, а еще лучше, коли имеешь *матку* (компас). Хлеба не достанет, – ягоды, ди-

кий лук едим, колбу, осолодковый корень, белоголовник, травку-то часто по бродяжеству варить в котелке приходится... А зверь?.. нашего брата зверь не тронет. Его, действительно, в тайге много, да он смирен: посмотрит из-за куста и пойдет в сторону.

Но если бродяги и не идут тайгой, то им все-таки встречается не меньше неудобств и препятствий: здесь, проходя кратчайшим путем в деревню, бродяга попал в трясину, там, когда переплывал через речонку, у него унесло узелок с платьем, и он остался голый в степи. Таких прорух и приключений множество. Жизнь бродяг представляет много опасностей уже потому, что она ничем не гарантирована: он легко может быть обобран и даже убит как своим братом-бродягой, так и крестьянином; от того он боится идти с незнакомым путником и встречи в поле с крестьянином постоянно пугается. «Бродяжить – надо каждого куста бояться», – говорят бродяги; ему не удастся даже хорошенько спрятаться, потому что кружащиеся вороны указывают место, где он скрылся, и это вошло в примету у крестьян. «Воронье войско нас знает», – говорят бродяги. Только по широкому сибирскому тракту идут они спокойно, хотя, как дальние и нищие пешеходы, неприглядно. «Эх, кабы вы видели, любезный господин, как мы с туязками да котомками по дороге идем, – говорит бродяга, – лоскут на лоскуте... кто без рубахи, кто без сапог... посмотреть – ровно трубочисты; с собой ничего – кругом *Иван Иваныч*. Другой по дороге зимой лупит в сермяжонке, сеном обернувшись, так что держись. Заткни перо – полетит. От нас за три весты дымом несет; как пройдем по деревне, – три дня собаки лают. Эх вы! *Петухи поют, собаки лают – деревня близко!*¹ прибавь шагу».

Картину обдерганных, почернелых сибирских бродяг, вероятно, случалось видеть каждому проезжавшему по Сибири. Идут бродяги массаами по дороге; их никто не

¹ Бродяжеская поговорка.

останавливает: идут и по деревням свободно, в отрепье, без рубах, в арестантских халатах с тузами, иногда с бритыми головами. Все они одеваются милостыней; к ним привыкли. Бродягам незачем даже скрывать, кто они такие: они прямо называют себя «прохожими». Встречается иногда с ними заседатель, – застанет их в деревне просящими милостыню около окошек, подзовет к себе. «Кто вы такие?» – спрашивает он. «Бродяги, ваше благородие», – отвечают ему спокойно. «Как же вы смеете ходить тут?» – «Куда же нам деваться, ваше благородие? Ведь надо же что-нибудь есть; куда же мы провалимся!» Посмотрит, посмотрит заседатель, махнет рукой да и поедет дальше. В самом деле, куда же деваться человеку? Взять его в острог... он, может быть, сам давно туда напрашивается. Да и что толку, когда такого народа не оберешься!

Так валят бродяги; отдыхать по балаганам, лачугам, а чаще всего в деревенских банях. Иногда, особенно зимой, подъезжая к деревне ночью, можно видеть, что все бани дымятся: это расположились бродяги на ночлег. Крестьяне охотно дают приют этим странникам и смотрят на них снисходительно, пока они безвредны; крестьяне любят слушать бродяжеские сказки и прибаутки. Эта идиллическая сторона бродяжества занесена даже в одну из новейших их песен:

Обойдем мы кругом моря,
Половину бросим горя.
Как придем мы во Култук, –
Под окошечко стук, стук.
Мы развяжем тарбатейки,
Стрелять станем саватейки.
Надают нам хлеба, соли,
Надают и бараболи.
Хлеба, соли наберем,
В баньку ночевать пойдем.

Тут приходят к нам старые
И ребята молодые
Слушать Франца-Веньциана,
Про Бову и Еруслана.
Проводить ночь с нами рады,
Хотя пот течет с них градом;
Сибиряк развесит губы
На полке в бараньей шубе¹.

В банях и разных избушках проводят бродяги зиму: это – самое трудное время для них; но прошла зима, засветило апрельское весеннее солнце, затаил снег, пахнуло теплым воздухом, показались из-под снега зеленые прогалинки – и, как весенние вереницы птиц, вылезли и потянулись по дорогам закопченные бродяги. Поэтому лето для бродяг имеет много привлекательного: природа и жизнь улыбаются, дрожь от холода не пробегает по телу, и мягкий нежащий воздух ласкает и грудь, и истомленные их лица. Они собираются компаниями, набирают хлеба, складываются деньжонками, покупают водки, украдут барана или поросенка в деревне, – и около костра в лесу завязывается пир, слышится шумное веселье, и дребезжащая бродяжеская песня разносится далеко вместе с вьющимся дымком из-за кустов.

Такая жизнь представляет много привольного, в особенности для арестанта и каторжного. Свобода... никаких повинностей и труда... праздное препровождение времени, готовая пища и разнообразие пути охватывают человека, и он скоро привыкает к кочевой жизни, как цыган. Бродяги также зовут себя «полевыми дворянами», как и цыгане. Полевая жизнь становится для них тем привлекательнее, чем чаще они мечтают о ней в остроге. На бродягу раздражительно действует и травка, и березка, и пение кукушки, и все, что говорит о пробуждении природы; недаром они

¹ *Тарбатейки* – бродяжеские мешки, *стрелять саватеек* – просить милостыню, *бараболы* – картофель.

сложили поговорку, что кукушка зовет их в поле. Однако ж не следует увлекаться и воображать, что одна поэзия леса и поля вызывает людей к бродяжеству. «Правда ли, что кукованье кукушки подстрекает некоторых бежать с заводов?» – спросил я раз опытного бродягу. Он только улыбнулся. «Это только наша поговорка-с, – сказал он, – с заводу заставляет бежать тяжелая работа да плети. Что тут кукушка!» Конечно, это был самый умный ответ.

Невесела жизнь бродяги и на воле. Тянется она, горькая, бездольная, нищенская, страдальческая, тянется целые годы без конца. Приедается донельзя эта бесконечная дорога, это вечное странствование, вечные побег и вечные опасения за свою свободу. Как печальна жизнь бродяги, так печален и конец его. Пробираясь в страшную непогоду, под действием весенних и осенних ливней, среди болот, переправляясь через разлившиеся озера и реки, бродя зимой в сильные холода и морозы в худой одежке, обмораживаясь и простужаясь, бродяга часто хворает, – и вот больной и холодный он тащится по тайге, нередко в лихорадке или с началом тифа; едва-едва добирается до деревни и просится к мужику в баню, куда с неохотой принимают его. Здесь на полке в одном кафтанишке, без всякой помощи, лежит он в бреду; изредка разве наведется боязливый хозяин узнать, не умер ли бродяжка, да сердобольная хозяйка приведет знахарку, чтобы вспрыснуть с уголька. Принять-то его примут больного, но, опасаясь его смерти, стараются поскорее сбить волостным властям: кому охота быть в ответе; впрочем, и сам бродяга в случае болезни норовит явиться в волость, где и просит взять его. Счастье, если он может дотащиться до деревни, где мужики дадут ему приют, но часто болезнь застаёт его в поле; кое-как добредет несчастный до одинокого балагана, где продувает со всех сторон, и лежит больной, надеясь только на своего брата-бродягу. Проходящие мимо такие же беглые начинают ухаживать за

ним, принесут хлеба, молока, поделятся с ним, поговорят, успокоят больного. Пока полевым дворянам летняя пора и теплые дни позволяют, они и не оставляют своего брата; но вот наступает осень, – пора идти в деревни, товарищи начинают уходить, больной остается один с маленьким запасом хлеба и воды до выздоровления. Лежит он один среди пустого леса; лишь свистит ветер, ломаются сучья да кричит птица. Медленно тянется время; ночью слышен дикий вой волков да среди болезненной бессонницы иногда хрустенье валежника и рев медведя. Все полно безнадёжности: и молится, молится бродяга, чтобы поскорее Бог дал смерти. Самая смерть его будет одинокой и бо­быльной, какой была целая жизнь. Откроют весной его тело и бросят в болото, чтобы не иметь лишних хлопот с начальством: вот и конец бродяжеской жизни.

Как да над богатым
Ставят мавзоль,
А над нашим братом
Пищит воробей.

Так изображают бродяги в переделанной песне свою могилу.

IV.

Бродяжеская корпорация и самосуд

Сибирское бродяжество заключает в себе все элементы отдельной корпорации. Одинаковые условия жизни, одинаковые интересы, одинаковые цели и судьба создали из бродяг довольно солидарную массу, которая имеет свою общественную силу, свое общественное мнение и известные общественные условия. Сходство обстановки породило одинаковые нравы и воззрения, правила и зако-

ны. Наконец, внутренняя жизнь корпорации потребовала и известных гарантий безопасности и своего уголовного кодекса. Бродяги, проходя постоянно по несколько раз с востока на запад Сибири, сталкиваясь и знакомясь, обмениваются наиболее интересующими их известиями, толкуют о своих делах и соображают как направление пути, так и свои дальнейшие действия. Где ловят, где нет? Где безопаснее пройти? Где начальство легче судит? Каково на заводах? – все это вопросы, интересующие бродяг и имеющие важное для них значение. Жизненный опыт, выработанный бродяжескими поколениями, дал свои правила и доктрины, которым невольно подчиняется всякий, выступивший на бродяжескую дорогу. Острог, в котором пребывает каждый бродяга, еще более сплачивает членов бродяжества: здесь бродяга натурализуется окончательно, т. е. признается достойным принятия в члены корпорации; здесь он посвящается во все тайны корпорации, роднится с ней и приучается жить ее интересами. Личная жизнь его начинает зависеть от жизни общественной, и он волнуется, печалится, радуется и живет общими делами корпорации. Так слагается внутренняя жизнь бродяжеской общины.

Бродяжеская корпорация сильна своим единством. Она создалась во имя крайней необходимости и потому дает известные гарантии каждому из своих членов. Желая хотя сколько-нибудь обеспечить свою безопасность, бродяги создали свое собственное гражданское общество, каждый член которого обязан беспрекословно исполнять все уставы этого общества. Общество имеет право контролировать, судить и наказывать своего члена. Там, где представляется случай, бродяги всегда соединяются в одно общество: это особенно легко заметить в остроге; здесь бродяги не смешиваются с остальными арестантами, живут своей средой, имеют свою особенную администрацию, т. е. старосту и писаря, свои сходки, свою кассу и майдан.

Во время бродяжества они также при первой возможности стараются соединиться в отдельную общину. Так, когда в некоторых деревнях Томской губернии, лежащих на речке Сосновке, скопилось много бродяг по работам у крестьян, то они составили свое общество, выбрали своего голову и писаря; это общество существовало наряду с крестьянским; если бродяга попадался в какой-нибудь вине, то над ним учреждался суд, и производилась расправа; наказания за провинности назначались очень суровые, и бывали примеры, что виновному давали от 500 до 700 розог публично, при крестьянах. Тут у бродяг с крестьянством установились чисто международные отношения.

В остальных случаях, хотя корпорация и в разброде, но группируется, по мере надобности, для какого-нибудь предприятия. Бродягам невыгодно составлять разбойничьи шайки, но они соединяются часто, чтобы отомстить кому-нибудь, например, преследующему их заседателю. Один священник рассказывал мне, что ему раз случилось ехать в Омск; была страшная распутица; на одном мосту его экипаж завяз; вытащить было трудно; пришлось остановиться. Вдруг из-под моста выскакивают человек 40 бродяг. Священник с дьяконом испугались, но бродяги спокойно объявили, что вовсе не намерены их трогать, а дожидаются заседателя, которого хотят сечь, причем указали костер, разложенный под мостом. Затем вытащили завязший экипаж священника и, получив небольшое подаяние деньгами, отпустили его. Заседатель, кстати, был предупрежден, переехал в другом месте через реку и таким образом избавился от неминуемой опасности. Впрочем, случаи расправы с лицом посторонним составляют весьма редкое исключение из жизни бродяжества, отличающейся по преимуществу мирным характером; но бродяги крайне строго судят своего провинившегося товарища. Каждый член корпорации не должен нарушать интересов своей среды; он обязан защищать своего собрата. Он не

должен выдавать начальству, что знает о своих собратях, и не показывать на них. Показания бродяг на крестьян, у которых они имели приют, также не одобряются. Вообще требуется строгое сохранение тайн корпорации. Нарушение этих основных законов бродяжеской корпорации считается изменой, и жестоко наказывается. Точно так же бродяги преследуют воровство у своих, битье, увечье, отбивание насильно бродяжеских жен и любовниц, особенно же карают за убийство своего брата: за последнее преступление иногда даже определяют смертную казнь. Вот, например, рассказанный мне случай. Шел парень со стариком; многие бродяги встречали их и обгоняли; только на одну ночевку парень приходит один и в стариковом платье. Случившемуся тут бродяге, который знал их раньше, это показалось подозрительным. Ночью он отправился назад в тот балаган, где встретил в последний раз парня с стариком. Здесь он нашел кровь и, по ее следу, дошел до болота, куда был брошен труп старика. Вернувшись немедленно, он застал еще парня и позвал его с собой на мельницу к знакомым бродягам. Пришедши туда, он сообщил о случившемся. Парень был задержан, а для удостоверения были посланы депутаты; скоро они явились и подтвердили об убийстве. Преступник сознался; его связали, и начался суд. Обвинителем явился старик-бродяга, работавший на мельнице. Он обратился к собранию с такой речью: «Что, братцы, ежели он 17-ти лет такие убийства с своим братом делает, то что же после-то из него будет! Он, пожалуй, перебьет еще десятки людей в лесу, так что никто не узнает. Можно ли после этого и ходить нам, коли свой же брат убивать нас станет!» Ответом было одобрение. «Это так, уж чего больше!» – говорили бродяги. «Ну, так дайте же мне его: я с ним расправлюсь!» – сказал старик. Все согласились. Тогда бродяга, взявший на себя исполнение приговора, велел вести за собой арестанта. «Ну, иди, брат: расправа с тобой будет коротка!» – промолвил

исполнитель. Парень чувствовал, что его ожидает недоброе. «Дяденька, позвольте хоть трубочку в последний раз покурить», – сказал он. Бродяги рассмеялись этому хладнокровию, дали ему покурить и затем повели в лес. Здесь старик снял ремень с кольцом с бродня (80), сделал петлю, приказал нагнуть березу, закрепил ее. И через несколько минут преступник висел.

Часто бродяги пускаются в розыски за преступниками из своей корпорации верст за 100, за 200 и более. Так, в 1867 г. отыскивали какого-то *Омуля кривого*, который вместе с любовницей убивал бродяг. Встречая денежного спутника-бродягу, Омуль приглашал идти с собой. В пустынном месте он на спутника накидывал петлю, а любовница била его обухом топора. Наконец, их схватили бродяги. Омуль, однако, при начале суда вырвался и бежал, бросив даже платье, а любовница его была повешена. Долго бродяги отыскивали его по большим дорогам, но не нашли. Каждого проходившего бродягу спрашивали, не видал ли Омуля, и сообщали ему приметы преступника.

Убийце, однако же, не всегда в наказание определяется смерть, но его наказывают розгами и палками так жестоко, что неминуемым следствием наказания все-таки почти всегда бывает смерть. В Томской губернии один бродяга убил любовницу. Товарищи увидели его в шубейке, снятой с убитой; начали его допрашивать, наконец, дознались. Убийца в то время был в бане в одной деревне. Его стали сечь, засекли до полусмерти и бросили в бане, а сами ушли. Высеченный скоро умер.

– Ночевали мы в одной бане, – рассказывал мне один беглый, – только приходит к нам бродяга-чухна и расположился тут же. Ему дали место. Поздно ночью явились другие посетители. Зажгли огня. Пришел бродяга с любовницей. «Надо посмотреть, нет ли знакомых!» – сказала женщина и начала открывать спящих. Чухна старался плотнее закрываться: это возбудило ее любопытство. «Э,

да это мой жених!» – сказала она. Дело в том, что чухна с товарищами-бродягами несколько дней тому назад напали на нее, когда она оставалась в лесу одна, и произвели насилие. Чухна, испугавшись теперь ответственности, пустился бежать. Его нагнали бродяги, и любовник оскорбленной женщины попросил бродяг расправиться с чухной своим судом. Вырезали таволожек, разложили винового около бани и выдрали.

Преследование бродяг, совершивших преступление против своих, не прекращается и в остроге; напротив, такие бродяги больше всего опасаются суда в остроге: здесь корпорация в более полном составе. При мне в остроге раскрыли следующий случай: судились трое бродяг, взятые властями за убийство. Сидя в остроге, они объявили товарищам, что судятся из-за убийства коробейника и его товарища; но бродяги узнали положительно, что при следствии представлены котомки и котелки убитых; оказалось, что они убили своих же бродяг. Тогда над одним из главных виновников учинили суд и избили его жестоко; он не смел даже идти жаловаться. Подобные процессы в остроге часты. Так бродяги для собственной безопасности создали себе самосуд и свой уголовный кодекс.

Половину жизни бродяги проводят в поле; половина жизни проходит в остроге, который дает им одинаковость положения, общие нравы и сближает их. Их конец – заводы или смерть в лесу – тождественны. Все это скрепляет этих людей и возбуждает сочувствие друг к другу. Прожившие поколения бродяг имеют свою историю, передаваемую в устных рассказах. Часто приходится слышать рассказы об одном и том же знаменитом лице из разных уст, варьируемые и изукрашенные вымыслами. Это бродяжеские мифы. Бродяжеская корпорация, как всякая корпорация, выработала свои типы и идеалы. Всякий бродяга в душе желает достигнуть бродяжеского идеала, героя. Отличительные признаки такого героя – неустранимость в

опасностях, смелость в похождениях, хитрость для того, чтобы провести преследователей; он должен быть отличный вор; деньги у него не должны переводиться; он должен кутить и вести ожесточенную борьбу с властями и крестьянством. Когда-то у бродяг велась беспощадная борьба с крестьянством, и в рассказах сохранились до сих пор некоторые эпизоды из нее, имеющие сказочный характер. Мы приведем один из мифов, более выдающийся, как наказан был крестьянин, промышлявший убийством бродяг. Крестьянина звали Заворота и жил он в Енисейской губернии в деревне Кольцовой Назаровской волости Ачинского округа. Он выслеживал денежных бродяг, принимал их у себя в избе, угощал, потом нагонял и убивал в лесу, обирая их до нитки. Состояние его было громадное; бродяги его боялись. Но вот раз шел с каторги мальчишка-бродяга, которому и суждено было стать героем. Узнавши о Завороте, он запасся деньгами, приделся и, пригласив товарища-бродягу, отправился к Завороте, а остальных спутников оставил за деревней. Пришедши, он начал требовать водки, кушаний и за все щедро платить, показывая нарочно перед Заворотой, что у него есть деньги. Наконец, он прощается. «Куда вы, батюшка, пойдете?» – спрашивает Заворота. «Туда-то, – отвечает бродяга, указывая откровенно настоящее направление. Он соединяется с товарищами, и все они отправляются в дальнейшую дорогу. Будущий герой объясняет, что он разжег Завороту на погоню и намерен проучить его. Не успел он этого сказать, как из-за кустов показался Заворота верхом на лошади и с винтовкой. «Эй, варнаки, стой! становитесь все под одну пулю!» – крикнул он и положил винтовку между ушей лошади. Бродяги остановились. Заворота спустил курок – осечка... еще – то же самое... еще – и опять то же. На полке у него вместо пороху очутилась вода. Бродяга-герой, посетивший его, улыбнулся. Винтовка была заговорена. Затем лошадь у Завороты начала кружиться. Тогда бродяги

подошли и сняли Завороту с лошади; вокруг пояса нашли опоясанные два мешка для добычи. Предводитель бродяг приказал изрубить бродяжеского убийцу, и куски его сложить в мешки, привязав их к лошади. Другой вариант этого рассказа говорит, что герой-бродяга предварительно спрашивал мужика Завороту, сколько он душ погубил? Тот отвечал, что 90. «Много, – сказал бродяга, – я не хочу твоих грехов на душу брать», – и приказал его высечь. Его так жестоко наказывали, что, возвратившись домой, он слег; три дня он был при смерти, три раза оживал и, наконец, умер. Есть подобный же рассказ о том, как какому-то крестьянину в наказание за убийство 60-ти бродяг бродяги перерезали поджилки.

Этими рассказами характеризуется та ожесточенная борьба и кровавая вражда, которые существовали между бродягой и его преследователем. Они служат как бы утешением бродягам, что и их смерть не останется безнаказанной. Вот рассказ, подтверждающий это предположение. В одной деревне жил мужик, который бил и обирал бродяг, но под конец жизни бросил свои злодеяния и раскаялся. К такому раскаянию его побудило следующее приключение. Раз к нему пришло несколько бродяг; иные были с деньгами. Он приютил их и, когда они ушли, отправился за ними в погоню. В лесу он нашел их всех спящими один подле другого в одной линии. Выстрелив вдоль, он убил шесть человек, а 7-й побежал (убийство одной пулей многих часто фигурирует в бродяжеских рассказах). Тогда крестьянин догнал бежавшего и убил его прикладом. Обобрал деньги у убитых, убийца присел отдохнуть на сломленное дерево. Только видит: прилетела птичка и начала клевать песок. Убийце тоже захотелось попробовать его; поевши, он нашел его сладким. Тогда его объял страх, и он пустился домой. Ночью к нему явились убитые, требуя похорон. Чуть свет поехал он на место, где перебил бродяг; на коленях у трупов стал молить о прощении, перещеловал

всех их и предал земле. С тех пор он не мог ничего есть, не съевши предварительно горсти земли. Это было наказанием свыше. С той поры он не пропускал ни одного бродягу, не накормив его досыта.

Кроме старых героев, у бродяг много есть и новых, например, Светлов, Ланцов, Травин и другие. Их жизнь, полная авантюризма, опасности и борьбы, выдвигает энергичные и сильные натуры. Каждый бродяга, можно сказать, до известной степени герой, перенесший десятки опасностей, десятки раз жертвовавший своей жизнью и десятки раз выходявший победоносно из борьбы. Поэтому в осторожном мире, между бродягами, заметна гордость, и они считают себя выше и опытнее остального мелко плавающего арестантства.

Их герои воплощаются в самостоятельной бродяжеской поэзии, где воспеваются разные приключения героев, их побеги и т. п. Песни бродяжеские наполовину осторожные, потому что судьба бродяг постоянно связана с острогом. В одних песнях воспеваются гулянье по полям, городам и лесам, приюты по баням и вообще бродяжеская жизнь, в других – похождения бродяг-героев, как например, Ланцова. В этих песнях всегда звучит грустная и нежная нота ссыльного, чувствующего в Сибири свое одиночество.

V.

Бродяжеские браки

Мы имели уже случай заметить, что бродяжество везде и во всем имеет свои особые убеждения; на все оно смотрит с своей особой, оригинальной точки зрения. С этой же точки оно взирает на любовь, или, как называют ее сами бродяги, на «бродяжеский брак».

Бродяжеский роман разыгрывается как во время странствий, так равно и в стенах острога; семейная жизнь

течет на полях, испытывая все превратности и мытарства бродяжества.

Бродяга как человек одинокий особенно склонен к любви и расположен ко всякой интриге. Бродяги любят увлекать любезных с собой в бродяжество; в сибирской семье всегда много недовольных, которые готовы уйти с кем угодно и куда угодно, лишь бы только уйти. Жизнь женщины в крестьянской семье, по большей части, непривлекательна: муж-деспот, часто пьяница; свекры и свекрови заедают жизнь; постоянные побои, постоянная брань, тяжелый труд – вот ее всегдашняя обстановка. Редкий муж в Сибири не бьет свою жену; при пьянстве мужей главный труд и поддержание семьи иногда ложится на женщину; разврат в деревнях также очень развит; в этом разврате, конечно, более власти и свободы выпадает на долю мужчины; каков бы ни был муж, жена обязана его любить; муж часто заставляет жену угождать своим любовницам; но если женщина дозволит себе свободные отношения, ее ожидают жестокие испытания. В сибирских семьях, вероятно, поэтому так часты отравления мужей женами. При такой стеснительной обстановке понятно желание крестьянки бежать из семьи. А тут для подмоги является удалой парень-бродяга, смазливый собой, любезный и ласковый, с деньгами, добытыми на большой дороге; он увивается за женщиной, увлекает ее; она бросает грубого мужа и семью и идет за удалым добрым молодцом в бродяжество. И много таких драм разыгрывается в сибирской крестьянской семье. Бывает, что женщина вскоре, обманутая бродягой, снова является к мужу и к семье, но часто поток бродяжества совершенно поглощает ее, и она исчезает навсегда, сживаясь совершенно с бегло-арестантской средой. Часто связь крестьянки с бродягой бывает очень прочна и не разрывается, несмотря ни на какое наказание, к которому присуждается ее милый: бродяжество их снова соединяет. Мне указывали на одну

женщину, сибирскую крестьянку, которая пошла за бродягой, попала с ним в острог и судилась. Ее отправили к мужу, а бродягу на заводы. Скоро он бежал, явился снова к любовнице, и они опять отправились бродяжить, и снова были пойманы. Четыре раза жена отсылалась к мужу, а бродяга на заводы, и все-таки он снова приходил за ней и уводил ее. Бегство очень обыкновенно у сибирских женщин; один бродяга рассказывал мне, как он встретил около деревни девочку лет одиннадцати, которая упрашивала его взять ее с собой бродяжить.

Жизнь в бродяжестве для женщины далеко не безопасна: женщина часто служит предметом спора между бродягами; из-за нее идет ожесточенная борьба; желая воспользоваться ею, иногда даже убивают ее любовника. «Нас было двое бродяг, – говорил мне один беглый, – мы встретили каторжного с любовницей с завода и поселенца-бродягу с сибирячкой. Во время пути каторжный начал подтрунивать над поселенцем, говоря нам: “Эй, холостеж, отбейте-ка от этого сибирячку-то!” Поселенец начал трусить. На другой день чуть свет он убрался тихонько со своей бабой и сделал верст 40. Мы скоро, однако, встретили их опять на берегу речки: он удил рыбу. Завидя нас, он собрал удочки и снова пошел щелкать в лес в сторону. Так перепугались они!» Женщины-бродяги часто, чтобы скрыться, одеваются в мужское платье. Кроме опасности подвергнуться насилию и перейти в руки другого бродяги, женщина должна нести все трудности бродяжеской дороги, которым подвергается ее закаленный любовник. Чтобы показать, как тяжел этот путь и что должна вынести во время странствий с бродягой женщина, я приведу два рассказа.

Бродяга Абрамов раз остановился у крестьянки, муж которой был на приисках. Они слюбились, но приехал муж, и Абрамов должен был уходить. Когда отошел он несколько десятков верст от деревни, его нагнала любовни-

ца, ехавшая в телеге продавать горшки на базар в какое-то село. Встреча была радостная. Абрамов уговорил ее идти бродяжить; затем он тут же перебил горшки, и на лошади они отправились в Иркутск, где телегу с лошастью продали. Пешком уже они пошли к Якутску и зашли в глухую волость. Здесь они познакомились с писарем и просили его настрочить им билет. Писарь согласился, взял 25 рублей, но смастерил билет самого плохого достоинства. Писарь имел в виду сбыть бродяг так, чтобы они никогда не могли сделать на него показаний в случае поимки. Так как бродяги спрашивали дорогу на какую-то деревню, то он со старостой и указал им путь тайгой; им сказали, что если они дня два-три пройдут лесом в известном направлении, то непременно выйдут, куда им нужно. Абрамов с любовницей пошли, запасшись полупудом хлеба. Дня четыре они шли непроходимой тайгой, пробираясь тропинками; попадались только пустые звероловные избушки и ловушки на зверя. Все было дико и пустынно; их окружали трущобы и высокие ели; не было ни малейшего признака жилья. Прошли они пять дней; на шестой хлеб весь вышел. Тогда им стало ясно, что они или заплутались, или их послали на верную гибель. Пришлось питаться чем попало: они стали есть ягоды, грибы, лук, колбу, но такая пища только ослабляла организм. Оставалось для спасения воротиться; это был девятый день их выхода. И вот они по старым тропинкам решились выбираться назад. Проплутав дня два, питаясь травой и ягодами, они стали терять свои силы; они не могли уже есть ни колбы, ни луку. Кое-как протащились еще день, другой; обнаружили боли в животе; женщина совсем ослабела и не могла идти далее. Абрамов долго думал, что делать, наконец, предложил любовнице остаться покуда, а самому идти до деревни и потом с хлебом явиться за ней. Женщина боялась, что бродяга ее бросит; но он снял с себя образ, «родительское благословение», поклялся перед ним, что воротится, и повесил его над больной.

Избушку он запер запорами, ставни припер крепко, чтобы не забрался зверь, и пошел шагать. Протащившись дня два, все так же питаюсь, он и сам не мог идти и слег около одной избушки. Живот болел; силы совершенно истощились; на него напало отчаяние: приходилось умирать. Но, полежав, он увидел бруснику, стал есть ее и почувствовал себя легче; набравши шапку этих ягод, он опять пошел и добрался до деревни. Первым делом, войдя в какую-то избу, он съел целую ковригу хлеба; затем пошел к одному поселенцу и рассказал о случившемся. Тот принял в нем участие и немедленно снарядил телегу. Приехав, Абрамов нашел женщину с пеной у рта; она ничего не говорила и не слышала. Абрамов влил ей молока в рот, и она очуствовалась. Поевши, они прибыли в деревню. Поселенец предъявил на сходке жалобу на писаря с головой. Сход решил вместо удовлетворения угостить их хорошенько, и все выпили здорово. Скоро, однако, Абрамов бросил свою любовницу. Эти покидания очень часты у бродяг. «Попадись, за бабу отвечать придется», – говорил Абрамов.

Про другое странствование с женщиной мне рассказывал каторжный. Калина был каторжный первого разряда; на заводе он сошелся с женщиной, тоже каторжной, убил ее мужа и бежал с ней. Оба они имели деньги. Женщина взяла с собой несколько платьев, белье, шали и т. п. Калина тоже был одет щегольски, в хорошей однорядке, в смазных сапогах, плисовых шароварах, мерлушьей шапке и тулупе. Это была молодая и красивая бродяжеская пара. Счастливо миновали они Забайкалье, обошли Байкал и явились в село К*. Калина оставил бабу на улице, а сам зашел в кабак купить вина. Выходя, он встретил писаря. «Кто ты такой?», – спросил писарь. «Разве ты не видишь, кто?», – отвечал Калина, не раз бывавший в бродяжестве и человек нетрусливый. «Где твой вид?» – спросил писарь. «Подите возьмите в Коре: я там его оставил». – «А чья это баба?» – продолжал расспрашивать писарь. «Не

знаю». – «Ты чья, матушка?» – спросил писарь. «А вот с ним иду», – отвечала та. «Так это твоя баба?» – продолжал писарь. «Видно, моя, коли больше ничья!» Писарь немедленно потянул бродяг на сходку. Решили их забрать. Начали допрашивать, где украли женские платья и т. п., так как богатых бродяг мудрено встретить. Калина урезонивал; он предлагал примерять все платья на его любовницу и тем убедиться, что они не крадены; но его не слушали. Тогда Калина предложил вина на компанию; но вина было мало: за свободу у них потребовали 3 руб. денег, да платье женское, да котелок, да шаль одну и проч. Баба решила все отдать, только бы отпустили. Давши выкуп, Калина не решился ночевать в этой деревне, а отправился с любовницей в лес, где и расположились они в балагане. Утомленный, он тотчас же заснул. Ночью его растолкала любовница: к балагану кто-то подъехал. Это были два верховые с винтовками. «Ну, выходи, варнаки», – закричали они. Калина выскочил. «Становись: сейчас расправа будет! снимай, что есть на тебе! Поддай котомку!» Калина увидел в приехавших сына писаря и сельского старосту, которые явились обобрать и убить их, чтобы они не донесли после на общество. Приказ снять платье показывал, что они не хотят его окровянить. Нечего делать, Калина все снял с себя. «Становись в угол!» – приказали ему. Стал. Приказали раздеться бабе. Калина стал подходить к ней. «Не подходи!» – кричал верховой и, снявши винтовку, прицелился ему в голову; курок был спущен, но произошла осечка. Ночь была морозная. Тогда Калина, схватив за рукав тулуп, без рубахи и сапог пустился в поле. Он пробежал верст шесть; одна нога его обморозилась: он принужден был возвратиться в деревню, где нашел и свою бабу. Мужики не смели ее тронуть, боясь, что спасшийся Калина донесет на них; Калину, однако, снова позвали на сход. Мнения разделились. Все, впрочем, видели, что и отпустить бодяг опасно, да и представить нельзя, так как

они донесут о происшествии в лесу. Калина увидел, что ему угрожает новая опасность; он начинает весьма убедительно уверять, что доносить ему незачем, так как и сам он пробирается тайком, а второе – деревня не может отвечать за нападение на него: дело было в лесу, и он не может указать, кто именно на него напал. Крестьяне наконец отпустили его, и он поплелся с бабой далее.

Можно себе представить, каково положение женщины-бродяги во время беременности. Часто приходится мучиться родами где-нибудь в балагане, под кустом, а потом тащить с собой грудного малютку. Случается, что бродяжка-мать идет даже с несколькими детьми. Один мне известный бродяга прошел всю Сибирь с женой и с детьми. Но в большинстве случаев бродяги-женщины тяготеют детьми и раздают их по деревням. Женщина, уходившая с каторжным четыре раза от мужа, о которой я уже говорил, продавала детей в крестьянские семейства по 8 рублей. Многие приносят детей и в остроги, где судьба их, конечно, незавидна.

Любовь бродяг продолжается и в остроге, когда они попадают с женщинами. Здесь же часто начинается и новая любовь, финал которой должен быть в партии и бродяжестве. В каждом остроге можно видеть, как, приткнувшись к решеткам, сидят арестанты, тоскливо поглядывая на окна женского отделения. Несмотря на острожную дисциплину, знакомства быстро завязываются, а затем является и любовь. Любовь острожная – любовь платоническая. Взгляды, воздушные поцелуи, разговор через загородки и стены, изредка встречи в коридорах – вот все, чего может достичь пылкий и влюбленный. Конечно, между развратом, порождаемым тюрьмами, бывают в остроге и глубокие привязанности, в которых нельзя отрицать чувства самоотвержения. Я сам был свидетелем такой привязанности. Грузин, уведший с каторги девушку-немку, был взят с ней в бродяжестве. Сидя в остроге, он показался на чу-

жое имя, на Кавказ, желая продлить время за справками и жить вместе со своей любезной. Узнавши, куда его присудят, он сам рассчитывал переменить показание и все-таки уйти в каторгу за любовницей; но приходят справки и, к удивлению его, он признан за того, на кого показывался. Решено было препроводить его на Кавказ. Предчувствуя всю тяжесть разлуки, он решился отпереться от прежнего показания. Когда его вызвали для отправки, он объявил начальству острога, что он обманул следствие, что, в сущности, он – вечный каторжный, а потому просит не посылать его на Кавказ, а судить, как следует. Впереди были плети и жестокое заключение в цепях; но он решился все перенести, лишь бы не расставаться с любимой женщиной. Кончилось, однако, тем, что его отправили, а для предупреждения побега заковали в ручные и ножные кандалы; немка осталась в остроге и показала на поселение.

Насколько платонична любовь бродяги в остроге, настолько же она разнуздана в бродяжестве и иногда доходит даже до зверства: часто совершаются бродягами самые наглые и дерзкие покушения на женщин и их умыкания; на крестьянок бродяги иногда нападают на пашнях и, угрожая ножом, заставляют идти с собой; иногда женщина делается жертвой нескольких человек; иногда, опасаясь с ее стороны доноса, после насильствования ее убивают.

Расскажу один случай. Бродяга Абрамов шел с молодым товарищем по Енисейской губернии. Придя в одну деревню, они узнали, что перед их приходом исчезла женщина с пашни: ждали заседателя и приготавливались к облаве. Крестьяне посоветовали Абрамову с товарищем лучше убираться и указали путь за болотами, где они могли во время тревоги скрыться. Бродяги пошли. Пройдя верст 12, они услышали стон в кустах. Молодой бродяга пошел в лес и скоро выбежал оттуда бледный и дрожащий: там он увидел голую женщину, повешенную за косы на дерево; все ее тело было искусано комарами и оводами; она рас-

пухла; на губах была пена; она была без чувств, но еще жива. Бродяги сняли ее с дерева, привели в чувство и снесли в одну избушку на дороге, а сами дали знать в деревню. Женщина рассказала, что ее увел бродяга с пашни под угрозой убить: она поневоле пошла за ним. Когда же прошли несколько верст, с ними встретился другой бродяга, знакомый первому. Пришелец также начал волочиться за бабой, которая стала сопротивляться. Первый бродяга горько выговаривает товарищу. «Разве я не товарищ тебе? Будем с бабой жить оба!» – отвечал второй. «Коли она не хочет с тобой жить...», – возразил первый. «А если так, пусть же она никому не достанется: повесим ее!» Недолго раздумывал первый: видно, привязанность к товарищу была велика; несчастную женщину раздели донага, привязали за косы и повесили.

Беда женщине, если ей приходится ехать одной по полю; встретившиеся бродяги постараются непременно захватить ее. Так, недавно около одной деревни бродяга хотел схватить 14-летнюю девочку, ехавшую по дороге, но лошадь понесла, и девушка спаслась. Крестьяне нагнали бродягу и сильно его побили. Насилия против женщин ожесточают крестьян, и они расправляются с пойманными бродягами самым жестоким образом. В одной деревне в Томской губернии за насилие над бабами на пашнях крестьяне убили на одной неделе семь человек бродяг.

VI.

Бродяжеское пристанище

Как ни привыкает бродяга к вечному шатанию, он все-таки ощущает потребность в пристанище. Ему хочется приостановиться, хоть на время отдохнуть, пожить оседло, обществом и забыть свою собачью, полевую жизнь. Хотя у бродяги и нет такого юридически признанного

убежища, но он сам его создал в остроге: это его гавань, куда он пристает для отдыха от бродяжеских треволнений; это – альфа и омега его жизни; отсюда он уходит, здесь же и завершается его странствие. Застигнутый зимой или горькой нуждой, он идет в острог и только здесь находит немного отдыха и спокойствия. «Собачка бегаёт-бегаёт по улице да и прибежит в сени; кошечка побегает-побегает да и заскребется лапкой в дверь; куда же нам-то деваться? Бродяге тоже, как собаке, погреться захочется». Так буквально говорили нам бродяги. Бродяга называет острог «родительским домом», потому что у него нет другого дома и крова; бродяга сроднился с острогом и дружески называет его «дядей». Приходя сюда, он попадает в среду таких же бродяг; здесь он – равноправный господин, а не парий; здесь он устанавливает свои обычаи, правила, нравы, держится своих привычек и склонностей, живет, как вздумает. Здесь он переживает 10, 20 раз в свою жизнь во время бегов, проведет полжизни в его стенах и дальше их все-таки не выберется, как ни бьется. Острог, таким образом, делается его отечеством, а он вечным гражданином его.

Сибирские остроги имеют именно такое значение для бродяги. Они знакомы ему во всех подробностях, со всеми мелочами и особенностями быта. Бродяги всегда знают положение острогов, изменения в управлении и порядках их и живо этим интересуются. Входя в остроги, они находят здесь многочисленное общество из своей корпорации, встречают своих знакомых и друзей по бродяжеской жизни; многими из них они интересуются как знаменитостями и встречают здесь этих популярных героев – гордость и цвет бродяжества. Большая часть населения в сибирских острогах – бродяги, и они составляют здесь наиболее прочный и окультуриванный элемент. Они не сходятся с крестьянами и поселенцами и основали здесь свою общину и администрацию. В острогах всегда

встречаются две общины – одна крестьянская, а другая бродяжеская¹. Каждая из них особо живет, особо управляется, имеет своего старосту, своего писаря и даже иногда два особые *майдана* или острожные лавочки. Это обособление в арестантстве бродяг от крестьян (с поселенцами и мещанами) объясняется особыми нравами и особыми интересами бродяг, а потому иными и общественными нуждами. Бродяги подвергаются телесным наказаниям и платят подать палачу, а также имеют и другие темные расходы (крестьяне же и мещане изъяты от этого). Бродяга в остроге платит своего рода подать в свою артель; так, в том остроге, который я знал, платилось бродягами 30 коп. с человека (поселенцы платят 75 коп., крестьяне и мещане 1 руб. 0 коп. также в свою артель). Бродяжеская община имеет свои сходки, но на выборы, как и на решение дел, влияют наиболее опытные бродяги, большей частью каторжные; они диктаторствуют над остальными, более умеренными и более смирными своими товарищами, – главное, потому что они энергичнее прочих и наглее; в ссорах они не затрудняются погрозить и ножом. При выборе главных должностных лиц, старосты и писаря, употребляются и подкупы. Староста имеет большое значение: он собирает деньги, хранит их и расходует, получает подаяния, наряжает на работы в остроге, устанавливает очередь и выполняет должность полицейского. Сколько мне приходилось слышать, выбранные лица из бродяг почти всегда растрачивают артельные деньги. К такому бесцеремонному обращению с общественной кассой бродяжеское общество привыкло и не особенно им возмущается. В острожной среде существует свое оригинальное воззрение на выборную власть: только тот может рассчитывать быть выбранным, кто получил репутацию расторопного удальца, сорви-головы, продувного и хитрого, также кто

¹ Такое деление существует не в ссыльных только замках: бродяги живут отдельно и составляют род отдельной корпорации даже в столичных замках.

задобрил многих деньгами, угощением и обещаниями; на нравственные качества выбираемого лица вовсе не обращается внимания; требуется только, чтобы воровство не переходило известных границ. Часто бывает достаточно такого соображения: «Он старый каторжный, – говорят бродяги, – да и прогорел: пусть поправится; выберем его!» – и выбирают. Действительно, лишь только бродяга попал в старосты, он сейчас же начинает поправляться, заводит любовницу между осторожными женщинами, щеголяет и кутит напропалую. Случается, что он слишком запускает лапу в артельную сумму; тогда его усчитывают на сходе, поругают, побьют и сменят; но и новый действует не лучше, и меняют их почти каждый месяц.

Каторжно-бродяжеская община составляет высший корпоративный тип всех тюремных общин. Ей известны все уставы, с самого древнего времени заводимые арестантством по всей России. Бродяжеская община живет необыкновенно дружно и ревниво охраняет свои интересы. Бродяги – это, так сказать, аристократия всех ссыльных острогов, начиная с северо-восточных замков России: они, собственно, ворочают и распоряжаются порядком жизни в остроге; мало того: члены ее имеют прерогативы пред всеми другими жильцами. В тех ссыльных замках, где содержатся сибирские крестьяне и поселенцы, составляющие свою общину, мы замечали, что во всех общих делах, во всех спорах преимущество остается всегда на стороне бродяжеско-каторжного элемента. В тюрьме, которая подлежала нашему наблюдению, разлад и антагонизм между двумя общинами, бродяжеской и крестьянской, особенно был резко заметен. Эта борьба происходила из-за всего – из-за подаяний, которые в большинстве бродяги оттягивали себе, из-за общих работ в остроге и т. п. Приказывает, например, смотритель арестантам двор вымести. «Эй вы! Чалдоны, крестьянский староста! Вели своим двор вымести!» – кричат бойко бродяги. Крестьянский староста

начинает доказывать, что бродяг больше, что он отрядит своих людей, но чтобы и они выставили свой контингент. «Знать ничего не хотим; не родился еще человек, который бы бродяг работать заставил!» – орут бродяги. Долго длится спор; если и отрядят двух-трех бродяг на работу в виде компромисса, то последние на дворе, скорее, для формы находятся и больше подсмеиваются и переругиваются с крестьянами. Точно так же мы помним необыкновенный гвалт и ссору из-за подаяний. Бродяги не хотели делиться с крестьянами: они доказывали, что эти подаяния исключительно назначаются им, хотя подаяния большей частью привозились и отдавались старосте родственниками крестьян. Крестьянская тюремная община в защите своих интересов и в ограждении своей самостоятельности, как мы заметили, только поддерживалась приписанными в Сибири поселенцами, которые также в тюрьме причислялись к крестьянам. Если бы не эти ссыльные, вынесшие привычки отстаивать свои интересы с этапов и из каторг, мы уверены, что крестьяне были бы еще больше унижены бродягами, чем они находятся теперь в ссыльных острогах. Крестьянин постоянно атакуется, постоянно преследуется в сибирском остроге, где сидит всегда большинство ссыльных и бродяг. Оборотом, обворовать крестьянина, попавшего в острог, считается даже подвигом у бродяг. В нашем остроге мы видели несколько подобных случаев. Ссоры бродяжеской общины с крестьянской поэтому были непрерывны. Мало того: бродяжеская община была так всегда превосходно организована, так умела вести интригу, что всегда успевала завладеть преимущественным расположением тюремного начальства пред общиной крестьян, на которых при случае сваливала всякую вину, всякий беспорядок острога.

Бродяга, по-видимому, нищ и убог; в острог он является часто полуобнаженный, истощенный и избитый, но здесь он быстро оправляется. Он чувствует в остроге

себя хозяином, властелином – говорим без преувеличения. Достаточно взглянуть на его позу, на его манеру в ссыльном остроге, чтобы в этом убедиться. Тон его всегда горд и исполнен чувства собственного достоинства. Желчь и ирония ссыльного постоянно скользят на губах его. «Ты кто такой?!» – вскрикивает бродяга в минуту величайшего гнева, обращаясь к крестьянину. Тот ему отвечает. «А я – *бродяга!*» – говорит он гордо, и этим решает спор. Одним этим словом он старается напомнить о своем преимуществе. И действительно, преимущество его в остроге громадно. Крестьяне и люди свободных сословий, попадающие сюда как временные жильцы, не особенно дорожат своими правами и льготами в остроге; не то – бродяга, который знает, что острог его вечное убежище. Насчет своих претензий и льгот, узаконенных традицией старого острога, он – формалист, законник, историк и археолог.

Во внутренней жизни своей общины у бродяги и каторжного каждый шаг рассчитан; на все есть правило, и он гордится знанием этих правил, законов и приличий. Так как это люди закаленные, выдержанные, то они превосходно подчиняют свои желания и действия тому, что постановила законом и обычаем их община. Без этих законов и известной организации с ее общественными функциями немыслима была бы для бродяги жизнь в тюрьме целые годы; при отсутствии постоянного надзора и дисциплины, при прежней распущенности без этой общественной организации в старом остроге возникла бы страшная анархия, – люди здесь начали бы пожирать и убивать друг друга. Таким образом, эта общинная организация у бродяг и каторжных вырабатывалась естественно ввиду собственной безопасности и удобств жизни. Впоследствии общественные уставы и обычаи так твердо установились, что никакой опытный бродяга или каторжный решительно не мог жить без них: он формировал свою артель, создавал свои законы везде, куда ни приходил, – в ссыльный ли

острог, в российский ли замок, в полицейскую ли каталажку. Попадая в такие тюрьмы, где преобладают подсудимые и люди, не причастные бродяжеским и ссыльным артелям, где поэтому арестанты живут довольно независимо друг от друга и разъединено, бродяга глубоко возмущается и решительно не может ужиться: он точно рыба, выкинутая на сушу. Даже в ссыльных замках или преимущественно в тюрьмах смешанных, каким был наш замок, всякое отступление от обычаев и правил, завещанных каторжной традицией хорошо организованных общин, возбуждало негодование старых и опытных бродяг. «Эх! были бы здесь старые бродяги – не позволили бы они этого!» – говорят бродяги, замечая какой-нибудь разлад или отсутствие единодушия в остроге. «Видели бы это каторжные!» – с горем иногда восклицают они, и т. д. Благодаря своей подвижности, способности пропагандировать, благодаря ловкости и стойкости бродяги везде поэтому создали свой мир и поддерживают свои сношения по всем замкам и каторгам. Большая часть их, постоянно вращаясь по каторгам, острогам, тайным приютам деревень и по большим сибирским дорогам, успела отлично перезнакомиться между собой, а за своими знаменитостями и героями они постоянно следят. Достаточно в большом остроге войти к бродягам, когда они занимаются чаепитием или беседой в комнате майданщика, чтобы слышать самые последние новости о судьбе бродяжества во всех концах России. Всякий бродяга, поступающий в острог, где находится хоть маленькая бродяжеская артель, входит в нее, как в свою родную семью; да и принимают его с истинным радушием и радостью. В сибирском ссыльном замке, где опытный бродяга всегда встречает старых товарищей, можно нередко видеть подобные встречи. «Э! да это ты, Степан! Здорово, друг! А где Никита Беспалый, а Омуть где, а Калина, Белов?» – такими вопросами закидывают известного бродягу приятели. «Крученный, здорово! Гуляев, Ивашка, здрав-

ствуйте!» – встречает, в свою очередь, новоприбывший приятелей. «С Кары, с Кары, братцы, пробирался! – повествует он, – Калина еще в Енисейской губернии попался, сидит в красноярском; Белов печет *блинки* в Вихоревой по-прежнему; Омуля убили; Беспалый пропал»... и длинная-длинная повесть передается в этой семье о погибших героях поселенчества: грустно и торжественно иногда звучит она, напоминая рассказы запорожских товарищей Бульбы об убитых под Синопом, о пропавших в Турции, о погибших в бою и т. д.¹ Все эти знакомства и привязанности заставляют дорожить бродяг своим союзом, утверждают их братскую связь и создают не один временный союз в тюрьме, но союз на всю жизнь, общий союз всей бродяжеской корпорации на всем широком пространстве России и Сибири. С этим союзом так свыкался бродяга в прежних тюрьмах, что не понимал своей связи с каким бы то ни было другим человеческим обществом; он знал только одну свою семью, одной ею дорожил в жизни. Поэтому бродяга или ссыльный всегда с сожалением оставлял своих товарищей и, если выходил иногда на поселение в Сибирь, то чувствовал себя решительно отчужденным, оторванным от своей среды. Бродяга поэтому редко уживался на поселении: под влиянием тоски он стремился снова в бега, и таким образом, снова соединялся с своими друзьями и с своей корпорацией. Особенно связывало бродяг

¹ Какая тесная связь существует в бродяжеских общинах, автор имел случай убедиться многими поразительными примерами. После своих наблюдений над бродяжескими общинами и знакомствами в ссыльном замке Сибири много спустя он имел случай видеть арестантов в российских замках. Между прочим, в Костроме он встретил какую-то скромную личность из бродяг, которая тщательно скрывала свое имя; разговорившись с этим человеком откровенно о бродягах, мы внезапно отыскали множество общих знакомых, которые известны только в сибирских бродяжеских общинах: бродяга этот расспрашивал именно о тех личностях, которые занесены нами в настоящие очерки. Другой случай нам представился несколько позже в Архангельске, где в городской больнице арестант из арестантских рот точно так же выказал свое знакомство со многими знаменитыми бродягами, и мы нашли опять общих знакомых. Конечно, арестант был из бродяг.

и возбуждало в них привязанности друг к другу то, что все они – изгнанники, так как большинство сибирского бродяжества состояло из поселенцев и каторжных. У них у всех была одна родина – Россия; все они жили одними воспоминаниями; у всех у них была одна надежда достигнуть родной земли; их воодушевляли одинаковые чувства, мысли и желания. Вот почему они чувствовали родство свое в Сибири, братски сближались, как земляки, и находили утешение в своем обществе. Здесь они как будто приближали свое отечество; мало того: они старались создать его и заменить его себе в среде своей. Поэтому, кроме одинаковых стремлений избавиться от наказания и вести праздную жизнь, исторический союз бродяжества связывался и другими более нежными чувствами: их связывала любовь к далекой, отвергнувшей их матери-России – чувство одинаковой тоски и одинакового горя. Русский человек глубоко привязан к своей родине, и тяжела ему *вечная* ссылка; так тяжела, что иногда он свою арестантскую среду предпочитал свободной жизни на поселении среди свободных людей на чужой стороне. Примеры, как привязываются к бродяжеской артели и острогу, мы видели. Знали мы, например, одного арестанта из бродяг, человека еще молодого, лет двадцати. После побега он как-то вернулся, и ему вышло решение выслать его на поселение. Такое решение было очень благоприятно, так как бродяг обыкновенно ссылают на заводы года на четыре. «Вот ты, Александр, и на поселенье выйдешь, слава Богу! Остепенись, поживи в деревне, женись; ты еще парень молодой! Чего в бродяжестве-то ходить: кроме плетей, ничего не выходишь!» – раз говорили мы ему. «Надо бы, надо бы, – подтверждал он, – да боюсь... не удержусь-с», – вдруг заметил он в раздумье. «Это как?» – спросили с изумлением мы. «*Скучно без своих*. Что ж она мне, эта Енисейская губерния! Поживу год, два, а потом опять... Знаете, кто “острожного хлеба поел, того так к нему и тянет”». Такая

уж наша судьба!» – ответил он, приведя известную поговорку бродяг. Такое фатальное стремление человека к осторожной черной корке было бы удивительно, если бы тут не существовало инстинктов, которых сами бродяги и ссыльные не могли иногда объяснить. Действительно, указанный нами молодой бродяга был настоящий жилец острога: он был тюремный игрок, фланер, он ни к чему не был приучен, работать не умел и чувствовал только привязанность к товарищам по острогу. Что ему было делать в сибирской глухой деревне, где его мог ожидать только тяжелый труд, кабала и тоска по родине!..

Бродяги, проводя целую жизнь в остроге, естественно приравнивали старую сибирскую тюрьму к своим целям. Мы говорили уже об общинных учреждениях русской тюрьмы. У бродяг здесь заведены свои сходки, свое самоуправление, свой суд, который у них необыкновенно строг. Особенно бродяги требуют сохранения тайны своих псевдонимов, хотя они в большинстве друг друга и знают. Подчинение бродяжеской общине и ее требованиям здесь соблюдается тем строже, что бродяга никуда не скроется от товарищей: его найдут и в бродяжестве, и в каторге; а не найдут сами – так передадут другим.

Подвергаемые постоянно наказаниям, бродяги и каторжные более всего нуждались в создании своей кассы для дани палачам и на другие расходы. Она образуется из общих сборов с майдана и подаяний. Для своих потребностей и развлечений у них создан майдан, отдаваемый с откупов. Бродяжеская община у майданщика, как у откупщика, наживающегося водкой и картами, выхлопотала себе всевозможные привилегии; так, например, майданщик обязан верить на 1¹/₂ руб. всякому, хотя бы бродяга, входя в тюрьму, ничего не имел; это важная помощь; при смене майданщика можно иногда не платить долгов старому. На продажу всех припасов утверждается такса в то время, когда майдан сдают на откуп.

Занятием бродяг в остроге является изучение тех производств, которые им всего более необходимы, как, например, деланье фальшивых денег, монеты, кропанье паспортов. Подобные знания всего более обеспечивали им положение в бродяжестве; естественно, что всего более им-то и учились бродяги. В то же время, так как в остроге бродяге решительно ничего не приходилось делать, то он изобрел игру с самым разнообразным характером и правилами¹. Эта игра занимает все время бродяги. Она обусловлена также своими осторожными обычаями; например, положено за правило, что «никто без выигрыша с майдана не выходит», и выигравший возвращает часть денег назад. Это показывает естественное желание поддержать игру до бесконечности, так как она есть ежедневное занятие и развлечение. Таким образом, бездельное бродяжество создало само себе в тюрьме свои развлечения и занятия.

В остроге каждый, не стесняясь, предается своим наклонностям и упражняется в своей профессии. Кто производит блинки (фальшивые бумажки), кто монеты, кто подделывает печати, кто продает вино, кто занимается ремеслом, а кто и ровно ничего не делает. Даровой хлеб и отсутствие заботы особенно благоприятны привычному бродяжескому *far niente*. В остроге бродяга отдыхает или придумывает себе разные развлечения.

Некоторые учатся разным искусствам по части плутовства и усваивают всю эрудицию сламывания и отпирания замков, передергивания карт, фабрикации денег, ловкой кражи, способов вывернуться из-под суда и тому подобному. Понемногу слагается здесь довольно беспеч-

¹ В ссыльных тюрьмах, как известно, распространены карты, причем употребляется особенно «édна», которая позволяет играть при части колоды; также существует игра в юлу, в кости, в домино, в орлянку и даже во вши (в бегунцы). Страсть к игре так велика у бродяг, что проигрывают пайки хлеба или копят их на продажу, а сами питаются жидкими щами с капустой, по бродяжескому наречию *марцовой*.

ная и веселая общинная жизнь, где люди проводят время довольно разнообразно и главное – без труда. При таких условиях понятно, что такое острог для бродяги, человека изнуренного дорогой и вечно дрожащего за свою свободу. В остроге он находит отдых. Здесь он получает кучу развлечений. Арестант беззаботно толчется по коридорам, сплетничает и ругается, пьет и играет в своем клубе, – по-таенном майдане. Часто звучит балалайка, веселая песня рвется из десятка сильных бродяжеских грудей, и ухарская пляска откалывается в камерах. Может быть, благодаря именно этому веселью люди могут содержаться в остроге целые годы под следствием, не сойдя с ума. Однако случается и последнее при долгом заключении.

Общественная жизнь в острогах развита: обширные дворы часто напоминают ярмарки и площади, где ходят ма-скарадные медведи, устраивается кукольная комедия, и радостно гогочет над этим «каторга». Под замками, в камерах, идет то же общественное времяпровождение: здесь многие лениво лежат на нарах и толкуют о своих делах; другие спят по целым дням, даже до одурения, по 18 часов в сутки.

Праздность и скука развивают, кроме игры, другую страсть – к вину. Простой человек под влиянием невзгод жизни и страданий особенно жаждет его, а в остроге оно имеет еще большую прелесть как запретный плод. В остроге оно не редкость, но продается страшно дорого. Несут обыкновенно сюда спирт, маленькая чашечка которого стоит 40, 50 коп.; из бутылки выходит пять таких чашек. Спирт, притом, разбавляется местными откупщиками; в вино подбавляется известь и купорос, возбуждающие сильное похмелье и заставляющие арестанта до-гола пропиваться. Арестант копит последнюю копейку, ворует и плутует, чтобы выпить; нечего и говорить, что все заработанные деньги идут на это же. Мне известно, например, что заработанные арестантами деньги в одно лето, во время работ их в городе, и на казенной работе, во

время перестроек в остроге, все ушли на майдане на вино; сумма эта равнялась рублям 300-м. Иногда, в праздники в остроге выпивали до пяти ведер вина на 400 человек арестантов. Уследить пронос вина не всегда удается: проносят служители, солдаты; бывают даже торгующие этим разные служащие чины; арестанты же изобретают для проноса всевозможные хитрости. Точно так же в острог доступна и другая контрабанда – табак, бумага, ножи и краски. Запрещение табаку, возвышая на него цену даже до 15 коп., вместо шести, еще более ухудшает экономическое положение арестанта, а курить все-таки не мешает; побьется, побьется острожное начальство да и начнет на куренье смотреть сквозь пальцы. Как велика контрабанда в вине, картах и табаке, можно судить по тому, что у зрителей завалены ими целые амбары: мешки табака, четверти и ведра спирта... а один накопил 150 конфискованных колод карт.

Кроме всего этого, любимое занятие и развлечение бродяг в острогах составляет волокитство за женщинами; как ни отделены они, но арестанты создали пути и лазейки, чтоб иметь сношения и вести довольно оживленные интриги. Около женского коридора всегда толпятся группы острожных дон-жуанов; они здесь обмениваются любезностями, ведут разговоры и передают что нужно. Ежели нельзя видаться в коридорах, то находят другие пути: перекликаются в окошки, видятся в разных укромных уголках, встречают женщин при выходе их на прогулку, в полицию, в суд или на работы. В острогах почти все женщины имеют «любезников». Бродяги, как бобыли и холостяки, более всего лебезят около них; оттого они считаются первыми кавалерами: «бродяжки – наши души, поселенцы – черти», – говорят острожные дамы. Нет ничего уморительнее, как видеть этого острожного любезника, в коротких портах, в котях на босу ногу и в арестантской хламиде; зато голова его вымазана салом, на лице улыбка,

а на устах бо-мо¹. Бродяги, пришедшие с любовницами, и здесь поддерживают свои союзы. Часто в острогах рождаются дети, и в нем получают воспитание. Жизнь этих детей среди цинических и грубых нравов острога, конечно, крайне печальна. Подростки заимствуют принципы жизни и привычки из острожной среды. Один мальчик из таких детей воспитывался в остроге до четырех лет. Семи лет он снова сюда попал с матерью; здесь он позаимствовался разными качествами, и когда вышел в деревню, его дразнили «кандалником и острожником»; этим самым разрыв его с обществом был решен, и вот 18-ти лет он сидел уже за кражу и готовился быть бродягой.

При таких условиях жизнь в тюрьме бродягам представляла много прелестей: с ней они осваивалась, в нее втягивались необыкновенно. Достаточно было пожить в этих бродяжеских фаланстерах, чтобы воспринять их дух, нравы, усвоить их воззрения. Это было заметно особенно на молодых крестьянах, входивших в такие остроги. Такие примеры мы видели: какой-то тарский солдатский сын, приписанный в мещане, попал в тюрьму за дебош и за то, что у него нашли фальшивый двугривенный, сделанный крайне дурно. В остроге в насмешку звали этого парня «монетчиком», т. е. мастером. Этот молодой и разбитной парень, посаженный на время, вдруг быстро примкнул к бродягам и начал мечтать о побегах, о делании монеты, о Нерчинске и т. п. «Да из-за чего тебе бежать: ведь ты сибиряк, тебя возвратят на родину, в свой город... мальчишка ты молодой!» – говорили ему. «Да в бродягах жить хорошо, *весело!*» – говорил он, составивши себе какую-то идиллию о бродяжеском житье. Другой, 16-летний кре-

¹ В остроге любовь, надо заметить, далеко не бескорыстна: здесь женщины требуют, кроме любезностей, содержания и подарков. Мы долго дивились, как некоторые бродяги могли доставлять любовницам некоторый комфорт; но оказалось, что бродяги приносят часто из бродяжества по 30, 40 и даже 50 целковых. Где они это берут – вероятно, знает одно сибирское крестьянство.

стьянский парень, почти ребенок, раз ушел из деревни из-за каких-то неприятностей, но, попавши в ссыльный острог, вздумал скрывать свое имя и называться *непомнящим*, тогда как ему надобности в этом никакой не было, а делал он так, *по моде*. «Дурак! – говорили ему опытные бродяги, – ведь тебя вздуют! Ты думаешь, легко бродяжить! У тебя молоко не обсохло!» Парень, насмотревшись на бродяг, затвердил, что будет бродягой, да и кончено. Над такими прозелитами сами бродяги смеются и отталкивают их от себя. Они знают по себе, что бродяжить заставляет горькая нужда, вечная каторга, а не прихоть. Они испытали всю горечь этого житья. «Вы думаете, что такое бродяги? – говорил мне один старик-бродяга, – ведь мы – собаки, хуже собак!.. у собаки конура есть, а у нас нет ее!» – так характеризуют они приятность этой жизни; но, несмотря на все это, ссыльный острог все-таки оказывает на новоприбывших свое заражающее влияние. Мы должны сказать в интересах тюремного дела, что людей, обвиняемых в Сибири и также в первый раз попавших по преступлениям из свободных сословий, необходимо отделять от рецидивистов и ссыльных, имеющих неотразимое влияние на новичков: для таких подсудимых необходимы были бы особые тюрьмы.

Что касается бродяг, то с тюремной реформой и при введении труда в тюрьмах, вероятно, будет немало затруднений приучить их к труду. Кроме привычки к праздности и неумелости, у них существует ссыльный предубеждение, по которому они презирают трудиться на месте ссылки. Они все подвижны, все чего-то чают, все считают себя временными жильцами здесь; но зато можно ручаться, что ежели будут положены какие-нибудь сроки их наказанию, ежели они будут иметь надежду когда-нибудь удовлетворить своему страстному желанию видеть родину в конце наказания, то одно это уже будет могучим стимулом к их исправлению и повиновению. Во всяком

случае, бродяги – необыкновенно смышленное, развитое и умное население, и когда оно поймет свои выгоды, с ним легко сладить даже при новых условиях исправительного наказания.

VII.

Бродяжеский процесс

Бродяжеский процесс, состоящий из суда и следствия, имеет важное значение для бродяги, потому что влияет на его судьбу и определяет дальнейшую его жизнь. Большинство ссыльных стремится посредством его выиграть уменьшенные наказания сравнительно с теми, от которых они бежали. Поэтому на процессе сосредоточиваются все внимание, все силы ума и изобретательность подсудимых. В самом себе он довольно несложен, и для бродяг ограничивался до сих пор лишь одной формальной стороной. На бродягу мало обращали внимания: от него отбирали показания в земских судах, наводили справки на местах, куда он показывался, если требовалось; приговор утверждался губернатором; затем следовало исполнение его. Отбирают показания от бродяг обыкновенно гуртом; гуртом наказывают и отправляют. Да это и понятно при множестве бродяг, наводняющих остроги.

Представим себе маленький сибирский городок, грязноватую комнату, находящуюся перед присутствием земского суда, где сидят два-три писца из вольнонаемных мещан, отставных солдат или выгнанных чиновников. Это – тип старых дельцов, юсов с потерянной карьерой и запахом перегорелой водки – тип, названный Гоголем «кувшинным рылом»; один из этих писцов руководит наскоро процессом. На крыльце и в сенях толпится человек до 20 и более арестантов, из которых большая часть бродяг, т. е. таинственных масок. Вводят их.

– Кто ты такой? – спрашивает писец одного, роясь в бумагах.

– Дезертир, – отвечает бодро бродяга.

– Солдат, чей? Откуда? Говори скорее!

– Иван Степанов Берников, из Смоленского полка, 2-го батальона, 3-й роты, бежал с пути следования от города Краснослободска, Пензенской губернии, в город Мокшаны, в 1838 г., – отбарабанивает бродяга.

– Писать не умеешь?.. Пойдет справка. Иди.

– Ну, ты?

– Бродяга-поселенец Осип Еремеев, Такмыцкой волости, Тобольской губернии, села Такмыцкого, за беспаспортность.

– Пойдет справка. Писать тоже не умеешь?.. Ступай! Ты?

– Иван Непомнящий.

– Ты?

– Николай Беспрозванный, Непомнящий же, значит.

– Ну, ты? Ты! Ты?

– Непомнящий – Непомнящий – Непомнящий.

– Ты, матушка?

– Анна Незаконнорожденная.

– Ну, идите! – говорит писец, записав дюжины полторы таких показаний. Первый допрос кончен. Ходят справки в Мокшаны, в Иркутск и на Амур, и в Астрахань; ждут бродяги год, некоторые и два, и три. Но вот для некоторых приходят окончательные справки. Слава Богу! Бродяг вызывают по очереди в тот же суд; они несут гривеннички, четвертачки, чтобы в случае нужды изменить оборот дела.

– Берников, он же и Петров, он же и Бобов! – взывает тот же кувшинный писец.

– Я-с.

– Опять у тебя справка неверна; Бобова тоже нет.

– Точно так, никак нет, – говорит Берников.

– Что же ты врешь, путаешь? Ведь ты сидишь из-за этого. Как же тебя теперь?

- Судите по закону...
- Да зовут-то как!
- Судите по закону...
- Непомнящий, что ли?
- Да уж видно так... Что будет!
- Поселенец Еремеев! У тебя есть бородавка на правой щеке?
 - Как же, есть: вот-с, извольте, здесь на бороде.
 - Ну, а ты братьев своих знаешь?
 - Как же-с: Иван, Антон, Алексей Макаровы, по отцу Кондратьевы; сестры Марфа, Анна, Катерина: мать их Алена и отец наш померший Макар Ларионыч, – как по писаному рубит бродяга.
 - Вв-верно! Скоро в отправку пойдешь.
 - Оксенов! Ты показался бежавшим с поселения из деревни Белобородовой. По справке оказалось, что Оксенов год уж как там живет, был в бегах да прибыл.
 - Я, действительно, ваше благородие, на чужое имя показывался, – говорит старик-бродяга.
 - Кто же ты?
 - Я из крепостных, в 1825 г. от помещика бежал из Москвы. Теперь я хочу *«род жизни»*¹ открыть.
 - Ты, верно, 40 лет врал, да и теперь еще врать хочешь. Кто же тебе поверит? Говори, «непомнящий», прямо.
 - Позвольте род жизни...
 - Да тебя и справки, дурака, не найдут: объявляй себя лучше непомнящим.
 - Эх, хотелось бы, да уж что делать!

¹ *Родом жизни* называют настоящее происхождение.

– *Дуга*¹, брат, – говорит другой, – что делать? Опять надо бродяжить; авось лучше подыщу. Экой шельмец, этот поселенец! Пришел-таки в деревню, а я ему рубаху, штаны да еще полтину дал; «Не сумлевайся!», – говорит. Ах, штоб тебя!..

– Ну, а больше 20 *мандтов*² не будет – я так рассуждаю, – говорит кто-то.

– Это верно, больше не будет; и то – слава Богу!

– Когда только на секуцию? Секутором-то³, ишь, опять как бы Васькин варвар не был.

У бродяг идет шумный говор по возвращении из земского суда. Многие ходят выпивши: значит, процесс выигран. На сцене пузыри водки, музыка, песня, трепак. Действительно, у многих, может быть, обеспечено счастье дальнейшей жизни. Но мало мы поймем в этом процессе, взглянув на бесцветные, немые листы казенной бумаги, испещренные писарским пером безличными именами и псевдонимами. Разве только иногда юмористический подбор их может занять нас. «Иван тридцать-пять лет», «Губернатор», «С неба упал», «Махни драло», «Я за ним», «Тебе на водах», или сложные, как «Дмухатенко, он же Гусаренко, он же Иваненко, он же Тарасенко», и т. п. Наконец, громкие имена, которые любят себе давать бродяги: Бегунов, Самолетов, Суворов, Потемкин, Строгонов, Орлов, Соколов и другие. В заключение целые листы и фаланги «непомнящих», «беспрозованных» и «незаконно-рожденных». Эти записанные лица и души здесь имеют такое же, пожалуй, призрачное значение, как и мертвые души Павла Иваныча Чичикова, а между тем про них, конечно, можно написать целые тома, полные самых разнообразных приключений, которые своей жизненностью и яркостью красок затмят всех монтекристов и мушкетере-

¹ *Дуга* – неверные справки.

² *Мандты* – плети по-арестантски.

³ Секуция – экзекуция, секутор – экзекутор.

ров. Под этими масками столько разбитых жизней, столько скрытых драм, облитых человеческой кровью и горем, а под темными именами скрывается, наряду с эпопеями преступлений, столько же безвыходного несчастья и вечных страданий.

Бродяги являются в остроги таинственными масками с целью – в процессе, который им предстоит, выиграть лучшее положение, по возможности облегчение. Каждому беглому с каторги, заводов, из арестантских рот, с поселения, от наказания или из солдат выгодно изменить фамилию или показаться на другого, чья участь легче. Каторжный 1-го разряда, сосланный навечно, ищет случая попасть на меньший срок, – еще лучше – на поселение; поселенец стремится показаться на крестьянина или мещанина; беглые солдаты предпочитают также поселение; из Сибири беглые ссыльные ищут случая перейти в Россию на родину. В крайних случаях показываются на непомнящих. При переменах званий и имен идет круговая; тот, кто нашел выгодное положение под новым именем, сдает старое имя приятелю, которому оно выгоднее, чем свое. Выбившиеся с поселения в свободные сословия сдают имя поселенца каторжным; выбившиеся каторжные меняются с теми, кто сослан на больший срок работ; наконец, случалось, прежде выходили в солдаты; солдаты же на поселение или в свободные сословия и т. д. Бывает и продажа имен, конечно, довольно дешевая. Случается часто, что купленное имя невыгодно, так как за лицом есть несколько преступлений, за которые новому владельцу имени приходится отвечать. Но бывают, по рассказам, и очень выгодные обмены; так, проигравшийся глуповатый арестант раз продал свое имя поселенца за 6 руб. каторжному, который осужден был на цепь на значительное число лет. Он высидел несколько лет в Иркутске, покуда, освобожденный с цепи, он не улучил случая бежать. В таких процессах много хитростей и тонкостей, которые

предупредить едва ли удастся и самому тонкому юристу. Бродяга всегда имеет столько имен, что иногда совершенно неизвестно, как, в самом деле, он прозывается. Когда нужно показаться на чужое имя, то подыскивается подходящий человек по росту, летам и всем приметам; узнают его родственников, начальников в деревне, городе или батальоне, и все это заучивают. Для того чтобы принять чужое имя, часто убивают владельца его во время бродяжества, проходя деревни, визнают беглых, пропавших без вести и т. п. Ежели показания с первого раза неудачны, то они переменяются на другие; эти неудачные показания изменяются еще, и едва ли можно ручаться, что все они несправедливы. Есть личности, которые в свою жизнь под разными именами перебивали каторжными, поселенцами, солдатами, крестьянами и опять каторжными, и снова солдатами или крестьянами и т. д. Процесс считается выигранным для каторжного, если наказание смягчено против прежнего степенью или двумя; но каторжный этим не ограничится, и, конечно, будет искать новых перемени. Важно также избавиться от телесного наказания, которому подвергаются в Сибири все ссыльные бродяги и непомнящие, а потому бродяги стремятся попасться за границей Сибири. В пределах России наказания телесного нет, и непомнящие ссылаются на поселение, хотя год и полагается им отработать в арестантских ротах; в Сибири же все непомнящие наказываются обыкновенно 20 ударами плетей и ссылкой на четыре года в заводы! Как ни тяжел этот жребий, но многие и его принимают, как облегчение; даже беглые солдаты и рекруты почему-то находят это выгодным. Способы, к каким прибегают бродяги для выиграния процесса, до бесконечности разнообразны и не всегда их можно предусмотреть. Показывается, например, бродяга дезертиром из NN полка, дает самое точное показание о своем побеге; делаются справки; описываются приметы бежавшего; справка подтверждает

показание: он признан; но так как полк NN ушел давно в какую-нибудь другую губернию, то беглый зачисляется в местные батальоны (по ст. 616 XIV тома устава о паспортах и беглых), т. е. входит в среду незнакомую, где его никто не знает и уличить не может. Или показывается беглый на какого-нибудь беглого крестьянина из русских губерний; по показаниям и приметам справка подтверждает показание; ему остается быть только пересланным на место, но здесь могут узнать его и уличить, и вот он подает просьбу оставить его на жительство в Сибири. Или, например, взят бродяга с фальшивым паспортом, под именем хоть Петрова; в остроге, в ожидании процесса, он переводится в больницу, и здесь записывается под именем Парфена Прохорова; так он делается известен и в остроге. Когда вызывали Петрова в суд, он не откликнулся. Прошло много времени; он, наконец, является к смотрителю острога и спрашивает, что же его не вызывают. «Да ты за что взят?» – спрашивает смотритель. «Не знаю, – отвечает он, – взяли меня пьяного около кабака и привели сюда». – «Да ты кто такой?» – «Здесь поселенец Прохоров; меня и в городе все знают». Оказывается, что в книгах никакого Прохорова не записано, вероятно, по пропуску. Остается поверить показания справки и очными ставками. Призванные обыватели утверждают в суде, что это действительно Прохоров. Его выпускают. Да Прохоров и на самом деле попался под именем Петрова: под фальшивым паспортом он делал кражи в соседних деревнях.

Для обыкновенных бродяг и не имеющих шансов вернуться остается последнее средство – показаться «непомнящими». Непомнящих у нас бездна. В одном остроге их насчитывали до 40. Нельзя сказать, чтобы непомнящие явились у нас результатом упущений юридического процесса. Правильнее – они сами завоевали себе право на существование. Старые бродяги еще помнят то время, когда принимались против них строгие меры; лет 20, 30 назад

их жестоко секли и допытывали о звании, но они «отбились». Закон ныне признает их, и этот закон, по моему мнению, гуманен: он дает бродяге возможность выйти из безвыходного положения. Непомнящих очень много; ими являются часто 70 и 80-летние старцы; кто они такие, где провели жизнь – ничего неизвестно. Отцов они не знают, матерей тоже; скитались, как они отвечают, «где день, где ночь». Так как скитанья производятся по 40 и более лет, то есть ли какая возможность навести необходимые справки! Со всей строгостью и полным дознанием вести процесс невозможно; а так как за пристанодержательство полагается наказание и виновные в нем привлекаются к суду, то бродяги не показывают тех, кто им оказал гостеприимство; да, наконец, если бы бродяги показывали справедливо, то по показанию каждого из них пришлось бы посадить человек по сотне, у кого они бывали и жили, что даже практически невыполнимо. Впрочем, бывают и справедливые показания; тогда бродяга-плут, отправляясь с заседателем в деревню для уличения, обирает крестьян, которые откупаются от его показаний; многие из таких ездивших, как их называют, «на следствие», привозят шубы, деньги и вообще наживаются. Это же, конечно, иногда дает доход и следователям.

Наш закон относительно бродяг нельзя назвать слабым и непредусмотрительным; напротив, за все обходы и увертки положено наказание, так же, как и приняты меры для открытия личности. В Сибири как ссыльной колонии, где бродяжество развито преимущественно между ссыльными, меры эти несравненно строже, как и наказания. Во-первых, все бродяги, непомнящие родства, пойманные в Сибири, судятся и наказываются как ссыльно-поселенцы, хотя и не оказали клейм и знаков наказания (ст. 816 XIV т. Уст. о ссыл.). Побегом для поселенцев считается отлучка без вида и дозволения в продолжение семи дней (ст. 802). Побег ссыльных с дороги, из партии, считаются как

побег вне Сибири, за что наказание еще строже (ст. 815, там же). Сам судебный процесс ссыльного и бродяги в Сибири обставлен иначе, и они судятся без прав, предоставленных в суде остальным гражданам. Мы ознакомим с этим процесс тех, кто его не знает, по своду законов. За побег, предоставленные судебному рассмотрению, в Сибири судит суд первой степени. Суд производится в уездном суде и утверждается губернатором. (Для более важных ссыльных и бродяг, совершающих крупные преступления, существуют военные суды.) Показания отбираются не по пунктам, а записываются со слов. Отречься от подписанного или изменить смысл его дополнениями и толкованиями подсудимый права не имеет. Все объяснения не принимаются во внимание; у подсудимого суд первой степени не отбирает допроса о беспристрастии. Очистительной присяги он лишен. К рукоприкладству и прочтению записок по делам уголовным ссыльные в губернских судах не призываются. На решения полицейских и судебных мест отзывы от ссыльных не принимаются. Ссыльный, оставленный в подозрении, судится строже за новые преступления. Поселенец судится как каторжный 3-го разряда, последний как каторжный 1-го разряда, срочный и т. д. Наказания ссыльным, переведенным на завод за побег, делаются как каторжным, принимая во внимание число побегов, причем за каждый наказание увеличивается. За преступление ссыльные от телесного наказания не освобождаются: ни женщины, ни престарелые, ни увечные – но мера наказания соразмеряется их силам¹. (Ныне женщины избавлены от телесного наказания, для остальных же ссыльных оно остается в полной силе и после реформы.) Из этого видно, что ссыльному мало давалось средств к оправданию и никакой веры; он наказывался без отговорок, наказания носили чисто ка-

¹ Все это изложено буквально в статьях 844, 857, 858, 864, 865, 866, 867, 868, 830 Устава о ссыльных, XIV том Свода законов.

рательный характер, и доведены были до maximum'a. Вот таблица этих наказаний:

Каторжным первого разряда бессрочным за 1-й побег 60–80 плетей и 10–12 лет в испытуемых; за 2-й побег 80–100 и 12–15 лет в испытуемых; за 3-й побег 2000–3000 шпицрутенгов и 15–20 лет в испытуемых; за 4-й побег высшая мера 3-го, т. е. 3000 шпицрутенгов.

Каторжным срочным первого разряда: за 1-й побег 50–60 плетей с продолжением работ и прибавкой 10–15 лет; за 2-й побег 50–60 плетей и набавление работ 15–20 лет; за 3-й побег 80–100 плетей и работы без срока.

Каторжным третьего разряда за 1-й побег 40–50 плетей и в рудники с продолжением работ без срока.

Ссылно-поселенцам за 1-й побег 20–30 плетей; за 2-й побег 30–40 плетей и в завод от одного месяца до одного года или содержание в тюрьме 1–2 года; за 3-й побег 40–50 плетей и в работы от 3 до 4 лет; за 4-й побег и последующие 50–60 плетей и на 4–6 лет на каторгу.

Эти наказания назначались за побег каторжных и ссыльных в Сибири, за побег же вне Сибири или за переход российской границы наказания усиливаются. Каторжный 1-го разряда бессрочный за 1-й и 2-й побег вне Сибири судится, как за 3-й в Сибири, а за последующие побег, как 4-й. В такой же постепенности возвышаются наказания и для остальных. Таким образом, minimum наказания за побег для поселенцев и непомнящих 20 плетей и, как утвердилось на практике, четыре года работы в заводах; за переход же российской границы 40 плетей. Ныне для каторжных и поселенцев сделаны смягчения в том, что уничтожены клейма и шпицрутенги; остальные же телесные наказания остаются в полной силе, только вместо шпицрутенгов дается 105 плетей.

Как видим, на легкость этих наказаний нельзя пенять криминалистам; здесь истощены были все средства устрашения, и даже когда-то бывали конфирмации о на-

казании «без медицинской помощи». Оставивши рассмотрение наказаний со стороны гуманности, мы коснемся их практических результатов. Такие наказания несколько не устрашали ссыльных; они приводили только к тому, что арестанты прибегали, в крайнем случае, к обходу наказания другими средствами, и это стремление выкупалось новыми жестокими страданиями. К числу этих средств относилось вытравливание прежних клейм и самоуродование. Чтобы избавиться от работ, каторжные и донные прибегают к самым ужасным средствам: обрубают себе руки, переламывают ломом ноги и проч. Для вытравливания клейм употреблялись нарывные пластыри, мушки, крепкая водка, серная кислота, ляпис, гноение ран по несколько месяцев, каленое железо и привитие сифилиса. Мне один каторжный указывал как на лучшее средство, употребляемое для этой цели, на прокалывание шилом тех точек, которые произведены иглами машинки; так как таких точек много, то это было довольно медленное мученье. Как ни мучили себя бродяги, однако клейм выводить не научились, и их за шрамы судили так же, как и за клейма. Кроме того, каторжные узнаются по знакам кнута, плети или «строевым знакам». Но на это являются показания, что следы ударов существуют не от наказания по суду, а от случайных причин: так бродягу бьют иногда крестьяне, иногда секут свои же бродяги. Эти случаи у нас нередки; поэтому и эти признаки не могут служить верным признаком ссыльного, а склоняться в заключение в одну дурную сторону было бы несправедливо и несовместно с законом, хотя это иногда и делается. Телесное наказание бродяги и каторжные пробовали обходить или смягчать с помощью подати палачам, взяток и т. п., но в крайнем случае оно все-таки их не устрашало, как ни было сильно. В прежнее время люди выносили страшные степени этих наказаний; выхаживали по 6000–7000 сквозь строй, и все-таки их тяжесть побегов не удерживала. Бы-

вали такие, как солдат Горлов, который в свою жизнь 9 раз прошел сквозь строй и каждый раз не менее 1000 и полуторых. Бывали наказанные по 12 раз. Есть люди на ка-торге, которые, несмотря на все усилия и беспощадность наказаний плетьюми, в виде дисциплинарных наказаний на заводах, все-таки *отбиваются*; так мне рассказывали про казака, сосланного на заводы, который не хотел ни за что работать, несмотря на то, что начальство над ним употребляло все средства наказания, конечно, телесного; в конце концов, принуждены были выслать его с завода, как неспособного.

Ныне телесное наказание обыкновенно совершается над бродягами в стенах полиции (только важных наказывают на площади), где все основывается на произволе экзекутора, которым бывает кварталный. Бывает, что и палачи вносят в наказание личные симпатии. Был, например, когда-то палач в Тюмени, который особенно был жесток относительно женщин. Сплошь и рядом палачи имеют свои расчеты с арестантами, и наказание колеблется от мягкого к строгому. Все это даже по закону не выполняет точности степени наказания и делает его отчасти несправедливым. Сама степень телесного наказания для некоторых ссыльных бродяг слишком строга; в общем же применении телесного наказания для бродяг оно захватывает таких субъектов, которых закон, вероятно, и не хотел наказывать телесно. Так, сибирские крестьяне и другие свободные сословия, выдающие себя почему-нибудь за «непомнящих», наказываются плетьюми, хотя плети не полагаются им за сами высшие преступления. Строгость наказания скорее способствовала разрыву с обществом и огрубляла человека. Все бродяги и ссыльные смотрят на наказание стоически и считают его неизбежным спутником своей жизни: как спартанцы, они закалены в нем. Есть пословица: «лиха беда нагнуться, а не лиха беда отдуться». «Человек прибьется – ровно

скот станет, – говорят они – все равно ему. Нас битьем не уймешь». Если телесные и устрашительные наказания не могут действовать на личность свежую, то подавно они не могли подействовать на человека закрутого, каторжно-го, привыкшего к лишениям и истязаниям. Они вносили в характер его только более непримиримости. Телесное наказание в этом случае, как доказал опыт, не только не усмирало подобных людей, но только закаляло, раздражало и способствовало огрубению. Человек, испытавший плеть, розги, побывавший на эшафоте и перенесший физические страдания, уже ничего не боится. Мало того: он делается жесток, хладнокровен к страданиям и другим: ни муки, ни стоны, ни кровь ему не редкость. Скоро он впадает в бесчувственность, в зверство; он только мстит и мстит кровью же. Величайшие злодеи, величайшие разбойники и хладнокровные убийцы являются только из каторжных. Это свидетельствует вся история разбойников. Рационально было бы, чтобы телесное наказание как бесполезное для предупреждения преступления ссыльных и как всего менее способствующее исправлению, а, напротив, воспитывающее зверство, с реформой наказания было отменено для ссыльных, как отменено и в России. Сибирские площади еще до сих пор испытывают это деморализующее и потрясающее зрелище.

Не менее внимания следует обратить и на другие наказания. Для арестанта в сроках работ чуть ли содержится не более наказания, чем в телесных наказаниях. Нынешние ссыльные, по крайней мере, хлопчут, скорее, о смягчении сроков в каторжных работах, чем о наказании телесном; конечно, это не говорит в пользу последнего, но характеризует первое. Главная причина побегов все-таки заключалась в больших сроках работ и тяжести их. В самом деле, мы видали арестантов лет 50-ти с лишком, приговоренных за побег лет на 20; иногда и эти сроки еще увеличивались вдвое. Оттого всякая надежда покидала

арестанта. Горько он встречал свой приговор, и с большой злобой говорил своими острожными стихами:

Вышло мне решенье,
Чтоб не ждать мне утешенья!..

Ведь для самого отчаянного преступника должна же быть когда-нибудь надежда. Этот принцип есть в нашей каторге согласно законодательству, но при учащенных побегах он терял силу, и срочность постоянно превращалась в вечность¹.

В заключение мы осмелимся замолвить слово в защиту людей самых несчастных, подвергшихся страшному и неизгладимому наказанию в прежнее время, – каторжных *заклейменных*. С отменой *клеим* они одни несут это старое пятно; им нет выхода в гражданское общество. Эти старые ветераны, обремененные за побег страшными сроками, все еще ищут спасения в побегах, хоть на время; но, как *таврены* кони, они везде узнаются, и потому испытывают вдвое горшую участь против остальных. Точно так же есть много людей, которым тяжело было при прежних порядках уживаться, и они уже целые десятки лет несут ряд тяжких наказаний. В сложности они переработали десятки лет на каторге, но все не достигали срока; в сложности они перенесли много, много плетей. Они теперь хилы, дряхлы. Мы видали их в ссыльных острогах. Они бы ничего не желали, кроме покоя. Их горькая судьба заслуживает милосердия.

Изыскивая причины бродяжества, мы уже замечаем, что прежние лекарства к его искоренению были далеко неудовлетворительны. Меры строгости против бродяжества и неестественное положение при поселении бродят

¹ Укажем, между прочим, что в европейских новых наказаниях наказание за побег каторжным значительно уменьшено. Так, в Ирландии за побег каторжный наказывается только увеличением срока на 2 года. (*Гольцендорф* Ф. Указ. соч. С. 26.)

дадут те же дурные результаты. Разнесся слух между бродягами, что крестьяне их будут перелавливать и представлять начальству.

– А мы будем красть, жечь, резать сибиряков! – говорили самые запальчивые.

Разнесся слух, что их будут селить около укрепления Верного в Западной Сибири: «...что же... и оттуда будем бегать!» – говорили бродяги. Такой же слух о переселении бродяг на Амур произвел между ними совершенный бунт, так как, по опытам, переселение на Амур между ссыльными есть синоним голодной смерти.

Таким образом, судебный процесс, как и уголовные наказания ссыльных и бродяг, не достигает своей цели. Весь процесс остался формальным, и жизнь выработала для него всевозможные фикции; усиленные же наказания, по существу своему, действовали обратно и только развивали побег. Устрашение здесь не играло никакой роли, кроме той, что воспитывало личность черствую, загрубелую, которую затем уже ничто не могло потрясти. Стесненное и каторжное положение на заводах только вызывало стремление уйти во что бы ни стало. Теперешняя каторга и заводы не столько способствовали исправлению преступников, сколько преследовали экономические цели. В наказаниях с большими и усиленными сроками работ, прибавляемых за побег, личность теряла надежду когда-нибудь отсюда выйти, и все более и более запутывалась. Чтобы рассечь этот гордиев узел, необходимо положить новый принцип в основу наказания – исправление. Работы должны быть естественным побуждением личности, притом за плату, а сроки их обусловлены хорошим поведением. Современная наука указывает мотивы, какими должно руководствоваться наказание. Ссылка на поселение также не достигала своей цели: личность, поставленная в дурные условия и необеспеченная, не делалась оседлой; она имела мало побуждений к труду; перемещаясь в готовое

гражданское общество, она переносила только свою вредную деятельность из одного общества в другое.

VIII. Профессии бродяг

Коснувшись в первых двух статьях нравов и внутренней жизни бродячества, я намерен теперь обрисовать профессии бродячего населения и занятия его во время дороги, которые вполне характеризуют его влияние на страну и определяют характер ссыльного в Сибири. Бродяга идет по Сибири свободно, заходит в деревни и там находит приют и занятия. Странствование его по пустыням Сибири – скорее случайное и вынуждаемое особенной крайностью; в сущности, он всегда предпочитает теплую крестьянскую баню, ищет деревенского кабака, а главное – ему нужны люди, которые бы подавали ему милостыню.

Бродяга как пришелец из другой среды, как ссыльный хорошо подметил характеристические стороны сибирского крестьянства, его склонности, слабости и недостатки, но, как человек, привыкший к другой обстановке, он не мог освоиться со всеми особенностями сибирского быта и примириться с ним. Странным ему кажется сибирский вольный крестьянин, работающий несравненно менее серого мужика русских губерний, и потому ссыльный назвал его ленивым; буржуазный и промышленный дух этого крестьянина, его сметка и хитрость сильно противоречат понятию о крестьянине как о простаке, а потому ссыльный называет его плутом; иные обычаи сибирского крестьянина и приемы хозяйства кажутся пришельцу совсем уже дикими: как, например, понять ему, что сибирский крестьянин не жалеет леса и часто, срубив гигантское дерево, бросает его без всякого употребления? Небрежное обращение с землей, которой не дорожит си-

биряк, со скотом, которого у него много, – все это кажется нелепым и нерациональным; суровый и грубый характер зверолова, маклачество промышленника возбуждают антипатию поселенца к их характеру; лесная жизнь, полная опасностей, наездничества и воинственности, кажется им дикой. «Посмотреть на него, как он верхом с палкой за волками гонится, – так сущий азиат!» – говорит поселенец. Как отличается сибирский крестьянин от российского, можно видеть на новоселах. Новоселы скромны, забиты, честны, набожны и трудолюбивы; сибиряк плутоват и более суеверен, чем религиозен, склонен к кулачеству и обманам. Нравы тех и других также разнятся, и обе стороны долго пикируются, пока новоселы во втором поколении не преобразятся в сибиряков, не изменят языка, и окончательно не ассимилируются Сибирью. Поселенцы¹ являются еще более яркими противниками сибирских нравов; по их убеждению, у сибирского крестьянства только и есть хорошего, что чистота да опрятность. Бродяга, как и поселенец, чувствует еще большую антипатию к краю и его жителям, чем новосел; бродяга смотрит на сибиряка свысока и осыпает его насмешками. «Желторотые», «сибиряки – соленые уши» (это перенесено с пермяков), «сибиряки, как родятся, так три дня слепы бывают» (это перенесено с мазуров), «Ермак Сибирь оглоблей крестил» – так поселенцы и бродяги посмеиваются над сибиряками. Мужиков они зовут «чалдонами», «братанами» или «братаванами». «Никакого здесь образования нет, – говорит поселенец, – одно слово – глушь; только одна Тобольская губерния немного похожа на Россию, да еще на Барабе увидишь российский народ, а то все сибирячье!»

Столкнувшись и освоившись с крестьянством, бродяги скоро подметили в нем стремление к приобретению денег и жажду к обогащению, доходящую до буржу-

¹ Слово *поселенец* в Сибири имеет более узкое значение, чем оно имеет в литературе: оно означает только ссыльно-поселенца.

азной шейлоковской мании (81). Точно так же обратили они внимание на невежество сибирского крестьянства и, вследствие влияния инородческого элемента, на особенно развившееся здесь суеверие. Бродяга-поселенец воспользовался всеми слабостями и потребностями населения для извлечения из этого своих выгод и, соображаясь с ними, создал свои занятия. Мы приведем их в последовательной классификации.

1) *Бродяги-работники*. Обычай брать бродяг в работники существовал и существует везде, где накоплялось такое население: в Новороссии, например, нанимают бродяг в хутора; на каспийских рыболовных промыслах, на Дону они всегда принимались в артели; многие помещики в России не отказывали бродягам, изъявлявшим желание наняться в работники. В Сибири трудящемуся бродяге было еще больше простора: при свободе и отсутствии преследования он мог легко здесь пристроиться; при нужде и потребности в руках он мог быть полезен и найти себе занятие.

Самым обширным поприщем для бродяжеского труда были прииски. В прежнее время лихорадочной и кипучей золотопромышленной деятельности на приисках рады были всяким рукам, особенно за дешевую плату; и действительно, многие прииски принимали бродяг. Труд на золотых приисках известен: труд этот – каторжный и изнурительный; здесь ценится наибольший физический труд, сила и неустанность в работе, но уже это одно не в характере бродяги. Замечено некоторыми, что поселенцы на приисках работают хуже крестьян; бродяга же считается и на заводе, и в деревнях совершенно неумелым и ленивым, а между тем на прииске от него, как от человека, юридически не огражденного, больше требуют и больше наказывают. Притом приискатели-хозяева, постоянно обчитывающие и обманывающие на плате даже свободных работников, конечно, бродяг заставляют трудиться чуть не даром. Таким образом, если свободные рабочие, оставившие у прииска-

теля паспорта и заключившие контракт, постоянно бегают с приисков, то бродяге, поставленному в стеснительное положение, путь никогда не был отрезан: если жили они и работали, то от крайней безвыходности, — и в конце концов все-таки убегали и отсюда. Впрочем, нынче прием бродяг на прииски если и существует, то в меньших размерах: начальство строже следит за паспортами.

Несравненно легче бродяге устроиться у крестьян. Сибирское крестьянство любит бродяжеский труд потому, что он дешев, помощь его всегда пригодна и особенно в страду, в покос; бродягами охотно пользуются крестьяне-антрепренеры, имеющие обширные хозяйства и обрабатывающие их наемным трудом. На деревенские работы бродяги ходят иногда большими партиями: так, в одной деревне Томской губернии, имеющей населения всего 100 душ, раз жило их до 80. Многие крестьяне держат по пять и более таких работников. В некоторых местностях в каждой деревне можно встретить человек по десять работающих бродяг. Бродяги принимаются в работники крестьянами по всей Сибири, но преимущественно в глухих и нетрактовых местах; при проезде начальства их выпроваживают на время в лес. Но при всем том бродяги не заживаются в работниках, что зависит и от стремления бродяг пробраться в Россию, и от тяжелой эксплуатации, какой подвергается их труд. Большая часть помогает крестьянам только во время страды, остальное же время бродяжит.

Условия труда бродяги-работника очень незавидны во время работы у крестьянина. Последний дает бродяге заработную плату гораздо ниже, чем вольному, и часто по личному своему усмотрению. В Томской губернии бродяга косит десятину за 1 руб. в то время, как за эту же работу вольному работнику дают 1 руб. 50 коп.; за сто копен бродяга получает 5 руб., а вольный 8–9 руб.; рубить дрова бродяга берется за 15–20 коп. сажень, а вольный не менее 30 коп.; поденная плата бродяге от 15 до 25 коп. серебром.

В Енисейской губернии, где труд дороже, бродяге дают за десятину 1 руб. 50 коп., а вольному до 3 руб.; поденная плата вольному 50 коп., а бродяге 15–20 коп.; если нанимают по неделям, то дают 1 руб. в неделю. Труд при этом, конечно, требуется неутомимый. Бродягу не жалеют и обременяют, как раба; притом срок труда совершенно во власти хозяина, который по миновании страды отказывает бродяге: воспользовавшись им на две-три недели, с ним уже не церемонятся. Расплата с бродягой часто очень плохая; если хозяин и ничего ему не отдаст, бродяга не смеет на него жаловаться земской полиции. Впрочем, бродяги придумали средство принудить хозяев честно с ним рассчитываться. Если хозяин выгонит бродягу-работника без платы, то бродяга объявляет себя в волости бродягой и показывает, что работал у такого-то крестьянина; конечно, он попадает в острог, но зато и крестьянина потянут туда же, если тот не откупится. За обманы и даровое пользование трудом бродяги мстят хозяевам и другим способом. Несколько лет назад около Томска один казак имел заимку; заведя обширное хлебопашество, он пригласил к себе на работы бродяг, но по окончании работ прогнал их от себя, не заплатив им ни копейки за их тяжелый труд; бродяги ушли; но через несколько дней, подъезжая к заимке, жадный казак увидел дым столбом и застал только пепел от своих построек: обиженные бродяги не остались в долгу у кулака.

Часто бродяга теряет не только деньги, но и саму жизнь. Рассказывают, что во многих деревнях есть крестьяне, постоянно пользующиеся бродяжеским трудом бесплатно; если бродяга грозитя донести на них, они убивают его. Я видел одного латыша-бродягу, который показывал мне на шее следы петли. Он работал на пашне у крестьянина; по окончании работы он потребовал с хозяина денег за четыре недели и четыре дня труда; крестьянин затеял с ним ссору и с помощью другого своего

работника накинул на бродягу петлю и начал давить; последний с трудом освободился и бросился в деревню, куда потребовал и мужика, думая предъявить жалобу начальству. Кончилось, однако, тем, что бродяга взял 15 руб. с крестьянина за покушение, а жалобы не принес. Иногда крестьяне, хотя и дают плату бродяге, но вслед затем едут по дороге за ним и в лесу обирают его или убивают. Бывают случаи, как мне рассказывал тот же латыш, что мужики убивают бродягу, чтобы не заплатить каких-нибудь два рубля. В Томской губернии есть деревни, которые постоянно прибегают к такому способу обирания бродяг.

Для бродяги работа у крестьянина вообще тяжела; но у богатых мужиков и мироедов, которых в Сибири много, жизнь работника особенно бедственна. Его обременяют трудом, как ломовую лошадь, давая как можно менее отдыха и закливая деньги; про этих мужиков говорят: «не дай Бог жить у богатого мужика: хуже его нет на свете; он тебя всего выжмет и денег не отдаст». Обращаясь варварски с вольным работником, такой хозяин еще жесточе обращается с бродягой. Но если невыгодно жить у богатого мужика, то у бедного приходится работать только из-за хлеба; тем не менее бродяги предпочитают последнее. Так зимует, например, несколько человек в полевой избушке на покосе; крестьянин отправляет с возами ежедневно мальчика за сеном, за дровами, и бродяги снаряжают возы, рубят дрова и работают на хозяина, а за это получают ежедневно ковриги хлеба и скудный приварок.

Бродяга, живущий в работниках, все-таки стеснен и должен постоянно опасаться за свою участь. Вот, например, как исполняется ими ямщицкая обязанность: везет он проезжих до станции и, как только подъезжает к деревне, то немедленно соскакивает с козел, пуская лошадей вдоль улицы: пассажиры ахают от изумления, но скоро к ним прибегает крестьянин и заявляет, что они едут к нему и что он вышел их принять; исчезновение же ямщи-

ка объясняется тем, что он – бродяга и боится показаться в чужой деревне.

Бродяги берутся за разные профессии: они служат караульщиками, пасечниками, пастухами, мельниками и т. п., занимаются также и ремеслами. В этих случаях они живут по нескольку дней у какого-нибудь крестьянина, обязавшись ему работать. Есть портные, сапожники, мастера черков, бродней, шорники, слесари и столяры. Такие ремесленники имеют бездну заказов. Одни из них делают гребни, получая 5, 10 коп. за каждый, другие – медные кольца; третьи рисуют картинки, плата за которые художникам не превышает обыкновенно 3 коп. за штуку. Значительная часть бродяг плетет корзины, делает метлы, лопаты и т. п.

Бродяжеский труд едва ли приносит много пользы для страны: во-первых, он не распределяется и не направляется правильно по стране, а является чисто случайно; во-вторых, он очень непостоянен; он не отличается добросовестностью; многие бьют лишь на то, чтобы, нанявшись в работники, что-нибудь стянуть и тайком удрать. «Какие мы работники! – говорил мне бродяга. – Наш брат ведь больше норовит надуть мужика». Кроме того, крестьяне боятся ответственности за принятие бродяг, держат их осторожно и далеко не все. Иногда бродяги, проживавшие очень долго в деревне на положении оседлом, были открываемы начальством, и общество недешево платилось за пристанодержательство; недавно в Томской губернии взяли бродягу, который имел уже собственный дом и жил в деревне 25 лет.

Трудящаяся часть бродячего населения, конечно, заслуживает некоторого участия и покровительства.

2) *Бродяги-нищие*. Нищенство составляет привилегированную и наиболее распространенную профессию бродяжества. Им пропитываются все бродяги во время своей длинной дороги. Как люди беглые, без копейки денег, без

всякой оседлости, не смеющие нигде остановиться надолго, постоянно гонимые и скрывающиеся, они, естественно, должны обратиться к этому способу пропитания. Труд – не их сфера: работать берут не везде, разве только в самых глухих волостях; притом труд бродяги все-таки временный, и, пользуясь им недолго, бродяга идет в дорогу без ничего, в качестве нищего. К тому же крестьяне не могут всем бродягам предложить работу; да и не все бродяги способны к этому; это очень хорошо видно из зимовок около деревень, где на несколько работников приходится десятки приютившихся по избушкам и заимкам около деревень и питающихся милостыней. Бродяги и по своему положению, и по своему характеру мало склонны к труду.

Большая часть из них выходит бродяжить из рудника для отдохновения, для сладкого *far niente* под кустом или в балагане.

– Что ты не работаешь? – говорит крестьянин такому бродяге, – ты хоть бы на себя заработал одежонку, бродки бы завел: смотри ты какой!..

– Ну, нет, брат! – отвечает ему тот, – я и с завода ушел от работы! Буду я тебе спину гнуть!.. шалишь!

Подавать бродягам милостыню и давать им приют побуждает крестьян и опасение от них воровства, боязнь их мести и жалость к их положению. Ввиду беспомощности нищих-бродяг крестьяне относятся к ним не только не враждебно, но даже несколько сочувственно: они подают им довольно щедрую милостыню, так как излишек подаяния бродяги даже продают. В разных местах Сибири заведен обычай оставлять подаяние в поле и в деревнях во время страды: в Забайкалье оставляют омулей для проходящих бродяг; в Иркутской губернии припасают хлеб и мясо по заимкам; на Барабе ставят молоко и хлеб около изб для того, чтоб не беспокоили хозяев. Бродяги, входя в деревни, держатся своих правил при сборе милостыни: гурьбами им ходить невыгодно, а потому они идут по два

через деревню, – один по одной стороне, другой – по другой. Только что пройдет одна пара, выступает другая, затем третья и так до вечера.

Бродяги-нищие – крайне жалкий народ; они все скромны, боязливы, забиты и угнетены нуждой. Как тени, исхудалые и оборванные, они проходят деревни и скитаются по балаганам; стоит проезжему крестьянину припугнуть их, и они рассыпаются в стороны или начинают жалобно молить его оставить их в покое.

Свою профессию нищенства бродяги называют *стреляньем саватеек*, отчего они и получили у крестьян название *саватеечников*. Как ни жалка и ни унижительная эта профессия и постоянное конюченье, известное под именем *тянутия бирюка*, но привычка заставила бродяг не стесняться и даже довольно весело приправлять прошение милостыни разными прибаутками.

Необходимость и крайняя нужда заставляет бродяг быть настоящими и часто довольно смелыми в деле прошения милостыни; они обращаются даже к писарям и к сельскому начальству. Мне рассказывали про двух бродяг, которые, проходя через губернский сибирский город, явились к окнам самого губернатора, конечно, нечаянно. Губернатор был добрый человек; узнав, что они бродяги, он дал им три рубля, посоветовав убраться из города; но бродяги скоро снова явились за милостыней, объявив, что не могли еще почему-то собраться, и получили снова денег; наконец, они явились и в третий раз: возмущенный такой настойчивостью и бесцеремонностью губернатор приказал наказать их при полиции розгами и выпроводить из города.

Бродяги-нищие терпят недостаток как в пище, так и в одежде. Уходя с заводов, они уносят какую-нибудь мережку, промокающую во время дождя, как решето; на ногах у них надеты дырявые черки, а летом многие обходятся и без них; рубахи их представляют грязные лохмотья. Бегущие из арестантских рот и солдаты терпят еще более стес-

нений в одежде: официальный костюм часто приходится бросать, и вот несколько десятков верст бредут они в одних рубахах, босиком и без шапок. Во время побега другие выходят и нагишом, а потом выпрашивают где-нибудь разное отрепье. Обыкновенный костюм бродяги так ветх, что в остроге продают иногда сермяжную однорядку за 6 коп. Поэтому зимой самым бедным бродягам ходить невозможно: редкий из них имеет дырявый полушубок, больше армяки, иногда и эти изорванные. Необходимость идти в холод заставляет таких несчастных обкладывать себя сверх рубахи сеном и потом уже надевать армяк; кто может, запасается двумя рубахами и двумя штанами. В этих рублищах бродяги-нищие терпят страшное бедствие зимой: бураны, пурги, сибирские морозы действуют на них, как на мух. Ознобленных между ними всегда много: у кого ноги, у кого руки... раны долго не заживают у некоторых и в остроге. Мне рассказывали, что раз около Барнаула шла ватага бродяг; началась зима, застала их пурга; часть из них побежала вперед и достигла деревни; другие шесть человек заплутались, и все замерзли. Не дождавшись товарищей, передовые кинулись их отыскивать и, пустившись по дороге, испытали всю суровость зимы. Они все пообморозились, и только крестьяне, отправившиеся на помощь, спасли их. Весной в лесу находят бездну замерзших бродяжеских трупов. Не лучше судьба и тех, кто принужден укрываться на зиму в разные избушки и заимки около деревень. Здесь они живут целыми партиями в 10, 20, 30, 40 человек. Все они полуголые; выйти им нельзя; избушки дымные, грязные. Приведу здесь один мне известный факт подобной зимовки. Десять человек бродяг расположились в холодной избе; ни один из них не имел одежки, в которой бы мог пройти до деревни; между тем нужно есть, и вот для двух депутатов, отправляемых ежедневно в деревню за хлебом, собирается туалет со всех: у кого бродни получше – снимает бродни; кто дает шапку,

кто штаны, кто кафтан. Покуда двое ходят – остальные коченеют от холода. Зима поэтому – самая трудная пора для бродяги-нищего. На лето он уже менее стесняется, но все-таки сплошь да рядом студится, коченеет и промокает на дожде. Лихорадки – постоянные их спутники.

Такова жизнь нищих-бродяг; но как ни печальна и ни бедственна она, однако ни мороз, ни бедствия, ни голод не останавливают побегов. Несколько месяцев воли для бродяги дороже жизни; так есть ли время думать о платье, о средствах пропитания?.. Всего печальнее, что нищенствует народ сильный и физически способный к труду. Принимая во внимание громадное число бродяг, мы, конечно, не должны упускать из виду, что нищенство их ложится все-таки тяжело на крестьянство, которое постоянно кормит до 30 000 непроизводительного и бесполезного народа.

3) *Бродяги-воры*. Одним нищенством бродягам во всяком случае не прокормиться, а поэтому воровство составляет необходимую принадлежность бродяжества. Едва ли найдется хоть один бродяга, который бы не крал. Обдерганный, в лохмотьях, голодный, он только этим и может спасти себя от голодной смерти. Под влиянием страха и частых преследований он принужден иногда выбирать одно из двух – или кормиться воровством, или быть пойманным. Но воровство, бывшее сначала результатом голода, обращается в привычку и совершается при малейшей потребности, хотя и второстепенной: захочется выпить водки – крадут; захочется поволочиться – крадут. Затем оно становится профессией, к которой прибегают, как к средству постоянного существования. Воровство по необходимости очень естественно в бродяжеском быту. Подаяния не всегда и не всем доступны: при громадном количестве просящих милостыню ею нельзя удовлетворить всех вполне. Часто бродяги ставятся вне возможности заходить в деревни, где почему-нибудь их задерживают; тогда приходится добывать пропитание, кто как знает,

а кроме воровства, едва ли им можно придумать что-либо другое. Если крестьяне скупы на подаяния, то они за это платятся убытками от краж. Бродяги воруют по большей части съестное, чтобы не умереть в лесу без пищи, или таскают одежду, чтобы не замерзнуть среди поля. Я приведу два рассказа, ходящие между бродягами, из которых видно, что кражи из необходимости оправдываются даже в глазах крестьян.

По одной из деревень проходил нищий-бродяга, совершенно обносившийся; белье его было в лохмотьях; вши его заедали; долго ходил он по деревне и молил мужиков, даже на коленях, дать ему рубаху, но никто над ним не сжалился; наконец, он подошел к богатому крестьянскому дому и также начал молить, но и здесь хозяйка отказала ему наотрез. Бродяга ушел; но зато ночью пробрался во двор богатого мужика и, найдя около окон на жердочке развешенное белье хозяйки, взял его, а взамен повесил свое отрепье. Наутро хозяйка только ахнула, увидав покражу; но хозяин по оставленной рубахе догадался, кто вор. «Вот видишь ли, жена, – сказал он, – ты вчера пожалела бродяге дать рубаху, а сегодня он сам ее у тебя взял. Я промолчал вчера, потому это – твое хозяйское дело. Если бы я был на его месте, я сделал бы то же самое, да еще, пожалуй, и в сундук бы залез к такому богатому мужику. Вся деревня вчера видела, как бродяжка ходил от двора к двору да просил рубахи; никто ему не давал; вот я теперь и покажу бабам, какие рубахи и порты носят бродяги». Мужик взял на палку грязное и покрытое мириадами вшей лохмотье и понес показывать по деревне как горький упрек. «Подавайте вперед бродягам, – говорил он бабам, – видите, в чем они ходят».

Другой бродяга также обносился в дороге; надо было добыть платье; дело было зимой. Вот он ночью пробрался в дом богатого мужика, вытащил раму и начал шарить. На гвозде он находит рубаху, шапку, хороший полушубок и

суконный капот; все это надел на себя; пошарил еще, нашел сундук, который был заперт: он не стал его ломать, поскорее выскочил в окошко и вставил опять раму. Старую свою одежку, в которой неприлично уже было идти, и котомку он бросил на задворках и пустился по дороге. Увидя наутро покражу, мужик недоумевал сначала, как она сделана, наконец, открыл и, зная, что это какой-нибудь бродяга, пустился с работником за ним в погоню. В нескольких верстах за деревней он встретил вора и, придерживая лошадей, поехал шажком за ним и начал разговор. «Откуда и куда, любезный?» – «Иду к родным; мещанин из такого-то города», – говорит бродяга. «А-а. Вот я смотрю, вы и в дороге, а какая на вас одежда славная». – «Точно так, – говорит бродяга, – у меня везде по дороге завидуют этой одежде. Впрочем, я бы продал ее: говорят, по дороге-то опасно ходить хорошо одетым. Капотку бы я сбыл да, пожалуй, и полушубок; себе можно купить похуже». – «Тек-с, – замечает крестьянин, – ну, а вот бродни-то у вас больно обносились, господин мещанин: по-моему бы, уж не подходящее к такому платью-то». – «Что делать?.. дорога дальняя; надо будет, впрочем, купить сапоги». – «Ну что же! купите себе и сапоги, как купили полушубок и капот», – заметил мужик. Бродяга встрепенулся от этого намека. «Ну, братец, – тогда обратился к нему крестьянин, – садись-ка лучше с нами: мы тебя довезем, а ты нам расскажешь, где ты одежду покупал». Бродяга почувствовал всю безвыходность своего положения; он был во власти врага. Оставалось повиноваться, и он сел. «Ловко ты, брат, хватил у меня одежду! – начал снова крестьянин, продолжая ехать вперед. – Что же, отчего ты сапог не захватил у меня?» – «Да не нашел, дядюшка», – ответил откровенно вор. «А отчего же в сундук не заглянул? Там сапоги и деньги были». – «Да сундук был на замке». – «Сломал бы». – «Я, бедный человек, обносился; что нужно было, взял, а лишнее зачем портить!» – «Ну, спасибо! – сказал

мужик, – ведь в сундуке-то, только отопри, шестнадцать тысяч денег было!.. а все-таки, я вижу, тебе надо сапоги», – подсмеиваясь, говорил мужик. Бродяга тупо молчал и дожидал взбучки. «Что же, ты думаешь, я с тобой сделаю?» – «Я в твоей воле: бей сколько хочешь, только не убей, отпусти душу на покаяние», – говорил бродяга. «Ладно, брат, я тебя бить не буду; ты, я вижу, не разбойник и не грабитель; ты меня не много разорил; за это я тебе дам сапоги, а у тебя возьму твои бродни; разувайся!» Бродяга изумился такому великодушию, но крестьянин снял свои сапоги, надел его бродни, подсмеиваясь, что к хорошей одежде и обуви надо хорошую, и затем, отпустив бродягу, повернул назад.

Воровство вызывается необходимостью; но так как бродяги все бедны и все нуждаются, то и воруют все. Если вы будете советовать бродяге не воровать для безопасного прохода, то он вам ответит, что «без воровства пройти невозможно». Случается видеть самых скромных бродяг, которые, однако, сознаются, что крали, и иногда даже большие суммы денег у мужиков. Бродяги, пройдя сибирскую границу, по российским губерниям должны идти в порядочном платье и с деньгами, а потому, приближаясь к границе, они стараются обеспечить себя, и воруют чаще. Но у многих, как я сказал, воровство превращается в профессию и делается как в нужде, так и без особенной, настоящей нужды. Из числа приходящих в остроги бродяг попадают многие даже с порядочными деньгами, приобретенными воровством. Осторожные дамы преимущественно перед прочими осторожными ухаживают за бродягами, рассчитывая от них поживиться более, нежели от других. Бродяги по дороге всегда просят ночевать; их кормят, дают приют, а они высматривают, что стянуть. Один из таких мне рассказывал, как он в продолжение всей своей дороги, ночуя у мужиков, постоянно обшаривал избу и стягивал женские рубахи, полушубки,

деньги, и чуть что – утекал. Иногда бродяги поселяются в деревнях и входят в стачки с плутами из поселенцев, и те подводят их к богатым крестьянам. Кражи в деревнях, во время прохода бродяг, постоянны; обворовывают погреба, амбары, преимущественно снимается белье, повешенное для просушки. Как значительны бывают эти кражи, можно судить по следующему факту: в Дмитровской волости Тобольской губернии, в деревне Крестиках и соседней с ней украдено было 1000 рубак в один бродяжеский проход. Кражи производятся как в деревнях, так и в поле, около деревень. Здесь они уносят сошники от сох, обкрадывают балаганы во время пашен и крестьянский скот.

Надо заметить, что в Сибири по деревням воровать, как говорят бродяги, труднее, потому что наученные опытом сибирские крестьяне осторожнее, а в случае поимки вора настоятельнее в преследовании бродяг, чем российские. Подозрение во всякой краже обрушивается здесь всегда на бродяг; обыкновенно за вором кидаются по дороге; долго его преследуют и часто тут же, в поле, расправляются винтовкой. Поэтому бродяга прибегает здесь к более хитрым способам и старается провести мужика, что ему и удается. Вор-бродяга, имея в виду преследование, не понесет с собой добычу, а зарует ее, дабы не попасться с поличным, и только по миновании опасности выроет ее.

Крестьянский скот в поле подвергается похищениям бродяг. Лошадей крадут реже, потому что во время бродяжества лошади неудобны, и бродяги легко могут быть уличены и взяты с ними, но зато рогатый скот исчезает часто. Его караулят бродяги за деревней и на голодный зуб не дают маху: крадут коров, телят, свиней, баранов и проч. и проч. Ежели попадается крупный скот, то бродяги режут, скрывают его и питаются несколько дней, проживая около деревни где-нибудь на мельнице; мясо же лежит в соседней реке, чтобы не испортилось; тогда они сзывают проходящую свою братию и угощают ее на славу.

Не говоря уже о том, что бродяги, идя по пашням, пользуются крестьянскими овощами, за чем крестьяне уже и не гонятся, – они причиняют громадный убыток на пасеках. Чтобы подрезать мед, так как операция эта сопряжена с значительными затруднениями, они часто удушают пчел, замаривают их, разбивают ульи и похищают мед. В этом случае они совершенно подражают медведям, нисколько не заботясь о хозяине. Разорение пасек, конечно, очень чувствительно для крестьян.

Кражи бродяг самым разрушительным образом действуют на хозяйство сибирского крестьянства; делаются они из крайней, гнетущей нужды, но от этого крестьянству не легче. Поэтому немудрено, что крестьяне являются озлобленными и упорными в преследовании и наказании бродяжеского воровства. Несмотря на то, что расправа сплошь и рядом кончается убийством или жестокими побоями, воровство не уменьшается, и новые скитальцы-воры снова делают то же, что их предшественники, и нет этому конца.

Кроме воровства у крестьян, бродяги часто, и даже сплошь и рядом, обворовывают друг друга. Обворовывают сонных, пьяных, больных, а иногда прямо идут на грабеж и убийство. Пустыня, лес, покрывающий все тайной, конечно, много способствуют этому. Нужда, деморализация острого населения, жажда денег – все это обуславливает преступления даже в среде своих, хотя это порицается и строго наказывается общиной. Воровство неудивительно там, где все воруют. Воры отнимают ворованное же и теми же средствами. Недаром бродяги боятся друг друга в дороге и говорят: «А пуще всего, пуще зверя лютого бойся своего брата». Мне рассказывали следующий случай из практики этих несчастных горемык.

– Идя раз, – говорил мне бродяга Кузьма Иванов, – я познакомился с бродягой Дмитрием, ушедшим из арестантских рот. Это был славный человек: воровать воровал и грабил даже, но душ не губил и не любил тех,

которые губят. Он всегда имел при себе деньги. Из одной деревни он увел бабу, которая с ним и бродяжила. Оставив ее в лесу в балагане, он отправился на промысел. Срезал какой-то тюк с платьем, обобрал двух новоселов рублей на 40 и пришел потом к любовнице. Человек он был ловкий и живо обделывал дела. Переоделся он сам щеголем, дал переодеться любовнице в новое платье. Вскоре затем встречается он с двумя каринцами. Послал их за водкой, наделил платьем, дал черки, и пошли они гулять в балагане. Наутро опохмелились и пошли далее. Скоро они остановились обедать. Начали рубить дрова и стали пробовать у Дмитрия силу, заставляя его таскать громадные обрубки. Дмитрий опять послал за водкой приятелей, а сам надел чистую рубаху и уселся зашивать краденый полусубок. Любовница сидела подле него. Приходят каринцы с водкой и, выпивши, принялись перешептываться. Сметливая баба-сибирячка стала беспокоиться, но Дмитрий посмеивался над ее опасениями. «Что ты, – насмешливо спрашивали его каринцы, – белую рубаху надел, не на смерть ли собираешься?» – «Нет, так надел...» Но в то время как он нагнулся, один каринец хватил его обухом в голову. Дмитрия отуманило, однако же он вскочил – видно, вскользь ударили; в это время другой ему топором плечо разрубил – кровь хлынула. Дмитрий видит, дело плохо. Он схватил одного каринца, подтащил к дереву и давай душить за горло; оглянулся, другой стоит за ним с ножом; а баба помогает ему отнимать топор у того, которого он душит. Тут у него свет выкатился – он рухнулся... Очувствовался: любовница водой его отливает и плечо перевязывает. А каринцы, забравши деньги и одежду, да и над бабой еще наругавшись, ушли.

При таких условиях безопасности понятно, каким кражам, грабежам и убийствам подвергаются бродяги от своих же. Всем бродяжеством принято за правило не ходить в хорошем платье. Правда, бродяги за грабеж своих не

дают потачки и преследуют, судят, дерут и даже убивают виновного, но такие меры еще бессильнее, чем наказания в гражданском обществе. Притом на безнаказанность преступления здесь всегда больше шансов.

4) *Бродяги-обманщики*. Вслед за воровством бродяги по своему положению должны часто, волей и неволей, обманывать крестьян. Начинаясь невинными, эти обманы переходят в средства выманивать деньги и преобразовываются в профессию. Бродяги обыкновенно скрывают свое имя, место, откуда и куда они идут, врут крестьянам, сочиняют свои биографии; и это понятно, когда большая часть их из ссыльных и с заводов. Многие идут по фальшивым билетам и паспортам. Фальшивый паспорт – важная вещь для бродяги, и за него они платят дорого (за хорошие иногда по 25 руб. и более, за плохие 9–10 руб.), нередко даже убивают из-за них друг друга. Преимущества паспорта состоят в том, что с ним можно жить в городах и наниматься в работу на прииски и в другие места. Для безопасного прохода делают билеты на имя солдат и вписывают проходные удостоверения от полиции. Под именем солдат или казаков смелые бродяги часто даже требуют себе квартиры. Известно, что фабрикация паспортов незатруднительна. Она производится по острогам и в городах разными промышленниками этого рода. Продают их на рынках, в кабаках и шинках. «Приходишь, например, в Иркутск, – говорят бродяги, – и валяешь на Молотовку, к толкучему – конечно, надо одеться по-городскому. Здесь тебя замечают, кому нужно, потому нового человека видно. Сейчас подходит к тебе какой-нибудь пропившийся крюк и предлагает услуги. Мы заходим в первую лавочку, к его знакомому, рядимся, и он на листе валяет вид и печать при нем. Чуть является сыщик – толкнет; да к тому же они все известны». Но бродяжество, состоя большей частью из крайне бедных членов, ограничивается самыми плохими подделками: крестьяне, по незнанию и безграмотности, довольствуются

ся и такими. Другие бродяги, во время дороги, обходятся просто куском писаной бумаги с печатью, оттиснутой копеейкой, и это у крестьян сходит за паспорт. Некоторые бродяги носят, кроме вида, и резную печать для подновления; но такие, конечно, попадают при первом обыске. Бродяжество, однако, сознало эти неудобства фальшивой паспортной системы, и многие бредут просто, надеясь на свою бдительность и на свободный проход. Но зато на поприще обманов для наживания денег бродяги действуют гораздо успешнее. Как много воров, так много и обманщиков, да, пожалуй, и более, потому что обман безопаснее. В этих случаях профессии их разнообразны до бесконечности; бездна идет под видом странников по святым местам, раскольников, знахарей и лекарей, коновалов, колдунов, ворожей; все они стараются всеми силами выжать копейку. Крайне невежественное, суеверное и нуждающееся в самых необходимых знаниях крестьянство представляет для этого обширное поле. И всеми подобными профессиями бродяги злоупотребляют очень искусно.

Крестьянина, при его страсти к «божественному», обмануть легко, и в его избе часто происходит сцена, сообщенная мне одним из бродяг. «Является в крестьянскую семью, жившую на заимке, странник в белом холщовом подряснике, с длинными волосами и сумочкой на руке. Глаза опущены; лицо изображает смирение; он толковал и об Иерусалиме-граде, и о нападениях турок по пути, и о Гробе Господнем, от которого имел щепочку, и об огне с неба, и о войне из-за ключей, и проч. и проч. Затем крестьяне попросили его прочитать что-нибудь из Писания. Он вынул бумагу и начал читать об Антихристе. «Только смотрю я, – говорил работник, – а у него на бумажке-то все палочки наставлены, по которым детей учат писать! Что это так крупно написано?» – спрашиваю я его, а сам ухмыляюсь. «Это, – говорит, – по-гречески». Эти странники ведут себя скромно, и даже подавний берут мало, огра-

ничиваясь одним черным хлебом; зато они промышляют крестиками, святыми щепочками, камешками и, конечно, достают изрядную выручку. Я знаю случай, когда такой странник-бродяга очень заметно фигурировал в сибирских городах. Зашел он в Тюмень к одному купцу и здесь, прослыв за святого, стянул паспорт у одного слепого мещанина, жившего в доме купца, и, без всякого подозрения, продолжал жить. Скоро ему дали рекомендательные письма в Тобольск – эту Москву Сибири – где он был принят с распростертыми объятиями лицами, склонными к пиэтизму. Отсюда он пробрался в Москву. И только через год московская полиция сделала запрос купцу о проходившем бродяге-поселенце Иване Куликове и об украденном им паспорте. Под видом странников и юродивых, конечно, удобно проходить и питаться по деревням и по городам, почему многие бродяги играют роль раскольников; они подделываются под тон разных сект и находят себе приют и пропитание. Я видел одного, который играл роль раскольника до тех пор, покуда ему покровительствовали раскольники, а в остроге, когда его оставляли без помощи, изъявлял желание креститься, после чего он был требовательным к крестному отцу; он постоянно бегал, попадался, опять судился и, под разными именами, несколько раз из раскола переходил в православие.

Как бродяги эксплуатируют религиозную сторону народа, так удачно пользуются они и другой стороной его – суеверием. По всей Сибири вера в наговоры, заговоры, присушку, порчу и колдовство необыкновенно развита и распространена несравненно более, чем в России. В каждой деревне существуют порченые, особенно на Барабе, которые кричат на разные голоса, как кликуши, подвержены истерикам и требуют иногда самых причудливых вещей; болезнь эта наполовину накидная. Происхождение этой болезни крестьяне приписывают колдовству. В каждой сибирской деревне известны также средства

для присушиванья; они в большом ходу как между холостыми, так и между женатыми и замужними. Присушка пользуется необыкновенной верой. Как верят в присушку, так одинаково и в излечение наговорами. Пока еще не исследована точно причина особенного развития суеверия в Сибири, но бродяги пользуются им, и сами очень деятельно распространяют его.

Рассказывают, что при входе бродяг в деревню женщины кидаются к ним с расспросами, не умеет ли кто присушивать и нет ли между ними знахарей. В этом случае бродяги служат самыми близкими поверенными сердечных тайн. Некоторые бродяги нарочно несут с собой разные корешки, травы, камешки, глину и всякую дрянь для мистификации и лучшего удостоверения своего звания. Как только откроется знахарь, а за ним дело не стоит, сейчас же сбегаются женщины, несут молоко, хлеб, холст и обращаются с просьбами. Тогда бродяга-знахарь наговаривает на волосок, на щепочку, «дабы раб Божий N сох так же по рабе Божьей N, как эта лучинка иссохнет на печке». Способы обыкновенно изобретаются экспромтом; к колдовству присоединяется какой-нибудь материал вроде холста, который идет в пользу знахаря. В то же время бродяга издевается над женщинами. «Пришли мы раз в деревню, – рассказывал один из авантюристов-бродяг, – а с нами товарищ, знахарством занимался, таскал разную дрянь. Вот обступили нас бабы, сарай нам отвели, молока, яиц, шанег – всего наташили. Одна молодуха так и пристаёт к нашему насчет присушки. “Ладно, – говорит, а нам и шепни: – выйдите, мол, ребята, да и смотрите в щель, как я ворожить буду”. Мы вышли и стали в щель смотреть. Видим, баба уже трубку холста принесла нашему колдуну. Ладно, думаю, что только теперь он с этим холстом будет делать? А он, слышь, это всю бабу холстом обмотал. Потом – ну уж, что было потом, – и рассказывать нечего: и смех, и стыд. Потешник же был этот мужик –

прокурат да и только!» О ворожбе ходит у бродяг бездна разных игривых рассказов в декамероновском тоне: к ворожбе примешивается и разврат.

Кроме присушивания, у знахарей-бродяг является практика и в деле лечения колдовством. Приходит, например, муж и просит излечить жену от порчи. Знахарь обещает, а между тем знакомится с женщиной. Так как у большей части женщин болезнь эта накидная, то жена, чтобы отбиться от не нравящегося ей мужа, делает стачку с знахарем, и обе стороны заодно мистифицируют доверчивого супруга. «Обыкновенно, – рассказывал мне такой промышленник, – баба просит только одного, чтобы на лекарство потребовать водки. Затем разыгрывается при муже следующая сцена:

– Так уж полечи, пожалуйста, парень! – упрашивает муж бродягу. Знахарь подходит к женщине, которая икает и кричит, берет ее за безымянный палец и начинает спрашивать “порчу”, которая является олицетворенной и сидящей в больной: “Когда ты посажена?” – “Тогда-то”, – отвечает больная не своим голосом. “Кто тебя посадил?” – “Такой-то или такая-то”. – “Чем тебя лечить?” – “Тем-то”, – отвечает порча. “Замолчи!” Женшина умолкает. Когда знахарь уходит из комнаты, баба опять начинает кричать. «Что с тобой опять?» – спрашивает муж. “Да вот опять приступила, как он-то ушел (т. е. бродяга), а при нем мне много легче было: она молчала”. По требованию знахаря скоро появляется штоф водки для лекарства; знахарь кой-чего подбавляет туда, а когда муж уезжает, бродяга с женой пирует». Такими приемами и наговорами знахарей крестьяне лечат и другие болезни. Так как женщины верят в знахарство и знание бродяг, то они обращаются к ним и за другими советами, так, например, если нужно испортить кого-нибудь. Между прочим, бродяги сообщают, что в Сибири попадается множество женщин, желающих отравить своих мужей. «Сибирячки сплошь и рядом отравляют мужей, – говорят бродяги, – им это ничего не зна-

чит». Причины этого коренятся, вероятно, в особенностях крестьянского семейного быта в Сибири. Женщины постоянно обращаются к бродягам с просьбами дать им зелий для отравы; они иногда так настоятельно просят яду, что некоторые бродяги принуждены давать какие-нибудь невинные снадобья, лишь бы только удовлетворить желание и извлечь свою пользу. Другие, конечно, не церемонятся, вступают с недовольными женщинами в заговор и действительно отравляют мужей. Такие случаи нередки.

Те же знахари-бродяги берутся выводить клопов и тараканов у крестьян. Крестьяне таких очень ценят: профессия эта сопряжена также с шарлатанством; например, нашептывают на чеку, кладут ее за печку и т. д.

Кроме знахарей, существуют еще гадальщики. Крестьянки так любят гаданье, что мелочные торговцы-поляки принуждены были превратиться в гадалщиков на Соломоне; им дают по 3, по 5 коп. или по 10 яиц с человека за то, чтобы раз кинуть на круг. И вот бродяги несут с собой гадательные карты с надписями: «Соломона оракул» или руководствуются «волшебным зеркалом, открывающим секреты великого Альберта» (82), и, таким образом, гадают по дороге и пропитываются.

Некоторые бродяги принимают на себя роль лекарей и фельдшеров. При таком ужасном положении, в каком у нас находится народное лечение, и при громадной потребности его, крестьяне рады всякому, кто вызовется помочь. Крестьяне лечатся сулемой, киноварью и дорогой травой (83); сулему они едят, посыпая ее на хлеб, и довольно много; дорогую траву пьют в водке; это – жизненный эликсир их и первое средство во всех болезнях. Против холода они вообще не принимают никаких действительных средств, и потому в Сибири множество людей с отнявшимися ногами и с ломотой в костях. Захворавший, таким образом, продолжает целую жизнь лечиться сулемой и дорогой травой. В деревнях сильно развит сифилис: им бывают заражены

подряд целые деревни. Все это нуждается в помощи и лечится или само, или обращается к бродягам. В особенности распространено кровопускание, к которому прибегают без всякой нужды люди всех возрастов: кровь пускают себе не только ножиками, гвоздями, но даже вошло в обыкновенные пускаться коновальским инструментом – топориком, по которому бьют колотушкой; если сразу не попадут в жилу, то говорят: «Ишь, жила-то крутая» – и повторяют снова. У некоторых после таких кровопусканий разносит руку, и они ходят и охают по целым неделям. Другим, пускающим кровь изо лба, коновальский топор под сильным ударом впивается в череп и даже ломается. Несмотря на это, когда является бродяга-псевдофельдшер, к нему бегут толпами, прося пустить кровь. Крестьяне хорошо знакомы с этим делом и всегда спрашивают: «Чем пускать будешь – топориком или пружинкой?» (топорик – коновальский, а пружинка – шнипер, прим. 84).

Когда требуются лекарства, то бродяги сами измышляют их: дают серу, пережженную кость и т. п. и собирают деньги. «У другого мужика страсть что наставлено, – говорит бродяга-фельдшер, – и какой тут дряни нет!» Сам этот фельдшер был замечательный субъект: фельдшером он никогда не был, но имел такую страсть лечить, что сам был уверен в своем знании. В остроге он также пускал кровь, как и на воле. В острожной больнице он постоянно ухаживал за больными, учил принимать лекарства, критиковал медиков и микстуры. «Что это за хина! – говорил он, рассматривая порошки, – разве такая настоящая хина бывает? Это – дрянь! Здесь настоящей хины и в городе не найти!» Он врал, как Хлестаков, с убеждением, с уверенностью.

Наряду с лекарями и фельдшерами в среде бродяг много и ветеринаров, которые также отлично надувают крестьян. В Сибири, при частых падежах скота от язвы, крестьяне чувствуют особенную надобность в коновалах и лечении скота. Недавно около Барнаула в одной волости так

повыпадал скот от повальной болезни, что крестьяне принуждены были ходить пешком. Явился бродяга, который знал немного лечение: болезнь состояла в появлении желваков и в опухоли пупка (85); он удачно произвел несколько опытов, растирая желваки и выпуская материю из пупка подрезом. Мужики начали возить его по волости как благодетеля; он всюду лечил скот; его осыпали деньгами, запивали вином; но мало того: крестьяне стали просить его, чтобы скот и впредь не заболел. Соблазн был большой, и бродяга согласился. Он загонял скот в пригон, раскладывал на четыре стороны огонь, кидал туда наговоренный трут и селитру, наконец, стрелял на четыре стороны из винтовки. Вслед за ним в эту волость нахлынули целые стаи бродяг-ветеринаров, и все это пустилось надувать крестьян, что было силы и хитрости. Такие вещи производятся по всей Сибири, где бродяги-обманщики играют такую же роль, как и воры-бродяги, и даже почище высасывают крестьян.

5) *Бродяги-монетчики*. Из всех обманщиков и воров занимают важнейшее место делатели фальшивых денег. Делание фальшивых денег принадлежит к самой искусной и прибыльной профессии бродяжества. Начало ее положили сосланные в Сибирь монетчики, часто превосходные техники, граверы и рисовальщики. Например, в сороковых годах был в Сибири сосланный из Слуцка, Минской губернии, монетчик Цейзих, который не оставлял прежней своей профессии и в месте ссылки, и прославился здесь, между прочим, превосходными произведениями из глины. Профессия подделки ассигнаций слишком обольстительна и выгодна, и ссыльные монетчики занимаются ею и на новом месте невольного жительства; они также учат других своему искусству. Таким путем образовалась довольно значительная отрасль этого производства, распространенная преимущественно между бродягами. Звание монетчика – самое аристократическое и самое денежное, а потому каждый бродяга лелеет в своей душе надежду и

самому достигнуть этого привилегированного звания. Но так как не все могут получить основательное образование на этом поприще, то многие ляпают ассигнации кое-как, а бездна других ограничивается одним желанием *ляпать*. Эта-то мания и развила, кроме настоящих мастеров, шарлатанскую профессию – только казаться монетчиком. Поэтому в бродяжестве образовалось два рода монетчиков: *честных* и *нечестных*.

Честный монетчик есть лицо действительно умеющее делать ассигнации. Он находит везде приют: таких много как в России, так и в Сибири, где жажда наживаться развита еще более. Их много гуляет по Руси, много живет у купцов и других лиц, начиная от Петербурга до Одессы и Астрахани, где подделывают деньги по укромным местам. Часто приходится слышать, что такой-то нажился фальшивыми деньгами, такой-то отправлял фальшивое золото в Персию и т. д.; в Сибири подобных слухов еще более. Сибирь особенно благоприятна для этого производства. При делании бумажек, конечно, важен их сбыт. Обыкновенно они сбываются крестьянству по разным захолустным деревням и еще легче инородцам. У купцов и богатых крестьян сбыт этих бумажек сопровождается какой-нибудь торговой операцией: в этом случае важную роль играет невежество и незнание человека, с которым имеют дело. Если легко обмануть ассигнацией безграмотного мужика, то еще легче инородца. В прежнее время последних обманывали пятаками, натертыми ртутью, а ныне – только более искусной подделкой серебра, золота и бумажек. Между сибирскими бурятами и киргизами много фальшивых денег, в особенности кто ведет торговые дела. Говорят, что киргизы боятся фальшивых денег и, если узнают, что у них оказалась такая ассигнация, то немедленно жгут ее (это объясняется страшной боязнью русского следствия), для тех же, кто сбывает им фальшивые деньги, конечно, это выгодно, ибо иска на них не возникнет.

В Сибири страсть к фальшивым деньгам развита не только у торговых людей, отличающихся недобросовестностью наживы и не гнушающихся никакими средствами для этого, но и у простого крестьянства. Она постоянно разжигается бродягами-мастерами, предлагающими ему свои услуги. Крестьяне привыкли к их посещению и радостно их принимают. Любовь к деланью денег между крестьянством вошла даже в притчу у бродяг, и про нее можно слышать бездну рассказов. Лишь только в деревне появится бродяга в красной рубахе, плисовых шароварах, в какой-нибудь нанковой или ситцевой поддевке и в смушковой шапке набекрень, то, по одному костюму, он уже будет принят за монетчика и вызовет приглашения крестьян. Стоит иногда быть только не мужиковатым, обладать натертостью и манерами (а такие субъекты не редкость между беглыми ссыльными) для того, чтобы быть заподозренным в этой профессии. Тогда мужики пускаются упрашивать бродягу помочь им и наделать бумажек. «Заметит тебя, что ты человек ловкий, – говорят бродяги, – и пойдет тебя другой мужик угощать; сидит с тобой, а сам издали и заведет разговор да и подъезжает понемногу к тому, не занимаешься ли ты насчет *блинков* (бродяжеское название фальшивых денег). “Ой, паря, я вижу, что ты умеешь, – говорит мужик”. – “Право, нет”. – “Уж не отпирайся, паря, будь милостивцем; буду благодарен тебе; что хошь проси”. – “Говорю же тебе, что не умею”. – “Полно, паря, упрямитесь. Не обессудь! Приставь голову к плечам, помоги! Сто рублей дам, не пожалею; скажи, что нужно купить, – все достану, али вместе в город поедем, купим. Ну, парень, приставь голову к плечам. Жена, проси!” Другой – что... в ноги тебе, ей Богу!»

Бродяги утверждают, что когда они входят в деревни, то мужики первым делом спрашивают, нет ли между ними монетчика. Кормя и подавая милостыню бродягам, крестьяне просят их проходом указать тем монетчикам,

которые не имеют практики, на их деревню или упрашивают нарочно привести таких. Надо заметить, что крестьянство выработало довольно снисходительный взгляд на эту профессию, и хоть считает ее запрещенной законом, но совершенно не понимает, зачем это запрещают выделку бумажек. «И чего это запрещают нам бумажки делать? – говорят крестьяне, – мы бы стали хорошо делать, и подати ведь исправно вносить бы начали». При жажде наживы в Сибири ремесло фальшивого монетчика быстро акклиматизировалось, а несколько примеров удачного сбыта и обогащения отдельных лиц еще более развили производство запрещенного товара. Если богатые изо всех сил добиваются достать фальшивых денег, то бедные имеют к тому еще больше поводов. Вот почему крестьяне считают иногда монетчиков помощниками в их нужде и благодетелями, дают им постоянный приют и выручают их в случае беды. Таким благодетелем в глазах крестьянина является известный в Тобольской губернии монетчик Кожевников, о котором я приведу несколько рассказов. Он постоянно скрывается по деревням и переходит с места на место, обеспечивая себя этим от убийства, к какому часто прибегают крестьяне в отношении монетчиков. Кожевников известен как искусством хорошо приготавливать бумажки, так и покровительством многим крестьянам, которые действительно заслуживали помощи по бедности. Рассказывается, например, такой случай. В Барнаул ехал подзаводский крестьянин, крайне обедневший вследствие падежа скота; ехал он купить лошадь на сколоченные 15 рублей. На дороге ему встречается старичок и спрашивает сначала о пути, потом о его положении. Крестьянин рассказывает о своем положении. «Гм, – говорит старичок, – ты, я вижу, бедный человек; я могу помочь тебе; на тебе на разживу 60 рублей». Мужик изумился и начал спрашивать, кто он такой. Старик откровенно сообщил, что он монетчик. Обязанный мужик просил монетчика посетить его, и они расстались.

Действительно, через несколько дней загадочный старик явился к нему и сделал ему еще 50 рублей. Затем начал прощаться. Мужик разохотился и умолял сделать ему еще денег, но монетчик отвечал: «Довольно, братец; куда тебе много! Разживайся с этих». Несмотря ни на какие упрасивания, старичок удалился. Крестьянин сопровождал его, но не мог уследить, и монетчик скрылся на задворках. Это и был Кожевников. В другой раз, рассказывают, он явился на Пасху к одному бедному мужику, у которого нечем было разговестись; он сделал ему 25 рублей, пропировал с ним праздник и удалился. Подобными-то поступками и прославился Кожевников, заслужив огромную популярность между крестьянами и титул чуть ли не отца родного.

Кожевников несколько раз попадался, судился, ссылался, но – или во время самого процесса, или во время пути уже на каторгу – всегда похищался крестьянами. Раз, когда он был взят и сидел в волостной избе под арестом, крестьяне хотели его протащить через трубу, но это не удалось. По дороге, когда везли его, за ним ехали постоянно две тройки; но его сторожили, и случай спастись не представлялся; наконец, он исчез совершенно неожиданно. В то время, когда его вели к допросу по улице города Каинска, он быстро вскочил в проезжавшую с крестьянами телегу; лошадей припустили, и он исчез в виду конвоя. С тех пор он, с помощью крестьян, убегал еще несколько раз. Кожевников доставил много случаев нажитья крестьянам и иметь везде друзей. Он отличается особенно искусной выделкой бумажек. Всю жизнь свою он затратил на это производство и теперь еще может работать, но только с лупой. Содержась по острогам, он и там продолжал свою работу. В одном из острогов он делал деньги даже в церкви, по стачке с ключником. Выпуск бумажек в город из острога – у монетчиков вещь обыкновенная. Кожевников так хорошо приготавливал ассигнации, что делал даже сто-рублевые, на что другие не решаются. Когда его деньги

приносили в кабаки к одному из сидельцев, который знал, какого сорта эти деньги, то он только спрашивал: «Что, это – кожевниковская? Ну, так идет!» Такого человека в Сибири, конечно, носят на руках. Прославившимся монетчикам покровительствуют и крестьяне целыми обществами, и сельские власти, и купцы в городах. Есть монетчики, делающие бумажные деньги на целую деревню. Это свидетельствует, как сильна связь монетчиков с крестьянством и как глубоко вошло это ремесло в нравы жителей.

Жизнь монетчиков по волостям у крестьян довольно привольна. Монетчик играет роль наемщика или самого требовательного гостя: все ухаживают за ним; все представляется к его услугам. У крестьянина ему отводится особенная клеть, чисто и удобно меблированная; его кормят всеми лакомствами; вдоволь доставляется ему водки; притом хозяин дает ему любовницу; берут с него только одно обязательство – делай бумажки и никуда не выходи. Монетчик как сыр в масле катается, и многие живут по несколько лет, обогащая крестьянина или купца. Как ни завидна здесь жизнь их, но конец обыкновенно бывает печален: хозяева, обогатившись их талантом и желая с ними развязаться, а часто опасаясь открытия преступления, решаются покончить убийством.

Самые искусные монетчики являются из слоев не невежественных: некоторые выходят из резчиков, граверов, чиновников, приказчиков с фабрик или мастеров; все они обладают натертостью и лоском средней руки, обходительны, вежливы и щеголеваты, но любят покутить, любят пожить широко; натуры чувственные, склонные к разврату всякого рода, начиная с карт, вина и до женщин. Растрепанные до мозга костей, они способны на всякие преступления; они хуже обыкновенных бродяг низшего сорта, которые находят бесчестным выдавать тех, кто оказал им гостеприимство; но когда попадает монетчик, он доносит и на тех, у кого жил, и вытягивает с них деньги.

Монетчики в Сибири пользуются большой популярностью; благодаря их похождениям редкий из них неизвестен властям, редкий не бывал по нескольку раз под судом и следствием, не ссылался в каторжные работы; но это ничего не значит; они скоро снова являются на свободе: деньги везде им помогают и отовсюду освобождают.

Известный Кожевников три раза судился и всякий раз был освобожден по дороге. Яковлев, солдат, сосланный из Ярославля, приняв профессию монетчика, постоянно исчезает из острогов. Рюкерт, судимый в Омске, о котором прилагал столько стараний один полицейский и о котором столько было исписано стоп бумаги, отправленный в каторгу, отошедши не очень далеко, бежал с дороги с помощью таинственных троек. Все монетчики рассчитывают уйти; поэтому суд для них ничего не значит. Народ сметливый, опытный, они не задумываются над средствами, за что приобрели особенную репутацию в острожном и крестьянском мире. Гордые и самоуверенные, они свысока смотрят на остальной острожный мир, и в остроге пользуются таким же комфортом, как и на воле. Здесь они продолжают свою деятельность, даже сидя в секретных каморах, и готовят деньги для побега. Остроги издавна славятся выпуском фальшивых денег. Производство бумажек и отливка монет делается даже на этапах. Солдаты караула и служители иногда бывают агентами и меняльщиками бумажек в городе. При таких средствах монетчики сильны и всегда могут купить себе свободу. Арестанты хотя иногда и трунят над ними, называя их блинниками, но все-таки имеют о них высокое мнение.

Кроме знаменитостей в деле фабрикации ассигнаций, есть еще бездна народа, подражающего им; значительная часть бродяг принадлежит к разряду подражателей, ляпающих сами неуклюжие произведения, надеясь, что и такие сойдут. По способу сбывания они называются «на дурака». Безграмотный народ обманывать легко, и в этом одна из

причин свободного распространения фальшивых денег. Бывали случаи, что окрашенная десятирублевая выдавалась и шла за двадцатипятирублевую. Подделка сходит еще легче. В бродяжестве кропающих и малюющих мужикам бумажки чуть ли не один на десять. Они употребляют «дамскую бумагу» (так называют они почтовую): выводят сперва карандашом, а потом тушью или просто чернилами; красят «синькой»¹, и каждый считает нужным запастись увеличительным стеклом, микроскопом. Можно себе представить, сколько сбывается мужикам такой дряни. Цена таких денег очень дешевая: один монетчик вывез из Москвы 14 000 руб. и продавал пятирублевые бумажки только по 40 копеек.

Делание фальшивого серебра также распространено благодаря легкости фабрикации монеты. Сидит в секретной на цепи арестант и жует бумагу; сделав тесто, он выдавливает слепок с двугривенного и льет туда олово; или другой искусник между двухкопеечниками положит четвертак, набьет на них кольца да и лупит по ним целые дни, покуда не выдавится форма. В острогах прячут всю оловянную посуду. Выливают монеты в ночь иногда по пять рублей. Изделие это продается по 2 коп. штука.

Кроме обыкновенных монетчиков, бродяжество выработало еще так называемых *нечестных* монетчиков, которые себя выдают за умеющих. Выгоду они извлекают только обманами. Они тщательно добиваются достигнуть репутации маэстро денег и, не стесняясь, хвастаются своим умением в деревнях и острогах. Я видел, как один обворовавшийся парень, попавшись с дрянным оловянным четвертаким, решил при следствии объявить себя монетчиком, хотя совершенно не умел делать деньги. Ему просто хотелось похвастать почетным званием. Настоящий монетчик в таких случаях, напротив, всегда скрывает свое искусство. Нечестный монетчик является в деревню и выдается товарищами за мастера; сначала для этого употребляются, ко-

¹ Индиго.

нечно, намеки, но потом как бы проговариваются, что и побуждает крестьян пригласить доку заняться художеством. Ложный монетчик начинает доказывать свое знание фокусами: он заставляет плавать иголку и т. п. Когда в знание поверят, заключается договор. Подобному доке отводится особая комната; поят его водкой, угощают, и хозяин дожидается работы. Бродяга располагается; он растирает на блюдечке синьку, а то кирпич, глину и т. п. Затем он кладет на стол имеющуюся новенькую пятирублевую (какую всегда монетчик такого рода должен иметь, как образчик и оригинал), на нее прикрепляет тонкую бумагу и начинает обводить карандашом. Часто монетчик требует у мужика какой-нибудь материал, изъясняет досаду на неимение его, и затем обещает употребить свой. Мастер продолжает пачкотню; мужик входит на цыпочках, чтобы не помешать, и к удовольствию своему видит, что на бумажке выходят подходящие фигуры. Наконец, мастер ловко скрывает рисованную бумажку и оставляет только настоящую, успев смочить ее. Мужик снова является посмотреть на процесс и видит, что все уже готово. «Вот еще просушим», – говорит мастер. Когда ассигнация высушена, он мнет, трет ее, чтобы казалась ходячей, и затем просит хозяина идти менять. Крестьянин сначала трусит, но монетчик поощряет его. Наконец, хозяин идет в кабак и, к удивлению своему, находит, что сколько сиделец ни смотрел, признал ее настоящей. «Ладна ли бумажка-то?» – спрашивает он уже посмелее. «Носи таких больше!» – весело говорит сиделец, отпуская четверть вина. Мужик торжествует, и начинается с монетчиком пьянство и гулянка на славу. Мужик уже порядочно прокутился; надо поправляться, и он снова напоминает монетчику о предприятии. Тот проектирует ему фабрикацию в широких размерах и просит купить материалу. Привозит мужик закупки, но они оказываются не такого качества, какие нужны. Наконец, монетчик требует, чтобы его самого свезли в город для закупки. Едут; quasi-монетчик берет на

материал 50–100 и более рублей, уходит в город и исчезает. Фабрикация кончена. Мужик подождет и увидит, что остался в дураках.

Обманы большей частью бывают самого грубого свойства, но случаются и довольно хитрые; бродяги такого рода имеют свою практику и изобретательность для новых способов. В одном из острогов сидел бродяга Строганов, который все изобретал машинку. «Да какая это машинка?» – спрашивают его. «А машинку нужно изобрести похитрее, – говорил он, – тут войдет часовая пружинка; нужно, чтоб она заводилась, а потом оборвалась». – «Для чего?» – «Это я после буду мужикам подряжаться деньги делать; покажу и объясню, как делать их; когда мужик примется сам вертеть, она и сломается, – тогда плати. Сколько запрошу, столько и дадут». – «Да много ли же она будет стоить?» – «А это смотря по состоянию: с кого 25 руб., с кого 50, 100 и 200 руб., и больше можно взять».

В большинстве случаев обманы удаются; они в особенности разорительны для крестьян небогатых и нехитрых, но желающих нажиться. Обманщики вытягивают у них все. Я слышал про мужиков, которые под влиянием такого оболъщения совсем разорялись: у них выманивали все накопленные деньжонки; наконец, те решались продавать скот, имущество и оставались кругом обманутыми. Поэтому озлобление против *нечестных* монетчиков очень сильно у крестьян. Надувший старается поскорее скрыться, чтобы не быть наказанным или просто убитым. Несмотря на то, профессия монетчиков-надувал – одна из распространеннейших.

Обилие монетчиков, по-видимому, дает право предполагать, что фальшивые деньги распространены в деревнях в большом количестве; но обыкновенно их встречается здесь немного. Мужики не сейчас выпускают наделанные деньги и долго держат их кучей, часто кучей же и перепродают; иногда они проходят много рук и сбываются купца-

ми и торговцами в разных удобных и безопасных местах. Множество этих денег при малейшей опасности сжигается крестьянами, много лежит просто, как капиталы на случай, много выбрасывается вследствие убеждения, что монетки сделали их не очень искусно. От всего этого в выигрыше только одни монетки; крестьяне же часто дорого платятся за желание легко нажиться: многие из них разоряются вконец при следствиях; многие гибнут и на каторге.

б) *Бродяги-разбойники*. Между бродягами есть сорт людей самых ожесточенных и самых страшных для общества: это – бродяги-разбойники. Люди, сосланные за важные и жестокие преступления, являются в каторгу уже крайне озлобленными и в безнадежности на всякую помощь и участие. Каторга окончательно ожесточает и огрубляет их, убивая в них всякое чувство. Грубое обращение, жестокие наказания, непомерный труд, голодная жизнь, отсутствие всякого участия и сострадания к каторжному – все способствует зарождению в нем злобы, черствости и скрытой ненависти. Наказанный за преступление плетьюми, сосланный на каторгу, он старается, в свою очередь, избавиться от нее; побеги кончаются тюрьмой и новым наказанием плетьюми; кроме того, за разные провинности на каторге его опять секут плетьюми и т. д.

Итак, представьте себе такие личности, которые когда-то получили по 6–12 000 сквозь строй, или нынешнего каторжника Калину, который, как мы говорили в одной из глав, перенес около 250 плетей; побывавших несколько раз в каторге и бежавших оттуда; неужели все эти наказания не заставят огрубеть и не сделают бесчувственным к страданиям и жизни других? И вот про этого Калину говорят, что он уже убил 18 душ во время бродяжества. Бежавши из-под пули, преследуемый, угрожаемый новыми бедствиями, он решается на все; осужденный навечно, он лишен надежды. Единственный выход его – бродяжество. В него он вступает уже закаленным, наказанным не-

сколько раз, десятки раз битый крестьянами; враждебный всему, он способен как нельзя более на преступления и, под влиянием преследования, становится зверем. По-видимому, под влиянием того, что он перенес, он должен бы был сломиться, но его сильная натура, которая и завела его на каторгу, не допускает его опуститься и быть задавленным. Он кидается, правда, в самое безнадежное отчаяние, не находя нигде спасения; но это же отчаяние вызывает его в бега, и здесь заставляет вести войну одного против всех, с жестокостью и безумием отчаяния. Такие люди, убегая с каторги, делаются страшными в бродяжестве. Их, разумеется, не очень много.

Большая часть таких бродяг убегает с Нерчинских рудников, где работают наиболее закаленные уголовные преступники; по приискам, где они рассеяны, их называют каринцами. Каринцев, по опасности и их решительности, страшатся даже свои бродяги. Они рисуют их беспощадными как к обществу, так и к личностям своей среды. «Не дай Бог встретиться с каринцем, – говорят скромные бродяги, – своего брата-бродягу обирают да бьют; ну, и никому уж не уступят, отчаянные! На все готовы – только ножом и берут. Гордецы страшнейшие: себя считают выше всех, любят распоряжаться всеми; придешь в балаган – он тебе велит и пищи наварить, и дров ему натаскай, а он лежит да греется, потому “я, – говорит, – каринец”. Когда с ними встретишься, они всегда норовят обидеть бродягу; ну, и мы, как поймаем их в чем... достается же и ихнему брату!»

Бродяги говорят, что у таких закаленных каторжных и убийц нет веры в Бога, что они богохульствуют. Постоянные страдания и мучения, ужаснейшие телесные наказания заставляли их впадать в отчаяние, в безнадежность, и с их уст ничего не слышалось, кроме проклятия всему на свете. Не признавая закона и обязательств относительно остального общества, они не соблюдают интересов и корпорации бродяг, не стесняются относиться враждебно и к

своим компаньонам по бродяжеству, оттого их не любят и опасаются остальные бродяги. «Каринец идет по дороге, а все несет нож в рукаве», – говорят о нем. В острогах они владычествуют и иногда здесь также берут силой и угрозами ножа. На пути ограбить своего или убить мужа, любовника, чтобы захватить женщину, – у них дело обыкновенное. Преступление его не беспокоит, и он хладнокровен ко всему страшному и преступному. Таких людей, впрочем, остальные бродяги также преследуют и наказывают своим судом за преступления против своих. В свою очередь, те смеются над обыкновенными бродягами, пренебрегают ими и гордятся, что сами живут не подаянием, а собственными средствами.

Однако, как ни испорчены эти люди, нельзя сказать, чтобы их новые преступления делались без всякого повода и ради самого преступления. Напротив, если они в гражданском обществе делались преступниками и противниками общественных условий по стесненности положения, то бродяжество, со всеми его лишениями, гонениями и бедствиями, еще более подвигает их к этому. Если обыкновенные, скромные люди в бегах делаются по нужде ворами и обманщиками, то преступники, более смелые и более решительные, само собой, пускаются на более решительные жестокие преступления. Разница только в том, что они легче склоняются к преступлениям, они менее останавливаются перед ними; средства их грубее и жестче, и нравственных препятствий в них нет. В самом деле, положение каторжного, вырвавшегося из-под строжайшего заключения в руднике, с опасностью жизни, без одежды и без хлеба, блуждающего по несколько дней по тайге, бывает отчаянно; при первой возможности он кидается, конечно, на преступление, которое ему не редкость. Я расскажу о представителе этого типа, каторжном Василии Тарбагане, известном своей закаленностью и преступлениями. Бежавши с завода, он шел по тайге голодный и оборванный. На нем была только рубаха

и штаны, и те изорванные; он был босиком; ноги изранены, лицо страшно раздуло от комара и овода. В этом виде, с дубиной в руке, он походил, как сам он выражался, на дьявола. Вышедши на дорогу, он начал выжидать прохожих, чтобы ограбить или убить кого-нибудь. Голод, боль, усталость мучили его, а в сердце кипела злоба и отчаяние. На дороге показались три женщины и девочка – новоселки; он страшно перепугал их своим разнесенным лицом и ограбил, сняв с них отчасти даже платье. Затем он встретил «пытовщика» из новоселов, попросил его подвезти себя и всадил ему нож в бок, взявши у него 60 рублей. Он убивал даже бродяг, за что ему чуть жестоко не отомстили, но его спас один из товарищей, уговоривший остальных. В случае нападения на них, такие люди бьются насмерть. Тарбаган был взят таким образом: за какую-то кражу в деревне он с двумя товарищами по бродяжеству был настигнут крестьянами. Тарбаган решил защищаться и вытащил нож. Мужики кинулись и убили дрючками двух товарищей Тарбагана; Тарбагана же, как виновника кражи и давшего повод к бою, надо было взять; но он ударил одного мужика ножом и кинулся в куст; второй мужик хотел ударить Тарбагана палкой, но попал по кусту, и ловким ударом ножа был убит наповал; третий был ранен. Наконец, Тарбагана взяли и представили в острог. Он был наказан 90 плетьюми, и когда, после наказания, приятели пришли повидаться с ним, он им сказал: «Что, братцы... наша жизнь такая; все равно умирать под кустом или под ножом сибирского мужика». Однако он скоро поправился и опять пошел на каторгу.

Бродяжеская жизнь бегло-каторжного полна превратностей и преследования. Он не стесняется в грабеже, да и с ним поступают тоже бесцеремонно; зато он проникнут постоянным желанием насолить то той, то этой деревне, и при поимке дешево не отдаваться. Я намерен рассказать еще об одной личности, подобной Тарбагану, которую представляет один разбойник и монетчик, недавно

разгуливавший по Тобольской и Томской губерниям. Я*, прошедший 2000 сквозь строй и сосланный из России за убийство, обладал особой хитростью и искусством делать побеги. Лишь только он явился в Сибирь, как бежал, нашел себе приют в Тобольской губернии в одной деревеньке и занялся деланьем ассигнаций; с тем вместе он не стеснялся и другими преступлениями. Я*, преследуемый в своих странствованиях крестьянами, не раз имел бои и даже делал убийства; при поимках он уходил с помощью ножа. Однажды крестьяне хотели его, как он рассказывает, убить; но он выхватил имевшийся при нем пистолет и, ранив одного, бежал; в другой раз, препровождаемый крестьянами в острог, ночью он перепугал их куском стекла в виде ножа и скрылся. В третий раз он тоже наткнулся на крестьян, которые хотели взять его, но он начал отбиваться; его били прикладами винтовок; он, конечно, дрался ожесточенно; крестьяне, проломив ему голову, бросили его на дороге; только проезжающий крестьянин поднял его и привез в волость полумертвого; здесь он вылежал две недели и привезен был в острог. Я* человек лет под 30, с высоким лбом, с холодным и наблюдательным взглядом; на лбу у него шрам, на лице несколько крупных рубцов и волосы повыверганы. Личность, понесшая такие крушения, конечно, не может быть миролюбивой. Но она сохраняет вполне энергию, и все бродяги были уверены, что он бежит из секретной. Он уже несколько раз бегал самыми искуснейшими и остроумнейшими способами. При всей своей закоренелости, как у Я*, так и у Тарбагана, являлись человеческие чувства. Тарбаган не убил встретившихся женщин потому, что они новоселки и его соотечественницы из Воронежской губернии; они знали его отца и мать: он вспомнил родину, и это мягкое чувство заставило пожалеть землячек; из отобранных денег он дал им по 3 рубля. Я* способен к любви и постоянно убегает к любовнице, живущей в какой-то деревне, где его постоянно ловят.

Энергичная, раздраженная и испорченная личность имеет много поводов к преступлениям в бродяжестве: вражда к крестьянству, грабежи, вынуждаемые бедственным положением в дороге, постоянные случаи вражды между своими же бродягами, ссоры из-за женщин, из-за добычи, из-за денег, наконец, защита себя во время преследования – вот тысячи поводов к новым преступлениям. Не один Тарбаган и Я* защищаются ножами: какой-то бродяга Карпушка, по рассказам, на облаве ранил 16 человек мужиков и ушел. Я видел нескольких каторжных, которые, уходя каждый раз с заводов, в бродяжестве постоянно отличались убийствами. Про одного Калину говорили, что он убил 19 человек, другой, швед из Финляндии, убил 15, наконец, славящийся и ныне недавно пойманный каторжный Капустин, разбойничавший в Восточной Сибири, убил 18 человек. Встречаются убивавшие по 40 душ.

Тип убийц-бродяг существует, впрочем, только у самых заgrубелых каторжных, от которых сторонится остальное более скромное бродяжество, порицающее убийства; но у него есть любимый тип, и тип этот все-таки тип разбойника; это – герой бродяжества Светлов, человек необыкновенно сильный и занимавшийся с шайкой грабежом. Бродяжество очистило его память от всяких убийств. Мы приведем рассказ о нем, как об Илье Муромце бродяжества, и так, как он передается самими бродягами. Светлов был сосланный; кончив срок на заводах, он вышел на поселение и хотел начать работать. В Енисейской губернии в Сухобузинской волости он пристроился к какому-то крестьянину в работники. В первый день пришлось ему накладывать мешки с мукой для перевозки в амбар; когда наложен был громадный воз, хозяин послал его за самой сильнейшей лошадей и прибавил, что плохая не довезет такого воза. «Да зачем лошадь? Неужели мы вдвоем не довезем?» – возражает Светлов. «Куда! Тут надо самую сильную лошадь, чтобы сдвинуть с места такой возище!» Но Светлов взялся один

за оглобли; сначала лопнули тяжи; Светлов прикрепляет тяжи и везет воз. Хозяин только ахнул, но промолчал. Так работали они день. Вечером, когда сели ужинать, хозяин спросил Светлова, сколько следует ему за работу, и начал его рассчитывать. Светлов удивился и захотел узнать причину отказа. «Видишь ли, братец, – ответил крестьянин, – ты работник хороший, да мне неподходящий: я человек горячий, люблю поругать, а иногда и ударить работника; ну, а с тобой ладить плохо – ты убьешь меня, как муху». Светлов пошел искать другого места, но его нигде не принимали; все были того же мнения, как и прежний хозяин. Что было делать? Долго раздумывал Светлов; наконец, пустился бродяжить и, вместе с тем, сделался разбойником, подобрав себе шайку. Здесь он применял к делу свою силу, останавливая за колесо тройку на скаку. Он много грабил и перенес свою деятельность в Томскую губернию; жил же он на р. Каргате в Каинском округе. Из ограбленного он мало оставлял себе – больше отдавал своим сотоварищам или одевал проходящих бродяг, которые любили его за это и звали отцом. Во время грабежей он никого не бил, только раз случилось ему убить двух торговцев. Ехали они с товаром, и ночь захватила их в поле; заметив в поле избушку, они вошли в нее и встретили там мужика, лежавшего на лавке, и попросили позволения тут ночевать. Мужик дозволил. «Мы боимся, батюшка, разбойника Светлова; он, говорят, здесь бьет-грабит», – заметили торговцы. «А вы видали Светлова?» – спросил мужик. «Нет». – «Так откуда же вы знаете, что он людей бьет?» – «Сказывали». – «Я Светлов, – сказал тогда, выпрямившись, мужик, – смотрите! Я бы вас не тронул, а так как вы сказали, что Светлов людей бьет, то я вас и убью». Затем он взял их за шиворот и ударил головами. Оба торговца упали мертвыми. Это было единственное его убийство, и он потом каялся, что вспылит. Вообще он говорил бродягам: «Грабить грабьте, но душ не губите; лучше самому умереть, чем душу человека брать на себя». Как все

люди сильные, он не нуждался в убийстве. Светлов, видно, все-таки человек довольно симпатичный; песня, приписываемая ему, полна чувства и грусти. Он дожил до старости, но конец его был печален. У Светлова был друг, бродяга Ломоносиков, с которым он постоянно делился. Этого-то Ломоносикова подкупили рассерженные разбоями Светлова крестьяне за 25 руб. убить Светлова. Когда Светлов напился пьян и спал под деревом, Ломоносиков привязал его к дереву веревками и ударил обухом по голове. Светлов вскочил, вырвал дерево с корня, оборвал веревки, но сейчас же снова упал. «Это ты, варвар!» – воскликнул он и испустил дух. Долго бродяги искали и караулили по дорогам Ломоносикова. «Отца нашего убил», – говорили они с горестью.

Таков идеализированный бродягами разбойник, но не таковы они в действительности. Крестьяне подкупают убить Светлова; значит, он много досадил им. Все эти Качаловы, Гаркины, Смолкины, Гандюлины, Капустины и подобные им не отличались кротостью: они известны рядом убийств, сопряженных иногда с бесчеловечием. Грабежи и убийства, совершаемые по дорогам, выпытывание денег горящими вениками, растопленной смолой, гвоздями, пытки женщин колом и т. п. страшные средства показывают как сорт этих людей, так и те последствия, какими сопровождается их бродяжество.

IX.

Борьба с бродяжеством и закон Линча в Сибири

Постоянно наводняющие Сибирь бродяжеские партии так громадны, что ни крестьянству, ни земской полиции при помощи первых невозможно сдерживать эти армии. Земская полиция в этом случае не может действовать только с помощью крестьянства: у крестьянства ловля бродяг

отняла бы все рабочее время, завлекла бы в бесчисленные и бесконечные судебные процессы, наконец, вызвала бы опасную для крестьян месть бродяг. Таким образом, сибирские крестьянские общества установили обычное право, на основании которого проход бродяг по деревням свободен, обеспечена им милостыня, а иногда есть и возможность труда. Поэтому только важные уголовные преступления бродяг вызывают крестьянские облавы. Вот как, например, рассказывал бродяга о своем проходе через деревню Тобольской губернии, где было получено предписание начальства забирать бродяг. Бродяги пошли по деревне и наткнулись на крестьянскую сходку, где крестьяне рассуждали о новом приказании. Когда они подошли, то мужики объявили им, что их приказано забирать. Бродяги опустили головы; но один из стариков вступился за них. «Ступайте, ступайте! – сказал он, – мы забирать вас не будем; у нас и в старину не забирали вас, и мы не станем начинать; идите, собирайте милостыню, только теперь ночевать вам здесь нельзя; опасно, да и нас влопаете. Идите с Богом!» Тем и окончилось дело. Часто крестьяне предупреждают бродяг. «Смотри, – говорят, – такая-то волость забирать начала! – Мотри, в такую-то не ходите, братцы: там голова худой. – Ежели да нам вас брать, так и работать некогда будет», – говорят обыкновенно крестьяне бродягам. Вот почему на инициативу крестьян, как думают сделать ныне некоторые сибирские администраторы, решительно нельзя полагаться.

Отношения крестьянства к бродяжеству тогда только изменяются, когда последними делаются наглые нарушения его спокойствия и возмутительные преступления. Тогда волость, где это случилось, объявляет войну бродягам и забирает их без разбору. Война, однако, понемногу утихает, и крестьянство по миновании чрезвычайных обстоятельств восстанавливает обычное право прохода, и сельские власти начинают смотреть сквозь пальцы. Что терпимость

бродяг в Сибири крестьянством есть необходимость, вынуждаемая местными условиями, и что бродяги скорее завоевали себе это право, чем его октроировали (86) им крестьяне, – это свидетельствует поведение новоселов в Сибири. Новоселы, переселяясь из России, сначала перенесли свои воззрения на беглых и пустились ловить и представлять их; но деревни их стали выгорать, и сибиряки предупредили их, что если они будут продолжать преследование и находиться во вражде с бродягами, то никогда не отстроятся. Ныне новоселы, относительно обхождения с бродягами, заимствовали обычай у крестьян-сибиряков и перестали ловить их. Но хотя сибирский крестьянин относится с терпимостью к бродяге, однако же состоит с ним в двусмысленных и даже враждебных отношениях; пропуская и принимая бродягу, когда он идет скромно и приниженно, питаясь милостыней, – сибиряк-крестьянин делается совершенно другим при малейшем нарушении бродягами его интересов. Часто малейшее преступление бродяги, самое ничтожное воровство и плутовство делает крестьянина жестоким и беспощадным в каре. В этом случае сибирский крестьянин кажется менее гуманным, чем российский, который не расправляется сам с бродягой, не истязает, не избивает его, а спокойно берет каждого и представляет начальству. Завидя бродягу в том виде, в каком он беспрепятственно бродит по Сибири, крестьянин, даже пермский, по рассказам бродяг, поднимает гвалт. «Беглеч, беглеч: бери его!» – кричит он. Женщины и дети, встретив в поле бродягу, пораженные паникой, бегут от него с криком: «Каторжный! сибирский!» Хотя российские крестьяне, как мы видим, не так терпимы к бродягам, как сибирские, но бродяги менее их ненавидят, чем этих последних. «Российский мужик тебе денег даст, только отойди от него, – говорит бродяга, – сибиряк не то: он норовит тебя же обобрать. “Эко, – скажет, – парень, у тебя бродки-то добрые: давай меняться; на тебе похуже”».

Сибиряк тебя накормит, только уж у него ничего не смей тронуть. Топор, теперь, украл – он не спустит: в такой азарт взойдет: “Эй, седлай винтовку, бери кобылу! Сучка, сучка! Фер! Фю! Где ты, благословленная!” – заторопится, запутается. Сейчас в погоню, и от него не уйдешь: 200 верст будет гнаться, а уж нагонит; он выследит, все тропинки по лесу объедет, где ты прошел, заметит, – сук, шишка лежат не так, как вчера, – уж он видит. Теперь ему довольно только раз взглянуть на человека – упомнит, в чем он проходил, каков собой, какие приметы, и через месяц узнает. Пронзительный этот сибиряк! Как нагонит, сейчас кричит: “Стой, варнаки! Становись все под одну пулю!” Разбойники! Страсть бьют нашего брата. Убить ему ничего за всякую малость, а другие так и ни за что, только бы обобрать у кого деньги, а то и одежкой бродяжеской не побрезгают. “Белка ведь стоит 5 коп., – говорит он, – а с горбача (87) все на полтину возьмешь!” Теперь без винтовки его в дороге никогда не встретишь! Скачет – это сущий азиат! Сибиряк и нужду исполняет с винтовкой». Так характеризуют бродяги сибиряка.

Действительно, в рассказах бродяг сибирский мужик является всегда более грозным врагом их, несмотря на свою терпимость, – воинственным мстителем, верхом и с винтовкой в руке, с зорким глазом таежника, от которого не уйдешь, не скроешься, который по траве выследит, собакой натравит; он представляется всегда неминуемо наступающим бродягу, беспощадным в своем гневе и страшным, как призрак смерти. Что же за причина, что сибирский крестьянин, мирный землепашец, становится таким воинственным преследователем и часто жестоким и беспощадным злодеем относительно личности угнетенной и приниженной?

Мы видим, что бродяжество в Сибири стоит совершенно в других условиях, чем в России. В России бродяга идет скромно и тихо, только ночью; если он беспаспортен и подозрителен, – среди большого населения, бдительного

и непривыкшего покровительствовать ему, боясь быть пойманным, он ведет себя скромно и не делает преступлений, а потому является личностью безвредной. Важно также, что личность бродяги в России другого сорта: он не ссыльный, не острожный житель и не преступник, а только беспаспортный человек; притом число бродяжащих там все-таки незначительно. В Сибири другое дело. Крестьянин, поставленный вне возможности ловить столько народу, предоставил им по необходимости свободный проход и столкнулся со всеми результатами, которые должна была повлечь эта система *laissez faire, laissez passer*, т. е. со всем злом, какое содержит в себе бродяжество ссыльных. Предоставив свободный проход этим людям, сибирское крестьянство столкнулось со стихийной массой, которая постоянно разрушает его благосостояние, расхищает его бедный скарб, разоряет его хозяйство. Если города Сибири, ограждаемые более бдительной полицией, все-таки терпят от ссыльных и бродяжащих, то деревням, осаждаемым постоянно бродяжащими ссыльными, пришлось выносить еще более. От бродяжества терпело больше всего сельское население, и никому оно не пришлось так солоно, как мужику. Сибирское бродяжество в общем своем явлении далеко не мирного характера, хотя на вид и смиренничает. Понятно, что люди бродячие вынуждены, большей частью, питаться попрошайничеством, воровством и обманами. Сведем в общее все бродяжеские профессии, и мы увидим, как бродяжество тяжело ложится на крестьянство. Деланье фальшивых ассигнаций, которое ведет крестьян в острог и разоряет, обманы этим путем, знахарство, колдовство, шарлатанство и надувательства всякого рода, воровство, без которого не может прожить ни один бродяга, наконец, нищенство нескольких тысяч человек – все это действует, конечно, разорительно и не может не быть чувствительным. С бродяжеством на крестьянство обрушились и тучи преступлений, совершаемых во время прохода беглых. Воровство так по-

стоянно и так громадно, что влияет на благосостояние крестьян, часто лишаящихся, через увод бродягами последней скотины, даже возможности дальнейшего существования. Сверх того, бродяги часто умыкают женщин, жен и дочерей крестьянских с пашен и из лесу; производят на дорогах нападения и насилия над ними; сельские дороги вообще небезопасны. Старики, женщины-богомолки, дети и все беззащитные постоянно подвергаются нападениям и ограблению бродягами. Убийства и грабежи в округах, посещаемых бродяжеством, нередки; об этом часто печатаются известия и в местных губернских ведомостях. Много находят и неизвестно кем убитых мертвых тел; один наблюдатель насчитал в одной Иркутской губернии в один год 55 таких найденных тел¹. При розыске таких преступлений в уездах и округах крестьянству иногда приходится силой брать бродяжащих преступников, и оно же несет жертвы в этих боях. После этого понятен тот враждебный взгляд, который укореняется у крестьянина на бродяг, то раздражение постоянными обманами и пройдошескими наживами бродяжества и то злобное преследование, с каким накидывается крестьянин на всякого, вредящего ему, бродягу, и те жестокие уроки, которыми он отплачивает ему.

«Милый человек, ведь вы у нас пакостите; есть всякие и у вас, – говорил крестьянин бродяге, упрекавшему его в жестокости крестьянских преследований. – Вот наемники взяли ваших в волости: мне вышел наряд везти бродяг; показались они смирными; я и отправил своего мальчишку с ними, а они дорогой-то давай давить его: насилу парнишка-то лесками утек от них. Как сказали об этом нам, так у нас ноги у всех подкосились: бродяги бежали, а нас теперь по этому случаю в острог посадили. За что же?.. за ваших все;

¹ Эти наблюдения сделаны г-ном Шелгуновым и описаны в статьях его: «Сибирь по большой дороге» (Русское слово. 1863. № 1–3) и «Гражданские элементы Иркутского края» (Русское слово. 1863. № 9–10); там же приведены публикации о преступлениях бегло-каторжных и бродячих ссыльных в Иркутской губернии.

вот оно дело-то какое! Тут тоже намедни бродяг наши провозжали в город; те и попросились с телеги сойти – взяли дреколья да чуть убивства не сделали. Мужики-то провозжавшие бежать от них; да уж после из деревни нагнали; ну, повесили за ноги на березу, подержали маненько да и повезли опять». Такую исповедь сибирского крестьянина мы слышали в сибирском остроге. Действительно, положение крестьян в этом случае безвыходно.

Ввиду всего этого сибирское крестьянство создало самосуд, и, таким образом, образовался «закон Линча» на нашей почве. Там, где общество не могло еще устроиться и организовать правильный суд и полицию, а между тем преступные нарушения общественной безопасности очень явны и возмутительны, там оно естественно прибегает к быстрым и решительным средствам, чтобы скольконибудь обуздать зло. Применение суда народом в Американских Штатах быстро и сурово: там, на всем «дальнем Западе» и в Калифорнии народ нередко вешал пойманного преступника; в Сибири такая расправа должна была проявиться еще жестче.

Крестьянин не щадит в своей расправе бродягу за преступление, особенно за воровство: за самой незначительной украденной вещью крестьянин часто гонится без усталости десятки верст; иногда погони совершаются даже гуртом. Всех бродяг на пути обыскивают, и виновного жестоко избивают до полусмерти. Обыкновенно такого бродягу бьют *дрючками* – дубинами в руку толщиной и иногда в сажень длины; иногда бьют по пяткам, по-китайски, «подковывают»; я видал битых таким образом: у одного из них впоследствии постоянно с ног слезала кожа. Если за воров гонится один хозяин, как это и бывает в большинстве случаев, то расправа коротка, и пуля неминуема. Расправа за преступления в деревнях делается на виду и целым обществом: даже старухи и ребята принимают в ней участие. Смертные приговоры при этом также не редкость. Часто крестьяне расправляют-

ся с бродягами, живущими в их деревнях и расстроившими семейные их узы. В Иркутской губернии в одной деревне работник-бродяга имел любовные сношения с женой крестьянина: муж апеллировал к обществу; бродягу начали вытеснять из деревни, но он не шел, несмотря даже на увещания и просьбы товарища, который ушел один; через год ушедший бродяга пришел навестить товарища, но уже не нашел его: он был убит. Хотя бы об убийстве бродяги кем-нибудь из крестьян и знала вся деревня, — она молчит и убийцы не выдаст; поэтому крестьяне, не стесняясь, стреляют и даже целым обществом расстреливают бродягу, давшего им к этому повод своим поведением. Нам рассказывали про следующий любопытный случай в одной из глухих волостей Иркутской губернии. Несколько лет тому назад появился там бродяга и начал *пошалить* около деревни. Крестьяне поймали его, привязали к дереву и решились расстрелять, но, сделавши несколько выстрелов, услышали колокольчик заседателя и разбежались: бродяга между тем с простреленной ладонью отвязался и бежал в лес. Несколько лет спустя этот же самый бродяга случайно назначен был в эту же деревню на поселение и, явившись новым согражданином уже на легальном основании, показывал свою простреленную ладонь.

Если к экстренным мерам прибегало начальство и создавало в Сибири военные суды для обуздания ссыльных и устрашения их, ввиду особенно развитых преступлений в Сибири, то нечего удивляться, что крестьянство ввиду страшного вреда, наносимого ему, обратилось к тем же мерам. Ими оно не достигло цели, но хоть сколько-нибудь дисциплинировало распущенную и осаждающую его массу. Оно все-таки предписало бродяжеству свои законы и заставило выполнять их; оно принудило его, под страхом наказаний и лишения милостыни, не ходить толпами по деревням, заставило не разорять крестьянских построек и балаганов на полях, наконец, предписало ходить

без оружия и дозволило иметь нож не более двух вершков и то с отломленным концом. Это правило так утвердилось, что бродяги приписывают его предписанию официально-го закона, как они и уверяли нас.

Крестьянство управляло и управляет бродягами террором, и только этим вынудило исполнять свои требования. Террор поддерживается систематически: иногда не находят виновного, и гонения крестьян обрушиваются на всех. «Вы все одной шайки», – говорят им. Бьют их за воровство, бьют по случайности, по подозрению. Один из странников рассказывал мне, как в одной деревне взлупили его ни за что, ни про что. Их шло двое; один остался в поле, а другой пошел в деревню к знакомому крестьянину просить о работе; крестьянин велел им идти на мельницу и там обождать до завтра. Бродяги направились туда; но, подойдя к озеру, за которым лежала мельница, они увидели бегущего от них в испуге парня и ревушего благим матом. Пришедши к мельнице, они было расположились отдохнуть около нее, но вдруг увидели скачущий к ним отряд мужиков верхами и с винтовками за плечами. Крестьяне с неистовством накинулись на бродяг и требовали, чтобы те отдали им свои ножи; как бродяги ни клялись, что у них ножей не было, им не верили. На них пало обвинение в том, что они подкрадывались к мельнице с ножами и перепугали караульного парня, который и дал знать об этом в деревню. Парню все это просто почудилось; но крестьяне все-таки напустились на бродяг и жестоко их поколотили. Бродяги только молили не убивать их. Искалеченные и ободранные, они дотащились кое-как до другой деревни, и тут только нашли участие; здесь, узнавши, что их поколотили безвинно, им дали азямы (88) и рубахи. В другой раз те же бродяги наткнулись на пашенную избушку, в которой никого не было, и все было в беспорядке: кадушки опрокинуты, мука и крупа валялись рассыпанными по полу; они, однако, расположились здесь. Через несколько

времени хозяин, ездивший на соседнюю пашню, вернулся с семьей домой и, осмотрев балаган, нашел его обокраденным; оставленные азямы, топоры, провизия – все было унесено. Узнавши, что присутствующие – бродяги, он накинулся на них, несмотря на уверения, что они только что вошли; им не поверили и, задержав их, дожидались только вечера, чтобы учинить расправу. К счастью, расправе этой помешали приехавшие на работу солдаты, и бродяги спаслись. Иногда даже ремешок, отвязанный от сохи и найденный у вора-бродяги, вызывает наказание. Привычка расправляться с бродягами смертью последних создала в Сибири систему безразборного истребления бродяг, и наконец, породила бесчеловечный промысел этими убийствами. Это – род охоты за бродягами и обирание убитых; к ней дала повод, конечно, ничем не гарантированная жизнь бродяг и безответственность за них. От этих промыслов, которыми занимаются некоторые сибирские крестьяне, и получила начало известная поговорка: «белка стоит 5 коп., а с горбуна все на полтину возьмешь»; отсюда же взялся и анекдот о том, что крестьянский мальчик просит отца убить бродягу из винтовки, чтобы посмотреть, «как горбун будет на горбе вертеться». В Сибири есть местности, прославившиеся избиением бродяг. Около Фингуля есть *колки* (редкий лес), про которые бродяги говорят: «здесь нет столько лесу, сколько нашего брата положено в сырую землю». Про речку Карасук в Томской губернии говорят: «Карасук уже провонял: так его завалили нашими бродягами». Есть и крестьянские имена, сохранившиеся в памяти бродяг, с которыми сопряжено понятие о зверских поступках с ними. Так известен Битков, живший и промышлявший на Ангаре, Романов в Фингуле, Заворота в Енисейской губернии, какой-то Волков и многие другие. Много ходит рассказов об этих промыслах. Бьют бродяг по дорогам и по рекам; Романов, например, выезжал за деревню и ложился в колки поджидать бродяг, и стрелял

проходящих по дороге; Битков стрелял с берега в пливших по реке; так же промышляли два брата на Бирюсе. Говорят, что бывали крестьяне, убивавшие по 60, 90 и более человек бродяг. Бродяги, с своей стороны, старались мстить таким крестьянам-убийцам и только выжидали случая. Плодом этой мести осталось много рассказов – например, о двух братьях на Бирюсе. Раз плыли двое бродяг; из кустов раздались два выстрела; оба бродяги упали в воду; но один был только ранен и незаметно выплыл. Сидя на берегу, он дождался и предупредил плот с 15 человеками бродяг о случившемся и об угрожающей им опасности. Тогда они все разом отправились мстить за убитых и, поймав братьев-крестьян в избушке на берегу, изрубили их в куски и бросили в воду. Ожесточение и месть одинаково сильны как со стороны крестьян, так и со стороны бродяг; крестьяне подрезывали бродягам жилы, убивали их в мучениях и пытках. Это была упорная и жестокая борьба. До какой степени ожесточились обе стороны, характеризует следующий рассказ, сохранившийся в памяти бродяг. Один из крестьян, преследовавших бродяг, засел на берегу Енисея и дожидался пливших бродяг. Показалась лодка; в ней сидело двое. Тогда крестьянин выстрелил по одному гребцу и убил его; за другим надо было гнаться. Он вскочил в лодку и начал нагонять бродягу; последний греб изо всей мочи. Наконец, видя, что крестьянин догоняет его, бродяга в порыве злобы и отчаяния встал в лодке, вынул огромный мешок денег, показал их крестьянину и, сказав «не достанется же и тебе, разбойник», бросился в воду и утонул. Так непримирима была эта вражда.

Начало этой ожесточенной и упорной борьбы коренится в далеком прошлом, когда каторжное бродяжество было сильно и дерзко в Сибири, когда оно ходило шайками по деревням, подобно князю Баратаеву с каторжными, и давало крестьянству генеральные сражения. Об этой борьбе и теперь еще сохранились предания. Так, один старый бро-

бродяга рассказывал, что еще в 1838 г. в Иркутской губернии 60 человек бродяг окружили одну крестьянскую заимку, перевязали крестьян, обобрали имущество и винтовки и ушли. Связанные крестьяне развязали друг друга зубами, пустились в деревню, подняли своих односельцев и отправились преследовать бродяг, нагнали их в лесу, и завязалась сильная перестрелка; наконец, крестьяне начали загонять бродяг в болото, где погибли те, кто не был убит. Много и других преданий существует о столкновении таких шаек. Победа в конце концов все-таки оставалась за крестьянами и развила в них ту смелость и самонадеянность, с какой они относятся к бродягам и донине. Из оборонительного положения крестьяне перешли в наступательное и скоро пустились тайком истреблять бродяг по всей Сибири. Били и бьют бродяг не только инородцы, как забайкальские буряты, но и все сибирское крестьянство от Якутска до Урала. Это была не случайность, не индивидуальная жестокость, но довольно единодушная и согласная оппозиция ссыльному бродяжеству со стороны всего оседлого крестьянства. Как ни сильно было развито истребление бродяг, но уничтожить их само собой крестьянство было не в состоянии: наводнение ссылкой было слишком велико и постоянно возобновлялось. Все, что смогло и умело сделать крестьянство, это – сколько-нибудь усмирить дерзкие проявления бродяжества, разбить его силы и заставить его опуститься до обыкновенных нищих и мелких воров, которые страшатся крестьянина как своего властелина и страшного судью. Истребление бродяг и жестокий промысел на них, конечно, нынче уменьшился: некоторые места Сибири уже слишком заселены и гражданственны для этого, – например, Тобольская губерния; буряты Иркутской губернии уже не бьют бродяг, как прежде; крестьяне не так явно действуют и в других местах. Но бродяжество не уменьшилось в Сибири: оно так же велико и в том же положении; преступления бродяг хотя измельчали, но так же часты, а потому борьба

с бродяжеством еще не кончена. Она перешла только в таинственные тайги, где выполняются по-прежнему роковые приговоры за преступления; но как ни скрывалась бы теперь эта борьба темнотой лесов, мы все-таки видим в ней две резко рисующиеся фигуры, имеющие свое историческое значение: одна – это представитель штрафной колонизации, бегущей от ссылки; другая – это крестьянин, представитель гражданственности, с винтовкой в руке стоящий около своей поскотины и защищающий свой дом, имущество, семью и все свое благосостояние.

К таким столкновениям послужило соединение двух противоположных элементов Сибири. В широком значении на истребление бродяг посмотрел уже один из писателей, беспристрастно наблюдавший Сибирь. Мы говорим о г-не Д. Завалишине (89). Видя в упомянутом явлении оппозицию ссылке и результатам ее, он приходит к заключению, что, может быть, только это истребление бродяг не дало развиваться до чудовищных размеров тому злу и преступлениям, какие могли покрыть Сибирь при громадном числе бродячего штрафного населения. Мы сказали, что крестьянство силилось такими средствами если не истребить, то дисциплинировать ссыльных. Чувствами этих представителей гражданственности и должно измеряться влияние ссылки; при усиливающемся развитии края и создавшейся в нем гражданской жизни необходимо взглянуть на нее с точки зрения безопасности и интересов местного населения.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ РУССКОЙ ССЫЛКИ

I.

Ссылка как мера наказания в связи с развитием преступлений

История наказаний в различные времена и эпохи составляет самую мрачную сторону социальной жизни каждого народа. История пыток, казней, ссылок и тюрьмы... что может быть безотраднее этой истории! Между тем наказания и преступления людей, к несчастью, составляли настолько обычное явление в жизни человеческих обществ с самых древних времен, что изучение их становится столь же важным и необходимым, как всякая другая отрасль истории и социологии.

Если история преступлений отражает внутреннюю жизнь народа с ее неурядицами, недостатками, с ее общественными болезнями, то история наказаний, в то же самое время, указывает на репрессивные меры, которые, сообразно развитию преступлений, создавало общество и власть, стремясь подавить существующее зло. Изучение преступлений в связи с исторической жизнью народа уясняет причины, которые порождали народные несчастья и вынуждали людей на преступления; а изучение наказаний в связи с развитием преступлений, в свою очередь, указывает степень их влияния на увеличение или уменьшение числа преступлений. Только при этих условиях изучение истории преступлений и наказаний является осмыслен-

ным и дает возможность определить ту роль, какую они играли в истории человечества. История русской ссылки, очерк которой мы даем в этой статье, имеет такое же значение в истории русского народа, какое она имела везде. Находясь в связи с историей преступлений и составляя результат уголовных теорий, господствовавших в данную эпоху, она отражает внутреннюю жизнь русского общества во всех фазисах его развития, с его тревожениями, страданиями, с борьбой и оппозицией личности известному общественному строю.

Несмотря на обширное значение, какое имела ссылка в России в XVII столетии, составляя одно из видных наказаний в нашем кодексе, мы, однако, не встречаем о ней никаких исторических исследований, точно так же, как и определенного мнения о ней русских юристов, так как наши криминалисты до последнего времени руководствовались мнениями западных ученых, вроде Гольцендорфа, и на них основывали свои заключения о русской ссылке. Между тем ссылка в России, существующая как наказание более 200 лет, настолько обильна фактами, что представляет все необходимые данные для самостоятельной разработки вопроса, столь нужной ввиду предвзятых мнений, с какими юридическая литература как у нас, так и на Западе относится к этому наказанию. Правдивая, основанная на несомненных фактах история ссылки в России и рассмотрение ее практического приложения рассеет все эти укоренившиеся предрассудки и покажет ее истинное значение в жизни нашего народа. Подобные исследования особенно важны теперь, когда предполагаются реформы в устройстве мест заключения и когда наша литература представила уже несколько более или менее интересных исследований по тюремному вопросу.

Ссылка в России входит в закон с Уложения Алексея Михайловича, но она существовала на практике гораздо ранее. Знатных бояр ссылали во время Иоанна Грозного,

во время регентства Бориса, наконец, в злосчастное царствование последнего. Так, например, Борис сослал Романовых в Пермскую губернию и Пелым. Мера эта у древних русских царей была чисто административной и почти всегда сопровождалась заточением на месте ссылки. Эта ссылка была римская «*relegatio*». Ссылки не ограничивались, однако, одними боярами: так, во время убийства цареви́ча Димитрия угличане за беспорядки и самовольные убийства, совершенные ими, были сосланы в Пелым; это была чуть ли не первая ссылка простых людей в Сибирь. В Уложении Алексея Михайловича мы видим ссылку как дополнение к другим наказаниям, сопровождаемую битьем кнутом, батогами, пенями и тюремным заключением. Местом ссылки были сначала украинские города и понизовые по Волге. Ее назначали за самые маловажные преступления; за более значительные определялись самые ужасные казни и пытки: должников били палками по ногам, покуда не заплатят; жену, убившую мужа, закапывали в землю живую; мужа, убившего жену, наказывали, однако, кнутом; фальшивым монетчикам заливали горло расплавленным металлом; еретиков и чернокнижников жгли; для воров и разбойников существовала смертная казнь с отсечением рук и ног. О ссылке в Сибирь упоминается в первый раз в Уложении 1648 г.; ею повелено карать тяглых московских и городских людей за самовольную приписку к разным лицам и учреждениям¹. Эта мера была вызвана стремлением тяглых и податных людей, которые, чтобы избежать уплаты налогов, переходили в частную зависимость, *закладывались* за патриарха, монастыри, за бояр, и под их покровительством торговали и промышляли разными промыслами, не платя податей. Вслед за изданием Уложения, в царствование же Алексея Михайловича, изданы два указа: одним определено смертную казнь для воров и разбойников заменять наказанием кнутом, с от-

¹ ПСЗ. Т. I: Улож. Алекс. Мих. Гл. XIX, п. 13.

сечением перста у левой руки, и ссылкой в сибирские, низовые и украинские города с женами и детьми¹; другим «денежного дела воров и мастеров» государь *пожаловал* казни им не чинить, а ссылать в Сибирь на вечное житье с женами и детьми². Таким образом, в нашем древнем уголовном кодексе ссылка является смягчающим наказанием, что законодатель и определяет словом «*пожалование*». С тех пор ссылка в Сибирь все более и более заменяет прежние суровые наказания. С 1669 г. ее начинают применять в еще больших размерах, и она является дополнительным наказанием в тех случаях, в которых по Уложению назначалась ссылка в украинские города, именно – для гулящих людей, т. е. бродяг, для воров, для укрывателей воров, для перекупщиков и хранителей краденого, для подозреваемых, но не уличенных в разбое, если они не одобряются обществами и не принимаются на поруки; для тех, которые отбивают оговоренных по сыску людей, если не в состоянии внести штрафа, для тех, кто наедет с лошадьми на беременную женщину, не причинив смерти, но будет причиной выкидыша³. В 1679 г. царь Федор продолжал заменять ссылкой казни и окончательно вводит ее для воров; он указал «всех воров, которые пойманы будут и которым за их воровство доведется чинить казнь (сечь руки, ноги), и тем ворам рук и ног и двупальцев *не сечь*, а ссылать их на пашню, с женами и детьми, на вечное житье». В 1683 г., однако, появилось разъяснение указа и вместо пальцев приказано им резать уши⁴ и ссылать. Указом 1691 г. смертная казнь заменяется ссылкой для воров, попавшихся трижды в воровстве, и для пойманных дважды в нищенстве и бродяжестве; ссылка, конечно, сопровождалась битьем кнутом. Частое издание новых указов, содержанием своим,

¹ Там же. Т. I. № 105.

² Там же. № 348.

³ ПСЗ. Т. I. № 411, пп. 8, 24, 33, 47, 61, 84, 103.

⁴ Там же. Т. II. № 772, 970.

по-видимому, нисколько не отличавшихся от прежних, объясняется тем безотрадным положением, в каком находилась Россия в XVII столетии. Бедность, непрочная оседлость народа, начало прикрепления к земле, поборы, взыскиваемые силой, обирание боярами нищих, кривой суд и притеснения воевод, постоянные несчастья и неурожаи, моровое поветрие – все это заставляло народ бродить, отыскивая мест, где бы жилось попривольнее. Народ уходил в Украйну в казаки и толпами бродил с места на место, не зная, где остановиться; спасаясь от голодной смерти, он скрывался в дремучие леса и там составлял шайки, избиравшие своим промыслом разбой. В эти шайки поступали преимущественно холопы, которыми наполнялись дома знатных и богатых бояр: во время голода господа, находя обременительным кормить своих слуг, выгоняли их от себя; число беглых увеличивалось опальными людьми и преступниками. Число разбойничьих шаек постоянно увеличивалось; они грабили везде и являлись под самой Москвой; они были так многочисленны и действовали так смело и решительно, что против них вынуждены были высылать войска, как, например, против шайки Хлопки Косолапа, с которым сражался воевода Басманов. Время самозванцев и междоусобия вызвало движение по всей России: казаки, явившиеся в Россию, беглые преступники, бродяги всякого рода увеличивали смуты, разбойничали и нападали на мирных жителей. Крестьяне жаловались повсюду и посылали челобитные царю, «что жить им не вмоготу, что неизвестные люди приходят к ним, грабят их имущество и убивают их, почему они принуждены сами разбродиться врознь и дворишки бросать». Страдали не одни села: и в городах грабители и разбойники нападали на прохожих, врываются в дома, убивали хозяев и забирали их имущество. Результаты насильственного закрепощения людей начинали сказываться, и акты этого времени наполнены ссылками беглых; делами этого рода и о

грабежах и разбоях были переполнены приказы сыскных дел и разбойный¹. Озадаченное такими явлениями правительство прибегало в первое время к жестоким казням, а впоследствии к ссылке, которая сопровождалась отрезыванием пальцев, ушей и жестоким наказанием кнутом. У служилых людей она имела последствием лишение достоинства и звания, у бояр – поместий и вотчин, которые раздавались другим. Ссылные на месте ссылки содержались в заключении. Так, в 1869 г. в Верхотурье приказано было построить для ссылных двор с тыном и избами. Хотя мы видим в конце XVII века начало колонизационных стремлений, – так как уже в указах Алексея Михайловича приказывается сосланных преступников устроить с женами и детьми на пашни, давая им ссуды и всякие угоды на пропитание, – но никаких сведений об этом заселении мы нигде не встречаем: известен только один факт, что ссылных определяли на работы в Тюмени.

С начала XVIII столетия ссылка начинает приобретать еще больше значения и постепенно распространяется на такие преступления, за которые прежде назначались другие наказания. Рядом с этим в XVIII веке являлись новые ограничения, новые постановления и законы, а затем и новые наказания их нарушителям. Так, введена ссылка в Сибирь за побеги солдат², за членовредительство³, за нищенство⁴, за бродяжество⁵, в случае если бродяга оказывался негодным к военной службе и не был принимаем никаким помещиком и ни в чье общество. В 1733 г. указом повелено ссылать в Сибирь за подделку серебряных вещей с наказанием кнутом. Вторым указом предписывается лиц священнослужительского и монашеского чина за дурное

¹ См. *Щапов А. П.* Земство и раскол. СПб., 1862. Ч. 1. С. 13.

² ПСЗ. Т. VIII. № 5611.

³ Там же. № 5632.

⁴ Там же. № 5441.

⁵ Там же. Т. IX. № 6406.

поведение, ссоры, драки и пьянство – молодых бить плетьюми и отдавать в солдаты, а неспособных к службе бить кнутом и, вырывая ноздри, ссылать в Сибирь. В 1737 г. издан новый указ, которым велено тех, «кто зазнамо продаст или купит положенного и неположенного в оклад чужого человека, также и крестьянина, или отдаст таких в рекруты, виновных, кто будет годен, бить плетьюми и посылать в солдаты в Оренбург, негодных бить плетьюми и посылать в Охотск». Кроме того, с виновных в пользу владельца взыскивался, вместо сданного в рекруты человека, лучший крестьянин или дворовый человек, а с не имеющих движимого имущества – 100 руб. деньгами. Указами Елисаветы Петровны 1753–1754 г. смертная казнь совершенно отменена для всех преступников, исключая политических, и ссылка обняла все роды преступлений, и казнь с этого времени заменялась кнутом и вечной каторгой¹. Указ 1763 г. предписывал, сверх того, оговоренных в воровстве, разбое и пристанодержательстве, как неблагонадежных, после пытки, если не сознаются и не найдется поруки за них, ссылать в Сибирь на житье. Указом 1766 г. введена ссылка за корчемство. До 1767 г. ссылка была распространена на несостоятельных должников и казенных недоимщиков. Указом Павла I 1799 г. за воровство более 20 руб. предписывается наказывать плетьюми и годных отдавать в солдаты, а негодных посылать в Сибирь на поселение. Кроме того, в половине прошлого столетия мы видим особенное расширение ссылки административной, предоставляемой исполнительным властям. Указом 1793 г. предписано отсылать в Сибирь мастеровых и рабочих людей за пьянство, за игру в карты и кости, на «кош фабрикантов, буде они посылаются по их прошению». Подобное же постановление еще ранее было издано для крепостных. Указом 1755 г. недобровольно возвращающихся беглецов из Польши и Литвы, из крепостных крестьян, определено отсылать для

¹ Там же. Т. XIII. № 10 086.

укомплектования полков, а неспособных к военной службе и старше 50-ти лет – с женами и детьми в Сибирь на поселение. В 1762 г. лицам и учреждениям, владеющим крестьянами, дозволено представлять последних, по своему усмотрению, в губернскую канцелярию для отправления в Сибирь, причем ссылаемый зачитался в рекруты, а за его жену и детей, отправляемых вместе с ним, помещик вознаграждался определенной платой¹.

II.

XVIII век представляет обильные материалы для изучения истории преступлений, которые в это время развились в страшной степени, судя по указам и постановлениям. Борьба старинной Руси с реформой, начавшаяся в конце XVII столетия, продолжалась, и хотя старые формы жизни уже начали заменяться новыми, но дух реформ далеко не клеился с прежней жизнью народа. Как ни худо было народу в старой Московской Руси, но все же в то время леса были не заповедны, естественные богатства предоставлялись на пользование всякому, торги и промыслы, по большей части, не были обложены налогом; сами подати, оклады и сборы не имели строгой организации – люди, прикрепленные к земле со времен Бориса, и после прикрепления все еще могли бродить свободно по русской земле. Понятно, что новый порядок и государственная регламентация, после распущенности XVII века, вызвали негодование, оппозицию и борьбу народа, которая была подавляема сверху законом, с помощью карательных мер, казней, наказаний. «Неприветлива и безотраднa была для большей части народа встреча нового столетия, – пишет один из русских историков, – на площадях и улицах Москвы еще

¹ Указ о ссылаемых в Камчатку фабричных по просьбе господ (ПСЗ. Т. XIII. № 9643). О приеме в Сибирь на поселение людей от помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и государственных крестьян и проч. (ПСЗ. Т. XV. № 1116).

свежи были следы крови народной. Ужасные стрелецкие розыски, аресты, тюрьмы, допросы, пытка, дыбы, костры, виселицы, кнуты, клещи, колеса, плахи, кучи смрадных трупов... Повсюду: по городам, по селам, в домах, на улицах, в кабаках, в харчевнях, в монастырях, даже в далеких темных лесах – страшное, постыдное *слово и дело!* И все новые и новые жертвы Преображенского приказа и Тайной розыскных дел канцелярии; беспрестанные жертвы застенков, пыток и казней»...¹ «Пытки и казни, – говорит другой историк Карамзин, – служили средствами нашего славного преобразования государственного». Таким образом, самые суровые и жестокие наказания шли об руку с реформами. Чтобы прикрепить народ и уменьшить бродяжество, употребляется кнут и ссылка; за побег из армии – каторга, за раскол и бунт и распространение воззваний – смертная казнь, иногда заменяемая тем, что обвиняемого клали на плаху и затем ссылали в Сибирь. За сопротивление брадобритию, за старую веру лишали права на подряды, отрывали от домов, от торгов и промыслов, везли в застенки Преображенского приказа и Тайной канцелярии, ссылали в Рогервик и Сибирь. Учреждаемая опека над лесами и стремление сохранить их для будущего флота навлекали сами страшные наказания. За порубку дуба, даже одного дерева, и за большую порубку остальных заповедных деревьев назначалась смертная казнь. Осталось предание, что в лесах для устрашения были поставлены виселицы. Такие суровые меры, иногда идущие в разрез с жизненными хозяйственными потребностями народа, вызывали с его стороны постоянные нарушения их, а нарушение влекло за собой казни и ссылку. Привыкши в старое время пользоваться всем даром, народ не мог свыкнуться с необходимостью ограничить себя в пользовании лесом, солью и т. п., по его мнению, никому не принадлежащими предметами, и естественно по недоразумению становил-

¹ Щапов А. П. Указ. соч. Ч. 1. 63–64.

ся виновным в нарушении законов. Время Петра и начало XVIII столетия ознаменовалось многочисленными ссылками; в течение всего XVIII века они не уменьшались, но еще постоянно усиливались. Карательные меры и казни не только не могли подавить бунтов и преступлений, но возбуждали их. Раскольники с Петра I были обложены двойным окладом и подвергались всевозможным угнетениям в занятиях, промыслах и подрядах. Поэтому оппозиция раскола с каждым днем усиливалась: пропаганда, с мученическим венцом тайных учителей, охватывает всю Россию. «Напрасно страждем, – говорили раскольники, – за древнее благочестие гонение терпим и казни приемлем, понеже не хотяще послушать нашего оправдания и довод, которое имамы от божественного Писания, осуждают нас в ссылки, в узы, в темницы, на смерть». Усиление раскола в то же время ознаменовалось дроблением сект. Ссылка не удерживала их: в Сибири их было так много, что Петр I в 1722 г. велел сослать их в Рогервик¹.

Увеличение налогов и повинностей, ограничение в пользовании угодьями отражалось самым неблагоприятным образом на благосостоянии народа. Ограничение пользования лесами и угодьями повело за собой падение промыслов и крестьянских хозяйств². Рекрутские наборы во время войн Петра I, Елисаветы и Екатерины II ложились на крестьян самым тяжким бременем³. Усиление податей и налогов, жестокое взыскание их при помощи телесных наказаний и пыток, как было при Бироне, приводили народ

¹ Архив Министерства юстиции. Дела Сената Синоду // Соловьев С. Указ. соч. Т. XVIII. С. 212.

² «Древеса самые нужные в делах народа повсюду заповедана быши», – говорит Докукин по поводу лесных законов Петра. Вместе с тем устанавливается отдача рыбных ловель на откуп, казенная продажа соли по двойной цене, введение казенной монополии в продаже табаку, водки, налог на гроба, на бороды и проч. Соловьев С. Указ. соч. Т. XVI.

³ Положение рекрутов и их дурное содержание. Соловьев С. Указ. соч. Т. XVI. С. 202–205.

к совершенному разорению¹. Рядом с этим шло взяточничество и грабеж приказных; лихоимство стало явлением, присущим суду и управлению. «Сердце мое надрывается от этих слухов», – говорит Екатерина II в своем указе 1762 г. На то же зло жаловалась еще и Елизавета при своем вступлении на престол. Все эти невзгоды, при существовании крепостного права, приписки крестьян к заводам, доводя крестьян до крайнего нищенства и бедности, вызывали бегства, разбои и преступления. «Крестьяне, оставляя свои дома, от неправды бегут», – пишет Посошков. Бегство крестьян в XVIII столетии все усиливалось: они начали уходить в Польшу, в Башкирию, в Запорожье. По словам Меншикова, «так мы нашими крестьянами не только довольствовались Польшу, но и собственных своих злодеев» (90). Количество беглых было так велико, что в 1707 г. полковник Долгорукий отыскал на Дону до 3000 скитальцев. Разорение и обеднение крестьян, рядом с бегством, вело к воровству, разбоям и убийствам. Разбои XVIII века чуть ли не превосходят XVII век. Они проявляются в 1707 г. около Углича, Твери, в Ярославле; в 1710 г. на грабежи и убийства жалуются клинские, волоцкие и Можайские жители: это были разбои беглых солдат, драгун и карелы². В Москве в 1749 г. грабежи поразительные: до 1000 человек фабричных, разбежавшихся с фабрик, неистовствовали в городе. К этому присоединился Ванька Каин, сыщик и вор в то же время, производивший свои похождения с шайками воров и с вверенной ему для розысков командой³. При Екатерине отличается, с 1770–1782 гг., понизовая вольница

¹ При Петре доходы казны возвысились с 3 на 10 миллионов рублей. Позднее недоимки простирались до нескольких миллионов. При Бироне посылались для сбора особые офицеры; воевод и сборщиков, как и недоимщиков, держали в цепях и тюрьмах и били палками. (Из материалов для истории и статистики города Ельца // Русский архив. 1866. № 3. Ст. 363).

² Соловьев С. Указ. соч. Т. XVI. С. 16–17.

³ Ванька Каин // Оснадацатый век. Исторический сборник, издаваемый П. Бартевым. Кн. 3. М., 1869. С. 281–335.

и бурлаки, выставляя одну за другой шайки разбойников с атаманами Ивановым, Юдиным, Кулагой, Заметаевым, Филипповым, Буковым и с десятками других; они распространяют опустошение по всему Поволжью, жгут и разоряют деревенских жителей¹. Разбои и преступления, наконец, переходят в более общие волнения. Бродячие элементы крепостного народа, наконец, сплачиваются в массы, и огромными массами производят волнения: появляются самозванцы, как Кремнев, Богомоллов и, наконец, Пугачев, и бунты потрясают Россию до основания; разбои и крестьянские восстания, однако, не прекращаются и после Пугачева. XVIII век, таким образом, весь полон восстаниями и бунтами. Бунты при Петре стрельцов и раскольников, восстание в Астрахани, булавинский бунт на Дону в 1708 г., бунт Некрасова, железинский бунт в 1768 г., волнение Запорожья в 1775 г., московский бунт во время чумы 1768 г., бунт яицких казаков в 1771 г., бунт монастырских крестьян в 1713 г., волнения крестьян при Екатерине, предшествовавшие пугачевщине, Пугачев и самозванцы с 1770–1782 гг., волнение крестьян при Павле в 1797 г. ... – такова была мрачная сторона XVIII века. Мы видим, что эти бунты имеют связь с историей преступлений и вызываются одинаковыми причинами. Народный протест вследствие тяжкого положения народа то проявляется общей оппозицией и сплачивается в широкие поголовные восстания, то дробится в мелкие и частные преступления, проявляющиеся бегствами, разбоями и воровствами; открытая война переходит в тайную, общие восстания – в частные нарушения порядка, но никогда не прекращаются.

Но что же предпринимали для прекращения этих печальных явлений, для ослабления постоянного развития преступлений в XVIII столетии? Единственными мерами тогда являлись пытки, казни, кнут и ссылка. Для го-

¹ *Мордовцев Д. А.* Самозванцы и понизовая вольница. СПб.-М., 1867. Т. 1–2.

сударственных преступлений и для розыскания крамолы с Петра I учреждена была Тайная розыскная канцелярия, существовавшая до Петра III, т. е. до 1762 г. Рядом с ней действовал Преображенский приказ, уничтоженный в 1729 г., но через год снова восстановленный. В этот приказ доносы принимались отовсюду. «Слово и дело» раздавалось по всей России, и виновных по одному оговору отправляли в Тайную канцелярию для розыска. Здесь ожидали их дыбы, колеса, щипцы, кнуты, встряски и пытание бревном. Таково тогда было следствие. Ни одна передача пустого слуха, ни одно смелое слово, иногда сорвавшееся у пьяного с языка, не проходили даром и влекли за собой донос и пытку. Жизнь была страшна и небезопасна в подобном обществе. Несмотря на свою подозрительность, эти тайные канцелярии, по мнению всех историков, не приносили никакой пользы: они только расплодили доносчиков и помогали последним устраивать их личные дела; питавшие злобу к кому-либо всегда имели случай отомстить своим врагам доносом. И тысячи невинных жертв погибали, а действительные преступления совершались безнаказанно. Тайные канцелярии озаменовали свою деятельность страшными наказаниями и ссылками. «При Анне, – говорит Соловьев, – через эту канцелярию прошел целый ряд священников, забывших отслужить молебны и обедни в царские дни; все они были биты кнутом и отправлены в Сибирь». Преступления между тем увеличивались, и оказывалось уже мало одной Тайной канцелярии для розысков преступников: вследствие увеличения разбоев принуждены были в 1730 г. восстановить в Москве Сыскной приказ, уничтоженный в 1701 г., которому поручено ведать воровские, разбойничьи и убийственные дела. О деятельности Сысского приказа можно судить по числу колодников, перебивавших в нем. С августа 1730 г. по 1 января 1731 г. пытано было 425, умерло 11, казнено 11, послано в Сибирь и Тару 57, отослано в команды 44 человека; в

течение 1731 г. пытано 1151 человек, казнено 47, умерло 58, послано в Сибирь 54, на поселение в Тару 101, в ссылку в Охотск 155, в команды 213 человек¹. Но ссылки того времени мало устрашали воров и разбойников, которые только озлоблялись и мстили доносителям. Плохо организованное препровождение арестантов способствовало бегству преступников. «Беглые ссыльные, – говорит по этому поводу Сенат, – возвращались на прежние свои злодеяния с вящим устремлением к погублению бедных поселян; кто на них показывал, таких тирански мучили, жгли, грабили, убивали до смерти и разоряли до основания». В самой системе наказаний мы видим даже попытки к реакции: так, иногда вводились более суровые меры, чем ссылка и кнут, возвращались к казням. За способствование беглым к переходу границы при Петре назначена была смертная казнь, и учинена была публикация по этому поводу по губерниям для устрашения. Ввиду разорения, порождаемого воровствами, разбоями и убийствами, дворянские депутаты при Екатерине II ходатайствуют об издании «строжайших законов», о восстановлении смертной казни и об усилении пыток, уже ограниченных Екатериной². При усиливающемся крепостном праве в половине XVIII века помещики успели выхлопотать неограниченное распоряжение судьбой крестьян и особенно право суда и ссылки. При Екатерине II помещикам предоставлено право отсылать крестьян «за прoderзость» в Иркутскую провинцию, причем за каждого сосланного правительство выдавало зачетные рекрутские квитанции и деньгами 20 руб. за холостого и 15 руб. за женатого³. Такое право для одних помещиков представляло выгодную спекуляцию, для других – предлог необузданно выражать свою власть, и крестьяне тысячами шли, якобы «за прoderзость», колонизовать Сибирь-

¹ Ванька Каин // Оснадцатый век. Исторический сборник... Кн. 3. С. 302–303.

² Сборник Русского исторического общества. СПб., 1869. Т. IV. С. 377 и др.

³ ПСЗ. Т. XVII. № 12 319.

ский край, где их ожидали страшная дороговизна и нужда. Через несколько времени права помещиков в деле ссылки еще более усилились: они уже могли отдавать своих крестьян в каторжные работы на время, и таких продовольствовала и ссылала Адмиралтейская коллегия. Крестьяне и дворовые не смели жаловаться на владельца, чтобы он ни делал с ними; ни один чиновник не смел писать им жалоб и прошений. Это у них отнимало всякую возможность защищаться перед законом, и они шли покорно копать руду в Нерчинск. Положение крепостных крестьян день ото дня становилось между тем отчаяннее: их эксплуатировали и разоряли всеми средствами. Вот как объяснял, например, бегства крестьян от помещиков граф Петр Панин при начале царствования Екатерины II: «Ничем не ограниченная помещичья власть с выступлением в роскоши из всей умеренности (проявляется) в сборах с подданных своих собственных податей и употреблением оных в работы, не только превосходящие примеры ближних заграничных жителей, но частенько у многих выступающие и из способности человеческой»¹. Для поддержания своих роскошных затей помещики обременяли крестьян оброком и барщиной. Они проигрывали крестьян в карты, продавали их даже в одиночку, в противность указу Петра, переселяли и ссылали в Сибирь, чтобы получать выдаваемые за них казной деньги. Крестьяне совершенно не знали, кому их продают, что с ними делают и за что ссылают в Сибирь, и при этом не смел раздаваться ни один голос, ни одна жалоба, ни один вопль. Дворовые люди и крестьяне генерала Леонтьева, генеральши Толстой и подполковника Лопухина как-то добились подать просьбу государыне на своих господ, но правительство жестоко наказало их за это: одних секли на площадях в Москве, других в селах, на родине, и погнали в Сибирь, в Нерчинск. Вышел указ: за челоби-

¹ О беглых лифляндских крестьянах // Оснадацый век. Исторический сборник... Кн. 3. С. 193.

тъя, за первое «дерзновение» виновных отсылать в каторгу на месяц, за второе – наказывать публично и в каторгу на один год, в третий раз сечь плетью и в Нерчинск, с выдачей помещику рекрутской квитанции. Иго крепостного права, развившееся в столь страшной форме, естественно влекло за собой не только бегства, преступления, но и открытые бунты. Во все XVIII столетие между крестьянами идут смутные толки о воле: беспрестанно распространялись слухи о том, что подписан указ об освобождении; досужие люди сочиняли такие указы, – крестьяне собирались тысячами и волновались. Так, в 1765 г., по поводу слухов о воле, в Вяземском уезде в имении князей Долгоруких собралось до 2000 крестьян, против которых была послана военная команда и убито до 20 человек. Усмирение кончилось ссылками. Сочинителей указов и распространителей слухов били кнутом и ссылали в Нерчинск; но это было только предвестие пугачевщины. Скоро недовольное казачество, громадные шайки беглых и «голытвенных», крепостные крестьяне и раскольники соединились между собой – и пожар открытого восстания надолго охватил Россию. Только голод, говорят историки, смирил эту бурю народную. Усмирение повлекло новые жертвы: настали казни и ссылки – ссылки гуртовые, ссылки страшные; кнут, пытка и огонь не переставали выжигать крамолу и подавлять народное сопротивление. Помещики мстили крестьянам за неповиновение; военные суды производили разбирательство над зачинщиками бунта; экзекуции военных команд чинили расправу над сотнями и тысячами людей по городам, селам, деревням и погостам России. Кровь полилась ручьями по земле русской, и тысячи народу на сворах и канатах шли в Сибирь и рудники. Это считалось единственным средством усмирить оппозицию и удержать брожение; но бунты и преступления, несмотря на жестокие кары, не уменьшались: причины их лежали глубоко в общественном устройстве и в бедствиях народа.

В XVIII веке, таким образом, ссылка достигает огромных размеров: по показанию Манштейна (91), в Сибирь в течение десяти лет сослано было до 20 000 одних дворян. При Елисавете, с уничтожением смертной казни, ссылка возросла до 80 000 человек во все царствование; при Екатерине, конечно, число ссыльных еще увеличилось: во время пугачевщины, когда Казань была сборным пунктом, в 1773 г. накопилось здесь за два года до 5000 ссыльных и каторжных, которые были обращены в крепости и на новые линии.

Каков же был характер ссылки в Сибирь в прошлом столетии? Ссылка, мы видим, все-таки остается добавочным наказанием к кнуту и пыткам. При Петре к ней присоединяется обряд гражданской смерти: преступника клали на плаху, произносили «смерть», а затем наказывали кнутом и ссылали в Сибирь, лишая в то же время всех прав, основанных на связях родства, рождения и состояния; вместо резания ушей стали вырывать ноздри. Ссылка в Сибирь с женами и детьми обязательно продолжает существовать и в XVIII столетии. Хотя ссылка по-прежнему носит карательный характер, но при Петре I мы встречаем уже ясные стремления утилизировать ее: на преступников начинают смотреть, как на даровую рабочую силу, и вот последовал ряд указов об отправлении преступников в Азов и в Рогервик¹. Точно так же последовал в 1722 г. указ о ссылке преступников с женами и детьми на даурские серебряные рудники для определения на работы². Таким образом, начали ссылать сюда всех бывших каторжных преступников, находившихся на работах в Москве, всех преступников, подлежащих вечной ссылке, и раскольников³. Ссылка в кре-

¹ Указ о ссылке колодников в Азов, а не в Сибирь // ПСЗ. Т. IV. № 1 451, 1 957, 2 031; О наказании бежавших из-под Азова стрельцов ссылкой туда и вечными работами // Т. III. № 1 690, 1 552; Т. IV № 1 933; О ссылке в Рогервик // Т. VI. № 4 041, № 4 109; Т. VII. № 4 256.

² ПСЗ. Т. VI № 3 455.

³ Там же. Т. VII. № 5 383; Т. IX. № 6 830 и 6 876; Т. IX. № 6 835.

пости для работы подтверждена указами в царствование Анны¹. При Елизавете Петровне, кроме Азова и Рогервика, стали ссылать преступников на работы в Оренбургский край для постройки Орской крепости, в Новороссию для укрепления Днепровской линии, в Кронштадт, Ригу, Колу и в Астраханскую губернию. Впоследствии к местам ссылки для работ присоединены екатеринбургские золотые прииски и иркутская Тельминская фабрика², в которую приказано отправлять преимущественно женщин. Ссылка на работы в XVIII столетии считалась, таким образом, тождественной с каторжными и галерными работами. Но такой взгляд на ссылку был, по меньшей мере, крайне несправедлив и жесток: ссылка назначалась по большей части за самые маловажные вины – за брадобритие, за мелкое воровство, за частные долги, за недоимки. В прежнее время таких преступников ссылали «на пашню», теперь же их стали отсылать прямо в каторжные работы. Хотя за некоторые преступления впоследствии и отменена ссылка, как, например, за долги в 1767 г., а в 1781 г. ограничена за воровство, но все-таки применять самые суровые каторжные работы ко всем родам преступлений было жестоко. Утилитаризация преступников привела к другой крайности: она уничтожила личность человека, соразмерность и законность самого наказания. Поэтому потребовалось учреждение какой-либо классификации по важности преступления, и вот именным указом 1797 г. была сделана к этому первая попытка. Преступники разделялись на категории: 1) уголовных преступников: смертоубийц, оскорбителей величества, возмутителей народа и пристанодержателей велено по-прежнему посылать в каторжные работы; 2) преступников, приговоренных на поселение, назначать на работы в Тельминскую фабрику; 3) осужден-

¹ ПСЗ. Т. IX. № 6 869–№ 6 890.

² Об отсылке преступников по-прежнему в Сибирь и Оренбург // ПСЗ. Т. XX. № 14 286; Т. XXV. № 18 437; Т. XXV. № 12 409 и др.

ных к телесному наказанию и без оногo, за долги и другие преступления, навсегда или временно, в смирительные дома и другие казенные работы, отправлять к крепостным строениям, куда кто способен. Но вводя эту классификацию преступлений, закон по-прежнему имел в виду извлечение наибольшей пользы из ссылаемых преступников для казенных работ, тем более что в 1798 г. ссылка на иркутскую Тельминскую фабрику была отменена для преступников второй категории и заменена *или отсылкой на екатеринбургские золотые прииски, или в Сибирь на поселение*; здесь опять смешивались два вида ссылки – на поселение и на каторгу. В 1811 г. новгородский, тверской и ярославский генерал-губернатор принц Ольденбургский, вошел с представлением о необходимости более точной классификации преступлений и более соразмерных с преступлениями наказаний. Пересмотр существующих постановлений привел к новому разделению преступников *на важных, наказываемых каторгой, средних, отправляемых на поселение, и маловажных, подлежащих полицейским наказаниям*; но это постановление по своей неопределенности приводило к вечным затруднениям на практике. Суды постоянно встречали неясности в законоположениях и относили одно и то же преступление к различным степеням. Вместе с тем, существовала административная ссылка, назначение которое несколько не зависело от принадлежности лица, на которое выпадала кара, к тому или другому разряду преступников. Отсюда понятна та неопределенность правил для ссылки, которая существовала во все прошлое столетие и в начале нынешнего. При своей неопределенности и произвольности назначения ссылка в то время не имела других целей, кроме карания и извлечения возможной пользы из ссыльного как рабочей силы; колониционное же ее значение было очень слабо: при ссылке в Сибирь в XVIII столетии постоянно встречаются оговорки «способных отдавать в солдаты, а

неспособных и негодных в Сибирь»¹, также в ссылку значать только преступников старше 50-ти лет². Назначение в ссылку неспособных и старых всегда мешало колонизационным целям. Ссылка в Сибирь в прошлое столетие тем не менее носит характер исправительный: вместе с употреблением преступника как рабочей силы, в пользу государственную, мы видим, что она по-прежнему сохраняет строго карательный характер: она сопровождается пыткой и кнутом для всех сословий и полов: знатной придворной даме Монс (Балк) при Петре дают несколько ударов кнутом и ссылают в Сибирь; при Анне и Бироне ссылаемым вельможам рвут языки; процесс Волынского полон пыток кнутом³. Дворяне наказывались кнутом и вырыванием ноздрей, как и остальные сословия; лица священнослужительские также не были изъяты от этих наказаний и, по указу Петра, за ссоры и драки их били плетью, рвали ноздри и ссылали. Екатерина уничтожила телесное наказание для дворян, но при Павле в 1797 г. повелено было снова наказывать телесно как дворян, гильдейских граждан, так священников и дьяконов, потому что «как скоро снято дворянство, то и привилегия до него не касается», говорится в этом указе. Телесное наказание употреблялось даже для малолетних: в актах томского Алексеевского монастыря есть любопытный документ 1734 г. о сосланной навечно в работу в томский женский монастырь из Тайной московской конторы падчерицы драгуна Стародубцева. В указе о ней сказано: этой девочке, за некоторую вину ее, «предварительно, как видно, *по малолетству учинено на-*

¹ Указ Сената 1733 г.: годных в солдаты, а *негодных* кнутом и в Сибирь. За бродяжество *негодных* в службу – в Сибирь (ПСЗ. Т. IX. № 6 400); за воровство-кражу более 20 руб. – в солдаты, а негодных – в Сибирь (Указ Павла 1799 г.).

² Указ 11 мая 1755 г. относительно беглецов из Литвы и Польши из помещичьих крестьян.

³ См. Царствование Анны Иоанновны (Русский архив. 1866. № 10. Ст. 1349–1374).

казание лешьми»¹. Но, кроме телесного наказания, в прошлом столетии ссылаемому приходилось выдерживать пытки и допросы «с пристрастием плетей и батожьев». Обессиленных долгим тюремным заключением, дыбами, встрясками, битьем кнутом, с рваными ноздрями, отягченных цепями, на канатах ссыльных под ударами плетей гнали пешком через громадные пространства, везли на дырявых стругах по сибирским рекам. Сибирских арестантов водили на пытки в Иркутск – за 900 верст из Нерчинска, за 3000 верст из Якутска и за 5000 верст из Охотска; многим приходилось идти около года, одни не доходили до Иркутска, умирали от голода и холода, другие бежали с дороги². При таких условиях ссылка являлась самой жестокой карой. Во все это время устрашение служит главной целью наказания; оно служит средством проведения всех правительственных мер; со времени Петра им хотят уничтожить народную оппозицию. При помощи устрашения и казнями Петр I вынужден был осуществлять свои реформы; ими он приучает народ к правильной уплате податей, принуждает чиновников к исправности, дворян к военной службе и обязательному образованию. Средства устрашения служат даже при промышленных нововведениях, как, например, угроза каторгой за нерачительное выделывание юфти. «Галерная работа» в случае неисполнения – вот мотив тогдашних указов и единственная гарантия исполнительности. Тот же мотив устрашения является в казнях временщиков и вельмож во время придворных интриг с Екатерины I до Елисаветы включительно. Господствующая партия мстит падшей и угрожает другим, возвышающимся. Правительственные распоряжения и внутренний порядок Петра даже в царствование Екатерины II поддерживаются по-прежнему страхом наказания. «Шишковский, обер-секретарь при Тайной экс-

¹ Потанин Г. Н. Указ. соч. С. 286. (Указ из архиерейской канцелярии 1734 г.).

² ПСЗ. Т. XVII. № 12 345.

педии при Екатерине II, был одним из орудий той системы устрашения по делам внутренним, – говорит один исследователь русской старины, – к которой изредка должна была прибегать и Екатерина и которая господствовала у нас в течение большей половины XVIII века». Этот Шишковский сам наказывал многих знатных преступников, и даже многие дамы бывали в руках его. Либеральные писатели века Екатерины были на допросах этого инквизитора. «Что, Степан Иванович, каково *кнутобойничаете?*», – спрашивал обыкновенно Потемкин, встречая Шишковского. «Понемножку, ваша светлость», – отвечал, бывало, Шишковский. Кнутобойничанье было естественным и постоянным явлением прошлого столетия. Ссылка, как и другие наказания, имела в виду страх и жестокость. Все это было в нравах того грубого времени. Жестокость и усмирение личности силой было наследием древних веков, завоевательного насилия, предрассудком, вынесенным из периода физической борьбы, примененным из внешних, международных отношений к внутреннему гражданскому порядку. Далеко позднее все власти и партии одинаково пользовались *страхом*, чтобы двигать массами и обеспечивать себе временное спокойствие. Мнение, что страхом можно что-нибудь сделать с человечеством, остается, к сожалению, несчастным предрассудком многих людей до последнего времени.

III.

Ссылка до XIX столетия подвергалась многим случайностям. Для нее не существует ни определенных правил, ни точных законодательных узаконений; все роды ее, как торговая работа в крепостях, работа на фабриках и заводах, так и ссылка на свободное поселение в Сибирь, совершенно смешиваются. Правительство силилось с помощью ее не только избавиться навсегда от дурных элементов, но и от-

части употребить с некоторой пользой силы преступника. Всякое – и большое, и малое преступление – давало свой контингент ссыльных, и их число до того увеличилось, что бродяг, воров и людей дурного поведения, вместо кнута, стали зачислять: одних – в солдаты, а других – в крепости. Вместе с тем потребовалась и некоторая соразмерность наказания, которая уже указывалась постановлением 1799 г. При таких условиях от ссылки в XIX столетии можно было бы ожидать некоторой определенности и уменьшения применения ее к самым незначительным преступникам. Действительно, чтобы определить соразмерность наказания с преступлением, в 1811 г., как мы уже видели, издается указ, по которому преступления делятся на три категории: на важные, средние и маловажные. К первым относится убийство, разбой, возмущение и лихоимство, за что полагается каторга; ко вторым – кража свыше 100 руб. серебром, неоднократное воровство, пристанодержательство и бродяжничество, за что присуждается поселение; к третьей категории относятся маловажные кражи, мошенничество, непослушание, за что установлены полицейские наказания. Устав 1822 г. о ссыльных формулирует еще более постепенности, и предполагает ссылку только по суду, в крайнем случае. Но, несмотря на эти стремления, судьба русской ссылки подвергается совершенно противоположной участи. Уже с начала XIX столетия мы видим необыкновенное увеличение числа ссыльных. В то время, когда с 1807 по 1812 г. оно равнялось 2 035 человек в год, в 1817 г. цифра эта поднимается до 3 138, в 1823 г. вдруг до 6 667, а с 1824 по 1828 г. средним числом до 11 116 ежегодно. Таким образом, ссылка в течение 12 лет *упятерилась*. Чем же можно объяснить подобное явление? Единственно развитием ссылки административной (негодных к военной службе дурного поведения мещан и государственных крестьян стали ссылать в Сибирь), а также изданием двух указов, имевших важное значение на увеличение числа ссылаемых в Сибирь. Указы эти

объяснялись неудовлетворительной системой прежних наказаний и *введением ссылки для нового числа лиц*. Применение их и повлияло так сильно на возрастание числа ссыльных с 1824 г. В XVIII столетии мы видим, что важные преступники ссылаются в каторгу, но относительно мало-важных закон не руководствуется никакими правилами: подобных преступников большей частью отдают в военную службу и наполняют ими крепости, а в Сибирь ссылают только излишек; наконец, все крепости до такой степени наполнились арестантами, что уже негде было размещать их. С другой стороны, установившееся в царствование Петра правило наполнять армию ворами и бродягами сильно вредило нравственности военного сословия и сделало побегии совершенно нормальным явлением. Ввиду этого правительство указом 1821 г. повелело всех маловажных преступников и бродяг, замещаемых прежде на работы по крепостям, обращать впредь в Сибирь¹. На другой же год после этого указа цифра ссыльных поднялась с 3 до 6 тысяч. Затем указом 1823 г. запрещено обращать в военную службу маловажных преступников и велено отправлять их в Сибирь². Вследствие этого указа через Сибирь прошло в 1824 г. до 12 000 ссыльных – число, до которого далеко не достигает даже нынешняя ссылка. Значительное распространение ссылки на маловажных преступников в это время было вызвано отсутствием тюремных помещений и экономическими расчетами, а не какими-либо соображениями о полезности такого наказания. Таким образом, все предыдущие постановления правительства о соразмерности наказания и уменьшении ссылки совершенно парализовались этой административной мерой, которая прямо противоречила указу 1822 г., имеющему целью определить точно меру наказания. Через два года после издания этого указа ссылка распространилась на такое громадное число лиц, большая

¹ ПСЗ. Т. XXXVIII. № 26 655.

² Там же. № 29 328.

часть которых за свои проступки могла подвергнуться только обыкновенным полицейским взысканиям, что закон принужден был снова ограничить ее до некоторой степени, обратив преимущественное внимание на точное определение преступности бродяжества: последовало ограничение числа лиц, ссылаемых за беспаспортность; отменена ссылка увечных и разрешено помещикам водворять на место жительства их крепостных из бродяг, возвращая их даже с пути следования в Сибирь; разрешено принимать в военную службу тех же бродяг и маловажных преступников, которые не наказаны рукой палача. С принятием этой меры начинается некоторое уменьшение прилива ссыльных сравнительно с прежними годами. В то же время для преступников маловажных вводятся в губернских городах арестантские роты гражданского ведомства, и сюда зачисляют бродяг и маловажных преступников. Для бродяг некоторых областей назначается ссылка на Кавказ. Вследствие побегов из Сибири магометан, всех тяжких преступников из восточных губерний магометанского исповедания начинают ссылать в финляндские крепости. Все это, вместе с большей определенностью закона относительно назначения ссылки как наказания, не могло не повлиять на уменьшение числа ссыльных, и с 30-х годов по 1846 г. эта цифра колеблется между 6 000 и 8 000 ежегодно, лишь в 1836 г. доходя до 9 700¹. С учреждением арестантских рот как будто устанавливается уже прочная система наказаний: тюрьма – для маловажных преступлений, арестантские роты и рабочие дома – для преступников, приговариваемых к значительным срокам заключения, т. е. более двух лет, и ссылка на поселение и каторгу по суду как мера уголовная, только в случае совершенной неисправимости преступника. Однако и этой системе не суждено было долго удержаться. Еще в самое первое время ее применения оказалось, что нет до-

¹ *Анучин Е. Н.* Материалы для уголовной статистики России. Исследование о проценте ссылаемых в Сибирь. Тобольск, 1866. Ч. 1. С. 26 (таблица).

статочного числа тюрем, а число преступников так велико, что не вмещалось в арестантские роты. Поэтому пришлось снова прибегнуть к частому назначению *административной ссылки* маловажным преступникам и к замене одних наказаний другими. Административная ссылка снова получает перевес, и значение ее становится преобладающим до последнего времени. Вот что сообщает о ней г-н Анучин в своем исследовании. В 20 лет, с 1827–1846 г., прошло в Сибирь преступников 195 755 человек¹ (92); в этом числе на 79 846 сосланных по суду за уголовные преступления приходится 79 909 сосланных административно, без всякого суда, за следующие преступления: за бродяжество, за дурное поведение по распоряжению местного начальства, за дурное поведение *по воле помещика* и бежавшие из Сибири каторжные. Относительно бродяг материалы Анучина сообщают следующие любопытные сведения. Слово бродяга, говорит он, у нас понималось чрезвычайно различно и недовольно ясно определено было в законах; поэтому, «как видно из донесения калужского губернатора, считали за бродяг и ссылали в Сибирь без дальнейших справок даже приходивших из соседних губерний по своим делам или для испрашивания милостыни, так как указом 23 февраля 1823 г. повелено было всех, не предъявляющих паспортов, не наводя о них никаких справок, отсылать прямо в Сибирь. На этом основании ссылали всех странствующих нищих, слепых, хромых, немых и других убогих»². Относительно второй категории ссылаемых за дурное поведение мы находим объяснение, что цифры этой ссылки далеко не могли служить оценкой безнравственности в русском народе, как и признаком ухудшения нравственности по годам и периодам. Ссылка эта, по словам Анучина, была результатом расширения полицейских прав городских и сельских обществ над их членами, различных учреждений над подведом-

¹ Анучин Е. Н. Указ. соч. С. 26 (таблица).

² Там же. С. 22–23.

ственными им лицами и всего более – помещичьей власти над крепостными людьми. Цифра эта подвергалась совершенно произвольным колебаниям. За дурное поведение, по распоряжению местного начальства, с 1826–1836 гг. сослано 2 546 человек, а с 1837–1846 гг. – 3 583. Цифра ссылок *по воле помещиков* подлежала еще большим изменениям: с 1831–1836 гг. она равняется 882 человекам, с 1837–1841 гг. достигает 1 980 человек и с 1842–1846 гг. – 2 775 человек! – во второе десятилетие более чем вдвое против первого. Между тем крепостное население в течение этого времени, судя по исследованиям г-на Тройницкого, скорее уменьшилось, чем увеличилось (93). И в то время как правительство в течение 20 лет за дурное поведение сослало всего 6 129 человек, помещики отправили в Сибирь 6 886 своих крепостных, хотя под их распоряжением, конечно, находилась меньшая цифра населения, чем в распоряжении правительства. Об упадке нравственности, разумеется, тут не может быть и речи, когда по всем исследованиям оказывается, что в деле преступлений владельческие крестьяне отличались гораздо большей нравственностью, чем все другие сословия.

Таким образом, мы видим, что первые две категории административной ссылки в Сибирь были слишком тяжким наказанием, нисколько не соответствовавшим проступкам наказанных; кроме того, она часто обрушивалась на людей совершенно невинных. Административная ссылка была тем несоразмернее, что ее несли исключительно низшие классы народа. По исчислениям г-на Анучина, за 20 лет административно-сосланные из духовного звания составляют $\frac{1}{9}$, из мещан и государственных крестьян $\frac{1}{7}$, из владельческих крестьян $\frac{1}{4}$, а пропорция дворовых равнялась более 30,75 %, т. е. почти $\frac{1}{3}$ всего числа административно-сосланных. Следовательно, заключает автор, «чем выше степень общественного положения, тем менее была пропорция административно-сосланных в общем числе ссылаемых в Сибирь» (94). Составляя предмет государствен-

ной необходимости, этот род наказания становился тем не менее слишком тяжелой карой для народа.

Посмотрим же теперь, чем вызывались преступления, давшие такое количество обвиненных, что им не хватало места ни в острогах, ни в арестантских ротах. Для решения этой задачи необходимо коснуться тогдашнего положения русского общества с его старыми, уже миновавшими, учреждениями. Крепостное право, переданное первой половине XIX века как наследие XVIII века, ставившее жизнь крестьянина в ненормальные, тяжкие условия, породило побег и преступления. Обременение барщиной, непосильные оброки, личная зависимость, подчас жестокие расправы, перепродажа и многие другие тягости крепостного положения были причиной многих специальных преступлений, немислимых при других условиях быта; оттого-то пропорция ссылаемых за дурное поведение, за побег, за подделку документов и возмущение была значительно сильнее у помещичьих, чем у государственных крестьян. К числу этих специальных преступлений следует отнести: 1) *неповиновение помещикам* (это преступление за 20 лет дало 1 004 сосланных), 2) *дурное поведение* (по воле помещиков за этот же период сослано 6 886), и наконец, 3) *бродяжество* крепостных крестьян дало Сибири 10 000 новых поселенцев. За убийство помещиков в 9 лет (1835–1843 гг.) сослано крепостных 306 мужчин и 116 женщин. К тому же дворовые особенно отличались и во всех других преступлениях, как-то: в подделке паспортов, зажигательстве, возмущении и проч.; в числе осужденных за эти преступления дворовые давали самый большой процент в сравнении с другими сословиями. Таковы были результаты крепостного права! Крепостные даже охотно шли в ссылку, так как права поселенцев были все-таки лучше прав совершенно бесправного крепостного крестьянства. Переходы на поселение путем бродячества до последнего времени были часты в русском народе; поселения добыва-

лись особенно беглые солдаты. Это делалось очень просто – одним переходом из одной губернии в другую и объявлением себя *непомнящим родства*. Рядом с крепостным правом тяжкие условия прежней военной службы, долгие сроки ее, строгая дисциплина, формалистика и суровые дисциплинарные наказания сильно действовали на крестьян и вызывали дезертирство. Потому-то бродяжество и давало самую большую цифру ссыльных в сравнении с другими преступлениями: в разбираемый нами двадцатилетний период в Сибирь сослано 48 556 бродяг, что составляет более $\frac{2}{5}$ всего числа преступников.

Приведенные нами факты показывают, что большая часть преступлений в то время была результатом условий тогдашнего общественного быта – условий, слишком тяжело отзывавшихся на благосостоянии низших классов. «Несомненно, что между бесчисленным множеством обстоятельств, – говорит г-н Анучин, – обуславливающих возможность преступлений, к числу наиболее влиятельных следует отнести степень материального благосостояния и сумму потребностей, которые должны быть удовлетворены. В самом деле, при равенстве всех прочих условий, нельзя не допустить, что улучшение материального положения, доставляя человеку возможность оградить себя от неблагоприятных влияний, необходимо должно уменьшить вероятность преступлений» (95). При материальной бедности низших слоев народа, в числе прочих преступлений главную роль играют преступления против собственности. Во всех сословиях, за исключением военного и духовного, *воровство*, в тесном смысле, есть самая обыкновенная причина ссылки; на эту категорию приходится более $\frac{1}{2}$ всех ссыльных; в 20 лет, с 1826 по 1846 г. – число их равнялось 40 660 (96). Чем хуже было положение сословия, чем в более дурные условия труда оно было поставлено, тем чаще в нем случались преступления против собственности. Самая большая пропорция сосланных за воровство была в со-

словии мещанском – сословии самом бедном; из числа всех сосланных мещан за воровство ссылалось 58 %; пропорция самая большая, превосходящая даже крестьянское сословие¹. Вообще наиболее жертв ссылке приносили сословия низшие и безземельные, как мещане, дворовые, фабричные, солдаты, а далее государственные и владельческие крестьяне. «При сравнении этого сословия с другими, – говорит Анучин, – нельзя не удивляться, что при всей невыгодности условий, в которых находились владельческие крестьяне, у них не развилось особенно сильной склонности к преступлениям». Крестьяне владельческие, как и государственные, как по проценту ссыльных вообще, так и по тяжким преступлениям, занимают одно из последних мест в ряду других сословий, разве исключая двух преступлений – зажигательства и возмущения, распространенных преимущественно у крестьян владельческих (97). Но совершенный контраст представляют дворовые. Они отличаются преступлениями *втрое* более, чем владельческие с землей. Причины лежали, ясно, в обезземелении их. Вероятность преступления, таким образом, везде становится в зависимость от общественного положения и степени обеспеченности. Купечество является менее всего склонным к преступлениям. Для женщин из купеческого звания, вычисляет г-н Анучин, вероятность совершить преступление была в $16\frac{1}{2}$ раз менее, чем для солдатки, и в 28 раз менее, чем для дворовой женщины. Мещанину *вдвое* легче было подвергнуться ссылке, чем государственному крестьянину; а дворовому представлялось *втрое* более шансов прогуляться в Сибирь, чем владельческому крестьянину,

¹ По отчетам, в 12 лет, с 1835 по 1846 г., сослано по преступлениям против собственности: мещан 2 115 муж. и 340 жен., государственных крестьян 8 323 муж. и 824 жен., владельческих крестьян 7 623 муж. и 1 246 жен., из военного сословия 683 муж. и 555 жен., из дворян 524 муж. и 122 жен., из духовного звания 107 муж. и 14 жен., из купцов 71 муж. и 3 жен. Эти цифры ясно указывают зависимость этого преступления от степени благосостояния (Анучин Е. Указ. соч. С. 66–67).

наделенному землей, и в $4\frac{1}{2}$, чем купцу. Обращение крестьянина в солдата увеличивало для него вероятность совершить преступление в $2\frac{1}{2}$ раза¹. Но и высшие классы давали свою долю преступников, а они были обеспечены; какие же причины порождали у них преступления? В то время как у низших классов мотивами преступления являются материальные недостатки, бедность и стесненное общественное положение, ненормальные семейные отношения, вынуждающие их на более или менее крупные нарушения прав других, – в высших классах, более обеспеченных, стремление удовлетворять различным потребностям, свыше своих средств, заставляло изыскивать новые источники доходов, и наводило на пути незаконные. Мелкое дворянство и чиновничество, конечно, скорее других попадало на этот путь. Трудно сказать, какое влияние на эти сословия оказывало образование и нравственное развитие. Судя по тому, что святотатство было главным преступлением духовенства, точно так же, как подделка документов и изнасилование, а дворянство и чиновничество отличались столько же убийствами, насилием и грубыми преступлениями, как и самые неразвитые сословия, – можно предположить, что просвещение и нравственность здесь имели самое ничтожное значение. Безнравственность и преступления высших классов обуславливались всегда дурными сторонами их привычек и воспитания, которые пересиливали их хорошие особенности, точно так же, как влияли в этом случае тогдашние ненормальные отношения их к другим слоям общества. Замечательно, что не служащее дворянство и помещики часто совершали преступления не менее тяжкие, как и их дворовые и фабричные, судьбой которых они произвольно располагали. Полновластие и бесконтрольность воспитывали в них инстинкты и привычки, имевшие следствием нарушение чужих прав, и развивали в них злоупотребления властью и другие пре-

¹ Анучин Е. Н. Указ. соч. С. 97–107.

ступления. Подобное же явление мы встречаем в другой сфере. Военнослужащее дворянство, составляя несравненно более высшее сословие, чем нижние военные чины, отличалось, однако ж, в то время теми же преступлениями, как и низшее военное сословие, т. е. преступлениями, состоящими в злоупотреблении силой¹. Опека, таким образом, вредно влияла как на опекуна, так и на опекаемого; точно так же несправедливость человеческих отношений одинаково влияла как на высших ступенях общества, так и на низших, как по нисходящей, так и по восходящей линии. И сами выгоды общественного положения, при несправедливых общественных отношениях, не могли гарантировать нравственности отдельных лиц. Общество, таким образом, платилось за несовершенство своих учреждений жертвами из всех классов общества, и на привилегированных и обеспеченных классах общественное зло отражалось так же фатально, как и на низших. Как природа за злоупотребление ее силами мстит болезнями, так в социальной жизни ненормальность отношений производит преступления.

Драгоценные данные русской уголовной статистики, таким образом, доказывают, что развитие уголовных преступлений всегда стояло прежде всего в зависимости от экономических условий, в которых находились беднейшие классы, от ненормальных общественных отношений, от неудовлетворенных потребностей людей, силившихся пополнить их незаконными путями. Порождаемые общественным складом и неудовлетворительным общественным положением, подобные преступления мало зависели от степени карательных и устрашительных мер, прилагаемых к ним. Наказаниями нельзя было предупредить следующие случаи преступлений. Перед неопровержимым

¹ Военное сословие и солдаты, как показывает уголовная статистика, по тяжким преступлениям, как по убийству, грабежу и зажигательству, занимали в то время первое место в сравнении с другими сословиями. В разбоях они уступали только заводским, в святотатстве только духовенству (Анучин Е. Н. Указ. соч. С. 111, 125, 126, 127).

законом, по которому при известном общественном строе повторяются известные преступления, страх и личная воля теряли всякую силу. Поэтому контингент нашей ссылки не только не уменьшался, но постоянно увеличивался. При определившейся форме наказания ссылкой, число ее жертв с 1828 по 1846 г. колеблется между 6 000 и 8 000, в 1850 г. возвышается до 8 478 чел., в 1850–1860 гг. оно доходит до 9 000 и в последующие годы поднимается до 10 и 11 000¹, так что в первой половине XIX столетия ссылка расширилась еще более в своих границах, чем в прошлом столетии, и вместе с тем получила преобладающее значение в ряду всех других наказаний².

Во все это время наша ссылка, кроме уголовных и карательных целей для самых важных преступников, по-прежнему для большего числа ссылаемых имела значение чисто экономическое как самый дешевый способ избавиться от людей дурного поведения. Так, еще в 1853 г. состоялись временные правила о замене других наказаний ссылкой (прим. к ст. 358, ч. 2, т. XV). Сущность этих правил состояла в следующем: судом предписано для лиц непривлекших заключение в тюрьмах, в домах смиренных и рабочих заменять розгами, а преступников,

¹ Увеличение ссылки идет в следующей прогрессии: с 1807 по 1812 г. ссылалось по 2 035 чел. в год, с 1812 по 1817 столько же, с 1817 по 1823 она увеличивается на 3 100, в 1823 г. равняется 6 667, с 1824–1826 доходит до 11 116 чел. ежегодно, с 1826 по 1846 средним числом равняется 7 987 чел. в год, с 1846 по 1850 г. – 8 479 чел., в 1850–1860 – 9 000, с 1860 по 1865 г. – 11 000, с 1865 по 1870 еще увеличилась. Таким образом, ссылка дала с 1807 по 1870 г. приблизительно 460 332 чел. обоего пола (Анучин Е. Н. Указ. соч.; Статистический временник Российской империи. 1866 г.; отчеты Максимова; Лейзен. Исторический очерк колонизации Сибири // Современник, 1859. IX; Гагемейстер Ю. А. Указ. соч.; Спасович В. Учебник уголовного права. СПб., 1863. Т. 1 и др.).

² В 1860 г., например, мы встречаем сосланных на поселение и в каторгу 7 738, в арестантские же роты только 7 301, к тюремному же заключению за незначительные преступления еще менее – 6 167. Поселение и каторга, таким образом, играют самую видную роль. Такой порядок изменяется только с 1863 г., т. е. с отменой замены других наказаний ссылкой.

присуждаемых более чем на два года в арестантские роты и рабочие дома, отдавать туда на более короткие сроки и ссылать в Сибирь на водворение. Таких водворяемых рабочих до указа 17 апреля 1863 г., отменившего это распоряжение, шло в Сибирь до 4 300 человек. *Ссылка и розги* для значительного числа преступников, таким образом, имели в виду не столько признанную полезность их, сколько *дешевое* средство наказания, а более всего, как мы уже заметили выше, средство избавиться навсегда от дурных элементов в обществе. Справедливость последнего предположения доказывается тем, что ссылка назначалась лицам, осужденным по одному подозрению или за проступки, подлежащие ведению полиции и обществ. Точно так же до последнего времени подвергались ей все бродяги и непомнящие родства – лица, которых не хотело принимать общество; семьи, обремененные, недоимками, с которых общество не могло взыскать податей и т. д.¹ Таких ссыльных по одному гражданскому ведомству бывало ежегодно до 3 600 человек и более, т. е. половина всех ссылаемых в Сибирь. Что касается военной ссылки административным порядком, то процент ее был точно так же очень значителен: так, в одном 1858 г. отправлено было из Европейской России от 10 до 12 000 штрафных нижних чинов из гарнизонных батальонов. Административная ссылка, назначаемая за маловажные проступки или по подозрению, едва ли может иметь оправдание в дешевизне и необходимости; ее нельзя также оправдать целями колонизационными, так как здесь опять-таки личность человека приносилась в жертву отвлеченной идее, и обвиненный нес незаслуженное наказание. Поэтому административная ссылка, не удовлетворяя до сих пор самому главному – юридической справедливости, должна, наконец, совсем выйти из наше-

¹ Ст. II Устава о ссыльных; 294–330, Устава о предотвращении и пресечении преступлений; ст. 1083 Устава о содержании под стражей; ст. в № 3 и 4 III прибавления к Своду Законов.

го законодательства как мера временной необходимости, и тем исключить из ссылки половину ее жертв.

Что касается уголовной ссылки, определяемой по суду, она в течение первой половины настоящего столетия продолжала носить на себе карательный и устрашительный характер; до 1863 г. она сопровождалась истязанием кнутом, плетью и клеймами; вместе с тем сосланный лишался всех прав сословных, имущественных и семейных. Юристы называют это лишением гражданских прав (*jus civile*) и оставлением одних прав человеческих (*jus gentium*); но поселенец и каторжный едва ли пользовались какими-либо *человеческими* правами: всевозможные ограничения в личной свободе, в занятиях, приобретении делали их ниже всякого пария, а наказание старалось как можно более наложить на них презрения. Оно сопровождалось всегда выставкой на эшафоте, клеймами на руках и лице, заковыванием в кандалы и наручни, бритьем головы в остроге и во время пути, особой арестантской одеждой с тузами и другими позорящими последствиями. На личность преступника при переселении мало обращалось внимания. Путь его был обставлен страшными тягостями: тяжелые кандалы, прутья, канаты, цепи крайне изнуряли его; он подвергался самому бесцеремонному обращению. Военное положение во время пути, как полицейская расправа, при всяком случае в остроге нагайка, розги считались необходимыми, как применяемые к личности, *лишенной всех прав*¹. До Сперанского препровождение в Сибирь совершенно не было организовано: люди сбывались гуртом, без всяких списков, кто они и куда следуют; на место одного пересылали другого и т. д. Люди в Сибири оставлялись на произвол судьбы, без всякой поддержки и осуждены были на нищенство и бродяжество².

¹ На личность, лишенную всех прав и ссылаемую в Сибирь, до последнего времени сохраняется варварское воззрение старины. Мы видали на глухих трактах, как людей заковывают по двое в *одни кандалы*, а ручная расправа с ссыльным в Сибирь на этапах была делом обыкновенным.

² См. об этом донесение Лабы. 1801–1802.

Только с изданием уставов о ссыльных в 1822 г. и учреждением Экспедиции о ссыльных являются некоторые попытки устроить порядок пересылки в Сибирь. Вместе с тем начинаются заботы об устройстве ссыльных в Сибири: им начинают оказывать некоторую помощь при обзаведении и, наконец, допускается переход в крестьянское сословие после 6–10 лет жизни на поселении. Служа, таким образом, некоторым обеспечением для целей колонизационных, эта система имела отчасти, хотя в слабой степени, и характер исправительный, но тем не менее ссылка продолжала отличаться своим суровым карательным характером вплоть до уничтожения телесного наказания 17 апреля 1863 г. Однако ж даже и после уничтожения телесного наказания карательный характер ссылки не исчез, и этому способствует, главным образом, вечность нашей ссылки: вечное поселение в Сибири применялось у нас ко всем преступникам, и не было ни одной степени срочной ссылки¹.

Как карательная и устрашительная мера ссылка, конечно, не могла принести никакой пользы. Мы видим, что она несколько не предупреждала и не уменьшала преступлений и, как всякое наказание, служила только суровым возмездием и страданием для преступников.

В заключение, обозревая применение русской ссылки как наказания соразмерно с проявлением преступлений, мы должны сказать, что она далеко не была у нас установившеюся мерой наказания для известного рода преступлений: закон, стараясь с начала нынешнего столетия сделать ее одной из степеней уголовного наказания, принужден был отступить от этого правила и применять ее без разбора ко всякого рода преступникам. Служа средством кары по суду за самые тяжкие преступления, она в то же время применяется у нас в самом обширном размере как администра-

¹ Ссылка на житье, с лишением особых прав, хотя и имеет сроки, но относится к очень незначительному числу привилегированных лиц, а их ежегодно ссылается не более 90 человек (Спасович В. Д. Учебник уголовного права. СПб., 1863. Т. 1. С. 357).

тивная мера, и в этом случае одинаково назначается как для тяжких преступников, так и для самых маловажных; в Сибирь на вечное поселение ссылается как закоренелый вор, попавшийся несколько раз, так и ничтожный бродяга за беспаспортность; как преступник за нанесение ран и увечья, так и несчастный недоимщик.

Точно так же крестьянским обществам предоставляется право исключать из своей среды дурных лиц и высылать по своему желанию. Это называется высылкой «по приговору общества». Замечательно, что эта ссылка в крестьянских обществах наших также применяется крайне бесцеремонно. О каждом, вышедшем из тюрьмы или арестантских рот, просидевшем по приговору суда, обыкновенно спрашивают, желает ли общество этого человека принять опять в свою среду. При этом бывают такие случаи: если крестьянин особенно беден, то общество отказывается от него; иногда отказ происходит просто потому, что он *острожник*, т. е. был в остроге; часто общество требует известной суммы или взятки за то, чтобы принять этого члена: это делается сплошь и рядом. На нравственность лица мало обращают внимания; поэтому к обществу приписывается иногда мошенник, выставивший *миру* вина, и ссылается бездна вовсе неопасных бедняков. Крестьянам выгодно избавиться от части своих членов: у них больше от выбывших останется земли. Таких несчастных крестьян, не принимаемых обществами только за то, что они посидели в остроге, мы видели множество; они горько жаловались на то, что, понесши уже одно наказание, вдобавок обречены еще на вечную ссылку в Сибирь. Замечательно, что, боясь *Сибири* как огня, за ними не хотят идти даже жены¹.

¹ В «Петербургских ведомостях» был недавно объяснен факт выдачи для таких жен отдельных видов на жительство именно сознанием того, что их преступные мужья с ними дурно обходились; но мы видели, что это делается по другим причинам: жены просто страшатся идти на поселение; страх расторгает иногда долголетние узы.

Таким образом, у нас ссылка применяется не только как наказание, но и как предупредительная мера для лиц подозрительных; не только как суровая расправа, но и как полицейская мера. Заметим при этом, что характер *ссылки на поселение*, т. е. ссылки с лишением прав, с вечным пребыванием в Сибири, – наказание, созданное для важных преступников, – нимало не изменяется для мало-важных и применяется с той же строгостью.

Обнимая почти все категории преступлений, ссылка делалась, таким образом, общей панацеей от всех болезней и экономическим средством, заменявшим как краткосрочные, так и долгосрочные тюрьмы, полицейские наказания, надзор полиции за лицами подозрительными и сотни других наказаний.

Самым важным недостатком такой системы было отсутствие соразмерности в наказаниях, так как ссылка назначалась в одной степени за самые разнообразные преступления, заменяя собой другие, несравненно более легкие наказания: множество людей, которым следовало подвергнуться исправительным наказаниям в тюрьмах и остаться в России, в местах их родины, отправлялись на вечное жительство в Сибирь. При введении исправительных заведений для незначительных преступников и при исключении ссылки административной, ссылка в Сибирь, без сомнения, уменьшится на $\frac{3}{4}$, т. е. составит около 2 500 человек в год самых важных преступников, из которых большая часть пойдет на каторгу, как можно судить по отчету 1863 г. Для такого количества лиц достаточно было бы одной хорошо устроенной колонии на исправительных началах, что не препятствует ей быть даже где-нибудь в Европейской России. Наша ссылка при новой кодификации, во имя юридической и общечеловеческой справедливости, непременно должна утратить свое неразборчивое применение и значение универсального лекарства, получить более гуманные и более определенные правила применения ее по суду. При-

менение ее может быть ограничено лишь самыми опасными преступниками, как это введено в Англии для осуждаемых только на галеры. Как наказание, имеющее в виду все-таки исправление, она должна быть ограничена сроками. Только при таких реформах наша ссылка из суровой и карательной может превратиться в нечто исправительное.

В заключение мы должны сказать, что стоимость нашей ссылки была очень значительна. Г-н Лохвицкий в своем учебнике уголовного права делает следующий расчет издержкам по пересылке. По бюджету 1864 г. (98), государственное казначейство издерживало на препровождение арестантов 1 112 000 руб.; но это часть только расходов по ссылке; содержание 8 000 постоянной этапной стражи – пешей и конной – обходится, вероятно, не менее 2 000 000 руб.; всех расходов не менее пяти миллионов, говорит г-н Лохвицкий; при этом расходы по пересылке преступников доходят до 800 руб. на человека¹. В Англии то же наказание обходилось при перевозке преступника в Австралию в 180 фунт. стерлингов на человека, следовательно, в 1 080 руб. Из этого видно, что это наказание по справедливости считается крайне дорогим. У нас, при сухопутной перевозке, оно сопряжено было с тяжелой подводной повинностью для крестьян, с постройкой громадных пересыльных замков, стоивших городам очень дорого, наконец, с постройкой обширных этапов. Известно было притом, что все эти этапы, построенные кое-как и крайне дурно, по свидетельству г-на Максимова, потребили страшную массу денег при прежних инженерах: постройка их составляла особую доходную статью этих лиц (99). Принимая во внимание все эти затраты, принесенные в жертву ссылке, причем значительная часть капитала безвозвратно терялась и потреблялась ссылкой, нельзя не придти к заключению, что

¹ Г-н Лохвицкий, надо заметить, еще брал ссылку в 6 000 человек, а она возвышается год от году до 12 000 (*Лохвицкий А. В.* Курс русского уголовного права. СПб., 1867. С. 73).

если бы хоть часть этих сумм была употреблена на устройство хорошей земледельческой пенитенциарной колонии, то, без сомнения, выгода была бы гораздо значительнее, а государство могло бы возратить эти затраты при помощи производительного труда ссыльных в подобных колониях при хорошо организованном хозяйстве.

II.

Колонизационное значение русской ссылки

В предыдущей статье, в которой представлен исторический очерк русской ссылки в связи с развитием преступлений, мы заметили, что ссылка у нас, как и везде, в те времена, когда правосудие имело в виду исключительно кару преступника, – применялась как суровое наказание и всегда сопровождалась тяжкими работами, а иногда и тюремным заключением; но по мере того, как уголовные теории смягчались, и взгляд на преступника становился несколько человечнее, юристы-теоретики, а за ними и законодатели-практики стали смотреть на наказание как на меру исправительную, – вместе с тем и ссылка приняла характер преимущественно исправительный. Однако ж, извывая общество, по мнению юристов, от преступника как опасного члена, законодатели понимали, что сосланный составляет бремя для государственного бюджета, и потому у них, естественно, явилась мысль утилизировать насколько возможно ссылку. Подневольная работа ссыльного была слишком ничтожна по своим результатам и далеко не покрывала расходов на его содержание, следовательно, с утилитарной точки зрения она не представляла никаких выгод. Являлось средство, несравненно более удобное для этой цели: ссылка назначалась в места отдаленные, безлюдные; следовало только придать ей характер колонизационный, и, казалось, задача ее утилитаризации будет решена.

К тому же колонизация нисколько не мешала главной цели наказания – исправлению; напротив, она помогала ему и, давая изгнанному из общества преступнику возможность в труде находить верные средства к обеспечению существования, развивала в нем хорошие гражданские качества. Таким образом, заселение преступниками пустынных местностей и их исправление стали признаваться солидарными между собой, и сама ссылка с этих пор получила более широкое применение. У нас местом ссылки была преимущественно Сибирь, и сама ссылка туда сравнительно довольно рано получила колонизационное значение. В настоящей статье мы намерены рассмотреть сделанные у нас опыты колонизовать Сибирь ссылаемыми туда преступниками и, таким образом, насильственную колонизацию сделать подспорьем колонизации свободной, начавшейся с самых первых годов завоевания Сибири в XVI столетии.

Сколько можно судить по многим фактам, колонизационному характеру ссылки в Сибирь у нас всегда придавалось весьма важное значение. Отправка преступников «в Сибирь на пашню с женами и детьми» в царствование Алексея Михайловича, ссылка «в Дауры на серебряные рудники для поселения и работ» при Петре I, применение как уголовной, так и административной ссылки в значительных размерах во все прошлое и нынешнее столетие, высылка многих незначительных преступников исключительно с целью заселения – все это показывает, что наше правительство издавна руководилось при ссылке колонизационными целями, руководилось еще и тогда, когда наказания были крайне жестоки и исправление преступника ставилось еще на самый последний план. Постоянный прилив ссыльных в Сибирь целыми тысячами с самого древнего времени послужил поводом к распространению убеждения, что Сибирь населена ссыльными, и многие до последнего времени считали чуть не всех сибиряков потомками ссыльных, и если делали уступку в пользу происхождения от свободных

переселенцев, то все же полагали, что ссыльный элемент в сибирском населении преобладающий. Причиной такого мнения было, конечно, наше невежество относительно собственного отечества и положительное отсутствие каких-либо сведений о ходе и значении нашей ссылки. Тем не менее «варначье происхождение» Сибири получило известную вероятность даже в глазах людей более образованных, имевших возможность ближе ознакомиться с этим вопросом, и они по-прежнему высказывают решительное убеждение, что прямое назначение Сибири – быть штрафной колонией России и что ссылка приносит столько же выгоды преступнику, делая его оседлым и исправляя его, как и стране, которую она заселяет, которой дает рабочие руки, обучает ремеслам и вообще *«просвещает»*. Но так ли это на самом деле и отвечают ли полученные результаты таким широким требованиям – увидим ниже.

Ссылка у нас, как известно, получила санкцию закона только в XVII столетии в Уложении Алексея Михайловича; до этого времени она являлась случайной. Трудно сказать, как велико было население Сибири в это время; несомненно только, что ссыльные не были первыми колонистами. С основания здесь русских поселений при Иване IV, т. е. с 1574 г., до первых сведений о ссылке в 1648 г. прошло около 74 лет. В это время военная и казачья колонизация уже утвердились в Сибири, вольнонародное и промышленное заселение Сибири было в самом разгаре, люди шли «за камень» в новооткрытую землю сотнями и тысячами, считая ее обетованной землей. Когда явились первые ссыльные, города и остроги уже обстроились: Туринск, Пелым и Тюмень были первым их местом назначения. Ссыльные не входили, однако, здесь в число свободного населения: первоначально их содержали в тюрьмах; в Верхотурье для них построен был особый дом с частоколом, а в Тюмени их в это время употребляли, под конвоем, на общественные работы. Число ссыльных в первое

время было невелико, и они, поставленные в положение арестантов, разумеется, не могли сделаться основателями гражданственности в Сибири подобно, например, австралийским поселенцам в Новом Южной Валлисе.

Ссылка получает более значения только в XVIII столетии, но она еще далеко не исключительно применяется к Сибири; ссылка в Азов, Рогервик, Ригу и Петербург и сопряженные с ней каторжные работы брали едва ли не больший процент ссыльных, чем Сибирь, куда ссылался остаток преступников за удовлетворением потребности этих мест и неспособные к военной службе. Правда, в половине прошлого столетия она увеличилась с отменой смертной казни в царствование Екатерины II и после пугачевщины, но тем не менее число ссыльных в Сибирь все еще не было очень велико. По показаниям Манштейна, при Анне Иоанновне число ссыльных было до 2000 в год, при Екатерине II, после пугачевщины, оно возросло до 2 500 ежегодно. Давая такое небольшое число колонистов, ссылка не могла играть значительной роли в деле заселения Сибири, и колонизация правительственная, военная и вольнонародная были все-таки здесь на первом плане. Хотя мы видим в прошлом столетии некоторые попытки заселять ссыльными пустынные и незанятые пространства Сибири, но, судя по характеру тогдашней ссылки, мы вправе заключить, что она не могла дать никаких результатов. Ссыльными заселяли места крайне дурные, неблагоприятные и неудобные для культуры – такие места, куда не хотели идти вольные колонисты. Для усиления наказания, носившего тогда суровый карательный характер, ссыльных отправляли на Лену, в Нерчинск и охотские страны, в Камчатку или на дальний Амур, куда был обречен странствовать и известный Аввакум при Алексее Михайловиче. В столь диких и пустынных местах, без всяких средств для культуры, положение ссыльных было бедственным. О препровождении ссыльных в Сибирь в XVII столетии мы можем судить по хронике

Аввакума, а о ссылке XVIII столетия сохранилось много официальных актов того времени. Переход к ссылке у нас сделан от смертной казни, а потому сначала она сохраняла карательный и устрашительный характер. Ее сопровождали кнут, отрезывание пальцев и ушей; преступник шел в Сибирь искалеченный и обессиленный пыткой. Во время пути с ним обращались жестоко и бесчеловечно, его гнали в Сибирь на канате, под ударами плетей, возили на дырjавых стругах и заставляли нести безропотно все тяжести пути. Путешествие по пустыням Сибири в это время представляло много затруднений. Вот как описывает Аввакум свои несчастья во время ссылки в Дауры. На пороге одной из сибирских рек его выгнали из лодки на берег. «О, горе стало! – восклицает Аввакум, – горы высокие, дебри непроходимые, утес каменный, яко стена, стоит; в горах тех обретаются змии великие, в них же витают гуси и утицы, вороны черные и галки серые, орлы и соколы, кречеты и лебеди и иные дикие. На тех же горах гуляют звери многие, и на те горы выбивал меня Пашков со зверьми и птицами витати». Когда Аввакум отказался сойти на берег, его привели к начальнику военной экспедиции Пашкову. «И взяли меня палачи, – рассказывает Аввакум, – а он со шпагой стоит, рыкнул яко дикий зверь, и ударил меня по щеке, тоже по другой, и паки в голову, и сбил меня с ног, и цепь ухватя лежачую, по спине ударил трижды, и разволокши, по той же спине 72 удара кнутом». Затем Аввакума сослали в Братский острог «и в тюрьму кинули, соломки дали; что собачка на соложке лежу; коли накормят, коли нет; мышей много было, я их бил скуфьей, а батожка не дадут, дурачки! На весну паки в нуждах тех, и с прочими скитающися по горам и острому камению, наги и босы, травую и кореньями питающися, кое-как мучилися. Мне под ребят и под рухлядишки дали две клячки, а сам и протопопица брели пешие, убивающися о лед. Страна варварская; иноземцы не мирные; отстать от людей не смеем и за молодыми идти не по-

спеем. Протопопица, бедная, бредет-бредет да и повалится. На меня, бедная, пеняет, говоря: “Долго ли мука сия, протопоп, будет?” И я говорю: “Марковна, до самыя смерти!” Она отвечала: “Добро, Петрович, ино еще побредем!”» Такова наивная и трогательная исповедь ссыльного XVII века о его испытаниях, характеризующая ссылку в Сибирь того времени. Не улучшилась ссылка и в XVIII столетии. Мы видим печальную судьбу графа де-Сантиса в усть-вилуйском остроге, умирающего с голода вместе со своим конвоем, печальную судьбу березовских ссыльных и грубое с ними обхождение; над самими березовскими жителями производится следствие за их покровительство несчастным и кончается пытками в Тобольском приказе. Судьба простых ссыльных еще печальнее: их гонят тысячами, избитых кнутами, с рваными ноздрями, измученных и искалеченных в застенках тайных приказов и канцелярий. В XVIII веке препровождение производится на канатах и пешком в такие дальние страны, как Охотск и Камчатка, где ссыльные остаются на произвол судьбы. Плохими колонистами, конечно, являлись такие ссыльные!

Какую же роль, однако, играли эти ссыльные в заселении Сибири? Мы встречаем, например, самые древние сведения о колониях ссыльных на реках Вилуе и Амге, впадающих в Лену. Судьба поселенных здесь ранее половины XVIII столетия ссыльных была очень незавидна: водворенные посреди инородцев, по ту и другую сторону Лены, не имея, кроме отдаленного Якутска, никаких сношений с русскими, они заняли от якутов привычки жизни, нравы, язык и утратили даже тип русского происхождения. Рассеянные между якутами, они ведут жизнь бродячую, почти бесприютную, так что, несмотря на давность водворения, на Вилуе их насчитывают теперь едва 109 душ мужеского пола. Все они влачат беднейшую жизнь, питаются рыбой и сосновой корой. Русское население, таким образом, почти исчезло между якутами.

Попытки заселять незанятые места преступниками в XVIII столетии были нередки. В Полном собрании законов есть указ 1731 г. об отправке в Охотск на поселение преступников за неоплатные долги вместо каторги; на поселении им предписано давать содержание, определяя в службу и мастерство, а также на пашню. Затем в 1733 г. дано специальное распоряжение о заселении ссыльными Охотска с целью развития здесь хлебопашества; но попытка оказалась неудачной: хлеб колосился, но шел только в трубку и постоянно погибал на стебле. Куда же было деваться ссыльным? Часть из них, впрочем, ничтожная, нашла кое-какую работу; из остальных одни остались на продовольствии казны, другие же бежали и, конечно, большинство из них погибло в негостеприимных сибирских пустынях. Ссылка в Охотск вскоре была прекращена, но она не раз возобновлялась вплоть до нынешнего столетия. В Камчатке только в южной ее части мог кое-как родиться хлеб; в 1738 и 1744 гг. здесь были поселены крестьяне, взятые в зачет рекрутского набора; однако ж хлебопашество и здесь не утвердилось, и поселенцы обратились к звероловным промыслам и рыбным ловлям.

Но несравненно в больших размерах были сделаны попытки заселить ссыльными тракт через Барабинскую степь. В Сибири в это время между Тобольском и Иркутском существовало исключительно водное сообщение по Иртышу, Оби и Ангаре, на которое требовалось употреблять почти полгода. Барабинская степь, в 1 500 верст длиной, непроходимая и болотистая, вовсе не имела оседлого населения; явилось предположение заселить ее и проложить по ней дорогу от Тобольска до Иркутска; для этого потребовалось осушить болота и топи, устроить мосты и гати, доставить даже лес для постройки домов. Сибирский губернатор Чичерин двинул сюда преимущественно крепостных крестьян и энергично приступил к работам в 1761 г. и вел их до 1765 г.; кстати, в это время по случаю отмены смертной казни в Си-

бирь нахлынуло довольно значительное число ссыльных. Заселение Барабинской степи многие ставят в большую заслугу Чичерину, но если принять во внимание, чего стоило это заселение и какими мерами оно производилось, то важность заслуги сильно умалется и оказывается, что полученные результаты ничтожны в сравнении с громадностью жертв, принесенных для их достижения. Барабинская степь и в настоящее время представляет необозримую пустыню, покрытую местами мелким лесом, с бесконечными болотами; дорога так размывается дождями, что проезд по ней делается невозможным. Среди болот, на сотни верст, тянутся искусственные громадные насыпи, запруженные лесом, щебнем, измочаленным хворостом и до того изрезанные ухабами, ямами и нырками, что езда по ним составляет адскую пытку; это так называемые сибирские гати. Миллионы насекомых, мошек, комаров и оводов роятся в этих сырых местах; сырой и промозглый воздух носится по равнинам, и заразительные миазмы распространяются из стоячих, заплесневелых вод. Бедные деревнюшки копошатся здесь среди моря грязи; осушение земель для запашки требует страшных трудов, не вознаграждающих усилий, на них потраченных. К тому же население здесь терпит нужду в хорошей воде и строевом лесе; страшный бич – «сибирская язва» ежегодно уничтожает скот, и даже люди иногда становятся ее жертвами. Можно себе вообразить, чем была эта девственная пустыня в прошлом столетии, до ее населения. Физические препятствия здесь были еще неодолимы, воздух еще заразительнее, а сибирская язва гораздо беспощаднее для людей. Из сибирских исторических актов видно, что «сибирская язва» в прошлом столетии свирепствовала страшным образом не только в деревнях, но и в городах; в Барабинской же степи она была постоянной гостьей. И в эту-то местность собраны были тысячи народа, как ссыльных, так и сибирских крестьян, для проведения дороги и основания здесь оседлости. Работы было много, и она была

чрезмерно тяжела; притом эти работы производились при самых ничтожных пособиях от правительства, при самой строгой дисциплине и расправе жестокими наказаниями. Вот, например, что сообщает о Чичерине один из исследователей сибирской истории: «Губернатор Чичерин до сих пор живет в памяти народа по своим жестоким наказаниям. Он взял на себя обязанность тобольского полицеймейстера, устроил гусарскую команду, разъезжал с ней по ночам по городу и чинил наказания. В летнее время, в рабочие дни он выезжал в деревни наблюдать за крестьянскими работами, придирался к каждой мелочи и драл нещадно мужиков. Эту палочную систему Чичерин приложил с особенной ревностью к тем колонистам, которыми он заселил Барабинскую степь»¹. Тысячи поселенцев легли здесь костями под изнурительными работами, под жестокими наказаниями, в лихорадках, тифе, в цинге и под пятном «сибирской язвы», но новые толпы, осужденные на смертность, заменяли их. Мрачные предания остались между старожилами Западной Сибири об этом пресловутом заселении, и только пожар Тобольского архива стер с документов все подробности этих страшных пожертвований. Вместе с тем, неоднократно производились попытки заселений и в остальной Сибири. Ссылных отправляли на Лену, на Ангару, на берега Колыма, в Забайкальский край, и в половине прошлого столетия началось заселение ссылными пограничной линии в Киргизской степи, по рекам Бухтарме и Иртышу². Между этой колонизацией очень замечательна была отправка ссылных женщин в иртышские крепости. Из документов сибирского архива видно, что губернская канцелярия приказывала годных на поселение колодниц определять в крепости с дозволением, «ежели кто тех женок и девок пожелает взять в замужество, то позволять это только оседлым крестьянам

¹ *Серафимович С.* Очерки русских нравов в старинной Сибири // Отечественные записки. 1867. Т. 174. № 20.

² Указ от 6 августа 1762 г.

и разночинцам, а не военнослужащим». Женщины, как видно, были сосланы за следующие преступления: за поджигательство помещичьих имений 3, за мужеубийство 16, детоубийство 7, за воровство, побег, за ложное показание на мужа, за порчу травами и волшебными словами 2, у пятерых вины не помечено. Женщин этих отправляли как на плотах по Иртышу, так и сухим путем. Путь этот был для ссыльных очень нелегок. Поручик фон Трейблют в 1760 г. доносит, что «у женщин малолетние дети, которые не могут идти, а подвод не имеется, и ссыльные несут их на руках во весь путь», – поэтому поручик просит как подвод, так и дозволения отдавать этих детей в приемыши крестьянам. Таких женщин, наконец, было поселено в крепостях до 80. На девках женились преимущественно казаки, а офицеры брали их «в услужение» (Документы Омского областного архива. 1759 и 1760). Ссылка женщин в усть-каменогорскую и другие крепости продолжалась, как показывается, до 1800 г. Из некоторых документов видно, что ссыльные женщины в военных поселениях далеко не отличались нравственностью: они обыкновенно вели распутную жизнь в деревнях и редутах¹. Снабжение ссыльными женщинами военных крепостей, нуждавшихся в женщинах, таким образом, очень походило на попытку англичан при Якове I снабжать Виргинию женщинами – кандидатками в замужество (women, aspiring to become a virginian matron).

После заселения Барабы в 1783 г. представляется новая попытка заселения и проведения дороги от Якутска до Охотска, не имеющих между собой никакого сообщения. Дорога на Алдан и Охотск представляла для работ еще больше неудобств, чем на Барабе. Здесь, кроме тундр и болот, разливавшихся летом, встречались утесистые и каменистые горы, ставившие непреодолимые препятствия. Согнанные сюда каторжники не были расположены

¹ Рапорт майора Танского о разврате ссыльных женщин в деревне Прапорщицкой (Потанин Г. Н. Указ. соч. С. 238).

ни поселяться здесь, ни производить работы; они разбежались, составили разбойничьи шайки и начали свирепствовать по Сибири. В это время отрядами каторжных предводительствовал какой-то ссыльный князь Баратаев; каторжники даже брали один город; наконец, преследуемые войсками, эти толпы со своим предводителем кинулись на север, дали войскам сражение, и Баратаев пал во льдах, пораженный несколькими пулями. Так кончилось это предприятие. Надо заметить, что побегии поселенцев и ссыльных как из партий, так и с мест поселения, были постоянным явлением во все прошлое столетие, чему, конечно, способствовало плохо организованное препровождение арестантов и пустынные пространства Сибири, представлявшие все удобства скрываться.

Первые заботы об устройстве ссыльных со стороны правительства, так же как и план обширной колонизации Забайкалья, мы встречаем в исходе XVIII столетия и начале XIX. Указом Павла I в 1799 г. предположено поселить за Байкалом до 10 000 душ как отставных солдат, крепостных крестьян, сосланных с зачетом в рекруты, так и преступников, не подлежащих в каторжные работы, построить им казенные дома, сделать для них запас хлеба на 1½ года, снабдить их семенами, земледельческими орудиями и проч. Но и этот проект, при неудовлетворительной администрации того времени, так же как и все прежние попытки колонизования ссыльными, потерпел неудачу. В 1801 г. поселено за Байкалом 1 454 человека колонистов из ссыльных, но вскоре дошло до сведения правительствующего Сената, что попытки устроить поселения за Байкалом «от небрежного исполнения предназначенных мер, вместо ожидаемой пользы, обращаются на погибель посылаемых туда людей». Отправленные в рубищах, полунагими, без всяких средств добыть себе пропитание, они бродили по сибирским дорогам, прося милостыню; те же, которые достигали места назначения, не находили ни удобных мест для поселения

и никакого содействия со стороны начальства. Поэтому колонизация за Байкалом была приостановлена. В то же время для устройства ссыльных в Сибири был послан из Петербурга действительный статский советник Лаба. Сведения о пересылке и состоянии поселенцев в Сибири в 1802 г., сообщенные Лабой Сенату, были самого неутешительного свойства. Многие из ссыльных во время пересылки вовсе не снабжались ни кормовыми деньгами, ни одеждой, хотя суммы на это были ассигнованы; другие, которые снабжались кормовыми деньгами на руки, проматывали их. Вообще большая часть ссыльных терпела нищету, страдала от недостатка в пище и одежде и, питаясь подаванием, жила за счет жителей. Надзора за поселенцами не было никакого; многие, в противность положению, имели более 45 лет от роду; многие – хилые, увечные и неспособные для поселения; с беременными женщинами и с больными поселенцами обращались крайне небрежно: тех и других в самом жалком положении везли в партиях, не подавая им никаких медицинских пособий, оттого некоторые безвременно умирали, а женщины рожали в телегах. Словом, Лаба нашел, что неудобства разного рода, претерпеваемые поселенцами в пути, были чрезмерно велики и пересылка их производилась в таком беспорядке, что наконец потерялся счет людям и деньгам. Отведенные для поселенцев в Забайкалье земли Лаба нашел рассеянными на пространстве 4000 верст, и многие к поселению решительно неудобными. Ни домов, ни хлеба для колонистов не было приготовлено.

Вследствие донесения Лабы были составлены новые проекты о поселении и устройстве ссыльных. По предложению самого Лабы, следовало женившихся поселенцев и тех из них, кто обзавелся хозяйством, оставить в тех местах, где они находятся, других же поселить в Нижнеудинском округе, на удобных местах. Вместе с тем были изданы новые особые правила о поселенцах. Ими предписывалось: 1) водворение производить в Тобольской и Иркутской губерниях, под

главным наблюдением сибирского генерал-губернатора; 2) губернаторам предоставлялась *полная свобода действий* в отношении поселения и пересылки ссыльных, заботы о заготовке для них провианта, домов, орудий, семян для посева, доставление им скота: по одной корове на семью, по одной лошади, по три овцы и по три свиньи; 3) заселение начать с Нижнеудинского округа, водворив там 2 769 душ; 4) ремесленников поселять в городах, а неспособных зачислять в мещане; 5) вольных поселенцев вместе с ссыльными не селить. На таких-то основаниях надо было устроить прибывших в 1807 г. в Нижнеудинский округ поселенцев. Устройство поселений поручено было вновь присланному гражданскому губернатору Трескину. Он принялся за это дело с подобающей энергией. Он составил подробные до последних мелочей правила для поселения, выбрал самых строгих исполнителей и предоставил им неограниченную власть в распоряжении ссыльными. В трехлетие с 1807 по 1809 г. были возведены эти казенные поселения, а в остальные пять лет постоянно снабжались ссыльными. Поселенцы селились на отведенных местах и тотчас же получали все нужное для хозяйства; они были *обязаны* заниматься вырубкой леса, постройкой жилищ для себя и для новоприбывших, а также полевыми работами. Дома строились по чертежу для двух семей. Трескин, для поощрения браков ссыльных, выхлопотал у иркутского духовного начальства предписание ссыльным женщинам выходить замуж только за поселенцев. В деревнях устроили определенное число кузниц и хлебных магазинов. Выдаваемый скот подлежал строгому учету; все домашние принадлежности были подробно учтены; работы сделаны обязательными. Таким образом, эти поселения, с принудительными и обязательными работами, под строгим присмотром, очень походили на «военные поселения», впоследствии устроенные Аракчеевым. Подобная жизнь, обставленная столь суровыми предписаниями, конечно, была очень тяжела для поселен-

цев, и нечего удивляться, что в этих казенных деревнях, составлявших эссенцию и скопище самых дурных элементов, вскоре обнаружилась полнейшая деморализация, и эти поселения ознаменовали себя разными преступлениями, в которых разбой играл видную роль. Побегии стали так часты, что пришлось прибегнуть к чрезвычайным мерам для обуздания поселенцев, что и возложено на исправника Лоскутова, облеченного диктаторской властью. И он действительно обуздал, но какими средствами! Лоскутов застал поселения в самом неустроенном виде, и прежде всего предписал точные правила для хозяйства, для работ, регламентировал даже домашний быт поселян: они должны были вставать, умываться, запрягать лошадь, месить квашню, печь хлеб по предписанным правилам; их учили, какие молитвы они обязаны читать утром и вечером, и т. д. Лоскутов сам наблюдал за нравственностью жителей и их работами; за неисполнение правил виновные подвергались жестоким наказаниям палками и розгами. Для уничтожения преступлений Лоскутов ввел общую чудовищную ответственность: случалась где-нибудь кража – Лоскутов въезжал в селение и сек первого попавшегося, затем всех по очереди, пока не укажут вора. Создавая дисциплину и вводя свои правила, Лоскутов ездил с утра до вечера по деревням в сопровождении казаков и телег, нагруженных доверху розгами и палками. Посещение им деревни сопровождалось всегда страшными экзекуциями. Исследователи сибирской старины говорят, что он ввел особое наказание – «в пересыпку»: избив палками, он по тем же местам бил розгами. Доведя подчиненные ему колонии, посредством террора, до рабской дисциплины, Лоскутов впоследствии хвастался, что если кто нечаянно обронит кошелек на его тракте, то этот кошелек будет немедленно ему представлен. При таких условиях было создано до 18 поселений в Нижнеудинском округе с 900 домами, 8 часовнями, 19 кузницами, 29 хлебными магазинами, 11 мельницами и 5 кожев-

нями и до 34 селений в округе Нерчинском с подобным же устройством. Но при всем своем наружном благообразии и порядке эти поселения далеко не могли удовлетворить колонизационным целям, так как и дисциплина, и этот порядок тягостно отзывались на благосостоянии самих поселян, и, конечно, не могли искупить собой истязаний несчастных поселенцев; на таких основаниях могли процветать и всякие арестантские роты, и каторжные работы. Как учреждение насильственное и неестественное, эти колонии должны были рушиться, и действительно вскоре рушились. Лишь только, по распоряжению Сперанского, был арестован за варварские поступки против поселенцев Лоскутов, как началось падение этих поселений, и люди, вышедшие из-под гнета, пустились в бег и в разброд, и колонии совершенно обезлюдели и разрушились.

Так же неудачно окончилась попытка вначале нынешнего столетия заселить ссыльными пустынные и неудобные места Туруханского края, по дороге от Енисейска до Туруханска. Сюда переселено до 360 семей с целью развить здесь хлебопашество, но хлеб к северу от Енисейска верст на 300 и 400 не может уже родиться, и бедные поселенцы должны были обратиться к рыбной ловле и звероловству; не имея никаких хозяйств и влача самое бедное существование, они разбрелись в разные стороны, и от земледельческих колоний не осталось и следа.

Картина ссылки на таких условиях, во все прошлое столетие и в начале нынешнего, конечно, была самая безотрадная. Крайне необеспеченное состояние ссыльных, блуждание их по сибирским пустыням голодными и беспомощными, вымирание на Лене, на Барабе, в Туруханском крае – все это уменьшало число их и давало самый ничтожный остаток стране. Мы заметили притом, что при крайне неорганизованном препровождении ссыльные разбегались в разные стороны. Сибирь в прошлом столетии представляла все удобства для бродяжества, и потому трудно было

ожидать от ссыльных оседлой жизни, когда сами жители и промышленники вели кочевой образ жизни. При таких условиях ссылка прошлого столетия не могла оставить прочных результатов; несмотря на тысячи ссыльных, отправляемых в Сибирь, начиная с царствования Елизаветы до начала нынешнего столетия, поселения их были очень незначительны. По официальным донесениям действительного статского советника Лабы видно, что в начале XIX столетия всех поселенцев в Иркутской, Томской и Тобольской губерниях – всего 10 430 душ, находящихся в самом жалком положении. Таковы были убогие результаты более чем столетней ссылки в Сибирь! Эти результаты были тем незаметнее, что Сибирь уже обладала 1¹/₂ или 2 000 000 свободным населением. Поэтому нельзя думать, будто бы ссылка в Сибирь закладывала здесь основание гражданственности и была важным колонизационным средством. Она неизмеримо далека от того значения, которое имела ссылка в Австралии с ее *конвиктами* и эманципистами, отпущенными каторжными; если в Австралии ссылка полагала основание поселениям и ссыльные составляли почти исключительное население Сиднея и других колоний и преобладающее население в больших городах новголландских колоний Великобритании, процветанию которых изумляются теперь путешественники, – то ссыльные в Сибири устроили разве несколько жалких деревень. Что мешало еще оседлости ссыльных в прошлом столетии, это то, что Сибирь представляла обширные пустыни и лесные пространства; все это давало средство ссыльным скрываться и свободно слоняться по *ямам*, по *заимкам* и звероловным избушкам; да, наконец, они и принуждены были к этому, так как других промыслов, кроме звероловных, тогда и не существовало. Поэтому странно было бы ожидать от ссыльного оседлости, когда и остальная-то Сибирь была *бродячая*.

Неурядица в заселении ссыльными и необеспеченность их положения в Сибири побудили Сперанского хло-

потать об издании новых уставов об устройстве ссыльных, которые и были изданы в 1822 г. Сперанский, как и Лаба, нашел пересылку в самом жалком состоянии: поселенцев гнали без всяких документов, без означения звания и, главное, мест поселения; им не давали ни кормовых денег, ни вспоможения для обзаведения хозяйством. Все проекты Лабы остались бюрократической фантазией; единственное последствие последних распоряжений о ссылке Сперанский нашел в нижеудинских и нерчинских деревнях с ужасным Лоскутовым во главе, которого, однако, должен был отдать под суд за его управление. Сперанский понял, что штрафная колонизация должна начаться на новых началах, чтобы дать какие-нибудь результаты. На саму Сибирь он, конечно, ошибочно смотрел как на исключительно ссыльную колонию. Это *страна*, – говорит он, – *удобная для ссылки и интересная в минералогическом отношении, но она не имеет вовсе задатков для основания в будущем гражданского общества*¹. Но Сперанский, по крайней мере, понимал, что для упрочения ссыльной колонизации и для водворения поселенцев необходимо обеспечить их существование, дать им средства обзавестись хозяйством и сделаться оседлыми. Только при таких условиях возможно было ожидать прочных результатов от колонизации Сибири ссыльными. Таким духом и были пропитаны новые указы о ссыльных в 1822 г. Протекторат поселенческому труду ознаменовался целым рядом мер и установлений, состоящих в классификации поселенцев на месте ссылки по способности их к труду и в доставлении средств при помощи вспомоществования и особого покровительства занятиям и оседлости поселенцев. По уставу о ссыльных 1822 г., ссыльнопоселенцы делятся на пять разрядов. Одни, способные к заводским и фабричным работам, должны были поступать на казенные заводы и фабрики под именем «временно-заводских работников»; про-

¹ Письма М. М. Сперанского к его дочери из Сибири // Русский архив. 1868. № 11. Ст. 1684–1685.

тив каторжных, ссылаемых на заводы, они получали двойную плату и ссылались в заводы на срок. Вторую категорию поселенцев составляли способные к ремесленным работам; они должны были селиться в городах и заниматься ремеслами, для чего на счет казны были устроены особенные ремесленные дома; ремесленные работники разделялись на следующие отделения или артели по 35 человек в каждой: столяров, плотников, каменщиков, кузнецов, слесарей, медников, серебряников, кожевников, шорников, маляров и чернорабочих; ремесленные дома находились под казенным управлением. Третью категорию поселенцев составляли слабосильные и дворовые люди, не знающие ремесла и неспособные к сельским работам, точно так же незамужние женщины, неспособные к сельским работам. Такие лица приписывались к городам, к цеху слуг, и находились в распоряжении приказа о ссыльных; они отдавались в услужение, по требованию местных жителей, за известную плату, не менее 1 руб. 50 коп. в месяц; эти цехи учреждались в губернских и уездных городах. Четвертую категорию поселенцев составляли все способные к сельским работам; они делились на две категории: одни должны были пристраиваться по деревням старожилов, другие – основывать новые деревни на счет казны; поселенцы, селившиеся в деревнях старожилов, пользовались трехлетней льготой от податей и повинностей; в остальные семь лет платили половинный оклад и через 10 лет могли приписаться в крестьяне; старожилу, принимавшему поселенца, выдавалась половина арестантского содержания на четыре месяца¹. Но устав предвидел, что ссыльные, находясь без всякой помощи, не все могут приняться за сельские работы или наняться на выгодных условиях, а потому для беспомощных проектиро-

¹ Из этого видно, что у нас делались попытки создать нечто вроде *ассигнационной системы* в Австралии, где ссыльных отдавали в работу свободному колонисту. Из этого там образовалась ужасная *кабала*; ссыльные в Сибири избегли этого несчастья. Нам только известна отдача ссыльных на фабрику Куткина в Тобольске.

вал особые поселения и деревни в местах малонаселенных; эти поселения предположено было устроить на счет казны и отдать их под особый надзор местного начальства; поселенцам в этих деревнях устраивались помещения, давали им в первый год провиант; их обеспечивали скотом, семенами и земледельческими орудиями; затем им давалось два года льготного времени; ссуда должна была выплачиваться постепенно, в продолжительный срок; управление же поселенцами, подчиненными военной дисциплине, устраивалось по образцу военных поселений. Наконец, пятую категорию составляли неспособные, больные, калеки и престарелые, имевшие более 60 лет: их предложено размещать по богадельням или отдавать *в услуги* зажиточным крестьянам. Такое разделение, казалось, обеспечивало средства к жизни всем поселенцам без исключения, поощряло их к честному труду и удовлетворяло как фабричный, ремесленный, так городской и сельских элементы ссыльных.

Но и этот идеальный устав постигла участь всех прежних колонизационных мероприятий: при применении его на практике в первое же время встретились неодолимые препятствия, в особенности по устройству фабричной и заводской категории ссыльно-поселенцев. В Сибири в то время было семь казенных заводов: солеваренные, железоделательные, винокуренные; на всех них работали каторжные; труд здесь был тяжелый, содержание самое плохое, дисциплинарные наказания необыкновенно строгие. Ставить в те же условия ссыльно-поселенцев было несправедливо; к тому же число каторжных на заводах было так велико, что для поселенцев совсем не было работы, и поневоле пришлось отказаться от помещения их для работ на заводах. Что же касается до основания ремесленных заведений, то такие дома действительно были устроены в Тобольске, Иркутске, Красноярске, точно так же как и отделения их в Верхнеудинске, Нерчинске, и Нижнеудинске; но и эти заведения, несмотря на их очевидную пользу, также не удалась в Сибири. Причиной

тому было их казенное устройство и неудовлетворительное управление: мелкие чиновники – люди неумелые, нимало не заинтересованные в деле – были очень плохими организаторами; наружная и формальная сторона процветали, но зато разные упущения по расчетам, расхищение казенного имущества и сами грубые злоупотребления нанесли казне значительные убытки, что естественно привело к закрытию одного за другим всех ремесленных домов. Цехи слуг, существовавшие в первое время в губернских городах Сибири, также понемногу были уничтожены. Таким образом, протекторат фабричному, заводскому и ремесленному труду поселенцев окончился неудачно.

Посмотрим теперь, чем окончились попытки организовать земледельческие колонии. Попыток к этому сделано было немало: в 1829 г. на счет правительства приступили к устройству в Восточной Сибири поселений для водворения 5 955 ссыльных; в Енисейской губернии – 22, в Иркутской – 5. Они окончательно устроены в 1839 г. Число поселенцев к этому времени возросло до 59 523 душ мужского и 3 835 женского пола. Эти селения были построены по особому плану самими поселенцами, но под надзором правительственных агентов; выстроены красивые, обширные, но не удовлетворявшие сибирскому климату дома; колонистов снабдили скотом, земледельческими орудиями и на первое обзаведение выдали небольшие ссуды денег. Устройство этих колоний стоило значительных забот и затрат: губернатор Степанов, человек дельный и просвещенный, писал, что поселенцам дано было по 15 десятин *прекраснейшей земли*, на пользу их употреблено 270 000 руб. ассигнациями безвозвратно, да сверх того, на продовольствие роздано им впредь до урожая 211 000 руб. с возвратом. Несмотря, однако, на все эти заботы и издержки, опыт казенной колонизации потерпел ту же участь, как и все ему предшествовавшие ссыльные колонии: поселенцы строили дома, сеяли хлеб в первое время, пока их принуждали; но прину-

длительный казенный труд был для них тяжел и неприятен, и потому, как только прекратились принудительные меры и поселенцам было предоставлено жить свободно, то они в сороковых годах оставили эти деревни под разными предлогами и разбрелись на все четыре стороны. «Посельщики, едва водворившись, – как приводит один автор, – оставили по большей части свои дома, стремились к бродяжничеству и преступлениям». Красивые казенные дома с обширными, светлыми окнами, правда, довольно холодные, правильные улицы и площади этих селений мигом опустели, представив из себя только памятник об архитектурных талантах местного начальства. С тех пор уже давно стоят эти деревни пустыми; окна домов заколочены, сами дома разваливаются, на улицах разрослась трава¹.

Что же оставалось делать после этих попыток в деле развития в Сибири оседлой ссыльной колонизации? Делать новые затраты было бесполезно, и поневоле пришлось обратиться к старой, первобытной системе: ссыльных снова стали размещать по разным уже существующим деревням, населенным людьми свободными. С этих пор ссыльных стали приписывать к деревням старожилов и предоставляли им самим приискивать себе средства пропитания. Все ссыльные, таким образом, были отнесены к третьей категории ссылки устава 1822 г. От них требовали только, чтобы они непременно занялись земледелием; но затем давалось право на надел в общей крестьянской земле, которой располагало общество той волости, куда они были приписаны. Кроме того, ссыльно-поселенцы получили разрешение покупать земли и дома. На первое время, определенное законом, они избавлялись от податей и повинностей, но должны были сами заботиться об устройстве своего хозяйства и ни ссуды, ни вспомоществования им не отпускалось. Такие

¹ См. об этих деревнях замечания Д. Завалишина в «Письмах о Сибири» (Московские ведомости. 1864, 1865) и статью Пейзена «Исторический очерк колонизации Сибири». С. 40; то же Максимов С. В. Указ. соч. Ч. I. С. 282.

правила, конечно, могли быть практически применяемы только к таким поселениям, которые, во-первых, были способны к сельскохозяйственным работам и, во-вторых, имели возможность на собственные средства устроить свое хозяйство. Но много ли было таких способных и таких состоятельных? Большинство ссыльно-поселенцев было решительно неспособно к работе и не имело ни гроша за душой. Известно, что ссыльный на поселение вместе с ссылкой лишался всех прав, как личных, так и имущественных; следовательно, все его имущество переходило к другим; в партии он не мог ничего иметь при себе, кроме казенного платья; сами деньги у него отбирались; но если бы он и сумел хитростью припрятать деньжонки, то все их издерживал дорогой, так как за все брали с него тройную плату. Таким образом, можно безошибочно признать (исключения были крайне редки), что ссыльно-поселенец приходил в Сибирь, не имея никаких средств для обзаведения себя хозяйством; следовательно, даже трудолюбивые и способные к сельским работам поселенцы с первого же шагу встречали неодолимые затруднения к прочной оседлости. Что же сказать о тех поселенцах, которых пытались приучить к ремесленному и заводскому труду и, встретив в этом неудачу, обратили к земледелию. Эти положительно нищенствовали и бродяжничали. Таким образом, обращение всех без исключения ссыльных к земледелию произвело полнейший хаос, и положение ссыльных стало опять почти таким же, каким оно было до Сперанского. Значительная часть ссыльных состояла из людей, знакомых исключительно с фабричным или ремесленным трудом; были между ними промышленники, торговцы – одним словом, люди, несколько не знакомые с сельскохозяйственным трудом. Бедные деревни не могли удовлетворить этим рукам, требующим работы; поселенцы не имели ни средств, ни охоты создавать себе здесь хозяйство; от этого деревни наполнялись тучами народа праздного, неспособного к рабо-

те, бедного и вдобавок ожесточенного лишениями. Таким образом, для них оставался один выход – преступления и побег. И они бежали из этой пустыни, из этих бедных сибирских деревень, где были осуждены на голод, унижение и страдания. Статистические цифры ссылки в Сибирь в начале XIX столетия и даже после 1822 г. приводят к заключению, что она характеризовалась всегда громадным бродажеством, смертностью поселенцев и преступлениями. Сколько эти причины действовали на уменьшение числа ссыльных, можно видеть из фактов, которые извлечены из документов бывшего приказа о ссыльных. С 1827 по 1846 г. из числа 154 755 человек обоего пола, сосланных в Сибирь, было до 18 328 возвращенных из России беглых поселенцев и каторжных. Ежегодная цифра этих побегов колебалась между 400 и 1400 человек. Но эта цифра показывает только число беглых, проникавших за пределы Сибири, а число беглых вообще было гораздо более значительно. В семь лет, например, возвращено в Сибирь было только 354 человека каторжных, тогда как в пять лет, с 1836 по 1841 г., только с четырех заводов в Восточной Сибири бежало 2 704.

Кстати, скажем здесь несколько слов о значении побегов с каторги. Ссыльные на каторгу и на заводы на срок по окончании этих сроков обращались на поселение и составляли, следовательно, также колонизационный элемент; но если они бежали хотя раз, то сроки их наказаний почти удваивались. Каторжному срочному 1-го разряда, например, за первый побег, кроме 50–60 плетей, набавлялось еще 10 и 15 лет работы; за второй побег – 60–80 плетей и к прежним годам прибавка еще от 15 до 20 лет работы; в третий раз они уже делались бессрочными. Точно так же наказание увеличивалось в сроках и для каторжных 3-го разряда, а для ссыльно-поселенцев побег вел за собой каторгу! Таким образом, даже первый побег для ссыльного делался роковым. Сроки за него набавлялись, следовательно, увеличивалась безнадежность, и являлось более

побуждений к новому побегу. Такие ссыльные, раз пойманные в бегах, принуждены были вечно уже скитаться по каторгам и только временем отлучаться в бродяжество. Сами побегии с каторги были не особенно трудны, тем более, что само заводское начальство в прежнее время весьма мало обращало внимания на побегии. Народу для работ на заводах всегда было много, гораздо больше, чем было нужно, потому, как бы ни были значительны побегии, они не останавливали работ. И побегии с заводов и каторги в это время развились до страшных размеров.

По отчетам, опубликованным г-ном Максимовым, видно, что в 5 лет, с 1836 по 1841 г., с заводов иркутского и селенгинского солеваренных, троицкого и николаевского винокуренных ушло в бега 2 704 человека, с петровского железного завода в 10 лет, с 1842 по 1852 г., – 776 человек, с александринского винокуренного, с 1835 по 1841 г., – 1 837 человек, а с 1846 по 1854 г. – 1 113 мужчин и 19 женщин; в 25 лет с него бежало 6 879 человек. С прочих заводов бежало по столько же; так что можно приблизительно верно сказать, что со всех заводов, в каждое десятилетие, бежало 12 929 человек; ловили и возвращали, по среднему расчету, в десятилетие только 2 730 человек.

Число беглых поселенцев было еще значительнее; пойманных и уличенных в 9 лет, с 1838 по 1846 г., оказалось 5 800 мужчин и 208 женщин. Но это число только *уличенных*; обыкновенно же поселенцы имеют обычай называть себя непомнящими, бродягами или пишутся чужими именами, подыскивая случай куда-нибудь приписаться или причислиться к местным батальонам. Поэтому действительное число беглых поселенцев вернее определяется пойманными бродягами. Таких бродяг в эти же 9 лет в Сибири было поймано 13 788 мужчин и 3 528 женщин; большинство из них, конечно, ссыльные; в 20 лет с одного Урала укрывавшихся у подзаводских крестьян было выслано 13 769 человек, из которых уличенных ссыльных

и варнаков было 53%¹. Но и эти цифры все-таки недостаточны: по ним видно только число пойманных и высланных из разных местностей ссыльно-поселенцев; число же бродивших и скрывавшихся было, по всей вероятности, вдвое и втрое больше. Г-н Максимов приводит, что в Енисейской губернии с поселенческих мест водворения в три года, с 1857 по 1859 г., бежало 6 752 человека и поймано только 1 850 человек, т. е. $\frac{1}{4}$ (100). Таким образом, из одной только губернии бежала $\frac{1}{3}$ годовой сибирской ссылки на поселение. Сведения о быте поселенцев доказывают, что то же повторяется и во всей Сибири; нам говорили очевидцы, что в некоторых волостях Тобольской и Иркутской губерний из 6 и 7000 приписанных поселенцев едва 2000 находится налицо: все остальные на приисках или в бродяжестве рассеяны по Сибири. Доктор Шпрек в своих статистических исследованиях о верхоленских поселенцах приводит, что налицо их считается всего *пятая часть*; остальные в неизвестной отлучке. Принимая в расчет число пойманных бродяг в девятилетний период, с 1838 по 1846 г., – 17 000, можно безошибочно предположить, что их бежало, по крайней мере, вдвое, т. е. не менее 30 000; а прибавляя сюда 10 000 каторжных, получим, что бежало более половины всех сосланных за это время, которых было 75 000 человек. Из числа этих беглецов пойманные сидели в острогах, где судились за свои побег и за преступления, а не пойманные бродили по пустыням сибирским². Но те и другие одинаково не могли принести никакой пользы колонизации.

Затем мы должны исключить значительное число умирающих как в партиях во время дороги, так и в Сибири. Г-н Максимов приводит, что на 4500 ссыльных, в последние

¹ Максимов С. В. Народные преступления и несчастья // Отечественные записки. 1869. № 2. С. 372, 374, 376, 380.

² Сведениям о бродяжестве в Сибири, доходящем до страшных размеров, и о судьбе его здесь мы посвятили особое исследование. См. «Бродячее население Сибири».

годы, оставались по болезни на дороге до Нерчинска 1260 и из них 260 умирало, не доходя до места поселения, т. е. 27 на 1000 (101). О значительном вымирании ссыльных на пути указывает и г-н Гагемейстер в обозрении истории ссылки (102). Кроме смертности, надо принять во внимание, что в Сибирь приходит значительное число старых, увечных, калек и неспособных к работам, а потому и эти люди должны считаться потерянными для колонизации. Таким образом, вычитая число беглых, умерших в пути, находящихся в острогах за преступления в Сибири, наконец, неспособных и старых, мы увидим, что из общего контингента ссыльных число людей, способных к труду и поселению, остается крайне незначительное. Попробуем сделать приблизительный расчет. Известно, что с 1807 по 1870 г. ссылка в Сибирь дала 460 000 человек – почти полмиллиона жителей для Сибири могло бы быть важным приобретением. Но сколько же из них осталось в Сибири и принесло пользу колонизации? Во-первых, все число ссыльных, накопленное в 63 года, мы не можем считать существующим, а поэтому его надо разделить на поколения. Средняя продолжительность жизни для поселенцев в Сибири не могла быть больше 20 лет, так как все они являются уже взрослыми и преимущественно между 30 и 50 годами¹. Таким образом, ссылку надо разделить на двадцатилетия, причем выйдет, что она в настоящем столетии давала до 150 000 на поколение. Затем, полагая из этого числа 40 000 беглых в каждое десятилетие и 3 050 умирающих в партии, мы увидим, что из всего числа ссыльных в 20 лет в Сибири оставалось только 67 000 человек; исключим из этого числа поселенцев, вновь попадающих за преступления на каторгу, исключим старых, неспособных и калек, и мы найдем, что ссылка в 20 лет давала Сибири уже не 150 000, а только 60 000 человек, рассеянных

¹ По исчислению по возрастам, за 12 лет, ссыльных прошло между 11–30 годами 6 518 и между 30–60 годами и старше – 6 700 (Анучин Е. Н. Указ. соч. С. 44).

по сибирским деревням и приискам. Притом поселенческое население очень мало размножалось естественным путем, так как браки между ними были редки. До Тобольска ссыльным совсем воспрещалось жениться; точно так же были ограничения для вступления в брак с каторжными. Затем само число ссыльных женщин далеко не соответствовало мужскому населению, так как ссыльные женщины составляли $\frac{1}{6}$ часть, вернее, 18 женщин приходилось на 100 мужчин; многие из них ссылались уже замужними, и $\frac{1}{8}$ часть их была старше 40 лет. Большая часть этих женщин вела развратную жизнь; между ними многие были заражены сифилисом, что, в свою очередь, тоже немало препятствовало заключению браков между ссыльными. Что же касается браков поселенцев с свободными сословиями в Сибири, то, несмотря на поощрение их правительством¹, они заключались очень редко, потому что местное крестьянство не желало отдавать своих дочерей за поселенцев, не имевших никакой собственности, ни даже движимого имущества, прежде чем те приобретут хорошую репутацию и обзаведутся хоть немножко. Поселенцы притом нередко злоупотребляли этими браками и заключали их только для получения субсидии в 50 руб., и затем уходили в бродяжество. К тому же в Сибири до сих пор женщин менее чем мужчин.

Посмотрим теперь, каким условиям был подчинен труд ссыльных в Сибири, какую услугу они оказали этой стране как колонисты.

Мы сказали выше, что поселенец, по Уставу о ссыльных 1822 г., приписывался обыкновенно к волости и должен был заниматься сельскими работами. Являясь в Сибирь нищим и убогим, поселенец не имел средств обзавестись

¹ Для браков поселенцев были следующие постановления: до Тобольска были запрещены браки между ссыльными, но на местных жителях свободных сословий жениться дозволялось. На месте поселения, с целью поощрения браков, поселенцу, вступающему в брак с женщиной свободного сословия, выдавалось 50 руб. на обзаведение, а поселенцу, вступающему в брак с ссыльной, – 15 руб. и такая же сумма в 10-летнюю ссуду.

хозяйством; бывшее на родине его имущество передано во владение его родственникам и, как состоящее преимущественно в земле, не могло быть капитализировано для перевода его в дальнюю Сибирь к бывшему владельцу, если бы даже новый владелец и захотел оказать великодушие своему несчастному родственнику. И приходилось поселенцу идти в работники к местному крестьянству. Труд этот был очень не легок, особенно для поселенца. Земледельческие занятия были тяжелее в Сибири, потому что сама природа здесь ставила наиболее препятствий: непроходимые леса и тайги, громадные пространства, суровые зимы и необыкновенно жаркие лета, леса, усеянные мириадами насекомых, – все это обуславливало усиленный и тяжкий труд земледельца при распахивании новин, при вырубке леса и т. д. Условия труда, к которым привык сибирский крестьянин, были невыносимы для поселенца. Ему приходилось многому учиться, ко многому приноравливаться. В то же время стремление к обогащению и дух корыстолюбия, свойственный всем новым колониям, породили в Сибири сильнейшую эксплуатацию работников. Мироедство, с одной стороны, покручничество, батрачество и кабала, с другой, стали постоянным явлением в сибирских деревнях. Поэтому положение батрака-поселенца у сибирского крестьянина было самое безотрадное. «Нет более лихого человека, – говорит поселенец, – как богатый сибирский мужик»: он требует работы неустанной, непрерывной, не хочет знать праздников. Жалованья батраку полагается в Западной Сибири не более 30 и 40 руб. в год; притом же оно не всегда исправно выплачивается, так что поселенцы охотнее берут на себя обязанности пастухов, караульщиков, перевозчиков и исполняют эти обязанности из-за хлеба, или даже побираются милостыней, только бы не работать у сибирского мужика-кулака, гоняющего их на работу до полного истощения сил. Жизнь поселенцев в деревнях в первое время ссылки особенно не красна. Приходят они туда голодные, в лохмотьях,

и требуют себе приюта. Общества отводят им обыкновенно одну мирскую избу или сруб, где они и живут все вместе, имея на всех одно ведро, один топор, а нередко носят попеременно одно и то же платье. В этих отведенных им избах они проводят года, не заботясь или не имея возможности устроиться отдельно. Питая отвращение к тяжелому труду у сибирского крестьянина, к месту ссылки, проклиная Сибирь, вечно желчные, недовольные и голодные, они бродят по деревням, выпрашивая милостыню, или сидят оборванные и подбитые по кабакам, готовые вступить в отважное предприятие, чтобы что-нибудь стянуть у крестьян. Нередко через несколько дней по присылке они уже за какую-нибудь провинность препровождаются в местный острог. Редкие из них берут земли для разработки. Последнее объясняется и тем, что крестьяне дают сами дурные наделы поселенцам: новины, болота и т. д., и как только поселенец их обработает, то крестьяне нередко производят новый передел земель и отбирают у поселенцев улучшенные их трудом земли. При таких условиях трудно было требовать от поселенцев любви к оседлости, без которой немыслимы колонизационные успехи. Вот как, например, характеризует жизнь поселенцев в Верхоленском округе доктор Шпрек:

В 1863 г. в трех волостях Верхоленского округа числилось до 4 875 душ поселенцев обоюбого пола; из них на 3 679 мужчин приходилось всего 1196 женщин. Недоимки на них были громадные; так, в 1863 г. считалось 16 355 руб. 39½ коп. Цифра значительная, – говорит автор, – при незначительных окладах их податей¹ и небольшом населении. Причинами этому служат: 1) отлучки поселенцев, подлежащих платежу податей; 2) числящиеся недоимки на умерших и 3) способ обложения, причем перечисление поселенца в оклад тянется много времени, и подать на нем накапливается. При этом еще надо принять в соображение, что число посе-

¹ Они три льготные года не платят податей и семь лет платят половину – это значит, что поселенцы не могут вносить даже по 1 руб. 70 коп. в год.

ленческих хозяйств ничтожно. Из 3 679 поселенцев только 430 имеют дома в этой волости, а это зависит от того, что многие из поселенцев бегут с места перечисления, другие попадают в преступлениях, третьи отправляются на золотые прииски. Значительная часть этих людей пропадает и умирает в тайге, и на месте поселения живет не более пятой части числящихся по спискам. Смертность, вследствие дурных условий жизни, между поселенцами несравненно большая, чем между крестьянами, в особенности случайная. Доктор Шпрек говорит, что *один* судебномедицинский случай приходился:

	1862 г.	1863 г.	1864 г.	1865 г.
у крестьян на	2714	1357	1447	1447
у поселенцев на	812	304	324	232

Притом поселенческая пропорция составлена, принимая в соображение все списочное число поселенцев, тогда как их на месте жительства никогда не бывает даже и половины. Такие невыгодные условия поселенческого быта в деревнях, к которым их приписывали, побудили, наконец, местное начальство ходатайствовать о дозволении поселенцам отлучаться на прииски по паспортам. Это было разрешено, и массы поселенцев двинулись в обетованный край.

Если поселенцы искали только каких-нибудь заработков, из-за хлеба, и права отлучек, то для золотопромышленности требовались бобыли, люди одинокие, без всяких хозяйств, способные в дальней тайге проживать по нескольку лет и готовые на всякие тяжкие работы и на всякие условия найма. Поэтому золотопромышленники не жалели ничего, чтобы завлечь поселенцев, а поселенцы валили на прииски, обольщаемые большими заработками. Прииски, таким образом, с самого начала были обязаны своим существованием этому бродячему, бедному и бессемейному народу. Картина приискового труда и таежной жизни в Си-

бири представляла другую мрачную сторону поселенческого быта. Поселенцы, заключив формальные договоры в волостях с нанимателями, ранней весной отправлялись на прииски, на летние работы. В глухих лесах и дебрях, вдали от городов и властей, в полном безусловном распоряжении золотопромышленника и его приказчиков поселенцы работали с 15 апреля по 10 сентября, т. е. около пяти месяцев; они работали на открытом воздухе среди вьюг и непогод сибирской тайги, стоя в воде и в грязи в разрезах и шурфах, под дождем и снегом. Хотя, по закону, работы полагались с 5 часов утра до 8 часов вечера, т. е. по 12 часов в сутки, но распорядителям на некоторых приисках показалось и этого мало: они увеличили число рабочих часов до 14 и 15. Рабочих из поселенцев в прежнее время на золотых приисках нередко помещали в неудобных во всех отношениях жилищах, кормили их испорченной солониной, испорченным хлебом, колбой и диким луком. Рабочий поселенец пользовался одеждой, обувью и проч. от золотопромышленника, что ему ставилось в счет втридорога, и это еще более закабаляло его. Рядом с тяжелыми работами шли тяжелые дисциплинарные наказания. При таких условиях на приисках развивались заразные болезни, как тиф и цинга. Кто заболел сильно и не мог работать, тех рассчитывали и отправляли с приисков назад¹. На иных приисках работы были так тяжелы, что считались хуже каторжных. Известен случай, когда один каторжный, Черников, под чужим именем попав на прииски, скоро признался в обмене именем и просил, чтобы его отправили лучше на каторгу, так как работ на приисках выносить он не мог. Сам заработок на приисках за тяжелые работы был не особенно велик: рабочему, правда, полагалось от 3 до 15 руб. в месяц за работу, но чтобы получить до 15 руб., он должен был выполнять

¹ См. *Флеровский Н.* Положение рабочего класса в России». СПб., 1869. С. 282–283, 285, также: *Кривошапкин М. Ф.* Енисейский округ и его жизнь. СПб., 1865. С. 163–204.

старательские работы сверх уроков, работая в неположенные часы, в праздники и т. д. На урочной работе, говорит г-н Флеровский, он и задатка не отработает. Но, получая самую большую плату – до 15 руб., – он все-таки не мог себя обеспечить. Г-н Флеровский рассчитывает, что рабочий, отлучаясь от семейства, не мог на приисках выработать на его содержание, так как для этого необходимо 130 руб., а он получал всего 75 руб. в пять месяцев.

На прииски, таким образом, могли ходить только одни бобыли и поселенцы; но и бобыль-работник, вырабатывая максимум 75 руб., за исключением задатка, который он получил при найме и истратил, за исключением, наконец, забора на приисках и во время пути, не мог этим пятимесячным заработком без нужды прожить целый год. Он выходил с самыми ничтожными деньгами, не обеспечивающими его на зиму, и ему приходилось снова получать задаток на следующий год, и таким образом, из года в год мучить себя тяжким трудом на приисках.

Что же, однако, влекло поселенцев к этим тяжелым работам? Сметливые золотопромышленники Сибири знали нужду и крайность поселенцев, знали их характер и не щадили ни обещаний, ни денежных приманок в виде задатка за работу. Обыкновенно бойкие приказчики золотопромышленников рыскали по Сибири, раскидывая паутину, т. е. разыскивая и собирая разную голытьбу, бобылей-недоимщиков, закутившихся крестьян, разоренных бедняков и неимущих поселенцев. Таких людей нетрудно было подкупить на разные обещания и значительные задатки – в 30, 40 и 50 руб. С жадностью принимались эти задатки, которые предполагалось употребить на уплату податей и дорожные издержки; но так только предполагалось, а в действительности эти задатки сейчас же прокучивались и разматывались; по деревням шло веселье, но зато тем горче приходилось расплачиваться в тайге за эти задатки. Рабочие понимали, что они попали впросак и, закаиваясь

ходить на прииски, торопились работать, желая скопить хоть сколько-нибудь денег. Но кончаются работы, расчет сделан; немного пришлось получить рабочему, но он все-таки доволен; он оживает, когда после тяжелого труда, то-скливой жизни, полной лишений, выйдет на широкий простор сибирских сел, где его встречают приветливо разные промышленники, желающие попользоваться на его счет. Торговцы тащат его в свои лавки, предлагая разные товары; гостиницы и харчевни манят его с голодухи; перед ним широко растворяются двери развеселых кабаков; по улицам прогуливаются красивые сибирячки в душегрейках, и вот – загремела музыка, полилось зелено-вино, закружилась буйная голова поселенца, захотелось ему хоть на миг забыть свое горе, хвастнуть своим добром – и пустить по-боку заработок! Буйная вакханалия охватывает его после стольких лишений, и он тратит заработок с безумной расточительностью. Но не прошло еще похмелье, как он уже давно выброшен из кабака – пропившийся, обобранный и едва одетый. Проклиная свою слабость, он возвращается в свою деревню по-прежнему голодный и в рубище. Снова приходит тяжелая зима; снова является соблазн в виде задатка, и он опять нанимается на прииски. Многие, не доходя до дому, прокутившись, отыскивают приискового приказчика и нанимаются на прииски и, спуская из года в год заработок, работают в вечной кабале из-за того только, чтобы неделю или две осенью провести в разврате и буйных оргиях. Соблазн, опутывающий поселенцев, так велик, что от него не удерживаются самые стойкие. Один из поселенцев, старик малороссиянин, рассказывал мне, что он, боясь соблазна, семь лет не выходил с приисков и копил деньги, – наконец, вышел оттуда с порядочным запасом денег и с твердым намерением зажить теперь своим домом оседло в Сибири. Он, конечно, очутился прежде всего в торговом таборе, выехавшем встретить рабочих. «Захотела душа моя, – говорит он, – один шкалик, только

один. Выпил, хожу и креплюсь. Захотела душа моя еще один шкалик... ничего не поделаешь с душой! Да как выпил, так взял целую сотню шкаликов для братии выставил. Целый день я компанию поил, а другой день лежал без шаровар, черт знает где, в какой-то канаве! С тех пор пошел опять на прииски и не выхожу!» Такова была деморализующая сторона приисков.

Эту горькую сторону приискового труда давно поняли сибирские крестьяне, не раз возвращавшиеся голодными и нищими в семьи, хотя ожидали получить чуть не целые богатства; зато после первых тяжелых опытов крестьянство не захотело более знакомиться с приисковыми порядками, и из крестьян стали ходить туда разве горькие бобыли да совсем разорившиеся; безземельные же и бродячие поселенцы не смели дать себе зарока и, окончательно развращенные приисками, составили почти единственный рабочий контингент золотых приисков. Любопытен следующий отрывок из рапорта одного исправника Енисейской губернии. «Возмутительные факты (злоупотреблений на приисках), – пишет он, – доказываемые делами енисейского земского суда и других полицейских мест и разносимые в рассказах рабочих, выходящих с приисков, до того делаются известными в рабочем классе, что порождают в нем только ужас и отвращение к приисковым работам. Ни огромные задатки, ни баснословные заработки, прославляемые нанимателями приисковых работников, не привлекают уже никого из людей, не потерявших еще доброй нравственности, хотя бы и терпящих какую бы то ни было нужду в деньгах. Идут же на прииски люди бездомные, пьяницы, больные и бессильные, которые на местах своего водворения служат в тягость своим обществам. Из 18 397 человек мужчин, населяющих собой Енисейский округ, на прииски ходят *только 100 человек с небольшим*». Работать на прииски идут, как мы сказали, почти исключительно ссыльные. Доктор Шпрек, в своей записке о поселенцах Верхоленского округа, приво-

дит следующую параллель между крестьянами, отлучающимися на прииски, и поселенцами:

	1860 г.	1861 г.	1862 г.	1863 г.
крестьян	68	50	61	62
поселенцев	1321	1239	1269	1384

Из всего числа поселенцев в этом округе на прииски уходило $\frac{2}{3}$. Таким образом, поселенцы связали свою судьбу с приисками, но не впрок пошла им эта связь. Постоянные болезни на приисках уносят ежегодно много жертв из числа 30 000 поселенцев, здесь работающих. Многие, не выдержав, пускались в бега и часто пропадали без вести, убиваемые по дороге, как говорят, даже своими товарищами, польстившимися на какой-нибудь полтинник или рубль¹.

Обозревая положение поселенцев на приисках и их работы, нельзя не придти к заключению, что и с этой стороны они приносили очень мало пользы колонизации, и не могли оказывать действительных услуг стране. Это была масса вечно кабального, бродячего и безыμущественного народа, – масса притом крайне деморализованная. За исключением летнего рабочего времени, приисковые рабочие-поселенцы проводили время праздну в деревнях и городах. Проводя целую жизнь то в тяжком труде летом, то в праздности в остальное время года, убив свои силы, они возвращались под старость в деревни, уже ни к чему не способные. Здесь они нищенствовали и бродяжили до самой смерти.

При таких исключительных условиях, в какие был поставлен поселенческий труд, конечно, невозможно было и требовать, чтобы он дал благотворные результаты для

¹ Как велики были побегι поселенцев с частных приисков, видно из приводимого г-ном Максимовым отчета по южной системе приисков: в 1856 г. из 9 558 рабочих бежало 67 разного звания людей и 336 поселенцев; в 1857 г. из 9 472 человек – 33 свободных работника и 133 поселенца; то же в 1858, 1859 и т. д. Из этого видно, что поселенцы также более бегают с приисков, чем крестьяне. Это опять-таки не рекомендует их способность к труду.

страны. Этот труд, во-первых, не был поставлен в одинаковые условия с трудом туземцев и новоселов, как называют в Сибири вольных колонистов в противоположность ссыльно-поселенцам, а, во-вторых, он был и другого, гораздо низшего качества. Поселенец, насильственно переселяемый, не мог иметь особого желания создавать себе собственность и благосостояние в новой стране, к которой он питал скорее антипатию; трудиться побуждала его только опасность умереть с голоду, а, следовательно, о качестве и производительности труда для страны тут нечего было и думать: поселенец брался за тот труд, на который не было охотников из местных жителей. Человек без семьи, без дома, кочующий работник, он естественно вовсе не заботился о сбережениях, и если ему случалось приобрести несколько лишних грошей, то он не затрачивал их плодотворно на прочное обзаведение хозяйством, не прибавлял своего капитала к капиталу страны, а большей частью, под влиянием горя и одиночества, растрачивал его на мгновенные удовольствия. Само психическое состояние поселенца отчасти препятствовало ему сделаться хорошим работником: постоянно недовольный, страдающий как человек гонимый, презираемый, лишенный многих гражданских и человеческих прав, он трудился кое-как; в нем не было главного, что возвышает труд и делает его приятным для трудящегося: в нем не было необходимой энергии и сознания полезности труда. Поселенец до сих пор в Сибири считается самым плохим, неумелым, ленивым и недобросовестным работником. «Могу ли я взять его к себе в работники, – говорит сибирский крестьянин, – когда он проживет у меня неделю, украдет что-нибудь, да и уйдет бродяжить!» На золотых приисках поселенец, особенно из бродяг, считается по труду слабосильнее и ленивее крестьянина, и это понятно: изнурение по острогам, телесное наказание, иногда предварительные работы на каторге и тяжкие испытания в жизни не могли не подействовать на

его физическую организацию. В городах в качестве прислуги они также не пользуются доверием. Сравнивая, таким образом, вольного колониста Сибири с ссыльным, мы найдем огромную разницу в пользе, которую приносит тот и другой: 10 крестьянских семейств принесут ее в несравненно большем размере, чем 100 или даже 200 поселенцев.

Подводя к итогу все сказанное нами выше относительно наличной численности поселенцев, водворившихся в Сибири, качества труда ссыльных и степени их оседлости, мы должны вывести заключение, что ссылка в Сибирь до сих пор почти вовсе не имела колонизационного значения. Даже само число ссыльных, водворенных в Сибири, не делало чувствительного увеличения в общем итоге сибирского населения. И в самом деле, что могла значить прибавка 60 тысяч человек в течение 20 лет? По отношению к вольному сибирскому населению она составляла одну семьдесятпятую часть его; она была как бы каплей в море. Кроме того, большая часть поселенцев жила на приисках или скиталась по Сибири, нищенствуя и проводя время в праздности; поселенцы были не оседлым населением, а бродячим, неспособным ничего производить для новой своей родины. «К сожалению, должно сказать, – говорит г-н Пейзен, – что в настоящее время, в особенности с тех пор, как развились в Сибири золотые прииски, колонизация ссыльных не достигает своей цели: ссыльные увеличиваются только числом, но влияние их на заселение края и развитие в нем духа предприимчивости – самое ничтожное»¹.

Оседлость поселенцев шла очень туго. Мы видели, например, что из числа всех приписанных поселенцев, судя по Верхоленскому округу, обзаводилась хозяйством едва пятая часть. «Какую же пользу приносит этот люд краю и населению, составляя пятую часть наличного числа? – говорит доктор Шпрек. – Мало и очень мало из сосланных на поселение становятся полезными членами общества и рас-

¹ Пейзен. Указ. соч. С. 39–40.

считывают на свою дальнейшую судьбу». И таков взгляд всех исследователей, изучавших колонизационное значение нашей ссылки.

Рассматривая нашу ссылку по отношению к ее колонизационному значению, мы видим, что она не достигла предположенной цели – заселения Сибири. Поселенцы не только не являются преобладающей частью сибирского населения, но, напротив, составляют самую ничтожную и быстро вымирающую часть его. Несмотря на все усилия добиться слияния ссыльных с туземцами, этого сделать не удалось, и поколение за поколением прибывающих в Сибирь бобыльных и неженатых поселенцев вымирает и пропадает бесследно. «Происхождение от ссыльных», приписываемое сибирякам, поэтому нимало не подтверждается историческими исследованиями, и название *«варначьей крови»* остается остроумной, но, к сожалению, малоосновательной выходкой.

Имея столь сомнительное колонизационное значение даже в прежнее время, ссылка, конечно, еще менее может приобрести его теперь: если она была сколько-нибудь необходима в первое время заселения Сибири, когда последняя была совершенно пустынна, то ныне, при свободном притоке колонистов и при естественном размножении туземцев, необходимость ее для колонизационных целей стала еще менее очевидна, – тем более, что обратные, темные и невыгодные стороны ссылки, не бросавшиеся в глаза в прежнее время, – в настоящее время, при увеличивающемся населении азиатских провинций, выступают все резче и резче.

III.

Исправительное значение русской ссылки

Юристы-теоретики придают большое значение исправительному характеру ссылки. Основываясь на очень немногих частных фактах, они делают общий вывод, что

даже закоренелые преступники во время своего пребывания в ссылке становятся способными к труду, покидают свои прежние, вредные для общества привычки и приносят пользу краю, в котором их поселили, – одним словом, составляют полезный элемент для колонизации страны. В статье нашей о колонизационном значении русской ссылки мы показали, какое ничтожное значение имела ссылка в Сибирь на колонизование этой страны. Что же касается ее исправительного значения, то идеал благоденствующего, добродетельного ссыльного, с таким умилением воспеваемый теоретиками, почти никогда или, по крайней мере, очень редко осуществлялся на практике. Точно так же и предположения теоретиков, что колонизационные цели ссылки не могут противоречить ее исправительному значению, верны только в теории, которая, отрешаясь от действительности, ставила человека совсем не в те условия, с которыми приходится ему сталкиваться в отдаленных, пустынных местностях, отводимых для заселения ссыльными. С другой стороны, сама колонизация ссыльными могла привести к каким-нибудь результатам только в таком случае, когда по своим личным качествам преступник был способен к заселению, оседлости и плодотворному труду в новой стране. Таким образом, в этом вопросе о слиянии колонизационных и исправительных целей ссылки практика не оправдывает теории, и в большинстве случаев эти цели взаимно противоречат и мешают друг другу, и потому всегда приходилось жертвовать одними в ущерб другим. Для полного исправления преступника необходимо в новом месте поселения поставить его в самые благоприятные условия для труда и избавить от тех неудобств, которые могут подать повод к недовольству. Этому может удовлетворить только особенно хорошо устроенная колония, в благоприятной местности, с удобным климатом, с плодородной почвой. Самый выбор труда должен предоставляться поселенцу, потому что для целей исправительных осо-

бенно важно, чтобы преступник в выборе труда следовал более своему влечению, чем требованию необходимости. Но, спрашивается, есть ли какая-нибудь возможность следовать этому плану, переселяя преступников в пустынные, дикие местности, которые нужно колонизовать? Конечно, нет. Здесь преступник ставится в самые неблагоприятные условия для заселения, страдает от болезней, голода, от непривычного климата, от новых условий жизни, с которыми ему трудно сродниться. Французы тысячами гибли в Кайене; английские ссыльные в первое время поселения на берегах Лебединой реки умирали массами от голода, эпидемий и климатических влияний¹. Громадные неудобства испытывали и русские ссыльные в суровой Сибири, перенося голодухи и страшные морозы Якутска, Камчатки и Туруханского края; здесь ссыльным приходилось вести ожесточенную борьбу с суровой природой Севера. Не встречая удобств ни в климате, ни в обстановке, поставленный в новые непривычные условия жизни, принужденный бороться из-за средств существования с величайшими препятствиями, ссыльный, конечно, находился в худших условиях, чем до ссылки на родине, а потому и сама страна, и труд к ней возбуждали в ссыльном только отвращение и предубеждение. Идея о свободном, излюбленном труде ссыльного, приводящем его к полному исправлению, конечно, должна была уступить труду принудительному, так как для обеспечения существования колониста пришлось заставлять его работать силой, под угрозой жестоких наказаний и подчинять суровой дисциплине, применяемой в каторге. «Только благодаря железной энергии губернаторов и плодотворной строгости с сосланными преступниками предприятие колонизации не пало», – говорит Гольцендорф о колониях в Новой Голландии. При основании французских колоний точно так же прибегали к самым су-

¹ Histoire de la Colonisation penale et des établissements de l'Angleterre en Australie, par Bloiseville. P. 110, 117, 136.

ровым мерам, к которым обыкновенно прибегают только на каторге и галерах. В Сибири мы видим то же в казенных лоскутовских поселениях. Но мог ли каторжный и принудительный труд, при помощи плетей и устрашения самыми суровыми наказаниями, служить целям исправления и можно ли поверить, чтобы страшные и надсадные работы действовали благотворно на нравственную сторону ссыльного? Нельзя также не сознаться, что, с другой стороны, ссыльные, предоставленные собственной воле, слишком мало прилагали забот для упрочения своей оседлости в новой стране. Встречая невыгодные условия для своего труда, ссыльные пускались в бродяжество и снова совершали преступления, за которые попали в ссылку. Так было, например, в Тасмании в 1846 г.; так было всегда и в Сибири, в этом отечестве бродячества и преступлений.

Положение ссыльных, слишком тягостное в начале заселения новой страны, должно было улучшиться по мере развития вольной колонизации этой страны. Когда страна становилась более обработанной, населенной вольными колонистами, условия поселения в ней ссыльных, конечно, делались более благоприятными, а с тем вместе облегчалась возможность достигать лучших результатов исправления преступников. Поэтому любопытно взглянуть, как действовала эта ссылка при самых благоприятных условиях. Оценивая чисто нравственное влияние ссылки на преступника, переносимого в другую местность, приходится сознаться, что и при самых благоприятных обстоятельствах оно было далеко не так благотворно, как рисовала его теория криминалистов. Апологисты ссылки, как известно, приписывают ей очень важное исправительное значение. «Ссылка должна влиять на преступника благотворно, – говорят они, – уже потому, что, перенесенный и оторванный от своей прежней среды, поставленный в новое положение, преступник должен одуматься, в нем должен произойти нравственный переворот, возбуждающий раскаяние, сожаление о прошед-

шем и надежду на будущее. Эта надежда должна возбудить в нем мысль и энергию к улучшению своего положения, понудить к новому труду в новой стране... Ссылка имеет то достоинство, что, изолируя преступника от среды, в которой он совершил преступление, делает его безопасным для нее и переносит его в другую страну и общественную среду, где не знают о его преступлении, что дает ему полную возможность восстановить свою репутацию. Ничто не дает здесь преступнику повода вспоминать о своем преступлении; прошлое должно быть забыто; жизнь начата вновь. В новой колонии, куда перемещают преступника, труд является в лучших условиях; шансы обогащения здесь скорее. Стремление приобрести богатство и примеры быстрого обогащения, окружающие его, должны возбуждать его энергию; тут даже корыстолюбивое чувство окажет услугу, вдохновив его к труду, к занятию, и изгладит в нем инстинкт приобрести обогащение легко незаконными и опасными средствами. Новое отечество, новая семья, новый дом дают преступнику и новые привязанности; привычка упрочит оседлость и труд, а довольство сделает его безопасным и полезным членом колонии». Но, к сожалению, эта идиллическая картина весьма далека от действительности, а потому и ко всем этим доводам мы должны отнестись критически. Чувство боли и страдания, перемена положения и судьбы, без сомнения, должны потрясти нравственно преступника, но этого еще слишком недостаточно для того, чтобы внушить человеку новые убеждения и наклонности. Наказание почти всегда оставляет в нем след только тупой боли и возбуждает в нем чувства апатии и потерянности. Также трудно допустить, чтобы одна перемена места и новое положение навели преступника на новые мысли о труде; если преступник не имел предубеждения против него до ссылки, то он и в новой местности, конечно, обратится к нему; если же почему-нибудь он не имел склонности к труду, то прежде нужно устранить причины, которые довели его до

отвращения к труду, и только с устранением их в преступнике действительно разовьются новые идеи о полезности и благотворности труда. Ссылка едва ли может устранять эти причины, и потому трудно согласиться, чтобы понятия преступника о труде изменились от одной перемены места. Что касается довода панегиристов ссылки о лучших условиях труда в колонии для преступника, что, конечно, могло бы иметь значение, то, к сожалению, это точно так же не подтверждается положением ссыльных даже в лучших колониях. Обилие земель, нетронутая природа, богатство естественных произведений колонии, без сомнения, представляют много средств для обогащения вольного колониста, возбуждая предприимчивость и энергию сметливого и умного человека, но нельзя этот же взгляд применять к преступнику. Если вольный колонист борется со всеми препятствиями во имя определенной цели и делает это совершенно добровольно, то преступник, переселяемый насильно и лишенный энергии, чувствует все неудобства колонии гораздо сильнее, и они представляются ему неодолимыми. Другой климат, другая почва, чем на родине, другой образ жизни, иные приемы хозяйства и новые условия труда – все это нелюбо ссыльному поселенцу. Таково положение поселенца и в Сибири. Он не найдет здесь ни тех стремлений труда, ни тех занятий, к которым он привык на родине: жизнь и положение населения в Европейской России далеко не похожи на жизнь и положение в Сибири. Европейская Россия – страна отчасти мануфактурная (конечно, относительно), Сибирь – исключительно земледельческая и пастушеская; поэтому значительная часть людей не только не находила здесь лучших условий труда, но, обращаясь от занятий легких и городских к тяжкому земледельческому и физическому труду, чувствовала положительную тяжесть его, сознавала свою неспособность к нему и проникалась отвращением к труду. «Само размещение преступников было самое неподходящее; матросы помещались, – говорит г-н Макси-

мов, – в Кургане, а не на Байкале, повара – в Березове, а не в Томске, херсонский степняк в Туринской тайге, а вятский хозяин-земледелец на Барабинской степи, где только место извозчикам» (103). Но, кроме того, бездна поселенцев решительно не находила занятия: превосходные мастеровые с зеркальных или бархатных фабрик, граверы, художники, музыканты, маркеры, камердинеры и т. п. – что они могли делать в Сибири? Подобное положение дел повторяется во всех колониях. Главное затруднение при заселении Новой Голландии ссыльными, отпущенными каторжниками, по словам Блосвиля, заключалось в том, что поселенцы на новом месте поселения не находили вовсе тех профессий, к каким они привыкли с детства посреди цивилизованных европейских городов. К тому же ссыльному в первое время почти невозможно отыскать себе труд, так как он прежде должен приноровляться к приемам хозяйства в новой, незнакомой ему местности; но нескоро ему дается эта наука, и долго ему приходится испытывать горькую нужду. Первые неудачи часто навсегда отталкивают ссыльного от труда в новой стране, и он предпочитает бродяжество и нищенство или предосудительные, преступные способы наживы.

Надо заметить, что в Сибири, как и в других новых странах, где преобладает кипучая жажда наживы и спекуляции, для ссыльного человека, не связывающего себя нравственными побуждениями, за такими средствами недостатка не бывает. В этом случае способы обогащения, эксплуатируемые молодыми колониями и начинающими развиваться обществами, при нетронутых богатствах природы, действуют на ссыльного самым губительным образом. Наряду с усиленным трудом в таких странах не только процветают всевозможные промышленные спекуляции, но искание богатства производится, не разбирая средств, путем обманов, азартных игр, воровства, насилия и грабежа. Такие явления свойственны всем богатым колониям, начиная с Мексики, Калифорнии и кончая Новой Голландией и

Сибирью. Действительно, как в Австралии, так и в Сибири, жажда к обогащению с открытием золота действовала самым деморализующим образом на ссыльных и создавала из них разбойничьи и мошеннические шайки. В такой же степени действовали и другие благоприятные условия, на которых основывали свои априористические выводы увлекающиеся криминалисты. Они утверждают, что в новой стране ничто не напомнит преступнику о его преступлении и никто не упрекнет его за старые грехи; но это несправедливо: всем окружающим известно, какое именно преступление привлекло ссыльного в чужую страну; станут ли упрекать его или не станут, это будет зависеть от того, как народ вообще относится к преступнику и насколько сам преступник подает повод напоминать ему о его прежней жизни. Новая среда, говорят криминалисты, дает ему возможность снова приобрести репутацию честного человека, но ведь это не больше, как фраза; сами криминалисты хорошо знают, какую роль в деле честности играет среда. А что эта среда никогда не забывала, что привело в ссылку поселенца, а последний напоминал об этом своим поведением, доказательством служат названия: «рваных ноздрей», «храп-майора», «посельщика», «варнака», «чалдона», которыми как сибиряки, так и вообще русские люди честят ссыльных. Русский народ, несмотря на всю свою сердобольность, эту *национальную нашу особенность*, как уверяют этнографы-славянофилы, не только создал эти эпитеты для ссыльного, но свое презрение обобщил до того, что часто применял их ко всем туземцам Сибири, которым присваивал происхождение от ссыльных. Такое отношение колонистов и вообще свободного населения к ссыльному и преступнику мы встречаем не у нас одних: североамериканцы и англичане Новой Голландии с тем же презрением обращались к ссыльному, а великобританские подданные в Европе не затруднялись в минуту раздражения клеймить тех же *янки* ссыльным происхождением.

Таким образом, ни один из тех аргументов, которые выставляются апологистами ссылки, не может быть признан неподлежащим сомнению: в практической жизни они никогда не оправдывались. Из очерков нашей ссылки видно, какие испытания должен был переносить ссыльный в Сибири; но и помимо этих испытаний, если бы бедность, лишения, отсутствие занятий, непривычка к новым условиям могли быть устранены при покровительстве труду ссыльного и при некоторой ему помощи от правительства, ссылка, даже при лучших условиях, неблагоприятно отражается на психическом состоянии ссыльного, придает особый характер его чувствам и печальным образом изменяет всю его деятельность. Криминалисты, вообще рисующие положение ссыльного в розовом свете, стараются всегда игнорировать то нравственное влияние, которое производит на ссыльного разлука с родиной; между тем оставление родины никогда не проходит бесследно: оно производит глубокое впечатление на самого закоренелого злодея и испорченного человека, не говоря уже о натурах мягких и оставлявших на родине какие-нибудь сильные привязанности. Ссыльный, оставляющий родину, испытывает самое тяжелое нравственное страдание; момент этот действует на человека болезненно, потрясает весь его организм, приводит к падению духа и может довести до положительного отчаяния. Поэтому-то люди благоразумные всегда предлагали чрезвычайно осторожно назначать ссылку. Это наказание причиняет самую жгучую боль наказанному; оно может положить – и почти всегда кладет – непроходимую грань между преступником и человеческим обществом, может ожесточить наказываемого, сделать его озлобленным и непримиримым или убить в нем все душевные силы, всю энергию и погрузить в вечную апатию и тоску по родине. У нас предполагают, что преступник, примирившись со своей участью, легко освоится в новом обществе и сольется с ним; но в жизни подобные перемены не произво-

дятся с такой легкостью, как на страницах красноречивых излияний криминалистов, и ссыльный преступник никогда не сливается вполне с новым обществом на месте ссылки; между ним и этим обществом устанавливается если не резкий разлад, то постоянная холодность. Симпатии ссыльного всегда лежат к тому родному краю, откуда он выкинут своим преступлением и куда постоянно стремится изгнанническая душа его, и куда бежит он, несмотря ни на какие препятствия. Производя естественно горькое чувство на каждого человека, лишение родины особенно болезненно действует на ссыльного русского. Русский человек, в особенности простолюдин, – всегда узкий патриот; во всех местностях России без исключения встречается самый упорный патриотизм деревни, села, уездного города. Русский крестьянин, мещанин, неразвитый купец и дворянин живут еще традицией предков, старым преданием и нетерпимы ко всем другим чуждым им обычаям. Космополитические взгляды, свойственные образованному человеку, им неизвестны, и ко всему, что лежит далее их деревни, уезда и округа, они относятся нетерпимо, с насмешкой и даже враждебно. Поэтому мысль о переселении в чуждый край производит на них самое неприятное впечатление, и им бывает очень тяжело расставаться с родными местами, да еще насильственно. Они шли в вечную ссылку; они были обречены на страдание никогда не видеть свою родину; что же мудреного, если ими овладевало чувство безнадежности, а безнадежность, в свою очередь, развивала в них затаенную тоску, а также антипатию к месту поселения! От этой тоски не избавляется поселенец целую жизнь, и все мысли его бывают исключительно заняты родиной. Они все жарче и жарче охватывают его и, наконец, превращаются в настоящую манию «во что бы то ни стало видеть родину». Наблюдения над поселенцами и ссыльными показывают, что эта надежда не оставляет их даже при самых трудных обстоятельствах; сами препятствия и наказания

только еще более распалют ее: пойманный и наказанный беглый в скором времени снова бежит и пытается пробраться в свою милую, родную деревню или город. Страстная надежда дойти до родных мест делается целью его жизни и не оставляет его ни при каких испытаниях и неудачах; он мечтает об этом, голодая на поселении; он воодушевляется ею, лежа без пищи под кустом, во время бродяжества; пойманный, он утешается ею в остроге, лежа на нарах в длинные ночи заключения и придумывая новые планы побега. Эта надежда видеть родину заставляет его стойчески выносить тяжкие удары плети на каторге; везде и повсюду он мечтает освободиться и, испытав десятки неудач, умирая в гнилой горячке где-нибудь на полуэтапе, он все-таки бредит родными местами. Мыслимо ли при таких условиях рассчитывать на слияние ссыльного с новым обществом? Может ли он на месте поселения найти новое отечество? Ссылный знает только одно, что ссылка осудила его на вечное *лишение отечества*. Лишение родины – вот тот источник нравственных мук ссыльного и причина постоянных побегов поселенца, несмотря на то, что ссыльные Сибири иногда находились в довольно благоприятных условиях. Ни собственность, ни дом, ни хозяйство, ни родство, ни семья, ни преклонные года не удерживали поселенца от его страсти, и самое долгое пребывание его в Сибири не давало ручательства, что под конец он не уйдет отсюда. Напротив, долгое пребывание в ссылке и приближающаяся старость только разжигали желание ссыльного хоть перед смертью побывать на родине. Несмотря на вечность ссылки, он и в самом безнадежном состоянии все-таки питает надежду когда-нибудь вернуться к своему очагу. Оттого горько и страшно становится старику-поселенцу придти к роковой мысли, что он напрасно лелеял эту надежду и скорая смерть не позволит ему уже никогда увидеть родного края; эта мысль до такой степени убийственно действует на него, что престарелый и хилый поселенец

иногда воодушевляется, как юноша, и делает последние усилия освободиться. Под влиянием охватившей тоски он рвется инстинктивно в бега, и его не удерживает ни страх потери благосостояния, накопленного трудом целой жизни на месте поселения, ни горькая участь кончить последние дни где-нибудь в остроге или на каторге. Такие порывы стариков-поселенцев в Сибири не редкость. Мне случилось видеть в одном из сибирских острогов 60-летнего старика, прожившего 40 лет на поселении. Он был давно приписан к сибирским крестьянам, жывал по сибирским городам и приискам, везде (рассказывал он) получал хорошие заработки и содержание, а впоследствии был долго у одного богача садовником. Как трудолюбивый и бережливый человек, под конец жизни он имел дом в деревне, свое хозяйство, жену и взрослого в Сибири сына, и – что важнее всего – он дошел опытом до убеждения, что труд в Сибири выгоднее и лучше оплачивается, чем в Европейской России. Он составлял исключение между поселенцами: постоянно хвалил Сибирь и горячо спорил с азартными бродягами, абсолютно порицавшими место ссылки. Вот с этим-то человеком в конце жизни случился странный переворот. Началось с того, что на приисках он потерял сына; затем умерла его жена-старуха. С тех пор этот домохозяин почувствовал тоску и одиночество. Он начал пить, пропил все свое хозяйство, дом и вдруг вздумал бежать на родину. По обыкновению он был пойман в числе бродяг в Тобольской губернии и опомнился только в остроге. Он беспощадно ругал себя, называл свой поступок блажью, но для всех было ясно, что тут виной не одна прихоть, что прилив тоски был так силен у него, старое желание видеть родину охватило его так решительно, что он не мог совладать с собой. Это история многих самых благонадежных поселенцев. Есть много ссыльных в Сибири, которые проживают целые года в довольстве и благосостоянии, которые обзаводятся семьей, накапливают состояние и вдруг исчезают

самым загадочным образом. Эта страсть ссыльного пови-
дать родину не составляет исключительной принадлежно-
сти характера наших ссыльных, которые, по смежности
Сибири с Европейской Россией, всегда могут надеяться
пробраться на родину; эта страсть столько же развита у
ссыльных других народов. Она-то заставляла и новогол-
ландских ссыльных пускаться в море на убогих шлюпках.
Одни эти чудовищные предприятия показывают, что люди
для этих целей никогда не щадят жизни (Blosseville, p. 112,
120, 127). Таким образом, объяснения причины побегов
ссыльных на родину надо искать в порыве страсти и чув-
ства, до того неотвратимом, что человек бессилён удержать
его. Поэтому громадное число побегов из Сибири следует
объяснять не столько невыносимыми материальными усло-
виями, сколько нравственными мотивами и неугомонной
тоской по родине, чему, конечно, еще более способствова-
ли бессрочность и безнадежность нашей ссылки. Большин-
ство побегов из Сибири совершается не каторжными, по-
ставленными в самые неблагоприятные жизненные условия,
а поселенцами, и это явление объясняется не столько теми
затруднениями, какие представляются для побегов с катор-
ги, сколько психическим состоянием каторжных и посе-
ленцев. Многие каторжные имеют еще впереди надежду
перейти на поселение; она и побуждает их переносить вре-
менные неудобства; поселенцы же, зная, что они осуждены
на вечное отдаление от родины, находятся в положении
безнадежном и, конечно, не могут примириться с ним¹. Что
именно нравственное влияние ссылки побуждает к побегу,
доказывается тем, что поселенцы гораздо более убежали,
чем каторжные, хотя последние могли прежде легко распо-
лагать этим средством. Объясняя значительную часть по-
бегов естественными нравственными побуждениями, мы
останавливаемся на вопросе, насколько подобные побег

¹ В 9 лет, с 1838 по 1846 г., поселенцев было взято в бегах 6008 чел., а каторжных 2473.

ссылных должны считаться преступлениями; мы видим, что мотив их имел много извинительного. К побегу ссыльный побуждался порывом чувства и страсти, часто даже наперекор своему убеждению и рассудку. Сама страсть, само это чувство любви к родине не были низкими и преступными и несколько не противоречили человеческой природе и социальным инстинктам. Само общество в других случаях поощряет эти инстинкты в душе человека и считает патриотизм самым благороднейшим из качеств гражданина, но оно же бывает вынуждено наказывать ссыльного за его любовь к родине. К таким ненормальным комбинациям приводило это наказание!

Но если для одних побег на родину или покушение на него были уже облегчающим средством и, так сказать, спасительным рефлексом от мучительной тоски, то для других безнадежность ссылки действовала гораздо беспощаднее. Люди по преимуществу боязливые, люди слабой воли, страшась ответственности и не имея энергии на побег, обыкновенно предавались безмолвной, затаенной тоске, которая доводила их до отчаяния, до страшной болезни *но-стальгии* (тоска по родине), конечным результатом которой бывала чахотка и смерть. Немало поселенцев в Сибири подвержено этой ужасной болезни, и они, худые, изнуренные, молчаливые и задумчивые, лежат в острожных лазаретах или безмолвно блуждают по острогу. Та же безнадежность и тоска доводили многих поселенцев до сумасшествия или самоубийства. «Сибирь представляется страной, – говорит г-н Максимов, – где самоубийство и покушения на него – явление не только нередкое, но и резко бросающееся в глаза. Оно распространено преимущественно между ссыльными, и замечательно, что оно преобладает между поселенцами более, чем между каторжными»¹. В этом случае надежда поселенца на выход из Сибири, хотя путем побега, была

¹ См. Максимов С. В. Народные несчастья и преступления. (Так же: Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. II. С. 78).

единственной искрой, поддерживавшей его жизнь, но когда, под влиянием безнадежности, потухала и эта искра, жизнь становилась ненужной и обременительной.

Действуя столь пагубно на жизнь поселенца, та же ссылка воспитывала в нем неприязненные чувства к новому обществу, в которое его втокнули насильственно. Если же он не успевал совершить побега и оставить ненавистные ему места поселения, он становился вечным антагонистом общества, в котором должен проживать против своей воли; в нем развивалась злоба к этому обществу; целую жизнь его преследовала мысль о ссылке; она отравляла его лучшие минуты; она не давала ему ни забвения, ни покоя. Сознание вечного несчастья, как сознание постоянно висящей над ним смерти, поднимало в его душе бурю протестующего чувства. И непримиримая злоба и негодование закипали в его сердце – та злоба и то негодование, которые только мог носить в своей душе несчастный Каин, чьи муки так гениально воспроизведены Байроном. Отношения такого человека к другим людям вечно были пропитаны желчью и ненавистью, а сердце его, как падшего ангела, вечно носило зависть и месть ко всему, что находится не в тех условиях, как он, и что выше его. Постоянное раздражение портит характер человека, делает его обидчивым, задорливым и мстительным. Такое настроение и расположение духа действительно нередко встречается у сибирских поселенцев, потерявших всякую надежду на освобождение. Отсутствие привязанности к новой стране и непримиримость с окружающей обстановкой составляют отличительный признак таких ссыльных. Они клянут Сибирь, осыпают сибиряков насмешками и ругательствами: «Сибирь проклятая, немшоная», сибиряки «желторотые», «азиаты»; они «слепые родятся», они «чалдоны и неотесы»; сибиряков должно учить, т. е. «панкрутить», их «можно обирать и обдывать при всяком случае». На всякое возражение, на всякое про-

тиворечие поселенцы отвечают одно: «разве мы виноваты, что нас сюда сослали». Привычка вымещать собственное несчастье и унижение на других, свойственная рабам вообще, с особенной яркостью отразилась на поселенцах¹. Возбуждая такие чувства, ссылка, конечно, не могла влиять нравственно на поселенцев. Человек, пренебрегавший новым обществом и общественными отношениями, естественно, не мог быть благонадежным, а недовольство и вражда его внушали только опасение. Отсюда деморализующее значение ссылки на поселенца. Здесь мы выводим его путем одного психического анализа и общих наблюдений; впоследствии же представим более реальные доказательства этому в отчете о преступлениях поселенцев в Сибири, основанном на точных статистических данных. Анализируя мотивы преступлений ссыльных, мы видим, что в совершении их значительную роль играло то раздражающее и вредное нравственное влияние, которого нельзя устранить никакими улучшениями, так как оно составляет сущность самого наказания. Безнадежное положение ссыльного при бессрочности ссылки будет всегда производить на него деморализующее влияние, порождая в его душе злобу, вражду ко всему окружающему и разрыв с обществом. Кроме этой общей причины деморализации ссыльных, много других частных причин способствовало ее усилению. Праздная жизнь в пересыльных острогах, в сообществе преступников, выдавших всякие виды, их рассказы о разных ловких мошеннических проделках, обучение всяким тюремным художествам, конечно, не могли не оказывать развращающего влияния на людей, поставленных бессрочностью ссылки в безнадежное положение. Побывав в такой школе на длинном пути от Петербурга до Нерчинска, ссыльный естественно натурализовался в каторжной среде и выносил опыт и смелый дух закален-

¹ Пусть читатель припомнит психический анализ этого чувства в критиках Добролюбова о героях Темного Царства.

ного преступника, и это влияние пересыльного острога отражалось на целой жизни поселенца. Но вот он пришел на место поселения; его встречает необеспеченность и нищета; он клянет свою судьбу, клянет страну, куда привело его наказание, и – бежит. Бродяжеская жизнь в лесах, одиночество, неприютность и те неудобные способы, какими ему приходилось снискивать пропитание во время побега, окончательно воспитывают в нем привычку к нищенству, а иногда и преступлению. Бродяге трудно добыть пропитание иначе, как воровством; сибиряк знает это и подстерегает вора. Отсюда борьба, преследование, которые доводили иногда бродягу почти до зверства, и он обращался в жестокого ненавистника туземных жителей. Он ходил по Сибири с ножом в рукаве, и если на него нападали, дорого продавал свою жизнь. Убивая других, он сам умирал, как дикий лесной зверь. Нередко такие люди, под влиянием преследований, не щадили уже ничего и, добившись родины, в дикой ярости кидались там на отчаянные разбои. Страшная драма должна была разыгаться в душе человека, когда, стремясь облобызать родную землю, он приносил ей только пожар и преступление. Несчастный и гонимый преступник умирал, выбившись из сил в кровавой борьбе; но прежде, чем умереть, он, как Альманзор, заражал чумой преступлений окружающее его общество. Другого конца и не могла иметь старая беспощадная ссылка!

Но тогда как недостатки прежней ссылки как наказания оказывали столь тяжкие и фатальные последствия на одну часть ссылаемых, – для другой их части ссылка была гораздо легче, но зато в то же время оставалась и без всякого нравственного на них влияния. Чувство привязанности к известной местности, к какой-нибудь среде, к обществу и к месту своей родины не у всех одинаково; поэтому на иных ссылка не производит никакого впечатления, так что не может даже считаться наказанием. Наблюдая различные личности из ссыльных, мы находили, что ссыл-

ка тяжелее всего действует на людей оседлых, особенно на крестьян-земледельцев, привязанных необыкновенно к своей земле и обществу, но ее действие было слабее на городских жителей и людей, привыкших перемещать места. Ее влияние на людей бывает также различно, смотря по различию уровня их нравственности: какому-нибудь городскому мошеннику, столичному карманнику и мазурику перемена места немного значит: у него нет никаких привязанностей. Ежели он в первое время почувствует страх пред ссылкой, то, узнавши, что ему придется жить среди гражданского общества и даже в сибирских городах, он скоро совершенно успокаивается. Вообще извилистая натура плута всегда скорее примиряется и находит свои выходы и в ссылке. У людей крайне испорченных, преступных, в особенности же у побывавших в ссылке, сформировалась пословица: «Дальше солнца не сошлют, а Сибирь-то мы видали»; напротив, человек, попавший случайно на дорогу преступления по какому-нибудь несчастью, какой-нибудь мирный гражданин чувствует тяжесть ссылки глубоко. Точно так же ссылка различно действует на людей, стоящих на разных степенях образования, усвоивших разные привычки и разные воззрения. На крестьян она тяжелее действует, устрашает их потому, что их кругозор узок, замкнут, — о других местностях они и понятия не имеют; но человек образованный скорее примиряется с переменой места. Особенно служащее сословие, которое постоянно перемещает место и не имеет прочной привязанности к какому-нибудь месту, всего менее страдает в ссылке. Точно так же на человека легкомысленного, испорченного ссылка не произведет никакого действия; самые деморализованные личности, если они своей профессией обогатились, нажили состояние, едва ли чувствуют какую-либо тяжесть ссылки; напротив того, разные аферисты и казнокрады, явившись в сибирские города, пользуются здесь комфортом, задают шику и корчат

даже аристократов: для таких вредных большого полета ссылка, конечно, ничего не значит.

Таким образом, наказание ссылкой может производить на разных людей до бесконечности разнообразные впечатления и потому оказывается не для всех равномерным. Об этом уже заявлял Бентам при рассмотрении английской ссылки. «Ссылка, – говорит Бентам, – требует особенного внимания к обстоятельствам, оказывающим влияние на чувствительность индивидуумов: изгнание было бы наказанием в высшей степени неравным, если бы оно применялось без разбора. Все зависит от житейского положения и степени достатка. Один не имеет никаких причин питать привязанность к своей стране; другие были бы в отчаянии покинуть свою собственность и жилище. У одних есть семейство, другие свободны. Один потерял бы все свои средства; другой ушел бы от кредиторов. Возраст и пол также делают в этом отношении большую разницу. Поэтому необходимо предоставить судье много простора и ограничиться только общими указаниями». «Англичане имели обыкновение ссылать многочисленный класс преступников в колонии. Эта ссылка для одних была рабством, для других *partie de plaisir*. Негодяй, которому хотелось путешествовать, был бы глуп, если бы для возможности переезда не совершил какого-нибудь преступления. Наиболее трудолюбивые устраивались в этих новых странах; те, кто умел только воровать, не имея возможности пользоваться своим искусством в стране, которой карта ему была неизвестна, возвращались скоро назад, чтобы идти на виселицу. Когда они раз были осуждены и сосланы, их участь была неизвестна; погибли ли они от болезни и бедности, до этого никому не было дела. Таким образом, для примерности наказания терялось все; главная цель была совершенно пренебрежена». «Употребительная теперь ссылка в Ботани-бей достигает цели не лучше этого: она имеет все недостатки наказания и ни одного из тех

качеств, какие должна бы иметь. Если бы, предлагая человеку устроиться на житье в отдаленной стране, прибавили, что надо заслужить это преступлением, – какая бы это была нелепость!.. Между тем ссылка умам многих несчастных должна представляться только выгодным предложением, которым воспользоваться они могут именно только через преступление...»¹. Отсюда видно, что Бентам решительно не признавал морализующего влияния за наказанием ссылкой.

Таким образом, недостатки ссылки давно обнаружались, и Англия первая, обратив внимание на последствия этого наказания, пришла решительно к новым по этому вопросу соображениям. Опыт английской ссылки привел к следующим выводам: 1) ссылка в колонию преступников ставила их часто в самую неблагоприятную обстановку, а при отсутствии труда и занятий еще более деморализовала ссыльных и порождала между ними преступления; 2) принудительные каторжные работы, как и предварительное одиночное заключение, нисколько не исправляя преступника, только ожесточали его; 3) сама по себе ссылка как наказание не имела никакого значения без других исправительных средств, как, например, без обучения и покровительства труду ссыльного в колонии; 4) *вечная ссылка* как колонизационное средство не должна иметь места в среде исправительных наказаний, которые требуют определенных сроков и возвращения на родину присуждаемого.

Однако ж эти выводы, явившиеся результатом опыта и точного изучения ссылки, по-видимому, не оказали никакого влияния на теоретиков-криминалистов консервативного закала, и они по-прежнему «во имя целей безопасности и во имя колонизационных видов» продолжают отстаивать вечность ссылки и другие любезные им убеждения. Они примирились только с одним нововведением – с предвари-

¹ Бентам И. Основные начала уголовного кодекса // Бентам И. Избранные сочинения. СПб., 1867. Ч. III «О наказаниях». С. 566–567.

тельным исправительным заключением в тюрьмах ссыльных преступников¹. Вслед за западными криминалистами реформа ссылки у нас в России проектировалась подобным же образом. Покойный Пассек, изучавший на Западе системы наказаний, говорил, что «недостаточно сослать арестанта в ссылку, так как там он будет таким же врагом общества, каким был и на прежнем месте, и вместо того, чтобы способствовать колонизации страны, будет в ней бродяжничать, грабить и только тяготить собой правительство и край», и потому предлагал как спасительную меру «устроить предварительное заключение преступников пред ссылкой в долгосрочных тюрьмах, имеющих целью исправление, по ирландской системе». Пассек предлагал применить у нас эту систему в неуместно широких размерах. В то время, когда в Англии и Ирландии ссылке после заключения подвергаются только одни неисправимые преступники, в России, по проекту Пассека, ссылке с предварительным заключением должны подлежать *«все приговариваемые на поселение и каторгу»*, хотя бы они оказались вполне благонадежными после заключения². Таким образом, по проекту Пассека, предварительное заключение только удваивало и усиливало тяжесть нашей ссылки как наказания, что, конечно, противоречит здравому смыслу и справедливости: самая ссылка для освобождающихся преступников, и притом вечная, как-будто не считается даже наказанием. Проект Пассека не касается изменения прежних условий ссылки и ее срочности, что вызывалось потребностью времени как для соблюдения юридической справедливости в степенях наказания, так и для исправительного значения ссылки, ибо в ее вечности и безнадежности лежал главный корень зла и деморализации. Такой

¹ См. по этому поводу проекты ссылки Гольцендорфа, Бомона и Токвиля, Алозе, Лепелетье и Блоссвиля (Hist. de Colon. Pen. Paris, 1859. P. 356, 543, 539).

² Проект Пассека. *Галкин-Враской М. Н.* Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868. С. 164, 166.

легкий взгляд на переселение личности и даже доказательства благотворного влияния *бессрочной ссылки* встречаются постоянно у юристов-теоретиков. Один из авторитетных русских юристов, издавший учебник уголовного права, говорит, например, что «*ссылка исправительна*, потому что вдали за ссылкой виднеется поселение, блистает надежда получить кусок земли и устроить безбедное существование; эта цель может быть достигнута только *множеством лишений*, испытаний, в борьбе с которыми характер преступника закаляется к добру» (sic!). «Наконец, – продолжает автор, – хотя *устрашение есть цель второстепенная в наказании*, нельзя, однако, не признать, что, между прочим, она весьма примерна не столько по принуждению к работам, которые ей обыкновенно сопутствуют, сколько по впечатлению, которое производит вечность или продолжительность разлуки ссылаемого с обществом» (см. «Учебник уголовного права» Спасовича, ч. 1, с. 274). При всем уважении к нашему почтенному юристу, мы должны заметить, что доводы его слишком теоретичны и гадательны и противны практике ссылки. Если ненормальные условия жизни и лишения заставляют делать преступления в обществе, то понятно, что ссыльный, испытывающий еще большие лишения и затруднения, будет иметь уж никак не меньше побуждений к преступлению. Если ссыльного с целью исправления может поддержать только одна надежда когда-нибудь снова получить освобождение, в чем согласен и г-н Спасович (104), то понятно, что *безнадежность* вечной ссылки доведет его до полного раздражения и непримиримости. И подобными-то крайне шаткими теоретическими доводами доказывалась до сих пор благотворность ссылки и даже ее *гуманное значение!* Почему ссылка считается особенно гуманным и легким средством наказания – это трудно понять. Вероятно потому, что образованные теоретики плохо понимают чувства, внушаемые разлукой с родиной, или не предполагают их в неразвитом

человеке. В самом деле, неужели лишение родины и вечное изгнание могут легко переноситься человеком, когда история обществ показывает, как часто и легко этот же человек отдает свою жизнь и борется насмерть за клочок родной земли? Неужели ностальгия, поражающая сотни поселенцев, – вымышленная болезнь, и неужели побег из Сибири тысячами, несмотря на страшные наказания, которые они влекут за собой, делаются ссыльными только из прихоти?! Дело в том, что способность легко переносить ссылку теоретики меряют способностью свободного человека переселиться на новые места; но свободный колонист переходит на новое место добровольно, имея в виду личные для себя выгоды от переселения и устройство своего благосостояния. Вольные поселенцы – это по большей части самый предприимчивый и энергичный элемент народонаселения, но и они с грустью, со слезами оставляют родные места; ссыльные же находятся в несравненно менее благоприятных условиях, чем вольные колонисты: в новые места поселения они отправляются насильственно, идут без цели, нередко с загадочной тоской, с ужасом встретить земной ад на месте ссылки. Она для них так тяжела, она возбуждает в них такое чувство отчаяния и безнадежности, что очень многие из них согласились бы вытерпеть 5–6-летнее и даже большее тюремное заключение, лишь бы не идти на вечное поселение в другую страну. Об этом откровенно говорят почти все ссыльные. Не один изгнанник Берне желал лучше умереть в тюрьме на родине, чем переносить изгнание даже в Париже. Многие из русских арестантов берут часто тяжкую и позорную роль палачей в родных острогах, чтобы не идти в сибирскую каторгу, а остаться на родине. В этом случае мнение, что ссылка гуманнее тюрьмы, неверно. Из тюрьмы есть еще возврат, есть еще надежда увидеть родные места и среду, а в ссылке люди испытывают мучения, которые так же тяжелы, как страдания грешников в дантовском аду, «где люди без надежд желанием живут».

Таким образом, ссылка является такой же карательной и жестокой мерой, как и все самые тяжкие наказания: она осуждает человека на сами мучительные страдания.

Служа тяжким средством наказания, ссылка при таких условиях не могла осуществить своего исправительного назначения. Призвание ссылки не осуществилось в ее идеале ни у нас, ни за границей, где мнения о ней разделялись всегда на два лагеря, причем лучшие и благороднейшие мыслители и психологи нашего века постоянно высказывались против нее¹. Представители тюремной реформы в Англии в последнее время не придавали уже более никакого значения ссылке, а обратились к вопросу о средствах перевоспитания преступника в исправительных заведениях и об обеспечении выпускаемых на свободу при помощи покровительства их труду. Ссылка потеряла поэтому свой кредит, а лучшие юристы – одни, как Гольцендорф, склоняются в пользу ирландской системы, а другие находят лучшую замену наказаний в земледельческих колониях наподобие французских колоний для молодых преступников. Подобные земледельческие фермы и ремесленные артели должны быть устроены исключительно с целью исправления преступников, в местах ненаселенных и безопасных для общества. Сама система должна состоять в постепенном приучении к труду и рациональной жизни в среде общины. Артельный труд, добрые нравственные влияния и умственное развитие должны быть положены в основу такой системы. Конечно, пребывание в исправительной ассоциации должно быть срочным и ограниченным «условными отпусками» не только на свободу, но и на родину, где освобожденная личность получит новую поддержку и покровительство своему

¹ Противниками ссылки являются в Англии Беккариа, Бентам, Ромили, Банистер, Лорд Кэмбл, Грей; во Франции Беранже, Шарль Люка, Шови. Особенно горячо выступили против нее дублинский архиепископ Уатлэй в «Notices on transportation» и полковник Джеб. Лучшие художники-психологи, как Жорж Занд, Виктор Гюго и Диккенс не раз выставляли трагическую сторону ссылки.

труду в патронажных обществах. Такова лучшая форма исправления, к которой должно придти современное наказание. Без сомнения, за этой формой будет еще новый фазис, когда, может быть, останется одно нравственное влияние среды и развитие личности.

Рассматривая таким образом все исторические метаморфозы наказания в прошедшем и охватывая взором, насколько возможно, горизонт его будущего, мы видим, что системы карания все более уступают место системам исправления, которые должны перейти еще в более гуманные системы нравственного перевоспитания. Таким образом, опыт, наука, справедливость и сам ход человеческого прогресса – все убеждает нас, что ссылка в ее старом карательном-колониальном значении должна иметь всего менее места в среде современных наказаний и, потерпевши немало крушений на практике, должна рушиться и в теории.

IV.

Преступления ссыльных в России и Сибири

Между всеми другими целями ссылка всегда имела в виду обезопасить общество от преступников путем их высылки в отдаленную местность. «Почти везде, – говорит г-н Спасович, – начало ссылке дано было желанием освободиться от негодяев» (105). Все государства при введении штрафной колонизации имели эту практическую задачу. Так как наша ссылка с самого древнего времени также имела в виду выселить дурные, преступные и подозрительные элементы, чтобы избавиться от рецидивных преступлений, то любопытно взглянуть, вполне ли содействовала наша ссылка целям общественной безопасности и какова на практике эта предупредительная мера. Опыт доказывает, что назначенные ссылки далеко не было достигнуто вполне, само геогра-

фическое положение страны, куда двигалась наша ссылка, не предоставляло особых ручательств в том, что удаляемый из общества снова не появится назад; не было тех физических и непреодолимых препятствий, которые бы не допускали ссыльного проникнуть и появиться снова в России; поэтому ссылка наша далеко не представляла тех удобств и той безопасности, как ссылка английская или французская, переносившая преступников за океан. Наша ссылка всегда находилась в смежности со свободным населением, и это порождало некоторые серьезные неудобства. Неудобства эти уже давно замечались, и нельзя сказать, чтобы против возврата и побегов ссыльных, равно как и для предупреждения их преступлений, не принималось мер. Мы указывали, какие тяжкие наказания угрожали ссыльному за возвращение и особенно за перевал через Урал: они состоят и до сих пор и в наказании телесном, и в удвоении каторжных сроков. Кроме того, правительство с самого древнего времени старалось отметить ссыльного особенным клеймом. При Алексее Михайловиче ссыльным приказано было отсекать мизинец левой руки¹; по другому указу видно, что вора секли два пальца. В 1679 г. Федор запрещает рубить пальцы, а приказывает ссылать не уродуя, но в 1683 г. мы находим разъяснение указа, по которому приказано вместо пальцев резать уши². В XVIII столетии для предупреждения побегов рвали у каторжных ноздри, за что их в Сибири прозвали «хран-майорами». Этой участи подвергались даже привилегированные лица. До 1863 г. ссыльным клали клейма на руках и спине; арестантов, для предупреждения побегов из партии, брили по острогам и подбрасывали на полэтапах (указ 14 июля 1825 г.); кроме того, их сопровождали в железгах, на цепях и проч. Все подобные предупредительные меры, как и суровые наказания, далеко, однако, не могли предупредить ни побегов ссыльных, ни преступле-

¹ ПСЗ. Т. I. № 105.

² Там же. Т. II. № 772, 970.

ний их. Ссылный, освобожденный в Сибири, продолжал всегда стремиться за Урал и легко достигал России, а рецидивные преступления ссылных развивались постоянно как под влиянием прежних условий дурно организованной ссылки, так и вследствие испорченности разных преступников. Развитие бродяжества и вторичных преступлений ссылных в настоящее время не составляет неизвестного факта: это явление давно отмечалось, заносилось и описывалось различными исследователями, путешественниками и этнографами¹. Представляя очерки ссылки со всеми ее последствиями, мы не можем поэтому не коснуться и проявления вторичных, рецидивных преступлений ссылных в России и Сибири, как и их побегов. Представивши ранее этнографические очерки быта ссылных, в которых мы уже коснулись этих явлений, теперь мы постараемся проследить и формулировать их согласно определенным данным уголовной статистики, дающей в последнее время некоторые указания по этому поводу.

Ссылка с ее прежними неудобствами отражалась у нас довольно чувствительно. Возвращение ссылных, их побег и преступления отзывались не в одной Сибири: вред, приносимый ими, чувствовала и Россия. Какими массами ссылнопоселенцы пробирались в Россию и проникали в центральные губернии, показывает цифра ссылнопоселенцев и беглокаторжных, возвращенных назад в Сибирь после их побегов, через тобольский приказ о ссылных. В 20 лет, с 1827 по 1846 г., их пришло 18 328 человек². Цифра эта, как можно заключить по другим данным, едва ли уменьшалась и впоследствии. Такое возвращение беглых

¹ Об этом писали П. Небольсин, Дм. Завалишин, Грицко и, наконец, сделаны значительные исследования о ссылке и побегах г-ном Максимовым. См. Сибирь и каторга. Ч. I–III. 1871 г. (*Небольсин П.* Заметки на пути из Петербурга в Барнаул. СПб., 1850; *Завалишин Д.* Письма о Сибири // Московские ведомости. 1864. № 217, 232, 265, 276, 1865. № 42, 46; *Грицко* (Г. З. Елисеев). Уголовные преступники // Современник. 1860. № 1. С. 259–320).

² *Анучин Е. Н.* Указ. соч. С. 25.

преступников из Сибири в Россию, конечно, не могло не отражаться самым опасным и неблагоприятным образом на русском обществе и его безопасности. Каким образом возвращение ссыльных влияло на различные губернии России – для этого стоит обратиться только к обзору преступлений по губерниям, в связи с распространением ссыльного бродяжества.

Рассматривая историческое распределение преступлений в российских провинциях, мы находим, что на первом плане стоят по величине преступлений две губернии – Пермская и Оренбургская. Так, из первой за уголовные преступления в течение 20 лет сослано 11893, из второй 8307 человек. Из Пермской губернии, число жителей которой только в шесть раз превышает цифру Олонецкой губернии, сослано в 51 раз более преступников; на эту губернию из общего числа сосланных приходится столько же, сколько на 12 других губерний, общее население которых только вчетверо больше населения Пермской губернии. Также, если брать в расчет роды преступлений, то и тут Пермская губерния занимает первое место в ряду самых тяжких преступлений; за ней следуют другие восточные губернии: так, по числу осужденных за воровство, Пермская губерния превосходит остальные, а за ней следует Казанская. По числу осужденных за грабежи и разбои Пермская губерния занимает второе место после Бессарабии, а за Пермской следует опять Казанская; по числу сосланных за убийство Пермская губерния снова играет первостепенную роль из всех губерний, а за ней следует Оренбургская. Насколько более развито здесь это преступление сравнительно с другими местностями, можно судить по тому, что из трех остзейских губерний, почти равных числом населения с Пермской губернией, сослано за убийство 136 мужчин, а из этой губернии 538 мужчин, т. е. вчетверо более (Анучин. С. 164). Развитие здесь преступлений обуславливается преимущественно перед прочими причинами необыкновенно рас-

пространенным бродяжеством беглых ссыльных. Число высланных обратно из Оренбургской и Пермской губерний в Сибирь беглых поселенцев превышало число таких же, высланных из всех губерний России, взятых вместе. В течение 20 лет из Пермской и Оренбургской губерний отправлено обратно в Сибирь 6827, а из всех остальных губерний 4769. Кроме того, за исключением бежавших из Сибири, взято в Пермской губернии 3000 бродяг, тогда как в Олонецкой в течение этого времени взято только 41, т. е. в 70 раз менее. Происхождение этих бродяг, которые скрыли свое звание во время следственного процесса, в большинстве случаев принадлежит ссыльному элементу, так как беглые из Сибири обыкновенно показывают себя *непомнящими родства*. Таким образом, Пермская и Оренбургская губернии более всех других губерний Европейской России несли на себе все неудобства и бедствия от беглых, возвращавшихся из Сибири. Подобной же напасти, хотя и в меньшей степени, подвергались губернии приуральские и восточные – Казанская, Вятская и Симбирская¹. В связи с бродяжеством замечается и особенное распространение преступлений к востоку и уменьшение их к северу и западу (Анучин. С. 178–188). Конечно, беглые проникали и в другие губернии Европейской России, так как конечной целью побега было возвращение на родину, но немногим удавалось достигнуть родных мест, и большую часть из них ловили в восточных губерниях. Из таблицы, приводимой г-ном Анучиным по отчетам приказа о ссыльных, видно, что беглые ссыльные являются во всех 48 губерниях России; самый меньший процент их в Лифляндской и Эстляндской губерниях, затем больший в средних и южных, преобладающий в восточных (106). Ссыльно-каторжные поселенцы появляются в С.-Петербурге и Москве, точно

¹ По проценту судимых за побеги из Сибири русские губернии распределяются таким образом: Пермская губерния дает 0,01513, Оренбургская 0,00675, Казанская 0,00159, Симбирская 0,00152, Вятская 0,00150; затем следуют другие губернии, дающие меньший процент (Анучин Е. Указ. соч. С. 188).

так же, как в Одессе и Бессарабии. По Уральскому хребту, по реке Уралу и степями они пробираются к югу до Астрахани. Через Пермскую и Вятскую губернии с Пелыма на Чердынь, а иногда и северным путем через печорские леса проходят они в губернию Архангельскую. Бывали примеры, что беглые ссыльные из Туруханского края с Енисея прокладывали дорогу на Обь в Березовский край и потом пустынями севера проходили в печорские скиты. Точно так же они смело перерезывали всю Россию и появлялись в западных губерниях и в Польше. Таким образом, бродяжество проникало самой причудливой сетью дорог и опутывало всю Россию. При географическом распределении ссыльного бродячества, из статистической таблицы о пойманных ссыльных в разных губерниях России мы видим, что особенный приют и удобства доставляли им губернии малонаселенные, изобильные лесами и пустырями, как губернии Саратовская, Екатеринославская, Таврическая, Херсонская, земля войска Донского. Кроме этих губерний, дающих возможность легче скрыться, беглые ссыльные искали убежища также в многолюдных торговых центрах, где легко было затеряться в толпе и найти удобный тайный приют. Такими местами для беглых ссыльных служили губернии – Нижегородская, Московская и Петербургская¹. Беглые ссыльные путем опыта научались пользоваться разнообразными условиями; они умели пристраиваться как в лесах и пустынях восточных и новороссийских губерний, так и скрываться в воровских притонах и глухих кварталах Петербурга и Москвы. Конечно, везде они давали контингент преступников, и их сообщество не всегда обходилось дешево городам и деревням, избранным ими для поселения. В Европейской России, по сравнительным наблюдени-

¹ Таблица, определяющая процент беглых из Сибири, показывает, что в Саратовской губернии он равнялся 0,00068, в Екатеринославской 0,00083, в Херсонской 0,00079, в земле войска Донского 0,00064. Затем в многолюдных губерниях: в Нижегородской 0,00103, в Московской 0,00071, в Петербургской 0,00055 (Таблицы в: *Анучин Е.* Указ. соч. С. 188).

ям, бродяжество всегда имело более опасный характер, чем в самой Сибири, где цифра бродяг несравненно значительнее. В России оно служило, так сказать, острым проявлением той же болезни, которая в Сибири проникала весь организм, но действует с особенным характером. Бродяжество в Европейской России находится совершенно в других условиях, чем в Сибири; в Сибири, при многочисленности бродяг, на них давно уже не обращают внимания и никогда почти не ловят их во время пути по деревням; значительная часть их поэтому идет мирно по дорогам, не скрывая своего происхождения, прося милостыню и только в крайности прибегая к кражам. В Европейской России, даже в Пермской губернии, по словам самих бродяг, уже не так легко путешествовать; перейдя Урал, они прежде всего должны сбросить с себя бродяжеские отрепья, в которых они свободно расхаживали по Сибири, и добыть более приличное платье; им приходится запасаться деньгами, фальшивым паспортом, а все эти блага можно приобрести разве только кражей или грабежом. Тип скромного, мирного бродяги, столь часто встречающийся в Сибири, в Европейской России встречается как редкое исключение. С переходом сибирской границы беглый должен быть постоянно настороже: полицейские власти в Европейской России бдительнее, чем в Сибири, и относятся к бродягам несравненно беспощаднее. В Европейской России беглые пробираются ползком, тайком, стараясь избегать деревень; но есть все-таки надо, а запасами съестного они небогаты; поэтому волею-неволей они забираются ночью в деревни и воруют там съестные припасы, а в крайних случаях даже грабят. Опасность преследования и тяжкая ответственность за переход границы, грозящая беглому, делают его озлобленным, страшным и готовым на свою защиту до последней крайности. Упорство, с каким он старается достигнуть своей родины, вступив раз на почву Европейской России, делает его совершенно непреклонным и готовым на самую оже-

сточенную борьбу. Таким образом, вынужденное воровство, иногда даже грабеж и убийство, из-за личной защиты и во имя своей безопасности, постоянно следуют по пути подобных беглых ссыльных. Подобный характер бродяжество принимает отчасти уже в Тобольской губернии, так как здесь ссыльные запасаются средствами, чтобы перевалить Урал, и затем в самой высшей степени обнаруживаются в Пермской губернии. Мы указали, что ни одна губерния, за исключением разве Тобольской и вообще сибирских губерний, не дает такого числа осужденных за воровство, грабежи, убийство и разбои, как Пермская, причем большая часть осужденных принадлежит к разряду беглых ссыльных. Превосходный образчик подобных беглых представляет разбойник Коренев, биография которого приведена г-ном Максимовым. Побег и затем опасности, сопряженные с его скитаниями по Пермской губернии, вывели этого, сначала несчастного, мальчика-бродягу на дорогу разбоя: его судили за 18 убийств. Подобных разбойников у нас было немало, и они долго живут в народной памяти: по всему Поволжью и в северо-восточных губерниях можно услышать рассказы об ужасных подвигах таких разбойников, как Быков и Чайкин. Типы русских фра-дьяволов, очерченные г-ном Соколовским по народным преданиям и следственным делам, представляют грозные черты этих беглокаторжных, успевших убежать из Сибири в губернии Европейской России. Разбирая кровавую деятельность ружавиных, латышевых, зяблицыных, кореневых, чайкиных, убеждаешься, что это были люди ожесточенные и озлобленные сибирской каторгой, перенесшие сами страшные наказания и потому уже нечувствительные к боли, – люди, преследуемые на родной почве, не имеющие уже иного приюта, кроме каторги, иного куска хлеба, кроме взятого с боя, иного будущего, кроме плети. Сибирская каторга и поселение воспитывали подобных людей и насылали их на Европейскую Россию, и нередко бывало, что осужден-

ный за незначительное преступление, пробыв некоторое время в Сибири, возвращался снова в Европейскую Россию и здесь проявлял свою деятельность тяжкими преступлениями. Ни система препровождения арестантов, ни строгие полицейские меры против бродяжества, ни ужасные наказания за побег, при неудачном выборе ссыльной колонии не могли гарантировать безопасность общества Европейской России от возвращения беглых ссыльнокаторжных. В течение 20 лет их возвратилось назад в Европейскую Россию более 18 000 человек, и, наверное, большая половина снова была осуждена в Сибирь за воровство, грабежи, разбой и поджоги.

Сопровождаясь невыгодными результатами для губерний Европейской России, ссылка тем серьезнее должна была отразиться на гражданской жизни Сибири.

Начало ссылке в Сибирь положено было вскоре после приобретения этой новой колонии за Уралом, когда Сибирь уже имела некоторую гражданственность и население. Впоследствии, хотя для ссылки и назначались места малонаселенные, как Забайкалье, Охотск, побережья Лены, Бараба, но в строгом смысле ссыльные никогда не отделялись от местных жителей; система селить ссыльных отдельными деревнями не привилась в Сибири. Уже в прошлом столетии Сибирь наполнялась ссыльными без разбора во всех своих местностях; Устав о ссыльных 1822 г. назначал для ссыльных все губернии Сибири; число ссыльных за уголовные преступления с каждым годом прибывало, и их поселяли во всех местностях Сибири между оседлым туземным населением, и никаких границ для отделения ссыльных от свободного гражданского общества не существовало. Ссылка потеряла свое назначение – изолировать преступника от общества с целью ограждения его от преступлений; цель эта при громадном наплыве ссыльных ускользнула из виду, как в высших законодательных сферах, так и в местной сибирской администрации. Перенесенная в среду граждан-

ского общества в сибирских провинциях, ссылка утратила свое главное назначение – избавлять общество от вредных его членов, – и все дурные условия, все неудобства ссылки и все болезненные симптомы ее пали тяжелым бременем на само общество. Прежде всего, между ссыльнопоселенцами в Сибири развилось в поразительной степени бродяжество. С самого начала ссылки в Сибирь она породила уже «*утелцецов*» из партий и мест поселения, которые блуждали толпами по Сибири; уже Лаба в 1802 г., а Сперанский в 1822 г. в своих отчетах заявляли, что большинство ссыльных блуждает без всякого дела и занятий по Сибири. По мере увеличения числа ссыльных толпы бродячего населения все более усиливались, и, наконец, из них организовалось целое подвижное население в Сибири, которое равнялось более чем половине всей массы высланных. Ловимые и возвращаемые в остроги местными властями, эти бродяги распределялись на заводы, но снова уходили в бродяжество; побеги населения с заводов в бродяжество и ссылка их обратно на заводы для того, чтобы снова выпустить их с этих заводов, составляли вечный круговорот ссылки. Против этого *perpetuum mobile* бродяжества были бессильны самые энергичные меры местного населения и самих властей¹. Скоро это явление стало считаться необходимым последствием ссылки, и к нему привыкли; сибирская администрация стремилась только удерживать напор ссыльных бродяг за границы Сибири и старалась ловить их в Тобольской губернии. «Пусть бегают, – говорили старые сибирские администраторы, в лице одного из начальников Западной Сибири, – все же они далее Урала не уйдут». Такой взгляд показывает, что Сибирь прежде считалась обширной тюрьмой от Урала до Саянов, где ссыльные могли располагать собой свободно, под одним условием – не переваливать Урал. Столь ненормальное явление должно было породить самые неблагоприят-

¹ Известно, что в половине прошлого столетия по всей Сибири разъезжали драгунские команды для поимки ссыльных.

ные результаты. Мы видим, что бродяги издавна ложились страшной тяжестью на местное население, и хотя формы бродяжества изменялись и само оно перешло из грозного в более мирное, тем не менее последствия его были одинаково вредны. Правда, наружный скромный характер современного бродяжества по Сибири многих вводил в заблуждение и заставлял предполагать в нем совершенную безвредность; но на деле оно представляло иной вид. Даже если бы единственным средством пропитания бродяг было нищенство, то и тогда скопление и передвижение от 30 до 40000 человек по Сибири бродячего и тунеядствующего населения не может считаться выгодным и безвредным; но бродяжество по Сибири далеко не было такого мирного характера: оно постоянно изобиловало преступлениями. В одном из очерков¹ мы представили профессии бродяг в Сибири; теперь мы обратимся к положительным данным уголовной статистики, которая нам укажет яснее влияние ссылки и бродяжества. Уголовная статистика Сибири в этом отношении представляет далеко не отрадную картину сибирской жизни. Тобольская губерния по числу бродяг далеко превосходит Пермскую, отличающуюся наибольшим скоплением ссыльных бродяг, чем все остальные губернии Европейской России. За 9 лет в Тобольской губернии было взято 2314 м. и 239 ж. беглых, а в Пермской только 910 м. и 45 ж.; остальные губернии Сибири точно так же не уступают Тобольской; поэтому по числу беглых каждая сибирская губерния превышает более чем в *два с половиной* раза Пермскую. Кроме того, принимая в соображение, что в 9 лет было взято в бегах до 8481 каторжных и поселенцев и что в это число не входят до 17 000 не помнящих родства бродяг и 3000 беглых арестантов, из которых значительная часть ссыльных, – мы поймем, что цифра от 30 до 40 000, принятая нами для блуждающих бродяг по Сибири, вовсе не преувеличена. Сравнивая это число с числом взятых бро-

¹ См. «Ссылное бродячее население Сибири».

дяг и высланных в два десятилетия из всей России, мы найдем, что в Сибири, при ее ничтожном населении, бродяг и беглых было гораздо более, чем в Европейской России, населенной 65 000 000¹. Многие из бродяг взяты после совершения нового преступления. По таблице о преступлениях бродяг за 9 лет, приводимой г-ном Максимовым из официальных отчетов, видно, что из 17 316 арестованных бродяг, совершивших новое преступление, было 1276, т. е. один из тринадцати. Эти преступления были: воровство (520 случ.), грабежи и разбои (51 случ.), подделка ассигнаций и монеты (40 случ.), возмущение против властей (13) и т. д.². Конечно, и из остальных бродяг многие совершали преступления, но не были в них уличены. Огромной численности бродяг в Сибири надо приписать и то обстоятельство, что количеством преступлений сибирские губернии превосходят все остальные русские губернии, даже Пермскую. Сибирское бродяжество, стройно организованное, тесно сплотившееся, держало в вечном страхе сельское население, принужденное нередко дорого расплачиваться с бродягами, преимущественно за то, что иногда помогало ловить их: бродяги из мести выжигали селения.

Но не одни бродяги, часто вынуждаемые нуждой и голодом к преступлению, способствовали увеличению цифры преступлений в Сибири. Бродяжество было только одним из результатов ссылки. Если бродяги протестовали против ссылки своим вечным скитанием и его последствием — преступлением, то и вообще ссыльнопоселенцы, живущие оседло, не отличались развитием нравственных качеств,

¹ Из Европейской России в 20 лет выслано бродяг, считая и 18 000 беглых из Сибири, — 66 894 чел.; Сибирь в 20 лет дает 80 000 беглых, т. е. число всех высланных в Сибирь бродяг с добавлением беглых преступников с заводов.

² В течение 9 лет, с 1838 по 1847 г., поселенцев осуждено было в Сибири, по отчету г-на Максимова, 6829 м. и 301 ж., между тем как бродяг осуждено за преступления 14861 м. и 3785 ж. Каторжные отличались преступлениями еще более; несмотря на то, что их в 6 раз менее, их осуждено в те же года 2689 м. и 30 ж. (Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. I. С. 316 примеч).

и совершали в Сибири, на месте ссылки, те же преступления, за которые были сосланы; их деятельность часто переносилась только из одной местности в другую; в новой местности они находили тот же материал и то же поле для преступлений. Представляя за 10 лет цифру опасных преступников, сосланных в одни нерчинские заводы, г-н Максимов восклицает: «...в этой цифре достаточно грозной, враждебной и опасной силы для туземного населения, имеющего несчастье жить в соседстве с каторгой, владеющего от труда нажитой собственностью нередко в таком размере, чтобы возбуждать соблазн и зависть в неимущем и потерявшем все, даже доброе имя!» Не надо забывать, что сибирское общество в каждое десятилетие принимало до 7000 убийц, до 2000 разбойников и грабителей, 20 300 человек воров и мошенников, до 1000 поджигателей, сверх того, значительное число растлителей, развратников, ябедников, взяточников, членовредителей, оскопителей и до 25 000 бродяг, в большинстве людей с праздными наклонностями или привыкших к нищенству и шатанию. Понятно, что скопление такого громадного количества преступников не могло не подействовать вредно на то общество, в которое они были втолкнуты: до 460 000 преступников, сосланных менее чем в 60 лет, могли повредить и не такому малочисленному обществу, как сибирское. До 25 000 каторжных и от 50 до 60 000 поселенцев, каждые 10 лет посылаемых в Сибирь, постоянно вносили в нее значительную цифру преступлений. Ссылно-поселенцы количеством преступлений превосходят даже каторжных¹. В числе преступлений ссыльных играли самую видную роль воровство, развратное поведение, смертоубийство, грабеж и др. Впрочем, убийства и разбои в Сибири всего более совершаются каторжниками, что происходит, конечно, от того, что в каторге скопляются опыт-

¹ Таблица преступлений за 9 лет – 1838–1846 г. – показывает, что за побеги судилось поселенцев 6 008, каторжных 2 473, за воровство 144 поселенца и 21 каторжных, за развратное поведение 111 поселенцев и т. д.

ные убийцы, которым повторять это преступление – дело привычное, так и потому, что наши каторги воспитывали особое ожесточение, огрубение и озлобление личности. Истязаемый телесно, закаленный страданиями, озлобленный преследованиями, каторжный естественно лишался всяких мягких и человеческих чувств. Огрубелость, жестокость и озлобление до такой степени были присущи жизни каторжных, что даже у себя в нерчинских заводах они расправлялись друг с другом ножами. Убийства в этих острогах были непрерывны. В бродяжестве такие каторжные постоянно ходят с ножами в рукаве и совершают убийства не только при встречах с местными жителями, но и при встрече со своими же бродягами. После каторжных склонны к убийствам и разбоям всего более беглые арестанты из острогов. Вслед за тем разбоями и грабежами отличаются военные арестанты из военных арестантских рот, причем они отличаются особенной жестокостью, далеко превышающей жестокость каторжных. «Солдаты-дезертиры, по сибирским приметам, – говорит г-н Максимов, – успевают запутываться наичаще других в самых тяжких преступлениях, каковы убийства, грабежи и разбои» (107). Что касается убийств, совершаемых поселенцами, то они совершаются точно так же или вследствие озлобления, внушаемого ссылкой, или во время грабежей и бродяжества для личной безопасности. Наиболее развитое преступление между поселенцами составляет воровство. От 15 000 до 20 000 осужденных судебными приговорами воров и мошенников в каждое десятилетие наводняло Сибирь. Все они распределялись, по системе наказаний, в Тобольской и Томской губерниях, населенных гуще прочих сибирских губерний. Все эти мошенники и мазурики, все это отребье и подонки столиц и больших торговых центров, попавши в города восточных губерний, точно так же стремились жить прежней профессией. Избалованный праздностью тюрем, питающий отвращение к тяжелому крестьянскому труду, этот народ

занимается воровством разного рода. Поселенцы до того отличаются кражами, что у туземцев склонность их к воровству вошла даже в притчу. Поселенцы, живя в деревнях, крадут хлеб и мужицкое достояние; в городах они пускают в ход все хитрые мошенничества, на приисках занимаются кражей золота, на заводах – кражей вина, соли, железа. Недоверие к поселенцам по этому случаю среди туземцев развивалось страшное¹. Кроме воровства, ссыльные по всей Сибири занимаются производством фальшивых ассигнаций и монет, и свое искусство сумели передать местным жителям, которые теперь в этом деле не отстают от своих учителей. Ссыльные судятся почти за все без исключения преступления, означенные в уголовной номенклатуре, и таким образом значительно увеличивают цифру осужденных преступников по сибирским губерниям.

Данные уголовной статистики показывают, что в Тобольской губернии число осужденных убийц превышает все без исключения губернии Европейской России и Сибири, даже Пермскую, имеющую вдвое более населения. В Тобольской губернии в 9 лет осуждено 199 убийц, а в Пермской 197; в графе воровства Тобольская и Томская губернии занимают также первое место. Относительно грабежей Тобольская губерния следует за Пермской, но превышает все остальные губернии, даже Бессарабию (из Пермской в 9 лет с 1838–1847 гг. сослано было за грабежи 65 м. и 10 ж., а из Тобольской 64 м. и 5 ж., из Бессарабии 61 м., из Симбирской губ. 60 м., из Грузии 56 м. и 6 ж., а из Киевской, например, 38). «Тобольская, Томская и Иркутская губернии, – говорит

¹ «Редкий поселенец свободен от страсти к воровству, – говорит г-н Максимум (Сибирь и каторга. Ч. I. С. 274). Общественное мнение, – продолжает он, – единогласно установилось, что поселенцы, приходящие из России, – люди испорченные, ни к чему негодные. Редкий из коренных сибиряков не желает прекращения высылки из России ссыльных в тех же расчетах на несомненное и даже близкое преуспевание своей родины во всех отношениях». Так свидетельствует посторонний наблюдатель. С общественным мнением не идут в противоречие и отзывы местного начальства (см. *Максимум С. В. Сибирь и каторга. Ч. I. С. 279–280*).

г-н Максимов при обозрении народных преступлений, – соперничают между собой в количестве жертв, осужденных за грабежи и кражи». В Тобольской губернии в 9 лет в числе осужденных грабителей оказалось 13 каторжных и 23 поселенца, а в разбоях 6 каторжных и 11 бродяг. Но эти цифры, конечно, далеко не полны. В других преступлениях, как в подделке денег, сибирские губернии занимают опять самое видное место. Из Тобольской губернии судились и осуждены в 9 лет 22 делателя фальшивой монеты, тогда как из Саратовской их осуждено 15, Симбирской 12 и Пермской 4. Фальшивые монетчики обыкновенно являются в Сибири рецидивистами, и здесь снова принимаются за прежнюю профессию, которая процветает здесь в обширных размерах. По одному известному делу в подделке ассигнаций в Сибири обвинялось в одно время 12 каторжных, 39 бродяг, 22 поселенца и 7 арестантов.

Представив некоторые статистические данные для доказательства распространения преступлений между ссыльными, мы обратимся теперь к положению сибирского общества, на котором отражались все трагические результаты этих преступлений. Вечные несогласия между ссыльными и местными жителями, доходившие нередко до кровавой развязки, делали положение сибиряков далеко не безопасным. При этих условиях, конечно, трудно было развиваться гражданственности: могли ли существовать действительные гарантии обеспеченности личности там, где жизнь каждого подвергалась ежеминутной опасности! Путешественники по Сибири постоянно рисовали мрачными красками жизнь в Сибири. История Сибири полна мрачными событиями. Уже с конца прошлого столетия, т. е. с увеличением ссылки, селения и города Сибири начали испытывать все пагубные ее последствия. Разбегающиеся каторжные с Охотского тракта грабят караваны по дорогам; ссыльные, идущие на поселение в Сибирь, в 1805 г. при Павле I под Иркутском составляют шайки и даже нападают на проез-

жих; около Иркутска на большом тракте в Красноярск гуляет с шайкой беглых смелый разбойник Гондюхин и нападает на Иркутск. Разбойники рассыпаются по Забайкалью, по Восточной и Западной Сибири, свободно разгуливая по дорогам и по большим сибирским рекам, как-то Енисею, Оби, Иртышу и Лене. Жизнь в хуторах и заимках Сибири становится крайне опасной; они подвергаются вооруженным нападениям и осадам. Разбойники в Сибири, подобно греческим и итальянским, являются могучей силой. В это время они строили в сибирских лесах *блокгаузы* и решительно укреплялись, как, например, Селезнев на Бухтарме. Эту разбойничью эпоху, в которую купцы и торговцы делались данниками знаменитых разбойников и мирные жители страдали у них в плену, когда смелые атаманы разгуливали беспрепятственно по городам сибирским, а путешествие по Сибири сопровождалось бесчисленными опасностями, – эту романтическую и грозную эпоху старинной Сибири живо сохраняют сибирские предания, а сибирский романист Калашников пробовал изобразить ее в своих романах (108). Не в лучшем положении находилась Сибирь и в начале XIX столетия; напротив, увеличившаяся ссылка только подбавила еще более горючих материалов преступления. Ссылные – нищие, оборванные и голодные – бродят по сибирским трактам, занимаясь наполовину грабедом и разбоем; толпы нерчинских каторжных, ссылных поселенцев и бродяг прорезывают леса и дороги Сибири. Крестьяне, ввиду личной защиты, вооружаются: в лесах Сибири ведется ожесточенная война с ссылными, нападавшими целыми толпами на крестьянские заимки; побежденные бродяги мстят выжиганием сибирских сел и деревень. Дороги и большие тракты Сибири в это время были крайне небезопасны: на всем сибирском тракте, от Кахты до Перми, обозы, идущие с чаями, подвергались нападениям грабителей, организовавших из этого целую промышленность. Целые деревни с ссыльнопоселенческим элементом на Ба-

рабе и около Мариинска (ныне Кия) выходили на грабеж¹. Обозы с товарами, идущие из России в Сибирь, были постоянной целью нападений. Ссылнопоселенцы, живущие оседло и занимавшиеся пристанодержательством, попеременно соединялись то с проходившими бродягами, то с их врагами – крестьянами и пользовались от тех и других. В 1860 г., проезжая по тракту на Барабе, этой обширной степи Сибири, мы встречали богатейших поселенцев и крестьян, которые, как говорят, как бы волшебством преобразились в богачей без всякого труда. Это быстрое обогащение приписывалось кладам, будто бы ими открытым, но в сущности эти клады были не что иное, как грабежи по дорогам. Богатые сибирские купцы, едущие на ярмарку с значительными капиталами, прослеживались искусными шайками и подвергались грабежу, и часто платились своей жизнью; почта, чиновники и всякого рода проезжие также подвергались их нападениям. Иногда останавливали целые семейства, и разбойники выпытывали деньги самыми ужасными муками – обухом топора, иглами, гвоздями, огнем и ножами. В конце концов, злодеи умерщвляли взрослых и разбивали головы детей и грудных младенцев о шины колес.

В то время, когда пылало зарево деревень, поджигаемых бродягами и по дорогам находили целыми десятками убитых проезжих, жизнь в сибирских городах была не лучше и не безопаснее. Тельминская фабрика, где скопьялись ссыльные около Иркутска, потрясала окрестности этой столицы Восточной Сибири страшными грабежами, от которых остались красноречивые предания. Жители Красноярска, Томска, Тобольска и Тюмени испытывали ежегодно множество краж, грабежей, разбоев, убийств и поджогов, а на улицах и в домах разыгрывались ежегодно самые кровавые драмы. Убийства совершались на больших улицах, в торговые базарные дни; в многолюдных кварталах выре-

¹ Такой порядок существовал даже в 50-х годах. См. путешествие П. Небольсина по Сибири (*Небольсин П. Указ. соч.*).

зывались целые семьи с работниками и детьми; разбойник выходил смело с кистенем в руке на улицу. В одну зиму находили в некоторых городах зарытыми в сугробы по 7, 8 и более трупов. Боины происходили в домах и на улицах. Особенно печальна и поразительна хроника еще недавней жизни города Томска. Это – красивейший город Западной Сибири, средоточие торговли и промышленности. «В 40-х годах этот город представлял ужасающее зрелище, – говорит хроникер¹, – открытые грабежи и разбои происходили явно на его улицах; дома на ночь запирались, как крепости, и никто не осмеливался выходить из них. По улицам ездили смелые шайки неизвестных людей на тройках и в кошевах (обширных сибирских санях); эти-то неизвестные люди хватали проезжих и прохожих, увозили их за город и там бросали ограбленными и голыми. У этих промышленников, как рассказывают, были даже особые арканы, крюки и снаряды, которыми они ловили прохожих, как рыбу, нередко закидывая крюки прямо в ребра. Жители, выходя из дому, вооружались ножами и огнестрельным оружием. Убийства и разбои наполняли город; лавки разграблялись беспрепятственно; дома осаждались ворами. Убийства происходили на улицах и в гостиницах. Какой-то разбойник-поселенец основал в одной части города гостиницу, в которую завлекал богатых золотопромышленных приказчиков и там тайно убивал их. В центре города был притон, где собирались на ночь кутить мошенники и разбойники. В окрестностях города (около Басандайки) жила целая шайка разбойников. Заимки (хутора) около города подвергались наездам организованных грабителей, а тракты около города были ими обложены блокадой. Ни один крестьянин не мог съездить в город на базар, не рискуя быть ограбленным и убитым на возвратном пути; ни один обоз не проходил без нападений; каждый проезжий, подъезжая к городу, трепетал за свою жизнь; а в городе

¹ Хроника эта взята нами из неизданных записок одного томского жителя.

ни одна ночь не проходила без кровавых происшествий. Везде царствовали паника и страх от полновластия воцарившегося разбоя и убийства. В это-то время, продолжает хроникер, приезжает в Томск энергичный полицеймейстер Л.; он попробовал искоренить преступления и ввести порядок. Томск представлял в то время не только открытое поле грабежей и разбоев, но хаотическое смешение всех плутней и промышленных мошенничеств. Тайный провоз золота, перепродажа его, азартные игры в гостиницах и обирание посетителей с помощью подбавленного в напитки дурмана, торговые плутни и промышленная спекуляция – все переплеталось в диком хаосе мошенничества и преступлений рядом с открытым разбоем. Полицеймейстер Л. составил новый штат полиции и принялся за уничтожение воровских шаек, разбоев и преступлений. Он деятельно открывал кражи и преследовал беспощадно воров и мошенников; скоро открытые насилия прекратились, разбои утихли, гостиницы пришли в порядок, разъезды шаек прекратились по городу, и жители начали вздыхать свободнее. 20 лет управлял Л. Томском: но настали ли лучшие времена для сибирского города? Правда, явные разбои уничтожились, но зато преступления начали появляться в иной форме: открытые нападения стали заменяться кражами и тонкими мошенничествами, у которых не могли найти концов...

Правда, мелких воришек преследовали и жестоко секли при полиции, но крупные кражи и грабежи избегали полицейского преследования. Под конец управления Л. преступления снова усилились: у богатых купцов стали ломать лавки, уводить лошадей из конюшен; по-прежнему начались убийства и, наконец, ограблено было местное казначейство. Все мошеннические проделки покрывались каким-то таинственным флёром; в городе начался ропот; слышались жалобы; стали носиться темные намеки, подозрения; из дальних подъяческих нор полетели доносы;

началось обширное следствие. Выплыло многое наружу, и весь штат полиции, и сам знаменитый Л. пошли под суд, но и после этого переполоха положение Томска не улучшилось: источник зла лежал в ссыльнопоселенцах, а была ли возможность устранить его!..

Кражи и пожары снова водворяются в Томске и не дают покоя горожанам. В 1858 г. пожары пожирают город, и во время их производятся грабежи. На жителей нападает паника, и они выезжают за город, на поля и вооружаются для защиты от нападений грабителей. В 1865 г. грабежи и воровства до того увеличиваются, что жители боятся выходить из дома и вечерами ходят с оружием. Сама полиция упоминает об этом в своем печатном объявлении и пробует успокоить трепещущих жителей. Снова последовала перемена штата по части городской полиции, но спокойствие города и его безопасность не могли восстановиться и позднее. До последнего времени осенью преступление следует за преступлением; нет ночи, когда бы не слышалось воплей о помощи; крики “караул” не замолкают; на пустынных улицах нападают на прохожих, отгоняют лошадей и увозят экипажи. В отдаленных частях города жители и дежурные караульные целую ночь производят выстрелы из ружей, устрашая недремлющих воров и разбойников. И на таком военном положении жило большинство городов Сибири».

То же происходило в Енисейске и Красноярске каждую осень и зиму, когда стекались сюда золотопромышленники и рабочие, идущие с золотых приисков; здесь хозяйничали целые шайки воров, обиравшие денежных рабочих, которых убивали и кидали в реку. Вот что доносилось, например, из Енисейска еще недавно: сообщая случай дерзкого разбоя и преступления, корреспондент пишет¹: «...вообще Енисейск и его окрестности замечательны по неслыханному обилию

¹ См. корреспонденцию 1871 г. из Енисейска в «С.-Петербургских ведомостях». № 326.

убийств, краж и грабежей: нет дня, чтобы не было краж; грабежи на улицах до того обыкновенны и часты, что после сумерек никто не отваживается ходить по городу, точь-в-точь в какой-нибудь Бухаре или Чечне сороковых годов. Винят тайгу, обилие ссыльных», – говорит корреспондент, но сам корреспондент сваливает едва ли основательно вину на одну полицию. Известно, что с громадным таежным населением и с массами ссыльнопоселенцев, нахлынувшими с приисков, едва ли справится какая-либо полиция. Корреспондент сообщает, что сделано распоряжение не впускать в город промысловых рабочих, но не хуже ли будет, когда эти массы перенесутся в деревни, где нет уже никакой полиции?.. Тобольская губерния, в которой перед отвалом за Урал сосредоточиваются и ловятся тысячи бродяг, всегда наполняется сыздавна самыми отчаянными и дерзкими преступлениями. В один 1867 г. по губернии совершилось несколько убийств и грабежей около Тюмени, Тобольска и около Омска в деревне Песчаковой, до того дерзких и страшных (здесь вырезаны были целые семьи крестьян), что местная администрация прибегла к военному суду и расстреливала преступников в Тобольске и в Омске. Но и строгие приговоры военных судов не действовали, и часто в то самое время, когда в одном месте расстреливали за грабеж, в самом близком от него расстоянии производилось подобное же преступление с необузданной дерзостью (так было в Тобольской губернии в 1867 г.). Военные суды, учрежденные для ссыльных, нимало не устрашали и не предупреждали преступлений. Что касается административных мер и полицейских ограждений, то в дальних глухих провинциях Сибири эти меры всегда были слабы и бессильны. Земская полиция никогда не могла справиться с бродяжеством. Иногда так много бродяг скоплялось в сибирских замках, что отдавалось приказание *«не брать их более»*. Расставляемые каждую осень пикеты и кордоны казаков около городов и по большим трактам Сибири не могли остановить

бродяжества, имевшего свои таинственные пути по лесам. Города не могли ограждаться кордонами, ибо зло не столько приходило извне, сколько лежало внутри самих городов, населенных ссыльнопоселенцами. Прежние администраторы Сибири мало обращали внимания на искоренение преступлений: иркутские летописи говорят, что губернатор Немцов прямо покровительствовал разбойнику Гондюхину и по его заказу грабили губернаторских гостей; позднее эти явления повторялись в низшей администрации. Полицеймейстер Л. и его полицейский штат, преданный суду, подверглись именно этим подозрениям. Странное явление видимы в Сибири: незаконная нажива до такой степени вошла в нравы, преступления образовали такой сильный заговор против общества, и лагерь, враждебный порядку, так был крепок, что преступления потеряли свой риск; они уже не подвергались никакой опасности, а, напротив, доставляли столь громадные выгоды, что находили покровительство, и сами представители порядка переходили на сторону преступников. Враждебная сила общества перевешивала над мирной частью его, как над самой законностью и порядком, присущим всякой социальной среде. Это было явление, без сомнения, ужасное и редкое в истории обществ! Постоянная опасность, угрожавшая мирным жителям, побуждала незащитное общество брать на себя инициативу, и оно нередко пыталось прибегать к самозащите. Во время поджогов и обширных пожаров, охватывавших целые города, местные городские общества организовали свои караулы, особую стражу и учреждали волонтеров при пожарных командах. Точно то же было и во время усиливавшихся грабежей. Но что же могли сделать эти попытки против систематического вторжения убийств и пожаров и всяких несчастий! Немало искусства и такта в деле ограждения себя от опасностей ссылки выказывало сибирское крестьянское сословие. С замечательным единодушием и энергией боролось оно против бродяжества ссыльных на всем про-

тяжении Сибири. После вооруженной борьбы оно отняло, правда, у бродяг их воинственный характер, предписало им свои правила и законы для прохода по деревням, заставило покоряться себе, создало над ними свой суд, вроде суда по закону Линча, но уничтожить само бродяжество оно было не в силах и все-таки постоянно страдало от него. Влияние ссылки было столь могущественно и опасно, что общество, мало того, что не могло никогда обезопасить себя от нее, но само иногда заражалось ее недостатками: преступники заражали и соблазняли даже мирных граждан; поселенцы привлекали к своим преступлениям местное крестьянство, и многие покушения на грабежи и убийства стали производиться в союзе с ними. Сами нравы сибирских крестьян вследствие жестокой борьбы с бродягами грубели¹. Многие преступления получили право гражданства в сибирской среде, как, например, делание фальшивых ассигнаций, особенно покровительствуемое сибирскими крестьянами. Тонкими приемами воровства и развитием разных артистических плутней Сибирь исключительно обязана ссыльно-поселенцам. Но ссылка распространяла свой яд и другим образом. Разврат, при преобладании холостого мужского населения ссыльных и при их испорченности, деятельно разносился по городам и деревням, проникая в целомудренные убежища крестьянских семей. Ссыльные женщины, побывавшие в партии, отличались тем же развратом, как и мужчины. Сифилис, вносимый и развивающийся в ссыльных партиях еще на дороге, натурализовался в стране, и в Сибири теперь есть целые деревни, где сифилисом заражено чуть не все население, где в каждом семействе непременно есть хотя один зараженный этой ужасной болезнью².

¹ Известно, например, что некоторые крестьяне *промышляли* убийством бродяг.

² О развитии сифилиса среди ссыльных свидетельствуют больницы тюрем. Наконец, в последнее время он заносится ссыльными в те местности, где не существовал ранее, как, например, на Амуре, где развитие его исследовал д-р Шпрек.

Известен факт, что целые поколения инородцев вымерли в Сибири от сифилитического яда, разнесенного ссыльными.

Нередко, однако, высказывается мнение, что ссылка принесла известную долю пользы Сибири. Ссылные, говорят, обучали туземцев ремеслам; они давали рабочие руки Сибири; кроме того, само бродяжество создало дешевых работников для сибирского крестьянства; наконец, развитие большей грамотности, большего умственного развития и широкого мирозерцания сибирских жителей объясняется влиянием ссылки. Мы не спорим, – может быть, до некоторой степени такие влияния и существовали; мы не станем обвинять огульно в преступлениях и в дурном влиянии на местных жителей всех без исключения ссыльных; это было бы по меньшей мере пристрастно. Мы допускаем, что между ссыльными были люди честные, трудящиеся, но при этом мы вправе оценить, насколько такой труд действительно имел пользы, как велика была часть ссыльных, занятая им, и насколько эта часть трудящихся выкупала сумму того зла и несчастий, какое приносила ссылка в своей совокупности. Мы уже разбирали труд поселенцев в Сибири и его условия. Мы видели, что казенный труд поселенцев и каторжных мало приносил пользы краю. Частная промышленность заводов и фабрик была так слаба в Сибири, что, кроме золотых приисков, некуда было поселенцам применить свой труд, но и там он был жалким и кабальным. Что касается вольнонаемного труда у крестьян, то эксплуатация его была грубая и невыгодная. Вспомним притом, что поселенец-работник был лишен всех гражданских прав, ограничен в отлучках, не пользовался доверием властей и не мог ждать от них защиты; наниматель мог делать с ним, что ему угодно. Труд поселенцев поэтому находился в самых дурных условиях: он был кабальным и очень мало обеспечивал средства к существованию. Дурной по качеству, он высасывал соки из работника, а возможность эксплуатировать ссыльного и беззащитного бродягу деморализовала

и самого эксплуататора. О выгоде такого устройства труда для страны не может быть и речи. Большая часть ссыльно-поселенцев несла на себе горькую долю этого кабального труда, и очень незначительная часть их могла с выгодой для себя и общества пропитывать себя каким-либо занятием и ремеслом¹. Но если даже предположить, что ссыльные, так или иначе, живут трудом, остается другая, большая половина их, бродячая, живущая нищенством на счет своих собратий-ссыльных и местного населения. Если высчитать, чего стоит обществу ее содержание и сравнить с выгодами, получаемыми от труда ссыльных, в результате получится, пожалуй, даже дефицит. Но если присоединить еще всю сумму разорений, разрушений и некупаемого зла, которое причинялось преступлениями ссыльных, то в огромном дефиците не может уже быть и сомнения. Что касается умственного и нравственного влияния ссылки на развитие жителей, то хотя ссыльные могли содействовать расширению понятий местного замкнутого населения, но серьезное умственное развитие едва ли они могли дать (мы, конечно, имеем в виду ссыльных за обыкновенные преступления). Нам могут заметить, что некоторые поселенцы по сибирским деревням обучают крестьян грамоте, имеют школы, а потому за неимением образовательных средств приносят некоторую услугу обществу. Мы охотно верим, что это иногда случается, но было бы странно от каторжного и ссыльного требовать цивилизаторского и просветительского назначения. И, конечно, грустно за страну, которая не может заместить их хорошими народными учителями. Сама интеллигенция ссылки под влиянием своих преступлений и крушений теряла все свои лучшие стороны. «В несчастных чиновниках, – говорит г-н Максимов, – ссылка умеет

¹ Что касается ссыльного ремесленного труда в Сибири, то г-н Максимов свидетельствует, что вследствие дурного распределения ссыльных он не принесил значительных плодов. «Ссылный ремесленник и русский промышленник бесследно гложут в Сибири». (Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. I. С. 351).

обнаруживать недостатки воспитания и отсутствие прочных честных правил во всей ужасной нагоде. Чиновники в ссылке становятся несносными, беспокойными и не возбуждают никакого уважения, не пользуются у туземцев ни малейшим сочувствием»¹. Многие из этих людей, не знающие никакого труда, неумелые и праздные, были только «беспользными ртами» новой местности (*bouches inutiles*). Сохраняя, однако, свою традиционную гордость при своем падении, эти люди употребляли свое развитие только для целей плутовских и занимались в Сибири разными пройдохествами, если не жили подаяннем. Что же касается просвещенных людей, попадавших в ссылку в Сибирь по политическим причинам, то, конечно, они оказали влияние в тех местностях, в которых были поселены, и многие отдельные личности обязаны им своим развитием; но в наших статьях мы имеем дело не с ними, и во всяком случае, какое же общество может желать просвещения, купленного ценой чужого несчастья! Поэтому, говоря о пользе ссылки для умственного развития Сибири, нельзя принимать в расчет подобные исключительные случаи и приходится вывести заключение, что ссылка принесла Сибири ничтожную пользу в умственном развитии; зато она дала иные результаты в нравственном отношении, оказывая растлевающее действие на местное общество. Большой частью самых дурных сторон своей жизни и безнравственных инстинктов Сибирь обязана исключительно ссылке. В стране, отдаленной и неблагоприятно обставленной, местное общество не обладало ни гражданской развитостью, ни умственными преимуществами, ни стойкой нравственностью настолько, чтобы отстоять чистоту своих нравов от дурных влияний и оказать нравственное противодействие. Далеким и забытым сибирским провинциям не имели ни образовательных средств, ни интеллигенции, ни гражданского развития; они были населены обществом невежественным и жалким, ко-

¹ Максимов С. В. Народные несчастья и преступления.

торое не могло резко обособить себя от ссыльных, как, например, отделяли себя свободные колонисты других стран, более развитые в гражданском отношении; напротив, сибирское общество, полное предрассудков, не понимающее своих общественных интересов, сживалось с самыми дурными и безнравственными качествами ссыльных и даже усваивало их себе. Снисходительное и благодушное отношение к ссыльным местного общества поэтому объясняется не гуманностью, а скорее, положительным равнодушием к своим общественным интересам и отсутствием всякого чутья. Здесь иногда отъявленный плут, казнокрад и шулер, являясь с награбленными капиталами, подкупал общество и пользовался уважением и авторитетом; ловкий мошенник и мистификатор становился представителем интеллигенции. Убийца, вор и обольститель вносили пренебрежение ко всякой нравственности в среду невежественных и невзыскательных людей, и слепое общество само незаметно отравлялось медленным ядом ссылки и усваивало себе нравственный индифферентизм, развращение, а иногда и нравы ссыльных. Чтобы судить, как могло быть велико влияние ссыльных в нравственном отношении, достаточно вспомнить, что сибирские губернии должны были принимать к себе все порочное, вредное и испорченное, что извергали остальные губернии. Поэтому нечего удивляться, что сибирская жизнь изобилует многими пороками; целые два столетия она несла грехи своей праматери.

Но, кроме своего растлевающего и губительного нравственного влияния, ссылка задерживала экономическую и социальную жизнь этих провинций. В ссыльных провинциях не могло существовать правильного развития промышленности, принужденной иметь дело с ненадежными рабочими. Накопление капиталов в стране и основание прочной собственности также было затруднительно при тех опасностях, которым они подвергались. Трудно было ожидать мирного развития прогресса там, где личность че-

ловека не была обеспечена, где шла вековая борьба крестьянства с ссыльными поселенцами и бродягами; можно ли было при этих условиях рассчитывать на развитие прочных социальных отношений, на здоровую общественную жизнь! Нет ничего удивительного поэтому, что застой, невежество, апатия и отсутствие всякого гражданского развития были характеристической принадлежностью этого отдаленного и забытого края. Однако ж Сибирь уже не пустыня; она имеет 4 миллиона населения, которому пора зажить настоящей гражданской жизнью; теперь уже нет надобности заселять ее каким бы то ни было путем, лишь бы только заселить. Ссылка поэтому утратила теперь то колонизационное значение, какое могла иметь в первое время; основная цель ее уничтожилась; остались в результате одни ее недостатки; в последнее время, распространяясь в среде гражданского общества, ссылка задерживала только это развитие. Поэтому настало наконец время перед нашей реформой тюрем определить ее влияние, ее условия и недостатки. Вообще ссылка на поселение, охватывая громадное количество преступников и имея особое государственное значение, по справедливому замечанию г-на Максимова, гораздо важнее у нас реформы каторги. Она требует также внимания, как мы видим, ввиду безопасности свободного гражданского населения. При всех своих естественных богатствах Сибирь у нас остается краем бедным, невежественным, с жалкой звероловно-пастушеской и первобытной земледельческой культурой, с самой скудной промышленностью, какую едва ли можно встретить даже в самых беднейших провинциях Европейской России, лишенных всяких естественных богатств. Край этот, богато наделенный природой, нуждается во всем и пользуется всем привозным, начиная с деревянной семеновской ложки и грубой лопаты и кончая последней тряпкой. Его естественные богатства почти еще не тронуты, а сырье истощается самым нерациональным образом и эксплуатируется с

самой невыгодной стороны. Еще недавно привозные товары были так дороги, что большинство населения не могло ими пользоваться, и их приобретали только богачи. Силой мануфактурной эксплуатации эта страна была доведена до неоплатных долгов и поставлена в тяжкую экономическую зависимость от дальних маклаков-мануфактуристов. Крестьянство этих печальных местностей носит грубую сермягу в стране шерсти и меха, нуждается в железе подле богатых рудников; инородцы мрут с голоду и едят друг друга на Севере, тогда как юг Сибири задыхается под тучом хлебных запасов, не имеющих сбыта¹. Такова эта страна, это Эльдorado России по последним исследованиям и свидетельству путешественников! А между тем – это край, занимающий пространство большее, чем Европа, наделенный разнообразным климатом от полярного круга до благословенных уголков Амура и Бухтармы, край обширнейших земледельческих пространств на тысячи верст, с роскошными лугами, пастбищами, покрытыми миллионами овец, рогатого скота, лошадей и верблюдов, край, имеющий вековые запасы природы в неистощимых лесах, в прилегающих с севера и востока морях, в раздольных реках, с которыми могут соперничать только реки Северной Америки, с залежами драгоценных минералов и металлов, с рудниками серебра, свинца, меди, с горами каменного угля, с самородным золотом и с первым в свете по достоинству железом; этот край, неизведанный и благословенный, ждет только труда и правильного развития своих средств, чтобы доставить человеку довольство и счастье. День ото дня его социальные и экономические потребности все более пробуждаются, и он трепещет под избытком сил, ожидая жизни и кипучей промышленной деятельности. Конечно, не массы ссыльных, безнравственных и неспособных

¹ См.: Флеровский Н. Указ. соч. Гл. 3. «Зауральский рабочий». С. 82 и др.; Сидоров М. Север России. СПб., 1870 г. (главы о разорении Березовского, Обдорского и Енисейского краев).

подонков общества, должны оживить его; для его оживления необходимы более здоровые и свежие силы; для поднятия промышленности ему необходимо создание мануфактур; для того, чтобы он мог пользоваться своими богатствами, ему необходимо техническое знание; для того, чтобы избавиться от экономической эксплуатации, нужно рациональное применение труда. Невежественный и забытый, этот край ожидает просвещения и высшего образования, мысль о котором давно созрела в местном обществе. Можно ручаться, что оно одно воскресило бы силы этого края и придало бы ему совсем новую жизнь. Терпевший когда-то много злоупотреблений, он ищет справедливости и света. И никто, конечно, не будет оспаривать, что бедному русскому населению на материке Азии должны быть доступны все блага цивилизации. В этих видах все вредящие и задерживающие развитие общества препятствия, как и сама ссылка, должны быть устранены в русских азиатских провинциях и перенесены в иные пустынные местности, а сама система ссылки реорганизована. С отменой сюда ссылки, с учреждением прочного гражданского общества из соседних колонистов, при гарантиях безопасной жизни, при свободном и правильном развитии своих сил, Сибирь, без сомнения, принесет гораздо более выгод России, чем оставаясь пустынным, бедным и неразвитым местом ссылки. Не говоря уже о том, что всякому государству выгоднее иметь страну, приносящую более дохода, народ более богатый и обладающий просвещением и умением пользоваться богатствами страны, не говоря о том, мы можем доказать, что в новой своей роли, при развитии свободной колонизации, Сибирь окажет в недалеком будущем более действительную услугу России. Известно, что источник преступлений большей частью лежит в бедности, в экономическом нестройстве. В России, как в стране земледельческой, экономическое благосостояние находится в прямой связи со свободой пользования землей,

лесами, промыслами и пространствами для культуры. Европейская Россия, несмотря на огромное количество пахотных земель, при сгущении населения в свое время почувствует ошутительный недостаток в культурных землях и лесах. Крестьянская реформа 19 февраля положила основание новому порядку распределения собственности, результатом чего было поднятие цены на землю. Между тем потребность в земле, местами незначительность наделов, недостаток лесов у крестьянства начинает уже чувствоваться и ныне¹, а в будущем, конечно, усилится. Может быть, пройдет еще поколения два – и эта нужда сделается настоятельной, насущной. Естественно, что при густоте и возрастании населения произойдет излишек его, который не сможет уже удовлетворить себя земледельческим трудом; явится потребность в новом труде, и сама промышленность, может быть, не в состоянии будет вполне удовлетворить этой потребности. Последствием этого, по экономическому закону, явится падение рабочей платы, недостаток средств к жизни, а затем пауперизм со всеми его печальными результатами. Тогда-то, ввиду увеличивающихся масс народонаселения, которым недостает места на пиру жизни, ввиду голода и угрожающих преступлений, обширная Сибирь примет весь излишек населения и будет служить спасительным клапаном ввиду угрожающей борьбы за существование. Для всех нуждающихся в труде и хлебе Сибирь откроет свои обильные земледельческие пространства средней полосы и роскошные долины своего юга. Кто знает, может быть, пройдет столетие – и необходимость заставит размножающееся славянское население хлынуть массами на свободный Восток; но как бы то ни

¹ О нуждах крестьянства в земле и лесе см. статью г-на Демерта «Почему у нас в лесистых местностях в дровах нуждаются» (Отечественные записки. 1870. № 10). Автор точно так же сходится с нами в этом случае и находит единственным средством – помочь делу переселения в Сибирь. См. также о потребности в Сибири свободной колонизации (*Максимов С. В.* Сибирь и каторга. Ч. I. С. 318).

было, потребность колонизации для беднейшего крестьянства составляет уже и теперь настоящую потребность России, и теперь уже вереницы телег тянутся из многолюдных губерний России на Восток. Солидарность общечеловеческих интересов и взаимная польза, соединяющие колонизирующую и колонизируемую страну, должны произвести благодетельные последствия для обеих местностей; если одна страна избавится от бедности выделением населения, то другая, нуждающаяся в руках, будет иметь средства разработать большую сумму богатств и поднять свой промышленный уровень. Для бедного колониста новая, девственная и нетронутая страна даст все средства для жизни и обогащения и будет источником довольства и счастья, а заселяемая местность приобретет в вольном поселенце полезного труженика и честного гражданина. Такой колонист будет уже не озлобленным ссыльным, проклинающим землю, которая его кормит, но благодарным и преданным гражданином своего нового отечества, которому он отдает весь труд и саму жизнь. Только такие здоровые и крепкие силы народа могут оживить наш отдаленный Восток, дать ему новую жизнь и назначение, содействуя его прогрессу и процветанию. Тогда и ты, отдаленная Сибирь, не будешь забытым и бедным краем, в пустынях которого льются лишь слезы изгнания да сыплются проклятья на твою ничем не повинную голову; но тогда и тебе будет суждено более счастливое и светлое будущее!

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗНЫХ СИСТЕМ НАКАЗАНИЯ

I.

Сравнительно-исторический очерк уголовного наказания в Европе

В длинной цепи различных наказаний, тянувшихся с незапамятных времен, мы видим те же исторические изменения, какие происходят и во всех других явлениях человеческой жизни. Изменения эти также подчинены известным законам и стоят в зависимости от общего человеческого прогресса, так как, по мере накопления опыта и знаний у людей, открывается возможность проникать глубже и глубже в причины человеческих бедствий и преступлений и находить более действительные и разумные средства к их устранению. Поэтому в истории наказания мы видим, с одной стороны, стремление к изысканию лучших способов предупреждать преступления, с другой – стремление отрешиться от прежних паллятивных, грубых и недействительных способов, которые, имея в виду подавить зло, только усиливали его проявление.

Всматриваясь в историю наказаний, мы видим, что у каждого народа, по мере того, как он переживает разные эпохи исторического развития, характер и форма наказаний постепенно видоизменяются – каждое в отдельности наказание с течением времени преобразуется или решительно меняется. Это частные опыты изменений в сфере наказания, совершающиеся у отдельных народов, при разных условиях,

служат показателями прогресса; сравнительное изучение существующих у разных народов наказаний поэтому является в высшей степени полезным как для общего обмена знаниями, так и для руководства тех наций и народов, которые переживают эпохи в применении своих наказаний, уже пережитые другими народами, ранее их развившимися.

Коснувшись в своих очерках проявления наказания в России и представивши его исторические опыты, мы желали бы сравнить его результаты с результатами его у других европейских народов, уследить в существующих родах наказания как сходственные черты, так и различия, свойственные местным особенностям, и на основании всего этого дойти до некоторых обобщений, могущих служить уроками в нашем будущем при изменении самых форм наказания и применения их в жизни.

Сравнивая основные наказания, входящие в кодексы европейских народов, мы находим их в большинстве сходными у всех наций: смертная казнь, телесное наказание, клеймение, каторга, ссылка и тюрьма существовали повсюду. Следуя по одинаковой дороге, они переживают точно так же и одинаковые фазисы, хотя и не одновременно. Между прочим, нельзя не заметить, что повсюду в Европе совершается переход от более варварских и жестоких наказаний к менее мучительным и более человечным, что всюду замечается стремление к отмене многих наказаний позорящих, опечаливающих и вечных и к замене их наказаниями исправительными и временными; немудрено заметить, что эта перемена особенно круто совершается с конца прошлого столетия: так, смертная казнь уменьшается и отменяется в большинстве преступлений по всей Европе, и ныне ей все менее и менее оставляется места в европейских кодексах. В Англии она значительно ограничена с начала нынешнего столетия, а кодексом 1861 г. оставлено для нее только два случая преступлений — убийство и измена (Criminal Law Consolidation Statutes 24,

25, Vict.), тогда как в 1765 г. английское законодательство назначало ее в 160 родах преступлений; во Франции точно так же казнь ограничена, и с 1832 г. делаются постоянные попытки к ее уничтожению; в Германии она отменена в 1848 г., в Тоскане с 1786 г., в Швейцарии и Америке также совершенно вытеснена; в России, как известно, казнь отменена в большинстве уголовных случаев в 1744 г., и ныне ей подлежит очень немного преступлений; наконец, в 1871 г. от нее отказался последний женеvский кантон. Таким образом, смертная казнь в Европе, видимо, оканчивает свое существование: многие государства находят уже возможность совсем обходиться без нее. Вслед за отменой смертной казни идет отмена наказаний, изувечивающих и причиняющих физическую боль, как, например, отрезание членов и клеймение. Во Франции клеймение исчезло в 1842 г., в Бельгии в 1850, в России в 1863 г. Что касается телесного наказания, то Европа точно так же давно освободилась от него: во Франции оно отменено после первой революции (1791 г.), в Бельгии и Нидерландах – в 1810 г., в Австрии в 1848, в Пруссии в 1861 г. Отмена телесных наказаний в Европе в этом случае совпадает с признанием гражданских прав и окончательной эмансипацией низших классов народа, так как телесное наказание могло существовать только при крепостной и феодальной зависимости¹. В практическом отношении все эти наказания были признаны неравномерными, бесполезными, жестокими и неизгладимыми для преступника и деморализующими само общество, применяющее их. Затем преобладающими наказаниями являются различные виды лишения свободы: каторги, ссылки и тюрьмы; но при этом сами формы заключения и ссылки должны были изменить несколько

¹ В России телесное наказание плетьюми отменено, как известно, в 1863 году; розги только оставлены для крестьян как полицейское наказание по приговорам сельских обществ; об уничтожении его, однако, и здесь возбужден вопрос земствами. Кроме того, телесное наказание, вероятно, только до издания новых правил применяется к ссыльным в Сибири.

свой характер сообразно новым условиям. Эти виды наказаний прежде соединялись с бесчисленными страданиями, жестокостью, грубым бесчеловечием и небрежением к участи преступника; на каторге преобладали обыкновенно тяжкие работы до истощения сил, оковы, плети и самое жестокое обращение; этими мерами старались усилить наказание и придать ему уголовный характер. Такие наказания равнялись постоянной пытке, и влияние их на преступника было самое безотрадное: жестокость обращения вызывала только озлобление и деморализацию преступников; общество впоследствии дорого платилось за эту жестокость, когда каторжникам приходилось вырываться на свободу. Европейские понтоны и галеры были столько же местом бесчеловечия, как и страшным источником развращения. Вот что говорит, например, Бентам о состоянии галер в Англии в прошлом столетии: «Что бывает в Лондоне, когда опустевают галеры Темзы? Эти злодеи в юбилей преступления бросаются на этот город, как волки, нападающие после долгого поста на овчарню, и пока все эти разбойники не будут перебраны опять за новые преступления, опасность не прекращается на больших дорогах, а по ночам и на улицах столицы» (109). Плавучие тюрьмы на понтонах в Англии, уничтоженные окончательно только в 1856 г., по случаю ожесточения и развращения преступников, содержавшихся в них, носили название *плавучих геен*. Точно так же, по отзывам английских писателей, жестокое обращение с каторжными в Австралии превосходило всякую меру. Отчаянные жестокости, говорит Спенсер, были открыты парламентской комиссией 1848 г. на каторжных работах в Австралии. Люди осуждались здесь в кандалы за один дерзкий взгляд. «Каторжные испытывали заключение в кандалах с утра до ночи, в клетках, которые вмещают от двадцати до двадцати восьми человек и в которых эти люди не могут ни стоять, ни сидеть все в одно время иначе, как согнув ноги под прямыми углами к телу» (110).

Так свидетельствовал официальный отчет. Люди присуждались к мучениям, которые в состоянии были доводить до отчаяния, бешенства и новых преступлений. Эти мучения, как выразился один из подобных преступников перед казнью, «отнимали у человека человеческое сердце и давали сердце животного». Главный судья Австралии свидетельствовал, что «содержание преступников доводило их до таких страшных страданий, которые заставляли многих желать смерти и побуждали искать даже в самых ужасных ее видах». Сэр Джон Артур добавляет, что «в Вандименовой земле ссыльные нарочно совершают убийства, дабы их отсылали в Гобарт-Таун к суду, хотя и знают, что их обычным порядком казнят через две недели после прибытия». Таковы были здесь последствия неестественных каторжных условий. Иногда у самих судей, как у Бартана, не могли не навертываться слезы при чтении приговора таким натерпевшимся и измученным преступникам. «Эта страшная порочность, деморализация и преступность, порождаемые жестокостью обращения, были бы невозможны, – говорит Спенсер, – если бы наши власти одинаково приняли в соображение как то, что казалось бы справедливым, так и то, что казалось бы политическим» (III). За это же страшное обхождение с людьми на галерах впоследствии Англия поплатилась явлением гарретеров. Возвращенные каторжники в 1862 г. наполнили Лондон ужасными преступлениями; они артистически душили людей за горло, и замечательно, что этой операции их выучили тюремщики, перевозившие преступников на кораблях и употреблявшие с ними эти приемы. Таким образом, преступники платили тем, что они терпели на себе, и английское правительство пожинало плоды своей каторжной культуры. Подобные горькие опыты и результаты повели к решительной реформе каторги: вместо каторги стали подвергать преступников сперва пенитенциарному одиночному заключению в таких тюрьмах, как Пентонвилль

и Мильбан, где полковник Джебб принимал особенные заботы о содержании арестантов, а впоследствии переводить их в Портленд, Дартмур и Четем для общих работ; наконец, при исправлении арестанта введены условные отпуска прежде срока. Телесное наказание также год от года изгоняется английской тюремной системой; в 1860 г. наказанных было 1 на 1000 арестантов, а через два года 1 на 2240. В 1861 г. депутат парламента Кеннеди окончательно протестовал против применения телесных наказаний в тюрьмах, и ему единодушно сочувствовала пресса. Условия каторги совершенно изменяются, и она воспринимает исправительные цели; наконец, она преобразуется в такую систему исправления, какую представляет лучшая исправительная до сего времени система – ирландская.

Что касается русских каторжных работ, то положение на них преступников было в прежнее время не менее ужасно. По очеркам Максимова, наши рудники, прииски, солеваренные и винокуренные заводы отличались столько же тяжкими и непосильными работами, как и жестоким обращением¹. В этом случае у нас получались те же результаты дурного обращения и тяжких страданий; люди ожесточались и развращались на каторгах ужаснейшим образом и, наводняя побегам Сибирь и Россию, мстили обществу за свои обиды. Из разряда каторжных выходили самые страшные разбойники, и это не по одному тому, что они были ранее злодеями и совершали тяжкие преступления, но потому, что их уродовала сама каторга и чрезмерные наказания, состоявшие из невероятного количества плетей, кнутов и палок, которые когда-либо могла выносить человеческая натура; человек, естественно, только огрублялся здесь и делался зверем. Сами казенные заводы и прииски, поглощая страшную массу человеческих жиз-

¹ См. по этому поводу «Сибирь и каторга» г-на Максимова (работы в шахтах – ч. I, с. 152, 153, 154; на промыслах – там же, с. 163; в солеваренных заводах – с. 163, 164, 165).

ней, при всем том, как известно, давали самый ничтожный доход или не давали никакого¹. Поэтому прекращение этого способа работ мы считаем благодетельным шагом в нашем наказании, но ввиду теперешних реформ есть твердое основание надеяться, что каторга в старом виде исчезнет навсегда, чтобы никогда более не появляться, что осуждаемые за тяжкие уголовные преступления будут наказываемы содержанием при центральных тюрьмах или в особых исправительных колониях, основанных на более разумных и гуманных началах исправления².

Кроме каторги, в числе уголовных наказаний самую видную роль играла ссылка или высылка в другие местности. Пользоваться ею удавалось, однако, только тем государствам, которые имели или заморские колонии, или отдаленные, ненаселенные местности в собственных владениях. Хотя ссылкой пользовались одинаково многие европейские народы, начиная с древних греков и римлян и кончая испанцами, португальцами, голландцами, французами, но опыты большей части этих наций не заслуживают особенного внимания или потому, что прерывались в самом начале, или потому, что кончались уж крайне жалкими результатами; в применении этого наказания гораздо более видное и достойное внимания место принадлежит Англии. Наказание это применялось ею в течение целых столетий; оно принимало здесь разнообразные формы; английское правительство с озабоченным вниманием следило за результатами его применения; поэтому опыты Ан-

¹ Об этом также см. г-на Максимова «История каторги» (Сибирь и каторга. Ч. III. С. 61, 335, 361–378).

² В этом случае мы не можем не найти странным и даже невероятным слух об учреждении новых казенных каторжных работ на уральских заводах, о котором заявлено было в «Петербургских ведомостях» в 1871 г. Если работы, основанные не столько на исправлении, сколько на экономической эксплуатации каторжного, уничтожены на сибирских заводах, как ни к чему не ведущие, то нет возможности допустить, чтобы система, осужденная на уничтожение, создана была снова.

глии по этому вопросу поучительны: недаром европейская литература в оценке результата ссылки преимущественно указывает на английскую. Создание ссыльных колоний, послужившее началом заселения Австралии, возбудило удивление европейских публицистов; но увлечение ссылкой у многих публицистов и юристов, в особенности французских и немецких, к сожалению, основывалось не столько на доказательствах истинной пользы этого наказания как меры исправления, сколько на внешней грандиозности этого предприятия, причем упускались, однако, многие побочные черты и тот печальный фундамент, на котором строилось само здание. Обеспечение прочных владений среди далеких островов, где царствовали дикари, проведение дорог в пустынях, создание мостов на широких, необузданных реках Нового Света, возведение правильных улиц Сиднея, Мельбурна, Гобарт-Тауна и Перта, постройка казарм, госпиталей, без сомнения, много имеют привлекательного, много удивительного, но ведь мы не менее можем удивляться и возведению египетских пирамид, хотя думы, посещавшие Вольнея «На развалинах» (112), не могут не напомнить нам и другой стороны дела. Конечно, английская ссылка имела свое колонизационное значение, но не надо забывать между лучшими сторонами ссылки и те мрачные стороны, те неустранимые неудобства, которые, несмотря на панегирики старого континента, заставили Англию отказаться от этого предприятия и изменить саму форму наказания. Вот эти-то стороны мы и не должны упускать из виду при рассмотрении ссылки как наказания.

Первоначально у Англии местом ссылки была Америка. Поводом к ней в самое древнее время, т. е. в XVI и XVII столетиях, служило одно стремление – избавиться от домашнего врага и навсегда сбуть куда-нибудь преступные и негодные элементы вместо того, чтобы заботиться о них. Тут был и дух кары, и дух мести, так же как

и известная доля небрежности. Такая ссылка в Ост-Индию и Виргинию начинается с 1597 г. Это была безразборная ссылка кого вздумается: при Иакове I отправляют в Виргинию распутных женщин и здесь продают их на плантации за 120 и 150 фунтов табаку; при Иакове II сослали и продали в Америку тысячи политических преступников, замешанных в восстании герцога Монмутского; в половине XVIII столетия, после экспедиции Карла Эдуарда в Шотландию, герцог Кумберландский выслал в Америку целый клан (род) «для того, чтобы, – по словам Гленмаристона, – научить шотландцев, что король Георг – абсолютный владыка своих подданных»; в 1718 г. утверждается билль, по которому уже всех уголовных преступников, приговоренных к наказанию свыше трех лет, приказано отсылать в Америку. Размещение преступников в ссылке заключалось в это время в продаже их на плантации в совершенное рабство. Их не стыдились называть «христианскими невольниками» и продавали по 10 фунтов стерлингов за голову. Это дало повод заметить историку Австралии Сиднею, «что дух британского торгашества проявился и в самой мести». Известно было, что статью торговли преступниками разделяли даже фрейлины короля Иакова. Нечего говорить о том несчастном положении, которому подвергался преступник на плантации. Часто срок его работы затягивался по произволу; пословица «закабаление на тридцать шесть месяцев», т. е. на время наказания, являлась равносильной иронической пословице «завтра». Рабство затягивалось, по словам Блоссвиля, по произволу и на 4, и на 7 лет¹. С 1718 г. ежегодно до 300 и 400 этих несчастных появлялись в Мериланде и были почти непригодны для культуры, как свидетельствует этот писатель; здесь они испытывали тяжкие работы вместе с неграми, «разлученные с семействами, под палящим тропическим солнцем и под дисциплинарной плетью плантаторов». Такое положение

¹ Histoire de la colonization penale, par Blossville, 1859. P. 23.

преступников было бесчеловечно и не могло не повести к их ожесточению и мести колонистам; поэтому американские историки не придают английской ссылке никаких заслуг на своей почве; но европейские апологисты ссылки, как Гольцендорф, готовы уверять, что ссылка даже в такой форме имела свои благодетельные последствия и никакого вреда. Впрочем, другие, более умеренные европейские защитники этого наказания не решаются опровергать печальных последствий этих британских опытов. «Конечно, некоторые преступники в колонии, отделенные от их испорченных сотоварищей, видя перед собой честные нравы колонистов, делались по истечении срока наказания трудолюбивыми собственниками и уважаемыми хозяевами, – говорит Блоссвилль, – но эти исключения были весьма редки, многочисленные жалобы на ссылку увеличивались с каждым днем; общественное мнение поднимало шум, и вся Северная Америка служила одним эхом Франклина, который воскликнул: “...извергая население ваших островов в наши города, сделавши из нашей земли помойную яму пороков, от которых старое общество Европы не могло себя защитить, вы наносите тем жестокое оскорбление чистым и патриархальным нравам наших колонистов, которые мы хотим сохранить. О, что сказали бы вы, если бы мы послали вам своих гремучих змей?”»¹. Эти резкие жалобы, отчасти вызванные горькими отношениями к метрополии, без сомнения, имели хотя некоторую долю истины. Они показывают, в каких печальных и дурных условиях находилась тогда ссылка. Ссылный вопрос был поводом к жалобам, как говорит историк, гораздо ранее восстания. Действительно, ссылка в Америку с конца XVII века была постоянно предметом пререканий; колонии не знали, как управляться с собственными преступниками; состояние их тюрем было ужасное; содержимые в этих тюрьмах арестанты употреблялись, скованные, на работы, причем от

¹ Histoire de la colonisat. penale, Blosseville. Ch. III. P. 24.

содержания вместе без всякого надзора они окончательно портились. Кроме того, Англия наделяла ежегодно плантации целыми шайками опасных преступников, которые обращались в бег, производили разбой и грабежи. Надобно было наряжать большие ловли, отправлять экспедиции в леса для поимки беглых преступников, где их вешали на месте поимки без всякого суда.

С началом войны американских колоний в 1774 г. английская ссылка, разумеется, должна была прекратиться, и Англия была обременена преступниками за неимением тюрем и решительно не знала, куда с ними деваться. В это время открытие Куком восточного материка Австралии дало повод создать здесь новые ссыльные колонии. Условия ссылки при этом были несколько изменены: преступники должны были являться теперь в пустыню под начальством английских чиновников и под надзором солдат. Они должны были создать здесь новые поселения, выстроить себе тюрьмы, помещения для начальства, возделывать почву, снять жатву, устроить мосты и дороги и пр.

Как ни возвышены, как ни плодотворны были подобные колонизационные планы ввиду политических, — мы должны вспомнить, что они недешево обошлись для жизни ссыльных. Ботани-бей, эта прекрасная бухта, прозванная так за богатую растительность, окружающую ее, долго была страшным именем для английского ссыльного. Действительно, с первых же дней ссыльные терпели здесь громадные затруднения и лишения: голод, болезни, недружелюбие окрест живущих диких племен, недостаток в искусных рабочих, замедления в перевозках хлеба из Англии, — все это было естественными спутниками в первоначальной колонизации в отдаленные местности. Печального положения колоний в первое время не скрывают и апологисты австралийской ссылки. На одном из кораблей в 1790 г., например, привозят до 218 ссыльных, обремененных и истощенных болезнями; из них 40 умерло во время

пути, а число больных было более ста. После высадки на берег ссыльных пожирали скорбут, дизентерия и лихорадки. «Никогда Сидней, – говорит Блоссвилль в своей “Истории штрафной колонизации”, – не представлял более плачевного зрелища, как в эти дни»¹. Вообще, как дорого стоила колонизация Австралии, видно из того, что до 1815 г. в 27 лет из 17 000 перевезенных сюда ссыльных, в числе которых было 3500 женщин, вымерло 5 000². Уже это одно показывает, что колонисты здесь приносились положительно в жертву отдаленным целям будущего. Побег и бунты постоянно сопровождали первое время заселения³; ссыльные пускались то в пустыни, то мечтали проплыть в Индию и в Китай. Само собой разумеется, что общество привезенных преступников не отличалось нравственностью; преступления уже обнаружались с первых же дней: так, в феврале 1788 г., в год основания колонии, уголовный суд произнес здесь 6 смертных приговоров. Преступления увеличивались по мере лишения ссыльных и кризисов во время недостатка съестных припасов; в 1794 г. преступления конвиктов развиваются в убийства и грабежи, а в 1796 г. свирепствует в Сиднее целая шайка разбойников⁴. Таким образом, колония представляла множество беспорядков. Чтобы справиться с преступниками, администрация и губернаторы прибегали к суровым карам и наказаниям; конвикты подвергаются бесчисленному множеству телесных наказаний за проступки; наконец, их осуждают на уединенную скалу в бухте, где они должны питаться хлебом и водой⁵. «Только благодаря железной энергии губернатора и особенной строгости с сосланными преступниками это предприятие, т. е. основание колонии из преступников, не пало». Так отзывается Голь-

¹ Histoire de la colonisat. penale, Blosseville. Ch. III. P. 109, 117.

² Ibid. P. 233.

³ Ibid. P. 112, 120, 122, 138.

⁴ Ibid. P. 69, 165, 169.

⁵ Ibid. P. 65.

цендорф, излагая историю этой ссылки. Таким образом, эта каторжная колония могла поддерживаться только ужасными строгостями. В первый период ее существования ссыльные были в полном распоряжении колониального правления; оно употребляло их для обработки государственных земель, а некоторых из них отдавало для домашней службы чиновникам¹. Обработка новых земель, проведение дорог, работа в портах и в укреплениях была самым тяжким наказанием для преступников. Один из английских писателей говорит, что «дороги обрабатывали в это время особые артели конвиктов (road-gangs), причем преступники всегда были закованы в ножные железа; на работы преступники смотрели как на тягчайшее наказание. За каждой артелью следовал треугольник для расчистки дорог. Ссыльные были под особым надзором надзирателей, и за малейшее неповиновение наказывались от пяти до ста плетей»². Таково было положение и жизнь ссыльных в колонии. Судя по этому, мы можем заметить, что условия их жизни были чисто каторжные. Английские писатели, как Моссман, признаются, что подобное положение преступника колонии было крайне тяжело и что никакой свободный человек не взялся бы работать при столь тяжелых условиях, и те невероятные усилия, которые были употреблены на расчистку пустынь, приобретены только благодаря принудительному, каторжному труду. Но исправлялись ли конвикты посредством ссылки? – задает вопрос тот же писатель. «Нравственно – нимало, пока они составляли большинство населения, но в материальном отношении ссылка была все-таки для многих дорогой к свободе и независимости». Сама колонизация ссыльными и их тяжелая эксплуатация в этом периоде, как согласно утверждает большинство писателей, пролагала дорогу только будущим свободным поселениям. Таким образом, ссылка в эту эпоху имела, очевидно, исключитель-

¹ Закон 1824 г. Stat. Georg, IV, 88, отмена в 1838 г.

² Our Australian Colonies by Samuel Mossman. P. 95, 96.

но колонизационные цели. И ввиду этих-то политических планов, во имя основания своего могущества за океаном, Англия не щадила ни сил, ни жизни ссыльного!.. Посмотрим на ссылку этого периода с другой стороны – как на наказание. Казенная эксплуатация ссыльных была здесь слишком жестока: мы видим, что они подвергались ужасным неудобствам и лишениям; это наказание было притом далеко от всякой соразмерности с виной, потому что здесь все испытывали одинаково тяжкую участь и вечность изгнания. О том и говорить нечего, что в это время нимало не обращали внимания на пощаду преступника, который работал постоянно под плетью¹. Поэтому ссылка равнялась самому сильному уголовному наказанию, какое только бывало в каторжных работах.

Рассматривая второй период ссылки, а именно, когда колония значительно обстроилась и начала получать свободных колонистов, мы видим, что система распределения ссыльных в колонии несколько изменилась: конвиктов прибывало так много, что колониальное управление не всегда находило им работу; люди должны были жить в тюрьмах праздно, причем администрация уже начинала тяготиться заботами о постоянном содержании на свой счет ссыльных; поэтому с 1822–1838 гг. вводится новый обычай отдавать ссыльных в работы к частным хозяевам. Система эта называлась ассигнационной² (*assignment-system*). Вначале запрос на конвиктов в частную работу был очень ничтожен, так что правительство должно было давать премии тому, кто их брал; но впоследствии спрос на труд ссыльных до такой степени поднялся, что явилось даже соперничество и колонисты должны были платить за каждую голову ссыльного по 1 фунту стерлингов на одеж-

¹ Такое положение ссыльного продолжалось и до 40-х годов. («In those days the lash was the instrument of punishment resorted to often on the slightest accusation»). (Бич употреблялся при малейшем поводе). Mossman. P. 147.

² Система эта утверждена Статутом 1824 г. Stat. Geogr. IV, cap. 84.

ду и пищу. Ссылный за это отдавался в совершенную кабалу хозяину и даже не имел права работать на себя; сроки кабалы были очень значительны и доходили до 4, 6, 8 и 12 лет¹; частная кабала заменила с этого времени казенное рабство. Система эта, введенная в Австралии, была новым тяжким ярмом для ссылного. Конвикт совершенно зависел от хозяина, который мог его даже сечь; хотя впоследствии право это было отнято от него лично, но хозяину предоставлено было жаловаться на кабального окружному начальству, которое при разборе жалобы наказывало виновного 50 ударами плетей. Участь этих кабальных, как отзываются все историки, была ужасна.

Ассигнационной системой были порождены огромные злоупотребления, послужившие поводом к уничтожению ее в 1840 г. У дурного хозяина жизнь рабочего была невыносима: обременяя работой, хозяин в то же время «за малейший проступок или дерзкий ответ отсылал кабального в соседний магистрат, где ссылному давали от 25 до 50 ударов веревочной плетью, так что плечи его каждый раз обгадрялись кровью, пока жертва не теряла сознания. Иногда не делалось никакого дознания о вине наказуемого; при наказании не принималось никакого различия между образованным классом преступников и грубым и невежественным». Так характеризует Моссман это положение². Другой писатель, Ланг, представляет ту же участь кабального. Кабальный за дурное обхождение старался мстить хозяину: он ломал соху, жег стога сена, бегал, разбойничал и кончал жизнь на виселице³. Развращение, озлобление и преступления конвиктов не могли не давать себя чувствовать среди свободного населения, появившегося в Австралии. Язва ссылки оказывала свое действие на молодое об-

¹ Historical Sketch of the System of transport of criminals. Colonial Constitutions, by Artur Mills. P. 340, 351.

² Our Australian Colonies by Samuel Mossman. P. 147, 148.

³ Lang. Historical and Statistic account of New-South Wales. 1838.

щество. Ассигнационисты, живя в семействах, значительно развращали колонистов¹. Вследствие рабского положения ссыльного и его мести все более и более распространялись преступления. Ссылные разбегались, составляли целые вооруженные банды и нападали на свободных колонистов. Эти разбойники были очень известны под именем бушранжеров (*bushrangers*). Подобные шайки особенно свирепствовали в Тасмании, где иногда по целым месяцам и годам могли сопротивляться полиции. С 1809 до 1820 г. такое проявление разбоев было чудовищно. Вандименова земля (Тасмания), получая скопление самых опасных преступников из Нового Южного Валлиса, представляла множество опасностей для жизни. «Убийства, пожары, грабеж, – пишет Блоссвилль, – наполняли в это время хроники колоний»². Скоро положение колонистов было столь тревожно, что они начали посылать жалобы на опасность, которой подвергались здесь жители. Колонии в это время получали все более и более свободного населения, которое уже значительно превышало число конвиктов³. Это преобладание свободного населения заставило обратить внимание на положение ссылки, которая теперь приходила в столкновение с интересами свободных людей. С одной стороны, должна была развиваться здесь гражданственность с прочными гарантиями собственности и торговли, а для развития промышленности необходимы были мир и порядок, с другой – ссылка, наводняя год от года города и деревни преступниками, постоянно потрясала колонию преступлениями и устрашала частных жителей, нарушая их спокойствие. Соединяя всякий сброд, скопище мошенников, негодяев и разбойников и среду свободного и честного

¹ Mossman. P. 103.

² Blosseville. P. 221, 235, 236; Mossman. P. 145, 159.

³ В 1836 г. в Н. Ю. Валлисе было 48 965 свободных колонистов и 27 831 конвиктов, в Тасмании в 1838 г. – 23 000 свободных людей и 16 000 ссыльных преступников.

населения, ссылка представляла в это время много неестественного и несправедливого. Само положение ссыльных при ассигнационной системе мало способствовало теперь колонизации, так как земли отдавались свободным колонистам, а ссыльные оставались батраками и несли тяжелый рабский жребий на плантациях Нового Света. Все это заставило Англию обратиться, наконец, к пересмотру оснований своей ссылки и затем начать реформу. Поэтому комитет, избранный палатой общин, представил в 1838 г. следующие основания для ее реформы: 1) ссылка в Н. Ю. Валлис и Вандименову землю продолжается до тех пор, пока будет признано это практичным; 2) преступления, наказываемые ссылкой, должны быть наказываемы в будущем предварительным заключением и тяжкими работами в английских колониях, от 2 до 5 лет; 3) для поддержания дисциплины между конвиктами, приговоренными к заключению, и в предупреждение того социального зла, которое оказано ссылкой на опыте, назначалось построить пенитенциарии или одиночные тюрьмы (*penitentiaries*), *но в таких местах, где нет свободных поселений*¹. Эти основания показали, что Англия сознала в первый раз неудобства своей системы и желала прибегнуть прежде ссылки к исправительным средствам. Такой оборот дела совпал уже с реформой тюрем в Англии, начатой Гоуардом, и с новыми взглядами на наказание, внесенными Бентамом. Реформа была ускорена в 1840 г. Поводом к ней послужило явное неудовольствие, возникшее в Новом Южном Валлисе, куда в 1840 г. разом нахлынуло 42 000 ссыльных. Эта ужасная экспедиция возбудила негодование и ропот со стороны колонистов, давно уже жаловавшихся на ссылку; поэтому указом в 1840 г. велено было: 1) прекратить ссылку в Н. Ю. Валлис и вычеркнуть его из числа уголовных колоний, а ссыльных отправлять в Вандименову землю и на

¹ Official Docum. Report of Select. Committet 1837 year. Paper on secondary punishment by D. Heath. Parliamentary Reports 1887.

остров Норфолк; 2) положено было отменить систему за-кабаления (ассигнационную); 3) ссылку сделать дополнительной к тюремно-исправительному наказанию согласно проекта 1837 г. Такая система получила название системы испытаний – *пробационной*. Ссылных с этого времени стали перевозить в Вандименову землю и на о-в Норфолк, но чрезмерное скопление здесь ссылных породило новое зло: Норфолк превратился в вертеп разбойников, а в Тасмании развилось необыкновенное бродяжничество ссылных, праздность и преступления, которые отразились очень невыгодно на маленькой колонии. «Незанятые ничем и праздные толпы ссылных, – говорит Гольцендорф, – лежали здесь на больших дорогах, греясь на солнце. Сообщения современных очевидцев утверждают даже, что от правительства были назначаемы особые временные лица для того, чтобы собирать ссылных вечером спать и через это удерживать их от безнравственного поведения. В донесении законодательного совета колонии (Legislative Council), который был собран в Тасмании в 1846 г., говорится следующее о скоплении этих преступников: что удивительно, что подобным образом составленные союзы преступников образуют только массу гниющей безнравственности и рассадник ужасных преступлений, которые так глубоко укоренились и столь сильно распространены, что невозможно надеяться на введение законности в этой стране»¹. Надо заметить, что ужасные последствия ссылки проявлялись в то время, когда в Тасмании было уже население, и на 25 000 колонистов приходилось 16 000 ссылных². Такие результаты должны были заставить Англию искать нового выхода и новых мест для ссылки. Поэтому она стала рассчитывать на северную Австралию и на западную часть ее. Между тем *пробационная система* (probation system) или система

¹ Статья Гольцендорфа о ссылке в Das Staats-Lexikon. Encyklopädie der sämtlichen Staatswissenschaften für alle Stände. Hrsg. von Rotteck, C. T. Welcker.

² Our Australian Colonies by Samuel Mossman. Tasmania. P. 161.

«испытания» получила еще дополнение. В 1847 г. секретарь колоний Грей предложил сделать сокращение сроков одиночного заключения и высылать вместо этого преступников в каторжные работы; вместе с тем за хорошее поведение были применены в более обширных размерах условные отпуска (*ticket of leave*), которые с этого времени играют видную роль в английском наказании¹. Таким образом, Англия с 1846 по 1853 г. все более и более вводит тюремно-исправительную систему в число наказаний, а ссылку делает только дополнением к наказанию, и прежде всего желает обратить внимание на исправление ссыльных. Долгий опыт ссылки доказал значительные ее неудобства и отсутствие в ней исправительного влияния, если к ней не будет добавлено пенитенциарного воспитания. Наконец, ссылка с 1853 г. была ограничена только самыми тяжкими преступниками, приговариваемыми не менее, как на 14 лет, и каторжные работы не составляли необходимой ее принадлежности. В таком виде наказание это получило название уже не ссылки, а *уголовного рабства* (*penal servitude*). Несмотря на то, до 1856 г. Англия все еще пробовала пользоваться ссылкой, удержав за собой право содержать преступников *в заморских портах*. Поэтому при высылке каторжных из колонии сначала подвергали их работам в портах, а потом давали условную свободу; но скоро и такого рода перемещение преступников в колонии должно было прекратиться вследствие возникавших жалоб, так как ссылка теперь шла в места населенные. Падение ссылки было обусловлено и тем, что сами колонии не только населились, но и получили все права гражданства, а потому ссылка должна была сообразоваться с интересом колонистов. Уже давным-давно свободные колонисты Н. Ю. Валлиса, Тасмании, южной Австралии и Виктории жаловались на преступления и неудобства, порождаемые для них ссыл-

¹ Система уголовных отпусков превосходно очерчена лордом Греем. См. Colonial Policy of Lord John Russel's administration by Grey. V. II, letter 8.

кой¹. Неудовольствие это было так велико, что южные колонии постоянно обременяли парламент петициями, прося об отмене ссылки. Ссылка так заставляла все владения Англии, что мыс Доброй Надежды положительно отказался принимать ссыльных. Наконец, колонии, пользовавшиеся самоуправлением и полными условиями гражданственности, считали постыдным принимать теперь преступников в свою среду и иметь с ними общение; натянутые отношения колоний к метрополии, наконец, заставили правительство королевы сделать уступку требованиям колониальных парламентов, и ссылки были прекращены².

Все эти обстоятельства не могли не повлиять на ограничение ссылки и на изменение самой формы ее. Таким образом, постепенное ограничение и, наконец, окончательное падение ссылки мы находим далеко не случайным: оно зависело как от тех неудачных опытов, которые вынесла Англия, так и от перемены воззрений на само наказание. *Пробационная система* ее, то есть система с предварительным заключением и каторгой, не могла точно так же обеспечить исправления преступника; преступления продолжали по-прежнему проявляться в Австралии. Это видно по примерам Тасмании в 1846 г.; такое же увеличение преступлений отпущенными ссыльными (*ticket of leave-mans*) возникло в Виктории в 1855 и 1860 г.³; преступле-

¹ Такие жалобы были высказаны особой петицией Валлиса королеве в 1848 г. В среде колонистов, как известно, в это время сформировалась лига против ссылки. Тасмания, Виктория, южная Австралия, а впоследствии и западная Австралия присоединили свои жалобы и доводы против ссылки. В 1865 г. был по этому поводу составлен совет в Мельбурне, где агитация достигла значительной степени (*Blosseville, Mossman*). К этому присоединились представления колониальных парламентов, так как Австралия уже пользовалась самоуправлением.

² Ссылка в Н. Ю. Валлис отменена в 1851 г., в Норфолк и Тасманию – в 1853–1854 г. «Англия, – говорит Гольцендорф, – с того времени обязалась не ввозить в колонии без их согласия ни одного каторжного. С 1865 г. даже ссылка в западную Австралию постепенно уменьшается. Закон о прекращении ссылки в колонии утвержден статутами 1853 г.» (*Stat. 20 et 21 vict., c. 8*).

³ *Our Australian Colonies by Samuel Mossman. P. 305.*

ниями ссыльных в 1859–1860 гг. изобиловал и Квинсланд, одна из образованнейших колоний Австралии¹, пока из нее не убрали отпущенных каторжников; тогда преступления прекратились. Кроме того, пробационная система была вдвойне дорога для государства: она требовала иногда постройки тюрем в колониях и на континенте, требовала затрат на перевозку; ссылка в западную Австралию с 1857 г. за 10 лет стоила Англии 987 573 фунт. стерлингов, т. е. 180 фунт. на конвикта. Что касается до самого преступника, то совмещение одиночного заключения, каторги и ссылки было для него тройным наказанием, а потому жестоким и чрезмерным. Если при прежних взглядах наказание изгнанием, каторгой и тяжкими страданиями было признано как уголовная мера, не терпящая никаких уступок, то новые взгляды на наказание и прогресс уголовной науки не могли не потрясти этих воззрений. День ото дня мы видим, что юридическая справедливость все более начинает торжествовать в правосудии, видим, что цели исправления входят в способ наказания, человеческой жизни придается более цены, чем прежде, и на преступника желают повлиять возможно более гуманными средствами, заботливо стараются применить к нему способы исправления, нравственного перевоспитания и умственного развития, чего прежняя ссылка никогда не достигала. Вот почему Англия должна была уничтожить и ограничить ссылку и перейти к тюремно-исправительной форме². К тому же против ссылки высказывались не одни заинтересованные колонисты, но и такие авторитеты, как Бентам, Ромальи,

¹ Ibid. P. 23.

² Место ссылки заменили ныне в Англии каторжные работы в Гибралтаре и на Бермудских островах, откуда преступники, однако, снабжаются условными отпусками и переводятся, по окончании срока, назад в Англию. В Ирландии окончившим срок каторжно-исправительного наказания предлагается добровольное переселение в колонии; но такое переселение уже является скорее наградой, чем наказанием (см. *Гольцендорф Ф.* Ирландская тюремная система. С. 23–24).

такие компетентные судьи ссылки, как Грей, и такие практики, как м-р Джебб, инспектор английских тюрем. Ввиду несостоятельности этого наказания, замена его исправлением требуется всей пенитенциарной школой (Токвилем, Бэманом, Шарлем, Люка, Беранже и др.).

Согласно последним исследованиям и беспристрастным отзывам многих юристов, ссылка страдает следующими недостатками: 1) она составляет первобытный способ избавиться от преступника; 2) она не исправительна сама по себе; 3) она неравномерна в юридическом смысле; 4) она вредна и порождает преступления в той стране, куда высылаются преступники; 5) она очень дорога для государства, а капитал, затрачиваемый на перевозку и на дорожные издержки, составляет непроизводительный и невозвратимый капитал.

Вследствие всего этого переход ссылки к другим наказаниям явился совершенно законным и естественно необходимым.

Ежели в какой форме и может остаться еще ссылка, то это в виде высылки преступников в особые исправительные колонии или выселки вроде ферм, где бы были применены всевозможные заботы и попечения об устройстве ссыльных, а сами колонии снабжены были всем арсеналом исправительных средств, какие представляет пенитенциарная наука. Такие земледельческие работы ссыльных существуют под особым надзором в Ирландии, в 15 милях от Дублина; наконец, создано подобное учреждение в виде филиального заведения около Моабита. Ежели подобные земледельческие колонии создаются для малолетних, то нет препятствий устраивать их и для взрослых как переходное наказание. Ссылка в эти земледельческие колонии, имея целью исправление и приучение к труду, должна быть срочная и непременно снабжена условными отпусками так же, как условным и безусловным прощением (*conditionel pardon*), после чего может

быть даваемо дозволение на возвращение на родину или на приискание занятий в других населенных местностях. Срок пребывания в колониях будет естественным побуждением к исправлению. Такие колонии, конечно, должны быть созданы в местностях безопасных для прочего свободного населения. Мы полагаем, что они даже будут иметь преимущество перед самой тюрьмой как в гигиеническом отношении, так и в воспитательном. Устраняя казарменную жизнь, они будут приучать преступников к устройству самобытного хозяйства.

Сравнивая опыты русской ссылки с иностранной, мы находим, что хотя она во многом разнилась от английской, тем не менее вследствие общих свойств этого наказания она породила те же неудобства. Служа колонизационным целям, она была во многом неравномерна для преступника как наказание. Известно, что ссылка на поселение у нас существовала для многих таких преступников, которые должны были подлежать только срочному исправительному наказанию – в рабочем доме или арестантских ротах; кроме того, ссылка у нас обнимала громадное число административно-ссылаемых (до 80 000 в 20 лет)¹. Вечность ссылки делала ее уголовным наказанием самым тяжким, несоответствующим целям исправления. Заботы об устройстве ссыльных в Сибири, как мы видели, также не удавались, и она вела только к громадным издержкам и потерям правительства. Кроме того, наша ссылка не пролагала дорогу вольной колонизации, как в Австралии, но только следовала за ней. Наконец, наша ссылка, как мы указывали, имела, вследствие своей вечности, бедности ссыльного, неумения и нежелания его найти себе занятие, крайне деморализующее значение, как о том свидетельствуют многие писатели и местное сибир-

¹ Анучин Е. Н. Указ. соч. С. 26 (за период 1824–1846 гг.).

ское начальство, начиная с губернатора Степанова и кончая разными ревизовавшими Сибирь лицами¹.

Таким образом, продолжительный исторический опыт показал много невыгод нашей ссылки как в колонизационном, так и в исправительном отношении. Наша ссылка, имея местом своего назначения, с самого начала, местности, заселенные свободными жителями России, и, главное, местности в границах того же государства, неотделенная никакими физическими преградами, давала полную возможность возвращаться ссыльным обратно в пределы России, а ссыльную местность наполнять бродячим, праздным и нищенствующим народом. Все это служило поводом к тому, что самые ужасные преступники, по естественному влечению к свободе и родине, вторгались в самые недра России и, под влиянием преследований, совершали массу преступлений, а бродяжничество развилось в столь широких размерах, что подобный пример, по обширности этого явления, едва ли может представить какая-либо другая страна.

Все это наводит на мысль, что ссылка на поселение вопиет к тем же реформам, какие совершаются и в области каторги. Реформа эта, согласно историческому опыту как у нас, так и за границей, должна иметь в будущем три важных условия, она должна состоять:

- 1) в применении всех мер, способствующих исправлению преступника, как и в попечении об его устройстве на месте поселения;
- 2) в срочности наказания, то есть в условном освобождении из колонии по истечении известного срока;
- 3) в назначении для поселения мест вполне безопасных для гражданского населения, т. е. в устройстве отдельных колоний или выселков с особой администрацией в местах населенных и строго огражденных от побегов.

Опыт показывает, что никакие паллятивные средства, состоящие в усилении наказаний за побег с места посе-

¹ См. Максимов С. В. Сибирь и каторга. Ч. I. С. 281–283.

ления или назначения вознаграждения за поимку беглых, как это пробовали несколько раз делать в Сибири, не помогут делу. Точно так же, согласно английским опытам, нельзя думать, чтобы ссылка не породила тех же дурных результатов, если преступники будут ссылаемы и после предварительного исправительного заключения в тюрьмах, как предлагал Пассек. Тюремное заключение со своими настоящими ограниченными способами исправления не может представлять никакого ручательства в том, что преступник по выходе из тюрьмы не будет способен вредить свободному населению на месте ссылки, где он будет несравненно хуже поставлен, как в крае, ему неизвестном и антипатичном; если же исправление будет разумно выполнено в пенитенциарной или в отдельной исправительной колонии, то нет нужды наказывать преступника еще вечным изгнанием и подвергать его новому искушению бежать на родину вследствие естественных и глубоких инстинктов, не исторгаемых из сердца человека. Мы уже указывали, что при всякой обстановке лишение родины составляет столь тяжкое наказание, столь безнадежное, что человек скорее готов искупить его самыми тяжкими страданиями, долгими годами лишений, лишь бы в конце их оставалась хоть какая-нибудь надежда увидеть то, что им давно покинуто, но что вечно живет в его сердце.

II.

Очерки европейских пенитенциарных систем

По мере исчезновения варварских и жестоких наказаний, с постепенным развитием цивилизации, наказание лишением свободы приобретает все более места в истории европейских наказаний. Это происходит вследствие того общего закона, что человеческая природа становится гораздо чувствительнее ко всему опечаливающему, причи-

няющему страдание, чем в прежние века; нравы, обычаи, привычки, умственное развитие и комфорт цивилизации – все способствует смягчению наказаний. С успехами общественного развития, с усовершенствованием обстановки жизни не требуется уже прибегать к столь тяжким репрессалиям, к столь ужасным устрашениям и карам, которые соответствовали грубой и варварской натуре человека в периоде его раннего развития¹. Когда народы достигают высшего развития, тогда личная свобода и сумма прав личных и политических делается величайшим благом и одно ограничение этих прав становится уже достаточным наказанием. Вот почему все прежние наказания все более сводятся к одному лишению и ограничению свободы, а тюрьма в последнее время играет самую видную роль из всех наказаний; вместе с тем, согласно новым воззрениям науки, она изменяет свои цели и характер.

В древности и в средние века тюрьма носила исключительно карательный и уголовный характер, стремясь причинить преступнику возможно более пыток и страданий, заживо уничтожить его и погребсти его в землю. Таковы были древние подземелья и темницы, казематы Сервия Туллия, венецианские свинцовые тюрьмы, инквизиционные *Vade in pace*. Средневековые тюрьмы также служили только клоаками, где люди сваливались для гниения заживо без всяких забот о них. Вплоть до конца XVIII столетия европейские тюрьмы представляли именно подобное зрелище. В тесных и смрадных помещениях сваливались самые разнообразные преступники: убийцы, грабители и несостоятельные должники, женщины, дети, часто сумасшедшие – все жило в одной куче. Тюрьмы были очень дурно построены, и потому преступников держали

¹ О ненужности и невыгодности наказаний, причиняющих физические страдания, см.: *Бентам И.* Основные начала уголовного кодекса (*Бентам И.* Избранные сочинения. СПб., 1867. Ч. III. О наказаниях. С. 564–565. О сравнительной действительности наказаний нравственных); *Смит А.* Указ. соч. I. С. 43, 44.

в цепях во избежание побегов. Теснота и духота, скопление миазмов производили здесь страшные заразительные болезни, которыми заражались из тюрем и сами города; здесь, в этих помещениях, зрела так называемая тюремная лихорадка (gaol-distemper). Преступники оставались без всякого попечения; оборванные, голодные, съедаемые отвратительными насекомыми, они валялись на соломе. Дурное обращение наемных надзирателей глубоко деморализовало их. В тюрьмах господствовала праздность, а потому производилась игра в карты; постоянное пьянство и разврат доходили до неимоверной степени¹. Понятно, что эти тюрьмы были более источником развращения, чем исправления. «Наши тюрьмы, – говорит Бентам, – заключают в себе все, что только может заразить тело и душу». «В нравственном отношении тюрьма есть школа, где злодеяние преподается гораздо более надежным способом, чем когда-нибудь преподается добродетель»². Такое беспорядочное и бесчеловечное положение тюремного заключения с его деморализующими последствиями не могло, наконец, не обратить на себя внимания; и действительно, реформа тюрем начинается в конце XVIII века одинаково и в Европе, и в Америке. Стараясь очистить наказания от прежнего бесчеловечия, европейская наука стремится с этого времени взять преступника под свое покровительство и направляет все средства к облегчению его участи; европейские мыслители и практики стремятся устроить систему заключения, всего более соответствующую началам нравственной гигиены, основанную на исправительном воспитании, при посредстве которого можно было бы возвратить преступника возрожденным к социальной жизни. Исправлять человека, наказывая, предотвращать,

¹ Такую картину тюрем представляет Гоуард в 1777 г., «States of prisons in England and Wales»; о таком же состоянии французских тюрем уже в XIX веке // *Des Classes dangereuses*, Fregier 1840. V 2. P. 68, 269.

² *Бентам И.* Указ. соч. С. 567–568.

подавляя, сделать господствующей нравственную силу над материальной, развить честные наклонности настолько же, как и подавить дурные, – такова была первоначальная формула возникавшей пенитенциарной науки.

Улучшение тюремного быта и изыскание средств исправления, между прочим, составляло уже довольно давно предмет забот различных правительств. Несправедливо думают, будто изобретение пенитенциарий принадлежит исключительно Вильяму Пенну, а практическое приложение их – одним американским квакерам: мысль о домах покаяния (roenitentia) являлась во Флоренции еще в 1677 г. Папа Климент XI желал основать такой исправительный дом в 1703 году. Мария Терезия применяет подобный план для исправительной тюрьмы в Милане в 1772 году. Вопрос о тюремно-исправительном заключении занимает Гоурда с 1773 года, а в 1778 г. издается закон о заведении пенитенциариев в Англии. Совпадение этих стремлений к исправительному наказанию в различных местностях и на различных широтах земного шара указывает только на то соответственное развитие новых взглядов на наказание, которые выработались единодушно под влиянием общих условий цивилизации.

Реформа тюрем и попытки создать исправительное наказание начинаются в Европе и Америке почти за полтора столетия до нашего времени, а 80 лет тому назад исправительное заключение получает в Европе практическое осуществление. Таким образом, по тюремному вопросу Европа далеко опередила нас, как и во всем остальном; поэтому восьмидесятилетний ее опыт, как и история пенитенциарных систем, ввиду только начинающейся у нас тюремной реформы могут быть для нас очень поучительны.

К сожалению, насчет существования и развития пенитенциарной системы у нас в России существуют крайне смутные понятия. Когда поднят был вопрос о преобразовании тюрем, то при суждении о применимости у нас

исправительного наказания явилось два различных воззрения: одни, предпочитая западно-европейские опыты, склонились к рабскому подражанию какой-нибудь одной системе, другие отнеслись вполне отрицательно к пенитенциарной практике и увидели в европейских системах одно утонченное варварство, одно страшное истязание духа, несоответственное гуманности и человеколюбию, свойственным нашему веку. Поэтому в то время, когда одни без разбора желали осуществления прежних американских пенитенциариев, о которых только что они прочитали в старых и отживших европейских книгах (например, у Бомана и Токвиля или у Деметца и Блюэ), другие, имея столько же понятия о пенитенциарных системах, т. е. не умея представить их без одиночного заключения и плети, решились протестовать против всяких заимствований у европейцев *и даже желали оставить наши тюрьмы в том положении, в каком они находятся*. Замечательно, что за реформу в этом случае стояли наши консерваторы, а за status quo выступали либералы. Нечего говорить, что те и другие взгляды явились только вследствие полного нашего невежества, отсутствия всякой критики и совершенного незнакомства с историей пенитенциарных систем. У нас всегда уж так ведется, что мы или до такой степени подражаем, что перенимаем западные образцы со всеми их недостатками, от которых сама Европа отказывается, или, заметив какой-нибудь недостаток и несовершенство, решаемся огульно отрицать весь европейский опыт, весь результат науки и остаемся остроумными отрицателями и в то же время людьми, не имеющими ни малейшего понятия о том, что сделано и делается в самом деле в западно-европейской науке. Поэтому у нас множество, с одной стороны, заступников за европейскую ветошь, которую сбросила и сбрасывает сама Европа, и с другой – множество педантов, судящих о Европе по таким явлениям, которые остались в ней от средневековой жизни и составля-

ют ныне аномалию. Если мы отрешимся от теоретических и абстрактных споров об одиночной или противоположной системах, понимаемых каждым по-своему, и обратимся к историческому исследованию, то увидим, что в применении пенитенциарных систем и одиночного заключения европейская практика пережила долгий опыт, потерпела множество видоизменений и доработалась до известных определенных выводов и начал, которые составляют неоспоримые истины в науке исправления и могут служить важным для нас уроком.

Уже с первого взгляда мы видим, что пенитенциарная система имела самые благородные цели: она вносила стремление исправить преступника, перевоспитать его, воспользоваться его внутренними мотивами, чувствами, чтобы возбудить в нем раскаяние о дурных его поступках и направить его к лучшей деятельности. Кроме того, система эта положила начало гуманному воззрению на преступника и христианскому, человеколюбивому обращению с ним. Все это было чрезвычайно важно при сравнении со старыми приемами наказания и прежними воззрениями, усвоенными грубой тюремной практикой.

Оставляя в стороне исключительные недостатки прежних пенитенциарных систем, мы обратимся к тем их достоинствам, которые дали им преимущество перед прежними наказаниями, т. е. к тем лучшим и верным исправительным средствам, которые восприняты в последнее время европейской исправительной практикой. Первое, чем ознаменовалось преобразование тюрем, – это устройство лучших помещений для преступников: новые пенитенциарии уже не походили на старые, гнилые, грязные и тесные остроги; чистота, опрятность и гигиенический способ содержания отличали их с первого раза; в последнее время Европа достигла в устройстве своих тюрем даже замечательной роскоши; различные государства Европы как будто даже силились перещеголять

друг друга в постройке таких зданий, как Пентонвиль, Мильбанк, Мазас, Моабит, которые могли бы быть приняты за дворцы, построенные для народа, если бы не тяжкие нравственные мучения, которые там подчас испытываются... В отношении к гигиене здесь сделано все, чего можно только желать от европейской цивилизации; Мазас, например, стоивший Франции 5 000 000 франков, по словам Пьетра-Санта, построен по хорошо обдуманному плану: система вентиляции и снабжения воздухом заслужили полное одобрение двух комиссий, составленных из знаменитых ученых, как Араго, Гей-Люссак, Рулье, Буассиньоль и другие¹. Приноровленное к гигиеническим требованиям устройство тюрем имело последствием уменьшение болезней в пенитенциариях; так, например, в Мазасе, несмотря на уединение, физическими недугами арестанты страдали гораздо менее, чем при общем заключении в *Vielle Forge*, и сама смертность значительно уменьшилась: в прежних помещениях во Франции смертность равнялась 67%, в пенитенциарии только 22%². Пенитенциарные тюрьмы снабжены и другими удобствами: обширные залы, стеклянные галереи и богатое хозяйство (как, например, в Моабите, где при кухне существуют паровые машины), водопроводы и всевозможные удобства обогащают эти новые тюрьмы. При улучшении помещений, достигшем столь громадных успехов, европейская тюрьма отличается вдобавок хорошим и здоровым содержанием арестантов: снабжение хорошей пищей, хорошим бельем, теплой одеждой составляет неперемнное условие, перешедшее в тюрьму из нравов европейской цивилизации. Во французских тюрьмах арестант снабжается галстуками, носовыми платками, шарфами, не говоря уже о том, что он пользуется чистым и постоянно переменяе-

¹ Pietra-Santa. Mazas, Etudes sur L'emprisonnement cellulaire et la folie pénitentiaire. 1858. P. 21.

² Ibid. P. 35, 36.

мым бельем; английские тюрьмы отличаются особенно роскошью пищи: кроме мясных блюд, здесь отпускается чай, пиво и какао. Достаточно сказать, что содержание английского арестанта гораздо лучше, чем содержание английского работника, как замечает Луи-Блан в своих письмах об Англии. Это обстоятельство даже возбудило однажды негодование английского общества, приписавшего хорошему содержанию арестантов увеличение преступлений в Лондоне, хотя голод на свободе ничего не имел общего с здоровым содержанием в тюрьме; инспектор тюрем полковник Джебб впоследствии неопровержимо доказал, что питание английского арестанта ничуть не превышает естественных потребностей человека. И в самом деле, если бездна лиц на свободе питается дурной пищей, то как будто это доказывает, что и арестанта следует кормить, во время тяжкого заключения его, также дурно!.. Вообще на комфорт европейской тюрьмы и хорошее содержание арестанта нельзя смотреть как на предмет ненужной роскоши; напротив, чистота содержания, внушая хорошие привычки, имеет столько же гигиеническое значение, сколько и морализующее: внешняя опрятность в привычках способствует и внутренней; это заметил уже Бентам, говоря об улучшении общественных нравов.

Переходя далее к тем способам и исправительным приемам, которые выработаны пенитенциарной практикой и оправданы опытом европейских и американских тюрем, мы должны сказать, что новая рациональная система тюремного исправления основана прежде всего на труде, обучении и гуманном обращении с преступником. Эти средства дали положительно благоприятные данные в деле исправления и послужили к обеспечению порядка, дисциплины и доброй нравственности в тюрьме.

Не имея в виду подробно указывать применение этих средств в Европе, мы напомним, что труд является ныне необходимой принадлежностью европейской тюрьмы и

введен не только при общем, но и при одиночном заключении, чего в первое время одиночная система избегала. Современные защитники одиночного заключения, как Миттермайер, Деметц и Беранже, положительно признают его плодотворным в исправлении, а Росси доказывает даже пользу принудительного труда (*Traité de droit Pénal*, t. 2, p. 307 и 308). Соответствуя естественной и органической потребности человека, как упражнение мускулов и нервов, работа в тюрьме имеет, кроме того, громадное воспитательное значение: приготавливая впоследствии к прочному обеспечению в жизни, она спасает преступника от тех деморализующих влияний, которым он был бы подвержен при ее недостатке; большинство пороков и преступлений в прежних тюрьмах развивалось именно вследствие отсутствия занятий. Европейская тюрьма, занимая работой преступника, предоставляет для этого всевозможное разнообразие занятий: их насчитывают в некоторых тюрьмах от 40 до 90. Обучение ремеслам составляет главную цель труда и придает ему исправительное значение. Человек, постоянно занятый трудом, незаметно приобретает привычку к нему; работа делается его органической потребностью; а это и составляет могущественное средство к предотвращению нового падения; в то же время исправляемый приходит к прочному сознанию, что без труда ничего не дается, что труд есть источник жизни и непрменная принадлежность человеческого существования. На этом морализующем начале основал всю систему труда Макончи на о-ве Норфолк; постепенное увеличение платы за труд как награда за хорошее поведение с большим умением применена в ирландских тюрьмах; наконец, труд как развитие умственных, художественных и артистических способностей блистательно и с особенным успехом применен в прусском Маобите. Нечего говорить, что в приучении к труду необходимо пользоваться склонностями каждого отдельного арестанта, не делать труд его

исключительно механическим, чрезмерным и не эксплуатировать его в пользу промышленных целей, как это делается во французских тюрьмах: настоящая пенитенциарная практика употребляет труд не как спекуляцию, а как разумное педагогическое средство.

Такие же превосходные результаты в деле исправления дало обучение и образование арестантов при тюрьмах. Поэтому школа является постоянной принадлежностью европейской тюрьмы и местом ежедневных занятий для арестанта. Необходимость этого осознана тем более, что занятый часто механическим трудом арестант требует точно так же и упражнения умственных способностей. Европейская тюремная практика столь ревностно относится к этой принадлежности исправления, что в ирландских тюрьмах, как мы уже приводили, обучение не опускается даже после тяжкого дневного труда. Обучение в новых тюрьмах является обязательным, как и труд; там, где население всего более страдает невежеством, где оно более всего безграмотно, там всего более забот об обучении арестанта, как, например, в Ирландии, где из поступающих в мотитджойскую тюрьму было 96% таких арестантов, которые не имели положительно никаких элементарных познаний. О том, какие важные результаты получаются от обучения арестанта, от его умственного и нравственного развития, мы уже говорили; теперь нам остается только заявить, что, помимо всех других средств, на одном обучении уже может держаться вся исправительная система и что им одним может быть поднято исправление преступника до высшей степени, какая только доступна человеку для совершенствования.

Столь же полезным и вполне оправданным на опыте средством к исправлению оказалось изменение самого обращения с преступником в новой европейской тюрьме. Одним из главных источников развращения арестанта, как сознается европейская практика, в старой тюрьме служи-

ло дурное и грубое обращение надсмотрщиков. «Подчиненные мелкому деспотизму низших надзирателей, – говорит Бентам, – испорченных зрелищем преступления и обычаем тирании, эти несчастные (т. е. преступники) могут быть отданы на жертву тысяче безвестных страданий, которые ожесточают их против общества и делают нечувствительными к наказаниям. В нравственном отношении поэтому тюрьма была школой злодеяния»¹. Изменение обращения с человеком должно было подействовать само собой морализующим образом. Как ни лицемерным казалось обращение американских квакеров с уединенным узником ввиду его тяжелых душевных мук, как ни противна была эта сладкоречивая беседа ввиду причиняемых страданий, но мы все-таки должны признать в этом начало христианского и человеколюбивого обращения с личностью: оно было все-таки лучше пинков и ругательств. С того времени в самых строгих пенитенциариях введено было терпеливое, скромное и попечительное отношение к преступнику; и чем правила тюрьмы были строже, чем неукоснительнее требовалось их исполнение, тем с большей вежливостью обращались к преступнику в сношениях с ним, хотя наказания, употреблявшиеся в случае вины, согласно уставам тюрьмы, были и тяжки. Могут заметить, что эта вежливость была слишком тягостной и составляла одну формальность; но зато формальная сторона дела выражала уже то, что должно было составить скоро и внутреннее содержание пенитенциарной системы. Надо заметить, что европейская тюрьма относится к личности с величайшей заботливостью, с величайшей щекотливостью и, принимая человека в свои недра, почти забывает о его преступлении и ничем не напоминает о его преступности в обхождении с ним: она смотрит на него как на больного, требующего величайших забот, величайшего терпения и хладнокровия. Служитель исправитель-

¹ Бентам И. Указ. соч. С. 567–568.

ной тюрьмы – медик, священник, – должен быть всегда спокоен; исполненный своих высоких обязанностей, он не должен поддаваться ни на минуту личному чувству и быть на все готовым, даже на самопожертвование, – такой взгляд на отношение к преступнику устанавливает пенитенциарная наука.

Исправительная тюрьма пришла, таким образом, к заключению, что дисциплина тюрьмы гораздо лучше поддерживается силой добрых отношений, чем постоянным страхом, угрозой и грубым приказанием.

Что касается внешней дисциплины и порядка разъединения арестантов, которому в прежнее время придавалось столь важное значение, то строгость прежнего уединения преступников и удаления их от сношений как с посторонними людьми, так и между собой, потерпела значительные изменения. В этом случае ни система строго келейного заключения, все еще поддерживаемая теоретиками, ни система молчания не могут считать свое дело удовлетворительно выполненным. Если мы рассмотрим 80-летнюю историю пенитенциарных тюрем, то мы увидим, что одиночное заключение пережило множество фазисов и в настоящее время значительно изменило свой вид и характер. Филадельфийская система, имея в виду уединением возбудить раскаяние, скоро убедилась, что уединение без занятий приносит слишком дурные результаты; поэтому при одиночном заключении был допущен труд, затем понемногу введено обучение в школе и, наконец, учащены сношения уединенного узника с учителями, священниками и надзирателями. Перенесенная на европейскую почву, келейная система совершенно изменила свой принцип абсолютного изолирования преступника, но поставила правилом «запрещать только сношения вредные, дозволяя все сообщения здоровые», как формулировал эти основания Pantignac de Villars. В то же время сами защитники одиночного заключения пришли к выводу, что

уединение, чтобы быть исправительным, требует общих мер, т. е. труда и обучения¹.

Таким образом, уединение значительно утратило свой опасный характер в тех пенитенциариях, где сношения с преступником были более часты и где ему давалось возможно более упражнять свои способности. Моабит, в котором поддерживаются постоянные сношения с келейно заключенным и где ему предоставляется разнообразие занятий, случаи самоубийств и сумасшествий начали уменьшаться с 1857 г. Точно так же временное уединение в ирландских тюрьмах, перемежающееся сношениями в школе и сообществом в церкви, не показывало никаких вредных результатов на умственные способности заключенных. Зато строгое и долгосрочное уединение везде оказывало самые страшные последствия. Случаями сумасшествий, галлюцинаций, самоубийств изобиловали все строгие европейские пенитенциарии, начиная с Пентонвилля, Мильбанка и кончая Мазасом и Моабитом. Как мы говорили, самоубийств в Мазасе было в 12 раз больше, чем при общем заключении; поэтому келейная система окончательно потеряла кредит в Европе, а Франция с 1853 г. совершенно отказалась от нее, ввиду фатальных ее последствий². Эта система на практике обнаружила множество недостатков, в числе которых должны считаться: 1) вред для здоровья, 2) убийство энергии, 3) оупение и умственный застой, 4) убийство социальных наклонностей и способности к общежитию, 5) раздражение и озлобление преступника, развитие в нем скрытности и порча его характера, 6) невозможность определить степень исправления преступника, 7) невозможность действовать на чувство чести в преступнике и возбуждать в нем со-

¹ *Mittermaier C.J.A.* Die Gefängnisverbesserung, insbesondere die Bedeutung und Durchführung der Einzelhaft. Erlangen, 1858. S. 119.

² *Circulaire Ministeriel du 17 août 1853.* Вред одиночного заключения признан также французской академией, и против него единодушно высказалась пресса. См. *Opinion de la Presse. Pietra-Santa, Mazas, troisieme edition.*

перничество, 8) отсутствие выгод общественного труда и невозможность взаимного обучения, 9) громадные и невознагражденные издержки для государства, дороговизна помещений, множество надзирателей, устроенный и учетверенный комплект учителей и т. д. Таковы невыгоды этой системы, которую осуществить вполне и применить во всех тюрьмах не могло и не имело средств ни одно государство, так что сами келейные тюрьмы остаются только редким исключением в Европе.

Вслед за системой абсолютного уединения преступников должна была отступить от своей первоначальной программы и ее соперница, система аубурнская, старавшаяся, при соединении преступников во время работ, привести их к условиям абсолютного молчания (*silent system*). Система эта уже с первого раза не могла быть осуществлена практически ни в Аубурне, ни в Син-Санге и послужила поводом к постоянным нарушениям молчания, так как искушение в соседстве людей было слишком велико; поэтому с первого же раза она ввела и тяжкие телесные наказания, чтобы понудить к повиновению. Но несмотря на телесное наказание и на постоянное его применение, сношения между арестантами продолжались: они разговаривали знаками, записками и т. д.¹ Таким образом, скоро эта система показала свою несостоятельность, и арестантам начали постепенно позволять говорить шепотом или разговаривать во время отдыха. К тем же последствиям пришла эта система и в Англии. Вот что сообщают о судьбе ее здесь Деметц и Блуэ в своих пенитенциарных отчетах. В Кольбатфильде эта система привела к страшным телесным наказаниям, а между тем нарушения дисциплины были так часты, что число наказаний в 1836 г. возросло до 5138; в 1838 г. телесные наказания поднялись до 9750 на население в 13 812 человек преступников. В исправительном доме в Виекфильде, основанном на правилах молча-

¹ Des Classes dangereuses. Frégier. 1848. V. 2. P. 286.

ния, число наказаний возвышалось до 12 445 на население в 3438 человек. Наконец, во всех других островах Англии, принявших систему молчания, насчитывали 54 825 телесных наказаний на 104 495 арестантов, содержащихся в тюрьмах¹. Потому-то замечательные знатоки тюремного дела в Англии Крауфорд и Россель высказались против этой системы, признавая ее неосуществимой и вредной². Точно так же не могла привиться система молчания и в Швейцарии в лозаннской тюрьме, где делались очень долгие попытки к ее применению. Преступники здесь общались непременно тем или другим способом, и чем больше их преследовали, тем утонченнее они придумывали хитрости, ускользавшие от бдительности начальства³. Наконец, система молчания совершенно пала во Франции, которая хотела применить ее в своих тюрьмах после одионого заключения, и ныне, как говорит г-н Галкин в своем отчете о французских тюрьмах, она решительно не прилагается здесь во всей строгости (Материалы к изучению тюремного вопроса. С. 70–84). Начальство лозаннской тюрьмы пришло также к заключению, что устранить сношение решительно невозможно, точно так же, как и изгнать разговор; поэтому правило это служит здесь только удерживающим средством (Галкин. С. 126, 125). Наконец, молчание во время работ введено было в одном из переходных классов ирландской системы, но, по словам Гольцендорфа, оно и здесь не применяется строго⁴.

Все это показывает, что системы уединения и молчания в строгом и абсолютном значении не могли нигде быть осуществлены в европейских тюрьмах и ныне применяются только в весьма ограниченном размере и на са-

¹ Rapport sur les pénitenciers des Etats-Unis, par Demetz et A. Blouet. Paris, 1838. P. 42. Rapport de m. Moreau-Christophe sur les prisons de l'Angleterre. 1839. P. 70.

² Moreau-Christophe. Ibid. P. 71.

³ Des Classes dangereuses Fregier, v. 2, p. 292, 293.

⁴ Гольцендорф Ф. Ирландская тюремная система. С. 53.

мое короткое время как мера предварительного дисциплинирования преступника в тюрьме. Такое значение оно имеет, например, в ирландской системе. Точно так же опыт доказал, что нет ничего вреднее, как прибегать к суровым наказаниям для удержания от разговоров: это ведет совершенно к обратным результатам, потому что раздраженный и поставленный в неприятные отношения к начальству арестант начинает только больше нарушать запрещение. В заключение всего признано, что долгое одиночество и молчание, где они выполнялись, не только не действовали исправляющим и развивающим образом, но давали совершенно противоположные результаты. В этом отношении в высшей степени справедливы замечания, сделанные Спенсером насчет келейного заключения и системы молчания. Они, пишет он, отучают от общительности и развивают антисоциальные инстинкты и убивают энергию. «Известно, что в этом случае продолжительное лишение всякого общения с людьми, – говорит Спенсер, – нередко ведет заключенных к болезням или потере рассудка, а в тех, которые остаются здоровыми, тяжелое влияние этого лишения неизбежно производит серьезное общее ослабление как тела, так и ума... По нашему мнению, большую долю кажущегося успеха надо приписать этому общему ослаблению, которое хотя и делает человека неспособным к преступлению, но вместе с тем делает его неспособным и к работе, т. е. убивает энергию и всякую активность. Таким образом, – заключает этот мыслитель, – есть совершенно достаточные, т. е. вполне фактические основания предполагать, что постоянное безмолвие и уединение, подавляя ум и подрывая энергию, не могут вести к исправлению человека» (113).

Из этого видно, что европейская пенитенциарная теория и практика приходят постепенно к противоположным выводам и освобождаются от своих первоначальных недостатков; поэтому разъединение преступников не

только не составляет главного условия исправительного наказания, но и признается, после долгого применения его, положительно вредным.

Идея о необходимости абсолютного разъединения преступников и их изолирования, как известно, возникла в то время, когда европейская тюрьма при общем заключении представляла ужасные беспорядки, где, как мы говорили, голод, праздность, дурное обхождение усиливали деморализацию. Из этих последствий дурного применения общего заключения реформаторы заключили, что единственная причина всех зол есть соединение преступников. Такое предположение совершенно соответствовало тогдашнему взгляду на преступника, на которого смотрели как на человека, обладающего одной злой волей, злыми наклонностями и не имеющими ничего человеческого; по этому взгляду, из соединения злодеев должно было выйти злодейство, возвышенное в ту степень, какой равнялась сумма сосредоточенного в тюрьме преступления. Подобные воззрения на тюремную общину как на источник *заразы*, высказывались постоянно как западными криминалистами, так и другими писателями. Эжен-Сю в своих *Mysteres de Paris*, между прочим, яркими красками обрисовывает недостатки общего заключения, видя главную вину в соединении преступников. «Заразительное и гнусное влияние общих тюрем приносит свои плоды, – говорит он, – и если бы преступники были в келейном заключении, эти несчастные избавились бы от заразы и находились бы лицом к лицу с мыслями о своих преступлениях». Сам Бентам, объясняющий порчу тюрем скукой, мщением и нуждой, говорит, что соревнование только усиливает здесь преступления, что все поднимаются до уровня того, кто всех испорченнее, и т. д.¹ Вследствие таких-то соображений европейские теоретики сосредоточили внимание на одну причину

¹ Бентам И. Указ. соч. С. 568.

зла, тогда как в старой системе было их множество. Признавая главным недостатком соединение преступников, они предположили, что разъединение должно повести к противоположным результатам, и поэтому для исправления преступников признали необходимым самое строгое изолирование их. Здесь человеческий ум действовал по тому же диалектическому закону, по которому мысль переходит от одного положения к противоположению, как, например, в историческом переходе от эпикуреизма к аскетизму, от полового разврата к скопчеству и т. д. Скоро европейская практика убедилась, что противоположный принцип, поставленный ею, так же вреден и несостоятелен; поэтому она начала искать лекарства в других исправительных средствах; наконец, опыт ей доказал, что при рациональной педагогической системе, при применении лучших исправительных средств общее заключение и общие работы преступников не представляют такой опасности, какую воображали. Лучшая из систем, ирландская, после предварительного дисциплинирования, не задумывается соединять преступников и не находит в этом ни малейшего неудобства. Совместная жизнь преступников, устроенная на рациональных началах, при удовлетворении естественных и нравственных потребностей человека, при занятии их трудом и проч., не представляет, как доказал опыт, ничего опасного. Вот что пишет, например, знаменитый управитель смитфильдской тюрьмы в Ирландии, Орган: «Большинство людей ошибается, – говорит он, – полагая, что большая часть преступников не имеет ничего общего с другими человеческими существами. В течение двенадцати лет до назначения меня преподавателем в смитфильдское заведение, я был постоянно учителем взрослых и, по собственному опыту в Смитфильде, никак не мог убедиться в существовании какого-либо различия в отношении души, страстей и ощущений между обыкновенным классом арестантов, с которыми хорошо

обращаются, и средним классом общества, находящимся на свободе и ведущим тот же образ жизни»¹.

Примеры и опыты других европейских практиков доказывают то же самое; общая жизнь преступников при существовании всех необходимых исправительных средств, при гуманном отношении к преступнику и при изгнании прежнего варварского обращения дала самые благоприятные результаты и лучшие гарантии порядка, спокойствия и дисциплины тюрьмы. Вот один из множества фактов, подтверждающих это. В мюнхенской государственной тюрьме Обермайер нашел от 600 до 700 заключенных, дошедших до крайней степени неповиновения. Производимые ими беспорядки заставили прибегнуть к самым суровым и строгим мерам; все заключенные были скованы, и к каждой цепи была прикреплена железная гирия, которую даже самые сильные из заключенных с трудом могли волочить за собой. Стража состояла почти из 100 человек солдат, стоявших не только у ворот и вокруг стен, но и в коридорах, рабочих камерах и спальнях; самой странной из всех мер против возможности возмущения и буйств было то, что на ночь спускалось на дворах и в коридорах от двадцати до тридцати огромных и злых собак, которые должны были охранять двор и коридоры. Судя по рассказам, это был настоящий Пандемониум, заключающий на пространстве нескольких акров самые дурные страсти, самые рабские пороки, самую бездушную тиранию. Обермайер постепенно смягчил эту суровую систему; он значительно облегчил вес цепей и даже совсем уничтожил бы их, если б это было дозволено; собаки и большая часть стражи были удалены; с заключенными стали обходиться так, чтобы приобрести их доверие. М-р Байлльи Кокрен, посетивший эту тюрьму в 1852 г., говорит, <что> тюремные ворота были широко отворены, без всяких часовых у дверей; стража состояла только из двадцати человек, праздно проводивших время

¹ Гольцендорф Ф. Ирландская тюремная система. С. 87.

в караульне, находившейся довольно далеко от входа; ни у одной двери не было ни запоров, ни засовов; единственной мерой предосторожности служил обыкновенный замок, и так как в большей части комнат он не запирался почти никогда на ключ, то заключенные свободно могли выходить в коридор... В каждой рабочей комнате назначался старшина из числа заключенных, отличавшихся лучшим поведением, и г-н Обермайер уверял меня, что если какой-нибудь заключенный нарушал какое-либо постановление, все его товарищи говорили ему «это запрещено», и редко случалось, чтобы он не послушал их... В стенах тюрьмы производятся всевозможные работы, которые приносят им большие выгоды. Результат всего этого тот, что каждый заключенный содержит себя собственным трудом; излишек же его заработков отдается ему при освобождении и дает возможность избежать лишений в первое время после освобождения. Кроме того, заключенные «в свободное время собираются без всякого вмешательства в их сношения, но в то же время под бдительным надзором и контролем»; г-н Обермайер многолетним опытом убедился, по-видимому, что вследствие такого порядка нравственность улучшилась. В действительности успехов Обермайера мы имеем свидетельство не одного только Байллы Кокрена, но и Таунзенда, Джоржда Комба, Матью Гилля и сэра Джона Мильбанка.

Подобный же пример представляет колония Метрэ во Франции, где при рациональном педагогическом воспитании и надзоре малолетние преступники живут в «*Colonie Agricole*», не имея ни стен, ни оград для тюремных целей, и помещаются целыми семьями в домах. Но еще удивительнее представляет пример общественной жизни и общественных работ с их воспитательным и разумно примененным способом система капитана Макончи на о-ве Норфолк. Преступники здесь содержатся собственным трудом, но живут общественной жизнью, конечно, под

надзором. Вся педагогическая система тюрьмы основывалась на применении основ рационального труда и строгого распределения заработка, которым преступник должен был сам удовлетворять свои потребности. Эта разумно примененная система дала самые благоприятные результаты в деле исправления, несмотря на совместную жизнь. Капитан Макончи притом имел дело с самыми деморализованными преступниками. В четыре года он отпустил в Сидней из числа находившихся под его руководством лиц до 920 человек, во второй раз из них только 20 человек, или 2%, были осуждены до января 1845 г., между тем как в Вандименовой земле, где с преступниками обращаются иначе, пропорция вновь осужденных была 9%.

Подобное же влияние исправительных средств, постоянных работ и обучения ремеслам, несмотря на общественную жизнь, представляют и другие тюрьмы, как, например, тюрьма в Валенсии, описанная в книге Гопкинса «Spain as it is». В этой тюрьме, по его словам, содержится до тысячи заключенных; они живут совершенно мирно, занятые работами, которых разнообразие замечательное; притом здесь каждый занимается сообразно своему призванию. В целом заведении нет более 3 или 4 сторожей; тюрьму караулит дюжина старых солдат, и вовсе нет никаких запоров и замков, которые бы трудно было сломать. По-видимому, здесь нет никаких предосторожностей, кроме тех, какие предпринимаются в частных домах, и при всем том порядок не нарушается. Все это делается при помощи постепенных облегчений арестанту и разумного обхождения с ним; арестант первоначально является в тюрьму закованным, но по мере хорошего поведения получает льготы. Такое превращение могло считаться «истинным чудом», говорит Гопкинс. Какие результаты достигнуты были при таком управлении, свидетельствует то, что против прежних лет число вторично совершивших преступление уменьшилось с 30% и 35% до 1%. В послед-

ние три года с 1835 г. в этой тюрьме не было даже ни одного подвергнувшегося вторичному заключению¹.

Все эти опыты, одновременно совершаемые в различных государствах: в Ирландии, во Франции, в Испании, Германии и даже на далеких островах Австралии – дали положительно новое направление европейской пенитенциарной науке. Они заставили взглянуть на дело наказания совсем не так, как смотрели до этого времени. Прежняя система думала действовать на преступника одним механическим принуждением, одним страхом тяжких наказаний; но долгим опытом дознано, что такое отношение к преступнику только озлобляло его и вынуждало к сопротивлению; новая пенитенциарная педагогическая система старается возбудить совершенно иные мотивы в душе человека, чем ужас и страх телесного наказания, и воспользоваться его личным интересом, стараясь привлечь этим к доброму поведению. Ирландская система, как известно, состоит из целого ряда постепенных облегчений, постепенных переходов из класса в класс, обусловленных различными смягчениями; при этих переходах сама дисциплина значительно смягчается; преступникам при успехах в труде и поведении, сверх того, даются наружные отличия – «регистрационные» и «контрольные» марки; им возвышается и плата за труд, имеющая вид награждения (*gratuities*). Исправление по системе Макончи также основано на денежном интересе и на увеличении заработка, из которого делаются вычеты в случае проступков и небрежности арестанта. «Эта система, – говорит сам Макончи, – дала мне средства для расплаты за труд, а затем и средства наказания. Одно давало мне готовых и постоянно улучшавшихся рабочих, другое спасло меня от необходимости прибегать к жестоким и деморализующим наказаниям». В то же время и в Англии, и в Ирландии для поощрения

¹ Спенсер Г. Этика тюрем // Спенсер Г. Собр. соч. Т. 2. Научные, политические и философские опыты. СПб., 1867. Вып. IV, V. С. 143–144.

преступника к хорошему поведению введены сокращения сроков наказания, «условные отпуска», и «условное» и «безусловное прощение», которые послужили самым могучим средством к утверждению нравственности в тюрьме и способствовали нравственному совершенствованию преступника. В этом случае лично заинтересованный и желающий получить скорее облегчение арестант естественно стремился к тому, чтобы более всего сообразоваться с правилами тюрьмы и точнее выполнять их; воля его была направлена не столько к доставлению себе приятного развлечения в сообществе, сколько к тому, чтобы независимо от других скорее окончить срок своего наказания, сосредоточивая все внимание на свои поступки.

Таковы начала, к которым приходит европейская тюремно-исправительная система для поддержания дисциплины. Но, кроме того, постепенное расширение свободы преступника важно и в другом отношении: постепенное предоставление ему самому управлять своим поведением служит превосходным средством для выработки характера, содействует нравственному закалу человека и научает владеть собой. Это также составило одно из важных педагогических начал, послуживших для исправления в усовершенствованных ирландских тюрьмах. Выработка характера составляет главную цель в так называемых переходных заведениях (*intermediate prisons*): поведение арестанта здесь ничем не стеснено; ему предоставлено <право> расходовать свои деньги как угодно и направлять свою деятельность без всяких указаний. Он здесь бывает окружен даже значительными искушениями при даруемой свободе; арестанты переходных заведений посылаются, например, часто в город на свободные работы, без надзора, с единственным обязательством воротиться в известное время в тюрьму. Исправляемый проходит город со своим заработком, где кипит жизнь и представляются всевозможные соблазны; ничто не стесняет его; он

волен заходить и в кабаки, и куда ему угодно; поведение его при этом лежит только на его совести. При всей этой свободе он подлежит постоянному контролю и, в случае распущенного поведения, возвращается в прежние тюремные условия. Такое положение, где человек научается управлять собой, отнюдь не легко, и тюремная свобода достается не даром. Многие преступники, не имеющие сил совладеть с собой, просят возвратить их даже в прежнее положение; зато других такая жизнь вполне закаляет. Нарушения обязательств весьма редки, как свидетельствует опыт, и преступники самым бережным образом распоряжаются выгодами своего положения¹. На тех же началах воспитания характера основана и система Макончи. Она делает жизнь заключенных насколько возможно близкой к порядку обыкновенной жизни, предоставляя им самим испытывать всю ту долю добра или зла, которая естественно вытекала из их собственного поведения; принцип, который Макончи считает единственно верным принципом... Как ирландская система предоставляет различные облегчения и награды, смотря по тому, как преступник пользуется своей свободой и располагает своими льготами, так «марочная система» Макончи, основанная на денежном интересе и на количестве заработка преступника, предоставляет ему возможность пользоваться известными материальными выгодами, смотря по поведению.

В первом случае пенитенциарная педагогика побуждает человека к хорошему поведению через улучшение его положения и награды, во втором – исключительно силой материальных выгод и возбуждением корыстных мотивов. Это, без сомнения, имеет уже то хорошее значение, что испытуемый преступник научается понимать связь хорошего и дурного поведения с материальными его последствиями и этим готовится к практической жиз-

¹ Отчет Крафтона 1856 г.; Гольцендорф Ф. Ирландская тюремная система. С. 73, 79.

ни вне тюрьмы. Кроме того, по системе Макончи, человек, поставленный в полную зависимость от своего личного заработка, т. е. от тех стараний и усилий, к которым он прибегает в это время, научается ценить все выгоды и всю пользу труда. Этот морализующий принцип до того осязательно проведен в систему Макончи и так строго применен, что преступник здесь исключительно живет на свой счет: он оплачивает даже обучение в школе; ему вменено в обязанность копить деньги на похороны. Нет сомнения, что такой порядок превосходно вырабатывает способность «самопомощи» и возбуждает в преступнике привычки самому заботиться о поддержании своего материального существования. Все эти результаты достигаются только при предоставлении известной доли свободы преступнику, возлагаемой на его нравственную ответственность. Таким образом, лучшие опыты пенитенциарной системы сводятся к тому, чтобы ограничить свободу преступника лишь настолько, насколько это необходимо для безопасности общества, и чтобы установить в тюрьме лишь такие запрещения, которые могут служить к предупреждению поступков, считающихся порочными и в обыкновенной жизни; но в то же время тюрьма обязана удовлетворять всем законным и естественным потребностям жизни по отношению к пище, одежде, пользованию воздухом, солнцем, трудом и, наконец, здоровыми междучеловеческими сношениями, составляющими такую потребность для человека, что с лишением их причиняется вред его здоровью и умственным способностям. Полнота жизни во всех ее органических отправлениях должна быть доступна и преступнику; это столько же требование справедливости, как и утилитарных целей исправления. Само исправление имеет своей конечной задачей свободное и разнообразное развитие всех нормальных человеческих способностей, всех сил человека; оно стремится поднять его нравственно, благоприятствуя возбуждению благородных мотивов

человеческой природы, развитию нравственных начал, которые должны крепко срастись с человеческими убеждениями и поступками и добровольно управлять его действиями. Вот конечная цель исправления и тот идеал, к которому стремится пенитенциарная наука.

Задача эта, без сомнения, нелегкая и недостижимая в настоящее время: сделать из преступника полного человека, человека высоконравственного и добродетельного... кто возьмется за это?..

Отдавая полную справедливость многим полезным способам исправления, которых достигла пенитенциарная практика, мы не можем не заметить, что окончательного развития она еще не достигла; самые опытные пенитенциаристы, мы уверены, согласятся с тем, что задачи их не кончены, а круг исправительной и воспитательной системы далеко еще не завершен.

Внимательно рассматривая тот путь, который прошла до сего времени система исправления преступников, и тот предел, перед которым она остановилась, мы можем заметить, что вся трудность для нее заключается в нравственном перевоспитании преступника.

Вопрос о нравственности, как известно, составляет позднейшую ступень развития в истории цивилизации и на мировую сцену выступает только в последнее время; поэтому немудрено, что пенитенциарная наука, стоящая в зависимости от общего человеческого знания, должна была терпеть некоторые затруднения в проведении принципа нравственного воспитания павших людей. Нетрудно заметить, что побуждения к исправлению и до сего времени все еще основаны на чисто механических способах и внешних принуждениях; дисциплина в тюрьмах все еще держится большей частью на угрозах наказания, на нетерпящих прекословия приказаниях, и только в лучших тюрьмах стараются завлечь и приучить преступника к повинению разными облегчениями, наградами, возбужде-

нием корыстных чувств и предоставлением перспективы свободы, которая, под условием нравственного поведения в тюрьме, будет скорее достигнута. Всякий признает, что эти побуждения – весьма искусственны и что они еще далеко не дают прочной опоры для нравственного развития. Правда, при помощи их поддерживается в тюрьме порядок и повиновение, при посредстве их постепенно могут с течением времени развиваться и укрепляться хорошие привычки, но все-таки они оказываются непригодными для того, чтобы служить постоянным руководством в жизни, и неспособны глубоко возбуждать нравственные мотивы; под влиянием таких побуждений к хорошему поведению человек может жить и действовать только в тюрьме, но не в жизни, которая не всегда обещает награды и корысть. Кроме того, находящийся в тюрьме человек, из-за получения облегчения, наград, свободы, может вполне согласоваться с правилами, но на свободе показать совершенно иную нравственность. Так и было замечено в английских тюрьмах, где, по введении условных отпусков и помилований, преступники, подчиняясь всем правилам пенитенциарной дисциплины, как нельзя лучше вели себя до выпуска, но затем, по выходе из тюрьмы, выказывалось все лицемерие тюремного их поведения: выпущенные оставались столь же испорченными и на свободе совершали новые преступления. Таким образом, вопрос о нравственном перевоспитании преступников остается далеко не разрешенным; даже ирландская система, ограничиваясь теоретической проповедью, далеко не исчерпывает его; все существующие исправительные системы далеко не могли затронуть тех мотивов, которые находятся в прямой и непосредственной связи с человеческой нравственностью; между тем изыскание таких мотивов, могущих служить меркой поведения человека и руководить им во всякое время, во всяком положении, и составляет собственно задачу пенитенциарной науки, – *ее искомое*.

Посмотрим же, есть ли такие мотивы в душе человека, и если есть, то в чем состоят они.

III. Задачи новой рациональной системы исправления

Разбирая критически опыты новейшей тюремной практики, мы видим, что пенитенциарная наука упускала один важный мотив, могущий служить твердой опорой для человеческой нравственности. Человеческой природой, как известно, управляют два рода побуждений: одни из них направлены к сохранению индивидуума и к доставлению ему удовольствия: это мотивы *личные*, исключительно *эгоистические*; другие мотивы – *сочувственные*, обусловленные влечением к другим. Первые могут преобладать над вторыми, и тогда человек исполнен или индифферентизма к людям, или антипатии и вражды к ним; поэтому такие мотивы в крайнем развитии могут быть вредны и опасны в человеческом обществе; другие мотивы, вытекающие из влечения к другим и примиряющие личный интерес с общим, располагают к образу действий, благоприятствующему видам общественного блага, и поэтому носят название *мотивов социальных*. Человек, как известно, в жизни постоянно колеблется между этими двумя инстинктами, т. е. между своими индивидуальными наклонностями и личными интересами, тянущими его в одну сторону, и инстинктами симпатии к людям, влекущими его к общительности и соблюдению общих интересов. Эти наклонности могут до бесконечности расходиться в человеке, хотя точно так же могут и примиряться в нем. Первый из этих инстинктов сильнее в человеке и преобладает над вторым, так как человек больше всего любит себя и стремится к сохранению своей жизни; этот инстинкт не требует раз-

вития: он не бывает слаб и всегда присутствует в каждом человеке; социальные инстинкты, напротив, слабее эгоистических, хотя при известном развитии они по силе своей могут подойти к личным. Рассудок и чувство справедливости уравнивают наши инстинкты, регулируют их; поэтому развитие умственной силы чрезвычайно важно: оно сдерживает, насколько возможно, развитие личных интересов во вред социальным, но тем не менее преобладание тех или других чувств существует у нас невольно и зависит как от нашей природы, так и от свойств воспитания. Само собой разумеется, что устройству общественной жизни и развитию нравственности содействовало собственно развитие симпатических чувств. Это один из самых плодотворных и самых возвышенных мотивов человеческой природы. Его проявления самые разнообразные: он является в виде благосклонности, братской любви к ближнему, человечности, филантропии, сострадания, милосердия, благодарности, нежности, патриотизма и чувства общественного блага¹; к этому чувству сводятся все понятия о совести, о нравственности, справедливости и законности. Без такого мотива почти невысказано бы было человеческое существование: оно было бы бессильно и жалко. Если бы один холодный расчет поддерживал общежитие людей, то не мог бы заменить ту теплоту любви, которая, как теплота солнца, разлитая среди народов, согревает жизнь и придает ей необыкновенную прелесть. На этом только мотиве устраивалось в первобытные времена общество, утверждалось его спокойствие, водружались взаимные обязательства, создавалась законность и зачатки государственной жизни; от него мы получили благодеяния мира, прогресса и цивилизации, доставляющие человеку полное обеспечение жизни, все ее выгоды и наслаждения.

¹ См. определение этого мотива и его значения у Бентама в его «Введении в основания нравственности». Гл. X. Разд. XXV. (*Бентам И. Избранные сочинения.* СПб., 1867. С. 100).

В нашей личной жизни без такого инстинктивного мотива немислимо бы было быстрое управление нашими поступками, потому что иначе мы должны бы были постоянно прибегать к выкладкам и соображениям, насколько наши выгоды не вредят другим и насколько согласны с ними; эта способность, как магнитная стрелка, указывает то направление деятельности, к какому мы приходим только долгим размышлением.

Исходя из того правила, что «общие выгоды заключают в себе всегда и наши личные выгоды», мы, очевидно, редко останемся в убытке, да и то вознаградим себя тем чувством высокого удовольствия, которое испытывает человек при личных жертвованиях. Положив за правило руководствоваться всем такими чувствами, мы естественно приходим к гармонии интересов личных и испытываем на себе благодеяния других; давая преобладание симпатическим чувствам, мы в то же время как нельзя более гарантируем общество от вражды и преступлений.

«Преступление антисоциально, – говорит Спенсер, – побуждением к нему служат своекорыстные чувства; сдерживают же его чувства социальные. Единственным возбудителем к хорошему образу действий с другими и естественным противником дурного образа действий служит сочувствие; из сочувствия развиваются как чувство благосклонности, так и чувство справедливости, удерживающее нас от оскорбления других. Сочувствие же это, делающее существование общества возможным, развивается общественными сношениями; привычка разделять удовольствия других усиливает эту способность, а все, что препятствует участию в удовольствиях ближнего, ослабляет ее»¹. Бентам симпатические мотивы по преимуществу называет мотивами *доброй воли*, как личные – признаками *дурной*; вместе с тем, чувства благосклонности, любви к репутации, желание блага он считает наиболее

¹ См. Спенсер Г. Указ. соч. С. 126–127.

предохранительными мотивами от преступления¹. Несмотря на всю важность таких чувств и необходимость развития их в человеке, эти-то нравственные мотивы и упускала до сего времени современная пенитенциарная система. Это было бы положительно необъяснимо, если бы мы не знали, что пенитенциарная практика ударилась в крайнюю реакцию, пораженная прежними недостатками общежительной тюремной жизни. Придя к необходимости уединения личности и к лишению ее общественных сношений, пенитенциарные системы, однако, упустили, что они могут убить этим самый важный нравственный мотив симпатии, а без него направление жизни могло принести только вредные результаты для общества и индивидуума. «Действие системы разъединения на нравственную сторону человека, – говорит Спенсер, – совершенно противоположно тому, какое требуется для исправления... Подвергая заключенных одиночеству, т. е. запрещая им всякий обмен чувств, мы неизбежно ослабляем существующие в них сочувствия и, таким образом, скорее увеличиваем, нежели уменьшаем, нравственные препятствия к совершению преступления... Априористическое убеждение, которого мы давно придерживаемся, – говорит этот философ, – подтверждается и фактами. Капитан Макончи на основании своих наблюдений утверждает, что длительное одиночество порождает в людях такой эгоизм и так ослабляет сочувственные склонности, что даже хорошо настроенных людей делает совершенно неспособными переносить, по возвращении домой, ничтожные испытания домашней жизни»². Таким образом, прежняя пенитенциарная система развивала совершенно противоположный инстинкт, чем требовало нравственное исправление. Тем же грешат более или менее и остальные

¹ *Бентам И.* Введении в основания нравственности // *Бентам И.* Избранные сочинения. СПб., 1867. Гл. X. § 4–5. Разделы XXXVI–XLIV.

² *Спенсер Г.* Указ. соч. С. 127.

пенитенциарные системы: все они направлены исключительно на развитие индивидуальной, личной стороны в человеке и совершенно забывают о другой стороне, несравненно важнейшей: так, например, руководящей мыслью ирландской системы, как говорит Гольцендорф, служит исключительно начало *индивидуализации* (с. 66 Ирл. сист.), и главным достоинством ее считается изолирование каждого преступника и ослабление в нем влечения к сообщению» (с. 38); но заботы человека только о себе, отсутствие всякой связи с людьми и лишение общественных интересов, совершенно законных, естественно может повести только к развитию эгоизма, который в крайнем своем проявлении далеко неблагоприятен для будущей общественной жизни преступника на свободе. Те же личные и самолюбивые мотивы развиваются и посредством наград, отличий, и возбуждения людей к взаимному соперничеству. Такое одностороннее развитие только индивидуальных наклонностей, без сомнения, было бы крайним недостатком системы, если бы оно не смягчалось превосходным воспитанием и преподаванием, которое в ирландских заведениях введено Органом и которое, хотя теоретически, но все-таки внушает нравственные правила и уважение к другим людям. Нельзя не заметить той же односторонности индивидуального развития и в системе Макончи. Хотя, с одной стороны, она блистательно развивала *принцип самопомощи*, научала человека самому помогать себе, но зато, с другой стороны, основанная исключительно на денежном интересе и на личной независимости, она могла развивать только одни корыстные, эгоистические стороны характера, а в нравственном отношении как бы доказывала ту мысль, что «деньги – все», и человек, обязанный заработком самому себе, уже никому в мире и ничем не обязан. Такое воспитание было бы чересчур эгоистическим и ненормальным: индивидуализируя личность, такая система внушала ей только одну

мысль о борьбе в жизни, о личных заботах, которые, при неблагоприятных обстоятельствах в жизни, естественно увлекают человека за пределы чужих интересов; а такое индивидуальное развитие способностей еще далеко не представляет гарантий от преступления. Эти гарантии должны лежать в таких понятиях, которые заставляли бы уравнивать и уравнивать личный интерес с интересом других людей, которые бы удерживали человека от своекорыстных увлечений и возбуждали не одну мысль о борьбе, но и мысль об уступках остальному человеческому обществу. Понятно, что для этого должны были быть внушены понятия об общественной связи людей, об их взаимной зависимости и о тех общественных интересах, на которых зиждется человеческая жизнь. Но и этого мало: для того, чтобы человек постоянно помнил об интересах ближних, нужно, чтобы в душе его был постоянный инстинкт благожеланий, чтобы внутри себя он постоянно носил теплящееся чувство симпатии и любви к ближнему, которое бы не позволяло ему ни на минуту уклоняться в другую сторону. На развитие этого-то чувства и должна обратить внимание рациональная педагогическая система и наука исправления, так как одно оно может послужить прочной опорой для нравственности и будет постоянной гарантией вполне благожелательных и добрых поступков; вопрос только в том, каким образом в человеке возбудить эти нравственные чувства.

Возбуждение и создание новых чувств в человеке нелегко дается; поэтому и к нравственному чувству сразу нелегко подойти. Для этого не существовало никакой методы, никакого правила, так как все нравственное воздействие на природу человека ограничивалось до сих пор только теоретическими нравственными внушениями и убеждениями; но известно, какое слабое влияние оказывали эти нравственные проповеди, назидания и чтения всякой морали. Если они часто ни к чему не ведут среди

обыкновенных людей, то тем менее могли иметь успеха в среде людей раздраженных, озлобленных и упорных, каковы преступники; притом влияние этих нравоучений было слишком поверхностно, слишком мимолетно; при обыденной форме своей эти нравственные правила, которые уже давно были всякому известны, но которыми испорченный практической жизнью человек привык пренебрегать, могли не производить никакого впечатления. Нужно, чтобы преступник сам, собственным опытом и примером убедился в истинности известных нравственных принципов, известных правил общежития, чтобы мораль была самим им выработана при участии известных усилий и труда. Известна пословица: «что легко дается, то легко и уходит». Опыты предметного, осязательного и практического преподавания уже делаются в различных отраслях педагогики: детей, например, знакомят с истинами точных наук с помощью созерцания самих предметов и их анализа; желательно было бы, чтобы такой же практический и наглядный опыт применен был и к вразумлению преступников для развития в них правильного понимания общественных отношений. Подобного наглядного воспитания, с целью возбуждения общественных и нравственных интересов, не было ни в одной системе; между тем если бы теоретики не были сбиты с толку абсолютным изолированием преступников, если бы они не были слишком априоричны в своих суждениях и более практически изучали человеческую жизнь во всех ее проявлениях, то они непременно бы наткнулись на такой способ воспитания. Приобретя известные нравственные правила и убеждения целым рядом воспитания и опытом жизни, с первого раза мы не в состоянии объяснить, как привились к нам известные нравственные начала и ощущения; у нас остались, так сказать, одни результаты, но самый процесс их приобретения утерян из памяти; но если мы прибегнем к строгому научному анализу исто-

рической жизни народов как и к субъективному анализу собственного воспитания, мы увидим, что все душевные ощущения наши, все понятия, все нравственные начала приобретались долгим опытом, привычками, которые, в свою очередь, были порождены сознанием выгод и пользы известного поведения; благосклонные душевные желания и нравственные чувства развивались также только известным опытом и рядом привычек.

Такой принцип вполне подтверждается историей всего человеческого развития. «Только при дисциплине социальной жизни, – говорит замечательный ученый нашего века, – при сравнительной необходимости воздерживаться от враждебных действий и принимать на себя долю во взаимных услугах, какие вводятся разделением труда, развивались те благосклонные душевные возбуждения, которые у низших племен являются только в форме грубых зачатков. Дикарь находит наслаждение скорее в том, чтобы причинять неприятность, нежели в том, чтобы доставлять удовольствие: симпатических чувств он почти лишен; между тем у нас филантропия организуется в закон... Из этого факта и других подобных фактов не вытекает ли тот неизбежный вывод, что новые душевные возбуждения развиваются из новых данных опыта, новых привычек жизни? Всем известна истина, что в индивидууме каждое чувство усиливается по мере выполнения действий, внушаемых им; сказать же, что чувство *усиливается* этими действиями, значит сказать, что оно отчасти *создается* ими... Не должны ли мы сказать поэтому, – продолжает философ, – что привычки не только видоизменяют душевные возбуждения в индивидууме, не только порождают наклонности к подобным же привычкам и сопровождающим их душевным возбуждениям в потомках, но, при условиях, делающих эти привычки упорными, могут довести прогрессивное видоизменение до таких размеров, что являются душевные возбуждения настолько отличные от

прежних, что они могут показаться новыми»¹. Подобный взгляд, определяемый совокупностью установившихся истин физиологии и психологии, вполне служит объяснением происхождения человеческой цивилизации и нравственных чувств. Не следует ли из этого, что подобный же практический прием воспитания может быть приложен и к условиям данной среды или личности в будущем, когда мы хотим содействовать ее исправлению. Не ясно ли, что он должен состоять в применении такой общественной дисциплины и в установлении такого порядка жизни, которые бы вполне вели к наиболее совершенной нравственной выработке личности и образованию разумных социальных отношений?..

Рациональный метод исправления поэтому должен быть основан именно на примерах социальной жизни, дающих понятия о взаимной связи людей и законах, управляющих человеческими сношениями. Пенитенциарное воспитание должно начаться вследствие этого с наглядного убеждения в выгоде соединения человеческих сил и взаимных обязательств, какие устанавливаются общественной жизнью и разделением труда: искусная группировка взаимных интересов в практической жизни первая наведет на мысль об общественной связи и обязанностях, и практические выгоды этой связи лягут прочно в сознание и убеждение человека. Постоянная привычка сообразоваться с чужими интересами ввиду собственных польз заставит человека воздерживаться от враждебных действий и принимать на себя известную долю услуг. Эти привычки будут основой к возбуждению симпатических чувств, которые сами собой воспитаются при этих привычках согласно психическому и физиологическому закону, указанному нами в истории возбуждения душевных ощущений. Таким образом, при первом шаге рационального воспитания необходимо пре-

¹ *Спенсер Г. Возбуждения и воля // Спенсер Г. Собрание сочинений. Т. 2. Научные, политические и философские опыты. СПб., 1867. Вып. IV, V. С. 32.*

жде всего возбудить практически сознание выгод взаимной помощи и уступок для каждой личности; а убеждение уже явится само собой и положит основание нравственному чувству. Нам легче любить людей, когда мы видим выгоды от этой любви; нетрудно заметить, что историческому развитию благожелательных мотивов содействовало много то, что люди получали в большей части случаев удовольствия от общежития и выгоды от взаимной помощи. Тут ничего нет ненормального: напротив, было бы удивительно, если бы было иначе, если бы приходилось любить людей за одни страдания, которые они нам приносят¹.

Таким образом, возбуждение личных интересов и приведение их к солидарности с общественными должно положить первый мост, приближающий нас к принципам человеческой нравственности; из мотивов корыстных последует уже развитие других нравственных мотивов, более чистых и бескорыстных. Для изображения всех выгод общежития, основанного на разумных человеческих отношениях, мы должны воспользоваться всеми лучшими и наглядными практическими способами, могущими подтвердить известные истины. Так, чтобы доказать склонность людей к общежитию, дать почувствовать его значение и заставить им дорожить во все время жизни в обществе, нужно показать разницу между уединением и общежительностью: в этом случае предварительное уединение имеет свою пользу. Далее значение общежития может быть показано только при разумной и осмысленной группировке людей², точно

¹ Мысль, что общество может связываться выгодами и сознанием пользы и что личные пользы могут быть солидарны с общими, первоначально высказана А. Смитом в его теории нравственных чувств (ч. 2, с. 111); впоследствии утилитарное значение принципов нравственности превосходно развито Джоном Стюартом Милем.

² Здесь мы должны заметить, что ненормальные условия общежития, например, постоянная общежительность, не дающая места уединению, теснота при избытке населения, соединение людей разнообразных характеров и привычек может повести и к обратным результатам, т. е. внушить отвращение к общежитию. Таково было свойство, например, прежних общих тюрем.

так же, как понятие о взаимной связи людей может быть внушено при помощи применения экономической кооперации человеческих сил и интересов, основанных на разделении труда¹. Уже одно это при разумном применении и разъяснении может служить превосходным доказательством для уразумения общих выгод взаимной помощи и общественной зависимости. Далее общественная связь и выгоды общественной солидарности могут быть подтверждены выгодой общего хозяйства с помощью практического применения принципа «потребительных обществ». Выгоды соединения капитала, его сбережения при посредстве общественных гарантий могут быть указаны при учреждении сберегательных ссудных общественных касс в тюрьмах, куда арестант будет вносить свой заработок. Точно так же наглядно может быть доказана выгода и всякой взаимной помощи и взаимных услуг, например, в деле обучения и образования, как интеллектуального, так и ремесленного. Наконец, понятие об общественных обязательствах и законах может быть установлено при доставлении известной доли самоуправления артели в ее собственном хозяйстве. Все это должно быть выяснено целым рядом примеров и педагогической экспериментации с дополнением практических лекций и объяснений при введении каждого учреждения. Такое воспитание, широко развернутое и разумно примененное, вполне послужит подтверждением известных практических, а затем и нравственных истин.

Подобная система может быть осуществлена, как мы полагаем, даже при настоящих условиях тюрьмы. Артельная работа с разделением труда и ныне производится в

¹ Практичность этого принципа подтверждается также историей общества, которое создавалось именно при взаимном экономическом обмене услуг. «Разделение труда составляет элементарный принцип общества, – говорит Милль, – составляет и главное основание общественной солидарности... Привычка частного содействия в высшей степени содействует общественному инстинкту». (Льюис Г. Г., Милль Д. С. Огюст Конт и положительная философия. СПб., 1867. С. 290–291).

общих тюрьмах, только ей придан более промышленный и карательный характер, но ею нужно пользоваться для целей педагогических и нравственных. Выгоды «потребительных обществ» сознавались всегда арестантами и в прежних тюрьмах: они сами нередко создавали свою торговлю на майданах; арестантские лавочки вводятся при всех исправительных тюрьмах; недостает только, чтобы арестанты приняли участие в заготовке жизненных припасов при помощи своих сбережений из рабочей платы. Далее сохраненные кассы также ныне учреждаются при исправительных заведениях, как, например, в Метрэ. Замечательны в этом отношении также опыты «ссудной и сберегательной арестантской кассы», устроенной Органом в Смитфильде для отпущенных преступников, – кассы, где все ручаются друг за друга (114). Это утверждение ясно проводит тот принцип, на который мы указывали: надобно только, чтобы арестанты сами добровольно сознали всю выгоду этих учреждений и приняли непосредственное участие в них. Мы не думаем, чтобы в этом отношении могли возникнуть какие-либо затруднения: общинный труд, взаимная помощь, взаимное обучение быстро усваиваются арестантами во всех тюрьмах. И это весьма естественно: ведь это такое же человеческое общество; здесь мы видим развитие тех же человеческих интересов, как и проявление тех же интересов общественных. Наблюдения показывают, что всякое общество преступников, хотя бы это были самые отверженные люди, хотя бы это были шайки мазуриков, воров, разбойников, создает свою корпорацию, свои законы, свой суд, свои обязательства, свою нравственность. Это вполне подтверждается наблюдениями из жизни преступных классов; жизнь острогов подтверждает то же самое. В наших этнографических очерках мы достаточно указали на жизнь и развитие тюремных бродяжеских и ссыльных общин в России: все они создают свои общественные интересы, законы и нравственные обязатель-

ства, и в этих обязательствах преобладают далеко не одни преступные цели; мы видим, что в старой русской тюремной общине корпорация арестантов работала не над одной борьбой и самозащитой: она многое создавала для улучшения своей жизни; в этой среде существовали крепкие взаимные обязательства, благородные порывы на помощь друг другу, много великодушия, много самопожертвования. И такое возникновение общественных связей, сознание необходимости взаимной помощи и уступок, создание известных законов, обязательств и условий нравственности является везде и повсюду в каждой группе людей, где бы они ни существовали. Мы находим это во всех артелях, во всех корпорациях; достаточно припомнить нравы школ и закрытых учебных заведений, достаточно вспомнить наше детство, и мы увидим, какими узами дружбы, какими обязательствами и законами общественной жизни мы связывались. Это были также особые законы и нравственность, часто также враждебные нашим учителям и опекунам, которые нам не нравились, но имевшие обязательную силу и поддержку в среде нашей. Эти законы и обязательства вырастали естественно, независимо от нас; таково свойство человеческой природы; таков закон истории; что же в том удивительного, что острожная община, что мир преступников управляется теми же человеческими законами. Пора понять, что только предрассудки создали понятие о личности преступника как об ужасном вместилище одних подлых инстинктов, что только незнание дела не давало видеть как в личной, так и в общественной его жизни ничего человеческого; разумные доводы зрелой науки, опыты жизни и истории, как мы видим, совершенно устраняют эти заблуждения. Мы уже пережили те предрассудочные взгляды, которых в прежнее время держалось общество на природу преступника как на источник одного зла; поэтому мы по необходимости иначе относимся к тюремной общине, чем европейские теоретики конца про-

шлого и начала нынешнего столетия: наш взгляд на жизнь преступников полнее и беспристрастнее, потому что мы пользуемся позднейшими взглядами европейской науки на природу человека; у нас налицо позднейшие опыты и наблюдения, произведенные не одним лицом, в разное время, в разных местах; в этом наше великое преимущество, хотя тут нет никакой заслуги с нашей стороны. Мы не можем не видеть существенно важных сторон в условиях тюремной общины, которые не были замечены прежде; зато мы обязаны воспользоваться теми ее выгодными сторонами, которые могут служить всего лучше для нравственного развития личности преступников, и приспособить эту общину к разумным целям пенитенциарной системы.

Опыт тюремной жизни в нашем же отечестве показывает нам, как превосходно тюремная община может быть употреблена для дисциплинирования личности с помощью ее же собственных сил и их взаимодействия. Если мы всмотримся, что сдерживает людей в свободном обществе, то легко увидим, что они сдерживаются не одним внешним законом, не одной угрозой наказания, но еще какими-то внутренними мотивами, заставляющими каждого сообразоваться с общим поведением, – мотивами, возникающими из сознания, что личное поведение отражается на всех вообще, что всякое противодействие обществу ведет к подавлению личных сил силой общества. Наша связь с обществом так ощутительна и так сильно дает себя знать, что в какой бы среде мы ни являлись, мы обязаны подчиняться его мнению. Преступник, являясь в тюрьму, старается приноровиться к товарищам; иначе ему жизнь будет невыносима. Когда в старой тюрьме существовал положительный разлад с начальством, то относиться к нему враждебно и принимать участие в борьбе с ним обязывалась и каждая личность общественным мнением; но то, что порождало зло при прежних порядках, при иных условиях может быть применено и в обратную

сторону; общественным влиянием на каждую отдельную личность можно воспользоваться и совершенно обратно; для этого нужно только крепко и искусно связать поведение отдельной личности с выгодами самой общины, которая и будет ее обуздывать. Некоторые невыгоды, которые понесет вся община при нарушении порядка каким-либо из членов ее, отнюдь даже не противоречат абсолютной справедливости; ведь и в обыкновенной жизни точно так же дурное поведение одной личности естественно отражается на всех, вследствие чего и развивается сдерживающее личный произвол общественное мнение. Таким образом, при дозволении каждой льготы необходимо вводить и общую поруку.

Выгоды этой общественной поруки превосходно испытаны везде, где только она ни применялась. Мы показали, что такой прием очень плодотворно действовал в старой русской тюрьме и в каторге между самыми смелыми и дерзкими преступниками; так действовал он даже тогда, когда ярый антагонизм и борьба существовали в этих общинах с тюремным начальством; чего же нельзя достигнуть теми же приемами при лучших условиях обращения с арестантом в новой тюрьме! Лучшие европейские тюрьмы точно так же не раз удачно применяли этот способ дисциплины, оказывая доверие арестантам и предоставляя им некоторые льготы под условием взаимного ручательства; такое доверие везде помогало устройству дисциплины в тюрьме. Такими именно приемами достиг того превосходного порядка, на который мы указывали, Обермайер в мюнхенской тюрьме: по словам Балльи Кокрена, арестанты здесь сдерживали поведение своих сочленов, в случае нарушения постановлений, постоянно напоминая им, что «это воспрещено». Такими же льготами и предоставлением самим арестантам забот о порядке достиг значительных успехов начальник тюрьмы в Валенсии, по отзывам Гопкинса. Наконец, мы укажем на пример в Меце

во Франции, где смотритель тамошних военных тюрем, по свидетельству Видаля, мягким обращением и доверием к арестантам довел их до того, что в 1857 г. отпускал до 300 человек купаться в реке без всякого надзора, и ни один из арестантов не только не бежал, но и не покушался на бегство. Недавно подобный практический прием, случайно примененный, показал всю свою выгоду и в петербургской тюрьме, как свидетельствует г-н Никитин; надзиратели, не могшие постоянно держать арестантов взаперти, дозволили им иногда ходить по коридорам, и за помянутую льготу, за доверие, которым арестанты очень дорожат, они сами внимательно следят друг за другом и не допускают серьезных казусов «в своих владениях»¹. Все это осязательно доказывает, что подобные способы общественного контроля могут быть с несомненной пользой введены в исправительных тюрьмах. Подобный прием мало того что послужит к лучшей дисциплине, но и научит человека всегда сообразоваться с здравым общественным мнением, внушивши ему понятие о высоком значении общественной санкции. Общественное мнение в среде преступников, без сомнения, может быть обращено в самую лучшую сторону: содействие его образованию должно непременно войти в планы новой системы. Приучить человека дорожить своей репутацией необходимо и полезно для общественной жизни; стыдась осуждения и дорожа мнением в среде своей артели, человек научится дорожить этим мнением и во всех других сферах жизни.

Если подобная система исправления будет применена с умением и толком, то она принесет громадные плоды и не только послужит к лучшему достижению дисципли-

¹ Противоположный принцип недоверия арестантам производит гораздо худшие последствия: «...арестанты оскорбляются недоверием к ним, – говорит г-н Никитин, – и потому чем строже их стерегут, тем чаще они нарушают установленные для них правила, чтобы чем-нибудь поразнообразить день и наделать хлопот враждебному и не доверяющему им начальству» (Никитин В. Н. Указ.соч. С. 58).

нарных и утилитарных целей тюрьмы, но будет иметь и важное нравственное значение. Вместе с воспитанием человека на принципах взаимной экономической помощи, на выгодах ассоциации, взаимного обучения и взаимного ручательства за порядок, человек усвоит все понятия о долге и обязательствах, налагаемых общественной жизнью и человеческими законами; под руководством умного и благородного наставника, объясняющего смысл этой системы и содействующего равно умственному и нравственному пониманию, она будет иметь громадное морализующее влияние; правильные привычки жизни положат начало нравственному чувству, а вслед за обязательными уступками обществу явится добровольный мотив любви и желания добра людям. Возбуждение этого нравственного чувства явится естественно из постоянного и непрерывного действия в одном и том же направлении на нравственную сторону человека; деликатное, бережное обхождение с преступником и его умственное развитие довершат остальное. Таким образом, пробуждение чувства признательности, благожелательности и любви к ближнему будет венцом этой системы.

Мы даже не можем исчислить тех благодеяний, которые получатся от такой системы воспитания. Уроки правильного общежития и привычка сообразоваться с общими пользами воспитают не один холодный эгоизм, но выпустят человека вполне развитого и готового к жизни, исполненного веры в людей и в человеческие благодеяния; преступник поймет при помощи такого воспитания, что он обязан всем обществу, начиная с матери, носившей его на руках, от колыбели, сделанной чужими руками, до могильщика, который положит его труп в землю вместо того, чтобы бросить на растерзание собакам. Он поймет, что сама тюрьма дала ему воспитание, спасла и оградила его от дальнейшего падения, что он обязан ей лучшими чувствами, пробуждением прекраснейших мотивов люб-

ви, прощения и самопожертвования, которые одни могут доставить наслаждение в минуты величайшего горя. Такие чувства и убеждения, быв вынесены личностью из тюрьмы, будут благодетельны для общества: преступник воротится в общество не только безвредным, но переродившимся, с здоровыми человеческими понятиями, окончательно измененным, и по своему нравственному закалу способным служить примером для других людей. Если ныне в исправительных тюрьмах стараются применить обучение ремеслам и разным полезным занятиям с целью распространения промышленных сведений в народе¹, то нет основания предполагать, будто этот принцип не может быть применен и по отношению к распространению нравственных правил, вынесенных из уроков правильного воспитания.

Таковы могут быть новые задачи образования и перевоспитания падших личностей. Применяемая правильно, эта система должна соединить все лучшие исправительные способы, выработанные европейской практикой, принять к сведению все данные педагогической науки.

Соответственно педагогическим и пенитенциарным целям новая система исправления может быть расположена в следующем порядке и последовательности:

1) предварительное дисциплинирование личности, приучение ее к подчинению и повиновению путем нынешнего и механического ограничения ее воли (обыкновенная внешняя дисциплина тюрьмы);

2) развитие самостоятельности, сдержанности, самовоспитания и самопомощи при известной доле свободы, – воспитание, соответствующее развитию индивидуальных

¹ Таковы, например, задачи земледельческих колоний, имеющие цель не только исправлять малолетних преступников, но и делать из них сведущих земледельцев, могущих по выпуске содействовать в отечестве нашему распространению рационального сельского хозяйства.; они выражены в программе попечительного комитета, предворяющего премию на книгу о земледельческих колониях в 1872 г.

способностей и сил личности (ирландская система переходных заведений, Обермайера и Макончи);

3) воспитание социальных и симпатических инстинктов, основанное на рациональном применении общежития, с условиями взаимных обязательств и взаимных услуг (применение общественного самоуправления и самопомощи, основанное на различных общинных учреждениях).

Такая программа воспитания, основанная на опытах и приемах пенитенциарной практики и на началах педагогической науки, послужит не только к всестороннему развитию человеческих способностей, научит управлению волей, но и приспособит личность к тем условиям жизни, какие встретят ее на свободе. Таким образом, новая исправительная тюрьма в своем конечном развитии отразит как все отправления индивидуальной человеческой жизни, так и все функции жизни общественной, с той разницей, что им будет дано более рациональное и правильное направление; другими словами, она представит микрокосм обыкновенной человеческой жизни, возможно лучше и совершеннее построенной. И этому нечего удивляться: таким микрокосмом обыкновенной жизни были тюрьмы и в прежнее время, несмотря на все ограничения. Человеческие страсти и интересы всегда бушевали в ней, всегда искали выхода при помощи разных фикций, но, не находя разумного и правильного применения, развивались уродливым и патологическим образом; живые естественные страсти и инстинкты жизни, живое стремление к ассоциации, к общежитию никогда не могут быть потушены в человеческой природе, и поэтому остается только дать им правильный выход и разумное применение.

Такие уроки и выводы дает нам как иностранная, так и русская тюремная практика; к этому и приходит, наконец, европейская наука.

В этом мировом опыте, как мы видим, играет свою роль и русская жизнь. Она несет также свой вклад для того

фундамента, на котором должна построиться общая всем народам мировая наука. Опыт и жизнь русской тюремной общины, как мы видим, в этом отношении были чрезвычайно поучительны. Эта община вносит новые уроки, которые были не замечены или упущены европейской тюремной практикой; она доказывает полную возможность воспитания и исправления преступника на началах социальной жизни, всего более способствующих возбуждению таких симпатических и благородных мотивов, которые составляют лучшие стороны человеческой природы и характера. К этим же выводам естественно идет новейшая европейская пенитенциарная теория и философия наказания; указания на это мы находим у самого положительного философа нашего века, имя которого стоит наряду с Контом, – у Герберта Спенсера. Европейская теория, таким образом, ясно указывает новые начала перевоспитания; но на что не успела еще натолкнуться европейская пенитенциарная практика, на то указывает и наталкивает нас наш опыт. Мы питаем робкую надежду в этом случае, что, может быть, в силу нашего национального чутья и особого народного расположения к общинным учреждениям, мы угадали ту тайну, которая должна довершить систему европейского исправления преступников и тем послужить к окончательному разрешению фатально уголовного вопроса.

Если каждый народ вносит свой исторический вклад, продукт собственной исторической жизни, то опыты русской тюремной общины должны войти в общую сокровищницу мировой науки со своим самобытным принципом, со своим национальным значением. В этом отношении мы полагаем, что не всегда же мы будем руководствоваться одним заимствованием и рабским подражанием иностранным образцам, не всегда будем жить за счет ума других наций, но приложим же когда-нибудь и самостоятельную критику, примем участие в общей разработке научных

вопросов и внесем известную долю своего труда в область человеческого знания.

На такие мысли наводит нас исторический опыт русской тюремной общины, показавшей даже в тюрьме всю ту живительную силу, какую проявляла общественная и кооперативная тенденция во все времена, у всех народов и которую она еще более проявит с успехами цивилизации. Наш опыт служит только доказательством той истины, что естественное влечение людей друг к другу, взаимная помощь и поддержка не пропадают ни в какой группе людей, как бы она ни была несовершенна, как бы низко не было ее падение. Это сознание взаимной связи, это взаимное влечение составляют такое свойство человеческой природы, такой глубокий закон человеческой жизни, который проникает всю историю, всю цивилизацию народов. Он может сравняться по силе только разве с одним «дарвиновским законом», с той лишь разницей, что составляет противовес ему и служит могущественным залогом взаимного человеческого сохранения и взаимного усовершенствования.

ПРИМЕЧАНИЯ¹

1. Здесь и далее Н. М. Ядринцев ссылается на кн. Ф. М. Достоевского «Записки из Мертвого дома». СПб., 1862. Изд. А. Ф. Базунова. Ч. 1–2. Начало приведенной им цитаты несколько искажено. См. *Достоевский Ф. М.* Указ. соч. Ч. 2. С. 196.

2. Пандемониум или пандемоний – в греческой мифологии место сборища злых духов.

3. Кордегардия – помещение для военного караула.

4. Харон – в греческой мифологии перевозчик душ умерших людей через реку Стикс в подземное царство мертвых Аид.

5. Ретирада – туалет в пенитенциарных заведениях.

6. Филадельфийская, или пенсильванская, система тюремного заключения создана представителями секты американских квакеров, считавших исправление преступника (восстановление в нем утраченного образа Божьего) возможным в одиночном заключении – келье. Заключенный получал номер, и никто из надзирателей не знал его имени, род преступления и не разговаривал с ним. Преступник подвергался полной физической и духовной изоляции от внешнего и даже тюремного мира. Ему было разрешено читать только Библию, чтобы он осознал свое богоотступничество, покаялся и вернулся к Нему. По этому принципу был построен ряд тюрем в Америке, а также тюрьма Пентонвиль в Англии, Моабит в Пруссии, Мазас во Франции.

7. Людовик Сфорца (1452–1508) – герцог Милана, армия его была разбита французами в 1500 г., сам он попал в плен и умер в заключении.

1 Примечания в тексте обозначаются цифрами в скобках.

Мария Антуанетта (1755–1793) – королева Франции, супруга короля Франции Людовика XVI, после свершения Великой французской революции казнена на гильотине по решению Конвента.

Бонивар Франсуа (1493–1570) – швейцарский патриот и историк, противостоял попыткам Карла III Савойского утвердиться в Женеве, несколько раз был в заключении, в том числе в Шильонском замке. Его жизнь послужила основой сюжета поэмы Байрона «Шильонский узник».

8. Ажитация – сильное эмоциональное возбуждение, ведущее к повышенной двигательной активности.

9. Н. М. Ядринцев цитирует Шекспира в неизвестном нам переводе. В пьесе «Ричард II», опубликованной в Полном собрании сочинений Вильяма Шекспира в переводе русских писателей (СПб., 1887. Т. 2. С. 106) дан следующий перевод: «Мой мозг – / Супруг моей души; от них двоих / Произошло потомство разных мыслей, / Что, в тишине плодясь, наполняют / Мой маленький мирок, как люди – мир».

10. Н. М. Ядринцев неправильно написал фамилию – «Штеллер». Фамилия этого политического деятеля Шлаттер (Schlatter) Георг Фридрих (Georg Friedrich) (16.12.1799 – 3.11.1875). Он был евангелическим священником, почетным председателем баденского революционного парламента во время Баденско-пфальцского восстания 1849 г., являвшегося кульминацией Революции в Германии 1848–1849 гг. Был отлучен от Церкви, арестован и приговорен по обвинению в гос. измене к 10 годам тюремного заключения. Из них 6 лет провел в тюрьме Брухзал, освобожден по амнистии в 1855 г. Автор книг, посвященных в основном критике практики одиозного заключения и смертной казни.

Корвин-Вирсбицкий (Corvin-Wiersbitzki; наст. фамилия Wiersbitzki) Отто Юлиус Бернад фон (12.10.1812 – 01.03.1886), из прус. дворянской семьи, отставной лейтенант прусской армии, был начальником генштаба Баден-пфальцского восстания 1849 г. После подавления восстания приговорен к смертной казни, которая была заменена на тюремное заключение.

Содержался в тюрьме Брухзал. Амнистирован в 1855 г. После освобождения работал репортером в разных газетах, написал несколько книг.

11. Кондорсе Мари Жан Антуан Никола (1743–1794) – французский философ, политический деятель, сотрудничал с энциклопедистами; в 1791 г. избран в Конвент и примыкал к жирондистам; был обвинен якобинцами в заговоре и приговорен к смертной казни, скрывался и написал в это время «Эскиз исторической картины прогресса человеческого разума», после чего покинул убежище, был арестован и покончил в тюрьме жизнь самоубийством.

12. Сервантес Мигель (1547–1616) – испанский писатель, во время пребывания в должности агента по закупке провизанта для флота неоднократно оказывался в тюрьме и в 1602 г., оказавшись там очередной раз, начал писать роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский».

Гверацци Франческо Доменико (1804–1873) – итальянский политический деятель и писатель, за участие в политических волнениях с 1830 по 1838 г. находился в тюрьме, где написал два произведения: «L'assedio di Firenze» и «Isabella Orsini».

13. Барбес Арман (1809–1870) – французский революционер, участник политических акций 1839 и 1848 гг., был приговорен к пожизненному заключению, однако в 1854 г. после того как Наполеону III стал известен восторженный отзыв Барбеса об участии Франции в войне против Николая II, император освободил его из тюрьмы и тем самым нанес сильное оскорбление.

14. *Никитин В. Н.* Жизнь заключенных. Обзор петербургских тюрем и относящихся до них узаконений и административных распоряжений. СПб., 1871. С. 251.

15. Мономания – чрезмерная увлеченность одной идеей, помешательство на одном предмете, идее.

16. Ассизный (*assises* – *фр.* сидящие) суд – суд присяжных заседателей во Франции, решал только уголовные дела.

17. Галкин-Враской М. Н. Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868. С. 71–72, 74–76 и далее.

18. Дортуар – общая спальня в закрытых учебных и рабочих заведениях.

19. *Данте А.* Божественная комедия. Ад. Песнь III.

20. Лазарони – в Италии название бедняков, промышлявших случайными заработками, нищенствовавших и проводивших большую часть времени в праздности.

21. Излер И. И. – известный петербургский кондитер и антрепренер швейцарского происхождения, устроил «сад Излера» в Новой Деревне под Петербургом, нанимал оркестр, хор, акробатов, развлекал посетителей фейерверками и живыми картинами; также владел в Петербурге кафе-рестораном с отдельными кабинетами.

22. Подчасок – помощник часового на посту, в случае необходимости заменявший часового.

23. Фистула – древнее название одноствольных и многоствольных флейт, так же это слово может, как в данном случае, означать «голос».

24. В «Божественной комедии» Данте автора в путешествии по Аду сопровождала тень древнеримского поэта Публия Вергилия. Упоминая этот персонаж, Ядринцев тем самым подчеркивает, что он сам блуждал по тюрьме как по Аду.

25. Гай Муций Сцевола – римский патриций, по легенде был схвачен при попытке убить этрусского царя, и когда от него стали требовать признаний и угрожать пытками, он сам, в знак того, что его это не страшит, протянул руку над огнем и держал, пока она не обуглилась.

26. Компрачикосы – воры и скупщики детей, уродовавшие их и заставлявшие заниматься попрошайничеством.

27. Бонвиван – любитель жить в свое удовольствие.

28. Селадон – волокита, женолюб, обычно пожилой человек, ухаживающий за женщинами.

29. Эти строки из стихотворения «Жена каторжного» принадлежат перу английского поэта и драматурга Барри Корнуола (1787–1874). В русском переводе стихотворение было опубликовано в 1869 г. в жур. «Дело», № 1.

30. Ектения – заздравное моление во время церковной службы о государе и его семье.

31. Тарпейская скала – отвесная скала с западной стороны Капитолийского холма в Древнем Риме, с которой, по преданию, сбрасывали осужденных на смерть преступников.

32. *Максимов С. В.* Сибирь и каторга. СПб., 1871. Ч. I. С. 112.

33. *Достоевский Ф. М.* Указ. соч. Ч. I. С. 68.

34. *Максимов С.* Указ. соч. Ч. I. Прибавления: 1. Тюремные песни.

35. *Сахаров И. П.* Сказания русского народа, собранные Сахаровым. Т. 1. Кн. неоднократно издавалась в первой половине XIX в.

36. Риль Вильгельм Генрих (1823–1897) – немецкий публицист, занимался историей музыки, в том числе изучал песенный жанр в Германии, написал ряд работ на эту тему.

37. *Достоевский Ф. М.* Указ. соч. Ч. I. С. 227.

38. *Максимов С.* Указ. соч. Ч. I. С. 372–373, 384.

39. Там же. С. 281.

40. *Соколовский Н. М.* Острог и жизнь. (Из записок следователя). СПб., 1866.

41. Торбан – струнный щипковый музыкальный инструмент, популярный среди поляков и украинцев. В конце XVIII – начале XIX в. пользовался популярностью и в России.

42. *Максимов С.* Указ. соч. Ч. I. С. 411.

43. Михайлов М. Л. (1826–1865) – революционный деятель, переводчик, поэт, за антиправительственную деятельность арестован в 1861 г., сослан на каторгу на 6 лет в Сибирь, где и умер. Под впечатлением от пребывания в тюрьме и на каторге написал ряд стихотворений на эту тему.

44. В письме к Г. Н. Потанину 12 марта 1872 г. Ядринцев упоминал о рукописи стихов каторжного поэта, полученной им в Шенкурске от одного ссыльного, и писал, что многие из этих стихов войдут в книгу. (Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г. Н. Потанину. Красноярск, 1918. Вып. 1. С. 17).

45. Н. М. Ядринцев имеет в виду следующие произведения: *Достоевский Ф. М.* Записки из Мертвого дома. СПб., 1862.

Ч. 1–2; *Соколовский Н. М.* Острог и жизнь. (Из записок следователя). СПб., 1866; *Кривошапкин М. Ф.* Енисейский округ и его жизнь. СПб., 1865. Гл. «Остроги и каторжные». С. 252–300; *Крестовский В. В.* Петербургские трущобы. СПб., 1867. Ч. 1–6.

46. Ареопаг – высший орган власти в Древних Афинах, состоявший из представителей родовой знати и осуществлявший государственный контроль и верховный суд по особо тяжким преступлениям; слово используется в значении «верховный суд».

47. Пострелять саватеек, охотиться за саватейками на уголовном жаргоне означает находиться в бегах, бродяжничать, просить милостыню.

48. *Максимов С. В.* Указ. соч. Ч. I. С. 63 примеч.

49. Перегоренский – герой «Губернских очерков» М. Е. Салтыкова-Щедрина.

50. *Лакиер А. Б.* Путешествие по Северо-Американским Штатам, Канаде и острову Кубе. СПб., 1859. Т. 1–2.

51. Апраксин двор – крупный торговый центр в Петербурге, как единый архитектурный комплекс возник в 1833 г. на месте двух объединенных рынков.

52. Речь идет о стихотворении Н. А. Некрасова «Огородник», герой которого – молодой крестьянин-огородник, пробравшись в дом на свидание с дворянской дочерью, был пойман и осужден на каторгу как вор.

53. Скопцы – старорусская мистическая секта, возникшая в первой половине XVIII в., генетически связана с хлыстовством, но члены ее пошли по пути более радикальной борьбы с дьяволом и его порождением – плотью. Опираясь на слова Евангелия о том, что есть скопцы, оскопившиеся ради Царствия Небесного (Мф 19:12), крещение духовное они дополняли оскотлением. Они были последователями учения о «внутренней церкви», хотя в целях конспирации посещали православные храмы и исполняли все требования. Моление скопцов имело экстаичный характер. Под пение духовных стихов – распевцев, отбивая рукой такт по колену или кружась, они призывали Св. Духа, пророчествовали. Основу скопиче-

ской секты составляли крестьяне. Секта подвергалась преследованию и ее последователей бессечно ссылали в Сибирь.

54. Абдомин (абдомен) – живот, брюшко, задний отдел членистоногих животных.

55. Консервы – очки обычно с дымчатыми или синими стеклами, как полагали, сохраняющие глаза.

56. *Кельсиев В. И.* Святорусские двоеверы // Отечественные записки. 1867. Т. 174. № 20. С. 583–619.

57. *Щанов А. П.* Умственные направления русского раскола // Дело. 1867. №. 10. С. 319–348; № 11. С. 138–168; № 12. С. 170–200.

58. Речь идет о втором томе книги В. Диксона «Новая Америка», опубликованной в русском переводе в 1867 г. Половина тома была посвящена шейкерам – протестантской секте, возникшей в Англии, последователи которой в середине XVIII в. переселились в Северную Америку. Ее учение и обряды близки к учению и обрядам квакеров, но шейкеры отвергли брак и половые отношения между мужчиной и женщиной, чем, очевидно, и понравились скопцам.

59. Речь, видимо, идет о кн. *Сарычева Г. А.* «Путешествие флота капитана Сарычева по северовосточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану в продолжение осьми лет при географической и астрономической морской экспедиции, бывшей под начальством флота капитана Биллингса с 1785 по 1793 г.» СПб., 1802. Ч. 1–2.

60. Молитвенный пояс – пояс, на котором обычно вытканы, вышиты или написаны слова молитвы, иногда на нем было завязано определенное количество узелков, и при завязывании каждого читалась молитва.

61. *Достоевский Ф. М.* Указ. соч. Ч. 1. С. 90.

62. Дебаркадер – крытая навесом платформа железнодорожной станции.

63. Арматура, арматурная ведомость – роспись амуниции, вещей, имеющих у нижних чинов в полку, команде.

64. 19 февраля 1861 г. был обнародован царский Манифест об отмене крепостного права в России.

65. Ф. И. Лаврецкий – герой романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо».

66. Граф Гаранский – персонаж сатирического стихотворения Н. А. Некрасова «Отрывки из путевых записок графа Гаранского».

67. *Галкин-Враской М. Н.* Материалы к изучению тюремного вопроса. СПб., 1868.

68. Фиеско – богатый и знатный род в Генуэсской Республике. Фиеско ди Лаванья, возглавивший заговор против законной республиканской власти и намеревавшийся стать монархом, изображен в пьесе Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе».

69. Сквозник-Дмухановский – персонаж комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» – городничий.

70. Речь идет о рассказе Щедрина «Губернские очерки. В остроге. Посещение первое».

71. *Бентам И.* Введение в основания нравственности и законодательства // *Бентам И.* Избр. соч. СПб., 1867. С. 153.

72. Ирландская, или английская, система была создана в 1840 г. английским капитаном, возглавившем тюрьму на острове около Австралии. В соответствии с ней, осужденные содержались раздельно по полу, возрасту, степени общественной опасности, в зависимости от роли в совершенном преступлении; во время пребывания в тюрьме осужденные приобщались к труду, получали образование. При поступлении в тюрьму осужденных четко информировали о правилах поведения. В случае их выполнения по истечении определенного срока некоторые категории заключенных могли быть освобождены досрочно, но после досрочного освобождения для них существовали ограничения и они находились под надзором полиции.

73. *Гольцендорф Ф.* Ирландская тюремная система, в особенности переходные заведения, до отпущения арестантов на свободу. СПб., 1864. С. 82.

74. *Достоевский Ф. М.* Указ. соч. Ч. 1. С. 185.

75. Черки или чарки (они же обутки) – распространенная в Сибири кустарного производства мужская и женская кожа-

ная обувь. Женские чарки напоминали башмаки, а мужские имели голенища – холщовые или кожаные – до колен.

76. Удариться на уру – на тюремном жаргоне означает особый вид побега, когда заключенные во время работ вне стен тюрьмы по сигналу – обычно крику «ура» – бросались в разные стороны или нападали на конвой, отбирали оружие и разбегались.

77. Приведенные Н. М. Ядринцевым строки перекликаются со строками из стихотворения Томаса Гуда «Рубашка» в переводе М. Л. Михайлова: «О! только бы раз подышать / Дыханьем лугов, полевыми цветами! / Трава и цветы под ногами. / О! только бы час лишь пожить. / <...> О! только бы час лишь один». Видимо, Ядринцев цитировал их на память и поэтому не точно.

78. *Шелгунов Н. В.* Сибирь по большой дороге // Русское слово. 1863. № 3. С. 58–59.

79. Урман – сибирское название дремучего, преимущественно хвойного леса, тайги, часто растущего в болотистой местности.

80. Бродни – в Сибири мужская кожаная обувь с голенищем выше колен, которое закреплялось на ноге с помощью ремешков, продетых в петли или кольца.

81. Шейлок – персонаж пьесы У. Шекспира «Венецианский купец». Это имя скупого еврея-ростовщика стало нарицательным.

82. Считалось, что еврейский царь и мудрец Соломон придумал систему гадания на специальном круге с помощью пшеничного зерна. Гадание на круге Соломона было очень распространено среди русского народа.

Также широко для предсказаний использовалась книга средневекового немецкого ученого, астролога и алхимика Альберта Великого (Альберт фон Больштедт) «Оракулы». Гадания и предсказания для усиления таинственности обставлялись разного рода «волшебными» зеркалами и проч.

83. Дорогая трава – название растения сассапарель (*smilax*) и красный или осочный пырей (*carex hirta*), использовавшихся в качестве лекарства.

84. Шнипер – (*нем.*) специальное приспособление для пуска крови.
85. Пуздра – часть полового органа у самцов лошадей.
86. Октроировать – (*фр.*) даровать, жаловать какие-то права или привилегии.
87. Горбун, горбач – беглый каторжник.
88. Азям – длинная халатообразная верхняя мужская одежда из домотканины.
89. *Завалишин Д.* Письма о Сибири // Московские ведомости. 1864. № 217, 232, 265, 276; 1865. № 42, 46.
90. О беглых лифляндских крестьянах // Оснадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым. М., 1869. Кн. 3. С. 192.
91. Видимо, Н. М. Ядринцев использовал «Записки исторические, гражданские и военные о России с 1727 по 1744 год...» генерала К. Г. Манштейна.
92. Н. М. Ядринцев допустил опisku: у Анучина в таблице общая цифра сосланных 159 755, а не 195 755.
93. *Анучин Е.* Материалы для уголовной статистики России. Исследования о проценте ссылаемых в Сибирь. Тобольск, 1866. Ч. 1. С. 30. Анучин ссылается на работу *Тройницкого А.* «Крепостное население в России по 10-й народной переписи». СПб., 1861. С. 54.
94. *Анучин Е.* Указ. соч. С. 83–84.
95. Там же. С. 103.
96. Там же. С. 78, 32.
97. Там же. С. 121.
98. Н. М. Ядринцев относит почерпнутые им из кн. Лохвицкого данные к бюджету 1864 г., в то время как у Лохвицкого эти данные относятся к бюджету 1866 г.
99. *Максимов С. В.* Указ. соч. Ч. I. С. 74–75, 81.
100. Там же. С. 375.
101. Там же. С. 81 примеч. У Максимова цифра ссыльных до Нерченска 9500 человек. Ядринцев ошибочно привел цифру в 4500 человек.

102. *Гагемейстер Ю. А.* Статистическое обозрение Сибири. СПб., 1854. Ч. 2. С. 67–68.

103. *Максимов С. В.* Указ. соч. Ч. I. С. 352. Цитата приведена не точно.

104. *Спасович В.* Учебник уголовного права. СПб., 1863. Т. 1. С. 273–277.

105. Там же. С. 274.

106. *Анучин Е.* Указ. соч. С. 188.

107. *Максимов С. В.* Указ. соч. Ч. II. С. 89.

108. Калашников И. Т. написал романы и повести: «Дочь купца Жолобова». СПб., 1831. Ч. 1–4; «Изгнанники». СПб., 1834; «Камчадалка». СПб., 1833. Ч. 1–4.

109. *Бентам И.* Основные начала уголовного кодекса // *Бентам И.* Избр. соч. СПб., 1867. Ч. III. О наказаниях. С. 568.

110. *Спенсер Г.* Этика тюрем // *Спенсер Г.* Собрание сочинений. Т. 2. Научные, политические и философские опыты. СПб., 1867. Вып. IV, V. С. 125.

111. Там же. С. 124–125. В работе Спенсера судья носит фамилию Бортона, а не Бартана.

112. Очевидно, Н. М. Ядринцев имел в виду труд Вольнея К. Ф., который в переводе с французского был издан в России под названием «Руины, или Размышления о революциях империи» [1920-е гг.]. Более раннее издание на русском яз. не обнаружено.

113. Н. М. Ядринцев цитирует Г. Спенсера с искажениями. См.: *Спенсер Г.* Этика тюрем. С. 126–127.

114. *Гольцендорф Ф.* Указ. соч. С. 126.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
От автора	45

ОДИНОЧНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (под следствием)

I. Первые минуты неволи	49
II. Подследственное заключение у нас и за границей	61

ОБЩИНА И ЕЕ ЖИЗНЬ В РУССКОМ ОСТРОГЕ (Тюремные записки)

I. Общие камеры	76
II. Секретные	86
III. Тюремное времяпровождение	100
IV. Недуги острога.....	114
V. Любовь в неволе	121
VI. Преступники острога.....	131
VII. Осторожная поэзия, музыка и тюремное творчество	149
VIII. История тюремной общины и ее общинные учреждения	187
IX. Борьба общины и бунты старого острога.....	206
X. Лучшие стороны русской тюремной общины.....	217

ТЮРЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ

I. Из падших чиновников.....	232
II. Фармазонский купец	239
III. Фельтикультетный человек.....	245
IV. Первый человек в Сибири.....	257
V. Дедушко Абрамов	266
VI. Жиган.....	270
VII. Француз.....	275
VIII. Тюремный сказочник.....	281
IX. Осторожный Брут	288
X. Ищущие спасения и света	292
История этапного странствия обыкновенного смертного (Из записок беспаспортного).....	307
Об изучении характеров преступников в новой исправительной тюрьме.....	357

**ССЫЛЬНОЕ БРОДЯЧЕЕ
НАСЕЛЕНИЕ СИБИРИ****(Исследование о жизни бродяжеских общин)**

I. История бродяжества.....	383
II. Причины побегов ссыльных.....	396
III. Путь бродяг	415
IV. Бродяжеская корпорация и самосуд.....	424
V. Бродяжеские браки	432
VI. Бродяжеское пристанище.....	440
VII. Бродяжеский процесс	455
VIII. Профессии бродяг	470
IX. Борьба с бродяжеством и закон Линча в Сибири	511

ИСТОРИЧЕСКИЕ ОЧЕРКИ РУССКОЙ ССЫЛКИ

I. Ссылка как мера наказания в связи с развитием преступлений	524
II. Колонизационное значение русской ссылки	563
III. Исправительное значение русской ссылки.....	600
IV. Преступления ссыльных в России и Сибири	624

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РАЗНЫХ СИСТЕМ НАКАЗАНИЯ

I. Сравнительно-исторический очерк уголовного наказания в Европе.....	657
II. Очерки европейских пенитенциарных систем.....	681
III. Задачи новой рациональной системы исправления	708

Примечания	729
-------------------------	-----

Институт русской цивилизации создан для осуществления идей и в память великого подвижника православной России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева).

Целью Института является творческое объединение ученых и специалистов, занимающихся изучением истории и идеологии русского народа, проведение научных исследований и систематизация знаний по всем вопросам русской цивилизации, истории, философии, этнографии, культуры, искусства и других научных отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа с древнейших времен до начала XXI века. Приоритетным направлением деятельности института является создание 30-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 14 томов), а также научная подготовка и публикация самых великих книг русских мыслителей и ученых, отражающих главные вехи в развитии русского национально-мировоззрения и противостояния сил мирового зла, русофобии и расизма (вышло более 160 томов).

Редактор Л. К. Молотилова
Корректор Л. Н. Иванова
Компьютерная верстка Е. Е. Поляков
Институт русской цивилизации. Тел.: 8-495-605-25-35

Подписано в печать 22.07.2015 г. Формат 84 x 108 ¹/₃₂.
Гарнитура «Times». Объем 33,15 изд. л.
Печать офсетная. Заказ №
Отпечатано в ОАО «Тверской полиграфический комбинат».

**ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
ВЫПУСКАЕТ
БОЛЬШУЮ ЭНЦИКЛОПЕДИЮ
РУССКОГО НАРОДА**

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

- Русская цивилизация *(вышел)*
- Русское Православие в трех томах *(вышли)*
- Русское государство *(вышел)*
- Русский патриотизм *(вышел)*
- Русское мировоззрение *(вышел)*
- Русский образ жизни *(вышел)*
- Русская география
- Русское хозяйство *(вышел)*
- Международные отношения
- Национальные отношения
- Русская литература *(вышел)*
- Русская икона и религиозная живопись в двух томах *(вышли)*
- Русская архитектура и скульптура
- Русская живопись
- Русский театр
- Русская музыка
- Русская наука
- Русская школа
- Русское воинство
- Памятники Отечества
- Русские за рубежом
- Противники русской цивилизации

Каждый том Энциклопедии посвящен определенной отрасли жизни русского народа и будет завершенным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потребностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие русские ученые и специалисты, используются опыт и наиболее ценные материалы предыдущих русских энциклопедий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей для Энциклопедии являются православные и национальные традиции русской науки, соответствие сделанных оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудничеству всех заинтересованных русских людей и организации. Будем признательны за любую помощь в подготовке нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыткой создания всеобъемлющего свода православных и национальных сведений о жизни русского народа. После выхода первого издания Энциклопедии предполагается ее совершенствование и подготовка нового издания.

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации.

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, поправки и дополнения.

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно получить на нашем сайте: www.rusinst.ru.

ВЫШЛИ В СВЕТ КНИГИ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ИНСТИТУТОМ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ:

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ»

- Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
- Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
- Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслаждение, 720 с.
- Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
- Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
- Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
- Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
- Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
- Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
- Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
- Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
- Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
- Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
- Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
- Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
- Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
- Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
- Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
- Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
- Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
- Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
- Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
- Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
- Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
- Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
- Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
- Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
- Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
- Иван Грозный. Государь, 400 с.
- Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
- Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
- Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
- Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
- Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
- Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.

- Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям, 688 с.
- Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
- Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
- Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
- Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
- Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
- Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
- Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
- Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
- Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
- Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
- Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.
- Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
- Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
- Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
- Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
- Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
- Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
- Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
- Меньшиков М. О. Великоорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
- Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
- Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
- Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
- Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
- Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
- Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
- Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
- Феофан Затворник. Добротолюбие, 752 с.
- Кожин В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
- Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
- Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 640 с.
- Пушкин А. С. Россия! встань и возвышайся!, 976 с.
- Князь Александр Васильчиков. Русское самоуправление, 960 с.
- Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа русского, 752 с.
- Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.

Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-православная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.

СЕРИЯ «РУССКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосознания, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.

- Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с внутренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи океанных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Мионов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верю и понимаю, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. Искусство, 816 с.
Ерчак В. М. Слово и Дело Ивана Грозного, 1008 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.

СЕРИЯ «РУССКАЯ ЭТНОГРАФИЯ»

- Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в пословицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этнографическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия, 688 с.

- Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
- Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; т. 2 – 864 с.
- Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
- Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
- Шергин Б. В. Отцово знание. Поморские были и сказания, 704 с.
- Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
- Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
- Русские люди XVIII века, 784 с.
- Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
- Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
- Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
- Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
- Богданович А. Е. Пережитки древнего мирозерцания у белорусов, 160 с.
- Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.

РУССКАЯ БИОГРАФИЧЕСКАЯ СЕРИЯ

- Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 с.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
- Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
- Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Виленском, 464 с.
- Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
- Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
- Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современников, 608 с.

СЕРИЯ «ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ»

- Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
- Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
- Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
- Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
- Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
- Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
- Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
- Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
- Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
- Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
- Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
- Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.

- Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
- Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
- Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
- Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
- Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
- Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – начало XXI века), 688 с.
- Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
- Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия национального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
- Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
- Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-психологического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
- Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
- Очерки истории русской иконы, 592 с.
- Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроительства, 480 с.
- Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
- Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
- Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
- Русский государственный календарь, 728 с.
- Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 560 с.
- Русская артель, 672 с.
- Русская община, 1376 с.
- Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
- Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 1072 с.
- Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
- Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
- Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная Россия, 656 с.
- Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповторимое, 416 с.
- Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
- Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный человек, 688 с.
- В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Промысл Божий, 640 с.
- Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.

Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в XX веке: История экономического противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.

СЕРИЯ «ТЕРНОВЫЙ ВЕНЕЦ РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.
Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог царевубийства, 496 с.
Платонов О. История царевубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор царевубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПЛАТОНОВ О. А. СОБРАНИЕ ТРУДОВ В 6 ТОМАХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского народа, 944 с.
Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.
Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книгоиздательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)